



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН

**Россия
и русский человек
в восприятии славянских
народов**



Серия “Slavica et Rossica”

Центр книги Рудомино
Москва, 2014

УДК 82.091
ББК 83.3(3)
Р 768



Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 14-04-16076.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ: «Россия и русский человек в восприятии славянских народов», проект № 13-04-00395.

Ответственные редакторы: д.ф.н. А.В. Липатов, к.ф.н. Ю.А. Созина
Редколлегия: д.ф.н. Л.Н. Будагова, А.В. Амелина, к.ф.н. Н.В. Шведова

Рецензенты: д.и.н. М.А. Робинсон, к.и.н. А.Г. Васильев

Р 768 **Россия и русский человек в восприятии славянских народов/**
отв. ред. А.В. Липатов, Ю.А. Созина. — М.: ООО «Центр книги
Рудомино», 2014. — 608 с., илл. — (Серия «Slavica et Rossica»)

ISBN 978-5-00087-031-0

Эта книга — продолжение издаваемых Институтом славяноведения РАН исследований, составляющих цикл «Slavica et Rossica». Взаимоотношения русских и других славян в силу как культурно-исторических, так и сугубо политических обстоятельств неизменно сохраняют свою актуальность вплоть до наших дней. В России наряду с объективными разработками славянской проблематики продолжается идеологическое использование мифов и стереотипов, основанием которых является этногенетическая общность славянства, русское самосознание и государственная политика времен монархии, СССР и РФ. Это не способствовало осознанию неоднозначного отношения славян к России, что ныне сказывается на непонимании русскими нынешних настроений в славянских странах.

Предлагаемая совместная разработка русскими и славянскими исследователями разных проблем нашего прошлого и настоящего призвана способствовать осознанию сложных реалий истории и современности.

УДК 82.091
ББК 83.3(3)

Запрещается полное или частичное использование и воспроизведение текста и иллюстраций в любых формах без письменного разрешения праволадельца.

ISBN 978-5-000870-31-0

© ИСл РАН, 2014

© Авторы, 2014

© ООО «Центр книги Рудомино», издание на русском языке, оформление, 2014

От редколлегии

Людей, как правило, интересует, что думают о них другие. Небезразличны к этому целые народы и государства, озабоченные своим престижем. Идентификация «другого» далеко не всегда совпадает с его самоидентификацией. Эти расхождения, самооценку обычно приглушающие, достойны внимания. Помогая критически взглянуть на себя (впрочем, если это и происходит, то в основном на бытовом, но никак не на межгосударственном уровне), они способны стать серьезным подспорьем в развитии, самоусовершенствовании, движении вперед.

В ходе взаимопознания мирно контактирующих сторон возникают вполне доброжелательные представления, образы, «имиджи» друг друга, обеспечивающие добрую репутацию человека, народа, государства в иной, чем его собственная, среде. Однако жизнь человечества далека от идиллии. Спокойствия и мира в ней не больше, чем распрей и вражды. Далеко не идилличны и представления народов друг о друге: слишком сложна и запутана всемирная история, то и дело осложняющая до трагических конфликтов взаимоотношения народов и государств. При этом «другое» становится «чужим», «чуждым», «враждебным».

Устойчивые представления о «чужом», переходящие от поколения к поколению, превращаются в стереотипы, которые затуманивают взор и мешают непредвзятому восприятию «чужого». Однако ничто не постоянно под луной. Наступают времена больших перемен (к ним относится и наше время), когда народы как бы заново познают друг друга, когда открывается возможность, опираясь на уроки истории, на личный жизненный опыт и новую реальность, пересмотреть, проверить, скорректировать, опровергнуть или поддержать бытующие

в сознании и культуре представления о других народах. В такое время и в такой ситуации возрастает научный и практический интерес к имагологическим аспектам изучения международных, в том числе культурных, связей, чему посвящен и данный сборник.

Особое внимание, как доброжелательное, так и опасливо-настороженное, привлекают страны с великой историей и культурой, способные влиять на судьбы других народов и государств. К объектам мощных притяжений и отталкиваний всегда относились и относятся Россия и русский народ. Стремление проследить эволюцию отношений к ним славян, живших за пределами царской и советской России, и выявить особенности рецепции русских реалий и характеров в зависимости от места и времени восприятия, от социального статуса, национальной принадлежности, исторических судеб и взглядов воспринимающих сторон определило содержание данного сборника. Особое внимание уделяется в нем истокам и соотношениям русофильских и русофобских тенденций в общественном сознании и культуре славян в разные эпохи от Средневековья и до современности.

Актуальность коллективному исследованию придают как интерес к имагологической проблематике, так и внимание России к своему международному имиджу. При всех полемических (порой нелицеприятных) высказываниях в ее адрес их выявление полезно. Что-то из них может стать предметом дискуссий, обсуждений, опровержений, а что-то — зеркалом, предлагающим критически взглянуть на себя, на братьев-славян, на другие народы и, сделав выводы, построить отношения с ними на новой — прочной и плодотворной — основе. Книга эта, бесспорно, многое прояснит в славяно-русских связях и в творчестве писателей, обращавшихся к русской теме.

В составе авторского коллектива — представители разных стран, поколений, научных школ и специальностей; в него вошли не только литературоведы, но и культурологи, историки, текстологи. Объединяющим началом явилось стремление к объективности и непредвзятости исследований разнообразного материала, желание избежать как идеализации, так и дискредитации (в угоду новомодной политической конъюнктуре) русско-славянских связей.

Инициатором и организатором труда стал Отдел истории славянских литератур Института славяноведения РАН, который вот уже много лет после создания трехтомной «Истории литератур западных и южных славян» (1997, 2001) разрабатывает проблематику литератур-

ных связей с упором на связи русско-славянские. На счету коллектива книги «А.С. Пушкин и мир славянской культуры» (2000), «Россия в глазах славянского мира» (2007), «Славянский мир в глазах России» (2011), «Н.В. Гоголь и славянские литературы» (2012) и др. С определенного времени подобные исследования стали издаваться под логотипом «Slavica et Rossica», приблизившись тем самым к серийным изданиям.

Как бы ни складывался образ русского человека и России в международной политической среде, можно утверждать, что в сфере научных и культурных интересов доминирует дружеское расположение к ним разных народов. Это подтверждает и неизменно позитивный образ русской литературы Золотого и Серебряного веков, вырисовывающийся в статьях сборника, и активное участие в настоящем труде зарубежных специалистов, и, наконец, приветствие чешского ученого с мировым именем, Славомира Вольмана, международной научной конференции «Русский человек и Россия в славянских литературах, фольклоре, документалистике», которая состоялась 1–2 ноября 2011 года в Институте славяноведения РАН (Москва) и явилась важным этапом работы над данным трудом.

Уважаемые друзья и участники конференции, — говорилось в письме С. Вольмана, — примите сердечный привет от старого слависта и компаративиста, который помнит еще Иржи Поливку и Матея Мурко. В памяти моей живет не только Роман Осипович Якобсон, часто приходивший к нам домой, к моему отцу Франку Вольману, еще в славные годы существования Пражского лингвистического кружка. Помню визиты и других русских гостей, во время которых я познакомился и подружился с В.В. Виноградовым, Н.И. Толстым, Ю.М. Лотманом, Д.С. Лихачевым, А.Н. Робинсоном... Желая вашей конференции больших успехов не только как бывший председатель Международного комитета славистов, а в настоящее время как почетный председатель Чешской ассоциации славистов, но прежде всего и как искренний друг русской науки, культуры, литературы, с которыми я связал свою профессиональную судьбу.

*Профессор Славомир Вольман
Прага, 28.10.2011 г.¹*

¹ Полный текст письма см.: Вольман С. Моя жизнь между наукой и искусством / Пер. Л. Будаговой // Славяноведение. 2012. № 6. С. 95.

Письмо это, зачитанное на открытии конференции, заслуживает того, чтобы не кануть в Лету, а остаться в нашем сознании ярким свидетельством консолидирующей роли науки и культуры в жизни людей, какие бы политические конфликты и разногласия ее ни омрачали. Написанное ученым незадолго до кончины, оно стало своего рода напутствием патриарха славистики новым поколениям научной интеллигенции, заветом крепить — вопреки всему и невзирая ни на что — профессиональные и дружеские связи между народами.

А.В. Липатов

УВИДЕТЬ СЕБЯ, ПОЗНАВ ДРУГИХ
(Размышления о национальных предубеждениях
и стереотипах)

...Стряхнуть иго национальных предрассудков, чтобы научиться познавать людей в том, что есть в них общего и различного, чтобы приобрести универсальные познания, которые не родились в каком-то веке, в какой-то стране, а принадлежат всем временам и всему миру и, тем самым, являются общим научным достоянием всех просвещенных людей.

Жан-Жак Руссо

Восходящая к позитивистской методике описательность явлений и составляющих их фактов национального прошлого и настоящего ограничивает возможности проникновения в их этногенетическую суть и таких сопряженных с ней факторов, как конфессия, государственность, культура и политика. А именно это обуславливает самоидентификацию каждого отдельного социума в исторической изменчивости начал универсального (принадлежность к надэтнической цивилизации) и локального (как одного из его составляющих). Такая система координат способствует выявлению и конкретизации феномена этнического / национального самосознания (органичным составляющим которого является дихотомия «свой — чужой»), равно как и осмыслению причин его возникновения и характера меняющегося во времени функционирования.

В конкретной реальности прошлого и настоящего народов одной цивилизации их самоидентификация осложняется той архаикой, которая восходит к доцивилизационным временам и кроется в самой изначальности человеческой природы, когда бинарное восприятие действительности в категориях «свой — чужой» формировало коллективное самосознание своего рода / племени. В окружающем внешнем мире — враждебном, непредсказуемом, ибо еще цивилизационно неупорядоченном общепринятой системой конвенций, юридических норм и правовых процедур — такая самоидентификация была непременным условием собственного выживания, постоянного самосохранения, неизменного сплочения и безоговорочного самоутверждения своей родоплеменной общности в чужом, ибо неизведанном, а тем самым таящем неожиданные опасности пространстве. Поэтому-то такая самоидентификация *ограничивалась* кругом своей общности и только ей свойственным культом верований (а тем самым представлений о себе и мире), а одновременно *отграничивалась* от всего чужого — ближних и дальних соседей как а posteriori уже известных, так и а priori еще неизвестных.

Приобщение разрозненных племен к христианству означало обретение ими того *универсального* (всеобщего) мировидения и усвоение тех присущих ему общих (понадэтничных) ценностей, которые преобразили Европу как географическое понятие времен античности в Европу как *цивилизацию* (Christianitas). В ее аксиологически целостном пространстве *универсальная культура* (как миропонимание, а в его кругу — самопонимание) объединяет племенную разобщенность вопреки живучей изначальной *натуре*, тем самым иницируя процесс формирования внутренне консолидированных народностей из разобщенных локальностей.

Эти возникшие на *цивилизационно общей аксиологической основе* народности создавали те государственные образования и общественные институты, такие социальные порядки и правовые отношения, систему образования, характер международных связей, политических конвенций и специфику торгово-экономических отношений, которые сотворили облик Новой Европы, *существенно* отличающий ее от других мировых цивилизаций. Такой контекст позволяет четко рассмотреть и ясно осознать особенность феномена европеизма, где «родовая» — *цивилизационная* — самоидентификация народов христианского универсума предопределила специфику их самоидентификации «видовой» — *этнически локальной*.

В общем круге христианской культуры «свое» самоощущение, самопонимание «своего» и собственной своей «свойскости» осознавалось уже не как определенная самоизолированная (каковой была родоплеменная) «самость», а локальная составляющая именно *своего — общего — христианского мира* (Pax Christiana). Цивилизационно обособленный, он *цивилизационно* противостоял чужим ему мирам и связанным с ними народам. Тем самым в *цивилизационном пространстве* Новой Европы (Christianitas) универсальное (общеевропейское) и локальное (этническое) являют собой *диалектическое единство*. (Ярчайшее свидетельство такого состояния умов — феномен крестовых походов). Дихотомичное же истолкование этих двух составляющих единое целое означает *смысловой разрыв*, когда общие *родовые* сущности цивилизации «перекрываются» *видовыми* различиями, трактуемыми как основополагающие и значимо преобладающие.

Этот разрыв изначальной аксиологической целостности породился и порождается тем ложным мышлением, которое в облике исторически возникающих *идеологий* — институционально-церковных (когда вопреки изначальному христианству и правдам Евангелия национализируется религия и сам Господь Бог), государственных, национальных, партийно-политических — искажает либо полностью отбрасывает (как, например, тоталитарные режимы) изначальную сущность европеизма (Christianitas) и вырастающую из нее со времен Возрождения и Просвещения *секулярную культуру Европы*. А она по сути своей (гуманизм, равенство народов и рас, свобода личности, справедливое мироустройство) развивается на той же самой аксиологической основе. Поэтому-то нескованные предустановленными догмами мышление, творчество и наука как свободное познание реальности кончаются там, где начинается идеология. Порождаемые ею центробежные силы европейских локальностей, сталкиваясь с центростремительными силами изначальной универсальности (которая создала Европу как цивилизацию), искажают ее изначальную сущность, порождая те межнациональные и государственные конфликты, которые являют собой угрозу мирному сосуществованию.

В целях насаждения своего социально, политически, националистически etc. миропорядка и упрочения своей власти правящая элита вырабатывала соответствующую своим представлениям идеологию как упорядоченную систему свойственных именно этой элите воззрений, ценностей и целей. В соответствии с прастарой максимой «разделяй и властвуй» она актуализировала давние стереотипы «своего» и

«чужого». Основой этой прагматичной реинтерпретации было *искажение цивилизационной сущности европеизма*: диалектическое единство универсального и национального подменялось их дихотомичным расчленением и идеологичным противопоставлением.

Укореняя, укрепляя и конденсируя такой тип мышления, она формирует комплекс представлений, в которых духоподъемное осознание «своего» немислимо без уничтожения «чужого».

Актуализируемый, с одной стороны, потребностями *своих* институтов государства, церкви, политических движений, а с другой — характером типологически подобных отношений к себе *чужих*, такой тип мышления порождает стойкие стереотипы¹. Присутствуя в национальном самосознании и исторической памяти социума, они накладывают отпечаток на его ментальность порой в течение столетий. Обращенные в прошлое, они проецируют его в настоящее. Культурные, политические, идеологические последствия этой живучей архаики в национальных и межнациональных взаимопредставлениях очевидны в меняющейся реальности Новой и Новейшей истории. Отсюда остро ощущаемая потребность деконструкции стереотипов, что представляет отнюдь не только академический интерес. Она обусловлена как культурно-гуманистическими устремлениями гражданского общества после трагичного опыта XX в., так и самой прагматикой государственных, политических и финансово-экономических элит.

В условиях глобализации — процесса спонтанного и всеохватывающего — наступила пора международных институтов, международных корпораций и капиталов, свободного распространения информации и мобильности народонаселения, мобильности не только физической, но и символической (перемещения — вместе с носителями разных национальных культур, типов мировосприятия, особенностей ментальности, разновидностей бытового уклада и т. д.). Вместе

¹ См.: *Топоров В.Н.* Функция границы и образ «соседа» в становлении этнического самосознания (Русско-балтийская перспектива) // *Славяноведение*. 1991. № 1; *Копелев Л.З.* Чужие // *Одиссей. Человек в истории. Образ «Другого» в культуре*. М., 1994; *Репина Л.П.* «Рациональный характер» и «образ Другого» // *Диалог со временем*. Вып. 39. 2012; *Багно В.Е.* На другой духовной широте... // *Образ России*. СПб., 1998; Россия — Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002; *Липатов А.В.* Национальное — межнациональное — универсальное (Мир природы и мир культуры: на примере этнического пограничья Польши) // *Studia Polonorossica. К 80-летию Е.З. Цыбенко*. М., 2003; *он же.* Русские стереотипы восприятия польскости (история и факторы изменчивости) // *Проблемы российской истории*. Вып. VII. М.—Магнитогорск, 2006; *Белова О.В.* Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. М., 2005.

с этим происходит размывание исторических границ и традиционных разграничений, возникает некое *пограничье* — встреча разноэтничных и разноконфессиональных культур в одном пространстве национального государства или политико-экономического сообщества национальных государств, чьи границы утратили прежнюю — историческую — определенность и жесткость.

В этих условиях Новейшей истории (или постмодерна) деконструкция стереотипов национальных взаимопредставлений обретает особое значение — одновременно культурно-гуманистическое и сугубо прагматичное, ибо осознается как необходимое условие преодоления ново-старых проблем и эксцессов. А они в условиях глобализации не только интенсифицировались, но и обрели повсеместный характер, охватывающий народы и страны от Атлантики до Тихого океана.

Это преодоление вырабатывается путем накопления эмпирического познания фактов и явлений с последующей концептуализацией — то есть осмыслением причин их возникновения, следствий живучести и форм функционирования в современности. Такого рода звенья единой цепи исследовательского поиска — своеобразная вивисекция целого под углом зрения выявления отдельных его составляющих, их измерений и внутренней связи, что ведет к познанию самого целого как системы. А уже это создает возможности формулирования гипотез, предлагающих практические методы последовательной деконструкции ее внутренних составляющих. Специфика же элементов, составляющих стереотипы как систему, предполагает интердисциплинарный подход как исходный пункт обоснованности эмпирического освоения фактов с теоретическим их осознанием. В данном случае интердисциплинарность мыслится не как простое взаимосочетание методик разных гуманитарных наук, а как внутренне единый, основанный на *холизме* метод познания. В его призме реальность предстает как несводимая механистически к сумме составляющих целостность, чья исторически эволюционирующая динамика ведет к очередному возникновению новых целостностей.

Интердисциплинарность — знак Нового времени науки, означающий выход из ставших тупиковыми путей узкой специализации, которая восходит к временам барокко, а постмодерн — эпоха не только глобализации, но и глобального синтеза знаний, накопленных человечеством. Интердисциплинарность это своего рода «обратный переход» к целостному осмыслению феноменов (как во времена античности, Средневековья и Возрождения). При этом такого рода «переход»

осуществляется на той фундаментальной основе, которая возникла благодаря многовековым достижениям узкой специализации в отдельных областях знаний.

Равнозначность и равноценность эмпирического накопления фактов и их теоретического осмысления — процесс относительно синхронный. При этом первый явно опережает второй. Отсюда значимость самой выработки новых теоретических подходов, которые в силу самой внутренней специфики таких феноменов, как историческая память, национальные стереотипы и менталитет, несводимы к некоему «единственно верному методу». Следует также принять во внимание, что непременным условием разработки такой проблематики является международное сотрудничество научной среды, — непременным, ибо основой рассматриваемых феноменов является оппозиция «свой — чужой». Поэтому-то, дабы избежать естественной (а поэтому порой неизбежной) односторонности представлений о «своем» (а тем более о «чужом»), сопоставление взглядов, разработок и сам обмен мыслями «своих» и «чужих» ученых представляется особенно плодотворным и результативным. Налаживание же сотрудничества и достижение взаимопонимания предполагает обретение общего *научного языка* — общего не только в плане понятийном, но и выразительном (т. е. не задевающего «чужого» партнера и не оскорбляющего его «чуждость»). Именно это создает ту плоскость научного (как, впрочем, и любого другого) взаимопонимания (а тем самым сотрудничества), на которой только и возможно адекватное осознание «чужого», а тем самым и «своего», ибо чтобы объективно понять это «свое», нужно увидеть его со стороны «чужого», иначе говоря, двуединый («свой — чужой») феномен стереотипа необходимо видеть одновременно с двух перспектив — «инсайдера» («свой») и «аутсайдера» («чужой»), т. е. осознавать с точки зрения участника (соучастника) национально сопричастного (а тем самым так или иначе эмоционально и рационально ангажированного) и с точки зрения холодного наблюдателя, который «извне», соблюдая эмоциональную и рациональную дистанцию, рассматривает тот же самый объект. Тем самым в этой двойной перспективе научного дискурса и аналитичность, и ангажированная эмпатия соединяются, взаимодополняются и взаимокорректируются, создавая то «место встречи», в котором достигается взаимопонимание сторон в процессе совместного демонтажа застарелых стереотипов взаимной вражды и предубежденности.

Примером самой возможности (равно как и результативности) двустороннего сотрудничества интердисциплинарной разработки на-

циональной и межнациональной проблемы стереотипов и преубеждений поляков и русских является цикл конференций, организованных польским Институтом международных дел в рамках проекта, финансируемого польским Комитетом научных исследований. Представленный историками, литературоведами, культурологами, политологами, филологами, психологами, социологами научный коллектив польских и российских ученых, которым руководил профессор Лодзинского университета Анджей де Лазари, создал серию трудов, из которых здесь можно назвать своего рода суммирование отдельных концепций — двуязычное издание «Польская и русская душа. Современный взгляд» (Лодзь, 2003) и итоговый «Каталог взаимных предрассудков поляков и русских» (*Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan*. Warszawa, 2006).

Другим примером перспективности совместного российско-польского подхода к освещению острых проблем истории, политики, дипломатии, идеологии и национального их восприятия является коллективный труд «Белые пятна. Черные пятна. Сложные вопросы в российско-польских отношениях» (русскоязычное издание; М., 2010).

Плодом длительного российско-славянского (а в том числе и польского) сотрудничества являются также известные труды Института славяноведения РАН, а среди них и новейшая серия «*Slavica et Rossica*». Особо следует отметить совместные работы ученых Польши и России, изданные представительством Польской академии наук в Москве. Несомненного внимания заслуживают изданные Международной комиссией историков совместные работы российских и словацких ученых «Русские и словаки в XIX–XX вв.: Контакты, взаимодействие, стереотипы. Тезисы докладов Международной научной конференции» (Москва, 2–4 октября 2007 г.). М., 2007; «Мифы — стереотипы — образы. Восприятие России в Словакии» (Братислава–Йошкар-Ола, 2010). Особую ценность представляет недавно изданный Центром польско-российского диалога и согласия совместный труд польских и российских ученых «Мыслью и словом. Польско-российский дискурс XIX века» (*Myślą i słowem. Polsko-rosyjski dyskurs XIX wieku / pod red. L. Adamskiego i S. Dembskiego*. Warszawa, 2014).

В условиях всеохватывающей модернизации научное обретение такого «места встречи» ученых разных стран имеет помимо академического также сугубо практический смысл, значение которого невозможно переоценить в сферах культуры (в том числе культуры политической), а отсюда — в дипломатии, сфере государственно-экономических

связей, системе международного права и судопроизводства в межнациональных и внутринациональных отношениях. Суть в том, что глобализация — это не только непереносимое условие существования народов и государств в настоящем, но и *пропуск в будущее*. Модернизация невозможна без сотрудничества и связей с внешним миром. Вспомним, что сталинская индустриализация — эта модернизация разрушенной Гражданской войной России, рывок СССР в современность XX в. — опиралась на непосредственное, широкое и интенсивное сотрудничество с Западной Европой и США. «Стройки социализма» — Магнитогорск, Днепрогэс, Сталинградский тракторный и многое-многое другое — это не только импорт зарубежной техники, технологии и самой технической мысли, но и непосредственное участие в радикальных преобразованиях зарубежных специалистов — с одной стороны, а с другой — отправка за границу для обретения передового опыта советских инженеров и ученых.

В нынешней современности условием международного сотрудничества является равноправное партнерство. Империльный культ силы родом из безвозвратно минувшего прошлого Европы исключает диалог как средство достижения взаимопонимания — этого непереносимого условия взаимовыгодного сотрудничества. Ностальгия по утраченной империи — это не только проявление архаичного мышления, но и неспособность увидеть современный мир открытыми глазами — мир, в котором время империй окончательно завершилось в минувшем столетии. Последним было исчезновение империи советской. Основанная на догмах идеологии (этого — по Марксу — ложного сознания), а не на научной аналитичности архаичность мышления тех, кто отождествляет империю с Родиной, а имперское насилие над «своими» и «чужими» считает единственно верной системой правления, отражает неспособность осознать историческую закономерность, проистекающую из самой сути государственного устройства России¹. *Мощь Русской Власти* — этот аверс империи — имел свою скрытую

¹ Пивоваров Ю.С. Русская мысль. Система русской мысли и Русская Система (опыт критической методологии) // Русский исторический журнал. Т. 1. Лето 1998. № 3; Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Русская Система: генезис, структура, функционирование (тезисы рабочей гипотезы) // Там же; они же. Русская Система и реформы // Pro et contra. 1999. Т. 4. № 4; они же. Русская система как попытка понимания русской истории // Полис. 2001. № 4; Пивоваров Ю.С. Русская политическая культура и political cultur (общество, власть, Ленин) // Pro et contra. 1999. Т. 4. № 4; он же. Русская политическая традиция и современность. М., 2006.

оборотную сторону — *немошь*. Поэтому-то Россия никогда не была покорена извне, она периодически обрушивалась *изнутри*. Сама *гибель исторической России* свершилась вследствие большевистского переворота, а *саморазрушение* созданного на ее развалинах СССР произошло на наших глазах.

Ныне — перед лицом новой российской реальности и внешних вызовов современного мира — стоит вспомнить совет, данный принявшему бразды правления неискушенному Александру II многоопытным министром иностранных дел М.Д. Горчаковым. Во времена трудного осознания элитой власти и обществом затяжного кризиса, который выявил разгром России в Крымской войне, этот искушенный политик изрек: «Нужно сосредоточиться».

Диктуемая реалиями нового времени необходимость спокойно и трезво сосредоточиться «на себе» — своей России — поможет понять, почему она в известных научных публикациях опять обретает облик «Одинокой державы»¹, или же почему она в очередной раз оказалась «опасна»² и почему сохраняют свою актуальность ныне вновь припомненные и в разных контекстах приводимые терпкие слова Александра III: «У России только два верных союзника — армия и флот». Выяснение этих вопросов³ способствует пониманию как самих себя, так и отношения к себе других⁴, ибо эти «другие» *по-своему* испытывали на себе то же, что *по-своему* испытывали сами русские, *по-своему* реагируя на то же, на что также *по-своему* реагировали инациональные подданные Империи.

Это «по-своему» наше и «по-своему» других являют собой две стороны по сути своей одного явления: восприятие самих себя и

¹ Шевцова Л.Ф. Одинокая держава. Почему Россия не стала Западом и почему Россия трудно с Западом. М., 2010.

² Афанасьев Ю.Н. Опасная Россия. М., 2001.

³ В отношении новых подходов к истории Российской империи особого внимания заслуживают: Ахиезер А.С. Россия. Критика исторического опыта: В 2 т. 2-е изд., перераб. и доп. Новосибирск, 1997–1998; Янов А. Россия и Европа 1462–1921: В 3 кн. М., 2007–2009; Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? М., 2008.

⁴ Здесь в качестве примеров такого исследовательского подхода можно назвать следующие: Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание. М., 2000; Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000; Россия и мир глазами друг друга. Из истории взаимовосприятия. М., 2006; Россия в глазах славянского мира. М., 2007; Русская культура в польском сознании. М., 2009; Славянский мир в глазах России. М., 2011; Революционная Россия и польский вопрос. Новые источники, новые взгляды. М., 2009; Русско-польские языковые, литературные и культурные контакты. М., 2011.

восприятие себя другими — двуединый процесс, составляющие которого взаимосвязаны и взаимообусловлены конкретно-исторически, культурно, национально.

Самопонимание, ограниченное разглядыванием себя в зеркале собственных представлений, естественно и неизбежно порождает зауженное, ибо изолированное, а потому далеко не полное представление. Преодоление такого рода самоидентификации, а тем самым обретение в меру объективного самопонимания, означает выход за строго очерченный круг своей «самости» в стремлении увидеть и понять — а что же находится вне его и как мы смотримся в этом «вовне», как нас там воспринимают. Такой переход от статичной замкнутости на себя к динамичному вхождению в открытость внешнего мира способствует возрастанию степени объективности собственной самооценки, а тем самым восприятия нас другими. Обретение понимания того, как нас видят и почему нас так видят, — неперемное условие адекватного восприятия, а тем самым рационального осмысления общей и отнюдь не однозначной картины в данном случае славянского мира.

Такая картина имеет не только прямую, но и обратную перспективу. Поэтому использование объемной — «широкоформатной» — оптики научного рассмотрения межнационального бытия в свете специфики исторических изменений европейской цивилизации ведет к преодолению национальной зашоренности, а тем самым — к адекватности понимания меняющихся во времени связей и противоречий (в данном случае внутри славянского мира). Эти закономерности обуславливали саму национальную специфику каждого из собратьев во славянстве, в том числе и самих нас.

Такое осознание как самих себя, так и других на путях выхода за узкие круги своих «самостей» поможет глубже осознать как сами эти отдельные круги (включая свой собственный), так и тот общий круг, в котором мы все вместе обитаем в силу объективных закономерностей истории, которые внеположны очередным и преходящим националистическим мистификациям и идеологическим манипуляциям.

С XIX в. по сей день в отношении к России последовательно просматривается определенная тенденция раздвоенного ее восприятия и оценки. Может быть, особенно четко это проявляется в славянском мире. С одной стороны, сдержанная настороженность либо открытое и резкое неприятие российской имперIALности (что расшатывало, а в определенных случаях — например, отношение Империи к Украине, а особенно к Польше — сокрушало миф славянского единства и

славянской взаимности¹), с другой же — притягательная сила культуры России, ее литературы и искусства как в высоком, так и простонародном проявлениях. При этом прямо противоположным было отношение к официальной культуре Империи — ее культуре политической и корпоративно-чиновнической, что отобразили и сами известные за российскими пределами Н.В. Гоголь² и М.Е. Салтыков-Щедрин. Те же славянские народы (украинцы, белорусы, поляки), чьи земли находились в границах Империи, уже непосредственно соприкасались с самими институтами и носителями этой официальной культуры (политической, бюрократической и бытовой), которые жестко (а порой жестоко, как в случае Польши) насаждали насильственную русификацию и строго блюли чуждые великодержавные порядки. Эти народы уже не опосредованно, не понаслышке, а на собственном опыте испытывали национальное унижение, подавление собственных культурных традиций (в том числе — самих национальных языков), искажение либо уничтожение своей исторической памяти. Все это не могло не обрести отражение в формировании исторически обусловленных стереотипов, национальных предубеждений, государственно-политических фобий и отчужденности по отношению к «Большому славянскому брату».

Такое восприятие официальной России, самой ее государственно-политической сущности — Русской Системы (согласно концепции Ю.С. Пивоварова и А.И. Фурсова) — *актуализировалось* во времена насильственной советизации, составляющими которой были тоталитарная система государственности, массовые репрессии, жестокая коллективизация (затронувшая основную массу народонаселения), жесткая идеологическая реинтерпретация национальной истории и национальной культуры, депортация целых народов и преследование по национальному признаку. Все это не могло не восприниматься как осуществляемое *извне* подавление и деформация национальной самоидентификации в процессе реализации государственной идеи «единого советского народа».

¹ Липатов А.В. Европейская цивилизация как дифференцированная целостность (Запад и славяне) // Мировая экономика и международные отношения. 2007. № 6; *он же*. Славянская общность: историческая реальность и идеологический миф // Павел Йозеф Шафарик (к 200-летию со дня рождения). М., 1995; *он же*. Славянство как составная часть европейской цивилизации. К давней идее славянского единения и извечной проблеме славянского разъединения // Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. Kraków, 2012. Русское издание этой ст. см. в: Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности. Кн. I. М., 2014.

² См.: Н.В. Гоголь и славянские литературы. М., 2012.

На воротах первого — ленинских времен — лагеря на Соловках заключенных приветствовал лозунг: «Железной метлой загоним человечество в счастье». Тоталитарная власть лучше разных народов и помимо их верований, культурных представлений и самой их исторической памяти знала, что такое настоящее счастье: в принудительно построенном «новом мире» для «нового человека», выкованного из старого «материала», оно идеологически будет одно для всех.

Практическое воплощение идеологической доктрины большевизма означало *конструктивистское вторжение* в исторически сложившуюся реальность и насильственное ее преобразование вопреки объективным закономерностям процесса общественного развития. Это сопровождалось радикальной ломкой веками сложившихся идентичностей — самосознания, культуры, коллективной памяти, вероисповедания, жизненных укладов и самого быта всего разноэтничного народонаселения страны — от русских до «нацменов» (как в советском лексиконе назывались малые народы). Такое насильственное конструирование «сверху» идеологически «единого нового народа» и «нового человека» уничтожало те «духовные скрепы», о необходимости которых говорит нынешняя власть, и создавало — согласно русской народной мудрости — «иванов, не помнящих родства», или же согласно горькой констатации времен деградации идеологии и развала опирающейся на нее тоталитарной системы — гомо советикусов.

Подавление духовности, а по сути — национальной самоидентификации, неотрывной от уничтожаемых советской властью религиозных верований, собственных традиций и самой привязанности к своей истории, сопровождалось массовыми преследованиями за «буржуазный национализм» и религиозные взгляды, насильственными переселениями народов, депортациями, лагерями и физическим уничтожением. В наше время это нашло отражение в художественных произведениях и в обширной научной литературе.

«Репрессии — необходимый элемент наступления...» — эта цитата первого наркома по делам национальностей в захваченной большевиками России, а затем «нашего вождя, отца, учителя, друга, корифея наук» тов. Сталина стала названием одной из глав книги Н.Ф. Бугая «Поляки России: поиски истины (принудительное переселение, возвращение, судьбы)» (М., 2013). Подготовленная в Институте российской истории РАН, она являет собой обширный сборник документов национальной политики СССР. Планы, реализация и последствия этой политики для судеб всех без исключения народов «Страны Советов»

рассматриваются в многочисленных исследовательских и архивных публикациях¹.

Эта аисторичная по своей сути, конструктивистская практика претворения большевистской утопии в историческую реальность не могла не закончиться крахом. *Имперские методы* силового насаждения социализма большевистского образца завершились гибелью самой Империи. Они же предрешили не только распад «социалистического лагеря», но и устремления *всех* входящих в него стран и народов в прямо противоположном направлении. Все это не только исторически очередное свидетельство мощи и немощи империяльного решения внутренних и внешних национальных проблем, но и проявление актуализации, а отсюда живучести стереотипов национального восприятия² Российской и сменившей ее Советской Империи.

Культурная реальность народов бывшего «социалистического содружества» может свидетельствовать о том, что антироссийские стереотипы и предубеждения в основе своей по-прежнему остаются прежде всего *антиимперскими*, а не только лишь русофобскими. В бывших странах «реального социализма», которые после краха навязанной им из советского извне политической системы все без исключения устремились в НАТО и Европейский союз, в восприятии русскости, как и прежде, сохраняется историческая бифуркация. Она отражает само

¹ Вот лишь некоторые из них: Страна-судилище и исправительный лагерь. Абакан, 2008. Конференция репрессированных народов Российской Федерации. 1990–1992. Документы и материалы. М., 1993; Проблемы массовых политических репрессий в СССР: материалы III Всероссийской научной конференции. Краснодар, 2006; Иосиф Сталин — Лаврентию Берию: «Их надо депортировать...» Документы, факты, комментарии. М., 1992; Бугай Н.Ф. Л. Берия — И. Сталину: «Согласно Вашему указанию...» М., 1995; *он же*. «По сведениям НКВД СССР были переселены...» (О депортации народов Украины в 30–40-е годы). Киев, 1992; *он же*. Депортация народов Крыма. Документы, факты, комментарии. М., 2002; *он же*. Народы Украины в «Особой папке Сталина». М., 2006; Бугай Н.Ф., Коцюнис А.Н. «Обязать НКВД СССР... выселить греков». М., 1999; Гурьянов А.Э. Репрессии против поляков и польских граждан. М., 1997; Полян П.М. Не по своей воле... История и география принудительных миграций в СССР. М., 2001; Лубянка. Сталин и главное управление госбезопасности НКВД. 1937–1938 / сост. В.Н. Хаустов, В.П. Наумов, Н.С. Плотников. М., 2004; Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. Краснодар, 2006; Зеликов В.Н. Спецпереселенцы в СССР. 1930–1960. М., 2003; Костырченко Г.В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. М., 2003; Казачество России. Историко-правовой аспект: документы, факты, комментарии 1918–1940 гг. Нальчик, 1999; Зубкова Е. Прибалтика и Кремль 1940–1953. М., 2008.

² Липатов А.В. Стереотипы национального восприятия: специфика национальной истории, особенности национальной культуры и адекватная оптика научного рассмотрения // *Studia polonica*. М., 2002.

раздвоение этой русскости на государство и народ, общество огосударственное и общество гражданское, мир государственной идеологии и мир национальной культуры¹. Негативному восприятию Русской Системы (термин и концепция Ю.С. Пивоварова и А.И. Фурсова) по-прежнему сопутствует интерес к классической русской культуре и деидеологизированной части культуры советского времени. Это последнее, в частности, символизируют, например, по-прежнему пользующиеся широким признанием, а в ряде случаев и массовой популярностью имена Шостаковича, Бабеля, Пастернака, Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Платонова, Булгакова, Высоцкого, Окуджавы или же такие явления, как русский авангард 20–30-х гг., балет и новаторская музыка А. Шнитке, С. Губайдулиной и Э. Денисова. Сама же сущность этого раздвоенного восприятия русскости и ее отражения / воплощения, с одной стороны, в негативных стереотипах, а с другой — в очарованности, привлекательности и увлеченности² означает, что осознание такого дуалистичного феномена возможно лишь при обращении к национальной специфике русской культуры и особенностям преломления в ней универсальных / общеевропейских ценностей, с одной стороны, а с другой — к разноаспектным проблемам изучения Русской Системы как империи среди других империй Европы³, их национальной политики и значения в истории, культуре и судьбах связанных с ними народов, лишенных собственной государственности, а затем ее обретших⁴.

¹ Ср.: *Липатов А.В.* Государственная система и национальная ментальность (русско-польская альтернатива) // Миф Европы в литературе и культуре Польши и России. М., 2004.

² Ср.: *Липатов А.В.* Польскость в русскости: разнонаправленный параллелизм восприятия культуры западного соседа (государство и гражданское общество) // Россия — Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002.

³ В нашей современной империологии помимо снижавших международную известность работ зарубежных исследователей, в значительной степени уже переведенных и на русский язык (Д. Хоскинг, Д. Ливен, Р. Пайпс, Р. Конквист и др.), несомненную роль играет издающийся с 2000 г. в Казани кварталник «Ab Imperio», представляющий свои страницы как российским, так и иностранным специалистам. См. также: *Каспе С.* Империя и модернизация. Общая модель и российская специфика. М., 2001; *Зорин А.* Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России последней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2004; *Каттелер А.* Российская империя: стратегии стабилизации и опыт обновления. Воронеж, 2004; *Гайдар Е.* Гибель империи: уроки для современной России. М. 2006. *Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И.* История России: конец или новое начало? М., 2008; *Тренин Д.* Post-Imperium. Евразийская история. М., 2012.

⁴ Здесь прежде всего можно отметить следующие работы: Австро-Венгрия. Опыт многонационального государства. М., 1995; *Горизонтов Л.Е.* Парадоксы имперской

Nihil non causa — как говаривали древние — ничего не бывает без причины. Понять же причины появления национальных стереотипов и предубеждений, их сущности и живучести значит понять себя, а тем самым других. Отсюда следует, что по возможности объективное и относительно целостное осознание совместной истории народов и государств, проникновение в суть их взаимопонимания и взаимонепонимания в прошлом и настоящем (что обретало отражение в *конфронтации* негативных стереотипов и *гравитации* ценностей национальных культур как локальных составляющих общей цивилизации) возможно только на основе интердисциплинарности. Благодаря свойственной ей исследовательской оптике и научному инструментарию представляется возможной деконструкция тех комплексов национальных предубеждений и стереотипов притяжения — неприятия, которые создают проблемы знания — незнания.

политики: поляки в России, русские в Польше. М., 1999; Миллер А.И. «Украинский вопрос» в политике власти и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). СПб., 2000; *он же*. Империя Романовых и национализм. М., 2006; Западные окраины Российской империи. М., 2007; Долбилов М. Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М., 2010; Лор Э. Русский национализм и Российская империя: кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны. М., 2012.

1.
НОВЫЕ ПОДХОДЫ
К ДАВНЕЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ

Милош Зеленка

**РОССИЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА
в символической и литературной географии
(имагологическое исследование)**

Изучение взаимоотношений между литературными общностями, например между Россией и Центральной Европой, относится к основным задачам компаративистики, исследующей «соизмеримости» или «сопоставимости» на основе различий, или анализирующей «отличия» через частичные сходства¹. Для этого способа межкультурных сопоставлений важно, что при изучении сравнительным литературоведением влияний и «литературных контактов» не требуется географической близости. По мнению испанского исследователя К. Гиллена, существуют три вида компаративистических исследований, которые основаны на разных моделях наднациональности². Первой является наднациональность, представляющая генетический контакт различных национальных культур. Вторая наднациональность проявляется в типологических связях. Третья реализуется через теоретическую модель, которую Гиллен понимает как открытое столкновение критики и истории с теорией. С межкультурными исследованиями связана и так называемая имагология как дисциплина сравнительного литературоведения, исследующая через образы (*les images*) чужого (*heteroimages*)

¹ *Zelenka M.* Interkulturní studia v kontextu soudobé literární historiografie: “komparování” jako způsob interpretace psaní literárních dějin. *World Literature Studies* 2 (19). 2010. Č. 4. S. 74–83; ср.: *Miner E.* Études comparées interculturelles // *Théorie littéraire. Problèmes et perspectives.* Paris, 1999. P. 161–179.

² Ср.: *Guillén C.* Mezi jednotou a růzností. Úvod do srovnávací literární vědy. Praha, 2008 (в оригинале: *Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada.* Barcelona, 1985).

и самих себя (autoimages) топос «иногo» в литературных текстах¹. Эти образы большей частью приобретают характер стереотипов, мифов, предрассудков и клише и являются выражением интеллектуального дискурса самых различных этнических и социальных групп. Индивидуумы и общественные группы при этом в процессе познания не выражают объективные сегменты или сущности внетекстовой реальности, но через метапозицию, т. е. через лексико-синтаксические парафразы, создают идеологическую конструкцию мира. Изучение «национальных» мифов или иллюзий посредством художественных (фиктивных) текстов, сопоставление «имиджей», к примеру, соседей показывает их определенную независимость от внешнего (реального) мира и свидетельствует об эстетике идентичности и различий в межлитературном пространстве конкретного ареала. Само понятие «имагология» с определением «компаративистская» употребил впервые в 1966 г. один из основателей этого метода Хуго Дисеринк, который создал свою теорию в оппозиции к ориентированному на структурализм Р. Веллеку, отвергавшему эту область исследований как моду на социологизированные истории художественного вкуса или так называемую национальную психологию².

Дисеринк видел в имагологии метод, который проблематику национальных менталитетов, отягощенную психологией, перевел на уровень деидеологизированных представлений о национальном характере. В 1980-х гг. теорию Дисеринка существенно дополнил французский компаративист Д.Г. Пажо³, который опирался на теорию восприятия Д. Дюришина и коммуникативную модель Ю. Лотмана. Если Лотман воспринимает коммуникацию как способность понять друг друга на основании различающихся кодов, то Дюришин говорит о том, что на взаимоотношения контактирующих между собой литератур надо смотреть так, будто бы они друг другу были чужими, будто бы между ними существовали только типологические связи. В имагологических исследованиях мы различаем тексты не по эстетическому признаку, а по важности тематики и особенно по их доступности кругам реципиентов.

¹ *Dyserinck H. Zum Problem der "images" und "mirages" und ihrer Untersuchung im Rahmen der Vergleichenden Literaturwissenschaft // Arcadia. 1996. № 1. S. 107–120.*

² Ср.: *Teorie medziliterárnosti 20. storočia I–II.; Zelenková A. Svetovna primerjalna književnost in njen slovanski prispevek. Primerjalna književnost. R. 34, 2011. Č. 1. S. 266–271.*

³ Ср.: *Pageaux D.H. Komparatistik Eine Einführung. Bonn, 1991. S. 125–133, 187–188; Pageaux D.H. L'imagerie culturelle: de la littérature comparée à l'anthropologie culturelle // Synthesis. 10, 1983. S. 79–88.*

В стороне как «неразрешимый» остается вопрос «правдивости восприятия чужого», потому что образ всегда кого-то замещает, является заменой, в то время как на первый план выходят идеи, которым «образ чужого» подчиняется. Имагология, таким образом, создает методологическую базу для написания альтернативной истории литературы. Если для существующих исследований характерна установка, позволяющая читать текст только под одним углом зрения, то имагология добивается права «бриколажа», расслоения, методических подходов, устремляющихся от чисто эстетических анализов к историческим и культурологическим исследованиям.

Эту имагологическую перспективу мы можем использовать при изучении взаимного «видения» Центральной Европы и России в рамках символической и литературной географии. Центральная Европа как культурное и географическое пространство или перекресток между неславянским Западом и славянским Востоком, бесспорно, всегда отличалась нестабильностью центров и периферий, специфическим переплетением этносов и культур, религий и идеологий. Территориальный принцип взаимного «прикосновения» вел не только к более интенсивному способу коммуникации и обмену литературными ценностями, но и к столкновениям и конфликтам художественных традиций и поэтик, норм и конвенций. Расположение Центральной Европы между двумя державами, Германией и Россией, принципиально влияло не только на политическую, но и на эстетическую коммуникацию между Западом и славянами, которая часто реализовывалась с помощью мифов, т. е. фиктивных и субъективных представлений, интерпретировавших действительность. Так, к примеру, воспринималась *западноевропейская литература со своим гегемонистическим характером, который проявлялся как универсальное и вневременное представление о некоем единстве, с которым нужно соизмерять «периферийные» части*¹. Взаимное сближение или отдаление Запада и России было результатом религиозной осцилляции и «раздвоения» славян (главным образом западных), которые по церковному обряду и политически были на стороне Запада, но в то же время осознавали племенное родство с Россией.

В привычном публицистическом и политологическом дискурсе можно выделить две модели, две концепции Центральной Европы:

¹ Sinopoli F. Il mito della letteratura europea. Roma, 1999.

минималистскую и максималистскую¹. Минималистская концепция считает это пространство последним «форпостом» Запада, ссылаясь на общий ход истории и культурные ценности; центральноевропейство здесь становится тем элитарным уровнем цивилизации, с которого сквозь соответствующую оптику рассматриваются «запаздывающие» в развитии Балканы и Россия, т. е. южная и восточная части Европы. Минималистская концепция работает с бинарными оппозициями, по принципу французского деконструктивиста Жака Дерриды (мы — они, свое — чужое, цивилизация — варвары), с мифом центра и периферии, границ и конца Европы, который способствует признанию раздвоенности Центральной Европы. Так ее воспринимает и Милан Кундера, который в середине 1980-х гг. в дискуссии с центральноевропейской интеллектуальной эмиграцией (Д. Конрад, Ч. Милош, В. Гавел и т. п.) определил это пространство как специфический регион малых наций между Германией и Россией, принадлежащий по культуре к Западу, однако после 1945 г. политически приписанный Востоку². Максималистская концепция воспринимает Центральную Европу преимущественно аксиологически, географические конструкции здесь являются чем-то второстепенным, а само существование центра Европы ставится под сомнение, как некогда целесообразность деления Европы на отдельные части. Европа, т. е. ее центральная часть, характеризуется как совокупность возникавших в ходе истории идей, связанных с традицией латинского христианства.

Отношение к России считают ключевым для Центральной, точнее, Восточно-Центральной Европы, Марсель Корнис-Попе и Джон Нойбауер, издатели четырехтомного проекта «История литературных культур Восточно-Центральной Европы: схождения и расхождения в XIX и XX», который возник по инициативе Международной ассоциации сравнительного литературоведения (l'Association Internationale de Littérature Comparée — AILC)³. В принципе речь идет о компаративистской истории литературы, написанной на европейских языках. Из сплетения терминологического хаоса и политических коннотаций,

¹ Ср.: Zelenka M. *Střední Evropa v souvislostech literární a symbolické geografie*. Nitra, 2008.

² Kundera M. *Únos Západu* // 150 000 slov. 4, 1985. Č. 10 (The Tragedy of Central Europe, 1984); далее ср.: Balabánová Ch. *Středná Európa a stredoeurópsky geografický kultúrny priestor. S prihliadnutím na interpretácie Milana Kunderu, Györgya Konráda, Václava Havla, Czesława Miłosza* // *Hrdina v stredoeurópskych a balkánskych literatúrach 19. a 20. storočia*. Bratislava, 2004. S. 9–19.

³ History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries I–IV. *Amsterdam; Philadelphia*, 2004–2010.

связанных с термином *Mitteleuropa* (Ф. Науманн) — Центральная Европа, Восточная Европа и Балканы, издатели выбрали новое нейтральное понятие «Восточно-Центральная Европа», которое подходит к более широкому пониманию классической Центральной Европы и которое включает территорию от Балкан до Средиземноморья или территорию от Чехии до Молдовы. Это понятие отличается от польского понимания Средневосточной Европы как территории между Адриатическим морем и Прибалтикой, которая намеренно отделяла себя от евроазиатской «варварской» России. Компаративистская концепция, выдвинутая французской школой «Анналов», М. Фуко, герменевтикой, но главным образом постструктуралистским пониманием истории как пластичного повествования и многопланового текста как «живого», энергичного организма, отказывается от разъяснительных подходов и привычных критериев. Из разных точек зрения издатели составляют плюралистский и материалистический дискурс «микроистории». Отсюда интерес к межкультурному диалогу, феномену эмиграции, цензуры, запрещенной литературы, внимание к категории билитературности, к авторскому многоязычию, к литературе национальных меньшинств, точнее, к способу сосуществования микро- и макролитератур в определенном регионе. В этом направлении можно найти импульсы культурологического диалогизма Бахтина и некоторых постколониальных концепций современной компаративистики¹ (см., например, работы Г. Бхабхи или А. Гнисци). Во взаимоотношениях Центральной Европы и России исследователи акцентируют прежде всего противоречия и оппозиционные бинарности, вместо того чтобы искать точки соприкосновения. М. Корнис-Попе подчеркивает, что «понимание Восточной Европы по-советски отключает регион от его традиционных взаимодействий с Центральной и Западной Европой... обособливая его от восточных и юго-восточных империалистических держав, царской России, Советского Союза и Оттоманской империи»².

Чешский компаративист К. Крейчи в своей известной статье «Миф и диалог в исторических отношениях славянства с Западом»³ отверг

¹ *Bhabha H.K.* The Location of Culture. New York? 1994; *Gnisci A.* Introduzione alla letteratura comparata. Milano, 1999.

² *Cornis-Pope M.* Písanie Dejín literárnych kultúr východo-strednej Európy: Retrospektíva // *World Literature Studies*. 2 (19), 2010. Č. 4. S. 42.

³ *Krejčí K.* Mýtus a dialog v historických vztazích Slovanstva se Západem // *Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze*. Praha, 1968. S. 197–204.

мнение о культурном неравенстве между Западом и Востоком и их неравномерном развитии. Касаясь взаимоотношений Центральной Европы и России, он говорил о мифе, который в ходе своего бытования стал историческим фактом, действующим конструктивно или, скорее всего, деструктивно. С одной стороны, языково-этническое родство вызывало стремление образовывать единое сообщество или целостную структуру, а с другой стороны, возможность объединения в одно государство и интенсивное культурное сближение ставили под сомнение разделение славян на многочисленные культурные и политические сферы. Между Центральной Европой и Россией существует специфическая коммуникация как перманентный процесс «притяжения» и «отталкивания», который из западных славян характерен прежде всего для чехов и поляков. Если до XVIII в. в отношениях Центральной Европы и России особо важную роль играли церковно-конфессиональные критерии, то с периода национального возрождения славян возрастает значение культурных связей, взаимного познания и становления национальных мифов, массово функционирующих уже практически как национальные стереотипы. Если русская интеллектуальная элита знала Центральную и Западную Европу благодаря своим путешествиям и культурным связям, если она в оригинале читала произведения английских, немецких и французских классиков, то славянские земли Центральной Европы, за исключением Польши, она игнорировала или использовала в своих целях. По мнению Крейчи, Запад начал систематически открывать Россию лишь в XVIII веке благодаря реформам Петра Великого. В отношениях Запада и России Крейчи выявил три мифа, которые появились в течение XVIII в. и повлияли на последующее «видение себя»:

1) восхищение французских энциклопедистов и Вольтера Екатериной Великой как просвещенной царицей, осуществлявшей в условиях самодержавия демократические общественные реформы;

2) противоположный миф французских противников монархии, идеализирующих польское дворянство как носителя европейских ценностей в борьбе против русских;

3) и самый популярный миф о славянах распространял немецкий деятель возрождения Й.Г. Гердер в своих «Философических мыслях истории человечества», где он выдвинул идею о «созидательной» функции славян и присудил им ведущую роль в мировой истории. Чешский компаративист пришел к заключению, что русско-европейские мифы,

несмотря на свой фиктивный характер, «проявили конструктивную силу, которая... была способна влиять на действительность»¹.

В XIX в. отношение Центральной Европы к России развивалось на фоне стратегических размышлений о политической и культурной ориентации центральноевропейских народов, которые в случае необходимости подчеркивали свои двойные, западноевропейские или восточные (русско-византийские) корни. Теоретически эту концепцию как часть немецкой военной пропаганды, направленной на создание центральноевропейской монархии под гегемонией Германии, выразил прусский милитарист Фридрих Науманн во время Первой мировой войны². Если австрославист Палацкий считал образование больших федеративных объединений стабилизирующим началом для обретения центральноевропейского культурного и политического равновесия, соединив при этом с чешской точки зрения «мифический центр» Европы с Западом, то противоположное мнение высказал словак Людовит Штур. В своей работе на немецком языке «Славянство и мир будущего» он пришел к такому радикальному выводу: славянские народы, если они хотят сохранить свободу, должны стараться примкнуть к славянскому Востоку и создать монархическую унию вместе с царской Россией³. В Польше же в результате иного культурного и исторического развития Центральная Европа понятийно сливается с такими терминами, как Средневосточная, точнее, Восточная Европа (О. Галецки, П. Вандыс и др.), Евразия, Средиземье (регион между Балтикой и Адриатикой), что вытекало из прямого географического соседства с Россией, вернее с Украиной, и из существования Речи Посполитой⁴. В польской среде концепция Центральной Европы была модифицирована идеей средневекового польского государства, в котором рядом с преобладающими поляками живут украинцы, белорусы и литовцы — в мирном симбиозе и в символической защите от России, воспринимавшейся как часть «варварской» Азии. Центральновосточная Европа, следуя польской традиции, так обозначает геополитическое пространство между Германией и Россией, которое по

¹ Ibid. S. 201.

² Naumann F. Mitteleuropa. Berlin, 1915.

³ Cp.: Zelenková A. Nevzájomnosť v česko-slovenských vzťahoch ako prvok "vzájomnej inakosti" (Ludovít Štúr a Samo Czambel) // A. Z.: Medzi vzájomnosťou a nevzájomnosťou. Sondy do česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov. Praha–Nitra, 2009. S. 205–226.

⁴ Cp.: Halecki O. Borderlands of Western Civilization. A History of East-Central Europe. New York, 1952; Wandycz P.S. Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti. Cena svobody. Praha, 2002.

своей культуре является частью Западной Европы и противопоставит ценностям евроазиатской России, т. е. речь идет о землях Центральной Европы, сдвинутых на Восток.

В Венгрии, точнее, в исторической Южной Венгрии, идея Центральной Европы была весьма популярной и активно использовалась как в художественной, так и в специальной литературе. Изолированное с лингвистической точки зрения положение угро-финского венгерского языка среди славяно-германского этноса вело к интенсивному изучению культурной исключительности венгров и, как следствие, к утверждению их «посреднической миссии» в центральноевропейском пространстве. Активно обсуждалась идея большой Венгрии, включающей в себя Словакию. Венгерское отношение к России в XIX веке определялось скорее рациональными факторами, нежели эмоциями, как у чехов и поляков: оно вытекало из положения «государствообразующего» народа как стабильной части Габсбургской империи и из его языково-этнической изолированности. Так, например, венгерский публицист еврейского происхождения П. Лендваи приравнивал местный этнос к «самому одинокому народу» Европы, а его историю охарактеризовал как «тысячелетие побед в поражениях»¹. Лендваи имеет в виду не только исключительность угро-финского венгерского языка, но и специфические способы, какими его носители умели справляться с историческими катаклизмами и ударами судьбы. Отсюда и уверенность, что поражение Австро-Венгрии было катастрофой для политической истории Центральной Европы, чью тяжесть «мы несем на себе еще сегодня»², т. е. если бы не было субъективного раскола, не было бы и развала Габсбургской монархии.

Очевидно, что центральноевропейское отношение к России актуализировалось в кризисных ситуациях, сводясь к вопросу исторического выбора и культурной ориентации. Если средневропейские рефлексии России развивались всегда на фоне более или менее интенсивных взаимосвязей с неславянским Западом, то в конкретной плоскости они колебались в зависимости от политической ориентации и стратегических целей, чему способствовало и географическое положение. Чешское отношение к России, например, всегда сопровождалось перманентной дискуссией о смысле чешской истории, т. е. о европейских корнях культуры и месте чешского народа в Европе. Не

¹ *Lendvai P.* Tisíc let maďarského národa. Praha, 2002.

² *Fejtő F.* Rekviem za mrtvou říši. O zkáze Rakouska-Uherska. Praha, 1998. S. 6.

было ни одного из известнейших чешских историков или философов, кто бы не высказался по этой проблеме. Из множества высказываний, наблюдений, а также теорий (в этом ряду можно упомянуть хотя бы борьбу за Зеленогорскую и Краледворскую рукописи, выступления Х.Г. Шауера, Т.Г. Масарика, историческое наследие позитивистской школы Голла и более поздний дискурс XX века, как это убедительно доказал чешский историк М. Гавелка в работе «Спор о смысле чешской истории 1895–1938», 1997) возникла основная идея. В антиномии Запад — Восток чехи с точки зрения культуры и политики всегда чувствовали себя связанными с Западной Европой, которая в начале XIX века географически включала в себя раздробленные немецкие княжества и современный Бенилюкс¹. Подобным образом определял Центральную Европу и Т.Г. Масарик, который критиковал представление Науманна о доминантном влиянии там немецкого народа. Масарику не нравилась мысль о государственном правовом объединении Германии с империей Габсбургов (как объединении двух военных союзников), а также угроза германской ассимиляции. В своей работе «Новая Европа» (1920) Масарик под Центральной Европой понимал географическую полосу, тянущуюся с севера на юг, от Балтики до Средиземного моря. По его версии, этот регион отличается этническим, языковым и культурным разнообразием и состоит из малых народов, которые населяют территорию от Скандинавии вплоть до юга Греции. К средневропейским народам Масарик относил шведов, норвежцев, датчан, финнов, латышей, эстонцев, литовцев, поляков, лужицких сербов, словаков, венгров, словенцев, сербов, хорватов, румын, албанцев, греков и болгар, даже частично европейских турок. К ним не относили, к примеру, немцев, австрийцев и конечно же русских.

Германию не считал частью Центральной Европы и словацкий политик и дипломат М. Годжа, который в работе на английском языке «Федерация в Центральной Европе» (*Federation in Central Europe*, 1944) отвергал культурную и политическую интеграцию в нее Германии. Именно существование двух больших держав, Германии и России, является реальным поводом для возникновения федеративно-демократической Центральной Европы, которая лежит на рубеже двух цивилизаций Запада и Востока. Концепция Годжи в принципе модифицировала габсбургскую Центральную Европу, но без авторитарной монархии. Этим Годжа отличался от своего политического

¹ *Křen J. Dvě století střední Evropy. Praha, 2005.*

коллеги — чешского политика Э. Бенеша, который в 1930-е гг. продвигал «Малую Антанту» (союз Чехословакии, Румынии и Югославии) как один из блоков, обеспечивающих политическое равновесие в Европе и противостоящих нарастающей немецко-итальянской угрозе. Годжа осознавал, что XX век стремится к политической и хозяйственной интеграции, к образованию больших сообществ, чему, однако, препятствует политическая и этническая раздробленность Центральной Европы. Поэтому создание новой карты Европы необходимо связать с преобразованием центральноевропейского пространства, которое не должно быть только транзитным поясом между великодержавными интересами царской России и императорской Германии. Годжа симпатизировал австрийскому политику и основоположнику паневропейского движения Р. Куденхове-Калерги. В 1923 г. тот дал импульс основанию так называемой Паневропейской унии, концепция которой предполагала политическую интеграцию промышленно развитых западноевропейских и центральноевропейских стран, за исключением Великобритании и Советского Союза. При своем критическом отношении к России Годжа, в отличие от Р. Куденхове-Калерги, не стремился к ее изоляции и не исключал торговое сотрудничество с коммунистами. Р. Куденхове-Калерги в своей работе «Пан-Европа» (1923), наоборот, настойчиво обращает внимание на то, что с времен Петра Великого европеизация России была только формальной и что царские или большевистские принципы управления всегда были авторитарными и противоречили европейской традиции. Только политическое объединение малых центральноевропейских народов в федеративный союз может предотвратить русскую инвазию на Запад и присоединение славянских государств к Советскому Союзу.

Подводим итоги: взаимопонимание Центральной Европы и России развивалось на фоне общих связей между Западом и Востоком. Наиболее интенсивно свое отношение к России определяли малые славянские народы, жившие в Габсбургской монархии, в то время как Россия воспринимала этот этнос утилитарно, как часть имперской «державы», несмотря на свое с ним родство (например, 1848 или 1968 гг.). Российский интерес к Европе был связан скорее с Германией, Францией или Англией, а Центрально-Европейский регион воспринимался как транзитная полоса для достижения великодержавных целей царской России или Советского Союза на Западе. Напротив, центральноевропейская, а стало быть, и чешская, позиция по отношению к России как вдохновляющей величине и символу славянской самобытности

крепла в кризисных ситуациях политической неопределенности и угрозы собственной безопасности. Настроения эти цементировало убеждение, что «неевропейская» Россия с ее «инакостью» будет демократизироваться, приспособливаться к домашним традициям и таким образом поддержит чешские интересы в геополитической конфронтации с неславянским Западом¹. В периоды стабильности и в периоды притягивания к западным структурам политические, экономические, культурные связи Центральной Европы с Россией отличались неустойчивостью и ослабевали (например, после распада Советского Союза в 1989 г.). Даже в начале XXI в. взаимоотношения России и Центральной Европы не перестают быть предметом перманентного метакритического дискурса. Хочется надеяться, что эти отношения останутся примером толерантного сосуществования и уважения друг к другу, но в первую очередь — примером контактов и взаимопонимания.

Перевод с чешского З. Матьюшовой; под ред. Л.Н. Будаговой.

¹ Ср.: Doubek V. Česká politika a Rusko (1848–1914). Praha, 2004. S. 292–293.

Павел Яначек

**«РУСАК»¹, ЖИВОТНОЕ, ДОБРАЯ ДУША И ХУДОЖНИК.
Национальные стереотипы русских и России
в чешской литературе начала XXI века**

Чешская литература 1920–1940-х гг. очень часто обращалась к темам России и в особенности Советской России. Ее образ был консервативным, пугающим. Он отличался от образа, сконструированного поэтами и художниками, связанными с идейно-эстетическими идеалами авангардного движения. Не совпадал он и с образом, воссозданным так называемой «легионерской литературой», т. е. авторами, которые жили и воевали во время Первой мировой и Гражданской войн в России в составе Чехословацких легионов. Но с подобными выводами нельзя торопиться, пока эта литература не будет более доступной и изученной.

Вполне благодатный материал для рассмотрения «образа русского человека и России» дает современная чешская литература после 2000 г. Об этом свидетельствует творчество одного из наиболее известных современных писателей — Мартина Рышавы (р. 1967). Кинорежиссер-документалист, он за последние три года опубликовал два романа, каждый из которых был удостоен премии «Литера». Название первого — «Путешествие в Сибирь». Любовный сюжет соединяется в нем с элементами романа воспитания (*Bildungsroman*), путевыми заметками, этнографическими и географическими документами. Путешествие в Сибирь соверша-

¹ «Русак, rusák» — пренебрежительное чешское прозвище русских, соответствующее англоязычному сленговому «ра́ски», также «ру́ски» (*Ruski, Russki, Ruskies*).

ется из Праги в Россию. Действия второго романа М. Рышавы, где повествователем выступает русский человек, происходит только в России. Доминирующий аспект раскрытия темы России отражен и в названии романа, состоящем из одного русского слова «врач», написанного латинскими буквами. Голос рассказчика в романе «Врач» звучит и льется словно необузданный речной поток, отсылая читателя к одной из самых влиятельных традиций чешской прозы, связанной с именем Богумила Грабала. Элементы же сказа в романе «Врач» воспринимаются чехами как знак русской культурной традиции. Чех играет в тексте роль пассивного слушателя, роль же рассказчика отведена русскому театральному режиссеру, чья карьера потерпела крах, а сам он оказался на социальном дне. Среди московских дворников теперь уже бывший режиссер развивает свои порой гениальные, порой странные мысли о русской драматургии, обществе, культуре, истории.

Может быть, следует сказать, что в современном контексте речь идет далеко не только о русском художнике, который в поисках успеха «свернул с правильного пути». Одну из самых удачных пьес последнего десятилетия написал режиссер театра и кино Петр Зеленка (р. 1967) по мотивам биографии Льва Сергеевича Термена, который изобрел первый электронный музыкальный инструмент. Пьеса рассказывает об изгнании Термена из Советской России в Соединенные Штаты, а потом о его высылке обратно в Россию. Что это, если не история непризнанного первооткрывателя новых художественных форм?

Тему России в современной чешской литературе не нужно долго искать, ее затрагивают самые известные авторы в своих лучших произведениях, а образы русского человека или России не вызывают особых споров. Новая чешская литература выделяется глобализацией сюжетов. Один из лучших чешских романов последнего времени, «В память о моей бабушке» (2002) Петры Гуловой (р. 1979), к примеру, повествует от лица монгольской женщины о Монголии. В другом романе, вызвавшем недавно оживленную дискуссию, «Небо не имеет дна» (2010) Ганы Андрониковой (р. 1967), речь идет о паломничестве за сокровищами религиозной культуры, которое приводит героиню в Южную Америку. Иными словами, чешские авторы пишут сейчас не только о Праге или Брно, но и о Берлине, Нью-Йорке, Палестине и т. п. Русские мотивы в романах Мартина Рышавы и др. в данном контексте воспринимаются в Чехии

как расширение экзотической тематики за счет восточноевропейского опыта.

Мы же в данной статье пойдем против течения отечественной (чешской) критики и попытаемся выделить тему России из данного контекста для того, чтобы связать ее с более широкой проблематикой, чем литературная, а именно с проблематикой межкультурных отношений. При этом мы не станем исходить из понятия «образ», обращающего внимание на отношение между образом и тем, что изображается, т. е. на степень соответствия образа реальности. Интуиция подсказывает, что нет смысла ставить вопрос, соответствует ли образ русского человека и России в современной чешской литературе действительности, правдив ли он или нет. Думаю, что не имеет смысла оценивать данный образ и с моральной точки зрения, пытаясь исследовать исторические или идеологические предрассудки, на которых он основывается. Образы иных народов нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Они всегда находятся в согласии с самими собой, независимо от того, соответствуют ли фактам или нет.

Хотелось бы сделать замечание и по поводу понятия «тема». В дальнейшем я буду исходить из темы литературных произведений, однако не буду концентрировать на ней внимание. Литературная тема имеет свою историю, характер и место в уникальной формально-семантической конструкции произведения. Меня же главным образом интересует структура, которая хоть и связана с литературной темой, но одновременно выходит за рамки литературы, распространяясь на все социальные дискурсы. Поэтому я буду исходить из понятия социального стереотипа, точнее — национального стереотипа. В социологии под национальным стереотипом подразумевается одна из многих познавательных схем, созданных посредством определенной системы репрезентаций. С их помощью конкретная социальная группа, в данном случае чешская нация, конструирует определенную социальную реальность. Необходимо напомнить несколько основных тезисов, на которых основывается изучение национальных стереотипов:

1) Стереотипы — это существенное средство конструирования и изучения социальной идентичности, что необходимо для интеграции отдельных индивидов в группу. Общественная коммуникация невозможна без стереотипов.

2) Национальный стереотип отражает не реальность, к примеру не национальный характер народа, но представление другого народа о нем.

3) Национальные стереотипы составляют систему гетеростереотипов (кто они такие) и автостереотипов (кто мы такие).

4) Национальный стереотип является не отражением непосредственного опыта общения, а результатом культурных традиций, передаваемых из поколения в поколение, социального влияния и влияния СМИ.

5) Национальный стереотип равнодушен к индивидуальному опыту, даже в случае если он с ним несовместим.

6) Национальные стереотипы носят оценочный характер, всегда обременены позитивными или негативными эмоциями.

7) Национальные стереотипы устойчивы к переменам, имеют продолжительный эффект, проявляют стабильность в течение короткого и более длительного исторических периодов¹.

Попытаемся определить принципы, по которым создается стереотип русского человека или России хотя бы в современной чешской литературе. В сущности, я буду искать ответ на вопрос, какие смыслы и позиции связаны в современной чешской литературе с этнонимом «русский». В произведениях известных чешских писателей «русский» в настоящее время это:

1) коммунизм, насилие и зло;

2) амбивалентность связей между цивилизацией / человеком и природой / животным;

3) все выходцы из Восточной Европы, которые друг с другом говорят по-русски, либо чехам кажется, что они так говорят;

4) так называемая «добрая душа» и другие эмоциональные качества простого человека;

5) высокий уровень культуры, которая данному обществу мало что дает.

¹ Дискуссии о взаимоотношении изучения национального характера и национального стереотипа см.: *Berting J., Villain-Gandossi Ch. The role and significance of national stereotypes in international relations: an interdisciplinary approach // Stereotypes and Nations. Crocow, 1995. P. 13–27.* Отсюда же мы заимствуем все упомянутые принципы. Кроме указанной книги мы исходим из обширной антологии литературоведческих исследований под редакцией Барфута (C.C. Barfoot): *Beyond Pug's Tour. National and Ethnic Stereotyping in Theory and Literary Practice. Amsterdam–Atlanta, 1997.*

Из бинарных оппозиций, на основе которых построен стереотип, по моему мнению, на первый план выходят следующие две: 1) русские как народ или государство — это зло, русский человек — это добро; 2) русская культура — это нечто иное, чем Россия.

Как видно, соответствующий стереотип имеет не только негативные, но и позитивные черты. При этом этноним, о котором идет речь, имеет в чешском языке два лексических значения: нейтральный «русский» и пейоративный «русак» («раски»). На практике границы между обоими вариантами, разумеется, не совпадают с границами между добром и злом. Точнее, совпадают лишь отчасти. Нейтральный вариант может иметь как позитивное, так и негативное содержание. Вариант «раски» (русак) обычно несет отрицательную оценку со стороны чеха, вызывая коннотации с упомянутым значением насилия, животного начала и т. д. Как подсказывает разговорный суффикс «-ки»¹, речь идет о простонародном выражении. В литературе оно появляется в тех местах, где в речи рассказчика или героя проступает наивная языковая «картина мира», если в данном случае мы позволим себе использовать понятие из другой научной отрасли — из аналитической лингвистики.

Вариант «русак» («раски») имеет и иное значение, которое тоже соответствует логике наивного подхода к миру. В разговорном языке это слово обозначает не только этнических русских, но и выходцев из бывшего Советского Союза, т. е. всех восточных европейцев, говорящих друг с другом по-русски, или говорящих так, по мнению чехов. Идею о существовании особого языка «раски» (языка русаков) опытный лингвист (коим я не являюсь) мог бы проиллюстрировать на примере одного очень успешного чешского телесериала «Улица». Там кроме чехов действующими лицами являются «русаки», т. е. украинцы и русские. Их опознавательный знак — определенное восточноевропейское «эсперанто», воспроизводимое актерами с помощью ограниченного числа русизмов, а также чешской грамматики и лексики, произносимой не с фиксированным (как у чехов), а с особым подвижным ударением (свойственным русскому языку).

До сих пор я пытался обрисовать структуру современного стереотипа русского человека или России и связать ее с вариативными функциями данного этнонима. Теперь мне хотелось бы на

¹ В чешском оригинале речь идет о суффиксе «-ак», так как первоначальный чешский этноним звучит как «русак».

ряде примеров показать, какое место в данной структуре занимает с тематической точки зрения чешская литература. Речь пойдет о конкретных произведениях, уже упоминавшихся в связи с тематикой творчества Мартина Рышавы и Петра Зеленки. (При этом я оставляю в стороне рассуждения об исключительных качествах высокой русской культуры, ее новаторстве и одновременно социальной беспомощности.)

Писательница Ирена Доускова (р. 1964) относится к поколению, которое появилось на свет в 1960-е гг., выросло в 1970-е, а в мир литературы вступало где-то после «бархатной революции». Вплоть до выхода в 2002 г. ее юмористического романа «Гордый Буджес» (название, которое невозможно перевести, оно образовано детским искажением слов из стихотворения С.К. Неймана) она не пользовалась популярностью. Но «Гордый Буджес» ее прославил, главным образом благодаря удачной его инсценировке, которая шла в театре и была показана по телевидению. Роман написан от лица маленькой девочки, поступившей в школу после советского вторжения в Чехословакию. Источником комизма является постоянная подмена штампов коммунистической пропаганды, которой детей пичкали в школе, антикоммунистической фразеологией, освоенной в семье. От родителей она перенимает слово «русак» как символ большевизма, диктатуры, беззакония, как метафору коммунизма. Во второй части романа данное слово вынесено в название «Онегин был русаком» (2006), что нельзя воспринимать дословно. Речь в данном случае идет не об оскорблении традиций высокой русской культуры в лице А.С. Пушкина, а об отрицании одного из принципов, на основе которого конструируется русский стереотип. На пороге взрослой жизни героиня романа учится различать «русаков» и русских людей. Она осваивает данное бинарное соотношение, свидетельствующее о том, что русская культура это нечто другое, чем Россия.

Можно найти целый ряд примеров использования сугубо пейоративных вариантов этнонима «русак» («раски»). Один из самых известных чешских писателей современности, поэт и прозаик Яхим Топол (р. 1962) издал в 2005 г. роман «Полоскать горло дегтем», возвратив читателя к современной драме чешской истории, которой для его поколения была советская инвазия в августе 1968 г. Роман относится к произведениям постмодернизма, повествующим о том, чего не было. В духе так называемой альтернативной истории там глазами беспризорного мальчишки показана война между «русаками»

и чехами. Автор пародирует сюжет романа В.П. Катаева «Сын полка». «Юный солдат» Яхима Топола иронией судьбы чередует своих союзников и противников, а поэтому и свою точку зрения: выступает на стороне либо русских, либо чешских националистов. Вместе с бестселлерами Ирены Доусковой автор показывает, что появление простонародного варианта этнонима «русак» связано с вышеупомянутой наивной картиной мира. Детский характер повествования — наиболее естественный способ ввести ее в литературу.

Мир героев Топола лишен нравственных норм, поведение обеих сторон переходит своей жестокостью все границы, которые гуманная цивилизация создает для своих представителей в форме различных табу. В современной чешской литературе оба варианта этнонима — разговорный (простонародный) и литературный — не являются выражением позитивных или негативных принципов морали. Зыбкость этих границ может быть связана как со словом «русак» («раски»), так и со словом «русский». Это показано и в романе Петры Гуловой «Станция “Тайга”» (2008). В его финале жители железнодорожного поселка у Транссибирской магистрали из-за голода и потрясений, вызванных убийством одного из героев, иностранца, становятся каннибалами.

Другим примером грубого нарушения принципов гуманизма может послужить последний роман самого популярного чешского писателя Михала Вивега (р. 1962) — «Мафия в Праге», где вместе с чешскими политиками, чиновниками, журналистами, выступают и представители русского криминала. Их репрезентация в романе является мифической. Большую часть повествования русские присутствуют только в размышлениях других героев. Их роль — ипостась неких богов смерти. Фабула романа раскручивается вокруг одного из чешских персонажей. Речь идет о человеке, предавшем мафию, а после этого преданном правительством. Для Вивега правительство и мафия суть одно и то же. Под мафией он понимает слияние организованной преступности с политико-экономической олигархией. После освобождения из-под ареста герой пытается угадать, к кому же из своих врагов он в первую очередь попадет в руки, какие пытки и какая смерть его ожидают. Он готов ко всему и с фатализмом ждет смерти. Единственное, с чем он никак не может примириться и от чего его охватывает ужас, так это перспектива, что первыми его найдут русские. В семантической структуре романа им предназначена роль демонов. И неудивительно, что когда эти

«мифические русские» навелят в банке его дочь, та встретится не с двумя бандитами, а с настоящим «злом»¹.

Хочу обратить внимание на амбивалентность связей между гуманностью и животным началом, что мы обозначили как один из принципов, структурирующий сегодняшний чешский стереотип русскости. Слишком часто в современной чешской литературе, когда идет речь о «русских» или «русаках», можно встретиться с сексуальной грубостью, изнасилованием женщин. Среди героев романа Михала Вивега «Участники поездки» (1996) есть симпатичный паренек по имени Олег. До середины романа о нем пишется как о русском, хотя он гастарбайтер с Украины. В принципе Вивег видит в Олеге жертву чешского шовинизма, а игра с его превращением в «русского» призвана показать условность национального стереотипа, к которому его приписывают. За все время поездки на автобусе к морю он совершит только один злой поступок. В крайне мучительной сексуальной сцене он превратится в эгоистичного мачо и изнасилует одну из чешских туристок, женщину более беззащитную, чем он сам. Примечательно, что данный эксцесс не меняет в принципе позитивный образ персонажа. Перед этим черным часом Олег благодаря своей простоте и жизненной силе вызывал у читателей только симпатии. Он является типичным олицетворением положительных черт национального стереотипа, простым русским парнем с широкой душой и добрым сердцем, который не виноват в том, что его представления о роли женщин и мужчин безнадежно устарели, уровень воспитания оставляет желать лучшего, отчего в бесконтрольных интимных отношениях он начинает вести себя как зверь.

В примечательной книге прошедшего десятилетия, на которой в заключении я хотел бы остановиться, выведен — не без оценочной амбивалентности — тип простого русского человека. Речь пойдет о новелле «Гануле Йозы» (2002) одной из старейших чешских писательниц Кветы Легатовой (р. 1919). Произведение названо по имени главной героини и ее супруга. Легатова занималась творческой деятельностью еще в 50–60-е гг., в начале же XXI в. произошло ее второе вступление в литературу. За сборник деревенских рассказов «Желары» (2001) она была удостоена Государственной премии. Новелла «Гануле Йозы» тесно связана с «Желарами».

¹ Viewegh M. Mafie v Praze. Brno, 2011. S. 138.

И неудивительно, что по мотивам обеих книг в 2003 г. был снят фильм, отправленный в Соединенные Штаты для участия в номинации на премию «Оскар».

Новелла и фильм кульминируют сценой освобождения деревни Красной Армией в конце Второй мировой войны. Тема эта — одна из важнейших в послевоенной чешской литературе. Легатова подошла к этой традиции весьма вдумчиво. В первой части эпизода тема освобождения раскрывается в духе официальной культуры, со всеми оптимистическими мотивами вроде совместных плясок и т. п. Однако потом происходит неожиданное: праздник дружбы и братства оборачивается плясками смерти, кровавой оргией с насилием и убийствами друг друга. Тема освобождения предстает как в кривом зеркале с антитезой традиционных мотивов. Здесь нет ничего особенного. Подобные антитезы характерны для всей чешской культуры после 1989 г., стремившейся дистанцироваться от идеологических схем коммунистического периода. Внимания заслуживает другое, а именно то, как автор в обеих частях сцены освобождения обходится с идеальным образом простого русского солдата, хорошего человека с широкой душой. После взрыва жестокости, в результате которого вся деревня мимоходом практически стерта с лица земли, повествование опять возвращается к образу «мужчин в иностранной униформе», которые «с любовью нянчат» на своих коленях «младенцев убитых ими отцов», «нежно сюсюкают в ответ на беззубые улыбки» и позволяют им «тыкать пальчиками в лицо»¹. Глубина чувств и необузданная жестокость — именно эти черты связаны с образом русского человека в новелле Кветы Легатовой. Колебания между цивилизованностью и дикостью, как один из признаков чешского стереотипа русского человека и России, перенесены во внутренний мир персонажей, представлены как черты менталитета, но никак не черты политики или культуры. Более точной иллюстрации одного из главных принципов данного стереотипа, распространенного в современной чешской литературе, пожалуй, не найти.

В заключение я бы хотел обозначить два круга затронутых проблем:

1) Художественная литература — это не единственный и не самый важный тип дискурса, посредством которого создаются,

¹ Legátová K. Jozova Hanule. Praha, 2002. S. 107.

распространяются и усваиваются национальные стереотипы. С помощью тривиальных биографических и библиографических сведений я попытался показать, что все вышеупомянутые произведения имели и имеют в чешском обществе большой резонанс. Они создавались авторами разных поколений, но одинаково связанными с эстетическими нормами современности. Можно предположить, что в массовой культуре, телевизионных сериалах, как например, в уже упомянутом сериале «Улица», в интернет-дискуссиях, в повседневных разговорах, в газетах национальные стереотипы будут выглядеть еще «стереотипнее», чем в книгах цитированных авторов, которые пишутся с намерением использовать наиболее подходящие из них. Здесь стоит упомянуть роман Вивега «Участники поездки», где автор дистанцируется от распространенного стереотипа с помощью своей композиционной стратегии. В романе П. Гуловой «Станция “Тайга”» читатель и вовсе столкнется с открытой дискуссией о стереотипе.

В коротком отрывке из вводной части романа главный герой, который в конце концов будет убит и съеден, припоминает, подъехав к станции «Тайга», традиционный стереотип русских людей как «грубиянов с нежной душой». И вот что пишет по этому поводу автор: «Он не любил эти стереотипы. Насколько он помнил, кроме нескольких литераторов никто из исполинов русской культуры не обладал слишком нежной душой. Однако среди его однокашников на кафедре антропологии в Орхусе велись и такие разговоры»¹.

В своих рассуждениях я исходил из материала современной чешской литературы, однако пользовался методами и прогнозами социальных наук. Результаты наблюдений говорят больше о познавательных схемах современного чешского общества, чем о специфике современной чешской литературы. Задачей литературоведения могло бы стать изучение разнообразных методов, с помощью которых в конкретных произведениях используются, изображаются и обсуждаются национальные стереотипы, включая и те подходы, которые позволяют считать их стереотипами.

2) От понятия стереотипа как суммы представлений собственного народа о народе другом стоило бы вернуться к понятию темы как литературной единицы. О национальных стереотипах известно, что они слабо реагируют на исторические перемены. О литературной

¹ *Hůlová P. Stanice Tajga. Praha, 2008. S. 51.*

теме мы знаем обратное: это такой элемент литературной структуры, который меняется быстрее всех остальных. Исходя из этого, мы, литературоведы, могли бы задать вопрос: можно ли на примере приведенных нами текстов наблюдать определенный конфликт между стабильностью и лабильностью, между долгой жизнью стереотипов и краткой — тем? И как бы протекала подобная дискуссия?

И вновь обратимся к творчеству Кветы Легатовой. Ее новелла «Йозова Гануле» показала, что в качестве литературной темы представления о русском человеке и России неразрывно связаны с памятью, т. е. с определенной традицией. Рубеж между первой и второй частью упоминавшегося эпизода новеллы — это не только рубеж между положительным и отрицательным образами освободителей, но и историческая грань между чешской культурой до 1989 г. и после. И напрашивается последний вопрос: если некоторые элементы тем русского человека и России в сегодняшней чешской литературе берут свое начало в исторических событиях, связанных с коллапсом советского блока и с переосмыслением официальной чешской культуры 1945–1989 гг. после «бархатной революции», то можно ли в тех же самых произведениях найти такие тематические составляющие, которые бы носили длительный характер?

Думаю, что да. Сам идеальный тип простого русского человека может быть проекцией чешского автостереотипа в чешский национальный гетеростереотип. Чехи тоже обычно позиционируют себя как простой народ обыкновенных и добрых людей. Идеал простоты и обыкновенности занимает в ценностной иерархии национальной культуры почетное место¹.

Вспомним, что оппозицию «злое государство — добрый человек» применил к России еще в середине позапрошлого века основоположник современной чешской журналистики Карел Гавличек-Боровский. В статье «Русские», опубликованной в 1850 г. журнале «Слован», он писал:

Прежде всего необходимо отделять русский народ от его правительства. Одно дело — русские люди, наши славянские братья, народ великий, доброжелательный, весьма одаренный и бойкий, сохраняющий старые и добрые обычаи, народ с великим будущим <...>; и совсем иначе мне

¹ Ср.: *Lešnerová Š. Pojetí národnosti v Havlíčkových Obrazech z Rus // InterFaces: Obraz vzájemných vztaů Čechů, Poláků a Němců v jejich jazycích, literaturách a kulturách. Praha, 2002. S. 106–112.*

представляется нынешняя русская власть, построенная на совершенно чуждых и не достойных похвалы традициях <...> и без всякого сочувствия к народу русскому. И мы наделали бы ошибок и навредили бы самим себе, если бы <...> абсолютизм русской власти считали бы свойством и виной русского народа <...> Власти уходят, народы остаются...¹

Перевод с чешского О. Павловой, Л.Н. Будаговой.

¹ *Havlíček Borovský K. Dílo I. Ed. Jiří Korejčík. Praha, 1986. S. 122.*

А.В. Липатов

**ИСТОРИКО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ФАКТОР
ИНОНАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
(на примере польского отношения к русскости)**

Давние наблюдения и давно проводимые изучения межэтнического взаимовосприятия, равно как позднейшие — вытекающие из них — имагологические исследования, открывают специфичные для каждой из этнических культур различия в представлениях о «других» и оценках «другого». Это прямое следствие этнически предопределенной рецепции внешнего мира, образ которого предстает преломленным в призме *своих* представлений как гносеологически исходных и аксеологически эталонных.

Такое восприятие порождает емкие стереотипы этнического мышления. Конденсируя — сжимая и упрощая — ценностные, нравственно-бытовые, художественные смыслы и отнологические сущности этнически чужого, эти стереотипы вследствие своей содержательной сжатости, этноцентричной специфичности, а тем самым смысловой упрощенности обретают эффект общедоступности, а потому общепонятности и «свойскости», что и предопределяет феномен их массового усвоения, распространения и живучести. Легко укореняясь в общественном сознании, они сохраняются в общественной памяти и функционируют в историческом времени, накладывая отпечаток не только на сферу межэтнического общения. В той или иной степени они воздействуют на сферу государственной политики и вырабатываемой элитой власти национальной идеологии как способу социальной технологии — т. е. такому средству манипуляции массовым сознанием, которое призвано формировать тип представлений и стереотипы

воззрений, соответствующих намерениям правителей. Преследуя свои цели, идеология институтов власти реанимирует и модернизирует возникшие в прошлом этнические / национальные стереотипы, перманентно обновляя исторический нарратив и актуализируя национальную мифологию. Это происходит путем выработки того, что теперь квалифицируется как «историческая политика», которая реинтерпретирует прошлое и интерпретирует настоящее под углом зрения текущей государственно-политической программы, разрабатываемой в ее рамках идеологии и вытекающей из нее массовой пропаганды.

По мере культурно-исторического развития, возникновения гражданского общества, противостоящего обществу огосударвленному (формируемому и поддерживаемому институтами светской и церковной власти), появляется такой тип высокой культуры, который представляет независимое от властей, свободное мнение, отбрасывающее стереотипы и демофилогизирующее идеологию. Это сосуществование во времени и противостояние в культуре двух мировосприятий не только продолжается, но и обостряется в наши дни, олицетворяя центробежные и центростремительные силы Европы как цивилизации.

Каковы причины самого возникновения, конфронтации, функционирования, реанимации и обновления этнического / национального взаимовосприятия, порождаемых им стереотипов и мифологии? Какие конкретно-исторические условия способствовали (и способствуют) их распространению в культурно, социально и этнически дифференцированных слоях народонаселения? Каковы реальные предпосылки их функционирования во времени одного этнического пространства и на протяжении истории цивилизационной общности, частью (и производной) которой является это пространство? Что в этом инациональном восприятии изменялось, а что могло оставаться неизменным и почему?

Попыткой ответов на эти вопросы является рассмотрение истории этнического–национального–государственного восприятия в том аспекте, который открывает историко-цивилизационный подход. Свойственная ему исследовательская оптика и аналитический инструментарий позволяют увидеть и осознать национальное и универсальное не под углом зрения антиномии взаимоизолированных и самодостаточных сущностей, а в свете диалектики исторически изменяющихся взаимосвязей локального (этнического) и универсального (европейского), что обуславливается самой принадлежностью к цивилизационно общей аксиологии.

Европа как сугубо географическое понятие времен античности обретает в эпоху Средневековья новый — сущностный — смысл как цивилизация. По мере распространения христианства она выступает как определение *christianitas* — экумены той части земного шара, которая объединяет заселяющих ее людей общим для них мировосприятием со свойственной именно ему универсальной системой ценностей. Эта новая духовность объединяет разрозненные племена, ранее взаимоотношдаемые присущими каждому из них языческими культурами. На такой универсальной основе начинают формироваться народности и создаваться консолидирующие каждую из них государственные объединения, связанные с конфессиональными центрами и использующие их учение в своей внутренней и внешней политике. При этом сам понадплеменный тип собственной идентификации формировал локальное самоощущение уже не как некоей изолированной и самодостаточной общности, а как составной части цивилизационного универсума. Тем самым этногенез народов в кругу ставшей для них общей цивилизации являет собой диалектическое единство — органичную взаимосвязь локального (этнического) и универсального (цивилизационного). Манихейское же разделение этого двуединства, идеологическое по своей сути расчленение составляющих единое целое и их противопоставление характерно для позднейших времен национализма, зарождающегося в конце XVIII в. Выступая в различных своих проявлениях, свойственное определенным периодам истории, это обстоятельство вплоть до наших дней дает о себе знать в самосознании разных народов, каждый из которых имеет за собой собственный опыт минувшего и уроки настоящего.

Такого рода факторы локального характера накладывают отпечаток на этническое / национальное осознание цивилизационного измерения своей идентичности. События собственно конфессиональные (очередные разделения христианства), политические (межгосударственные конфликты), накладывая отпечаток на особенности мышления отдельных народов, предопределяли специфику их представлений о себе и других. Тем самым изначальное и первичное двуединство локального и универсального обретало внутреннюю дифференцированность — исторически обусловленную изменяемость удельного веса каждой из двух составляющих. А это по мере развития локальной культуры на цивилизационно общей основе порождало особенности восприятия как самих себя, так и своих соседей¹.

¹ См.: *Lipatow A.* Rosyjskie projekcje europeizmu a czynnik polski (od Średniowiecza do

Каждая локальная самоидентификация этноцентрична. Сложившиеся и привычные представления о себе, своих верованиях, обычаях, культуре, своем прошлом и настоящем являются эталоном не только самопонимания, но и понимания, оценок и отношения к другим. Поэтому такое восприятие лишено объективности, которая зиждется на понимании этих других посредством эмпатии. Объективность вообще внеположна традиционному восприятию, ибо она вне представлений, целей и задач такого рода рецепции, где все «чужое» рассматривается и оценивается соответствием и несоответствием, похожестью и непохожестью, близостью и чуждостью «своему». Отсюда возникновение стереотипов этнического мышления и национальной мифологии, *превозносящих* «свойскость» и возносящих ее над своим окружением. Поэтому-то научное осмысление материалов, отражающих представления одного народа о другом, может выявлять не столько (и не только) облик этого другого, сколько прежде всего *картину мира самой воспринимающей стороны* — ее менталитет, культурные представления и самооценку, т. е. все то, что являет собой *ее собственную самоидентификацию*. В этом отношении рассмотрение польского восприятия русскости, начиная со времен вхождения этих представителей западного и восточного славянства в Европу как цивилизацию, представляет интерес не только с точки зрения истории их взаимоотношений, но и местного — этнического — проявления общих закономерностей европейской цивилизации, которая после разделения Церквей не распалась, а *внутренне дифференцировалась* на *Rex Latina* и *Rex Orthodoxa*. Взаимопроницаемость этих двух составляющих, которые Иоанн Павел II метафорически окрестил как «два легких Европы», наложила отпечаток на культуры и связанные с ними взаимопредставления поляков, русских, украинцев и белорусов.

Само возникновение и начальный период формирования ponadплеменной самоидентификации в пространствах Древней Руси и Польши связано с принятием и распространением христианства, а тем самым — вхождением их политических объединений в Европу как цивилизацию. В эту — средневековую — полосу времени близкое (в категориях времени большой длительности) прошлое праславянского единства в условиях начального периода складывания народностей, изменяющихся, расплывчатых и проницаемых политических границ обуславливало размытость понятия «свой» — «чужой».

epoki nacjonalizmów) // Rosja współczesna. Dziedzictwo i przyszłość. Toruń, 2010.

Осознаваемая благодаря языковой близости¹ этническая общность (что обрело отражение в мифе о родоначальниках — братьях Чехе, Лехе и Русе) была скреплена общностью конфессиональной, одновременно обретая универсальное измерение: совместное бытие в христианской экумене. В памятниках своей истории, возникших вследствие христианизации локальных культур, славянские племена как внутри, так и вне своего политического пространства *осознавались как родственные соседи*. В условиях государственной неоформленности политических объединений, а отсюда и отсутствия патриотизма (возникающего тогда, когда появляется *PATRIA*), столкновения с отдельными племенами внутри своего политического пространства трактовались так же, как столкновения с племенами, входящими в политические объединения славянских соседей. Такое восприятие обуславливалось изменяющимся племенным составом объединений, что было связано с продолжающимся переселением племен. Так, автор «Повести временных лет» сообщает о том, что радимичи и вятичи пришли из «лядзкой», т. е. польской земли.

Традиционное родственно-соседское взаимовосприятие как отражение прастарой картины своего — славянского — мира (а теперь уже как части христианской экумены) обуславливалось также и тем, что управленческие структуры надплеменных политических объединений, возглавляемых династиями Рюриковичей и Пястов, еще не обрели институционального содержания, были лишены институтов и процедур, определяющих собственно государственный статус².

Для понимания русско-польского восприятия тех времен необходимо также принять во внимание, что государство (точнее то, что позднее стало называться государством) рассматривалось как личная собственность правителя. Князья посредством матримониальных связей выстраивали свои политические отношения. Так, сестра Ярослава Мудрого стала женой Казимира I, Святополк был женат на дочери Болеслава I Храброго, Изяслав был племянником Болеслава II Смелого, а его женой была Гертруда, сестра Казимира I. На русских князях были женаты Болеслав Кривоустый, Боле-

¹ Отсюда в славянских языках чужие — это «немцы», т. е. «немые», не понимающие нашего языка.

² В нашей дореволюционной историографии первым, кто подверг сомнению государственный статус Древней Руси, был С.М. Соловьев. В советский период продолжателем этой концепции был И.Я. Фроянов, писавший об общинно-народоправном характере власти в Древней Руси.

слав Кудрявый, Мешко Старый, Лешек Белый, Конрад Мазовецкий, Лешек Черный.

Во время междоусобной войны Болеслав I Храбрый вошел со своим войском в Киев не как завоеватель (о чем сообщают наши учебники истории), а как защитник интересов своего зятя Святополка. Точно так же на помощь своему племяннику Изяславу во главе своего воинства появился в Киеве Болеслав II Смелый.

Развитие форм власти на протяжении Средневековья привело к концу XV в. к возникновению самодержавного типа правления в Московском государстве, а в Польше — сословной монархии, которая объединила наряду с польскими землями ту часть Древней Руси, которая впоследствии стала Украиной и Белоруссией¹. Государственность, консолидируя локальные этносы, а тем самым динамизируя процесс формирования народности, обусловила появление помимо давнего этнического новое — патриотическое — самосознание. Интегратором этих двух сфер была государственная культура.

Универсальная культура *Rex Christiana* вследствие институционального внутрицерковного конфликта (1054) дифференцировалась на *Rex Orthodoxa* (в кругу которой пребывала Древняя Русь) и *Rex Latina* (в составе которой находилась Польша). Эти взаимосвязанные закономерности универсального и локального характера по мере своего воздействия на местной почве обуславливали нарастание различий в характере развития и самом облике культур русских и польских соседей².

На рубеже польских эпох Средневековья и Возрождения этноконфессиональную картину мира в преломлении польской самоидентификации теперь уже как части *Rex Latina* отражает латиноязычная «История Польши с древнейших времен до 1480 года» Яна Длугоша (1415–1480). Это, вероятно, первое из сохранившихся свидетельств исторически сложившихся к тому времени польско-русских различий. Они-то и предreshали как уже наметившиеся, так и предстоящие осложнения во взаимопонимании и взаимонепонимании двух славянских соседей. Длугош согласно установившейся традиции осознает славянское родство, которое, подобно автору «Повести временных

¹ См.: Липатов А.В. Культуры Руси, России, Украины и Белоруссии в их отношениях с Польшей: от Средневековья до начала XVIII в. (Опыт цивилизационно-регионального рассмотрения) // Славянский мир в глазах России. М., 2011.

² См.: Липатов А.В. Стереотипы национального восприятия: специфика национальной истории, особенности национальной культуры и адекватная оптика научного рассмотрения // *Studia Polonica*. К 70-летию В.А. Хорева. М., 2002.

лет», возводит к ветхозаветному Яфету. При этом, отмечая в прошлом дружественные связи Древней Руси и Польши, он однозначно представляет русских соседей в весьма неблагоприятном для них свете. Критерием его оценок является разная конфессиональная принадлежность, которая и характеризует «своих» и «чужих». Длугош (который в 1440 г. принял духовный сан) так же непримирим в своем отношении к православию, как русское духовенство — к католицизму. Наряду с языческими литовцами и мусульманскими татарами русские в его глазах — «иноверцы». Истинная вера — католичество. Потому-то, как утверждает Длугош, сестра Ярослава Мудрого, выйдя замуж за Казимира I, убедилась в «чистоте» римского вероучения и с «омержением отринув греческую веру, заново крестилась в краковском костеле». Отраженное в русских и польских свидетельствах отнюдь не христианское поведение поляков — распущенность, насилие, разврат — Болеслава II Смелого и его воинства в Киеве Длугош объясняет тем, что они подражали «омержительной распущенности русинов, среди которых Содом был грехом всеобщим»¹. Отсюда и все последующие суждения, взывающие к отмщению: «зло Москвы», ее «клятвопреступление», ее народ «слабый, скверный и немощный», «Московит хитрый», а племя его «злое». Поляков же возвышает над русскими не только римско-католическая вера, но и более древняя история, а посему и их особая роль в истории самой Руси: согласно Длугошу, мифический родоначальник Рус был не братом, а внуком Леха, поэтому русские племена происходят от лехитов, Киев же основал польский правитель².

Эти существенные изменения в польском восприятии свидетельствуют о том, что на излете Средневековья *универсальный фактор* развития польской культуры в кругу *Rex Latina* становится *национальным идентификатором*, предрешая тем самым отношение к культуре Руси, формирующейся в кругу *Rex Orthodoxa*.

В следующем столетии — во времена зрелости эпохи польского Возрождения — в сфере конфессионально окрашенного этнического восприятия все больший удельный вес обретает светское измерение. В полиэтничном, многоконфессиональном и — в отличие от Запада и Востока Европы — толерантном³ Польско-Литовском государстве

¹ Цит. по: *Selicki F.* «Powieść minionych lat», charakterystyka historycznoliteracka. Wrocław, 1968. S. 123–124.

² Цит. по: *Kępiński A.* Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu. Warszawa–Kraków 1990. S. 35.

³ Еще в позднесредневековые времена (1434) православная шляхта получает те же права, что и шляхта католическая. В 1573 г. постановлением Варшавской конфедерации признается равноправие всех христианских конфессий. Согласно Литовскому статуту,

культура политическая, бытовая, художественная и научная создает в местных представлениях ту картину мира, которая является исходным пунктом, эталоном, а тем самым оценочным мерилom восприятия другой этногосударственной реальности.

В XVI в. в Речи Посполитой было уже три университета: помимо основанного еще в 1364 г. университета в Кракове король Стефан Баторий в 1578 г. открывает Вильненский университет, а в 1594 г. канцлер Ян Замойский создает университет в построенном им ренессансном городе Замостье. Возникшая во времена Средневековья польская система образования как часть общей образовательной системы латинского мира имела в программе семь свободных искусств. В ту же пору поляки начали получать образование в университетах Запада. Во времена Возрождения в одном только Падуанском университете насчитывалось свыше тысячи польских студентов. Почти все члены сената Речи Посполитой XVI в. имели университетское образование¹.

В Московском государстве этого времени (как и в Древней Руси) существовала иная и в силу известных особенностей местной истории продолжающаяся средневековая традиция *Pax Slavia Orthodoxa*: «не столько образованность, сколько грамотность и начитанность. Отсутствие... “семи свободных искусств”, в частности, означало, что в русском письменном слове оказались практически не представленными ни наука, ни философия, ни богословие»². Отсутствие сформировавшихся сословий обуславливало однородное единство русской культуры, ее общую для всех слоев — от крестьянина для князя — патриархальность. Европейские послы XV–XVI вв. отмечали, что культура русских придворных, их бытовая манера поведения ассоциировались с бытовой культурой простолюдинов в западных странах, а церемониал дворцового приема — с экзотикой Востока³.

крестившиеся евреи и татары переходили в шляхетское сословие (см.: *Липатов А.В. Великое княжество Литовское: исторический феномен симбиоза этнических культур (К вопросу о национальных путях возвращения в наднациональную Европу) // Вопросы философии. № 1. 2003; он же. Литва и Польша: временные и пространственные координаты межкультурных отношений (К постановке проблемы соотношения универсального и национального в сфере культуры) // Балты и Великое княжество Литовское. М., 2007. См. также польский раздел «Истории литератур западных и южных славян». Т. I. М., 1997 (там же и библиография).*

¹ Подробнее об этом см. в польском разделе «Истории литератур западных и южных славян» (Т. I. М., 1997).

² *Сапронов П.А. Русская культура IX–XX вв. СПб., 2005. С. 135.*

³ См.: *Россия XV–XVI вв. в глазах иностранцев. М., 1986; Сапронов П.А. Указ. соч. С. 306–309.*

Такого рода историко-цивилизационные расхождения некогда близких культур, сопутствующий этому процесс формирования народностей и возникновение уже им свойственного — нового — типа самоидентификации обусловили принципиально иное взаимовосприятие. Существенные различия в образовательной и бытовой культуре имели продолжение в принципиальном различии культуры политической. Система самодержавия в России и система шляхетской демократии в Речи Посполитой порождали два принципиально различных типа этнического менталитета, а это проецировалось на всю дальнейшую историю формирования русской и польской наций, равно как и свойственный каждой из них различный образ мышления.

Идея *человека для государства* как наивысшей ценности сформировала — наряду с православной доктриной соборности, деперсонализированное мышление, русское всеподчинение власти, благоговение перед верховным властителем, который в XVI в. почитался как «земной Бог».

Идея *государства для человека* — наряду с персоналистским мышлением «рыцарского сословия» (как именовала себя шляхта) — формировала личностный тип самоощущения, чувство собственного достоинства со свойственной ему критичностью по отношению к власти и независимостью индивидуальной позиции как гражданина своей сословной республики. (Ее название — Речь Посполитая — калька с латыни — *res publica* — общее дело. В глазах шляхты ее образцом была Римская республика, а идеалом гражданственности — добродетели ее граждан.) Поэтому-то в ренессансные времена разноэтничные представители гражданской / политической нации Речи Посполитой изумлялись раболепием московитов и их обожествленным почитанием царя: при одном упоминании его имени они снимали шапки, склоняли головы и крестились. Московитов же в свою очередь удивляло польское представление о власти: польский король, которого выбирает шляхта, тем самым зависит от нее. Какой же он после этого правитель? А русский царь — от Бога, а посему он — «земной Бог», отчего всепочитаем, всевластен и всемогущ.

В ренессансной Польше — как ранее на Западе — обрел распространение жанр *nationum proprietates, descriptio gentium* — характеристики народов. Свойственная ему конвенция использовалась и в других жанрах, когда речь шла о представителях других этносов. Характерная для всех народов самоидеализация предопределяла изображение особенностей других с точки зрения подобия или отличия от того, что свое.

Естественно, поляки не были исключением. В свете рыцарского этоса и свойственного ему стиля поведения, обычаев и манер москвиты представляли как народ грубый, некультурный, варварский, жестокий и трусливый, не имеющий понятия о чести и честном слове. Такого рода характеристики москвитов были свойственны как шляхетскому, так и народно-городскому течениям польской литературы. Итак, подобные расхожие представления о восточнославянских соседях обрели отражение в знаменитом «Зерцале» (изд. 1568) М. Рея, нареченного «отцом польской литературы», равно как и в «Различии народов с их особенностями» (изд. 1614) одного из ярких представителей народно-городского (совизжальской) литературы Яна из Киян.

Такого рода репрезентативные для польского восприятия русскости свидетельства эпохи Возрождения и последующих времен достаточно полно собраны и изучены польскими учеными в работах общего характера¹. Теперь же на своего рода следующем этапе осознания польского восприятия русскости целесообразно выяснить саму основу и обоснования такого восприятия в его обусловленности национальным менталитетом, который может быть понят в свете исторической изменчивости межнациональных отношений в культурном и геополитическом пространстве европейской цивилизации.

Окончательное возобладание контрреформации в Речи Посполитой первых десятилетий XVII в. обострило неразрывно связанные с профессиональной принадлежностью межэтнические отношения внутри и вне страны. Сугубо историографическая концепция, согласно которой предками поляков и русинов были воинственные сарматы, теперь обретает идеологический облик: сарматы — предки лишь шляхетского сословия, а простонародье — потомки покоренных сарматами местных племен. Шляхта — создательница государства, которое в нынешние времена является «твердыней» (*antemurale*), защищающей истинно христианский мир от ислама, православия и протестантизма. В свете этой идеологии перманентные, а для Запада — локальные войны Речи Посполитой с православным соседом обретают универсальное измерение. Давние известные суждения о России теперь актуализируются в духе идей Тридентского собора, общих для католических стран. При этом характерная для католического соседа России особенность:

¹ Если речь идет об исследовании этих текстов в аспекте стереотипов, мифологии или же имагологии, то тут следует особо выделить работы А. Кемпиньского и А. Невяры. См.: *Kępiński A. Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu. Warszawa-Kraków, 1990; Niewiara A. Moskwićin-Moskal-Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret. Łódź, 2006.*

изначально общее для христианства мировосприятие и свойственная ему система ценностей, контрастируя с исламской культурой татарского Крыма и османской Турции (с которыми, как и с Россией, велись постоянные войны) — обусловила существенную и весьма симптоматическую для польского менталитета дифференциацию. В мемуарах и дневниках XVII в. татар и турок неизменно называют «врагами», тогда как отношение к русским определялось как «неприятель» и «нелюбовь»¹. Неизменной, а вследствие непосредственных контактов — подобной и прежней, оставалась характеристика русской культуры — бытовой и политической. «Грубость», «варварство», «вульгарность», «необязательность», «жестокость» — все эти расхожие и постоянные оценки были вызваны длящейся средневековой русской традицией, которая по-прежнему накладывала отпечаток также на поведение русских дипломатов, содержание и стиль русских грамот, отражающих политическую культуру, восходящую ко временам монгольской Руси. Если же речь идет о поведении русского воинства на захваченных территориях, то оно было достаточно типичным для всех армий Европы, не исключая польско-литовских (в составе которых были украинцы, белорусы и казаки). В этом отношении красноречивым и колоритным свидетельством являются «Воспоминания» Я.Х. Пасека — «сарматского» вояки и прощельги, живописующего свои военные приключения за границами Речи Посполитой, или же так называемые «Еврейские хроники», возникшие в том же XVII в. на Украине.

В следующем столетии, вошедшем в историю Европы как эпоха Просвещения, начатая Петром I ускоренная модернизация России и ее все возрастающая роль в геополитическом пространстве Европы (включая Речь Посполитую) существенно изменяет польское восприятие своего восточного соседа². Создание мощного государства привлекает внимание польской общественно-политической публицистики как опыт, заслуживающий внимания в клонящейся к упадку Речи Посполитой. Пренебрежительное, а порой презрительное отношение к русским царям³ сменяется — как и во всей Европе — уважением и стремлением

¹ Niewiara A. Op. cit. S. 58.

² См.: Липатов А.В. Славянское Просвещение в общеевропейском контексте // Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Просвещение. Национальное возрождение. М., 1982; он же. Литературный облик польского Просвещения (Особенности национального развития, общественные идеи и художественные направления от сарматского барокко до романтизма) // Там же.

³ См. собранные А. Невярой материалы мемуаристики, где можно встретить такие польские суждения о русской царствующей особе, как «варвар», «висельник», «большой дурак».

понять масштаб их неоднозначной личности. (В этом отношении особый интерес представляют мемуары А.Е. Чарторьского.)

Стремительная европеизация России XVIII в. делает ее органичной составной частью общеевропейского процесса в культуре, литературе и искусстве, вследствие чего стираются возникшие во времена Средневековья границы *Rex Latina* и *Rex Orthodoxa*¹. Эти изменения общеевропейского масштаба обусловили изменения в польском восприятии высокой русской культуры. Начинаются личные контакты русских и польских писателей, а с 1780-х гг. появляются первые польские переводы русских художественных произведений. Созданное в 1800 г. Варшавское общество друзей наук избирает своими членами Державина и Жуковского.

Этот интерес к русской культуре и литературе, обусловленный теперь уже общей принадлежностью к современному цивилизационному универсуму, осложнялся политической ситуацией, связанной с разделами и окончательной ликвидацией польской государственности Россией, Австрией и Пруссией. Национальный шок сопровождался поисками путей существования нации без государства. Антироссийские настроения, как традиционные, так и связанные с первыми национально-освободительными движениями (Барская конфедерация, восстание Костюшко), сочетались с рационалистическими концепциями сосуществования с Россией. Одним из такого рода проектов были «Мысли о политическом равновесии Европы» (1818) видного общественно-политического деятеля, ученого и публициста С. Сташица.

Подобные идеи, возникшие в кругу просветительских концепций культурного универсализма, оказались несбыточными в силу различий польской и русской *политической культуры*. Самодержавное мышление (отраженное, в частности, в «Записке о древней и новой России» Н.М. Карамзина), с одной стороны, и традиционные для поляков республиканские представления о государстве и гражданских правах — с другой, неминуемо вели к конфликту российской системы власти с созданным по решению Венского конгресса автономным Королевством Польским². Ноябрьское восстание 1830 г., проходившее

¹ См.: Липатов А.В. Проблемы общей истории славянских литератур от Средневековья до середины XIX в. (Европейский контекст, типологическая дифференциация и национальная специфика, формирование основ современного развития) // Славянские литературы в процессе становления и развития. От древности до середины XIX в. М., 1987.

² См.: Польша и Россия в первой трети XIX в. Из истории автономного Королевства Польского. М., 2010.

под лозунгом «За вашу и нашу свободу» было *не антирусским, а анти-самодержавным*. Спустя пять лет после восстания декабристов поляки поднялись против того же самого царя и против той же самой системы власти. Первая манифестация в освобожденной Варшаве несла пять символических гробов в память пяти повешенных руководителей русских повстанцев. И не случайно, что после разгрома польского восстания, в изданных в эмиграции и ставших классическими произведениях Мицкевича и Словацкого среди положительных персонажей появляются русские офицеры. Они — из поколения декабристов — представляли ту русскую независимую мысль, которая единила их с польским свободомыслием.

Времена польской истории после разгрома Ноябрьского восстания — это эпоха национальной ТРАВМЫ. Существенные изменения в ситуации поляков были обусловлены существенными изменениями в политической культуре самой русской власти. Созданная Петром I *универсальная монархия*, развивающая свою мощь и культуру в русле мышления эпохи Просвещения, а на заключительной ее стадии — в духе либеральных намерений Александра I, воспитанника республиканца Лагарпа, теперь трансформируется в *империю национальную*. Ее идеологическая формула («православие, самодержавие, народность») суть *российский вариант общеевропейской эпохи национализмов*. Для многонациональной государственности это таило угрозу, неуклонно ведущую к постепенной утрате имперской мощи и гибели империи в начале следующего столетия.

Польский национализм (как и формирующийся в этот период национализм украинский, литовский и других народов России) в условиях национальной монархии и свойственной ей унитарной системы неминуемо породил русофобию.

ТРАВМА не сломила польскую нацию, лишенную своего государства. Наоборот — она неминуемо вела к январскому восстанию 1863 г. Последовавший неизмеримо более жестокий разгром, репрессии и неимоверные ограничения национального бытия не могли не отразиться на отношении поляков к России.

Проблема наций в империи и самой имперской нации заключалась в том, насколько в национальных самосознаниях будут осознаваться различия российской власти и русского народа, российской идеологии самодержавия и русской высокой культуры. В польском обществе, которое подверглось жестким ограничениям всех сторон национального бытия, это разделение не было четким и однозначным.

Характерным примером второй половины XIX в. является бойкот гастролей русского театра и выставки передвижников. Популярнейший Б. Прус, посетивший выставку и написавший о ней в своих еженедельных хрониках, подвергся остракизму. Г. Сенкевич холодно отреагировал на приветственное послание русских писателей, отправленное по случаю его юбилея.

Русские власти посылали в Привислинский край (после восстания 1863 г. Польшу лишили ее исторического названия) чиновников, которые в силу своего низкого культурного уровня и слабых способностей не могли сделать карьеру в самой России. Тем самым неизбежные с ними контакты поляков дискредитировали и Россию, и самих русских. Русский язык был введен как обязательный язык учреждений, публичного общения и обучения (в гимназиях следили за тем, чтобы даже на переменах ученики разговаривали только по-русски). Доходило до случаев анекдотичных, когда, например, был дан ход доносу жандарма на машиниста паровоза, который на польском языке дал команду помощнику: «выпускай пар». Русская власть преобразила даже внешний вид Варшавы: воздвигнутое Сташицем в центре города здание Общества друзей наук было перестроено в псевдорусском стиле. Там разместили русскую гимназию и православную церковь. В старинном Саксонском парке был выстроен огромный, подавляющий своими размерами окружающее пространство православный собор. В разных местах воздвигались православные церкви, причем особым постановлением запрещалось строительство католических храмов, которые по высоте могли бы превосходить русские храмы¹. Все это не могло не накладывать отпечаток на польские представления о русскости. А при этом до сих пор сохраняется благодарная память поляков о тех русских, которые были носителями высокой культуры, представляли тот русский европеизм, который сближал тогда же, когда имперский национализм разделял и отталкивал. В этом отношении до роли символа вырастает образ генерала Сократа Старинкевича (1820–1902) — президента Варшавы (1875–1892), а затем вице-президента Варшавского статистического комитета. Он с уважением и пониманием относился к полякам, приложил усилия к модернизации их столицы в духе современной Европы, добился в Санкт-Петербурге утверждения планов благоустройства города. Старинкевич упорядочил городское хозяйство,

¹ На эту тему существует обширнейшая литература. На рус. яз. см.: Сокол К. Русская Варшава. М., 2002.

создал канализацию и водопровод, пустил конный трамвай, вымостил улицы, усовершенствовал систему городских финансов. Благодарные поляки назвали его именем площадь, поставили ему памятник, а монументальное надгробие на его могиле до сих пор содержится за счет города в идеальном порядке.

С последних десятилетий XIX в. усиливалось русско-польское взаимопонимание в свете высокой культуры, благодаря непосредственным личным контактам и высокому признанию польской литературы и искусства в России, а русской — в Польше.

С воссозданием польской государственности (1918 г.) эти тенденции обрели естественное продолжение. Новый и еще недостаточно изученный аспект русско-польского взаимопонимания и сотрудничества — пребывание довольно многочисленной русской эмиграции в независимой Польше.

Поляки разделяли Россию и СССР. Польско-советская война 1920 г. обрела официальное название как «польско-большевистская». В составе польской армии тогда сражались русские, украинцы, белорусы и представители других национальностей бывшей империи. Врагов же называли не русскими, а «советскими». Офицеры бывшей России участвовали в организации армии молодого польского государства, а особенно в создании польского военно-морского флота. В условиях демократической польской государственности был продолжен русско-польский диалог, который прокладывал пути к сближению на основе общецивилизационных ценностей вопреки традиционным предубеждениям.

Демократические — не связанные с той или иной идеологией — издания с особым интересом обращались к советской действительности. Об открытом характере, свойственном независимо мыслящей среде гражданского общества в отношении к СССР, свидетельствует роман С. Жеромского «Канун весны». Досконально знающий Россию «изнутри» и непримиримо относящийся к тому, во что превращал ее большевизм, С. Мацкевич, который посетил СССР в 1931 г., писал: «Распространение лжи о Совдепии является излишним и вредным»¹. Познание советской действительности вело к осуждению большевизма, попирающего общечеловеческие ценности². Польский

¹ Mackiewicz S. *Myśl w obcęgach*. Warszawa, 1931. S. 159.

² О польском восприятии СССР в период межвоенного двадцатилетия см.: *Липатов А.В.* В кругу вопросов польского понимания России // *Революционная Россия 1917 года и польский вопрос: новые источники, новые взгляды*. М., 2009.

антисоветизм — отнюдь не означающий русофобию — появлялся там, где речь шла о практике большевизма — массовых репрессиях, концлагерях, бесправии, нищенском уровне жизни.

Травма, нанесенная полякам Российской империей, раны более чем вековых национальных угнетений зарубцевались в период двадцатилетней независимости Второй Речи Посполитой. Немецкая и советская агрессии на Польшу в сентябре 1939 г., разные по тактике, но сходные по существу, последовавшие массовые репрессии, символом которых стала Катынь, вновь обнажили и разбередили эти давние раны. Последствия действий «большого брата» ощутимы по сей день¹, ибо продолжением «освободительного похода Красной Армии» (как квалифицировала нападение на Польшу советская пропаганда и советская историография) было насильственное устройство «Польской Народной Республики». Во времена «реального социализма», как и в период межвоенного двадцатилетия, поляки постепенно все более и более осознавали различия между Россией (с которой отождествлялся СССР) и русскими. Со времен «оттепели» русская литература и фильмы, русский самиздат и движение правозащитников, русская эмиграционная литература, огромная популярность Окуджавы и Высоцкого — все это оказывало воздействие на польские умы и способствовало осознанию различий между режимом и культурой. И это же давало свидетельство тому «русофильству», которое уравнивало (а может быть, и перевешивало?) исторически возникшую, а потому неизбежную польскую русофобию.

Особая роль в польско-русском сближении внутри Польши и вне ее — в эмиграционных контактах — принадлежала парижскому журналу «Культура» и ее главному редактору Е. Гедройцу. По его инициативе уже в суверенной Третьей Речи Посполитой Е. Помяновский издает журнал «Новая Польша», продолжающий идею русско-польского сближения на путях высокой культуры. Довольно значительное число переводов современной русской литературы, русские пьесы на польских сценах, ежегодный фестиваль песен Окуджавы в польском исполнении, неделя русских фильмов, фестиваль русской песни, русско-польское культурное и научное сотрудничество² — все это

¹ См.: *Lipatow A.W. Polska jako problem tożsamości władzy rosyjskiej. Rozmyślania w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej // Od wojny do wolności. Wybuch i konsekwencje II wojny światowej 1939–1989. Gdańsk–Warszawa, 2010.* См. также: *Idem. Konfrontacja i grawitacja. Historia. Kultura. Literatura. Polityka. Toruń, 2003.*

² В сотрудничестве с польскими коллегами или при их участии нашими учеными

способствует более адекватному пониманию поляками русских и русскости вопреки той сфере, которая является полем деятельности определенной части польского и российского политического класса.

Непременным условием понимания поляками русскости является суверенность национального бытия в границах собственной государственности. В 1989 г. поляки вновь ее обрели. Автор недавно переведенной на русский язык «Родной Европы», нобелевский лауреат Ч. Милош — великолепный знаток России, тонко чувствующий русское искусство, воспринимающий нас так же, как и свой народ — в кругу общеевропейской цивилизации и в свете свойственных ей универсальных ценностей, сказал в одном из своих интервью: «Люблю русских, но опасаясь России». Здесь отражение и польской травмы, и польского сближения с русскостью.

издан целый ряд работ, где затрагиваются и русско-польские проблемы. Вот лишь некоторые из них: Польский романтизм и восточнославянские литературы. М., 1973; Польша и Европа в XVIII веке. М., 1999; Поляки и русские: взаимопонимание и взаимонепонимание. М., 2000; Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000; Россия — Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002; *Studia polonorossika*. К 80-летию Е.З. Цыбенко. М., 2003; Миф Европы в литературе и культуре Польши и России. М., 2004; Первая мировая война в литературах и культурах западных и южных славян. М., 2004; Россия в глазах славянского мира. М., 2007; Русская культура в польском сознании. М., 2009; А.С. Пушкин и мир славянской культуры. М., 2000; Адам Мицкевич и польский романтизм в русской культуре. М., 2007; Творчество Витольда Гомбровича и европейская культура. М., 2006.

2.

ПОГРУЖАЯСЬ В ПРОШЛОЕ

В.А. Хорев

РОССИЯ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА в польском сознании

Россия всегда была для Польши полем магнитного притяжения и отталкивания. По словам польского исследователя Гжегожа Пшебинды, «Россия нас не только ужасает, но и восхищает. И поэтому мы упорно ищем ответ на вопрос о смысле ее истории, спорим в Польше о формах существования и характере “русской души”, исследуем русскую литературу и философскую мысль»¹.

Поэт Адам Загаевский в стихотворении «Россия входит в Польшу», посвященном Иосифу Бродскому, писал:

Россия входит в мою жизнь,
Россия входит в мои мысли,
Россия входит в мои стихи².

Вхождение России в польскую жизнь осуществлялось в разное время по-разному и по-разному оценивалось. Несмотря на весь драматизм польско-русских политических противоречий, длившихся на протяжении веков, в сфере культуры происходило постоянное творческое общение поверх политических барьеров. Русская культура сыграла существенную роль в развитии польской общественной мысли, польского художественного творчества. «Поляки, — заметил в своих записных книжках Давид Самойлов, много сделавший для знакомства

¹ *Przebinda G.* Piekło z widokiem na niebo. Spotkania z Rosją 1999–2004. Kraków, 2004. S. 5.

² *Zagajewski A.* Dzikie czereśnie. Kraków, 1992. S. 135.

русского читателя с польской поэзией, — не любя нас, всегда интересовались русской культурой и жили близкими к ней интересами. Они захлебывались в русском море, но не боялись в нем утонуть»¹.

Образы чужой жизни складываются в большом историческом времени в традицию, в инвариантные, устойчивые структуры сознания. Они не только обогащают знания о другом народе, но отражают исторический опыт своей нации и характеризуют собственную этническую ментальность. «Польская самоидентификация, — замечает в этой связи известный польский ученый Мария Янион, — обычно происходит через изображение России как не вполне достойного и небезопасного “другого”»².

Представления о «другом», как правило, являются выражением убеждений какой-то группы, поэтому при их рассмотрении надо иметь в виду конкретно-историческую стратификацию общества. В одно и то же время могут существовать полярно противоположные стереотипы.

В Польше, как известно, русофильство и русофобия существовали и существуют одновременно в разных культурных и социальных слоях, что нашло отражение в образах России и русских, созданных в этих разных группах. Для многих Россию XIX века символизируют притеснители Польши русские цари Екатерина II и Николай I, а также Суворов, Новосильцев, великий князь Константин, Муравьев, Гурко, Апухтин, Катков, жандармы, Сибирь, кнут, кибитка и каторга. Россия XX века для них — это страна красного террора, поглотившая польские окраины («кресы»), депортировавшая сотни тысяч поляков в ту же Сибирь, уничтожившая тысячи польских офицеров в Катыни, а в XXI в. якобы подстроившая катастрофу самолета с польским президентом и т. п.

Своего рода символ традиционного польского взгляда на Россию — многотомное русофобское сочинение Яна Кухажевского «От белого царизма к красному» (Т. 1–7, 1923–1935), многократно переизданное в Польше в последние годы. «Русские, — писал, в частности, его автор, — еще не цивилизованы, это вымуштрованные татары <...> Глядя на этих дрессированных медведей, начинаешь предпочитать натуральных диких медведей»³.

Негативный стереотип восприятия России охватывает все русское: государство, его жителей, природу, язык и культуру. Публицист Вацлав

¹ Самойлов Д. Поденные записи. Т. 2. М., 2002. С. 47.

² Janion M. Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków, 2007. S. 226–227.

³ Kucharzewski J. Od białego do czerwonego caratu. Gdańsk, 1990. S. 36.

Збышевский, находясь в эмиграции в Лондоне, писал, например, в одной из своих послевоенных статей: «Нет хороших русских, потому что в этой стране нет людей — есть только рабы и невольники»¹.

Причины возникновения негативного стереотипа России — в военно-политическом соперничестве Польши и России в борьбе за украинские, белорусские и литовские земли, в участии России в разделах Польши, в конфессиональных различиях, в разнице государственного устройства и т. д. Представления о России и русских в Польше всегда находились под мощным воздействием политической ситуации. На фоне тяжбы с Россией в период «смуты» и затем в XIX в. Польша отождествляет себя с Европой, претендуя на роль ее форпоста в охране европейских ценностей от восточных варваров.

Стереотипы, закрепляющие историческую память народа, необыкновенно живучи. Сидевший в советском лагере по пресловутой 58-й статье Олег Волков вспоминает о своем общении с солагерниками-поляками: «Однажды в разговоре я упомянул о тетке своей, урожденной Новосильцевой — фамилии столь же одиозной для поляков, как и Муравьев. И убедился, насколько — более чем через полвека! — свежи воспоминания о карателях. Следы их грубых сапог навсегда оттиснуты в народной памяти. Забываются подробности, точные факты, но общее ощущение недоверия, опасливого неприятия, неуважения к потомку насильников сохраняется»².

Осью традиционного набора стереотипных противопоставлений поляка-европейца дикому москалю-азиату является, как отмечает польский исследователь Эва Погоновская, «базовая бинарная оппозиция, проецируемая на весь комплекс ценностей и подсказывающая определенный вывод: Европа — культура, цивилизация, а Россия — отсутствие культуры, антицивилизация, хамство, дикость, насилие»³.

Такие оценки и моральные установки, выработанные еще в XVI–XVII вв. в культуре сарматизма⁴, были упрочены польскими романиками и укоренились в польском обществе как непреходящие традиционные взгляды, не потерявшие своего значения и сегодня.

¹ Цит. по: *Czapski J. Czytając. Kraków, 1990. S. 181.*

² *Волков О. Век надежд и крушений. М., 1989. С. 18.*

³ *Pogonowska E. Dzikie biesy. Wizja Rosji Sowietckiej w antybolszewickiej poezji polskiej lat 1917–1932. Lublin, 2002. S. 99.*

⁴ Сарматизм — этногенетический миф польской шляхты об особом ее происхождении от племени сарматов. См.: *Лескинен М.В. Мифы и образы сарматизма. Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. М., 2002; История польской литературы. Т. I. М., 1997.*

«Романтики, — пишет Мария Янион, — рассматривали Россию и Польшу как две враждебные себе силы в славянском мире, руководствующиеся противоположными принципами: “свободы” и “деспотизма”. Россия всегда была “Востоком” с характерными для стран, “ориентализированных” европейским Западом, чертами: бессильная, неподвижная, опоздавшая, отсталая, иррациональная и тираническая. Мы видим, как Польша, начиная с романтизма и до сего дня, приписывала себе право резкой критики России. Она считала себя знатоком всех беззаконий в России, как царской, так и советской, и постоянно подчеркивала, что Россия не относится к Европе. Эти представления немногим отличаются от рейгановской “империи зла”»¹.

Играло свою роль и представление об избранничестве польской нации. Поскольку мессианизм утверждал, что по воле Бога Польша страдает за грехи других народов, становится понятной «ангелизация» Польши, противопоставленная «сатанизации» ее преследователей.

Представление о русских как агрессорах, постоянно угрожающих Польше, не только дожило до наших дней, но и постоянно навязывается полякам средствами массовой информации националистической ориентации. «Газета Польска» («Gazeta Polska»), например, опубликовала в 1996 г. такой «сокращенный вариант истории Польши»: «966 — начало, 1772 — вошли русские, 1793 — вошли русские, 1795 — вошли русские, 1831 — русские вышли и вновь вошли, 1863 — русские вышли и вновь вошли, 1918 — русские вышли, 1920 — русские вошли, но тут же вышли, 1939 — вошли русские, 1944 — вошли русские, 1981 — кажется, должны были войти (русские), 1992 — русские твердят, что скоро выйдут, 1993 — русские вышли, 1994 — русские говорят, что еще войдут, 1995 — русские говорят: НАТО — придет время! 1996 — русские выдумали “коридор”, чтобы было чем войти»².

Не устает в своих попытках критики России и русских Крыстына Курчаб-Редлих. О ее русофобской книге «Пандрешка» (2000) мне приходилось уже писать³. В своем новом сочинении «Головой об стену Кремля» (2007) она вновь навязывает читателю избитый стереотип, согласно которому в русском народе преобладает «не любовь к родине, а любовь к государству и державности. Не гражданская

¹ Janion M. Niesamowita słowiańszczyzna. Fanazmaty literatury. Kraków, 2006. S. 191.

² Gazeta Polska. 18.04.1996. Nr. 16.

³ См.: Хорев В.А. Польша и поляки глазами русских литераторов: Имагологические очерки. М., 2005. С. 186–189.

ответственность, а повиновение и подчинение. Не сосуществование, а доминирование. Не правда, а мифология»¹.

Не могут не вызвать возмущения — не только у русского человека — положения некоторых польских историков, извращающих смысл Второй мировой войны. Профессор Варшавского университета Павел Вечоркевич утверждает, например, что «Независимо от прекрасных лозунгов Советы маршировали на Берлин, чтобы закончить *свою* войну с Гитлером и установить наиболее выгодную границу *своего* влияния <...> К тому же Красная Армия в 1945 году, впрочем, как и в 1939 и в 1920, напоминала разросшееся войско Чингисхана или Аттилы. Она несла с собой в значительно большей степени, чем какие-либо другие вооруженные силы, включая Вермахт, волну насилия и венерических болезней, убийств, краж и грабежей»².

«Путем в пропасть» называет попытки превратить русофобию в политический инструмент главный редактор популярнейшей польской газеты «Газета wyborcza» («Gazeta wyborcza») и, пожалуй, самый известный польский журналист Адам Михник. «Все эти русофобы в Польше — люди прошлого века. Лично я с первых дней свободы называл себя “антисоветским русофилом”», — говорил Михник в интервью газете «Известия»³.

Приведу и оценки других польских литераторов, выступающих против искажения образа восточного соседа. «В 90-е годы в Польше, — писал Влодзимеж Паźнiewский в 2001 г., — о России написано и сказано немало неумного, а еще больше чудовищных глупостей. Иногда складывается впечатление, что у нас существует официальная потребность в негативном образе России, который должен улучшить наше собственное самочувствие»⁴.

Публицист социал-демократического журнала «Пшегльнд» («Przeгляд») Бронислав Лаговский сравнительно недавно писал о том, что в Польше «русофобия приобретает такие размеры, что сторонний наблюдатель, не знающий польской безответственности, склонности к трескучим фразам и бахвальству, может подумать, что польская армия вот-вот отправится в поход против России, сметая по пути режим Лукашенко и везя в обозе Самозванца Антипутина»⁵.

¹ Kurczab-Redlich K. Głową o mur Kremla. Warszawa, 2007. S. 127.

² Wiczorkiewicz P. «Najazd wyzwolicieli» // Kwartalnik Polonicum. 2006. Nr. 1. S. 15.

³ Михник А. Для Польши русофобия — это тупик // Известия. 2010. № 40 (10 марта).
См. также: Михник А. Антисоветский русофил. М., 2010.

⁴ Paźniewski W. Cywilizacja Pacyfiku // «Twórczość», 2001. Nr. 1. S. 145.

⁵ Przegląd. 27–28.10.2004. Nr. 44. S. 71.

В отличие от русофобов для многих поляков Россия — это страна огромных возможностей и, прежде всего, страна, давшая миру величайшие культурные ценности, страна Толстого, Достоевского, Чехова, Тургенева и многих других творцов и мыслителей. Эти «зараженные Россией люди, — по словам выдающегося писателя Тадеуша Конвицкого, — играли в нашей интеллектуальной жизни позитивную роль. У них были открыты глаза, незашоренные захолустным национализмом <...> Они противостояли самодовольной реакции»¹.

Осмысление русской истории, культуры и литературы в Польше имеет богатые и давние традиции. В XX в. среди исследователей русского духовного мира выделяются такие значительные фигуры, как литературный критик, писатель, философ и публицист Станислав Бжозовский (1878–1911), общественно-политический деятель, социолог и публицист Людвик Кульчицкий (1866–1941), историк культуры и литературы славянских народов Мариан Здзеховский (1861–1938), исследователь славянских литератур и языков Александр Брюкнер (1856–1938). Из наших современников к ним, безусловно, относится Анджей Валицкий, автор нескольких основательных монографий, посвященных русской философской и общественно-политической мысли. Выдающуюся роль в изучении и популяризации в польском обществе русской литературы сыграли такие вдумчивые исследователи, как Мариан Якубец (1910–1998), Рышард Лужный (1927–1998), Базыли Бялокозович (1932–2010), Збигнев Бараньский, Алиция Володзько, Анджей де Лазари, Ян Орловский, Рышард Пшибыльский, Антони Семчук, Люциан Суханек, Тадеуш Шишко и многие другие.

Многочисленные польские исследователи русской истории и культуры предпринимали и предпринимают огромные усилия для преодоления сложившегося негативного стереотипа России, живущего в массовом сознании. Например, известные польские русисты — историк Виктория Сливовская и литературовед Рене Сливовский — назвали свою книгу «Россия — наша любовь»². Это книга воспоминаний о годах учебы в Ленинградском университете, о последующих приездах в Россию, о многочисленных «друзьях-москалях», встречи и беседы с которыми повлияли на мышление авторов, обогатили и расширили их представления о мире, России и ее культуре. Среди их собеседников

¹ *Konwicki T. Pamflet na siebie. Warszawa, 1995. S. 52–53.*

² *Sliwowski Wiktoria i Rene. Rosja nasza miłość. Warszawa, 2008.*

такие знаковые для русской науки и культуры имена, как Ю. Оксман, Н. Эйдельман, Ю. Лотман, Ю. Давыдов и многие другие. Рене Сливовскому принадлежат многочисленные исследования в области русской литературы (он писал, в частности, о Герцене и Огареве, Достоевском и Чехове, А. Платонове, М. Зощенко, Е. Шварце, В. Быкове, В. Некрасове, В. Аксенове и других русских писателях). Они публиковались с конца 50-х гг. XX в. в разных изданиях и отчасти вошли в его книги «Старые и новые. Очерки о советской литературе» (1967), «Странствия русиста» (2010)¹.

Примером может быть и деятельность Анджея Дравича (1932–1997), который посвятил России несколько своих книг (в том числе монография о творчестве М. Булгакова, 1987), перевел на польский язык романы В. Быкова («Сотников»), Г. Владимова («Верный Руслан»), А. Платонова («Котлован»), В. Ерофеева («Москва–Петушки») и других авторов, возглавил издание новаторской «Истории русской литературы XX века» (1997) и т. д. Дравич призывал сломать доминирующий в массовом сознании, вскормленный литературными и историческими сочинениями, стереотип русского человека как раба всех исторических периодов и систем, не способного к изменению своей судьбы, но враждебного по отношению к Польше. В книге «Тяжба о России»² (1987) он писал: «Нашим врагом была не Россия (как не были им Германия, Турция или Швеция), им были и есть определенные режимы: русский царизм и русский большевизм»³.

Художник и эссеист Юзеф Чапский, офицер польской армии, в книге «На бесчеловечной земле» (1949) запечатлевший свое пребывание в 1939–1941 гг. в советском концлагере, писал о себе:

Моя личная биография, ученье в Петербурге, русские друзья, русская литература, Толстой и его влияние, потом Достоевский, пережитая там русская революция, участие в войне 1920 г. против большевистского нашествия, а в последнюю войну лагеря в России, участие в создававшейся там заново польской армии — все это связало мою судьбу, в злом и добром, с Россией. Может быть, поэтому я воспринимаю русский мир не только со стороны польских обид, но в целой его сложной,

¹ Śliwowski R. Dawni i nowi. Szkice o literaturze radzieckiej. Warszawa, 1967; *Idem*. Rusycystyczne peregrynacje. Warszawa, 2010.

² Подпольное издание. Название взято у Г.П. Федотова, которому в книге посвящена отдельная глава.

³ *Drawicz A.* Spór o Rosję i inne szkice z lat 1976–1986. Londyn, 1988. S. 17.

сотканной из крайностей, конкретной действительности. Поэтому всякие тотальные суждения о нем кажутся мне такими неверными и даже вредными¹.

Для Чапского, несмотря на все его злоключения в России, как и для многих других мыслящих поляков, Россию нельзя отождествлять с ее правителями, будь то цари или советские вожди. Была и есть *иная* Россия — страна трудолюбивых и отзывчивых людей широкой души, страна борцов за справедливость, страна высочайшей культуры.

«Дело не в том, люблю ли я Россию или ее ненавижу, — писал Чапский. — Дело в том, что вычеркнуть ее из истории не сможет ни один поляк, что ее история, литература принадлежат мировой культуре, что она оказала и продолжает оказывать огромное влияние на умственную формацию на Западе, вовсе не только негативное»².

Суждение Чапского не является чем-то необычным и исключительным. Уже во многих произведениях польских романтиков, которые внесли самый существенный вклад в формирование польского восприятия России, прежде всего у Адама Мицкевича (вспомним хотя бы его стихотворение «Друзьям — москалям»), подчеркивалось, что ненависть к царскому режиму не исключает дружественного отношения к русскому народу и надежды на свободное развитие обоих народов. «И там есть люди, что имеют души», — писал Юлиуш Словацкий, надеясь разбить свободным словом «лед гранитной Невы»³. Горячий патриот Польши Корнель Уейский называл себя «врагом царизма, другом русского народа»⁴, видя в братстве польского и русского народов залог лучшего будущего. В 1899 г. выдающийся ученый-лингвист поляк Бодуэн де Куртенэ призывал «не смешивать официальную Россию с ее народом и, прежде всего, не игнорировать его науку, литературу и искусство, которых сегодня уже никто в Европе не игнорирует»⁵.

Следует заметить, что суждения об истории и культуре других народов, присущие массовому сознанию, выносятся прежде всего

¹ Чапский Ю. О немцах (приложение к лондонскому изданию книги «На бесчеловечной земле» // Новая Польша. 2007. № 5. С. 23–24.

² *Czapski J. Czytając.* S. 180.

³ *Словацкий Ю.* Гимн / пер. М. Павловой // *Словацкий Ю.* Избранные сочинения. Т. 1. М., 1960. С. 63.

⁴ Цит. по: *Bachórz J.* Rosjanin // *Słownik literatury polskiej XIX wieku.* Wrocław–Warszawa–Kraków, 1991. S. 847.

⁵ Цит. по: *Kuś B.* Poezja rosyjska w polskim życiu literackim przełomu XIX–XX wieku. Wrocław, 1979. S. 16.

литераторами, а не историками или представителями других гуманитарных наук. Для значительной части читателей история и культура тех стран, которые не попали в поле зрения литературы, — *terra incognita*. Во всяком случае, так обстояло дело до середины XX в., т. е. до расцвета кино, телевидения, а затем и интернета и других средств массовой коммуникации, которые, взяв на себя некоторые функции литературы как средства информации, в итоге все равно опираются на ее слово.

Ключом к пониманию России в польском культурном обществе была русская литература. «Совесьь русского народа — в его литературе, и Европа давно воздала должное этой литературе, искреннее которой не было и не будет»¹, — писал в 1910 г. Лео Бельмонт, которому принадлежит один из лучших переводов на польский язык «Евгения Онегина», а также переводы произведений А. Куприна, Л. Андреева, И. Эренбурга, М. Салтыкова-Щедрина, Ф. Гладкова.

В начале XX в. известный славист и историк культуры Александр Брюкнер писал: «Русская литература и русский режим отличаются друг от друга, как ад и рай, как день и ночь, и переносить ненависть к режиму на литературу значит наказывать невинного вместо виновника»². Брюкнер подчеркивал мировое значение русской литературы: «Из всех славянских литератур наибольшее признание, понимание, влияние получила русская литература, поскольку она не обращалась к односторонним, узким проблемам; поскольку она говорила о людях, а не о политике; поскольку она взлетала, свободная в своем полете, на общечеловеческие вершины; поскольку в ней чувствуешь огромный размах, необъятные просторы, первобытную силу и глубокую веру, серьезное и милосердное отношение к людям. Все это отчетливо проявилось в произведениях писателей, служащих любви, надежде и вере — этим дочерям вечной мудрости. Этим объясняется богатство света, отсутствие теней в картине этой литературы, волнующей своей искренностью, поражающей своим величием, завоевывающей умы своей человечностью»³.

Во многом благодаря русской литературе польские писатели осознавали место польской литературы в истории мировой. Витольд

¹ Цит. по: *Kuś B. Poezja rosyjska ...* S. 45.

² *Brückner A. O literaturze rosyjskiej i naszym do niej stosunku dziś i lat temu trzysta. Szkic literacki.* Lwów–Warszawa. 1906. S. 17.

³ *Brückner A. Historia literatury rosyjskiej.* T. II: 1825–1914. Lwów–Warszawa–Kraków, 1922. S. 399.

Гомбрович писал: «Где же была оригинальная польская мысль, польская философия, польское интеллектуальное и духовное участие в создании Европы? Литература в течение ста пятидесяти лет была запломбирована драмой утраты независимости, сведена к здешним несчастьям»¹. Горечь, присущая словам Гомбровича, связана с одной из главных доминант его творчества — обличением и отвержением польского провинциализма, архаического патриотизма, стереотипов романтического мышления — идеи польского мессианизма, мученичества, жертвенности и т. д. Но подобные размышления можно найти и у других писателей и критиков. Например, известный историк и эссеист Януш Тазбир писал: «Я очень люблю Пруса, считаю, что “Кукла” — это лучший польский роман того периода, но если читать после Пруса Достоевского, то создается впечатление, что читаешь литературу для очень и очень взрослых людей после литературы для юношества»².

Авторитетный критик Стефан Жулкевский также полагал несопоставимыми по своей значимости для читателя романа Э. Ожешко «Над Неманом» и романов Достоевского³.

Похожим образом всемирно известный создатель философской фантастики Станислав Лем сравнивал приблизительно один и тот же период в развитии русской и польской литературы:

Там «Война и мир», а у нас «Фараон»? Там «Преступление и наказание», а здесь «Пепел»? Сопоставление выглядело ужасно. Если нет точки отсчета, то можно заступиться и за «Верную реку»⁴, но ведь это не так. Там Достоевский со своим антипапским ожесточением, антикатоличеством и антипольским ядом, проблематикой черной литературы и философскими размышлениями, глубже которых в литературе нет. А у нас? Ничего нет⁵.

Сетовал на отсутствие в польской литературе — по сравнению с русской — волнующих человечество проблем духовной жизни личности и Славомир Мрожек. Мрожек пенял польской литературе, что

¹ Gombrowicz W. Testament. Warszawa, 1990. S. 27.

² Literatura i demokracja. Warszawa, 1995. S. 134.

³ Żółkiewski S. Cetno i lichy. Szkice 1938–1980. Warszawa, 1983. S. 462.

⁴ Роман С. Жеромского о поражении польского национально-освободительного восстания 1863 г.

⁵ Bereś S. Rozmowy ze Stanisławem Lemem. Kraków, 1987. S. 167.

в ней не получил выражения важнейший опыт человечества — отношение человека к тому, что «можно назвать Богом», которое присутствует «во всем лучшем, что создано в литературе». Он подчеркивал, что имеет в виду не религиозные или антирелигиозные декларации, а сам процесс метафизических размышлений, саму постановку вопросов безотносительно к ответам на них, размах и кипение страстей, которое он видел у Достоевского и Толстого¹.

«Мы многое теряем в сравнениях, хотя бы с русскими, с их крайними, значительными типами; с Достоевским, Гоголем, Толстым, Маяковским, с Есениным и Солженицыным, с их самоубийствами, каторгой и безумием», — замечал Казимеж Брандыс в своем дневнике².

О слабости польского романа сравнительно с русским говорил и Чеслав Милош: «В XIX веке польский роман не мог даже приблизиться к тому уровню, которого достигла русская литература. “Кукла” Пруса является единственным великим произведением польской прозы»³.

Нет сомнений в том, что русская литература как одна из ведущих литератур мира «оставила на польской значительно более выразительный отпечаток, нежели наоборот»⁴, — замечает современный польский исследователь Малгожата Семчук. Определяющим фактором воздействия русской культуры на польское художественное сознание являются итоги духовного развития России и, в первую очередь, уровень развития ее культуры (в том числе и прежде всего литературы), ориентированность на общие для европейцев нравственные ценности. Художественный опыт русской литературы был востребован и творчески освоен многими польскими писателями, ибо оказался созвучен их эстетическим и нравственно-философским поискам.

Большинство польских писателей в русской литературе выделяли прежде всего творчество Толстого и Достоевского, но некоторые из них не упускали из виду и достижения русской литературы советского периода. Например, мало кто из современных польских писателей добром вспоминает М. Горького. А вот глубокий и яркий писатель старшего поколения Юзеф Хэн (р. 1923) в своих записках о современности «Дневник на новый век. 2000–2007» (2009) отмечает его «великолепное мастерство». Никто не заметил, пишет Хэн, что Горький

¹ Błoński J., Mrożek S. Listy 1963–1996. Kraków, 2004. S. 224.

² Brandys K. Miesiące 1978–1981. Warszawa, 1997. S. 41.

³ Bereś S. Historia literatury polskiej w rozmowach. XX–XXI wiek. Warszawa, 2002. S. 33.

⁴ Semczuk M. Literatury i kultury wschodniosłowiańskie w Polsce — Rosja // Przegląd Humanistyczny, 2010. Nr. 5–6. S. 67.

...не написал ни одной «соцреалистической» книги <...> Он писал «Жизнь Климса Самгина», великую панораму позиций и характеров, талантливо подмеченных и прочувствованных. Наблюдения, достойные Пруста, хотя, конечно, более сжатые (а разве это плохо?). Описания жизненной материи в лучших традициях Толстого и Чехова. Хороший темп. Нет здесь ничего старосветского. Все, что рекомендовал соцреализм, а иногда и он сам, было для него всего лишь «свечкой для дьявола» — в творчестве его это не касалось, в нем он был честен. Книга, о которой забыли. Может быть, потому что толстая...¹

Большой всплеск интереса в Польше к русской литературе, особенно к замалчивавшейся в СССР, приходится на годы польской «оттепели» — на вторую половину 50-х гг. XX в. Роман И. Эренбурга «Оттепель», давший название целому периоду, появился в польском переводе в 1955 г. Спустя два года на польском языке вышел его же роман «Бурная жизнь Лазика Ройтшванца» (запрещенный тогда в СССР, он не вошел даже в 8-томное собрание сочинений писателя)².

Характерным примером может быть история журнала «Опиние» («Opinie» — «Мнения»). Первый его номер вышел в августе 1957 г. под редакцией поэта и переводчика Северина Полляка. В нем были опубликованы отрывки из романа Б. Пастернака «Доктор Живаго», стихотворения Хлебникова, Цветаевой, Мандельштама, Пастернака. Вышло всего два номера журнала — после резких нападок на него в советской печати он был закрыт. В 1962 г С. Полляк издал сборник переводов из поэзии Б. Пастернака, а в 1964 г. — томик поэзии А. Ахматовой. Ему же принадлежит книга эссе о русской литературе «Путешествия за три моря» (1962), в которой он рассказывал не только о русских модернистских течениях начала XX в., но и о новейшей русской поэзии, в частности о Иосифе Бродском.

И тогда и позднее среди польских интеллектуалов было немало исследователей и популяризаторов русской литературы. Это, к примеру, помимо названных выше, выдающийся знаток творчества О. Мандельштама Рышард Пшибыльский, поэты, переводившие на польский язык русских авторов, — Виктор Ворошильский, Владзимеж Слободник, Ян Спевак, Юзеф Вачков и многие другие.

¹ *Hen J. Dziennik na nowy wiek. Warszawa, 2009. S. 271.*

² Впервые на польском языке роман был опубликован в 1928 г.

Неофициальная русская литература была популярна в так называемом «втором круге обращения» литературы, издаваемой подпольными издательствами, появившимися во второй половине 1970-х гг. Интерес к русской литературе не угас даже во время введения в стране военного положения (13 декабря 1981 г.). Одно только нелегальное издательство «Нова» выпустило и распространило тогда более 500 произведений русских авторов в переводах на польский язык. Это были книги А. Ахматовой, И. Бродского, И. Бунина, Б. Пильняка, Е. Замятина, О. Мандельштама, В. Шаламова, В. Войновича, Венедикта Ерофеева, А. Солженицына¹. На «Архипелаг Гулаг» Солженицына была даже проведена подписка.

«Ах, если бы Россия была основана Анной Ахматовой, / если бы Мандельштам издавал законы...» — писал Адам Загаевский в стихотворении «Если бы Россия...» (1985)².

Воздействие России и русской литературы на польское сознание в разные исторические эпохи было настолько сильным, что вызывало опасения у многих представителей польской культуры. Части польских критиков конца XIX — начала XX в. было присуще мнение о пагубном, разлагающем воздействии русской литературы на польское общество. А. Брюкнер свидетельствовал:

У нас игнорировали русскую литературу, не желая иметь дело с врагом, тщательно обособлялись от него в каждой сфере, в том числе духовной. Опасались, что познание благородных черт врага ослабит антипатию к нему и нанесет ущерб, что литературные симпатии повлекут за собой политические и общественные, будут водой на мельницу «согласителей» <...> опасались некоего разлагающего воздействия русской литературы, будто бы она проповедовала нигилизм, равнодушие к национальным стремлениям, умерщвляла патриотизм³.

Опасение, что русская литература так или иначе негативно воздействует на польское сознание, было распространено довольно широко. Его высказывали С. Кутшеба, С. Дзярский, Я.К. Кохановский⁴.

¹ Помяновский Е. Дорога к свободе // Белые пятна — Черные пятна. Сложные вопросы в российско-польских отношениях. М., 2010. С. 497–498.

² Zagajewski A. *Dziki czereśnie*. Kraków, 1992. S. 105.

³ Brückner A. *O literaturze rosyjskiej ...* S. 12.

⁴ Kutrzeba S. *Przeciwieństwa i źródła polskiej i rosyjskiej kultury*. Lwów, 1916; *Zdziarski S. Dżingis-Chan zmartwychwstały*. *Studia z psychopatologii rosyjskiej*. T. I–II. Poznań,

«Опасному влиянию» русской литературы на польскую культуру, «нигилизму» и «отрицанию законов морали», присущим последователям Достоевского, посвятил исследование «Русское влияние на польскую душу» (1913) Мариан Здзеховский¹. По его мнению, «не всечеловечность поражает нас у русских, а, наоборот, духовная узость, отсутствие чувства понимания других народов. Они улавливают в них лишь отрицательные черты. В романах Достоевского поляк всегда выступает хвастуном и вруном или трусом, часто тем и другим; немногим лучше изображал французов Толстой»². Впрочем, для Толстого Здзеховский делал исключение: «Поистине великим морально мыслителем является лишь тот, из учения которого никоим образом, никакими натяжками не удастся извлечь суждений, противоречащих законам морали. Таким в России был Лев Толстой»³. Но Толстой, по Здзеховскому, «и внутренне, и внешне был азиатом, был воплощением азиатско-монгольского начала в русской душе, прирожденным буддистом. Однако преобладал (в России) не буддистский, а апокалипсический тип»⁴.

Александр Ват в своем дневнике «Мой век», описывая межвоенные годы, писал: «Поляки испытывали не только отвращение, но и страх, чтобы Москва, как писал Мицкевич, чтобы Москаль не вцепился в их душу. А он вцеплялся. Поэтому делалось все, чтобы противостоять этому»⁵.

Приведу еще отрывок из воспоминаний высоко чтимого в Польше главного редактора парижской «Культуры» Ежи Гедройца (1906–2000): «По отношению к русскому языку, русской литературе и поэзии я занимал оборонительную позицию. Я предпочитаю русскую поэзию польской. Но я очень боялся поглощения Польши русской стихией. Эта опасность была вполне реальной. Большинство ссыльных поляков растворилось в русском обществе. Даже в межвоенный период эта опасность не перестала существовать. Особенно видно это было на кресах. В Вильно, например, вся еврейская интеллигенция говорила по-русски и жила лишь русской культурой. Огромный успех

1919; Kochanowski J.K. Polska w świetle psychiki własnej i obcej. Rozważania. Warszawa, 1920.

¹ О деятельности М. Здзеховского как русиста см.: Białokozowicz B. Marian Zdzichowski i Lew Tolstoj. Białystok, 1995; Wasilewski W. Marian Zdzichowski wobec myśli rosyjskiej XIX i XX wieku. Warszawa, 2005.

² Zdzichowski M. Wpływy rosyjskie na duszę polską // Wybór pism. Kraków, 1993. S. 502.

³ Zdzichowski M. Antynomie duszy rosyjskiej // Ibid. S. 302.

⁴ Ibid. S. 321.

⁵ Wat A. Mój wiek. S. 44.

хора донских казаков, который часто приезжал в Польшу, успех Вертинского (я сам был его поклонником), тот факт, что в каждой компании после двух-трех рюмок водки пели цыганские романсы, а на более высоком уровне — число переводов из русской литературы, которой восторгались “Вядомости Литерацке” (“Wiadomości Literackie”), и популярность этой литературы — все это свидетельствовало о давлении русской культуры на Польшу»¹.

Утверждения о преувеличенной роли русской культуры в мире и о ее негативном воздействии на польское сознание нередко можно встретить в польской печати и сегодня. Польские русофобы, например, по словам Анджея Дравича, любят «стращать Достоевским и приписывать его героям наихудшие черты русского народа»². Дравич ссылается на статью «Патология не может быть нормой» из журнала «Пульс», в которой отрицается значение для человечества русской и особенно советской культуры и с осуждением пишется о повальной европейской «наркотической зачарованности русской культурой», об увлеченности ее «мнимой художественной и психологической глубиной».

Складывавшийся в польском сознании на протяжении эпох образ русской культуры, усвоение и творческая переработка ее ценностей и достижений творцами польской культуры во многом определялись особенностями польского национального самосознания, этностереотипами (часто негативными по отношению к «иному» и «чужому»), сложившимися в процессе длительного противостояния Польши и России. Наша общая история отмечена взаимным интересом друг к другу, обменом культурными ценностями, а во многих случаях искренней увлеченностью. Исторический опыт взаимоотношений русского и польского народов, полный противоречий и драматических столкновений, чрезвычайно богатый фактами и событиями, нуждается сегодня в новом осмыслении, свободном как от декларативных утверждений о вечной дружбе народов, так и от преувеличенно отрицательной оценки русско-польских отношений. Их непредвзятое исследование способствует более глубокому взаимопониманию, а тем самым преодолению устоявшихся схем, взаимных претензий, негативных стереотипов.

¹ *Giedroyc J. Autobiografia na cztery ręce. Warszawa, 2006. S. 16–17.*

² *Drawicz A. Lody ruszyły... // Znak. 1994. Nr. 1. S. 105.*

В.В. Мочалова

РУССКИЕ ГЛАЗАМИ ПОЛЯКОВ В СМУТНОЕ ВРЕМЯ
(на материале дневников польских участников
военных событий)

Польские участники московских событий Смутного времени — и аристократы, и члены посольств и многочисленной свиты, и шляхта, и простые солдаты — имели возможность значительно более близко, чем их земляки, остававшиеся в стороне от этого конфликта, непосредственного ознакомления с восточным соседом, его нравами и обычаями, свойствами национального характера, военными достоинствами, а также языком¹, что не могло не отразиться в оставленных ими текстах, записках, дневниках военного времени².

¹ Ср., в частности: *Rytter G.* Wschodniosłowiańskie zapożyczenia leksykalne w polszczyźnie XVII wieku. Łódź, 1992; *Pihan-Kijasowa A.* Z dziejów najstarszych wpływów języka rosyjskiego na polszczyznę // *Poznańskie Studia Polonistyczne.* 2002. № IX; *Reiss P.* Leksykalne zapożyczenia rosyjskie w utworze “Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego” Sebastiana Petrycego z Pilzna // *Podteksty.* 2007. № 3 (9).

² *Żółkiewski St.* Początek i progres wojny moskiewskiej. Wrocław, 2003; *Polska a Moskwa w pierwszej połowie wieku XVII.* Zbiór materiałów do historii stosunków polsko-rosyjskich za Zygmunta III / Wyd. A. Hirschberg. Lwów, 1901; *Dzieje Marsa krwawego i sprawy odwazne, rycerskie, przez wielmożnego pana jego mosci pana Jana Piotra Sapihę, starostę uswiadzkiego, w monarchii moskiewskiej od roku 1607 aż do roku 1612 sławnie odprawowane* // *Moskwa w rękach Polaków.* Pamiętniki dowódców i oficerów garnizonu polskiego w Moskwie. 1610–1612 / Wyb. i opr. M. Kubala, T. Ścieżor. Kraków, 2005. S. 242–388; *Historia Moskiewskiej Wojny Prawdziwa przez mię Mikołaja Ścibora z Marchocic Marchockiego pisana* // *Moskwa w rękach Polaków.* S. 19–138; *Budzilo J.* Wojna moskiewska wzniesiona i prowadzona z okazji fałszywych Dymitrow od 1603 do 1612 r. Wrocław, 1995; *Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею.* Т. I. СПб., 1872; *Budzilo J.* Historia Dmitra fałszywego // *Moskwa w rękach Polaków.* S. 395–510. См. также: *Мочалова В.* Представления поляков о русских в XVII в. // *Россия в глазах славянского мира.* М., 2007. С. 39–71.

Среди них — люди, принимавшие участие в военных действиях по разные стороны конфликта, гражданской войны в Московском государстве периода Смуты: гетманы Станислав Жулкевский (1547–1620), оставивший наиболее значительный памятник, посвященный этому конфликту, и Ян Пётр Сапега (1569–1611), второй гетман войск Димитрия II, способствовавший тому, чтобы Марина «опознала» в нем своего якобы избежавшего расправы венценосного мужа, проводивший свою собственную сложную политику с различными сторонами конфликта и умерший в Москве во дворце Шуйского, оставив завещание и писавшуюся в его канцелярии хронике — «Историю кровавого Марса»; Миколай Сцибор Мархоцкий (ок. 1570 — ок. 1636), один из первых присоединившихся к Лжедмитрию II, а затем перешедший на сторону королевских войск и претендовавший, как свидетельствует заглавие его записок, на написание «подлинной истории московской войны»; Юзеф Будзило, ставший после смерти Сапег последним из командиров осажденного в Кремле польского гарнизона, а после поражения — заключенным нижегородской тюрьмы, описавшим последний акт военной драмы в своей «Истории ложного Димитрия», и другие.

Эти материалы представляют собой чрезвычайно ценный исторический источник и заслуживают подробного контекстуального анализа. Будучи — в силу законов дневникового или мемуарного жанра — весьма конкретны, приближены к реальному течению событий, полны ярких и выразительных деталей, эти тексты XVII в. предоставляют возможность сопоставления стереотипов национального восприятия и исторической действительности, участниками которой оказались их авторы.

Вместе с тем необходимо учитывать, что это не только и не столько исторические документы, а нарративы, передающие личный взгляд, внутренние переживания, субъективную оценку событий, описывающие собственное участие, т. е. тяготеющие скорее к мемуарному жанру, позволяющие увидеть особенности национальной культуры, восприятия, картины мира, психологии.

Тексты этого круга, как представляется, дают возможность прочтения, отличающегося от более традиционного, акцентирующего темы противостояния, в первую очередь — культурного и конфессионального, непримиримой враждебности по отношению к «варварской Москве». Применяя несколько иную оптику, взглянув на эти тексты под другим углом зрения, в них можно обнаружить и отражение взаимного уважения, сотрудничества, и позитивные оценки.

Прежде всего положительной репутацией пользуются у авторов этих текстов представители русской знати, и лестные оценки в первую очередь относятся к московской элите. Так, гетман Ст. Жулкевский в своем дневнике «Начало и ход московской войны» (1612), предположительно написанном с целью воспрепятствовать плану короля о новом походе на Москву¹, весьма высоко оценивает князя Федора Ивановича Мстиславского, лидера боярской элиты и «делателя царей»: «...был в сии времена именитейший человек в Москве, честный, добродетельный, весьма умеренный; хотя ему пред прочими, по его знатности, открыт был путь к престолу, но он никогда не был честолюбив, напротив, объявил публично, что как он сам не желает быть государем, равным образом не хочет иметь государем никого из равных себе своих братьев (под сим разумел Голицына); полагая лучшим избрать себе государя откуда-нибудь из царского племени (под этим он разумел королевича Владислава, к которому он был весьма расположен)»².

Гетман положительно отзывался — в донесении королю о клушинской битве (5 июля 1610 г.) — об Иване Михайловиче Салтыкове, сыне боярина Михаила Глебовича Салтыкова («находясь со мною в этой битве, хорошо старался для В.К.Величества, равно как и другие, в это время бывшие тут, московские бояре»³).

Примечательно, что гетман способен оценить отвагу и доблесть противника, достоинства тех русских, кто находился на противоположной стороне, о чем свидетельствуют его характеристики безвременно умершего молодого князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского («был наделен отличными дарованиями души и тела, великим рассудком не по возрасту, не имел недостатка в мужественном духе, был прекрасной наружности»⁴) и главы обороны Смоленска, боярина Михаила Борисовича Шеина: «Шеин исполнен был мужественным духом и часто вспоминал отважную смерть отца своего, павшего при взятии Сокола (1579. — В.М.) в царствование короля Стефана; также

¹ *Sobieski W. Wstęp // Żółkiewski St. Początek i progres wojny moskiewskiej. S. XLVIII–XLIX.*

² Цитаты приводятся по русскому переводу: Записки Станислава Немоевского. Рукопись Жолкевского. Сер. «Источники истории». Рязань, 2007 (по изд.: Рукопись Жолкевского. М., 1835). С. 383 (далее: Рукопись Жолкевского).

³ Рукопись Жолкевского. С. 442.

⁴ Там же. С. 352. Важно отметить и понимание гетманом реалий гражданского противостояния в Московском государстве: он отмечает, что Скопин, видевший, что «в московских людях слабая и неверная защита, прибегает к переговорам с Карлом, князем Судерманским», который «за деньги» прислал ему 6000 немцев, французов, англичан, шотландцев и шведов. С этими людьми Скопин начал вытеснять поляков. — Там же. С. 354.

говаривал часто перед своими, что намерен защищать Смоленск до последнего дыхания. Может быть, что поводом к этому был мужественный дух его, однако участвовало тут и упорство; ибо, не имея надежды на помощь, при таком недостатке в людях и видя ежедневно смерть их, все еще упорствовал в своем намерении»¹.

О князе Василии Масальском уважительно пишут и гетман Жулкевский («человек почтенный и воинственный, бывший, подобно предкам своим, верным нашим доброжелателем»²), и историк Станислав Кобежицкий («посол первого ранга»), пересказывающий его красноречивое выступление перед польским королем (а вместе с тем отметивший: «уж такой обычай у этого народа — говорить много и быстро»)³.

Князь Федор Мещерский предстает в благожелательном свете («человек рыцарственный и верный боярин») как у Якуба Собеского — автора недавно впервые опубликованного дневника⁴, участника похода королевича Владислава, пытавшегося спустя три года после избрания Михаила Романова вернуть себе московскую корону⁵, так и у хрониста Кобежицкого: «Мещерский, московский боярин, нестигаемо верный Владиславу <...> славный воин, не совершил ничего, что могло бы нарушить его нестигаемую верность Владиславу. После многих поражений, которые он нанес врагу, он вернулся как победитель, приводя в Вязьму видных пленников и давая тем самым доказательство своей доблести <...> Его военная слава, великолепные трофеи и нерушимая верность способствовали его широкой известности»⁶.

Однако позитивной оценки удостоиваются не только представители московской элиты. Так, продумывая тактику битвы с войском Григория Леонтьевича Валуева, гетман Жулкевский отдает должное воинскому искусству и выдержке армии противника: «Брать сей

¹ Там же. С. 420–421.

² Там же. С. 417.

³ *Kobierzycki S. Historia Władysława, królewicza polskiego i szwedzkiego (1655)*. Wrocław, 2005. S. 84–85.

⁴ *Sobieski J. Diariusz ekspedycyjej moskiewskiej dwuletniej królewicza Władysława 1617–1618*. Opole, 2010.

⁵ Ср. здесь записи от 2 августа и 13 сентября 1617 г., свидетельствующие об уверенности королевича в легитимности его притязаний: «hramotę swoją wysłał do Michałka i do bojar do Moskwy i do zamków, oznajmując o przyjeździe swym, i jurament im przypominając»; «posłali posła naszegosz do bojar dumnych, oznajmując im że tu od Rzeczypospolitej z Królewiczem przyjechali, jako z Panem ich».

⁶ *Kobierzycki S. Historia Władysława, królewicza polskiego i szwedzkiego*. S. 230.

городок дело трудное, ибо <...> при осмотре нами шанцов, которыми они окопались и защитили себя, мы нашли оные весьма хорошими, и мы потерпели бы большой урон, если надлежало бы <...> брать их приступом. Дабы принудить их голодом к сдаче, для этого нужно было бы много времени, ибо московский народ (в чем ни один с ним не сравнится) довольствуется весьма малым»¹; «...в поле наши были им страшны; за этими же укреплениями (наподобие замков. — В.М.), с которыми наши не знали, что делать, москвитяне были совершенно безопасны; делая беспрестанно из них вылазки на копейщиков, не давали нашим никуда выходить»².

Участник похода гетмана Жулкевского, один из защитников польского гарнизона в Кремле, Самуэль Маскевич (ок. 1570 — ок. 1640) в своем «Дневнике»³ высоко оценивает мастерство русских ремесленников: «Любой ремесленник великолепен, очень хорош, и так умен, что даже если чего за свою жизнь не видел, а не только не делал, и то с первого же взгляда сделает так хорошо, как будто с этим вырос, а особенно турецкие вещи, шерстяные попоны для лошадей, седла, сабли, отделанные золотом вещи, прямо как в самой Турции»⁴.

Весьма благожелательно, если не восхищенно, описываются в польских памятниках и русские города, в частности Москва: «Изобилен и богат был этот город, занимавший обширное пространство; бывавшие в чужих краях говорят, что ни Рим, ни Париж, ни Лиссабон величиною окружности своей не могут равняться сему городу»⁵; «...замки Китай-город и Крым-город, возвышаясь среди города в виде оборонных крепостей, заключают в своих стенах склады самых богатых товаров и княжеский дворец. Неизмеримое же пространство всего города в целом окружает белая стена, дающая этому более удаленному от центра месту имя Белого города, строение стен, башен и ворот которого пышностью своей не уступает стенам какого-либо самого прославленного города»⁶.

¹ Рукопись Жолкевского. С. 379.

² Там же. С. 363.

³ Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów (wiek XVII) / Opr., wst. i przyp. A. Sajkowski. Wrocław, 1961. S. 91–180; Dyjariusz Samuela Maskiewicza // Moskwa w rękach Polaków. S. 139–236. Рус. пер.: Устрялов Н. Сказания современников о Дмитриии Самозванце. Ч. 5. Записки Маскевича. СПб., 1834.

⁴ Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów. S. 137.

⁵ Рукопись Жолкевского. С. 419.

⁶ Kronika Pawła Piaseckiego, biskupa przemyskiego / Przekł. Chrzaszczewskiego. Krakow, 1870. S. 237.

Картина Смуты весьма пестра и чрезвычайно далека от двустороннего польско-русского противостояния, так как и поляки и русские находились на обеих его сторонах, а часто и переходили с одной стороны на другую. (Например, ротмистр Мархоцкий, когда Сигизмунд III объявляет Москве войну и осаждает Смоленск, воюет на стороне Лжедмитрия II и в ноябре 1609 г. отправляется к королю в составе посольства, прося его «выйти из московских земель, не мешать нам в наших действиях», не вступать в битвы с Самозванцем¹; при этом он приходит с подкреплением к войскам Яна Петра Сапеги, когда тот, в свою очередь, переходит из-под знамен Димитрия на сторону короля; а когда королевское войско под командованием гетмана Жулкевского идет к Москве, Мархоцкий присоединяется к нему.)

Аналогично этому и русские — принимали то сторону Димитрия, то сторону Шуйского (гетман Жулкевский внимательно отмечает, что русские не готовы переносить злоупотребления Лжедмитрия и начали от него переходить к Шуйскому), то склонялись к идее избрания польского королевича на русский престол (это мог быть и некий развивающийся во времени процесс, который вмещал ознакомление со всеми возможными вариантами; иногда выбор объяснялся стремлением к меньшему злу).

В силу этой пестроты, изменчивости и динамичности ситуации представители польской и русской сторон могли попеременно оказываться (более или менее) верными товарищами по оружию, воевать бок о бок против общего врага или находиться по разные стороны линии фронта, причем такая перемена могла происходить весьма быстро, как, например, при осаде Смоленска, что находит свое отражение в военных дневниках.

Когда московское посольство прибывает к королю, осаждающему Смоленск, с «поклоном и всеми договорами», послы привозят и письмо к непреклонному защитнику города Михаилу Борисовичу Шеину, не желавшему ранее, как сообщают мемуаристы, входить в «переговоры и совещания» с поляками о сдаче². В этом письме Шеин извещается

¹ Король не был в восторге от этого посольства, и хотя принял его милостиво, ответил резким отказом: «Запомните на будущее, и братии своей передайте, что Е.К.В. ощущает себя господином народа, Господом Богом ниспосланным» (*Historia Moskiewskiej Wojny ... Mikołaja Marchockiego*. S. 56). Тушинский польский лагерь разделился на две стороны — за царя или короля (*Bohun T. Moskwa 1612. Warszawa, 2005. S. 24*).

² Рукопись Жолкевского. С. 356. Ср. безуспешные обращения к Шеину, что польские войска идут защитить смоленскую землю от отрядов самозванца, письмо короля от 19 сентября к смолянам: «Мы идем к вам не затем, чтобы воевать или проливать вашу кровь, но

о принятии «всею землею русской за государя — королевича Владислава», о присяге ему, которую предписывается принести и Шеину. Он тотчас выразил согласие, выслал к Е.В.К. детей боярских... «Вышедшие из крепости москвитяне¹ начали было дружить с нашими, покупать и продавать», но король ответил Шеину, что «положение Смоленска совсем иное, чем других городов, что здесь сам король своею особою, посему и потребно, чтобы самому Е.В. Королю и Королевичу присягали и немедленно бы сдали крепость» (ибо речь шла еще и о чести короля, который в течение 20 месяцев не мог ее покорить), — и вышедшие было «дружить» москвитяне, услышав неприятный для себя ответ, «перетревожились и заперлись в крепости»².

Эта мгновенная готовность «дружить» с недавним противником свидетельствует, как представляется, об отсутствии устойчивой враждебности, даже несмотря на длящееся состояние конфронтации. Мархоцкий также отмечает быстроту перемены настроения русских: если и в Козельске, и в Калуге «Москва везде выходила нас встречать, по своему обычаю, хлебом-солью, свидетельствуя о вере и подданстве», то в Можайске войска Дмитрия, в составе которых находились отряды поляков, встретили упорное сопротивление. «Москва сдаваться не хотела, веруя в святого Николая-чудотворца, два резных богатых образа которого у них были. Однако когда на второй день боев Можайск сдался, жители тотчас присягнули Дмитрию, который, тоже по своему обычаю, устроил службу св. Николаю» (он вообще уделяет внимание московским обычаям).

Помимо совместных военных действий, сближению, по крайней мере взаимному прояснению позиций, ознакомлению с точкой зрения противоположной стороны весьма способствовали многочисленные переговоры и совещания, посольства (порой весьма внушительные по числу участников), часто сопровождавшиеся банкетами.

Весьма показательное свидетельство царящей на встречах послов атмосферы и мгновенной смены отношений между участниками содержится в той части дневника Якуба Собеского, где описывается заключение деулинского перемирия (6 декабря 1618 г.): «Мы уже, однако, *confidentius* (увереннее. — В.М.) о делах разговаривали, чем

чтобы... вас от всех врагов ваших защитить... кровь христианскую как можно скорее остановить, веру православную русскую нерушимо сохранить» (*Bohun T. Moskwa 1612. S. 22*).

¹ Примечательно, что москвитянами здесь названы смоляне, т. е. имеются в виду жители не данного города, а — Московского государства.

² Рукопись Жолкевского. С. 405.

под столицей, ибо уж и с коней ссаживались, и в одном доме, за одним столом друг с другом говорили, пехота наша с их стрельцами смешивалась, а конница наша — с их конницей уже по-дружески съезжались». После же подписания договора «по-польски» и «по-московски» (15 декабря 1618 г.) между послами устанавливается вполне дружеский контакт: «Потом мы угощали их конфетами и сидели друг с другом вместе более получаса, по-приятельски уже разговаривая, *et inter seria* (и между серьезными вещами. — В.М.) вставляя шутки», а между только что воевавшими друг с другом (как описывает и Жулкевский ситуацию у осажденного Смоленска) мгновенно возникают торговые отношения: «Тут же возникла *commercias* между нашими и Москвой, наши в Троицу поехали, покупая у Москвы меха, они же — в наши полки, коней у нас покупая»¹.

О сотрудничестве и известном взаимопонимании, сходстве взглядов русской и польской элит свидетельствуют многочисленные материалы и документы посольств. Судя по описанию представительного русского посольства (в нем приняли участие Михаил и Иван Салтыковы, Лев Плещеев, князь Василий Масальский, Федор Мещерский, Юрий Хворостинин; дьяки Иван Грамотин и Федор Андронов) к королю под Смоленск в январе 1610 г., многие московские бояре разделяли позицию польского короля, признавая нелегитимность как Шуйского, так и тушинского царя, и склонялись к избранию Владислава. Посланные — по решению Федора Ивановича Мстиславского с боярами — в Польшу на сейм в сентябре 1611 г. князь Юрий Никитич Трубецкой, Михаил Глебович Салтыков-Морозов, Михаил Александрович Нагой и думный дьяк Василий Осипович Янов (возможный автор дневника этого посольства) вновь повторяли приглашение Владислава на русский трон². О массовой поддержке этой идеи и ее пропаганде со стороны «многих из наших именитых людей», вошедших «в соглашение с врагами» («пространными речами они убеждали нас»), писал и князь Иван Хворостинин: «А потом все сошлись на собор, и эти советы были признаны правильными»³.

Ст. Жулкевский имел все основания утверждать, что он обладает «достаточной опытностью касательно воли народа московского»,

¹ *Sobieski J.* Dziennik ekspedycji moskiewskiej. S. 91, 93.

² *Dziennik poselstwa moskiewskiego wyslanego do Warszawy z koncem r. 1611 // Hirschberg A.* Polska a Moskwa w pierwszej polowie XVII w. S. 339–383.

³ *Хворостинин И.А.* Словеса дней, и царей, и святителей московских // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI — начало XVII века. М., 1987. С. 453.

и если Е.В.К. сообщит о своем намерении приобрести государство Московское не для королевича Владислава, но для самого себя, то народ московский «никоим образом на это не согласится», и будут «великие замешательства». Бояре «твердили при каждом собрании», что если король хочет обрести Московское государство для королевича, он сделает это без больших усилий, а если для себя самого, «то не обойдется без великого кровопролития»¹.

Таким образом, взгляды гетмана совпадали с идеями представителей московской элиты, с которой он установил самые доверительные отношения. Жулкевский делает и определенные шаги, которые могут быть приятны московской элите. Так, он уменьшает численность «чужестранного войска» в своей армии (оставляя 800 «немцев» из 2500), не только понимая, что оно может «изменить в верности» и «вместо помощи, от них могла приключиться опасность» (особенно в условиях нерегулярно поступавшей платы), но и желая сделать приятное московским боярам, «помнившим еще своеволия, произведенные ими при Шуйском» и очень обрадовавшимся, «что освободились от них»².

Гетман Жулкевский в сложных условиях гражданской войны в Московском государстве и вовлеченности войск Речи Посполитой в разные полюса конфликта неумолимо пытался выступать медиатором не только между польской и русской стороной, но и между противоборствующими группами внутри каждой из них (например, вел переговоры с Сапегой с целью отвлечь его от самозванца).

Жулкевский сумел — «всевозможной обходительностью, подарками и угощениями» привлечь к себе и «мужичье» — стрельцов, и даже — патриарха, «человека весьма старого, ради религии (опасаясь в ней перемены) сопротивлявшегося делам нашим»; с ним он «сносился, сперва пересылаясь, а потом сам у него бывая приобрел (по-видимому) великую дружбу его и различными способами ухаживал до того за ним, что старец, как было слышно, возымел к нам противное прежнему расположение»³.

И все же самым большим расположением Жулкевский пользовался у своих братьев по классу — московских бояр. Весьма показательна отраженная в его дневнике сцена его отъезда в конце октября 1610 г. из Москвы на переговоры с королем: к нему пришел первый

¹ Рукопись Жолкевского. С. 400.

² Там же. С. 398.

³ Там же. С. 399.

думский боярин Федор Иванович Мстиславский (во времена Смуты и сам номинировавшийся на русский престол) «и с ним около ста знаменитейших бояр», которые заперлись с гетманом и просили его не уезжать (опасаясь, чтобы «люди ваши, как своевольные, с нашими людьми не произвели ссоры», а «теперь в присутствии твоём мы живём смирно и согласно»), а уж если это невозможно, то оставить войско «в хорошем управлении», они же со своей стороны обещали «до прибытия королевича удержать дела ненарушимо и в спокойствии»¹. Бояре провожают гетмана около мили, а при проезде по городу «вся чернь по улицам забегала ему дорогу, прощаясь и благословляя»².

Вместе с тем чернь — в понимании обеих элит — весьма опасный слой общества: «Гетман обращал внимание на то, чтобы московская чернь, склонная к возмущениям, не произвела мятежа, не призвала бы обманщика <...> в случае, если бы он отвел войско от столицы. Он заметил в предусмотрительных боярах, что и они опасались того же, ибо недавнее было этому доказательство, когда князь Василий Шуйский, воссев на престоле <...> послал в Псков Шереметьева, мужа знаменитого, воеводу; и Шереметьев уже находился там около полугода, как вдруг, без всякого повода, чернь возмутилась и убила Шереметьева с его приверженцами. Бояре опасались того же и в столице и желали, чтобы под защиту войска Е.В.К. они могли быть безопасны от ярости народа»³.

Аналогичное отношение к неуправляемой и агрессивной черни, противопоставленной высокородным русским и полякам, выступающим в единстве, выразил и описывающий восстание в Москве в 1611 г. архиепископ Арсений: «Без всякого совета или боярского согласия русских или поляков или богатых хороших людей, было учинено восстание немногими неизвестными людьми без роду без племени, глупыми и пьяными холопами <...> Бояре русские и польские, вышедши, на следующий день провозгласили мир. Снова глупые и неизвестные проходимцы не послушались, но пожелали убить их, говоря: “Пришел Прокопий Ляпунов; сегодня и завтра мы всех вас истребим”»⁴.

¹ Там же. С. 401

² Там же. С. 402.

³ Там же. С. 396.

⁴ Арсений Елассонский. Мемуары из русской истории // Хроники Смутного времени. Сер. «История России и дома Романовых в мемуарах современников XVII–XX вв.». М., 1998. С. 189–190.

Здесь, очевидно, можно говорить о солидарности, взаимопонимании элит, государственно мыслящих людей, к которым с польской стороны бесспорно принадлежал гетман Ст. Жулкевский, оппонент политической тактики и стратегии короля, но тем не менее верно ему служивший (в этом — амбивалентность его положения, необходимость лавировать, убеждать разные стороны). На противоположном полюсе — у обеих элит — оказывались политическая неадекватность, неспоследовательность, корыстолюбие, приведшие в итоге к неизбежному крушению их масштабных политических планов, заключавшихся в идее объединения русского и польского тронов, унии двух государств¹. Разумеется, необходимым условием построения и реализации такого рода планов должна была стать взаимная доверительность. Сторонники рокошца Зебжидовского, недовольные политикой Сигизмунда III, могли видеть в царе Дмитрие подходящую кандидатуру². Это не ускользнуло от внимания Исаака Массы, сообщавшего, что Дмитрий «замышлял напасть на Польшу, чтобы завоевать ее и изгнать короля <...> и полагал так совсем подчинить Польшу Московии. Прежде всего это советовали ему многие поляки, как то: Сандомирский, Вишневецкий и другие. Одним словом, у него были великие и диковинные замыслы»³. В политической публицистике того времени эти связанные с Дмитрием «замыслы» также нашли свое отражение. В «Рассуждении польского шляхтича» («Dyskurs szlachcica polskiego») сообщалось: «Появился даже <...> проект его призвания на польский трон после детронизации Сигизмунда III. Автор этого проекта, видимо, вдохновленный картиной той мощной силы, которую представляли бы собой два побратавшиеся

¹ Ср.: Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia / Wyd. J. Czubek. Kraków, 1906; Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego / Wyd. J. Czubek. T. II. Kraków, 1916; *Tyszkowski K.* Planu unii polsko-moskiewskiej na przelomie XVI i XVII w. // *Przegląd współczesny*. 1928. T. XXIV. S. 392–402; *Maciszewski J.* Szlachecka opinia publiczna w Polsce wobec interwencji w Moskwie 1604–1609 // *Kwartalnik Historyczny*. 1963. T. LXXII. Z. 2. S. 363–383; *Maciszewski J.* Polska a Moskwa. Warszawa, 1968; *Florya B.* Rosyjska kandydatura na tron polski u schyłku XVI wieku // *Odrodzenie i Reformacja w Polsce*. 1971. T. XVI. S. 85–95; *Gruszecki St.* Idea unii polsko-rosyjskiej na przelomie XVI i XVII wieku // *Odrodzenie i Reformacja w Polsce*. 1979. T. XV. S. 95–99; *Мочалова В.* Образ русского, русской власти, польско-русские отношения в польской политической публицистике 70-х гг. XVI в. // *Русская культура в польском сознании*. М., 2009. С. 101–115.

² См.: *Sobieski W.* Studya historyczne. Krol a car. Lwów–Warszawa, 1912. S. 105–118, 140, 163–164.

³ *Масса И.* Краткое известие о Московии // *О начале войн и смут в Московии* / Сост. А. Либерман. М., 1997. С. 120.

государства под одним скипетром, не пугался даже того, что Дмитрий был в России абсолютным властителем. Как раз наоборот — он доказывал, что, будучи абсолютным властителем в России, Дмитрий тем более сможет укрепить свободы в Польше и способствовать всяческому исправлению Речи Посполитой»¹.

Эти проекты, обсуждения, или даже сами по себе слухи о возможных кандидатах на единый трон, свидетельствуют о существовавшей в сознании польской и русской элит того времени идее о возможности такого или иного воссоединения двух государств, например, по образцу Люблинской унии. В свою очередь, кандидатами на русский трон считались (по крайней мере на уровне слухов) как гетман Жулкевский («гордость короля могли лишь раздражать сплетни, что гетман распространял среди бояр слухи о том, что он сам мог бы стать у них царем»²), так и гетман Сапега, поддерживавший некие личные контакты с боярами, отказывавшийся воевать с ними, предпочитая заключать контракты и склоняя к этому польскую сторону. «Потом самые первые бояре сами к нему ездили бить челом», «о пане Сапеге тогда ходили слухи, что он сам хотел занять царский трон и потому так любил ездить к русским и сношаться с ними»³.

Действительно, историческая программа, к осуществлению которой стремился гетман Жулкевский, столь хорошо изучивший русских и московскую политику, была связана с этими масштабными планами соединения Речи Посполитой с Московским царством. Однако Жулкевский, призывавший короля «действовать сообразно со склонностью этого народа и положить конец войне», не преуспел в привлечении на свою сторону короля, чьи уши были закрыты для убеждающих речей гетмана⁴, и многообещающая историческая возможность оказалась упущенной. «Таким образом были потрачены впустую предоставлявшиеся возможности, утрачены плоды вооруженных столкновений, потеряны дары польской цивилизации, при этом — столь многообещающие, как никогда до сих пор или позже!»⁵ — сокрушался польский историк.

¹ Pisma polityczne z czasow rokосу Zebrzydowskiego. S. 445. Цит. по: *Maciszewski J. Polska a Moskwa*. S. 120. Ср.: *Sobieski W. Zabiegi Dymitra Samozwanca o korone polska*. Kraków, 1908.

² *Sobieski W. Żółkiewski na Kremlu*. Warszawa–Kraków, 1920. S. 166.

³ *Diariusz Samuela Maskiewicza // Moskwa w rekach Polakow*. S. 194, 195.

⁴ Рукопись Жолкевского. С. 408–409.

⁵ *Sobieski W. Studya historyczne. Król a car*. Lwów–Warszawa, 1912. S. 166.

Тем не менее подобная череда исторических эпизодов, внушительных совместных проектов — пусть даже и неосуществленных, но занимавших умы современников, проявление взаимного интереса и уважения, которые можно обнаружить на страницах польских текстов XVII в., тематически связанных с эпохой русской Смуты, противоречат восприятию картины польско-русских отношений этой эпохи исключительно в черно-белых тонах, в упрощающем ракурсе пропаганды или политики.

Петр Глушковский

РОССИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.В. БУЛГАРИНА

Фаддей Венедиктович Булгарин (1789–1857) — известный во второй четверти XIX в. русский писатель и журналист польского происхождения. Он родился в 1789 г. в польской шляхетской семье на территории бывшего Великого княжества Литовского. После разделов Польши мать определила его в Сухопутный шляхетский кадетский корпус в Санкт-Петербурге. В 1806 г. он поступил в армию и даже принимал участие в битве под Фридландом, но в 1810 г. был уволен из полка за плохое поведение. Из России он переехал в Княжество Варшавское, оттуда в Париж, а затем в Испанию, где формировался 8-й полк шевалежеров (легкой кавалерии). В его составе Булгарин участвовал в испанских сражениях и Отечественной войне 1812 года на стороне Франции.

После падения Наполеона Булгарин жил в Варшаве, в своем родовом имении, а также в Вильне, где активно принимал участие в редакции польских журналов (как автор статей). Однако литературную известность Булгарин получил только после переезда в столицу России, где быстро стал одним из самых известных журналистов. Он был не только издателем журналов и «Северной пчелы», самой популярной газеты второй четверти XIX в., но также автором многих книг, в числе которых «Иван Выжигин» — наиболее тиражируемый роман конца 1820-х гг. В это время Булгарина знала вся читающая Россия — как царский двор, так и провинциальные помещики и даже

грамотные крестьяне¹. Сегодня Булгарина помнят только как сотрудника III-го отделения и соперника Пушкина.

Булгарин четко связан с польской и российской историей. Он практически всю свою жизнь прожил в Российской империи, но не потерял своей польской идентичности. Более того, он представлял собой образец множественной идентичности: польской, литовской и имперской, которая, в свою очередь, включала элементы лифляндской, в какой-то степени славянской и русской².

Хотя Булгарин практически все свои произведения написал на русском языке и сам заявлял, что он русский, он в большой мере принадлежал также к польской культуре³. Его польскую национальность подчеркивали сами русские. Самый характерный пример — это эпиграмма А.С. Пушкина:

Не то беда, что ты поляк:
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин, —

И тут не вижу я стыда;
Будь жид — и это не беда;
Беда, что ты Видок Фиглярин⁴.

Еще более характерна эпиграмма князя П.А. Вяземского:

Фиглярин — вот поляк примерный,
В нем истинных сарматов кровь:
Смотрите, как в груди сей верной
Хитра к отечеству любовь.
То мало, что из злобы к русским,
Хоть от природы трусоват,
Он бегал под орлом французским

¹ Рейтблат А.И. Булгарин и его читатели // Чтение в дореволюционной России. М., 1992. С. 55–66; Головина Т. Голос из публики: (Читатель-современник о Пушкине и Булгарине) // Новое литературное обозрение. 1999. № 40. С. 11–16.

² Глушковский П. Фаддей Булгарин в мире идентичностей Российской империи // Славяноведение. 2011. № 2. С. 46–55.

³ Глушковский П. Фаддей Булгарин — популяризатор польской культуры в России // Русско-польские языковые, литературные и культурные контакты. М., 2011.

⁴ Пушкин А.С. Не то беда... // Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 2. М., 1959. С. 359.

И в битвах жизни был не рад.
Патриотический предатель,
Расстрига, самозванец сей —
Уж не поляк, уж наш писатель,
Уж русский, к сраму наших дней.
Двойной присягою играя,
Поляк в двойную цель попал:
Он Польшу спас от негодяя
И русских братством запятнал¹.

Россия всегда была одной из главных тем в творчестве Булгарина. Благодаря своей популярности он мог распространять свои взгляды среди многих читателей «Северной пчелы», а также в своих романах. Несмотря на свое польское происхождение и несомненный патриотизм, Булгарин понял в 1815 г., что Польша не в состоянии самостоятельно получить независимость. Единственный шанс Польши не потерять своей идентичности — это развитие в рамках Российской империи². По мнению Булгарина, Пруссия и Австрия были не заинтересованы в поддержке развития польского меньшинства в своих странах³. Хорошие условия для развития польской культуры и «польского духа» создала только Российская империя. Поэтому Булгарин призывал всех жителей Царства Польского, а также поляков из западных окраин Российской империи (родные земли Булгарина), чтобы бросили мечты о полной независимости и признали царя России польским королем, а Российскую империю своей второй родиной.

В концепциях Булгарина Польша была неотъемлемой частью Российской империи, благодаря чему его идентичности — польско-литвинская и имперская — образовали единое гармоничное целое. Но его взгляды не были уникальны. Многие поляки переехали в Петербург и служили на благо России⁴. Их верноподданническое отношение к царю не означало, что они порвали со своей прежней

¹ *Вяземский П.А.* Стихотворения. Л., 1986. С. 256.

² *Булгарин Ф.В.* Замечания о Польше // Видок Фиглярин. Письма и агентурные записки Ф.В. Булгарина в III отделение. М., 1998.

³ *Malinowski M.* Dzienniki. Wilno, 1904. S. 41.

⁴ *Bazyłow L.* Polacy w Petersburgu. Wrocław, 1984; *Wołoszyński R.* Polsko-rosyjskie związki w naukach społecznych 1801–1830. Warszawa, 1974; *Idem.* Polacy w Rosji 1801–1830. Warszawa, 1984.

идентичностью, а только показывало их убежденность в том, что Польша может успешно развиваться под скипетром русского царя.

Как до, так и после восстания 1830–1831 гг. (ноябрьское восстание) Булгарин многократно заявлял своим читателям, что считает Россию самой сильной и надежной страной. «Славянщина» в творчестве Булгарина похожа на тезисы, выдвигаемые в это же самое время польским философом А. Цешковским, и даже, в каком-то смысле, поэтом А. Мицеквичем, разве что у Булгарина основой концепции всегда является Россия: «...Россия есть более, нежели самостоятельное государство <...> это отдельная планета, составленная из своих собственных стихий, из которых должны были быть созданы гражданские начала, на основании русского самодержавия, единственной опоры необычной России»¹. Несколько ранее он высказал даже мнение, что Россия должна составить «отдельный русский просвещенный мир, утвержденный на своих собственных народных началах, с отвержением всех, умственных и нравственных, заблуждений Запада». Сразу надо подчеркнуть, что Булгарин никогда не хотел отречься от Запада. Без опыта Запада Россия повторит его ошибки и всегда будет на шаг позади Европы. Поэтому Российская империя не будет развиваться достаточно быстро без сотрудничества с Западной Европой и «старшими цивилизациями». Такими высказываниями Булгарин помогал найти России свою национальную идентификацию².

Для Булгарина Россия была самой могучей державой, а русские являлись самым многочисленным и сильным славянским народом. «О Русь, мать всех племен славянских, сколько дарования, сколько ума и нравственной силы сокрыто в твоих недрах! — писал Булгарин. — Другие народы уже истощили дар слова, а мы едва тронули поверхность нашего рудника»³. Одновременно он показывал, на каком низком культурном уровне находится Россия и скольким вещам она еще вынуждена научиться у других стран.

Стоит заметить, что Россия, в представлении Булгарина, являлась вполне открытой для всех своих подданных в смысле карьерных возможностей европейской многонациональной державой, а не «Святой Русью». На примере М.Б. Баркляя-де-Толли он показывал, что чужеземец тоже может стать соотечественником и даже «первым

¹ Булгарин Ф.В. Журнальная всякая всячина // Северная пчела. 1849. № 38.

² Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М., 2001. С. 107.

³ Булгарин Ф.В. Рецензия книги «Герой нашего времени» // Северная пчела. 1840. № 246.

сыном России»¹. Н. Рязановский доказывает, что Россия была для Булгарина петровской². Булгарин действительно многократно подчеркивал роль Петра в создании современной империи. Самое характерное высказывание на сей счет можно найти в его «Воспоминаниях», где он соглашался с мнением Е.Ф. Канкринна, что русские должны называться «петровцами»: «При варяго-русских правителях мы были варварами, азиатами, и как в старину монголы покорили Россию, так в течение времени растерзали ее наши европейские соседи, если б не родился Петр! Всем: славой, силой, довольством и просвещением — обязаны мы роду Романовых, и из благодарности должны были бы переменить наше общеплеменное название *славян* на имя творца империи и ее благодетеля. Россия должна называться *Петровией*, а мы *петровцами*, или империя — *Романовой*, а мы *романовцами*»³.

У Булгарина не было сомнений, что до Петра I Россия являлась полудикой и находилась вне Европы. Пережитки того периода остались в России до сих пор. Одной из основных задач правительства должно быть их искоренение. «До мудрого преобразователя Петра Великого Россия имела характер азиатский. Когда Петр Великий ввел Россию в европейскую семью и установил ей европейское просвещение и все наружные формы европейской образованности (цивилизации), на характере сословия, принявшего эту образованность, остались следы того века, в котором началось преобразование России»⁴. Характерно, что Петр I первым ввел наднациональную идею империи, в которую мог легко вписаться Булгарин, поляк.

Без сомнений Булгарин утверждал, что настоящая Россия началась со времен Петра I, а Московская Русь не вызвала у него сильного интереса. Россия, с которой он отождествлял себя, началась только с XVIII в. «Петр Великий указал нам путь, по которому мы должны следовать, а что он сделал — то свято! Нелепая мысль об утверждении народности наружными формами могла родиться только в голове, неспособной мыслить и соображать»⁵. Правильно замечает М.Ю. Досталь, что «Ф.В. Булгарин и Н.И. Греч выступали за

¹ Булгарин Ф.В. Правда о 1812 г., служащая к исправлению исторической ошибки, вкрадшейся в мнение соотечественников // Северная пчела. 1837. № 7.

² Riasanovsky N. The Image of Peter the Great in Russian History and Thought. New York, 1985. P. 109.

³ Булгарин Ф.В. Воспоминания. М., 2002. С. 85.

⁴ Булгарин Ф.В. Ливонские письма // Северная пчела. 1846. № 171.

⁵ Булгарин Ф.В. Журнальная всякая всячина // Северная пчела. 1848. № 2.

оптимальное сочетание в русской культуре достижений западноевропейской образованности, общемирового просвещения и русского народного начала, причем не в древней, а в современной его форме»¹.

Булгарин вынужден был балансировать между своими читателями, актуальной политикой империи и своими личными взглядами. Во многих своих статьях он подчеркивал, что нет более способных и ловких людей, чем русские², но имеются в его текстах такие замечания, что и прочие народы Российской империи своими способностями ни в чем не уступают русским³. Все народы империи «соединены между собой одним чувствованием, любовью и преданностью к русскому царю и одной мыслью — охранением своей родины и благодатного русского правительства»⁴. Как главный редактор официозной газеты Булгарин должен был льстить русским. Однако надо помнить, что он по собственному желанию поселился в Лифляндии, сильно отличавшейся от коренных русских земель. Характерно также, что Москва — древняя столица России — вызывала у Булгарина сугубо исторический интерес. Посетить ее он собрался лишь в 1854 г.⁵

Булгарин стремился к тому, чтобы Российская империя была могущественной европейско-славянской сверхдержавой. Он не усматривал никакого преимущества русских перед другими славянскими нациями, неоднократно замечая, что Россия является единственной страной, которая способна защищать интересы славян. «По моему мнению, — писал Булгарин, — все, что касается славянских племен, должно иметь для нас особую занимательность. Мы, славяне, составляем особое племя, тогда как все прочие племена стараются истребить даже память о славянском происхождении. Но на земном шаре есть почти особенная часть света, неотразимая Россия, сохраняющая еще славянский характер и язык. Это магнит для славянского сердца!»⁶ Однако Булгарин обладал чувством меры и, например, не поддерживал идею о славянском языке как прародителе всех языков мира. С этой его точки зрения, этимология О. Сенковского («Набуходонозор» — «Небу угодный царь», «Вавилон» — «Бабе лоно», «река

¹ Досталь М.Ю. Славистика в «Северной пчеле» в 40-е годы XIX века // Балканские исследования. М., 1992. Вып. 16. С. 192.

² Булгарин Ф.В. Журнальная всякая всячина // Северная пчела. 1856. № 193.

³ Там же.

⁴ Там же. 1855. № 203.

⁵ Булгарин Ф.В. Дорожные впечатления Ф.В. // Северная пчела. 1854. № 30, 39, 44.

⁶ Булгарин Ф.В. Заметки, выписки и корреспонденция Ф.В. // Северная пчела. 1856. № 9.

Сена» — «сено») была не более чем курьезом¹. Так, Булгарин очень протестовал против понимания славянизма в духе некоторых славянофилов. Ему не нравилось, что «некоторые из них, отыскивая русскую народность, погрузились на самое дно русской истории и ухватились за *славяницу*»².

Булгарин подчеркивал, что романские и германские народы считают славян худшим из народов, и потому те должны держаться вместе³. Эта мысль высказывалась им при описании поляков, сербов и черногорцев, но особенно сильно звучала в его книге «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях»⁴ и во время Крымской войны. В одной из статей о славянах он писал, что многие племена потеряли свою самобытность. «Одна Россия стоит самостоятельно и твердо, как скала среди океана, и в ней существует, с незапамятных времен, истинный славянский дух, который непрерывно развивается и обнимает все, что только споспешествует народному благоденствию, — заявлял Булгарин. — Россия единственная сильная, самостоятельная и могущественная славянская держава, с драгоценным русским царским родом Романовых, выступавшая твердой стопой, в области общей европейской образованности, но сохраняющая еще свой славянский первообраз»⁵. Тем самым он утверждал, что славянские страны должны узнать превосходство Российской империи. С другой стороны, обязанностью России является защита Польши, Чехии и всех других родственных славянских стран.

По нашему мнению, Булгарина можно считать одним из первых польских идеологов панславизма. В первой половине XIX в. многие поляки полагали, что их народ может развиваться только под скипетром Российской империи⁶. Булгарин одним из первых открыто начал писать о политическом и культурном объединении всех славян под властью России. Эта позиция отличала его от другого крыла

¹ Булгарин Ф.В. Журнальная всякая всячина // Северная пчела. 1855. № 56.

² Булгарин Ф.В. Ливонские письма. 1846. № 171.

³ Северная пчела. 1854. № 9.

⁴ Булгарин Ф.В. Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях (рецензия) // Северная пчела. 1854. № 9.

⁵ Булгарин Ф.В. Журнальная всякая всячина // Северная пчела. 1852. № 75.

⁶ Idee wspólnotowe słowiańszczyzny. Poznań, 2004; Kuk L. Orientacja słowiańska w myśli politycznej Wielkiej Emigracji (do wybuchu wojny krymskiej). Geneza, uwarunkowania, podstawowe koncepcje. Toruń, 1996; Klarnier Z. Słowianofilstwo w literaturze polskiej lat 1800 do 1846. Warszawa, 1926.

польских панславистов, которые отводили Польше ведущую роль в объединении славянства (Мицкевич, Товянский и их известная идея Польши — Христа народов)¹. Польский панславизм носил антироссийский характер, а панславизм Булгарина — пророссийский².

Нельзя считать Булгарина идеологом Российской империи — это преувеличение³. С другой стороны, он влиял на мнение тысяч подписчиков «Северной пчелы» — людей грамотных, а значит, в условиях первой половины XIX в. хорошо образованных. Мнение Булгарина было важным в определенных кругах (широко понимаемая провинция) также в 1830–1950-е гг., несмотря на его репутацию в литературных салонах, у друзей Пушкина и представителей «натуральной школы».

Булгарин присоединился к дискуссии о теории официальной народности и идеологии Российской империи. Его трактовка многих государственных вопросов, включая польский, могла бы стать своего рода альтернативой уваровской триады. В своей публицистике Булгарин показывал, как можно понимать уваровскую триаду, не дискриминируя инородцев.

Его взгляды могли послужить даже «вдохновением» для С.С. Уварова⁴. Он в большой степени разделял мнение Уварова, который считал, что Россия должна развиваться независимо от Запада и для этого нужно создать «опоры, которые составляют неповторимость России и принадлежат только ей»⁵. Это означало не то, что Россия должна вообще отречься от опыта Европы, а только то, что нужно попытаться избежать ее ошибок. Уваров опасался, что дальнейшая гонка за Западом может способствовать революционному взрыву и классовым столкновениям, а также развитию в обществе материалистических взглядов⁶. Булгарин соглашался с этими выводами, подтверждая, что русские «должны очищать западное просвещение в горниле русской народности по чувству, духу и потребностям России»⁷.

¹ *Mickiewicz A. Paryskie prelekcje. Kraków, 1997; Batowski H. Mickiewicz jako badacz słowiańszczyzny. Wrocław, 1956; Janion M. Niesamowita słowiańszczyzna: fantazmaty literatury. Kraków, 2007.*

² *Kurczak J. Historia nadziei: romantyczne słowianofilstwo polskie. Łódź, 2000.*

³ Ср.: *Удалов С.В. Популяризатор государственной идеологии Ф.В. Булгарин и теория официальной народности // Клио. 2006. № 1.*

⁴ *Янов А. Загадка Фаддея Булгарина: Социально-исторический очерк // Вопросы литературы. 1991. № 9/10. С. 98–125.*

⁵ *Виттекер Ц.Х. Граф Сергей Семенович Уваров и его время. СПб., 1999. С. 111.*

⁶ Там же. С. 112.

⁷ *Булгарин Ф.В. Ливонские письма // Северная пчела. 1846. № 171.*

«С Запада надо брать только хорошее, а не *дряхлое и гнилое*, — остро писал Булгарин накануне европейских революций. — Русская народность не в славянизме, а в русском языке, русской истории, в остатках русской мифологии, в сказочных преданиях или сагах, в пословицах, в поговорках, в древних народных песнях и в познании местности России и русского быта»¹. Уваров и Булгарин были далеки от мировоззрения славянофилов.

Также и в отношении к религии у Булгарина была сходная позиция с Уваровым, который, «хотя и не обладал глубокими понятиями о православии, смотрел на него как на необходимый источник культурного, этнического и политического единства»². «Без любви к вере предков народ, как и частный человек, должен погибнуть, — писал Уваров. — Русский, преданный Отечеству, столь же мало согласится на утрату одного из догматов нашего Православия, сколько и на похищение одного перла из венца Мономахов»³. Однако это не означало, что в России нет места другим конфессиям и вероисповеданиям. По мнению А. Зорина, для Уварова была характерна индифферентность в религиозном вопросе. В подлиннике письма Уварова к Николаю I в марте 1832 г. он обнаружил, что Уваров вместо слова «православие» употребляет слова «церковь» или «религия»⁴. Православие должно быть доминирующей религией, но карьера в России должна быть открыта для любого человека, уважающего и защищающего православие. Для Булгарина католика, поляка по происхождению, живущего на окраинах империи, это было принципиально важно.

Многокомпонентный религиозный состав Российской империи не воспринимался в теории официальной народности как проблема. По мнению Уварова, все граждане, прежде всего чиновники, должны стоять на страже православия. Также у Булгарина православие не стояло выше других христианских конфессий. Защищая официальную религию России, он часто заменял слово «православие» другими: «христианская религия», «христианство»⁵. Булгарин был вынужден писать о православии, но сам был другого вероисповедания. Как

¹ Северная пчела. 1846. № 172.

² Виттекер Ц.Х. Указ. соч. С. 112.

³ Уваров С.С. Десятилетие министерства народного просвещения. 1833–1843. СПб., 1864. С. 107.

⁴ Зорин А. Идеология «Православия-самодержавия-народности»: опыт реконструкции // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 86.

⁵ Булгарин Ф.В. Заметки, выписки и корреспонденция Ф.В. // Северная пчела 1854. № 64; он же. Дорожные впечатления Ф.В. // Северная пчела. 1854. № 53.

издатель официальной газеты Булгарин не мог не отстаивать интересы православной религии, несмотря на свое католическое вероисповедование, что в условиях Российской империи вовсе не являлось редкостью. Поэтому он в «Северной пчеле» заявлял: «Одна Россия осталась верной православию, непоколебимую в вере христовой, и свято чтущую христианские добродетели, человеколюбие, сострадание и братскую любовь к ближнему»¹. Булгарин боялся, чтобы читатели не приняли его за чужака, и поэтому время от времени в чересчур патетических словах писал о православии. «Народные наименования России — Русь святая, Русь православная. От нашествия монголов до нашествия Наполеона на Россию (1812 г.) вера и верность спасли Россию и доставили ей торжество над злыми врагами, — писал Булгарин. — Дума русского народа — православие и русская земля, драгоценная православному народу священными обителями, провозглашающими святость веры православной, соединяющей русский народ православием с благословенным царским родом, поставленным над нами Богом, для блага России»². Однако такие статьи были все же исключением. В действительности он не предпочитал православия другим христианским конфессиям, самым лучшим показателем чего является его католическое вероисповедование.

В своих произведениях Булгарин описывал ценности христианской веры, критиковал иезуитов³, однако не пытался сопоставлять православие и католицизм. «Где только христианская вера не признана господствующею, — утверждал он, — там быть не может ни просвещения, ни образованности, ни последствий их человеколюбия, милосердия и сострадания, и даже у христианских народов, где христианская вера, а с нею христианская нравственность ослабевают, там начинают колебаться все гражданские связи общества и, наконец, вся гражданственность ниспровергается, как то мы видели во Франции (1792–1794 годов). Словом, все доброе, честное, человеколюбивое и благородное порождается и лелеется Христианскою Верою; все зло происходит от забвения или пренебрежения ее святых правил»⁴.

Второй компонент уваровской триады не вызывал у Булгарина больших сомнений. Он считал самодержавие главным основанием

¹ Булгарин Ф.В. Журнальная всякая всячина // Северная пчела. 1853. № 155.

² Булгарин Ф.В. Заметки, выписки и корреспонденция Ф.Б. // Северная пчела 1856. № 3.

³ Булгарин Ф.В. Мазепа, М., 1990; он же. Дмитрий Самозванец. М., 1994.

⁴ Булгарин Ф.В. Журнальная всякая всячина // Северная пчела. 1855. № 67.

империи. Булгарин был убежден, что такая большая страна должна управляться сильной властью одного человека. Любой другой политический строй вызовет хаос, анархию и революцию. Примером служила ему Речь Посполитая. Поэтому в своих сочинениях он многократно описывал добро и справедливость царя.

В понимании Булгарина самым проблематичным был последний компонент уваровской триады. Термин «народность» являлся очень широким и мог привлечь к себе противоположные группы людей. Под этим термином можно было одновременно подразумевать охранительство с ксенофобией, мессианские мифы, сигналы европейского либерализма и революционный лозунг¹. Очень интересно рассмотреть, как в контексте имперской России Булгарин относился к народности.

Булгарин быстро включился в дискуссию о смысле «народности». Он несколько раз ставил этот вопрос и выяснял, как следует понимать эту составляющую уваровской триады. Из многочисленных статей, помещенных в «Северной пчеле», мы можем сделать предположение, что Булгарин заменил бы это понятие в триаде другим, более общим термином — «нравственность». «Народность» не вписывалась в имперскую систему Булгарина, поскольку в ней не было места для поляков, жителей Великого княжества Литовского и Лифляндии, которые считали себя подданными Российской империи, но не русскими.

Идеологи народности искали корни государства в далеком прошлом, в допетровской Руси. Булгарин не мог с этим согласиться. «Народность не в том, чтобы не брить бороды, носить русский кафтан, пить квас и бранить все чужеземное, — писал Булгарин, — а в том, чтобы повиновением отечественным законам, любовью к порядку и к просвещению, к родному языку и к своим сородичам содействовать, по мере сил и способностей, к преуспеянию всех благих мер на пользу и славу отечества, а для достижения этой цели непременно нужны *познание языка и духа народа*»².

Спустя два года на пике полемики с натуральной школой Булгариным будет снова рассмотрен этот вопрос. «Из чего же должна быть составлена современная русская, просвещенная народность? — спрашивает он и отвечает сам себе: — Из нашего нынешнего государственного устройства, определенного нашим законодательством,

¹ Виттекер Ц. Указ. соч. С. 123.

² Булгарин Ф.В. Журнальная всякая всячина // Северная пчела. 1846. № 61.

дарованным нам русскими государями; из русской природы (т. е. климата, видоизменения страны, произведений почвы), которая заставляет нас жить иначе, нежели живут западные и южные народы, и следовательно, порождает другие идеи и другие обычаи; из сокровищ нашего богатого, звучного, прекрасного языка, из нашей истории и преданий»¹.

Нет сомнений, что последний компонент уваровского лозунга разрушал систему, которую лично пытался построить Булгарин. Часть славянофилов упрекала его в иностранстве и принуждала к публичному признанию в русскости. «Народность» в каком-то смысле противоречила его множественной идентичности и позиции в России, поэтому он сильно ее критиковал. «Один ищет народности в шахах (рос. шахматах, полонизм. — П.Г.), в кулебяке, в квасе и русской бане; другой в куренной избе, в сарафане, кокошнике, армяке и лаптях; третий в русском просторечии, в хороводах, песнях, пословицах и поговорках. Нет спора, что во всем этом есть свое народное, но все это, вместе взятое, есть только остатки, развалины старинного русского быта, а не современная народность, сообразная с требованиями просвещенного века. Только слабые умы могут промышлять о возможности восстановления старинного русского быта в наши времена и верить, что русский дух иначе не может существовать, как в бороде и зипуне. Мечты о славянской народности — просто безумие потому, что от сотворения мира никогда не было общей славянской народности, и славянские племена всегда жили отдельно, не имея ничего общего, кроме корнеслова языка, разделенного на множество наречий»².

Булгарин отличался от большинства официальных идеологов тем, что в его понимании православие не стояло выше других христианских конфессий³. Он несколько по-другому формулировал знаменитую уваровскую триаду: вера/христианство, царь и Отечество/Российская империя⁴, время от времени даже забывая о первом компоненте. Народы Российской империи, согласно Булгарину, «соединены между собой одним чувствованием, любовью и преданностью к русскому царю и одной мыслью — охранением своей родины и

¹ Там же. 1848. № 2.

² Там же.

³ См.: Walicki A. Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego. Kraków, 2005. S. 151–158; Walicki A. Rosja, katolicyzm i sprawa Polska. Warszawa, 2002. S. 285–360.

⁴ Булгарин Ф.В. Журнальная всякая всячина // Северная пчела. 1854. № 85, 109.

благодарного русского правительства»¹. Этот пример показывает, как по-разному можно было толковать триаду. Булгарина можно назвать славянофилом только в позднем, или западном значении этого слова. Он был панславистом и выступал за объединение всех славян под эгидой России.

Высказывания Булгарина насчет России не ограничиваются только его книгами и публицистикой. По-другому Булгарин относился к России в своих записках в III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, в которых он был свободен от оков цензуры. В своих секретных записках и письмах А.Х. Бенкендорфу и М.Я. фон Фоку он давал конкретные советы, как управлять Россией. В круг тем, затрагиваемых писателем, входили не только русско-польские отношения, но также Прибалтика, литература и цензура, политические слухи и настроения общества в Российской империи. Булгарин таким путем пытался даже повлиять на поведение царя Николая I, ускорить его коронацию в Польше, изменить его отношение к полякам, цензуре и вообще к печати.

На протяжении сорокалетней литературной деятельности Булгарин формулировал свой образ России. Образ этот эволюционировал в связи с политическими событиями в России и Европе, но, несмотря на все изменения, Булгарин всегда представлял Россию как европейскую многонациональную державу. Автор «Ивана Выжигина» не был выдающимся идеологом и философом, но его подходы к решению конфессиональных, национальных и государственных проблем Российской империи заслуживают внимания. Булгаринская идея России особенно интересна, когда мы рассматриваем ее, сравнивая с идеями выдающихся российских идеологов или просто на фоне координат славянофильство–западничество.

¹ Там же. 1853. № 203.

Збигнев Опацкий

ГЕНРИК КАМЕНЬСКИЙ О РОССИИ И РУССКИХ

Интерес к Генрику Каменьскому (1813–1866) в польской историографии в основном связан с его конспиративной деятельностью между двумя польскими восстаниями, а также с его достижениями в области публицистики, политики и философии. Каменьский прославился под псевдонимом Филарет Правдовский как автор книг «О жизненных правдах польского народа» и «Демократический катехизис, или Рассказы народного слова»¹, в которых он изложил свои демократические взгляды и призывы к борьбе за независимость против России. Толкование философии истории Каменьский поместил в своем труде «Философия материальной экономики»², который был опубликован в Познани.

В период эмиграции он опубликовал ряд работ³, в том числе и «Россия и Европа. Польша». То, как он приступил к исследованию России и русских, было его самым важным, а также крупнейшим польским достижением в сфере политологического и социологического понимания современной ему России XIX века⁴. Труды Каменьского в публици-

¹ *Kamiński H.* O prawdach żywotnych narodu polskiego przez Filareta Prawdowskiego. Bruksela, 1844; *Idem.* Katechizm demokratyczny czyli opowiadanie słowa ludowego przez Filareta Prawdowskiego. Paryż, 1845.

² *Kamiński H.* Filozofia ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa. T. I. Poznań, 1843; T. II. Poznań, 1845; Wznowienie, opracował Bronisław Baczek. Warszawa, 1959.

³ *Kamiński H.* Demokracja w Polsce. Wstęp do prac na wyswobodzenie Polski przez XYZ. Genewa, 1858; *Idem.* Wojna ludowa przez XYZ, Bendlikon, 1866. Wznowienie. Warszawa, 1948; «Prawda». Pismo czasowe przez XYZ, 1860–1861.

⁴ *Kamiński H.* Rosja i Europa. Polska. Wstęp do badań nad Rosją i Moskalami przez XYZ.

стическо-мемуарном стиле имеют более обширную проблематику, что объясняет их публикацию уже во времена Польской Народной Республики, когда переиздавались его философские труды, фрагменты из публицистики на политические темы¹, сочинения «Мемуары и портреты»², прошедшие цензуру «Воспоминания узника»³, «Письма из ссылки»⁴ (в Вятку), «Среднее сословие и восстание»⁵, роман «Пан Йозеф Бояльский — наследник деревни Осин»⁶. В этот период не печатали его трудов о России, что вполне объяснимо, учитывая его идейную позицию.

Из области истории политической мысли следовало бы упомянуть труды Стефана Кеневича⁷, Войчеха Карпиньского⁸, Мечислава Тантого⁹, Анджея Новака¹⁰, Збигнева Опацкого¹¹, а из области философской мысли — Бронислава Бачко, Анджея Валицкого, Витольда Кули. В Польской Народной Республике тему России обходили, а вместо этого на первый план выдвигали социальный и политический радикализм, а также философский рационализм Каменьского. Ситуация изменилась после 1989 г., когда цензура была упразднена, а исторический дискурс охватил ранее запрещенные темы.

Paryż, 1857. Wznowienie. Warszawa, 1999.

¹ *Kamiński H.* Postęp to życie. Wybór pism. Wybór, wstęp i przypisy Stanisław Filipowicz. Warszawa, 1980.

² *Kamiński H.* Pamiętniki i Wizerunki, przygotowała do druku Irmina Śliwińska. Wstęp Witold Kula. Wrocław, 1951.

³ *Kamiński H. (Henri Corvin).* Wspomnienia więźnia, przeł. Helena Devechy. Wstęp i przypisy Bogdan Zakrzewski. Wrocław, 1977.

⁴ *Kamiński H.* Listy z zesłania. Wydał Tadeusz Kazanecki, "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej". T. 14. Warszawa, 1968.

⁵ *Kamiński H.* Stan średni i powstanie. Przygotowali do druku Wanda Stummer i Henryk Kieniewicz, Przedmowa H. Kieniewicz. Warszawa, 1982.

⁶ *Kamiński H.* Pan Józef Bojałski dziedzic wsi Osin z przyległościami przez Szymona Gadulskiego. Wrocław, 1955.

⁷ *Kieniewicz S.* Henryk Kamiński, PSB. T. XI. Wrocław, 1964–1965; Przedmowa // *Kamiński H.* Stan średni i powstanie. Warszawa, 1982.

⁸ *Karpiński W.* Słowiański spór. Torino, 1975; *Idem.* Polska a Rosja. Z dziejów słowiańskiego sporu, Lublin, 1999.

⁹ *Tanty M.* Idea słowiańska i współdziałanie polsko-rosyjskie w pismach Henryka Kamińskiego // *Z polskich studiów slawistycznych.* 1972. Ser. 4. Nr. 9.

¹⁰ *Nowak A.* Henryk Kamiński — autor "Rosji i Europy. Polski" // *Przegląd Historyczny* T. LXXVI. Z. 4. Warszawa, 1985. Powtórzone, *Idem.* Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej (1733–1921). Warszawa, 1995; Wyd. II, Kraków, 1999.

¹¹ *Opacki Z.* Henryka Kamińskiego koncepcja sojuszu z państwem rosyjskim w l. 50-tych XIX w. // *Slavia Orientalis.* 1983. Nr. 1–2; *Idem,* Barbaria rosyjska. Rosja w historiozofii i myśli politycznej Henryka kamińskiego. Gdańsk, 1993. Также включает в себя библиографию посвященных Генрику Каменьскому работ, опубликованных до 1992 г.

Из русских историков к письмам Каменьского обращалась В.М. Фоменкова из Кировского (Вятского) университета, на основе которых она представила его взгляды на условия жизни и быт крестьянства в Вятской губернии, поляков в ссылке, а также Вятку 40-х годов XIX в. Ольга Полякова¹ описала его пребывание в Вятке, опираясь на материалы архива Кировской области.

Достижения и публицистическую активность Генрика Каменьского можно поделить на два периода: первый — с момента его ареста и ссылки в Вятку, другими словами, его тесного знакомства с Россией и «русскостью» в провинциальном варианте; второй — эмиграция в Швейцарию.

Для первого периода существенным являются его представления о России и русских, которые не отличались от представлений средне-статистического жителя Польского Королевства из шляхетского сословия. Стоит обратить внимание на то, какое влияние на Каменьского оказали семейные традиции. Его отец был полковником, участником наполеоновской кампании в Испании и России, а затем польско-русской войны 1830–1831 гг., погиб в битве под Остроленкой в звании генерала, командира дивизии. Его мать происходила из семьи, которая занимала активную социальную и политическую позицию. Возможно, это стало предпосылкой к тому, что общественные и мировоззренческие взгляды Каменьского были шире, чем у других. Он родился в 1813 г., сначала получил домашнее образование, а затем учился в Варшавском лицее. Так же как и отец, он принял участие в Ноябрьском восстании, был адъютантом главного предводителя. Каменьский дослужился до звания офицера, был награжден воинским крестом. Во время обороны Варшавы был ранен, затем перевезен в Модлин, где его и настигла русская армия. В это время ему было около 18 лет².

Каменьского отпустили, и он находился под надзором полиции в своем поместье Руда, недалеко от Хелма. На рубеже 30–40-х гг. он активно занимался конспиративной деятельностью пропагандистского, публицистического характера, а также открыто публиковал свои научно-философские труды. По причине не только полицейского надзора, но и в связи с патриотической деятельностью он перебивал в разных частях Польши, в том числе и входящих в Российскую империю. У Каменьского были контакты с местными представителями

¹ Poljakowa O. Henryk Kamiński na zesłaniu w Wiatce // Przegląd Humanistyczny. 1999. Nr. 1.

² Opacki Z. Barbara. S. 101–111.

царской власти в Королевстве, в Варшаве, в провинции, на Волыни, однако он не проявлял особого интереса к России.

Единственно, что стоит подчеркнуть: во время подготовки к восстанию предполагалось, что боевые действия охватят также и территорию России, чтобы поднять к борьбе поработанный царизмом русский народ. Таким образом, Каменьский в призыве «За нашу и вашу свободу» видел шанс освобождения Польши и русского народа. Однако именно у последнего он не нашел самостоятельных сил для борьбы против царизма¹.

Более серьезный интерес к России, государству и обществу Каменьский проявил только после ареста и ссылки. Можно сказать, что непосредственный и широкий контакт с культурой и русским обществом стал для него импульсом к исследованию восточного соседа. В ссылке Каменьский выучил русский язык, чтобы читать в оригинале журналы, книги, устанавливать контакты с местными жителями, которые не являлись представителями элиты. Он намеренно углублял свои знания, чтобы лучше понять русское государство и его жителей².

Результаты этого интереса были разнообразны. Сохранились письма Каменьского к сестре Лауре, которые он писал по дороге в Вятку и из Вятки. Автор писем знал, что их будут читать чиновники, поэтому описывает только свой быт, знакомства, встречи, визиты и т. д. Он воздерживается от мнений, оценок и обобщений, а также не касается тем разговоров. Таким образом, письма лишены враждебного настроения и неприязни. Наоборот, их автор принимает на себя образ доброжелательного наблюдателя. Прежде всего, Каменьского поражает зажиточность жителей, активность крестьян в сельском хозяйстве, питательность пищи, что подчеркивает ее некоторое однообразие. Также в письмах содержатся наблюдения из жизни бюрократии и провинциальной интеллигенции.

Россия — это богатая страна с огромным потенциалом развития. К такому заключению приходит Каменьский после принудительного пребывания в отдаленных уголках России. «Общее впечатление, которое я вынес с Вятки, — заключил он в письме, уезжая из ссылки, — это благодарность и уважение к русской гостеприимности, которая не является ни поверхностной, ни банальной чертой. Это

¹ Ibid. S. 14–16; *Nowak A.* Jak rozbić rosyjskie imperium? S. 255–257.

² *Kamiński H.* Wspomnienia więźnia; *Idem.* Listy z zesłania.

гостеприимность сердечная и бескорыстная, искренняя и простая. <...> Она идет прямо от сердца, как некий долг перед совестью. Она часто может показаться чем-то большим, например дружбой или даже семейной дружбой»¹.

После возвращения в страну и эмиграции Каменьский понял, что его знание о России отличается от распространенных представлений о ней в Польше или Европе. Это знание стало фундаментом для разных политических проектов, как польских, так и европейских. Отсюда у него появилось убеждение написать труд, посвященный России, государству и обществу. В работе «Россия и Европа. Польша» (Париж, 1857) он глубоко исследует Россию и русских, так, как никто другой не делал этого в польской научной литературе XIX в. и даже, пожалуй, первой половины XX в. Высокую оценку этой книге дал Александр Герцен, который в письме к Огареву отметил: «Это, без сомнения, самая умная вещь, которую мог написать поляк о России»². Кроме этого, Каменьский приготовил мемуары о пребывании в крепости и следствии, а также о дороге в ссылку. Они представляют собою общий рассказ Каменьского с различными наблюдениями во время следствия и пребывания в ссылке, которые стали основой для дальнейшего анализа и рефлексий.

На Западе Каменьский свободно пользовался доступной литературой о России (в том числе и за 1853 г.), причем авторами выступали как польские и западноевропейские публицисты, так и русские писатели-эмигранты. Можно сказать, что опыт встреч с Россией, вынесенные из них впечатления и убеждения, приобретенное знание русского языка, дававшее возможность использовать русскоязычные публикации, позволяли автору критически, дистанцированно подходить к заключенным в публицистике Европы того времени схемам мышления, убеждениям и оценкам России, а также делали его одним из немногочисленных знатоков этой страны.

Несомненно, в основании взглядов Каменьского на общественную и политическую действительность России тех лет лежали его демократические убеждения, а также, что не менее важно, значение, приписываемое этой стране, в проектах путей к обретению свободы польским народом. Каменьский сконцентрировался на описании общества, политико-государственном устройстве российского государства и

¹ *Kamiński H. Listy. Z. 6: 18.V.1850. S. 275.*

² Цит. по: *Nowak A. Op. cit. S. 254.*

попытках объяснения генезиса описываемой политической и общественной действительности.

Самой важной общественной задачей России Каменьский считал круг вопросов, связанных с проблемами крестьянства как самого многочисленного слоя, материальным уровнем его жизни и формально-правовым положением. Следует подчеркнуть хорошую ориентацию автора в сложной общественной и экономической материи, передачу ее сути независимо от функционировавших в Европе и самой России образцов, стереотипов и иллюзий в отношении состояния российского крестьянства. Каменьский подчеркивал относительное богатство этой группы, ее мобильность и способность к сохранению своего биологического потенциала, несмотря на политику государства, которое не поддерживало, а, напротив, бессмысленно уничтожало свой народ.

В главном вопросе, который подразумевал отмену крепостного права и ликвидацию общины, Каменьский однозначно выступал и за то, и за другое. Он приводил ряд рациональных экономических аргументов, которыми обосновывал бессмысленность сохранения крепостной зависимости как устаревшей и неадекватной формы организации хозяйственных отношений в деревне. Таким образом, Каменьский ставил под сомнение иллюзорную пользу организации деревни в форме общины, о чем говорили как русские апологеты, так и западноевропейские исследователи, которые видели в ней элементы коммунистического устройства и приписывали крестьянам коммунистические наклонности¹.

Каменьский обращал внимание на зависимость этой институции как от государственного чиновника, так и от землевладельца, на недостаток свободы как основной категории, формирующей общественное сознание индивидуума и группы. Он однозначно высказывался за ликвидацию общины, передачу крестьянам земли в собственность и дарование им свободы. В отсутствии просвещения и темноте народа он винил государство и подчиненную ему церковь, которые не были заинтересованы в изменениях сознания этого общественного слоя.

Критически Каменьский оценивал высшие слои российского общества, дворянство и интеллигенцию. Эта критика в большой степени опиралась на наблюдения за нравами, которые он наблюдал в российской провинции во время ссылки в Вятку. В них много сарказма и нет попыток понять существующие культурные различия, которые

¹ *Kamieński H. Rosja. S. 83–121.*

Каменьский оценивал как проявление цивилизационного отставания по отношению к западным формам общественной жизни.

С одной стороны, Каменьский подчеркивал иллюзорность и поверхностность европеизации, отсутствие глубоких интересов, простоту жизни и т. д.¹ С другой стороны, он обращал внимание на инертность общественной жизни, отсутствие самостоятельных политических убеждений и сил, способных изменить существующую политическую действительность. Исследователь пишет об этих начинаниях с явным пренебрежением, потому что, в его понимании, нигде в мире нет такого количества социалистов и коммунистов, как в России, а российская интеллигенция без критического подхода принимает распространенные на Западе разнообразные идеи. Он критически оценивал предпринимаемые просвещенными слоями революционные инициативы, которые, по его мнению, не могли иметь серьезного характера по той причине, что они, по сути, не активизировали народ, оставляли его пассивным и таким образом лишали себя соответствующей политической опоры. Это была одна из главных слабостей предпринимаемых политических инициатив, включая декабристское движение².

Описываемые Каменьским независимые идеологи и публицисты, по его оценке, были, помимо проявленной политической слабости, детьми системы устройства России с ее империалистическими идеалами и соответствующей системой ценностей. Выражением этого была идея мощной России, которую олицетворял Петр Великий³.

В отношении государства это выявляет абсурдность централизации, доведенной до уровня неуправляемости системы, абсолютизм монархии в его деспотическом проявлении и полное подчинение личности государству. С этой точки зрения индивидуум независимо от места в общественной или административной структуре лишен прав и полностью зависим от воли царя и его слуг, «царьков» на местах.

Абсолютизм как система политического устройства являлся отрицанием правового или либерального государства, которое, несомненно, было идеалом писателя. Отсюда он оценивал всяческую деятельность государства в области становления права как бесплодную, так как ни аппарат, ни сам правитель законов не выполняют. Царящий правовой хаос, по его мнению, был результатом наследования

¹ Ibid. S. 230–235.

² Ibid. S. 243–248

³ Ibid. S. 157–161.

и несоответствия заимствованных решений российским условиям. Отсутствие правового сознания рождало огромные общественные последствия как в сфере отношений между государством и обществом, так и в сфере их перенесения на отношения между людьми: отсутствие уважения достоинства человеческой личности, искажение индивидуальности, отравление атмосферой насилия сильных по отношению к слабым¹.

Несмотря на критику царящей системы общественного устройства и функционирующей политической культуры, Каменьский был убежден в перспективах будущего России, ее неограниченном росте. Естественно, для автора условием ее развития было действительное, а не иллюзорное реформирование, создание пространства правового устройства, гарантирующего основные свободы индивида и общества. Только в условиях свободы потенциал российского народа найдет условия развития, которые, в свою очередь, не ограничены.

В своей основе этот критический, социологическо-политологический анализ действительности николаевской России, несомненно, является признанием веры в великие возможности развития российского народа, творческий потенциал которого ограничивается системой политического устройства его государства.

¹ Ibid. S. 212–218; *Idem*. Wspomnienia więźnia. S. 229–274.

Н.К. Жакова

РОЛЬ В. ГАНКИ В СОЗДАНИИ ОБРАЗА РОССИИ У ЧЕХОВ

Вацлав Ганка (10.VI.1791 — 12.I.1861) — выдающийся деятель эпохи национального возрождения в Чехии, библиотекарь и архивариус Национального музея в Праге на протяжении 30 лет. Ему принадлежит заметное место в возрождении интереса к чешскому языку и словесности, в издании древних рукописей, в собирании народной поэзии, в консолидации национальных сил и пробуждении национального самосознания чешского народа, чему в немалой степени способствовала его «находка» — Краледворская рукопись (1817).

Особенно важную роль сыграл он в развитии чешско-русских взаимоотношений. Профессор И. Поспишил говорит о *ключевом* значении деятельности Ганки в оживлении чешско-русских связей в период национального возрождения¹.

С русским языком Ганка познакомился еще в юности, услышав его от русских солдат, проходивших через Чехию, которых полюбил «за их доброту и за то, что легко мог понимать их»².

Безмерную любовь к России воспринял он от своего учителя Й. Добровского, который помог ему овладеть русским литературным и старославянским языками. Благодаря знакомству в 1813 г., а в дальнейшем переписке Й. Добровского с А.С. Шишковым, последний обратил

¹ *Pospíšil I.* My a oni: ve středu a na okraji. Poznáky k česko-ruským literárním vztahům // Dialog kultur I. Sborník příspěvků z odborného semináře v Hradci Králové 14.11.2001. Ústí nad Orlicí, 2002. S. 16.

² Воспоминания о В.В. Ганке И.И. Срезневского. СПб., 1861. С. 11.

внимание на Краледворскую рукопись и перевел ее на русский язык (1820).

Это положило начало переписке Ганки с Шишковым, президентом Российской академии, от имени которой Ганка был награжден большой серебряной медалью. В благодарность за награду Ганка посылает Российской академии свой перевод на чешский язык «Слова о полку Игореве». Экземпляр перевода вместе с Краледворской рукописью Ганка препровождает государю императору Александру I, за что был удостоен высочайшей благодарности, получив бриллиантовый перстень и орден Св. Владимира.

Позднее, в 1846 г., за издание Реймского славянского Евангелия Ганка стал кавалером ордена Св. Анны 2-й степени — «за этот труд и труды по славянской филологии и усердное содействие ученым мероприятиям Министерства Народного Просвещения и образованию молодых людей», которых отправляли к Ганке из России для обучения славянским языкам¹.

Ганка учил славянским языкам русских студентов, чешскому языку — чешских и русских, но также явился пропагандистом русского языка среди чехов в качестве профессора русского языка в Пражском университете. Как отмечал в 1861 г. И.И. Срезневский, «преимущественно следствием его внушений и содействий можно считать нынешнее старание чехов изучать русский язык. Так, за 20 лет перед этим русский в Праге мог говорить на родном языке только с Ганкой и еще с Челаковским, понимавшим по-русски очень хорошо, но говорившим еще не бойко, а теперь читают и говорят по-русски не только некоторые ученые и литераторы, но и дамы, девушки, даже дети, и не только в Праге, но и в других местах»². Среди тех, кто изучал русский у Ганки, был и будущий знаменитый переводчик Пушкина Вацлав Ченек Бендл.

Одна из известных страниц общения Ганки с Россией — это история с приглашением чешских ученых в Российскую академию. К сожалению, этот проект не был осуществлен, как показали русские исследователи, из-за несогласованности действий в самой академии³. Однако гораздо менее известно то, что Ганка, постоянно думая о развитии науки о славянах, в 1830 г. предложил министру народного

¹ Из письма министра народного просвещения России С.С. Уварова: Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель. Варшава, 1905. С. 1137–1138.

² Воспоминания о В.В. Ганке И.И. Срезневского. С. 20.

³ Коломинов В.В., Файнштейн М.Ш. Храм муз словесных. Л., 1986. С. 71, 112–114.

просвещения Уварову учредить при Российской академии Славянское отделение, где академики из числа представителей главнейших шести славянских наречий готовили бы русских кандидатов на славянские кафедры при русских университетах¹. Эта сторона активности Ганки способствовала установлению его контактов со многими деятелями русской науки. Среди его корреспондентов как официальные представители научного мира — Шишков, Кеппен, Уваров, Сперанский, Балугьянский, так и ученые-слависты Востоков, Срезневский, Бодянский, Гильфердинг и русские студенты.

Вся переписка Ганки 30–50-х гг. XIX в. посвящена книжному обмену. Как библиотекарь Национального музея Ганка заботился о пополнении его фондов и поддерживал связи и переписку с российскими библиотеками и научными обществами. Со своей стороны он посылал огромное количество книг в Россию: ни одна просьба его многочисленных русских корреспондентов не оставалась неудовлетворенной. Он отправляет древние чешские акты составителю свода русских законов Сперанскому, этнографические материалы по Чехии и Моравии И.С. Аксакову, труды Юнгмана, Шафарика, Добровского, Челаковского, словари и грамматики славянских языков русским ученым, научным обществам, библиотекам. Книги посылались целыми ящиками.

Огромное значение имели непосредственные контакты Ганки с русскими, приезжавшими в Прагу. Именно личные встречи и необычайная доброжелательность, радушие Ганки оставляли в русских сердцах неизгладимый след. Благодаря ему русские люди глубже узнавали чешский народ, его славное прошлое, его культуру и обычаи. Об этом оставляли они записи в знаменитых тетрадях архивариуса, сообщали в письмах, рассказывали в своих воспоминаниях, которые появились уже после смерти Ганки².

Особая страница русско-чешских связей — это заслуги Ганки в распространении знаний о России, о русской науке, русской культурной жизни в Чехии. Как человек необычайно общительный, к тому же любящий Россию и стремившийся как можно шире знакомить с нею своих соотечественников, Ганка рассказывал обо всем, что ему писали

¹ Там же. С. 115.

² *Пытин А.Н.* Вячеслав Ганка // Современник. 1861. Т. 86. Отд. 2; Воспоминания о В.В. Ганке *И.И. Срезневского*; *Лавровский П.А.* Воспоминание о В.В. Ганке // Московские ведомости. 1861. № 9; *Дубровский П.П.* Воспоминания о личных сношениях с Ганкой // Отечественные записки. 1861. № 2.

из России и о России, своим друзьям-литераторам, коллегам и единомышленникам. Ни один, даже малейший штрих или факт не оставался его личным достоянием: он сразу делился новыми дошедшими до него сведениями со своим окружением.

С кем бы из русских он ни встречался, его неизменный вопрос был: а что в России? Какие события? Что нового? Какие новые книги? Новые имена? Из его переписки видно, как посещавшие его в Праге русские, вернувшись домой, старались удовлетворить его жажду знаний о России и обо всем русском.

В начале 30-х гг. XIX в. таким обстоятельным корреспондентом Ганки стал молодой юрист, сотрудник 2-го отделения Собственной ЕИВ Канцелярии Алексей Андреевич Благовещенский, который был необычайно признателен Ганке за заботу и внимание к нему в Праге во время его болезни и пребывания на водах в Теплице. Его письма из России содержат подробный отчет о русских журналах того времени («Телескоп», «Телеграф», «Сын отечества»), о новых книгах Загоскина, Лажечникова, Марлинского и других с его оценками, об альманахах Дельвига и Пушкина «Северные цветы», о том, что русские журналы помещают различные известия о богемской литературе. При этом Благовещенский выражает пожелание, чтобы на русский язык были скорее переведены Коллар — «корифей Богемской литературы и Петрарка своего народа, равно Ваши песни, “Отголоски русских песен” Челаковского и История Богемской литературы профессора Юнгмана»¹. Сообщает он и о новостях петербургской жизни — о возведении Александрийской колонны, «почитаемой зрителями за осьмое чудо света», о постройке Александринского театра и даже о новой торцовой мостовой на Невском проспекте. Без сомнения, эти сведения тут же сообщались Ганкой чехам.

В 1841 г., когда состоялась встреча Ганки с Ф.И. Тютчевым, русский поэт оставил в альбоме Ганки стихи «Вековать ли нам в разлуке...», об этом тоже узнало чешское общество, благодаря чему появился первый чешский перевод из Тютчева. Его осуществил чешский поэт Й.Б. Станек, позднее включив в собрание своих стихотворений².

В 40-е гг. Ганка помещал в журнале Национального музея получаемые им письма от И.И. Срезневского о начале его преподавания в Харьковском университете, о первой лекции на тему «Как дошли до мысли,

¹ Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель. С. 96–98.

² *Stanek J.B. Básně. Praha, 1851. S. 11–13.* (По-чешски «Kdož by děle žil v rozbroji».)

что должно изучать Славянство, и в самом ли деле должно изучаться славянство?», о предмете его курса с интересными наблюдениями о белорусском языке, о содержании русских журналов «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Москвитянин», «Русский вестник», ЖМНП и др., о новых русских книгах, о научных предпочтениях русских студентов. Обширное письмо посвятил Срезневский обзору русской литературы за 1843 г.¹ Одновременно с письмами Срезневского печатает Ганка и письмо О.М. Бодянского к Л. Штуру, в котором рассказывается об экзамене по чешскому языку в Москве и о том энтузиазме, с каким его изучают русские студенты².

В 1845 г. Срезневский сообщает Ганке о введении новых ученых степеней: магистра славянской словесности и доктора славяно-русской филологии, а также о Демидовской премии А.Х. Востокову за Остромирово Евангелие и о. Г. Павскому за «Наблюдения о русском языке и о новых трудах по славистике»³. Все эти сведения становились тут же известны чешскому научному миру.

В марте 1847 г. Ганка получает сообщение об утверждении Срезневского доктором славяно-русской филологии и об избрании почетными членами Харьковского университета Ганки, Караджича, Пуркине, Шафарика и Юнгмана (по представлению самого Срезневского). Это письмо тут же перепечатывается по-чешски в журнале Национального музея⁴. Точно так же узнают чешские читатели о переезде Срезневского в Петербург и о его преподавании в Петербургском университете и в Главном педагогическом институте, о русских ученых и их трудах по русским древностям — Буслаеве, Кавелине, Костомарове, Афанасьеве, Снегиреве, Беляеве, Погодине, Вельтмане⁵.

Огромный интерес представляют письма к Ганке Николая Васильевича Берга, талантливого поэта, неутомимого переводчика славянской поэзии на русский язык, в том числе и Краледворской рукописи. Начало переписки относится к июню 1846 г., когда Берг решил обратиться к Ганке и сообщил, что он перевел эту рукопись. Ганка весьма заинтересовался трудом Берга и в 1851 г. издал его перевод в Праге. Наиболее интересные и содержательные письма Берга относятся к первой половине 50-х гг. 19 апреля 1852 г. он извещает Ганку о смерти

¹ ССМ. 1843. S. 463–467, 470–471; Ibid. 1844. S. 308–311.

² Ibid. 1843. S. 627–629.

³ Ibid. 1843. S. 146–148, 685–686.

⁴ Ibid. 1847. II. S. 331–333.

⁵ Ibid. 1850. S. 311–317.

Н.В. Гоголя, прилагая и свои стихи «Над гробом Гоголя». Ганка спешит сообщить об этой непоправимой утрате чехам (ведь Гоголь был их самым любимым русским писателем), публикуя и оригинал письма, и свой перевод его на чешский язык в единственном на ту пору чешском художественном журнале «Люмир»¹. 11 июня 1852 г. Берг продолжает свой рассказ о последних минутах Гоголя и о его похоронах, прилагая к письму появившиеся в русской печати статьи Жуковского и Погодина о великом писателе. Отрывок из этого письма вместе с извлечением из статьи Погодина (в переводе В.Ч. Бендла, ученика Ганки) Ганка вновь публикует в журнале «Люмир», в приложении².

30 июня 1852 г. Берг сообщает Ганке о смерти М.Н. Загоскина и пересказывает его биографию со слов его брата Маркела Николаевича. Это письмо в чешском переводе появляется в журнале Национального музея, а на следующих страницах журнала³ Ганка перепечатывает извещение Берга о том, что письмо Ганки с рассказом о смерти и погребении Челаковского и со стихами Пицека «Слова скорби над могилой Челаковского» помещены в журнале «Москвитянин» (1852, отд. 8, с. 55).

Дважды появляются на страницах журнала «Люмир» подробные описания пожара Московского Большого театра в марте 1853 г. под заголовком «Письмо г. Николая Берга о пожаре Московского театра»⁴.

Несколько раз сообщает Берг Ганке о первых представлениях пьес его друга А.Н. Островского «Бедная невеста» (20.10.1853), «Не в свои сани не садись» (10.2.1853), «Бедность не порок» (14.2.1854).

Но, пожалуй, самые любопытные сведения содержат письма Берга 1855 г. с театра военных действий в Севастополе, где тот находился при штабе главнокомандующего и принимал непосредственное участие в нескольких операциях. Он пишет Ганке: «Почтеннейший и добрейший друг мой Вячеслав Вячеславович! Ваше письмо произвело эффект и гуляет по палаткам»⁵, — даже просит прислать экземпляры изданного в Праге его перевода Краледворской рукописи, чтобы раздавать эти книжечки своим товарищам-офицерам. Сообщает он Ганке и о том, что первый полк, сдержавший натиск неприятельских сил 27 августа 1855 г. на Малаховом кургане, носил имя Пражского. В 1858 г. Берг

¹ Lumír. 1852. I. S. 29.

² Ibid. 1852. Příl. 11.

³ ССМ. 1852. IV. S. 174–175, 175–176.

⁴ Lumír. 1853. I. S. 377–379, 425.

⁵ Письма Ганке из славянских земель. С. 60–61.

отсылает Ганке свои «Записки об осаде Севастополя» и «Севастопольский альбом» с 37 зарисовками с места событий. Нет никакого сомнения в том, что об этих материалах Ганка рассказывал своим соотечественникам и что обе эти книги были выставлены в Национальном музее на всеобщее обозрение, как и большинство получаемых им книг.

В 50-е же гг. шла оживленная переписка между Ганкой и директором Императорской публичной библиотеки бароном Модестом Андреевичем Корфом, касавшаяся взаимного книгообмена. 4 сентября 1852 г. Корф писал Ганке о том, что государь купил Погодинское древлехранилище за 150 тыс. рублей серебром для Публичной библиотеки, и рассказывал о содержании этого собрания. Ганка перевел это письмо Корфа и читал его 22 декабря 1852 г. на заседании филологического отдела Королевского чешского ученого общества, а затем напечатал в журнале¹.

Мы знаем, что А.Н. Пыпин провел в 1858 г. в Праге два месяца, часто встречался с Ганкой и по его просьбе написал «Письма о русской литературе», опубликованные в музейном журнале в переводе на чешский язык самого Ганки. Это были самые свежие известия о современных русских писателях и о новых, только что появившихся произведениях Тургенева, Гончарова, Л. Толстого, Салтыкова-Щедрина, Григоровича, Некрасова. Благодаря этой публикации, названные там произведения были очень быстро переведены на чешский язык, что способствовало продвижению русской литературы в Чехии и углублению чешско-русских литературных связей.

Ганка прилагал все свои силы к тому, чтобы чешское общество своевременно узнавало о новостях русской общественной, культурной и научной жизни. Благодаря его стараниям чехи получали полноценную картину русского культурного движения, знакомились с последними научными достижениями, читали на родном языке русскую литературу. В их представлениях возникал полнокровный и яркий образ России, могучего славянского государства со своей неповторимой богатейшей культурой, и в этом — неоценимая заслуга Вацлава Ганки.

¹ ССМ. 1852. IV. S. 169–174.

Л.П. Лаптева

ЧЕШСКИЙ ПОЭТ И ПУБЛИЦИСТ КАРЕЛ ГАВЛИЧЕК-БОРОВСКИЙ И ЕГО ОТЗЫВЫ О РОССИИ

Карел Гавличек-Боровский (1821–1856) принадлежит к числу замечательных деятелей чешской истории, особенно периода национального возрождения первой половины XIX в. Это был талантливый публицист, поэт-сатирик, борец против иноземного бремени, абсолютизма и гнета церкви. Он сыграл выдающуюся роль в развитии чешской общественной мысли в XIX в. Понятно, что о нем написано много работ, в которых освещены практически все стороны деятельности этой незаурядной личности. Его имя известно каждому, кто когда-либо изучал историю Чехии и вообще славян. Представляется, однако, небезынтересным остановиться на отношении Карела Гавличека к России и потому, что он первым из чешских возрожденцев XIX в. лично посетил Россию, и потому, что у самого Гавличека и в литературе о нем существуют противоречивые, иногда взаимоисключающие оценки суждений этой личности о России.

Как известно, незаурядные и талантливые люди всегда сложны и нередко противоречивы в своих поступках и взглядах. К такому роду людей принадлежал и Карел Гавличек. Родившись в обеспеченной семье (отец его был удачливым коммерсантом), Гавличек учился в гимназии сначала в немецком Броде, а два последних класса — в Праге. Образование он продолжил на философском факультете Пражского университета. Уже в гимназии он проникся духом недовольства чужеземным гнетом и феодальными порядками, существовавшими в Чехии. Под влиянием царившего среди чешской интеллигенции

интереса к жизни других славянских народов Гавличек познакомился со «славянской идеей», витавшей в головах многих чехов в форме «идеи славянской взаимности», Ян Коллар выразил ее в поэме «Дочь славы» и посвятил ей специальный трактат «О славянской взаимности». Однако проповедовать эти идеи, как и вообще выступать с критикой существующих порядков и проявлять патриотические чувства, было затруднительно в условиях меттерниховского режима, и Гавличек решил, что формой распространения запрещенных взглядов может быть проповедь священника перед народом. В 1840 г. против воли отца Гавличек поступает в Пражскую архиепископскую семинарию. Однако дух семинарии не отвечал настроению чешских патриотов: начальство усердно приглядывало за тем, чтобы воспитанники не попали под влияние идей чешского возрождения. Преподавание велось на латинском и немецком языках, а педагогические обязанности учителя исполняли небрежно. Учительский состав главным образом заботился «о бенефициях и пребендах». Гавличек разочаровался в своих религиозных убеждениях. Вместо богословских трудов он читал сочинения рационалистического характера, а также работы о славянах, позволяя себе насмешки над преподавателями и в результате был исключен из семинарии в 1841 г. Пребывание в церковном учебном заведении, наблюдения за жизнью духовенства превратили его в атеиста. Впоследствии он написал целый цикл эпиграмм против церкви, например «Евангелие софистов» — «Путь атеиста праведен и чист, сам Бог не кто иной, как атеист»¹.

По выходе из семинарии Гавличек продолжает свои занятия в области славяноведения. Перебрав средства, которые могли бы служить на пользу чешскому народу, Гавличек решил, что самым полезным и плодотворным является поприще журналиста и издателя популярной газеты. Для этого он стремится лучше узнать как свое отечество, так и другие страны. Вместе с друзьями он путешествует до Дрездена, по северо-восточной части Чехии, Западной Галиции, Словакии, Моравии и т. д. Хорошо изучив свое отечество, он пожелал узнать быт и других народов. Это решение разделяли с ним еще два чешских патриота, которые полагали отправиться в разные страны Европы с тем, чтобы по возвращении в отечество воспользоваться результатами своего пребывания за границей. Один из них должен был отправиться в Англию, другой — во Францию, третий — в Россию. В 1844 г.

¹ Гавличек-Боровский К. Избранное. М., 1957. С. 97.

Гавличек писал своему приятелю: «Вы хорошо знаете, что я на это свое путешествие на Св. Русь решился главным образом в содружестве с двумя моими одноклассниками — д-ром Вилемом Габлером и Фр. Гирглом. Разделили мы между собой Европу на три части, и мне досталось путешествие и изучение восточной»¹.

В 1842 г. Гавличек по рекомендации П.И. Шафарика был приглашен М.П. Погодиным в Россию в качестве учителя для его сына. По приезде в Москву он стал учителем детей профессора Московского университета С.П. Шевырева. 5 февраля 1843 г. Гавличек прибыл в Москву и на протяжении последующих полутора лет, а также по возвращении в Чехию выражал свои суждения и впечатления о русской жизни: общественном строе, литературе, структуре русского общества, о Православной церкви, о внешней политике России, о национальном составе Российской империи, о русско-польских отношениях.

По всем этим вопросам Гавличек высказал больше негативных суждений, нежели позитивных. И те и другие были опубликованы в печати и подробно оценены. Эти оценки неоднозначны. Современники Гавличека отнеслись неодобрительно к его критике русских порядков, которую он высказывал в своих статьях на страницах газет «Пражске новины» и «Народни новины», а также в эпитаграммах. Среди деятелей чешского возрождения было еще много сторонников «славянской взаимности» колларовского варианта, и хотя польское восстание 1830–1831 гг. уменьшило их число, все же старшее поколение будителей от своих идеалов не отказывалось. Молодые представители возрождения все больше симпатизировали другой форме славянской взаимности — австрославизму, отрицали идею «всеславянства». Чешские патриоты поддерживали союз славян в Австрии, где, по их мнению, должны произойти коренные изменения, которые приведут к равноправию всех австрийских славян в рамках конституционной монархии. Чехи же в этой «славянской» Австрии должны занять первенствующее положение по праву наиболее зрелой экономически и духовно славянской части империи. Эту программу развивал и защищал Гавличек, имея в чешском обществе существенную поддержку. И хотя революция 1848–1849 г. не оправдала надежду чешских патриотов, Гавличек в отечественной истории и в литературе остался демократом, борцом за интересы

¹ Францев В.А. Н.В. Гоголь в чешской литературе: К истории славянского литературного общения в XIX ст. СПб., 1902. С. 11.

народа, чешской нации. Его идеи стали составной частью чешского национализма.

В историографии существуют разные оценки отношения Гавличека к России. В чешской и советской историографии после Второй мировой войны преобладало мнение, что чешский публицист по своей острой критике самодержавного строя в России приближался к русским революционным демократам. Такой точки зрения придерживался, например, чешский ученый Ю. Доланский в работе «Гавличек в Москве»¹. Однако следует учесть, что К. Гавличек не был знаком с русскими интеллектуалами революционно-демократического направления, не читал их сочинений и не знал об их существовании. Его острая критика русского общественного порядка имеет европейскую основу и, по-видимому, заимствована из сочинений немецких социалистов его времени. Собственного опыта Гавличека для заключений о России было явно недостаточно, о чем свидетельствует их субъективность и односторонность.

Признавая прогрессивность критики Гавличеком русского самодержавия, необходимо констатировать, что чешский публицист, разоблачая язвы общественного порядка, сложившегося в Российской империи, одновременно критиковал и австрийскую форму государства, которую стремился преобразовать в интересах славянских народов, где чехи заняли бы главенствующее положение. Трудно согласиться с утверждением некоторых чешских историков, что Гавличек «со школьных лет пылал горячей любовью» к России и сохранил это чувство, несмотря на то что пребывание в Москве в 1843–1844 гг. принесло ему разочарование². Источники не подтверждают такого вывода. На наш взгляд, отрицание позитивных черт русской культуры, высокомерное отношение к бытовым сторонам жизни русского народа, злые эпиграммы и сатирические картинки на русские темы вовсе не свидетельствуют о расположении чешского публициста к России и ее народу.

Необходимо отметить, что наиболее объективно позиция К. Гавличека по отношению к России была оценена в русской дореволюционной историографии в работах В.А. Францева³ и А.М. Селищева⁴,

¹ Dolanský J. Havliček v Moskvě // Pražská universita Moskovské universitě. Sborník k výročí 1755–1955. Praha, 1955. S. 51.

² Там же. С. 18.

³ См.: Францев В.А. Н.В. Гоголь в чешской литературе.

⁴ Селищев А. Взгляды Карла Гавличка на Россию: К истории славянских взаимоотношений в половине XIX века. Казань, 1913; он же. Карел Гавличек о русской литературе

опиравшихся на письма, публицистику и литературные произведения чешского поэта.

Свое «трудное путешествие на Святую Русь» Гавличек предпринял, как сам он говорит в статье о «Значении изучения России», чтобы «лучше познакомиться с восточной частью славянского мира» (а не из-за сильной любви к ней, как полагал Ю. Доланский). О первых своих впечатлениях о России Гавличек извещает своего друга К. Запа. С восторгом пишет о поездке на перекладных из Киева до Москвы. Восхищается русскими городами. «Тула — премиленький городишко... Прелестные деревянные, снаружи покрашенные домики... с зелеными железными крышами, крашеные резные заборы; церкви усеяны куполами, народ одет пестро, везде экипажи, в них запряжены по две, по три, а то и по четыре лошади. Лошади буйные, нетерпеливые, стройные — с прекрасной кожаной упряжью, которую Вы только на Руси и увидите. <...> Я во все это и в народ русский так влюбился, что еще долгое время буду безмерно восхищаться. <...> А Москва? О, если бы можно было рассыпать ее “каменную матушку” по всей Европе — и тогда на каждый город хватило бы по несколько прекрасных строений. <...> Здесь почти каждый дом имеет свою неповторимую и прекрасную архитектурную форму. Невозможно передать в письме ту радость, которая наполняет меня, когда я, проезжая по улице, гляжу на дома...» Только в России, «именно здесь, в Москве, чувствуешь величие. Здесь все колоссально, огромно».

В Москве Гавличек оказался в обществе людей, которыми могла бы гордиться Русь, если бы только умела ценить их. «Я живу не у Погодина, как предполагал, а у Шевырева <...> в нашем доме и у Погодина — средоточие всех горячих народных стремлений к усовершенствованию русской литературы: Хомяков, Павлов, Снегирев, Киреевский, Валуев постоянно бывают у нас. Гоголь не живет в Москве, но зато у него (у Шевырева) склад его сочинений», — писал Гавличек К. Запу 3 мая 1843 г.¹ Все эти люди принадлежали к особому направлению русской общественной мысли первой половины XIX в. — к славянофилам. По мнению Ю. Доланского, Гавличек был их единомышленником и так же, как русские славянофилы, с неприязнью относился к «безнациональному» Петербургу². По-видимому, это «ученое» окружение вполне

и «славяно-православной партии» // Сборник статей в честь Дм. Ал. Корсакова. Казань, 1912–1913.

¹ Францев В.А. Н.В. Гоголь в чешской литературе. С. 11.

² Dolanský J. Havlíček v Moskvě. S. 49.

удовлетворяло чешского учителя детей Шевырева. Он не искал общения с представителями других направлений, хотя, например, имел возможность познакомиться с «западниками». Ведь рядом с О.М. Бодянским, экзамен которого по славянской филологии Гавличек однажды посетил, лекции по всеобщей истории читал профессор Т.Н. Грановский, который вместе с А.И. Герценом с 1839 г. составлял ядро Московского западнического кружка. Грановский собирал на свои чтения не только московских студентов, но и всю образованную Москву, и только Гавличек этого не знал, хотя славянофилы и, разумеется, профессора Шевырев и Погодин были осведомлены об этом.

К. Гавличека привлек только экзамен по славянской филологии, который принимал О.М. Бодянский¹. На этом экзамене бывший чешский студент и патриот обнаружил, что славянская филология в Московском университете преподается по книгам Шафарика «Славянские древности» и «Славянское народописание» да по Краледворской и Зеленогорской рукописям — подделкам Ганки и Линды, о чем в то время ни Гавличеку, ни кому-либо другому (кроме Ганки) было неизвестно. Экзамен у О.М. Бодянского наполнил душу чешского патриота восторгом главным образом потому, что сочинения его соотечественника, ученого-чеха Шафарика изучаются за 2 тысячи верст от Праги тогда как на его родине едва признаются и третируются немцами.

Патриотические чувства будущего публициста были столь глубоки, что он не заметил ничего заслуживающего внимания в русской литературе. Уже спустя три месяца по прибытии в Москву, т. е. еще при недостаточном знании русского языка и ограниченном круге культурного общения, в мае месяце 1843 г. он писал К. Запу: «Русская литература вовсе не в таком блестящем состоянии, как мы обыкновенно думаем; перед нашей чешской она имеет лишь то преимущество, что она — богатая дама, что у нее есть деньги; если бы у нас было столько золота, мы сумели бы вытряхнуть из рукава столько же плохих книг, как и господа русские. Зато русской литературе недостает одной малой вещи... — я имею в виду бескорыстие, настоящий, искренний и упорный труд и

¹ Свои впечатления об экзамене Бодянского Гавличек изложил впервые в письме к Запу 3 мая 1843 г. Впоследствии текст этого письма неоднократно публиковался. Первый был напечатан в журнале: Kwety. 1848. С. 59. S. 235. Затем во всех публикациях писем Гавличка. На русский язык это письмо было переведено и опубликовано в «Славянском ежегоднике» 1877 г., а также в 1957 г. под названием «Первый экзамен по чешскому языку в Москве» в издании: *Гавличек-Боровский К. Избранное*. М., 1957. С. 127–128. Ввиду широкого распространения этих сведений практически во всей литературе, посвященной чешско-русским культурным связям, здесь это описание не приводится.

любовь к народу своему. Сомневаюсь, чтобы во всем шестидесятимиллионном русском царстве было столько искренних патриотов, сколько их в одной Праге». Еще резче были суждения Гавличека о русской литературе в письме к Запу от 29 сентября 1843 г. «Я только потому не послал Вам до сих пор реферата о русской литературе, — писал он, — что совесть не позволяла мне лгать... Вам как знатоку дела я говорю, что нам, чехам, хотя бы нам нечего было и есть, все же через некоторое время, что касается основательности и оригинальности, не в чем будет завидовать русским. Доселе я знаю только одного Гоголя: все прочие (и с Пушкиным) составляют только, так сказать, *imitatorum rescue!*» Таким образом, вся тогдашняя русская литература для Гавличека не представляла ничего достойного внимания. В.А. Францев тактично называет такой отзыв Гавличека о русской литературе «странным»¹. На наш взгляд, «странность» объясняется незнанием Гавличеком литературной жизни России. Ему не были известны ни А.С. Грибоедов, ни М.Ю. Лермонтов, ни В.А. Жуковский, ни И.А. Крылов, ни другие русские писатели. В это время в России достигают литературной известности Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, А.Н. Островский и другие, ставшие через десяток лет корифеями европейской литературы. Невежество юного славянского гостя объясняется недостаточным образованием и односторонними интересами и контактами в русской среде. Являясь учителем детей в аристократической семье, чешский гость, по происхождению из купеческой семьи, жил сытой жизнью, присутствовал на интеллектуальных беседах посетителей дома профессора С.П. Шевырева, жил на даче князей Голицыных, участвовал в охоте на волков и других развлекательных и увеселительных мероприятиях богатых людей. Сравнивая мысленно образ жизни этих членов русского общества со скромным бытом той среды своих соотечественников, из которой происходил, он со свойственными молодости оппозицией и максимализмом критиковал все, что его окружало. Этот максимализм и горячность молодости, на наш взгляд, не позволили ему рассмотреть сложность общественной и литературной жизни России того времени. Гавличек не знал не только творчества вышеупомянутых писателей, но не слышал ни о А.И. Герцене, ни о В.Г. Белинском, ни о других писателях и критиках, казалось бы близких ему по демократическим убеждениям. Готовясь быть литератором, он был уверен, что для него «как

¹ Францев В.А. Н.В. Гоголь в чешской литературе. С. 13. Цитаты из писем Гавличека Запу заимствованы в переводе В.А. Францева из указанной статьи.

для будущего преимущественно беллетриста, даже русская литература не имеет цены; всю премудрость, которая мне нужна, я могу унести с собой на спине»¹. Не сумел Гавличек рассмотреть истинное отношение к недостаткам общественного строя России и среди некоторых представителей московского славянофильского кружка, в котором он вращался. Так, А.С. Хомяков, один из идеологов русского славянофильства, «тяжелым грехом Руси» считал то, что она:

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!

Обличающая характеристика русских порядков из уст Хомякова очень созвучна тем критическим взглядам, которые развивал Гавличек в своих публицистических работах по возвращении в Чехию. Уж не этот ли источник вдохновил критицизм чешского публициста в отношении России? Для собственного познания жизни низшего класса русского народа недостаточно посетить деревню — бывшее имение князя Голицына.

О поверхностном знакомстве и неглубоком интересе Гавличека к России свидетельствует письмо С.П. Шевырева М.П. Погодину от 1846 г. Московский «хозяин» Гавличека пишет: «Я могу засвидетельствовать, что он (т. е. Гавличек. — Л.Л.) никогда не хотел изучать народ наш, ни в его современном быту, ни в истории. Живучи в деревне, он никогда не вникал в особенности крестьянского быта — и не говорил с народом. В то самое время, как он жил у меня, я в первый раз в течение академического года читал курс истории древней русской словесности и предлагал Гавличеку посещать мои лекции, из которых узнал бы он, как насадилась вера в русском народе: но он был только на одной лекции и с тех пор не бывал более. Бодянского также он не посещал. Погодина тоже. Из библиотеки моей он не брал ни летописей, ни актов, ни писателей прежних, ни истории Карамзина, а довольствовался одним Гоголем — и то понимал в нем одну только комическую сторону, которая приходилась по сердцу его склонности к смешному»².

¹ Там же. С. 14.

² Барсуков Н. Жизнь и труды М.П. Погодина. Книга восьмая. СПб., 1894. С. 454.

Что касается отношения Гавличека к произведениям Гоголя, то он действительно с ними познакомился и даже начал перевод на чешский язык некоторых повестей для журнала, задуманного его приятелем К. Запом. В письме к нему от 24 октября 1843 г. он пишет: «Если Вы желаете поместить в “Зерцале” (предполагаемый журнал К. Запа. — Л.Л.) что-либо сухое, незанимательное, тогда прибавьте это к тому выпуску, в коем будут напечатаны эти повести Гоголя: они весьма забавны — как бы публика не разлакомилась»¹.

Впоследствии Гавличек осуществил перевод нескольких произведений Гоголя, среди них и «Мертвые души». Но едва ли чешский поэт понимал истинное значение Гоголя для русской литературы и умел дать своим соотечественникам верное определение творчества его. Свой взгляд на «Мертвые души» Гавличек выразил в нескольких строках предисловия, предпосланного переводу. Называя бессмертную поэму «замечательнейшим произведением первого русского юмориста», он видит в ней прежде всего чрезвычайную забавность, которая не позволяет читателям скучать. Такими же «забавными» произведениями он считал и повести Гоголя. «Великое социальное значение “Мертвых душ”, влияние этого произведения на русскую литературу и литературные понятия, глубокое проникновение художника-мыслителя в тайники души русского человека, — все это осталось для Гавличека закрытой книгой, открыть которую он не сумел»².

Весьма характерны отзывы Гавличека и о других сторонах жизни России. Одержимый национальной идеей, чешский публицист отказывает в патриотизме славянофилам, полагая, что они преследуют эгоистические цели. Их сочувствие идее славянского единения он считает стремлением к господству над другими народностями. Будучи горячим поклонником «славянской взаимности» до поездки в Россию, Гавличек в более позднее время, уже в середине 40-х гг., занимает в своих публицистических работах враждебную позицию в этом вопросе. Даже русских профессоров Бодянского и Срезневского, не относившихся к славянофильскому кружку, Гавличек обвиняет в грубом национальном эгоизме за то, что они во время своего путешествия по Словакии склоняли словаков к литературному сепаратизму от чехов, руководствуясь при этом девизом «разделяй и властвуй». Нет необходимости доказывать, что в конце 30-х — начале 40-х гг. упомянутые

¹ Францев В.А. Н.В. Гоголь в чешской литературе. С. 15.

² Там же. С. 17.

русские слависты были убежденными сторонниками славянской взаимности колларовского варианта, т. е. равноправия всех славянских языков в литературной работе. И только Гавличек считал, что стремление словаков к созданию своего литературного языка есть сепаратизм. Таким образом, здесь на первый план уже выступает узость чешского «патриотизма», тогда как русские слависты выглядят в данном случае значительно более демократичными. Впрочем, именно в этом вопросе позиция чешского публициста была непостоянной и противоречивой. В 1850 г. в статье Гавличека, опубликованной в журнале «Славянин», уже нет такого враждебного отношения к русским славистам и славянофилам. Они, по его мнению, являются «истинными русскими патриотами, не занимают общественных должностей, за исключением профессорских кафедр, стоят в стороне от придворной жизни, обладают истинно русским образованием. Они прекрасно знают и другие части славянства. Их стараниям обязано учреждение кафедр славяноведения при русских университетах, и самое горячее, страстное желание этой партии (“славянофилов”) заключается в том, чтобы Россия сделалась в свое время покровительницей всех остальных славян против других племен, их угнетающих»¹.

Таким образом, события революции 1848–1849 гг. и ее отрицательный исход для решения национальной программы Гавличека умерили его враждебность к русским славистам и славянофилам. А может быть, бывший учитель детей профессора Шевырева, повзрослев, имел в виду себя, когда писал:

В юности бушует радикал:
как могуч страстей его накал!
Дожил реалист до средних лет,
в нем былой отчаянности нет!
А под старость бредит ретроград
тишиной кладбищенских оград².

В политической публицистике Гавличека в предреволюционный и революционный периоды содержится острая критика государственного и общественного строя России, а также ее национальной и внешней политики. Этот материал объединен в цикл «Картинки из

¹ Селищев А. М. Взгляды Карла Гавличека на Россию. С. 27.

² Гавличек-Боровский К. Избранное. С. 144.

России» и тоже хорошо изучен в литературе, о чем особенно позаботилась марксистская советская и чешская историографии. Говоря об общественном устройстве, Гавличек констатировал, что русский народ разделен на касты. Пять сословий особенно резко различаются одно от другого. Это дворяне, купечество, духовенство, отпущенные на свободу крестьяне и крепостные. Каждая из каст характеризуется особыми, в основном негативными чертами. Русское высшее общество — безнравственно, в нем отсутствуют патриотизм и сознание народности. Только русские офицеры — образованные, либеральные гуманные люди — стоят на страже и чести своего народа. В русском высшем обществе нет стремлений к чему-либо серьезному, благородному. Высший класс имеет бессодержательные жизненные интересы, преклоняется перед всем иностранным, бесчеловечно относится к своей прислуге и крепостным, с презрением относится ко всему русскому, но имеет привилегированное положение в государстве. Вместо русского языка в этой среде слышится обычно иностранный. Некоторые «господа» вовсе не знают своего родного языка. И хотя характеристика русского дворянства, данная Гавличеком, страдает односторонностью, так как дворянство составляло слой людей образованных, представителей науки, офицерства, профессоров и студентов университетов, общая картина чешским публицистом схвачена верно. Односторонность продиктована самим жанром публицистики, задача которой заострить (или ослабить) постановку вопроса в своих целях. Отметим, что Гавличек не был оригинален в своей критике. Исходя из других идеологических истоков, о том же самом писал К. Аксаков:

Ты видишь блеск чужих одежд,
Ты слышишь звуки речи чуждой
Сих образованных невежд;
Ты видишь гордость снисхожденья
И лоск заемный чуждых стран,
И пышный блеск благотворенья,
И спесь ученых обезьян»¹.

О русском чиновничестве Гавличек говорит, что это настоящие пивяки государства. Открытое взяточничество, казнокрадство господствуют среди них. Чиновник почти синоним вора.

¹ Аксаков К. Поэту-укорителю // Русский архив. 1879. № 1. С. 214.

Истинным цветом русского общества являются, по мнению Гавличка, мужик и купец. Публицист относится к ним с симпатией, указывает на ряд позитивных черт — миролюбие, добродушие, религиозность, жизнерадостность. Однако простой русский человек неграмотен, суеверен, склонен к безрассудному пьянству, так что после праздничных гуляний «рощица в Сокольниках бывает вся устлана потерявшими разум», «живыми трупами павших за отечество». Гавличек считает, что до такого состояния крестьян доводит крепостной гнет. «Барские крестьяне после скотины первые господа на земле», — язвительно замечает он. Отметим, что отзывы подобного рода о русских крепостных крестьянах было в то время множество в описаниях как иностранцев, так и русских авторов. Возможно, они и послужили Гавличеку источником для соответствующих характеристик, ибо собственные наблюдения молодого чешского учителя в России были весьма скромны.

Наибольшие симпатии Гавличек отдает русскому купечеству. Купец предан своему отечеству, сохранил истинную русскую народность со всеми достоинствами и недостатками. «Русский купец добряк и шельма, смиренный и надменный, отъявленный плут и набожный податель милостыни, бережливый и мот, предприимчивый по всему вместе плотник и часовщик, торговец, трактирщик, банщик, откупщик, ремесленник, половой и во всякой области остается с русским духом»¹. Видя в купечестве обладателя многих прекрасных истинных свойств русского народа, Гавличек не скрывает и темных сторон носителя русского духа. Одним общим недостатком русского купечества является, по мнению публициста, отсутствие добросовестности в торговле. Обман в торговых делах у русского купечества совершенно не считается за порок. Наоборот, это одно из похвальных свойств умного, дельного купца. Русский купец настолько хитер, что скорее 10 раз сумеет обмануть еврея, чем последний русского один раз. Причину такого успеха Гавличек видит в самой духовной организации русского купца и вообще русского человека, в его сметливости, склонности к плутовству как таковому, уверенности в своей хитрости. Вообще недобросовестность в торговле, обман Гавличек объясняет влиянием деспотизма, господствующего в России, где перевес имеет сила, но не право, не нравственные убеждения². Нельзя не признать

¹ Селищев А. М. Взгляды Карла Гавличка на Россию. С. 47.

² Там же. С. 50.

объективности и справедливости такой характеристики национальных особенностей русского купечества. Они, эти особенности, нашли свое отражение и в русской литературе, в драматургии А.Н. Островского и в фольклоре, в емкой пословице «Не обманешь — не продашь». И спустя более чем полтора столетия подмеченная Гавличек черта русского купечества — недобросовестность — не только не исчезла, а распространилась и на другие слои общества, так что обман и мошенничество стало неотъемлемой чертой не только людей, занимающихся торговлей, но явлением универсальным, сопровождающим все сферы нашей современной жизни.

Интересные сведения оставил Гавличек о Русской православной церкви. В период своего пребывания в Москве он восхищался почти всеми сторонами русской религиозной жизни — православным богослужением, церковными обрядами, красивыми одеждами духовенства и восхитительным церковным пением. По мнению Гавличека, богослужение и обряды производят патриотическое, возбуждающее воздействие. Но в «торжестве православия» он видит и отрицательные черты. Это — мелочное, нетерпимое отношение к иноверцам и отступникам (имеется в виду, вероятно, преследование раскольников) со стороны отдельных иерархов и подчинение церкви интересам правительства и царю как Божьему наместнику на земле. К другим вероисповеданиям Православная церковь, по наблюдениям Гавличека, очень нетерпима. В прошлом продемонстрировав мирное отношение к языческим обрядам обращаемых в христианство народов, она не преследовала жестоко их обычаев, а лишь облачила некоторые из них, наиболее любимые народом, в христианские формы. Православная церковь не уничтожила, как это сделала Римская католическая церковь, «самого святого, что есть у каждого народа — народности, языка и святых, унаследованных от предков обычаев»¹. Что касается низшего русского духовенства, то оно мало образованно, находится на очень низкой ступени общественного положения и дает «православному русскому народу» лишь крестное знамение, строгое соблюдение постов да «Господи помилуй».

В своих политических статьях Гавличек большое внимание уделяет характеристике русского правительства. Прежде всего он считает, что правительство России ничего общего не имеет с великим русским народом, добродушным, очень способным и ловким, живущим при древнеславянских добрых обычаях. Оно же — правительство — управляется

¹ Там же. С. 57.

иностранцами без всякого чувства к русскому народу. Русские — это рабы, стонущие под гнетом абсолютизма. Русский человек не смеет принять самостоятельного участия в политической жизни своего отечества. Он не огражден законом от насилия самого же правительства, да и никаких законов здесь нет. Образ действия русского правительства не славянский. Иностранцы — главные помощники и вдохновители русского правительства, они же сильнейшее орудие русского деспотизма. Иностранцы не могут быть сторонниками либерализма. Они «кланяются каждой копейке», поэтому являются олицетворением крайнего прислужничества. Им неинтересны нужды и чаяния народа.

Главное орудие абсолютизма — сильное войско и полиция, казак с кнутом — душа всякого порядка на Руси. По отношению к славянским народам русское правительство преследует своекорыстные цели. Россия стремится упрочить свое влияние на турецких славян и уничтожить Турцию. Во внешней политике русское правительство является верным стражем абсолютистского строя. Оно готово подавить всякую революционную вспышку. Так русские войска усмирили мадьяр в пользу Австрии, подавили восстание поляков.

Статьи Гавличека, характеризующие русские государственные порядки, написаны накануне и в период революционных событий в Австрии в 1848 г. и содержат немало передержек. Однако с характеристикой общественного строя России в сущности можно согласиться. Передовые люди России так же понимали эту проблему. За три года до приезда Гавличека в Москву русский поэт М.Ю. Лермонтов перед ссылкой на Кавказ писал:

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

Однако Гавличек не подозревал, что у него есть русский единомышленник, как и вообще не имел понятия о его существовании.

Вообще, рассуждения чешского публициста о России не являются плодом самостоятельного знакомства с обстановкой. Будучи резуль-

татом изучения вопроса и анализа соответствующего материала уже зрелого политика, его заключения отражают сложившийся стереотип, бытовавший в среде либеральной чешской буржуазии и интеллигенции 30–40-х гг. XIX в. Так, Гавличек считал русских не славянами по происхождению, а смесью татаро-монгольских и угро-финских онемеченных племен. В том же духе в 1831 г. Шафарик в письме Коллару называет русских «наполовину онемеченными и наполовину отатаренными северянами». Политическое устройство России он квалифицирует как военный деспотизм. «Величие, которому мы все удивляемся, — пишет Шафарик, — есть в действительности ужаснейший военный деспотизм, только формой своей отличающийся сильно от римского деспотизма времен Нерона и др., или нынешнего турецкого, но по существу своему мало от них отличающийся». И даже говоря о русской литературе, Шафарик отрицал ее самобытные начала: «Роскошные плоды ума Батюшкова, Жуковского, Пушкина и пр. суть цветы дилетантизма; сад, в котором они возросли, не народ славянский. Без политической жизни народы нули; на севере народ — ничто, решительно ничто, и даже еще меньше, чем ничто»¹. Эта характеристика вполне перекликается с высказыванием Гавличека, что «барские крестьяне после скотины первые господа на земле». Таким образом, Гавличек прибыл в Россию в начале 40-х гг., вероятно, со сложившимся мнением, которое было отрицательным, и лишь подкрепил его некоторыми своими наблюдениями.

В литературе существуют высказывания, что Гавличек до поездки в Россию был ее поклонником, а познакомившись поближе, разочаровался в ней. Думается, что молодой чешский патриот не вписался в то общество, в которое попал, был в России одинок, тосковал по Праге. Рассчитывавший прожить в России три-пять лет, он уже намерен был вернуться в Чехию в конце 1844 г. 30 апреля 1844 г. он писал К. Запу: «Насытился я уже русскими шубами — жаль времени. По-русски уже умею, Москву знаю, еще немного летом подучусь и достаточно. <...> Русская литература для меня ничего полезного не составляет, всю ее мудрость могу унести на спине»².

В России Гавличек оставил по себе плохую память. С.П. Шевырев, в семье которого он был учителем, в письме М.П. Погодину, собирающемуся в 1846 г. посетить Чехию, писал:

¹ Францев В.А. Очерки по истории чешского возрождения. Варшава, 1902. С. 165–166.

² Havlíček Borovský K. Cesta na Rus. 1947. С. 194.

Прошу тебя непременно сказать следующее Шафарику и Ганке о Гавличке. Известно, для какой цели я желал поручить первое воспитание сына моего словенину. Мне хотелось внушить ему любовь к родным племенам <...> Гавличек своим жестоким и грубым обращением с детьми <...> не способствовал исполнению моей цели <...> В детях моих, сыне и племяннике, он не только не поселил любви к словенским племенам, но своею грубою личностью мог скорее внушить к ним отвращение. <...> Сыну моему рассказывал, что у них в семействах священник выше всего, отец не много значит, а мать вовсе ничего. Детям не внушал никакого повиновения и никакой любви. Ты лжешь и ты врешь — вот два слова наиболее понятные из всего русского словаря Гавличека. Купцы и солдаты — вот единственные игры, которые изображал Гавличек для детей: торговля и материальная сила — две идеи, которые он развивал. Пребывание Гавличека у меня в доме я считаю истинным несчастьем. До сих пор я не говорил ни слова, не желая нанести вреда Гавличеку <...> Но теперь, когда я слышу, что он действует против моего отечества, что он смеет бранить Россию и народ мой, я считаю обязанностью обличить его как человека, и сказать, кто он таков. Здесь он поносил Австрийское правительство, там он преда́лся ему и поносит Русское. И в том, и в другом случае он лжет. Вообще он здесь отличался злоязычием. В течение года я не слыхал, чтобы он хотя бы об одном бы из литераторов и ученых чешских выразился с полным уважением и похвалою. Смеялся он над университетом Пражским. Рассказы его о жизни студенческой состояли в рассказах о драках — и не более. Стрелять и ходить на волков — было его лучшее удовольствие. Я слышал, что он смеет порицать благочестие нашего народа и полагает всю его веру в одной обрядности. Он повторяет как невежда клеветы давнишние иностранцев.

Далее Шевырев пишет, что Гавличек никогда не хотел изучать русскую историю, не контактировал с народом, не посещал лекций университетских профессоров, не читал русской литературы.

По этим причинам Гавличек не имеет никакого права говорить о России ни в литературном, ни в народном отношении. Я слышал, что он называет себя чехом и отрекается от имени словенина. Одно противоречит другому. Но я, зная его лично, рад был бы исключить его из списка как чехов, так и словен вообще. Dixi — и все сказанное подтверждаю моим честным словом¹.

¹ Барсуков Н. Указ. соч. С. 453–454.

Таков был отклик на пребывание Гавличека в России. И хотя его резкие отзывы и эпиграммы против России не были лишены основания, а к концу жизни становились более умеренными, его сатира не способствовала позитивному развитию чешско-русских литературных и вообще культурных связей.

Анна Зеленкова

**К ПРОБЛЕМАМ СЛАВЯНСКОЙ ИМАГОЛОГИИ
(рецепция русской среды и культуры в воспоминаниях и
переписке М. Мурко и И. Поливки на рубеже XIX–XX вв.)**

Иржи Поливка (1858–1933) и Матия Мурко (1861–1952) относятся к поколению основателей чешской литературоведческой компаративистики. Деятельность этого поколения базировалась на развитии эмпирического позитивизма в историографии и внесла свой вклад в процесс профессионализации их области знаний, что привело к разработке методологии национальных филологических школ¹. И. Поливка и М. Мурко встретились в начале 90-х гг. XIX в. Их деловые отношения стали особенно тесными в 1920 г. после прибытия Мурко в межвоенную Чехословакию и продолжались вплоть до смерти Поливки в 1933 г. С 1890 по 1914 г. Поливка отправил Мурко 26 посланий, а Мурко в ответ адресовал Поливке с 1890 по 1932 г. 54 единицы корреспонденции². Обширная переписка между этими близкими по возрасту и по профессии людьми, которая хранится в Национальной библиотеке университета в Любляне и в Литературном архиве Музея национальной письменности в Праге, началась в 1890 г., когда Мурко отправил Поливке (через русского слависта М.Н. Сперанского) оттиск своей статьи «История семи мудрецов у славян» («Die Geschichte von

¹ Ср.: *Wollman S.* Česká škola literární komparatistiky. Praha, 1989; *Idem.* Pražská škola komparatistů // *Slovesná věda.* 1, 1947. S. 51–54.

² Ср.: *Wagner J.* Matija Murko. Praha, 1963 (edice inv. č. 164); далее ср. заголовок: *Murko, Matija* // *Katalog rokopisov narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljane.* Ljubljana 1980. S. 51–70 (č. sign. Ms 1119 a Ms 1392); *Pavlásková E., Bařha F.* Jiří Polívka. Praha, 1959 (edice inv. č. 100).

den sieben Weisen bei der Slawen», Вена, 1890)¹. Возникший между ними научный контакт перерос в дружбу. Статья Мурко была результатом его поездки в Россию. В ней анализировались рукописи, связанные с историей «семи мудрецов», разбирались исходные материалы, мотивы и структурные модификации этой истории у сербов и болгар, ее распространение в Центральной Европе среди чехов и поляков и дальнейшее проникновение в русскую литературу. Эту тему порекомендовал ему А.Н. Веселовский, профессор западноевропейской литературы в Петербургском университете. Рамочный рассказ, который варьировался в разных литературах, Мурко объяснял согласно теории бродячих сюжетов как парафраз древнейшего мотива о лживости неверных жен. Поливка сразу же откликнулся на письмо с приложенным оттиском статьи и написал положительную рецензию, которая была опубликована в 1891 г. в журнале Масарика «Атенеум»².

Поливку с Мурко связывала прежде всего филологическая концепция славистики В. Ягича, которая на первый план ставила интерпретацию народных традиций и в отличие от русского «славяноведения» стремилась к всестороннему изучению духовных основ славянского мира³. Оба — и Поливка, и Мурко — были тесно связаны и с венской славистикой. Поливка получил в Вене в 1882 г. докторскую степень (Ph Dr.), а Мурко изучал славистику в Венском университете у Ф. Миклошича и в 1897 г. удостоился звания доцента славянской филологии, уделяя преимущественное внимание истории славянских литератур. Приблизительно в один и тот же период оба (но независимо друг от друга) совершили путешествие в Россию. Мурко побывал там в 1887–1889 гг., а Поливка чуть позже (с ноября 1890 г. по май 1891 г.), слушал там лекции известных русских славистов А.Н. Пыпина, А.Н. Веселовского, Н.С. Тихонравова и др. Кроме того, оба проявляли интерес к средневековой развлекательной рыцарской литературе, которая проникала из немецкоязычной среды в славянскую, — в виде

¹ *Murko M.* Die Geschichte von den sieben Weisen bei der Slawen. Wien, 1890. Ср.: *Bečka J., Zelenková A.* Výběrová bibliografie Matiji Murka // *Murkova epoha slovanské filologie.* Praha, 2003. S. 124–168.

² *Polívka J. M.* Murko: Bulgarski i srbski prijevod knjige o sedam mudraca // *Athenaeum.* 8, 1891. S. 278–279; далее ср.: *Jiří Polívka (1858-1933) // Slavista Jiří Polívka v kontexte literatury a folklóru I.* Bratislava–Brno, 2008.

³ Ср.: *Zelenka M.* Matija Murko a česká literární komparatistika // *Murkova epoha slovanské filologie.* Praha, 2003. S. 32; далее ср.: *Kurz J. V.* Jagić und die tschechische Slawistik // *Beiträge zur Geschichte der Slawistik.* Berlin, 1964. S. 3–12; *Kudělka M.* O pojetí slavistiky. Vývoj představ o jejím předmětu a podstatě. Praha, 1984.

так называемых книг для народного чтения. В частности, это касалось материалов о Брунцвике или романа об Аполлонии, царе Тирском. В 1889 г. Поливка проанализировал восприятие этого романа в чешской, польской и русской литературах в своих «Письмах филологических»¹, заслужив похвальный отзыв М. Мурко, опубликованный в «Archiv für slavische Philologie» Ягича².

Переписка между двумя исследователями, ставшая более насыщенной после их возвращения из России, отражавшая взгляды на славянский мир в XIX–XX вв. и освещавшая профессиональную карьеру обоих, представляет большой интерес как свидетельство контактов двух центральноевропейских славистов, только еще вступивших на свою научную стезю³. Положение чехов и словенцев как малых славянских народов в Габсбургской монархии было весьма схожим. Конец XIX в. ознаменовался активизацией культурно-политической деятельности, стремлением к национальному и социальному освобождению со стороны интеллектуалов, наиболее заинтересованных в собственной социальной отдаче. Чехи и словенцы в этот период видели свое будущее в составе федеративной Австро-Венгрии. Как отмечает чешский историк Ян Рыхлик, чехи, придерживающиеся государственно-правовой теории, считали, что в основе их существования должны лежать исторические земли, словенцы же делали ставку на национальные сообщества, основанные на естественном праве⁴.

Постепенное становление наций со своим обособленным языком и современной социально-экономической структурой у так называемых австрийских славян вызывало и более сложные представления о России как крупнейшем и единственно независимом славянском государстве. Усиливается сознание конфессионального и территориального «раздвоения» славян на разные культурные и политические сферы,

¹ Polívka J. Román o Apollonovi králi Tyrském v literatuře české, polské i ruské // Listy filologické. 16, 1889. S. 353–358, 416–435; Polívka J. Dvě povídky v české literatuře v 15. století. Praha, 1889; Kronika o Bruncvíkovi v ruské literatuře. Praha, 1882.

² Murko M. J. Polívka: Der Roman von Apollonius, König von Tyrus in der böhmischen, polnischen und russischen Literatur // Archiv für slavische Philologie. 13, 1891. S. 308–311; далее ср.: Ruský překlad Apollonia Týrského a Gest Romanorum // Archiv für slavische Philologie. 14, 1892. S. 405–421, перепечатано в: Murko M. Rozprawy z oboru slovanského národopisu. Praha, 1941. S. 198–214.

³ Ср.: Zelenková A. K dejinám české a stredoeurópskej slavistiky na konci 19. storočia (J. Polívka a M. Murko) // Die slavischen Grenzen Mitteleuropas Festschrift für Sergio Bonazza. München, 2008. S. 189–198.

⁴ Rychlík J. Slovinci a Češi v rámci Předlitavska (srovnání programů a postavení) // Češi a Slovinci v doby moderne. Slovenci in Čehi v moderní době. Praha–Ljubljana, 2010. S. 18.

в результате чего «проблема славянского единства скрещивается с проблемой Запада и Востока»¹, т. е. с коммуникацией, понимаемой как постоянное сближение и отдаление. До середины XIX в. доминировали либо равнодушие и невежество, либо некритический панславизм и эмоциональное русофильство, которое, однако, целенаправленно и модифицированно вызывало отклик только у части русской интеллигенции («народников»), но с появлением сильного поколения позитивистских филологов (к ним принадлежали Поливка и Мурко) акцент был сделан на автохтонное познание и двусторонний обмен культурными ценностями. Точно так же Россия, которая благодаря реформам Петра Великого европеизировалась, как ни парадоксально, с XVIII в. больше обращала внимание на неславянский Запад, особенно на Францию и Германию, чем на Центральную Европу и ее «скрытый» славянский элемент. Интересный факт привел в своих «Мемуарах» Мурко, который вспоминал, что русские воспринимали западных австрийских славян как «австрияков», а не как этнически родственные народы². Отношение к славянам в России Мурко описал так: «В общем-то о славянах говорили мало <...> Русская интеллигенция знала <...> что есть где-то славяне, но о том, где и как они живут и чего хотят, не имела и не могла иметь представления».

Воспоминания Мурко показывают, что и в конце XIX в. в повседневном внутриславянском общении преобладали в основном мифы и стереотипы, т. е. некие вымышленные субъективные идеи, специфически интерпретирующие действительность. С этой точки зрения можно обратить внимание на значение и важность славянской имагологии как дисциплины компаративистики, направленной на интерпретацию образов («les images»), с помощью которых в словесном тексте воссоздаются чужие ландшафты и народы³. Как известно, эти образы не являются прямым отражением действительности, а носят характер коммуникативных моделей, которые отражают взаимное «видение» и поэтому всегда находятся в ценностной и эстетической конфронтации. В случае славянской имагологии, а именно чешско-(словенско-)русской или же центральноевропейско-русской, здесь имели хождение

¹ Krejčí K. Mýtus a dialog v historických vztazích Slovanstva se Západem // Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze. Praha, 1968. S. 198.

² Murko M. Paměti. Praha, 1949. S. 87.

³ Ср.: Teórie medziliterárnosti 20. storočia I–II. Nitra, 2009–2010; далее ср.: Kučera P. K interkultúrnemu sméru v literárni komparatistice // Kultúra a súčasnosť 6. Zošity č. 12/2008 Katedry areálových kultúr FŠŠ UKF Nitra, 2008. S. 15–27.

контрастные образы далекой, малопонятной «державы» и малочисленной и, с точки зрения европейской политики, «незначительной» нации, которая развивалась в рамках империи Габсбургов. Образы «себя» («автоимидж») и образы «чужого» («гетероимидж») здесь не всегда приспособлялись друг к другу как у непосредственных соседей, а воспринимались как оппозиционные, с доминирующим двусторонним ощущением «экзотической непохожести», т. е. как асимметричные отношения между двумя «удаленными» друг от друга культурами, где, по мнению Мурко, «недоразумения происходят с обеих сторон»¹. Очевидно, что в центральноевропейско-русских отношениях массовые национальные представления, несмотря на их этническое родство, не были и не могли быть идентичными. Если со стороны России не хватало уважения к индивидуальной, субъективной ситуации другого или «чужого», центральноевропейская позиция балансировала между отрицанием и некритическим поклонением, на что указывал, например, концепт неославизма на рубеже XIX–XX вв. (К. Крамарж).

Если традиционная имагология направлена на изучение художественных текстов, не менее важным становится и исследование «образов» в публицистике и отчасти в научном дискурсе, а также в переписке, которая в качестве аутентичного источника и документа времени через сообщение частного характера тоже многое говорит о циркуляции взаимных стереотипов и представлений. Об этом свидетельствует уже упомянутая корреспонденция Мурко и Поливки, которые обменивались экземплярами и оттисками своих работ, рекомендовали друг другу специальную литературу, вместе обсуждали вопросы, связанные с положением и кадровым составом славянской филологии в университетах, где оба работали. Переписка обнаруживает и их общую цель — развивать славянскую филологию как отдельную науку и вывести ее из подчинения национальной филологии и националистической журналистике. Их библиография² указывает на то, что оба слависта следили за своим профессиональным ростом, рецензировали и морально поддерживали друг друга в стремлении получить штатную должность доцента или внештатного профессора в университете.

Мурко и Поливка были в то же время выдающимися русистами и знатоками русского политического и культурного мира. Четвертая глава «Мемуаров» (1949) Мурко посвящена «Стажировке в России»³,

¹ Murko M. Paměti. S. 92.

² Ср. примеч. 3.

³ Murko M. Studijní pobyt v Rusku // Murko M. Paměti. S. 62–101.

куда он отправился в середине сентября 1887 г. с другим молодым славистом, чешским лингвистом Франтишком Пастрнеком, и под руководством своего учителя В. Ягича¹. Он приехал вместе с ними в Петербург в конце сентября того года и сразу же стал посещать лекции историко-филологического факультета Петербургского университета, где его больше всего привлекало славянофильское толкование Орестом Миллером истории русской литературы. Однако словенского ученого, ориентированного на литературоведение, университет с научной точки зрения разочаровал, но интерес вызвала Академия наук, которая в отличие от центральноевропейских традиций была не добровольным сообществом ученых, а независимым научным учреждением, в чьей начальной деятельности были, по его мнению, большие заслуги и немецких исследователей, которых регулярно призывали русские цари. Мурко, как и Ягича в его «Воспоминаниях» («Vspomíni»), особенно привлекала личность А.Н. Веселовского, который работал в «отделении русского языка и литературы» и как компаративист «изучал все письменные и устные духовные плоды Запада и Востока»². По словам Мурко, А.Н. Веселовский, как и многие другие русские ученые, «был на одном уровне с западными учеными, но имел перед ними то преимущество, что знал в подлиннике все славянские литературы»³.

Через девять месяцев Мурко покинул Петербург и с лета 1888 г. стал знакомиться с деревенской жизнью прежде всего в Смоленской губернии (в Поречье в библиотеке у графини Уваровой он изучал рукописные варианты «Повести о семи мудрецах»), откуда он уехал в Москву и Поволжье (посетил Нижний Новгород, Казань, Самару, Саратов и т. д.). В начале августа 1889 г. он вернулся в Москву, где познакомился с историком литературы Р.Ф. Брандтом и А.А. Шахматовым и продолжил в московских архивах поиски истоков «Повести о семи мудрецах». Москву Мурко окончательно покинул в феврале 1889 г., заявив, что «русский язык изучил лучше всех славянских»⁴, он даже написал, что над некоторыми научными проблемами долгое время размышлял по-русски. Но несмотря на это, взаимная переписка между

¹ Поездка Мурко в Россию подробно анализируется в: *Bonazza S. Mathias Murkos russische Beziehungen // Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky. Brno, 2005. S. 64–81.*

² *Murko M. Studijní pobyt v Rusku // Murko M. Paměti. S. 69–70.*

³ *Ibid. S. 70.*

⁴ *Ibid. S. 98.*

обоими исследователями была по отношению к России критической: сказались русские реалии и двусторонняя конфронтация еще свежих впечатлений, которые стали одной из главных тем их первых писем.

Уже в письме от 13 августа 1890 г. Поливка откликнулся на путевые заметки Мурко, которые с ноября 1888 г. печатались в «Люблянском звоне», а затем вышли отдельным книжным изданием с заголовком «В русской провинции» («V provinciji na Ruskem»)¹. Поливка, ссылаясь на свой собственный опыт, указал на различия между «официальной» и «частной» Россией и на проблемы социальных, религиозных и этнических отношений. Речь шла прежде всего о научном познании России и ее среды, об изучении русской литературы и культуры. Он отрицал политическое возвышение русских как славянских «лидеров» и пропагандировал культурный обмен, свободу слова, религиозную терпимость и демократическое распространение информации среди отдельных славянских народов. В том же письме он пишет: «Счастлирое развитие России и всех славянских народов и наций зависит от уменьшения давления сверху; пусть облегчится жизнь народа, пусть будет более свободной духовная жизнь, культура, критика, и мы станем творить чудеса. Я думаю, что наша обязанность состоит в стремлении всячески добиваться такой свободной жизни...»² Поливке казалось, что Мурко в своих русских рефлексиях, в описании тамошней жизни поддался определенной мифологизации и идеологизации (что «создает ощущение односторонности»), однако признал, что и самому ему сложно делиться «впечатлениями о России»: «...узнав слишком плохо реальную жизнь, я зацепился всеми симпатиями за русскую литературу, и именно неофициальную Россию я полюбил»³. Поливке не нравились и ссылки на самодержавие и православие как на две опоры русского государственного строя.

Мурко в ответном письме от 18 августа 1890 г. развеял опасения Поливки — дистанцировался от своих эссе, где была некая идеализация. Он объяснил ее своими тогдашними чувствами, восхищением представителя малого и несвободного славянского народа территориальным и культурным величием России. Как и Поливка, он отвергал вредный панславизм и русофильство, которые на Западе вызывали негативные коннотации, «славянам вредило, русским было бесполезно

¹ *Murko M. V provinciji na Ruskem. Ljubljana, 1889.*

² И. Поливка в письме М. Мурко от 13.08.1890, хранящемся в Национальной университетской библиотеке в Любляне (фонд М. Мурко, № sign. Ms 1119/1123).

³ *Ibid.*

и славянской взаимности не способствовало»¹. Мурко даже сообщил в письме, что если бы ему сегодня пришлось соглашаться с критикой царской России и шовинизма некоторых ее элит, он написал бы монографию «Панславизм. Освещение призрака» («Der Panslavismus. Beleuchtung eines Gespensts»)². Двойное отношение к России, характерное для славянского восприятия, т. е. притяжение и отталкивание (что означало восхищение культурой при одновременном неприятии или осуждении политико-экономических условий), вытекало из европейского неведения и поверхностного взгляда на вещи. Мурко соглашался с Поливкой, что Россию необходимо изучать и анализировать именно для преодоления недоразумений с обеих сторон. Дает о себе знать и русское незнание условий жизни так называемых австрийских славян, которых, по словам Мурко, принимали за немцев. «Если у русских делается что-то по-другому, чем мы себе представляем, это естественно»³, пояснял он в «Мемуарах», обобщив следующим образом факт славянской конфессиональной и языково-территориальной раздробленности: «Славяне тысячу лет ходили разными дорогами»⁴.

После возвращения из России Мурко хотел использовать свои знания русского языка не только в науке, но и на практике. По материальным соображениям раздумывал о преподавании русского языка в венской Военной академии, устроившись, наконец, в агентурном отделе «Литературное бюро» («Literarisches Bureau»), существовавшем в рамках Департамента иностранных дел, на должность референта славянских и в первую очередь русских газет. Кроме того, он преподавал русский язык в Общественном училище восточных языков (Öffentliche Lehranstalt orientalistische für Sprachen) и параллельно с 1896 г. возглавлял кафедру русского языка в Дипломатической академии, своего рода подготовительной школе для будущих австрийских дипломатов. В 1899 г., когда в Санкт-Петербург был назначен новый посол барон Эренталь с целью улучшить политические отношения между Россией и Австро-Венгрией, Мурко как молодой ученый получил предложение сопровождать нового посла и стать его советником. После назначения в апреле 1922 г. штатным профессором славянской филологии в Штырском Градце Мурко окончательно расстался с политической карьерой

¹ Murko M. Paměti. S. 101.

² Ср.: Zelenková A., Jensterle-Doležalová A. Slovanska filologija v dialogu med Matijem Murko in Jiřijem Polivko // Slavia Centralis. R. V, 2012. Č. 1. S. 5–19.

³ Murko M. Paměti. S. 101.

⁴ Ibid.

и занялся, как и Поливка, только научной и педагогической работой в университетской среде.

На рубеже XIX–XX вв. Мурко и Поливку связывал и общий интерес к Яну Коллару и его идее славянской взаимности. Однако Поливка в переписке начала XX в. критиковал представления о реальном состоянии славянской взаимности и возможности ее научного исследования. «У нас де-факто нет широкого интереса к славянскому миру, нет стремления к его более глубокой трактовке. Переводят много художественной литературы, беллетристики и поэзии, вот и все»¹ — эти мысли Поливка изложил в письме Мурко в июне 1906 г., придя к выводу: «Наше “славянство” на самом деле лишь болтовня»². По мнению И. Поливки, на критические представления чехов о славянском мире указала и анкета о взаимности, которая была опубликована в чешском еженедельнике «Май». Мурко (как один из немногих зарубежных участников) выступил с полемической заметкой о чешской незаинтересованности в славянских реалиях³. Поливка сослался в своем письме на университет в Праге, где «специальные научные лекции по языкам и литературам славянским рассматриваются как нечто экзотическое, подобно **ориентальной филологии**»⁴. Он жаловался Мурко на то, что в Чехии отсутствует подготовка подрастающего научного поколения, что издательства не включают в свои редакционные планы названия славянских книг, что невозможно достать словари всех славянских языков. Поэтому неудивительно то, что «все усилия установить более тесные связи с миром восточнее нашего бесполезны <...> Также не видно, чтобы в наших публичных библиотеках читателям были доступны популярные русские журналы...»⁵

Оба исследователя, которые были учениками Ягича и сначала находились под влиянием его представлений о комплексности славистики и об этнически однородном славянском сообществе, где бы доминировала Россия и русский язык как единственный славянский язык мирового значения, на рубеже XIX–XX вв. к этим идеям постепенно охлаждаются. Развитие славистики на окраинных территориях империи Габсбургов (в том числе и в чешских землях) связывало

¹ Й. Поливка в письме М. Мурко от 03.06.1906, хранящемся в Национальной университетской библиотеке в Любляне (фонд М. Мурко, № sign. Ms 1119/1123).

² Ibid.

³ Slovanský postup. Anketa “Máje” // Máj. 4, 1906. 18.05. S. 562–563.

⁴ Й. Поливка в письме М. Мурко от 03.06.1906.

⁵ Ibid.

филологические исследования с национальным движением и его культурно-политическими амбициями, которые проявлялись как стремление к профессиональной специализации этой области, как готовность развивать филологию у разных наций, где русский язык уже не имел бы политических преимуществ. Тем не менее связь с Россией оставалась у обоих славистов в течение всей их профессиональной карьеры весьма тесной благодаря научной направленности их работ. У Поливки этому отвечал его интерес к русской литературе и русскому роману, который дополняло наблюдение за динамикой восприятия русской литературы в чешской культуре, главным образом посредством переводов¹. Надо добавить, что в обширной библиографии трудов Поливки можно найти систематические и юбилейные тексты, посвященные ключевым произведениям русской прозы — от А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского до М. Горького. Поливка подходил к русской литературе с позиций либерала и социолога-позитивиста. Этим его понимание сближалось с основным трактатом Масарика «Россия и Европа» — гуманистически и религиозно, на человеческих судьбах он показывал трагический исход крупных социальных потрясений. Поэтому не случайно после 1917 г. он критиковал политическую ситуацию в Советской России и даже публично осудил Октябрьскую революцию и жестокость Гражданской войны; в двадцатых же годах он принял активное участие в официально организованной государством помощи интеллектуальным кругам русской эмиграции.

Поливка скончался после непродолжительной болезни в 1933 г., Мурко дожил до старости, пережил конец Второй мировой войны, которую он считал завершением славянской эмансипации и победой русского языка как языка мирового. Однако в «Мемуарах», написанных перед смертью, он сказал, что «славяне слишком мало узнали друг друга и слишком мало знают» и что «идея славянской тысяча лет»².

В целом указанная переписка рисует обоих славистов как рационально мыслящих ученых, которые отдали свою жизнь славистике и которых объединял общий взгляд на Россию и ее культуру. Их письма весьма ценны и потому, что достоверно дополняют их научную и организационно-педагогическую деятельность и подробно характеризуют

¹ Ср.: *Pospíšil I. Jiří Polívka, revoluční Rusko a ti druzí: spor kolem ex oriente lux* (in margine jednoho Polívkova článku) // *Slavista Jiří Polívka v kontextu literatury a folkloru II*. Bratislava–Brno, 2008. S. 27–42. Поспишил здесь анализирует полемику между С.К. Нейманном и Й. Поливкой о России и русской культуре после 1917 г.

² *Murko M. Paměti*. S. 238.

их взгляды на славянскую филологию в период их профессионального становления. Их более поздние взаимоотношения, особенно в 1920-е гг., когда оба они работали в Праге — в Карловом университете и в Славянском институте, — это уже тема для другого исследования. Несомненно, что работы Поливки и Мурко заложили на рубеже XIX–XX вв. научные основы современной славистики, которая отличается более объективным отношением к России и ее культуре.

Перевод с чешского З. Мат्यूшовой; под ред. Л.Н. Будаговой.

А.Г. Машкова

**ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА РОССИИ
в словацкой литературе XIX — начала XX в.**

С конца XVIII в. до середины XX столетия, то есть почти в течение полутора столетий, восприятие России в Словакии претерпело значительную эволюцию. Естественно, менялся и ее образ в литературе. Эти изменения обусловлены процессами как общественно-политического характера, так и литературного. Подобно другим славянским народам, словаки, вдохновленные победой русских войск над турками и освобождением южных славян, связывали с Россией надежды на свободу от иноземного гнета. *Веря в то, что Россия придет им на помощь, они восхищались ее силой и мощью.* Так, ученый и поэт эпохи барокко, «словацкий Сократ», как его именуют на родине, Франтишек Адам Коллар, посвятивший свою поэзию Марии Терезии и Екатерине II, в стихотворении «Надпись на реку Волгу» впервые в словацкой литературе воплотил представление словацкого народа о России как о великой и могущественной державе. Это было первое стихотворение, переведенное на русский язык и еще в 1772 г. опубликованное в журнале Н.И. Новикова «Живописец».

Восприятие России как *объединяющей всех славян силы и освободительницы* характерно для эпохи словацкого Национального возрождения. В первые десятилетия XIX в. тема России становится в литературе одной из центральных. Стимулирующим фактором для ее утверждения является распространение в славянском мире объединительной идеи славянства, получившей в Чехии и Словакии название «идея славянской взаимности». Эта идея была синтезирована Яном Колларом

в поэме «Дочь Славы» (1824) и в трактате «О литературной взаимности между племенами и наречиями славянскими» (1836), где он высказался за духовное, культурное сближение со славянскими народами, и в первую очередь с Россией. В поэме Я. Коллар вспоминает великих деятелей русской истории и культуры. Восхищаясь ими, он помещает их в «рай». Апофеозом его любви к русскому народу и стране стал сонет № 7 из 3-й Песни, в котором воссоздан аллегорический образ славянской семьи в виде статуи, голова которой — «Россия величава». То есть поэт, говоря о *необходимости единения славян*, главенствующую роль в этом процессе отводит России.

Вслед за Я. Колларом интерес к России, русской истории и культуре проявили писатели-романтики, прежде всего — Людовит Штур. Однако в отличие от Я. Коллара Л. Штур в трактате «Славянство и мир будущего» (первая половина 1850-х гг.) отдает предпочтение категориям политическим, выдвигает *идею не только культурного, но и религиозного, политического объединения славян во главе с Россией*, у которой «бывали тоже свои бури, свои злые дни. Однажды покорились Монголам и была у них в неволе более 200 лет, но она мужественно восстала и развивалась потом с нежданною прежде силою. Шведы в союзе с Поляками и Турками посягали на самостоятельность, но одних она опрокинула и отняла у них много земель, других включила в Государство, бросив чужим только куски их земли, а третьих укротила, забрав у них много земель. Наконец, вторглась в Россию почти вся Европа, ведомая величайшим военным гением, но и это колоссальное могущество разбилось о силу России, и на ее полях померкла звезда Наполеона».

Для того чтобы стать во главе всех славян, по мнению Штура, у России есть все основания: героическая история, «необъятное пространство», великая культура, «благочестивое и усердное духовенство», влияние в Европе. Но основное достоинство России, по мнению Штура, — это «добрый, сильный послушный и готовый на самопожертвование народ». Народ, который, как он писал, «более других Славян хранит в себе особенности чисто славянские в сочетании силы со скромностью и добротой, в своих нравах, в общинном устройстве». Народ, который смог «избежать главного недостатка Славянской государственности и, вследствие этого, образовал единое могущественное Государство». Свои рассуждения о России Штур начинает со слов: «Неодолимо влечет к себе Россия Славян...» Влечет своим примером, так как, преодолев все трудности, пишет он, Россия теперь стоит

в «полном могуществе и притом юношеской свежести. Россия, конечно, есть величайшая, первостепенная Держава...» Штур полагал, что в силу всех вышеперечисленных причин «славянские племена могут довериться без опасения» России, ибо, будучи могущественной державой, которая сама живет спокойно и развивается, она будет жить по-братски со всеми славянами. При этом, говоря о *высоком предназначении России, о ее объединяющей роли*, Штур писал: «Славянское сознание сильно пробуждается в России и с каждым днем все более и более ее охватывает, а оно не может долго оставлять в рабстве и позоре родственные русским племена. Сверх того, ближайшие к России государства, по крайней мере два, самые гнилые: Турция и Австрия. Они распадутся сами собою и Русские должны будут, в выгодах собственной безопасности вмешаться в их дела. Высоко взлетит их орел, далеко над миром опустится, и Северного орла узнают братья. Опирайтесь на все Славянство — вот единственная природная и сообразная России политика. Славянские племена, ныне находящиеся вне пределов Русской государственности, однажды соединившись с Россией в одно целое, с избытком заменят ей иностранные союзы. Итак, терпенье, Славяне! День наш взойдет и забрезжит на Юго-Востоке». Далее он предостерегает: «Пора, в высшей степени пора России осознать свое призвание и приняться за славянскую идею, ибо долгое промедление может... иметь дурные последствия»¹.

В последние десятилетия XIX в. не только в Словакии, но и в других славянских странах культурное сближение с Россией остается одной из главных задач, стоящих перед представителями интеллигенции. Росту авторитета России в немалой степени способствовали действия русской армии в русско-турецкой войне (1877–1878 гг.), в результате которых южные славяне были освобождены от турецкого гнета. Угнетенные народы империи Габсбургов видели в России страну-освободительницу, которая придет на помощь и другим славянским народам.

В этой ситуации *русофильство, ориентация на Россию* по-прежнему оставались важнейшей составляющей политической и культурной жизни Словакии. По-прежнему интерес к русской культуре и литературе являлся неотъемлемой частью колларовско-штуровской идеи единения славян. Особенно активным этот интерес был среди патристически ориентированных писателей-«мартинцев» (от г. Мартин).

¹ Штур Л. Славянство и мир будущего. Послание славянам с берегов Дуная [Электронный ресурс]. URL: http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_239.htm (дата обращения: 15.09.2014).

Разочарованные в революционных событиях 1848 г. в Вене и Будапеште, словаки возлагали все надежды на Москву.

Проявлением этих устремлений стали интенсивные словацко-русские литературные связи, все более многообразные. В этот период усиливается непосредственное влияние русской литературы на словацкую. Этот факт представляется тем более примечательным, что условия для взаимных контактов после образования Австро-Венгрии (1867 г.) были крайне неблагоприятными. Примером тому может служить запрет венгерских властей на празднование столетия со дня рождения Яна Коллара в г. Мартине (1893 г.). Когда же словацкая молодежь собралась на родине поэта в местечке Мошовцы, чтобы возложить цветы к тому месту, где некогда стоял дом поэта, собрание по приказу властей было разогнано. Присутствовавший на этом мероприятии будущий президент Чехословакии Т.Г. Масарик заметил тогда, что за все время он впервые увидел «штык, на него направленный, только в Венгрии»¹, которая на словах считает себя свободной.

Не менее трагическим в новой политической ситуации было положение словацкого языка, несмотря на принятый закон «О национальностях» (1868 г.). Венгерские власти всячески препятствовали национальным меньшинствам пользоваться своими языками, даже в областях со словацким населением они «прибивали их к кресту», а сами области, по выражению Св. Гурбана-Ваянского, стремились превратить в «Голгофу национального мученичества»².

Активизировавшийся процесс мадьяризации словацкого населения стимулировал словацкую культурную общественность к принятию мер для сохранения национальной идентичности. В реализации этой задачи значительную опору она видела в России, в обращении к русской литературе. И хотя венгерские власти всячески препятствовали поддержанию личных контактов между словацкой и русской интеллигенцией, русская литература не только пользовалась в Словакии большой популярностью, но и оказывала воздействие на творчество многих писателей.

В это время в Словакии переводятся произведения Карамзина, Хомякова, Аксакова, Крылова, Грибоедова, Лермонтова, Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова, Г. Успенского,

¹ Цит. по: *Кодайова Д.* Россия в словацкой политике: Ваянский и Масарик // Мифы — стереотипы — образы. Восприятие России в Словакии. Братислава-Йошкар-Ола, 2010. С. 19.

² Там же.

Мамина-Сибиряка, Григоровича, Лескова, Короленко и др. В общей сложности в период с 1867 по 1900 г. было опубликовано 797 произведений русских авторов. Больше всего тогда переводили Толстого (88 произведений), далее следуют: Тургенев (60), Чехов (45), Гоголь (26), Достоевский (17). Только журнал «Словенске погляды» в период с 1890 по 1910 г., когда его редактором был Й. Шкультеты, напечатал 155 произведений 60 русских авторов. Наиболее часто там публиковали Толстого (32), Чехова (17), Тургенева (10). По количеству переведенных произведений Толстого Словакия занимала в начале XX века первое место среди славянских стран и четвертое — в мире. В те трудные для словаков годы именно главному редактору журнала «Словенске погляды» Й. Шкультеты принадлежат слова: «...для нас славянство — не пустое понятие, не территория на карте, а надежда и вера. Мы верим, и это, прежде всего, относится к великому русскому народу, который уже самим своим существованием является опорой для всех нас»¹. Начиная с первых номеров журнала, Й. Шкультеты активно пропагандировал русскую литературу, где в его переводе публиковались произведения Тургенева, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Короленко и др. Ш. Крчмеры даже считал, что Й. Шкультеты перебарщивал с русской литературой, стремясь воспрепятствовать публикации слабых произведений словацких авторов и одновременно желая, чтобы на этом фоне лучше выглядела словацкая литературная критика. В «Истории литературы словацкой» он утверждал, что Й. Шкультеты видел в Достоевском учителя всех славян, что «над всем как бы витал дух Достоевского. И действительно, под крылом Достоевского заговорила вся русская литература»². В связи со статьей Й. Шкультеты о Достоевском, Ш. Крчмеры отмечал, что в ней порой «трудно было распознать, где звучит голос Шкультеты, а где — Достоевского»³.

Следует отметить, что консервативные круги словацкого общества, «мартинцы», принимая философские взгляды Достоевского, его славянофильство, весьма сдержанно относились к художественному творчеству писателя с характерным для него изображением трагических моментов человеческого существования, несправедливости и страданий. Если Св. Гурбан-Ваянский ограничивался сдержанными оценками Достоевского, то Й. Шкультеты видел в нем предвестника

¹ Цит. по: *Matuška A. Profily a portréty*. Bratislava, 1956. S. 464–465.

² *Krčméry Š. Jozef Škultéty // Krčméry Š. Dejiny literatúry slovenskej*. D. II. Bratislava, 1976. S. 157.

³ *Ibid.*

Октябрьской революции. В отличие от «мартинцев» молодые литераторы, «гласисты», игнорируя славянофильство русского писателя, активно переводили и пропагандировали его творчество. В частности, журнал «Пруды» опубликовал отрывки из романа «Братья Карамазовы» и «Дневника писателя». Как отмечает Э. Пановова, «на интерес “гласистов” к Достоевскому оказал влияние Масарик, который положительно относился к нему и искал и находил у него аргументы против революции. Разделяя точку зрения русского писателя, они положительно оценивали содержащуюся в его произведениях дискредитацию революционеров и отрицание материализма»¹.

Особенно много сделали для установления контактов в области культуры и литературы, для роста популяризации русской литературы в Словакии в то время Светозар Гурбан-Ваянский, Павол Орсаг-Гведослав, Ярослав Влчек и др.

Особая роль в этом принадлежит русофилу Светозару Гурбану-Ваянскому, который хорошо знал Россию, ее культуру и литературу. На протяжении двадцати лет он посещал ее восемь раз (с 1881 по 1914 г.). Видный поэт, прозаик, литературный критик, издатель, политический и общественный деятель, Гурбан-Ваянский активно выступал в защиту прав своего народа. За свои русофильские взгляды он трижды (в 1882, 1902, 1907 гг.) побывал в заключении. Питая самые искренние чувства к России, он, однако, порой высказывал ортодоксальные взгляды по отношению к ней. Так, полагая, что каждое государство имеет свою национальную задачу, он утверждал, что *национальной задачей* России является *освобождение славянских народов* «от ига иноплеменного». В статье «Положение Европы» он подчеркивал, что Россия, сокрушившая власть Турции, способна «вступить в борьбу и с другими врагами славян». Поддерживая тесные личные контакты со многими деятелями русской культуры, славистами (А.С. Будиловичем, П.А. Кулаковским, К.Я. Гротом, Т.Д. Флоринским и др.), он в своих разговорах с ними, в письмах высказывал аналогичную точку зрения. Примером тому могут служить его сорок писем, которые в 1908 г. опубликовала газета «Московские ведомости». Как отмечает словацкий историк Д. Кодайова, по мнению Св. Гурбана-Ваянского, «уже само существование России, даже если бы она фактически не вмешивалась в проблемы зарубежного славянства, “является гарантией бытия и развития” славянских

¹ Panovová E. Stopäťdesiat rokov slovensko-ruských literárnych vzťahov. Bratislava, 1994. S. 156.

народов <...> ибо она не может отрицать “племенного братства”, если хочет выполнить свое историческое предназначение»¹. Гурбан-Ваянский полагал, что *главное для славян — объединение под эгидой России* независимо от того, какую религию они исповедуют. Во имя этой высокой цели, считал он, отдельные славянские народы могли бы отказаться от части своей национальной независимости. С его точки зрения, «...только подчинение России всех славянских народов сохранит славянство. Поэтому он резко осуждал поляков, которые не желали смириться с русским господством, а также критиковал представителей украинского и белорусского народов, которые пытались доказать, что их язык имеет право на самостоятельное существование»².

В отличие от России, с точки зрения Гурбана-Ваянского, Западная Европа не может оказать словакам необходимой помощи в силу того, что она не понимает их специфического положения (как и других славян), не понимает особенностей их менталитета («вера + разум»). В статье «Пассивность» он подчеркивал: «Наша бедность, наше богатство, наша радость и боль столь глубоки, что они не могут найти своего отражения в теоретической псевдоконституционности, заимствованной у Англии и Франции»³.

Во время своих посещений России Гурбан-Ваянский обращал внимание прежде всего на чисто внешние стороны российской действительности, что во многом не соответствовало истинному положению дел. В своих статьях, очерках, письмах он часто смотрел на Россию сквозь призму литературы. Отсюда — противоречивое отношение к ней, которое претерпело значительную эволюцию (от осуждения самодержавия и восторгов по поводу народа до идеализации власти и социальной структуры общества), что наглядно можно проследить в его работах. Значительный интерес в этом плане представляют его статьи о творчестве Тургенева, Гоголя, Л. Толстого, Пушкина, Островского, Грибоедова, Карамзина, Некрасова, А. Толстого, Майкова, Салтыкова-Щедрина и других русских писателей (в общей сложности он посвятил им около 40 статей и очерков). Многие из них не утратили своей значимости и в наши дни, хотя его отношение к отдельным писателям и произведениям не всегда было однозначным, а порой и противоречивым, что объясняется критикой российской действительности, содержащейся в них.

¹ *Кодайова Д.* Указ. соч. С. 14.

² *Лантева Л.П.* Россия и Светозар Гурбан-Ваянский (1847–1916) // Русские и словаки в XIX–XX вв.: конфликты, взаимодействие, стереотипы. М.–Йошкар-Ола, 2007. С. 92.

³ *Vajanský S.H.* Pasivita // *Národné noviny*. 1884. Roč. 15. Č. 69.

Постепенно образ России-освободительницы в восприятии Гурбаном-Ваянским становится как бы «неприкасаемым», что определило критическое отношение к творчеству некоторых русских писателей или отдельным произведениям русской литературы. Примером такого отношения могут служить статьи, посвященные Гоголю, Тургеневу, Толстому, творчество которых он высоко ценил и вместе с тем нередко осуждал за критику российской действительности. Именуя русских писателей-реалистов «так называемыми обличителями», Гурбан-Ваянский предостерегающе высказывался о негативных последствиях для России этой критики. В частности, высоко ценя талант Тургенева, его мастерство в создании пейзажа, женских образов, он считал, что для Тургенева «Россия была всего лишь предметом художественного изображения, а любовь к ней имела второстепенное значение». Причину популярности творчества великого русского писателя в Европе он видел именно в критике русской действительности: «...слишком быстрой славе некоторых его (тургеньевских. — А.М.) творений способствовало злобствование по поводу столь бесцеремонно обнажаемых им язв и трудностей ненавистной России, не свойственное славянскому происхождению... Европе нравилось слушать ноты отчаяния о великой славянской державе. Возмущение писателя (Тургенева. — А.М.) по поводу порядков на его родине не трогало самодовольных сытых европейцев. Смотрите, думали они, ваш собственный гений проклинает вас. Однако они вряд ли заглянули в глубины чистой души писателя, именно там они бы нашли драгоценный жемчуг любви к России, хотя и в темном обрамлении болезненной меланхолии; они не заметили, что рука великого анатома дрожала от боли, когда он вскрывал и исследовал болезненные явления русского общества!» Гурбан-Ваянский всегда сожалел по поводу того, что Тургенев «так и не созрел до истинно славянских убеждений», и отмечал, что тот был «больше художником, чем патриотом. Вследствие длительного пребывания за границей он стал в России гостем»¹.

Идеализированные представления Гурбана-Ваянского о России, защита им «неприкасаемости» ее образа, ставшего, по сути, «окаменевшим», — вот одна из причин его противостояния молодому поколению литераторов-«гласистов», которые искали опору в западной философии и литературе. На призывы Гурбана-Ваянского «сомкнуться в одно

¹ Vajanský S.H. Turgenev zomrel // Vajanský Sv.H. Literatúra a národ. Spisy V. Bratislava, 1989. S. 269.

единое целое» молодежь отвечала резкими обвинениями в адрес его русофильской программы, с их точки зрения «усыпавшей» словацкую интеллигенцию. Благодаря этой программе, считали они, словацкий народ впал в «гипнотический сон», ибо она «позволила времени застыть в стагнации» (В. Шробар).

Поддержку своим взглядам «гласисты» нашли в работах будущего президента Чехословацкой Республики Т.Г. Масарика, который межславянскому сотрудничеству противопоставил «чехословакизм». Как справедливо замечает словацкий историк Д. Кодайова, предприняв попытку скорректировать взгляды Св. Гурбана-Ваянского на Россию, «гласисты» «...стремились внести исправления в концепцию русофильства в словацкой политике и урегулировать ее воздействие на политическое мышление. Несмотря на то что в вопросе восприятия России им недоставало знаний Ваянского в области русской литературы и культуры, а также философской эрудиции и политической прозорливости Масарика, гласисты подготовили почву для создания реального образа России в Словакии в межвоенный период»¹.

Реальный образ России рождался в период Первой мировой войны, когда тысячи словаков воевали в рядах австро-венгерской армии на восточном фронте. Среди них было немало деятелей культуры, писателей, переводчиков, которые оказались в России, сначала в качестве солдат, а затем — военнопленных и легионеров (Я. Есенский, Й. Грегор-Тайовский, М. Гацек, Яр. Аугуста. Я. Алекси, Вл. Дакснер и др.). Они прошли через всю Россию, начиная от Киева и заканчивая Сибирью и Дальним Востоком, стали свидетелями происходящих в ней революционных перемен, увидели страну, раздираемую внутренними противоречиями. Свои впечатления о том времени, о пребывании в революционной России большинство из них отразили в книгах, созданных по типу дневников, воспоминаний и носящих автобиографический характер.

В своем стремлении передать «менталитет времени» авторы пытались воссоздать свои впечатления о российской действительности, поведать о собственном духовно-биографическом опыте, процессе познания собственной личности и судьбы. В этой связи уместно вспомнить слова первого президента Чехословацкой Республики Т.Г. Масарика, который в 1920 г. писал о тех, кто побывал на русском фронте: «Все мы выросли на русофильстве. Для нас понятия “славянство” и

¹ Кодайова Д. Указ. соч. С. 17, 28.

Россия как бы слились воедино, хотя мы также любили и югославян и другие ветви и ответвления славянства. Однако наша любовь была своеобразной. Это стало ясно, когда наши солдаты попали в русский плен и жили в России. Мы любили то, чего не знали. В России мы узнали русских. В плену наши парни питали злобу к русским офицерам, которые издевались над ними, и часто злились на русских солдат. Но, несмотря на все эти неприятности, наконец, они их полюбили. Этой любви мы остались верны до конца. Я думаю, что все наши ребята любят русских. Но эта любовь, приобретенная опытом и знаниями о России и русских, отличается от первоначального русофильства. Она не абстрактная, не сентиментальная, хотя в ней и присутствует большая доля сострадания и сочувствия тому убожеству, которое является результатом необразованности и примитивности русских мужиков и всей русской жизни <...> Единственное, что я могу сказать, что они (словацкие солдаты. — А.М.) о России и русских не знали совсем ничего до того, как туда попали...»¹

После окончания войны выходят в свет: поэтический сборник Я. Есенского «Из плена» (1918); сборники рассказов «На фронт и другие рассказы», «Рассказы о Чехословацких легионах в России» Й. Грегора-Тайовского (1920), «Сибирские записки» М. Гацека (1936), «Впечатления художника о русском плене» Яр. Аугусты (1967) и др. Эти книги свидетельствуют о том, что отношение словацких солдат к российской действительности, к происходящим событиям было неоднозначным: многое им не нравилось, вызывало раздражение и даже возмущение, что-то импонировало и рождало теплые чувства. То есть сам образ России в восприятии словацких военнопленных был неоднозначен, более того, по мере знакомства со страной он менялся.

К примеру, известный переводчик, военнопленный, а затем легионер М. Гацек в «Сибирских записках. 1915–1920» писал: «Россия — большая, могучая и богатая, но порядка в ней нет. Некоторые врожденные свойства русского человека, неблагоприятные исторические условия последнего времени и недостаточное образование народа — все это стало препятствием культурного развития России — она отстала от остальных стран»². По-своему дополнил эти впечатления Я. Есенский в своем дневнике: «В России всего очень много — каши, хлеба, мух, вшей, клопов, беспорядка и много путешественников». И далее: «Если

¹ Масарик Т.Г. Философия — социология — политика. М., 2003. С. 487–488.

² Gacek M. Sibírské zápisky (1915–1920). Martin, 1936. S. 81.

бы я не был пленным, а ехал бы в скором поезде с полным карманом денег, то Россия бы мне наверняка понравилась со своей кириллицей, русской речью, фуражками, длинными папиросами, махоркой, пирожками, белым хлебом, бесконечными чаепитиями...»¹

Бывшие солдаты австро-венгерской армии стремились понять суть происходящих в России событий. Они комментировали не только ситуацию на фронте, но и в стране, писали о зреющем недовольстве народа, о его бедственном положении. В частности, катастрофической выделась ситуация, сложившаяся в период между Февральской и Октябрьской революциями 1917 г., Я. Есенскому: «Не успели расцвести акации, а газеты уже сообщали о “расстройстве” в армии и анархии в стране. Вместо одного правительства появилось сразу два: “Временное правительство” и “Советы рабочих и солдатских депутатов”. Они не понимали друг друга. Одни мешали другим»². Побывав в Петербурге и став очевидцем октябрьских событий, Я. Есенский с горечью писал: «...пришла вторая страшная буря: ноябрьская большевистская революция. До сей поры невиданная холера приняла образ ленинского монгольского черепа. Череп мертвеца с косою, а не звезда. За неделю боев пала самая могучая славянская держава». И далее: «...по улицам бегали не люди, а голодные, кровожадные животные. Страх буржуев... Убийства и грабежи стали нормой и ночью, и днем. Полиции не было. Милиция была бессильна. Прохожих раздевали догола. Бандиты проникали в дома»³. По-своему прокомментировал события в российских деревушках находящийся в Рязанской области в качестве военнопленного известный словацкий художник Я. Аугуста: «Отдаленные раскаты революции донеслись и до наших далеких краев. Народ был недоволен, нетерпелив, ширилась анархия. Милиция, которая сама грабила и воровала, не способна была поддержать порядок. Мужики все более решительно требовали раздачи земли...»⁴

Судьба произведений, созданных словацкими писателями на военную тематику, была различна. Так, первые впечатления о военном времени Йозефа Грегора-Тайовского — его автобиографический очерк «На войну», в котором речь шла об отправке писателя на фронт, — был опубликован еще в 1915 г. в газете «Народные новости». О дальнейших

¹ *Jesenský J. Cestou k slobode. Uryvky z denníka 1914–1918. Martin, 1933. S. 80.*

² *Ibid. S. 149.*

³ *Ibid. S. 169.*

⁴ *Augusta J. Zážitky maliara v ruskom zajatí // Revolučné roky. Spomienky na Októbrovú revolúciu a občiansku vojnu. Bratislava, 1967. S. 239.*

событиях своей жизни (солдатские будни, плен, пребывание в России, долгий путь домой через Владивосток, Японию и Америку) Грегор-Тайовский поведал в дневниковых записках периода 1915–1920 гг., отрывки из которых публиковались в словацкой эмигрантской газете «Словенске гласы», издававшейся в Киеве, а также в словацких «Народних новинах» (1920 г.). Эти записки были включены в сборники, изданные Я. Сршенем практически одновременно — в Америке («На войне», 1919 или 1920 г.) и Ружомберке («Рассказы о войне. Из дневников наших легионеров», 1919). Обе книги составлены Я. Сршенем из воспоминаний писателей, побывавших на фронтах войны. Полностью дневник Й. Грегора-Тайовского под названием «Рассказы из России» был опубликован в 1928 г. и посвящен другу — писателю Я. Есенскому, с которым он встретился в русском плену.

В свою очередь Янко Есенский, отправленный на фронт словацкими властями за панславистские взгляды и «политическую неблагонадежность», вел дневник с 1914 по 1918 г., в котором запечатлел кратковременное пребывание на фронте (с апреля по июль 1915 г.), а затем в русском плену. Впервые он был опубликован в 1933 г. под названием «Путь к свободе. Отрывки из дневника».

В отличие от Тайовского и Есенского, имена которых были хорошо известны в Словакии, для Яна Грушовского записки военного времени о пребывании на итальянском фронте стали, по сути, писательским дебютом. Призванный на войну в 1914 г., он стал вести дневник, отрывки из которого появились тогда же в журнале Е. Шолтесовой «Живена» и в рождественском приложении «Народного гласника», а также в чешских и австрийских периодических изданиях. В 1919 г. дневник вышел отдельной книгой, которая называлась «Из мировой войны».

В названных книгах воссоздан военный опыт писателей, их впечатления о том времени, которые и определили мозаичность, фрагментарность повествовательной структуры, сочетание в них документального, публицистического начала с эмоциональным воссозданием событий. Я. Грушовский подчеркивал: «...все, что я описал, — правда, даже имена солдат, которые представлены в книге, — настоящие»¹. Подлинность событий и имен сохранил и Й. Грегор-Тайовский в своих рассказах, повествующих о трагических судьбах словацких крестьян,

¹ *Hrušovský J. Stála vojna, stála...* (Jednoróčiakovo svedectvo zo svetovej vojny). Bratislava, 1971. S. 216.

ввергнутых в пучину войны. По сути, они продолжают галерею образов «маленьких людей» довоенных рассказов писателя. В отличие от Есенского Грегор-Тайовский, а еще в большей степени Грушовский довольно подробно описывают ужасы войны — фронтовые будни, жизнь в казармах, бои, горящие деревни, смерть, разлагающиеся трупы и т. п. Причем эти картины у Грушовского контрастируют с воссозданием воспоминаний солдат о прошлом, доме, родном крае с описаниями природы, звуков музыки, песен, стихов и т. п. Во всех этих книгах, которые можно назвать не только документами времени, но и документами человеческой души, писатели используют «я»-форму, при этом Есенский и Грушовский чередуют ее с «мы»-формой, подчеркивая тем самым свою причастность к событиям, принадлежность к солдатской массе. Вместе с тем эти формы повествования придают рассказам о войне особую эмоциональность, взволнованность, и читатель воспринимает их как что-то очень личное. Не случайно словацкий критик М. Хорват писал по поводу дневника Я. Есенского, что «нигде больше он (писатель. — А.М.) не был так открыт, искренен в своих мыслях и противоречиях, в силе и слабости»¹. Через несколько лет Я. Грушовский снова обратится к форме дневниковых записок. Однако на сей раз в качестве автора дневника, который он назвал «документом человечества», выступит не сам автор, а герой его экспрессионистической повести «Человек с протезом. Случай поручика Сиборна» (1925).

Главное, что хотели донести до читателя создатели книг, основанных на военном материале, — свое неприятие войны, ее ненужность, противоестественность, трагичность. «Моей человеческой обязанностью было обнажить истинное лицо войны»², — писал Грушовский в своем дневнике. Достичь желаемого эффекта писателям нередко помогают ирония, сарказм, гротеск. В частности, высмеивая псевдопатриотов и тех, кто вынужден был подчиняться абсурдным приказам, Есенский описывает эпизод, когда военное начальство заставляло солдат класть в нагрудные карманы горсти земли как символы любви к «нашей дорогой родине». Однако очень скоро от этой горстки не оставалось и следа: она превращалась в пыль, которая высыпалась из карманов, точно так же, как не оставалось и следа от былого «патриотизма» солдат, сражавшихся за чуждые им интересы. С не меньшей долей иронии рассказывает Есенский о солдатах, которые, ради спасения

¹ Chorváth. M. Doslov // Jesenský J. Cestou k slobode. Úryvky z denníka 1914–1918. Spisy IX. Bratislava, 1968. S. 225.

² Hrušovský J. Op. cit. S. 214.

собственных жизней, вынуждены были надевать маски патриотизма, покорности, послушания. В их душах жили совсем иные настроения — неуверенность, тоска, и если бы их спросили: «кто хочет идти домой, чтобы сеять, а кто хочет отправиться в Россию, чтобы убивать, то я убежден, — пишет автор, — поезд целиком вернулся бы назад»¹.

Примечателен и тот факт, что во всех произведениях на тему войны звучит мотив России. Так, Грушовский устами своих сограждан, в том числе и солдат, выражает надежду на освободительную миссию «святой матушки России»: «...все симпатии жителей Мартина были на стороне России, все ожидали, что именно русские первыми придут на нашу землю и освободят нас»². Да и сами солдаты «вступают на святую землю матушки России» с большими надеждами. Что касается русофилов Есенского и Грегора-Тайовского, то они, будучи свидетелями происходящих в России революционных событий, считали их «трагическим недоразумением» (Грегор-Тайовский), от которого «душа плакала» (Есенский).

Пребывание в России не оставило равнодушным ни одного словацкого военнопленного или легионера. Несмотря на страшные картины жизни низвергнутой в пропасть России, которые пришлось им наблюдать, многие из них сохранили самые теплые чувства к этой стране и ее жителям. К примеру, в воспоминаниях Грегора-Тайовского мы читаем: «Я этот искренний народ обожаю <...> Так близко я никогда не был к людям, как к этому несчастному крестьянину, искреннему словно дитя. Какой из него выйдет человек, когда это дитя вырастет, — этого не может знать никто, но я думаю, что из России выйдет новый человек, брат всего человечества. Столько добра в нем заложено». А Есенский с грустью писал: «Часто на нас нападала тоска по России. Ее чувствует каждый, кто покидает ее»³.

На родину Есенский возвратился только в 1919 г., пережив Февральскую, Октябрьскую революции и Гражданскую войну. Из своего пребывания в столь дорогой его сердцу России он вынес самые противоречивые чувства. С одной стороны, он испытывал чувство радости в связи с тем, что наконец своими глазами увидел страну, о культуре и литературе которой так много знал, увидел «землю Пушкина и Лермонтова», с другой — разочарование и боль.

¹ *Jesenský J. Cestou k slobode. Úryvky z denníka 1914–1918. Spisy IX. S. 29.*

² *Hrušovský J. Stála vojna, stála... (Jednoročiakovo svedectvo zo svetovej vojny). S. 194.*

³ Цит. по: *Гарбулева Л. Образ России в трудах и воспоминаниях словацких легионеров // Мифы — стереотипы — образы. Восприятие России в Словакии. С. 49.*

Поэт был в восторге от русской природы, русских обычаев (стихотворение «Русская весна»). Однако реальная, «нелитературная» действительность разочаровала его (стихотворение «Сибирская ночь»), ибо образ, который рисовался ему в мечтах, не соответствовал им. Он не мог смириться с разрушением любимой им страны, революционные события приводили его в ужас. В его воспоминаниях и поэзии того времени ощущается душевный надлом, внутренний тупик, вызванный событиями октября 1917 г. Чувства, которые он испытывал, были сродни чувствам русских эмигрантов. В стихотворении «Брест-Литовск. 30 апреля 1918 года» Есенский с горечью пишет:

Чтобы нищих не знало воинство
заботы, что поесть,
глотки набила честь,
животы расперло достоинство.

В карман затолкали
предков славу в краю разбазаренном:
каторжники восторжествовали.

Плюнуть посмели России
в лицо и душу ее искорежить,
чтобы на пашне себе полеживать,
дивясь облачкам в небесах...

От трубы до трубы
голодные полные миски носят,
для себя же знай крохи просят
державные рабы!¹

(Пер. С. Скорвида)

В стихотворении «Мертвый дом» (1918), позаимствовав у Достоевского страшный образ, поэт уже испытывает не сожаление и горечь, а гнев: «Вспоминаю и проклиная палачей живых, / что в мертвый дом превращают Россию». Однако, несмотря на глубокое разочарование и боль, вызванные тогдашним состоянием России, он никогда не переставал любить ее.

¹ Есенский Я. Брест-Литовск // Голоса столетий: Антология словацкой поэзии. М., 2002. С. 144.

Все воспоминания, дневники, произведения, написанные словацкими литераторами-свидетелями происходящих в России событий, являются интереснейшим материалом для исследования и познания образа России в период Первой мировой войны и сразу же после ее окончания. Как отмечает словацкий историк Л. Гарбулева, эта информация «представляет собой исповедь тех, кому удалось стать на определенное время наблюдателями и очевидцами того, как великие политические изменения в русской истории отражались на судьбах обыкновенных русских людей и как они переживали все это в глубине России и в российской провинции. Одновременно воспоминания легионеров являются источником, который фиксирует и доносит до нас неповторимую атмосферу времени, изменившего Россию на целые десятилетия»¹.

После Октябрьской революции отношение к России словацкой интеллигенции, в частности литераторов, было различным: одни принимали, приветствовали изменения, другие отвергали и не могли сдерживать своего негативного отношения. Равнодушных практически не было. Так, поэт П. Орсак-Гвездослав свое восприятие новой России передал в стихотворении «В осеннюю полночь» (1918), навеянном пожаром в доме в Вышнем Кубине, где он родился. Он рассказал в нем о революционных переменах в Петербурге, которые уничтожили старый мир и в результате которых «трещат троны». Выразив глубокое уважение к городу «под Полярной звездой», Орсак-Гвездослав сомневался, принесет ли революция равенство и братство народу, произрастет ли из «хаотической серости» мир правды, красоты, любви. Задавая себе многочисленные вопросы, поэт так и не находит на них ответа:

Чу! В буре мира уж трещат границы,
как старый обруч, — только развалиться,
и обода кусок промчит со стоном;
державы разлетаются — короны
с голов качаются, страдальцев хоровод,
трон — табурет, дитя перевернет...
И под звездой Полярной, где престол,
казалось, вечен... Что там? Флаг огнем расцвел
иль блуза, словно кровь?.. Закат-багрец
или восхода пламенный венец?

¹ Гарбулева Л. Указ. соч. С. 50.

Погаснет — будет день? Сгустится тьма,
не сможет бездна звездная сама
пробить ее?.. А вслед и света воевода
придет в земной предел — то солнце? — и свобода,
с ней равенство и братство? Правды царство,
лазурь, любовь за солнца свет прекрасный,
всегда в зените? Этот серый хаос
родит тот мир?
Ответь, что нам досталось,
избушка, падая! Ты призрачная мгла;
вещунья, за которой смерть пришла...

(Пер. Н. Шведовой)

Писатель М. Разус, поначалу приветствовавший русскую революцию, после революции в Венгрии и образования Словацкой советской республики категорически заявляет: «Я не верю в будущее русского коммунизма». Среди тех, кто негативно или нейтрально относился к СССР, были: Д. Маковицкий, Э.Б. Лукач, М. Урбан, И. Горват, Т.Й. Гашпар и др. Приняв участие в анкете журнала «ДАВ» под названием «Пять писателей об СССР», они не скрывали своих убеждений. Так, Э.Б. Лукач сетовал на то, что «огромная страна оплачивает свое великое будущее слишком дорогой ценой — кровью»¹.

Некоторые литераторы даже винят в случившемся литературу. В частности, как отмечает словацкий исследователь М. Куса, Й. Шкультеты, который видел в русской литературе «опору», ценил ее «служебную функцию», начинает не только противоречиво оценивать творчество некоторых писателей-классиков (Достоевский), но и отрицательно высказывается о молодых литераторах (Горький, Андреев и др.).

Негативно отнесся к Октябрю Й. Грегор-Тайовский. Однако со временем его взгляды, как и позиция Я. Есенского в отношении Советской России, менялись. В 1930-е гг. он оказался в числе самых горячих друзей СССР. О существенной разнице между положением писателей в СССР и Словакии писал Г. Вамош. Он с восторгом отмечал, что советские люди имеют «достаточно времени для чтения, так как в свободные минуты им не надо беспокоиться о своем завтрашнем дне»². С одобрением относились к переменам, происходившим в жизни

¹ ДАВ. 1931. Роџ. 4. Ї. 1. S. 10.

² ДАВ. 1933. Роџ. 6. Ї. 5. S. 73.

России, литераторы, разделявшие коммунистические взгляды и объединившиеся вокруг коммунистического журнала «ДАВ» (Я. Поницан, Вл. Клементис, Д. Окали, Л. Новомеский, П. Илемницкий, Ф. Краль, А. Сирацкий и др.). В их творчестве звучит тема Октября, новой России, Ленина.

Сказанное выше можно подытожить словами Т.Г. Масарика, писавшего в 1920 г. о тогдашнем русофильстве и об отношении к большевизму, что «тем, кто ставит в пример русские социальные отношения — прошлые и настоящие, — эти отношения совершенно неизвестны. Это можно сказать и о противниках большевизма. В лучшем случае наши социалистические русофилы удовлетворяются частичным знакомством с большевистскими программами, а выполнены ли и как эти программы — это их не заботит. Россия и ее большевизм служат абстрактным лозунгом, идеалом. В этот большевизм вкладывают все социальные чаяния, а Россия воспринимается как убедительное доказательство того, что конечная цель марксизма достижима и уже достигнута. Это иллюзия...»¹

¹ Масарик Т. Г. Указ. соч. С. 488.

Эрика Бртанёва

ОБРАЗ РОССИИ В ЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ ЯНА КОЛЛАРА

Отношение Коллара к русскому народу и русской культуре было связано с формированием его отношения к славянскому миру в целом. Друг Коллара Михал Годра в одном из своих писем называет его «певцом Славии»¹. Таким его видели и представители последующего поколения романтиков.

Именно Ян Коллар дал импульс для распространения идеи славянской общности, характерной для взглядов и творчества романтиков. О «славянской миссии» Коллара рассказывается, в частности, в литературно-историческом сочинении Йозефа Милослава Гурбана «Словакия и ее литературная жизнь». Прежде всего автор вспоминает, с каким воодушевлением начиналось изучение славянских литератур в прешпоркском (братиславском) лицее. Усилиями учеников лицея был создан рукописный сборник под названием «Чувства благодарности»² (1837), в который вошли стихотворения, прославляющие различных славянских культурных деятелей. Как считает Гурбан, по отношению к славянским народам Коллар занимал позицию защитника и адвоката,

¹ *Saktorová H. Z korešpondencie Michala Godru // Literárny archív 19/82. Martin: Matica slovenská, 1983. S. 116.*

² «Едва, например, Коллар высказал мысль о том, что славяне должны знать литературы своих родственных славянских народов и изучать их, чтобы один народ помогал и поддерживал другой, тут же прешпорская словацкая молодежь развила эту мысль и решила сочинить стихи в честь самых знаменитых писателей всех славянских народов. Из этой идеи родилась целая книга» (*Hurban J.M. Slovensko a jeho život literárny. Bratislava, 1972. S. 174*).

однако это не касалось России, по отношению к которой он испытывал небезосновательную гордость¹.

Что касается воспоминаний о России в литературном творчестве Яна Коллара, то наибольшее число упоминаний о контактах с представителями русской нации и с русской культурой мы находим в двух его произведениях: в автобиографии «Воспоминания о ранних годах жизни» (1863) и в расширенном издании поэмы «Дочь Славы» (1832)².

В автобиографии, охватывающей период жизни поэта с самого рождения до студенческих лет и его отъезда из Йены весной 1819 г., Коллар вспоминает те события и впечатления, которые непосредственно вызвали в его душе совершенно особый интерес к славянскому миру и славянской культуре³.

Впервые Коллар познакомился с русскими, когда по окончании войны с Наполеоном (после битвы под Аустерлицем в 1805 г.) русские войска проходили через его родную деревню и ненадолго остановились там на постой. Двенадцатилетнего Коллара заинтересовали тогда в гостях две вещи: веселые русские песни, которые показались ему похожими на словацкие, в также странные возгласы русских солдат, «прикрикивавших на лошадей, когда их нужно было резко остановить, не “го-го-го!”, как словаки, а “бр-р-р!”» Русских лошадей, «буйных и черных, как уголь», он видел также у торговцев в соседней деревне Клаштор-под-Зниевом.

Наибольшее впечатление на Коллара произвела встреча с казачьим капитаном Иваном Даниловым, который «одел его в военную форму, повесил ему на пояс свою саблю, дал свою пикку, посадил на коня и всячески шутил с ним». Коллар вспоминает, что благодаря этой встрече с русскими он избавился от негативного отношения к ним, очень распространенного в те годы в Венгрии: «Когда я узнал их лично, я разозлился на венгров и немцев, которые о русских и о казаках распространяют небылицы, выставляя их какими-то людоедами и дикими зверями».

¹ «Коллар — это выражение словацкого отчаяния, находящего утешение и освобождение в идее конкретного славянства. Он только физически и формально остался в Татрах, а его славянский дух пролетел над всем обширным славянским пространством: коснулся небольшого сербского народа, доказал, что душой он в Чехии, а телом — в Словакии, плакал над Польшей, гордился Россией, братался с хорватами — словом, он больше любил быть вместе со всем славянством, чем только словаком» (*Hurban J.M. Slovensko a jeho život literárny*. S. 171).

² *Kollár J. Pamäti z mladších rokov života // Kollár J. Dielo*. Bratislava, 2009; *Idem*. Slávy dcera. Lyricko-epická báseň v pěti zpěvích. Praha, 1862.

³ *Brťák R. Ján Kollár básnik a Slovan*. Bratislava: Osveta, 1963. S. 56.

Еще одно приятное воспоминание о встрече с русскими осталось у Коллара со времен его учебы в Йене. Однажды по дороге из Дрездена в Лейпциг он познакомился с русским воспитателем, который в отличие от своих подопечных — двух молодых русских аристократов по фамилии Карасевичи — сразу же проявил чувство славянского братства: «Хорошо-хорошо, мы, русские, — славяне и ваши братья». Этот ветеран Наполеоновских войн, который, как оказалось, тоже был лично знаком с казацким атаманом Иваном Даниловым, стал для Коллара первым учителем русского языка. Благодаря ему Коллар обзавелся русской грамматикой и хрестоматией Й.С. Фатера, переводил оды Ломоносова и Державина и читал «Древнерусские стихотворения». Они совместно разработали план поездки в Польшу и Россию, который, однако, не был реализован из-за недостатка финансовых средств. Нужно отметить, что за всю свою жизнь Коллар так ни разу и не побывал в России, хотя одно время, как мы можем прочесть в его письмах, даже задумывался о переезде в Польшу или Россию в связи с обострившимся национальным вопросом в Венгрии¹. Этому якобы помешало в первую очередь недостаточное знание им русского языка. Здесь необходимо вспомнить замечание Коллара о необыкновенной способности русских к изучению иностранных языков: «Достойна восхищения способность русских к изучению языков, особенно славянских. Господин Срезневский так хорошо и свободно говорил по-хорватски, словно там родился»².

Следующая заметка Коллара о России, которую мы встречаем в его «Воспоминаниях», касается императора Александра, посетившего Братиславу в сентябре 1815 г. во время Венского конгресса. В нем Коллара особенно заинтересовали непосредственность и свобода его поведения: «Русский царь Александр находился тогда в самом расцвете своих лет и ездил по братиславским улицам и окрестностям на обычных дрожках. Он вел себя приветливо и обходительно, глаза его были ясные, волосы рыжеватые». Об императоре Александре он упоминает и в поэме «Дочь Славы» (песня четвертая, сонет 39), где воспевает его победу над Наполеоном и заслуги по оздоровлению нравов в России. В своих мемуарах Коллар также упоминает сестру императора княжну Марию Павловну, с которой познакомился в Веймаре: «Мы несколько

¹ Вопрос переезда в Россию был актуален в различные периоды его жизни, например в 1849 г. Однако тогда Коллар переехал из Пешта не в Россию, а в Вену.

² *Kollár J. Cestopis obsahující cestu do Horní Italie a odtud přes Tyrolsko a Bavorsko. Pešť, 1843. S. 30.*

раз встречались на церковнославянских богослужениях в Веймаре, где у великой княжны Марии Павловны, выданной замуж за великого князя Фридриха, была своя часовня, священник и певчие».

Все эти подробности оказались в «Воспоминаниях» Коллара не случайно, ведь писались они уже в зрелом возрасте, а по прошествии нескольких десятилетий он мог отметить в них только те события, которые ярче всего врезались в его память и имели для него особое значение. Сами мемуары Коллара можно оценить и как попытку собственной интерпретации истории, но в данном случае для нас особое значение имеет то, что в них фактографически задокументированы первые контакты Коллара с русскими.

Автобиография Коллара была опубликована лишь через 12 лет после его смерти (1863), а гораздо раньше нее значительное влияние на общественное сознание оказали его поэма «Дочь Славы» (1824), в особенности ее расширенное издание (1832) с приложенным авторским комментарием «Изложение или примечания и разъяснения к “Дочери Славы”»¹. И хотя сам Коллар во введении к поэме называет поэзию, требующую подробных комментариев, несовершенной, никто из его близких друзей и коллег не возражал против такого решения. В том числе и чешский культурный деятель Франтишек Палацкий, с которым Коллар консультировался по поводу содержания некоторых сонетов². Переиздания «Дочери Славы» были приняты читающей публикой, и не только чешской, с радостью и восхищением, которые выражал, например, Адам Мицкевич, заполучивший эту книгу после долгих поисков только в 1842 г.³

Как утверждает Коллар во введении к поэме, над «Разъяснениями» он работал в три раза дольше, чем над текстом самого произведения. Он объясняет это огромным желанием дать читателю, словацкому и чешскому, полную информацию о славянском мире и таким образом

¹ Kollár J. Slávy dcera. Lyricko-epická báseň v pěti zpěvích. Pešť, 1832.

² «Извольте, пожалуйста, учесть то, что я Вам здесь пишу: последние стихи 288 сонета надо изменить так, чтобы голос вашей Славы был более значительным и проникновенным. Среди всех художников славянских Кадлик и Томашек стоят на наивысшей ступени» (List F. Palackého, 17.11.1829, miesto uloženia: Památník národního písemnictví v Prahe, fond: Kollár, Jan, sign: 14/F/16).

³ «Дождаться бы нам нового издания “Дочери Славы”! Со всех сторон спрашивают о ней, ведь она так уникальна, и это видно даже из того, что Мицкевич в Париже долго и напрасно добивался ее и, наконец, в 1842 году ему посчастливилось ее где-то достать. Не сомневаюсь, что Вы изволили прочесть то, что Вам попало в руки в декабре прошлого года» (List A. V. Šemberu, 15.04.1845, miesto uloženia: Památník národního písemnictví v Prahe, fond: Kollár, Jan, sign: 14/F/18).

хотя бы в какой-то мере компенсировать отсутствие учебников по славянской истории, стихосложению и географии¹.

И хотя новейшие исследования связывают поэму «Дочь Славы» со строительством славянского пантеона² и с основанием и развитием эмблематической этнографии³, мы сосредоточим наше внимание лишь на том, как Коллар представляет реалии русской жизни и на связи поэмы с соответствующим фактографическим материалом, указанным в «Разъяснениях и примечаниях к “Дочери Славы”».

Всестороннее изображение славянской жизни дается не только в первых трех песнях поэмы — «Сала», «Лаба, Рейн, Влтава» и «Дунай», но и в двух песнях, дополнивших поэму в расширенном издании — «Лета» (славянское небо) и «Ахерон» (славянский ад), которые Коллар посвятил отдельным народам и историческим личностям, представленным как носители национальных и моральных ценностей.

Описывая деяния героев, сыгравших положительную или отрицательную роль в судьбе славянства, Коллар высказывает свои суждения о народах и славянстве в исторической ретроспективе и современности⁴. При этом в первую очередь речь идет о том, чтобы донести до читателя отдельные сведения, порой спонтанные и случайные, из области археологии, истории, этимологии, истории культуры, литературы или языка⁵. Что касается исторических событий, то свои знания о них Коллар почерпнул прежде всего из известных исторических трудов русских (Н. Карамзин «История государства Российского») и немецких авторов (А.В. Таппе «Сокращение “Российской истории” Н.М. Карамзина...»). Помимо этого, не обошел он вниманием и более древние памятники («Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве»).

Многие описываемые Колларом исторические факты касаются российских правителей, членов правящей династии и представителей высшего дворянства. При упоминании о царе Александре I Коллар

¹ «Конечно, при нашем воспитании, как домашнем, так и школьном, мы не изучаем ни славянской истории древности, ни славянского стихосложения, ни славянской географии, ни грамматики и речи, поэтому неудивительно, что наш народ чужд сам себе, а что касается образования народа, то он предоставлен самому себе и случаю. Потому поэт в нашем народе должен быть одновременно и поэтом, и толкователем, если он хочет, чтобы его понимали» (*Kollár J. Slávy dcera. Lyricko-epická báseň v pěti zpěvích. Praha, 1862. S. 1*).

² *Macura V. Mytologie Slávy dcery // Česká literatura. Roč. 26, 1976. Č. 1. S. 37–46.*

³ *Kiss Szemán R. Slávy dcera // Slovenská literatúra. Roč. 59, 2012. Č. 2. S. 89–109.*

⁴ *Kraus C. Ku kompozícii a žánrovej podobe Slávy dcéry // Slovenská literatúra. Roč. 41, 1994. Č. 5–6. S. 415–416.*

⁵ «Кто бы мог всех прекрасных музыкантов Чехии не воспевать, а уважать?» (*List J. Kollára adresovaný F. Palackému, 25. 11. 1829 // Ambruš J. Listy Jána Kollára I. Martin, 1991. S. 93*).

в своих «Разъяснениях» останавливается на двух ключевых словосочетаниях: «Славы украшение» (украшение славянского мира) и «скипетр» (сильный властитель мира). Отдельно также обращается внимание на подробные данные о масштабах территории России.

Сей Александр Славы стал украшеньем.
В руки ему для многих стран мира
Вручен русский скипетр и порфира¹.

(«Дочь Славы», песнь четвертая «Лета», сонет 39)

Из «Разъяснений»:

Размеры Российской империи. Россия занимает большее пространство, чем вся Луна, ее территория могла бы покрыть всю ее поверхность, да еще осталось бы 123 885 квадратных миль. В сравнении с нами земли России в 19 раз больше, и это без учета морей, а если целиком, то в 28 раз больше всей нашей территории. Сравни: P. Szenicensis, Eine Stimme aus Ungarn. 1832. Hamb. S. 77: «Когда великий русский полководец Кутузов возвращался в Россию после войны с Наполеоном, то, проходя через венгерские земли и Татры, 5 декабря 1805 года он, указав правой рукой на Токайские предгорья, произнес: “Все это принадлежит древней Руси!”»

Благородный характер царя Александра Коллар рисует в рассказе об удивительном поступке Нагиды Черниковой, дочери таможенника, сосланного в Сибирь. Отважная Нагида одиннадцать недель шла пешком, чтобы через княгиню Трубецкую ходатайствовать у царя за своего отца.

Возле Глинской мой взор увидал
Еще девушку, славную видом.
«Кто она?» — «Черникова Нагида
Из Никитина», — кто-то сказал.

(«Дочь Славы», песнь четвертая «Лета», сонет 87)

¹ Здесь и далее отрывки из сонетов «Дочери Славы» приводятся в переводе Н.В. Водозова.

Из «Разъяснений»:

Нагида была дочерью Черникова, служащего таможи в городе Никитин Екатеринославской губернии. Черников был осужден по доносу одного купца из Херсона, который сообщил, что он якобы как-то подозрительно высказывался о губернском правлении. За это 13 сентября 1791 года Черникова осудили на ссылку в Сибирь, куда его отправили немедленно вместе с супругой и дочерью, не пожелавшими оставлять его одного. Они долгое время проживали в большой нужде в городе Тобольске. Потом Нагида пешком отправилась оттуда в столицу и через 11 недель путешествия через равнины и горы прибыла в град Петров. С израненными ногами она сначала явилась в дом княгини Трубецкой, которая затем и представила ее царю Александру. Он был так тронут невинностью, смелостью и красотой этой сибирячки, что сразу же послал за ним лошадей и отправил указ в почтовые ведомства о том, чтобы Черникова срочно вернули обратно. По его возвращении Александр даровал ему 4000 рублей и назначил его главой таможи на Днепре. Сравни: Christ. Niemayer, Buch d. Tugend in Beispielen V. II. Leipz. 1829.

Сведения о героических русских современниках Коллар черпал непосредственно из русской периодической печати (газета «Русский инвалид, или Военные ведомости»). Примером этого является газетная заметка о женщине, которая, будучи беременной, спасла двух тонувших детей.

Из «Разъяснений»:

Гаркова — см. «Русский инвалид, или Военные ведомости», № 10, воскресенье, 12 января 1830 года, стр. 40: «Войска Донского Мечетинской станицы казака Белоусова двое детей 11 и 8 лет, в декабре месяце 1826 года, занимаясь на речке Мечетке, покрытой льдом, игрою, провалились, и как в том месте глубины было 3 аршина, а от берега 13 сажень, то они начали утонать. Казачья жена Прасковья Гаркова, бывшая на речке для мытья белья, увидев таковое положение детей Белоусовых, не взирая на холод и беременность, бросилась к спасению их и, ломая лед, с обрезанием себе рук, вытащила их на берег, и они остались живы. Г. Управляющий Главным Штабом Его Императорского Величества довел о сем до сведения Государя Императора, и Его Величество

всемиловейше пожаловать соизволил Казачьей жене Гарковой в награду человеколюбиваго поступка ея 50 рублей ассигнациями».

Из чешской газеты «Пражске новины» Коллар взял сообщение о русском богаче Демидове. Демидов, который давал деньги нищим в Париже, но не заботился о собственных людях, оказывается у Коллара в славянском аду:

То граф Демидов был, из русских богачей.
Он восемьдесят тысяч франков, иль рублей,
Пожертвовал в Париже всяким нищим.

Чтобы дать чужим, своих лишал он пищи.
Не лучше ль прежде изобилие создать
В своей стране, потом другим уж помогать!

(«Дочь Славы», песнь пятая «Ахерон», сонет 9)

Из «Разъяснений»:

Демидов — см. Rozličnosti Praž. Nov. 1830. Čís. 28: «Благотворительность русского в Париже. Русский граф Демидов во время своего пребывания в Париже пожертвовал тамошним нищим 80 000 франков, что равняется примерно 32 000 золотых».

Свое критическое мнение в адрес русских, восторгающихся и копирующих западную культуру, тем самым обособляя себя от других славян, Коллар выразил в своем сочинении «О литературной взаимности между племенами и наречиями славянскими» (1836).

Интерес Коллара к России со временем углублялся, чему способствовали встречи с русскими учеными в Пеште (О.П. Бодянский, П.И. Кёппен, М.П. Погодин) и за рубежом (в 1846 г. в Загребе он встретился с И.И. Срезневским), а также переписка с Д.И. Языковым, П.И. Кёппеном, М.П. Погодиным.

Важной вехой в жизни Коллара стало присуждение ему золотой медали Российской академии наук (в Петербурге на заседании 12 сентября 1836 г.). В сопроводительном письме академии указывается, что медаль присуждается Коллару за его успешную работу

в области славянской филологии и особенно за его сочинение «Дочь Славы»¹.

В словацком культурном пространстве именно Ян Коллар и его труды дают начало попыткам систематического изучения русского мира и его культуры. Это подчеркивается и во все еще сохраняющем свою актуальность высказывании словацкого историка литературы Андрея Мраза, который в свое время первым серьезно обратился к теме отношения Коллара к России: «Однако масштабом не только своего интереса, но и масштабом фактических знаний русских источников Ян Коллар намного превзошел своих предшественников и на долгие десятилетия последователей, поскольку, хоть и жил в нас интерес к России, вряд ли кто в Словакии до поколения Ваянского и Шкультеты демонстрировал такие богатые сведения о русской литературе и о России и, главное, вряд ли кто использовал столько из собранных сведений в своих работах, как Коллар»².

Перевод со словацкого А.Ю. Песковой.

¹ Письмо было опубликовано Каролом Кузmani в издании «Гронка» (Hronka. Roč. 1. 1836. Č. 3. S. 79–80) в русском оригинале, транслитерированном латинскими буквами.

² Mráz A. Ruské momenty v diele Jána Kollára. Liptovský Sv. Mikuláš, 1946. S. 47.

Дана Гучкова

ОБРАЗ РОССИИ ВО ВЗГЛЯДАХ И ЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ ПОКОЛЕНИЯ ГЛАСИСТОВ*

Словацкий журнал «Глас» («Hlas») выходил в 1898–1904 гг. с подзаголовком «Ежемесячник о литературе, политике и социальных вопросах». Инициатором возникновения журнала и его идейным вдохновителем выступил чешский философ Томаш Г. Масарик, редакторами были Павол Благо и Вавро Шробар. Идейной платформой «Гласа» была полемика между учащейся в основном в Праге молодежи с консервативным центром словацкого патриотического сообщества (представленного в городе Турчианский Св. Мартин и его главным идеологом Светозаром Гурбаном-Ваянским), а также критика пассивной политики Словацкой национальной партии. Журнал имел либеральную ориентацию, с акцентом на чешско-словацкую взаимность и сотрудничество. В центре внимания были социальные проблемы, ставилась цель нравственного возрождения человека и нации, обсуждалась политика «малых дел» в народной среде, и в этом явно ощущалось влияние учения Л.Н. Толстого. В понимании искусства преобладали воспитательные аспекты, подход к литературе был идейно-социологическим и моралистическим — здесь литературным образцом также являлись Толстой и его просветительские рассказы. Именно «благодаря “Гласу” в Словакии больше всего писали о толстовстве — словацкое

* Работа была проведена благодаря поддержке в рамках оперативной программы «Исследование и развитие» по проекту: «Европейские масштабы художественной культуры Словакии» (ITMS: 26240120035), финансируемому из источников Европейского фонда регионального развития.

“tolstojovstvo” даже стало отличительной чертой культурного развития Словакии на рубеже веков, прежде всего своей гласистским “просветительством”, которое пропагандировали два словацких толстовца: Душан Маковицкий и Альберт Шкарван»¹.

Идейную линию журнала «Глас» вскоре продолжил журнал «Пруды» («Prúdy» / «Течения») с подзаголовком «Ревю “Молодой Словакии”», выходявший в 1909–1914, а затем в 1922–1938 гг. «Пруды» программно подхватили концепцию «Гласа», причем эта преемственность подтверждается и тем фактом, что их авторы и сотрудники определялись как второе поколение гласистов. Журнал стремился быть свободной трибуной демократических тенденций, но уже не был настроен столь полемически, как его предшественник. Идеологическую направленность журнала вначале задавал литературный критик и публицист Богдан Павлу. Как и в «Гласе», в «Прудах» ключевым был вопрос чешско-словацких отношений.

В концепции обоих журналов значительную роль играли идеи панславизма и славянской взаимности, хотя и в ином понимании. В этом контексте представители обоих поколений гласистов относились к России и к русской культуре, исходя из опосредованных философских и литературных импульсов вплоть до личного реального опыта.

Редактор «Гласа» Вавро Шробар

Теме русских влияний на становление своей личности Вавро Шробар посвятил несколько глав мемуарного произведения «Из моей жизни» (1946), особенно те, которые были связаны с периодом его пражского студенчества. Общеизвестно, что журнал «Глас» был персонально связан с кружком словацких студентов университета «Детван», активными членами которого были В. Шробар, Д. Маковицкий и А. Шкарван. Как вспоминал Шробар в своих мемуарах, библиотека «Детвана» получила благодаря профессорам Я. Влчеку и Т.Г. Масарику в дар от Славянского благотворительного общества (то ли из Москвы, то ли из Петербурга, Шробар этот факт оставляет под вопросом)² «большое собрание произведений избранных русских писателей: сочинения Пушкина, Толстого, Гоголя, Тютчева, Аксакова, Некрасова, Данилевского и др.

¹ *Gbúr J. Realizmus v slovenskej literature // Panoráma slovenskej literatúry II. Bratislava, 2005. S. 487.*

² *Šrobár V: Z môjho života. Praha, 1946. S. 173, 237.*

Выбор произведений носил славянофильский характер»¹. На основе такого начинания члены кружка сами усердно учили русский язык, читали русские книги, некоторые из них переводили, а о прочитанных делали доклады на регулярных собраниях. Предметом дискуссий были также их собственные литературные работы, причем существовало правило, что «участникам служили образцом великие писатели Гоголь, Тургенев, Толстой, Гончаров, Достоевский, Св. Чех, Ирасек, Врхлицкий, Арбес и другие, а Надаши указывал и на образцы мировой литературы — английские, французские и немецкие»². По словам Шробара, глубокое впечатление произвела на членов кружка, например, книга Данилевского «Россия и Европа», которая влияла на их славянское сознание, усиливала их панславизм, как и гордость за собственную национальную принадлежность: «Идея славянского единства и защиты угнетенных молодых народов воодушевляла нас своим величием»³.

Россия, однако, связывалась у них прежде всего с именем Л.Н. Толстого — доклады и дискуссии о его произведениях были довольно частыми. Шробар, например, прочел лекцию о книге Толстого «В чем моя вера», причем сам признавался: «...чтение сочинений Толстого подорвало для меня авторитет церковных учителей и интерпретаторов Евангелия»⁴. К религиозным реформам Толстого члены «Детвана» между тем относились с осторожностью или даже критически, о чем свидетельствуют опять же слова Шробара: «Философ Сметанай упрекал Толстого в гордыне и высокомерии, поскольку он будто бы выдавал себя за тринадцатого апостола Христова. Бенцур⁵ высоко ценил в Толстом художника, но его религиозные взгляды считал принижением художественной высоты. Дакснер отвергал требование Толстого полностью отказаться от мяса и напитков. <...> Душан Маковицкий был преданным и верующим толстовцем и согласно своей вере строил и свою жизнь: он жил, отказываясь от всех удовольствий и наслаждений и в совершенной аскезе. Надаши⁶, неизменный ироник и скептик, посмеивался и над Толстым, и над его учениками. Как и Бенцур, он тоже признавал в нем эпохального гения в литературном творчестве, но считал его шарлатаном в сфере философской и религиозной»⁷.

¹ Ibid. S. 173.

² Ibid. S. 157.

³ Ibid. S. 238.

⁴ Ibid. S. 221.

⁵ Матей Бенцур, настоящее имя писателя Мартина Кукучина.

⁶ Ладислав Надаши, писавший под литературным псевдонимом Еге.

⁷ Šrobár V. Op. cit. S. 223.

Сам В. Шробар свое духовное соприкосновение с Толстым считал лишь эпизодом молодости: толстовское учение отдаляло его от людей, вело к одиночеству, к сомнениям, поэтому он, наконец, «недовольный, утомленный и готовый ко всем радостям молодой жизни, отложил религиозные сочинения Толстого и больше читал Гоголя, Тургенева и других авторов»¹.

Уже из воспоминаний Шробара становится ясно, что образ России у гласистов был лишь опосредованным: Россию они воспринимали через ее литературу и культуру, через политические, философские и религиозные работы того времени. Хотя они и выдвигали определенные критические возражения (религиозная концепция Толстого, политическое бездействие России при защите малых славянских народов), но все же оставались вне реального жизненного опыта. Новый аспект в их отношении к России внесло уже личное соприкосновение с русской культурой и русскими людьми.

Толстовцы Душан Маковицкий и Альберт Шкарван

Словацкие толстовцы Душан Маковицкий (1866–1921) и Альберт Шкарван (1869–1926) встретились с учением Толстого о нравственном возрождении, будучи участниками словацкого студенческого кружка «Детван» в Праге. Их обоих привлекли идеи об истинной человечности, связанные со стремлением привести мир, который утратил правильное направление, к обновлению способности быть настоящим человеком. Об этих поисках рассказывается в мемуарах Шкарвана «Записки военного врача» (на русском — 1898, на словацком в журнальном варианте — 1904, в книжном — 1920), его дневники, а также статья «Автобиография» (опубликованная в журнале «Пруды» в 1926 г. с примечанием, что речь идет о словацкой обработке русских записей разговоров уже умирающего Шкарвана с Федором Беллавиным) и размышление «Моя перемена», опубликованное по его архивам только в 1973 г.² Духовный путь Душана Маковицкого, в свою очередь, запечатлен в «Записках из Москвы» (1891) и «У Л.Н. Толстого» (1895–1896), дополненных позже изданными дневниковыми заметками «Яснополянские записки» (по-русски — 1922–1923, по-словацки — 1924).

¹ Ibid. S. 229.

² Škarvan A. Moja premena // Biografické štúdie 4. Martin, 1973. S. 87–95.

Весьма характерно, что Душан Маковицкий, записав по возвращении из Москвы в 1890 г. свои впечатления от поездки, не опубликовал статью в «официальных» «Народних новинах», потому что те под руководством С. Гурбана-Ваянского отрицали толстовство из-за отхода от религиозной веры (он напечатал ее в журнале «Беседы», редактором которого был А. Биелек). Маковицкий приехал в Москву 6 марта 1890 г., проделав семидесятичасовой путь через Варшаву. Во время пребывания в Ясной Поляне он делал записи — ежедневные заметки, причем при их более позднем редактировании для книжного издания А. Шкарван посоветовал автору, «чтобы он опустил в них все свои взгляды, всё, что касалось Словакии, России и славянского вопроса»¹. Эти записки остались только на листочках и на словацком до сих пор вышли лишь частично.

Альберт Шкарван, который начинал с переводов произведений Толстого (наиболее значительным его переводом считается «Воскресение», 1900), воспринимал толстовство, от которого потом отошел, весьма субъективно: с одной стороны, он полемизировал с компромиссным «следованием» Толстому, как это в то время делал В. Шробар, а с другой — высмеивал «правоверных», застывших в своем почитании, к ним он причислял и Д. Маковицкого, который «тридцать лет околачивался возле творчества Толстого, не имея ни малейшего представления, о чем, собственно, идет речь»².

При воспоминаниях о пражском кружке «Детван» А. Шкарван, подобно В. Шробару, упоминает о присланных русских книгах, причем уточняет, что о последних просили сами студенты и получили их от Славянского общества в Петербурге: «Мы читали их с большим интересом, как некое откровение; глотали одну за другой. <...> И нас уже не интересовала европейская книга, ибо русская литература и русский мир для нас гораздо ближе, красивее и гораздо лучше, чем немецкие»³.

О своем пребывании в России в 1896 г., куда он приехал по приглашению друга Черткова, Альберт Шкарван писал: «Я с радостью ехал в Россию. Признаюсь, что меня, всю свою жизнь жившего в Западной Европе, в России многое удивило: фигуры казаков с пиками на границах, редкие станции, бесконечные поля и равнины. <...> В России меня удивили бородатые извозчики в длинных кафтанах, которые особым “хвостом” сметали с повозок пыль. В Туле на станции я видел

¹ Winkler T. Dušan Makovický. Martin, 1991. S. 134.

² Šmatlák S. Dejiny slovenskej literaúry IV. Bratislava, 1975. S. 219.

³ Škarvan A. Vlastný životopis // Prúdy. Roč. 10. 1926. Č. 7. S. 413.

мрачного толстовца Попова, который мне когда-то посылал книги в Прагу. Он был высокий и черный, как византийская икона. Я и впрямь испугался, увидев эту первобытную фигуру...»¹ Кроме Москвы и Петербурга он побывал и в Ясной Поляне, даже жил там целый месяц, причем свое пребывание оценивал очень позитивно: «...я приобрел неоценимый опыт и неизгладимые впечатления»².

Если поездки последователей и соратников Толстого Д. Маковицкого и А. Шкарвана относятся к 90-м гг. XIX в., события Первой мировой войны привели к тому, что в Россию, в принципе, недобровольно, как австро-венгерские солдаты, откомандированные на Восточный фронт, попали и их сверстники или младшие последователи, такие как Богдан Павлу, Янко Есенский или Йозеф Грегор-Тайовский, которые перешли на сторону русских, стали русскими пленными, а впоследствии приняли участие в чешско-словацком легионерском движении в России.

Я. Есенский и Й. Грегор-Тайовский отразили годы, прожитые в России, и в литературе: Тайовский написал «Сказки из России / Сказки о чехословацких легионах в России» (1920) и путевые заметки «Отрывки из дневника легионера» (1920), Есенский издал в 1933 г. книгу «Дорогой к свободе» с подзаголовком «Отрывки из дневника 1914–1918».

Журналист Богдан Павлу

Неким связующим звеном между вышеупомянутыми двумя видами путешествий — первоначальных поездок толстовцев и воинского странствия легионеров — являются журналистские поездки Богдана Павлу (1883–1938) в начале второго десятилетия XX в.

Богдан Павлу в 1905–1910 гг. был пражским редактором газеты «Словенски денник» («Словацкий дневник»), потом работал в редакции чешских периодических изданий «Час» («Время», 1907–1910) и «Народни листы» («Национальная газета», 1910–1914). Как раз «Народни листы» часто посылали его корреспондентом за рубеж, прежде всего в Россию. Одновременно он, однако, идейно руководил журналом «Пруды». С точки зрения словацкой литературы переломным моментом было его программное эссе «Литературные мечтания» (1907), в котором он отвергал упрощающий дидактизм гласистов и

¹ Ibid. S. 421.

² Ibid. S. 425.

подчеркивал специфичность литературы. Одновременно он отрицал консервативное славянофильство, причем новую форму славянской сопричастности видел в экономической и политической области¹. Во время Первой мировой войны он был отправлен как офицер запаса на Восточный фронт, однако в Галиче перешел на русскую сторону. В России он впоследствии вел политическую деятельность в легионах — был одним из ведущих представителей чехословацкого зарубежного сопротивления в России. Он являлся редактором легионерских журналов «Чехословак», который основал в июне 1915 г. в Петрограде, и «Ческословенски денник», выходящий в Киеве. С 1917 г. Павлу был ведущим членом отделения Чехословацкого национального совета в России. В октябре 1918 г. его назначили дипломатическим представителем чехословацкого правительства. Словацкий журналист позже превратился в чехословацкого дипломата и политика, с 1922 г. и до самой смерти был дипломатом (в 1935–1937 гг. первый чехословацкий посол в Советском Союзе).

В ноябре 1911 г. журнал «Пруды» опубликовал письмо-статью Богдана Павлу под псевдонимом Палё. Она называлась «Письмо из России» и была написана в Москве 27 октября 1911 г. Автор адресовал ее в качестве «открытого письма» другу-редактору и одновременно — читателям журнала. Сразу же во вводной части Павлу извиняется, что не будет описывать отдельные впечатления от своих поездок по России в силу многочисленности его переживаний путешественника: «Об этом нельзя было бы рассказать даже кратко, ведь я объездил всю западную половину европейской России: я был в Варшаве, в Петербурге, в Москве, в Киеве, где как раз попал на царские торжества с их трагическим концом, далее я был в Одессе, в Крыму, в Харькове, в Полтаве, на Волыни, где я, кроме чешских колоний, посетил также несколько Славянских (словацких) журналов, и в конце концов также совершил паломничество к могиле великого писателя русской земли в Ясную Поляну. Я видел разные края, и гранитные финские скалы, однообразную равнину центральной и степь южной России, и широкое Черное море, и крутые вершины Крыма; я был среди поляков, великороссов и малороссов, так что получил много впечатлений. Признаюсь тебе, что я в них до сих пор как следует не сориентировался, ибо Россия не просто огромна, она новая, незнакомая, не такая, как мы»².

¹ *Pavlů B. Neoslavizmus // Sbor'ník slovenskej mládeže 1909. Budapešť–Praha, 1909.*

² *Pal'ò [Pavlů B.]. List z Ruska // Průdy. Roč. 3. 1911. Č. 1. S. 6.*

Далее Павлу отмечает, что «трудно сейчас, собственно, понять, что думает среднестатистический словак о России»¹, однако полагает, что «большинство кроме военной силы представляет себе Россию в состоянии гораздо худшем, я бы сказал — азиатском, чем дело обстоит в действительности»². Его вывод: «Одно несомненно: в России можно найти резкие контрасты»³. Он не хочет делать обобщающих выводов, учитывая то, что «вынужден, как почти все нынешние путешественники, держаться городов и оставаться далеко от деревни, где все-таки сосредоточено ядро русского народа»⁴. Несмотря на это, он высоко оценивает русскую городскую культуру: «Но именно в так называемой городской культуре Россия на высоте. Русские театры, опера, балет и драма таковы, что сейчас подобных им нет в Европе. Я видел театр Рейнгардта в Берлине, видел в Москве Художественный театр и должен сказать, что московский театр стоит выше»⁵. По его мнению, Запад должен вдохновляться Россией, потому что «русская литература, художественная и научная, русское изобразительное искусство претендуют сегодня на мировой уровень и будут мировыми: из славянских — единственные»⁶. Позитивно воспринимаемой культуре он, однако, противопоставляет политические отношения в России, где указывает на равнодушие русской политики по отношению к малым славянским народам («политическая сила никогда не использовалась к нашей выгоде») ⁷, но главным образом — на беспорядок в административном управлении страны и на коррупцию. Эту критическую позицию он занимает вопреки своему встречному прорусскому (прославянскому) настрою: «Нужно это признать с болью в славянском сердце»⁸. В основе письма-статьи лежит характеристика современной кризисной ситуации в русском обществе, представленная как хаотическое состояние России, и ее критика, с предначертанием будущей борьбы за новую Россию. В рамках соотнесения словацких и русских отношений Павлу вновь констатирует чужеродность, отдаленность и непостижимость русского развития для словацкого и, шире, — западнославянского

¹ Ibid.

² Ibid. S. 6–7.

³ Ibid. S. 7.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid. S. 8.

восприятия, но считает, что вопреки этому отличию «нужно ближе знакомиться с русским духом. Это будет большим обогащением нашей жизни»¹.

Легионеры Янко Есенский и Йозеф Грегор-Тайовский

Янко Есенский попал на русский фронт в июне 1915 г., но уже 15 июля 1915 г. перешел на другую сторону и попал в русский плен. Он прошел лагерь военнопленных от Харькова через Тамбов вплоть до забайкальской Березовки, в марте 1916 г. оказался в Воронеже, откуда его перевели в Киев, где он стал редактором словацкого приложения к журналу «Чехослован». В 1917 г. он уже в Петербурге и является членом редакции еженедельника «Словенске гласы». Сразу после революции в ноябре 1917 г. он едет в Москву, затем в Киев и опять в Москву, где начинается мучительное странствие в Сибирь, далее через Владивосток и Японию — на родину.

Из стихов, написанных в России, Есенский составил свой второй самостоятельный поэтический сборник. Первый раз он вышел в Екатеринбурге под названием «Из стихов Янко Есенского» (1918), затем в Питтсбурге, уже под другим названием — «Из плена» (1918), и потом по возвращении на родину в Мартине (1920)². Книга эта по сути — поэтический дневник 1915–1918 гг.: создание всех стихотворений датировано и локализовано. Сборник содержит восемьдесят три стихотворения, причем концептуально он основан «...на дневниковых лирических заметках о жизни Есенского в лагерях военнопленных. В нем преобладают мотивы ностальгии по родине и жене» (Ян Гбур)³.

В сборнике чувствуется развенчание иллюзий оттого, что Россия, до тех пор воспринимавшаяся — в рамках традиционного словацкого славянофильства, культивировавшегося в Мартине, откуда был родом Есенский, — как великий славянский брат, открывается в ином виде: идеалы столкнулись с суровой реальностью. Этот момент уловил Станислав Шматлак: «Есенский выражает это уже в первых стихах сборника, написанных в Харькове, в которых обращается к России с нескрываемой горечью в голосе <...> на жестоком парадоксе новой жизненной ситуации проходит некое испытание на прочность и его давнее доверительное отношение к любимейшим русским поэтам,

¹ Ibid. S. 11.

² Обычно приводят дату «1919». — *Примеч. пер.*

³ *Gbur J. Dejiny slovenskej literatúry I. Bratislava–Martin, 2009. S. 507.*

к Пушкину и Лермонтову»¹. Примером могут быть стихотворения «России», «Земля Пушкина». «Русская весна».

Для творчества Есенского характерно, что многие мотивы он параллельно развивал и в поэзии, и в прозе, в результате чего можно понимать его поэтическое творчество как определенное эпическое отражение лирики, или наоборот — лирики как отражение эпики. Оскар Чепан в связи с этим написал:

В большинстве параллельных разработок родственных мотивов и тем, а также и при их сходном пародийном подтексте позиции поэта и прозаика разделяет различная мера тоскливого обертона, который бывает в поэзии более выразительным, чем в прозаическом варианте. По этим причинам проза Есенского — не простое переписывание поэтических тем в «нестихотворной речи», как это неоднократно предполагается. Лирический герой и эпический рассказчик временами то скрыто, то явно полемизируют, уличают друг друга в непоследовательности и притворстве в ложных (слишком чувствительных или неестественных) позициях. <...> Заметна разница между официальной и неофициальной точкой зрения автора легионерского сборника «Из плена» (1918) и создателя мемуарных записок времен сибирского анабазиса «Дорогой к свободе» (1933). <...> Во всех этих связях поэт и прозаик оказываются порой в парадоксально противоположных ситуациях. Их характер определяет мера, в какой у Есенского совпадает всё лирическое и эпическое, прозаическое и поэтическое, всё сентиментально-тоскливое и деловито-резвое².

Отдельные русские города ассоциируются у Есенского с именами великих русских писателей (Тамбов — Лермонтов, Омск — Достоевский), его исходные, домашние культурные представления наталкиваются, однако, на суровую реальность военной России. Важное негативное влияние оказывает и тот факт, что речь идет о пребывании в плену и стесненных условиях, что Есенский выразил очень четко:

Если бы я не был пленным, а ехал бы в скором поезде с полной «мошной», Россия бы мне нравилась со своей кириллицей, русской речью, фуражками, длинными папиросами, махоркой, пирожками,

¹ Šmatlák S. Op. cit. S. 494.

² Čepan O. Kontexty rozprávača v Jesenského próze // Slovenská literatúra. Roč. 29. 1982. Č. 1. S. 14–30.

белым хлебом, дешевизной во всех отношениях, постоянным чаепитием, но от того, что я тогда испытывал, с последним рублем в кармане, в вагоне для скота, в венгерском обществе, мое воодушевление не росло, а от станции к станции падало¹.

Й. Грегор-Тайовский также не перестал писать и в России, где после первоначальных перипетий военнопленного работал редактором многих легионерских газет. По возвращении с войны он издал написанную в России прозу, которая была неоднородна по уровню художественности, под названием «Сказки из России» (1920). По словам автора монографии о Тайовском Марцеллы Микуловой, «в критических условиях существования, вплоть до экзистенциальных, возникали очерки, полные сильных впечатлений, эмоций, ностальгии, печали и ужаса. Многие из них находятся на стадии эскиза, наброска, рефлексии...»² В период публикации книга, однако, не вызвала — принимая во внимание политические взгляды Тайовского (приверженец идеи единого чехословацкого народа) — достаточно широкого отклика, подобное происходило и при позднейших изданиях, в которых уже в новых условиях из цензурных соображений старались убрать критическое и отрицательное отношение автора к большевикам и к русской революции. В новые издания из-за этого не попали тексты, которые иронически изображали негативные черты русского народа («Сахар», «Новые склады») или критически оценивали другие досадные явления.

В начале обращения гласистов к России речь шла лишь об опосредованном, хотя во многих смыслах плодотворном контакте с русской философией и литературой; позже определяющим стал их личный опыт знакомства с русской средой, благодаря чему могло произойти не только усиление интереса, но и пересмотр или появление сомнений по поводу исходного отношения к России и взглядов на нее. «Могучий русский народ» (Шробар)³, знакомый лишь по книгам, вдруг материализовался в простых набожных людях, в своей коррумпированной системе или бюрократической машине.

Образ русского человека и России в произведениях членов и сверстников-попутчиков движения гласистов появляется в этом контексте у двух основных видах. Первый взгляд, исходивший из свободного

¹ *Jesenský J. Cestou k slobode. Martin, 1933. S. 41.*

² *Mikulová M. Skeptický optimista Tajovský // Paradoxy realizmu. Bratislava, 2010. S. 82.*

³ *Šrobár V. Op. cit. S. 238.*

выбора, узко ограничен пространством и прежде всего личностью Л.Н. Толстого (Шкарван, Маковицкий). В основе второго взгляда лежит вынужденное пребывание во время войны (с противопоставлением свободы и плена), в рамках которого происходило довольно резкое столкновение культурных представлений (литературного образа России) и реальности военных лет (Есенский, Тайовский). Между ними стоит объективный голос современного газетного корреспондента, который, однако, не скрывает свою идеологическую ориентацию (Павлу). В результате этих обстоятельств данный образ значительно редуцирован. Если Шкарван и Маковицкий сосредоточены только на Толстом, который является центром каждого разговора, Тайовский и Есенский, в свою очередь, ограничены пленом и военной легионерской изолированностью от окружающей жизни. В первую очередь они рассказывают о чешско-словацком сообществе легионеров, Россия их, с одной стороны, очаровывает красотой природы и добротой души русских людей, но, с другой стороны, возмущает бюрократическими отношениями, вездесущим взяточничеством и стремлением маленьких людей заработать на других, обмануть их; нервирует хаос того времени, медлительность и неподвижность. В этом смысле отношение к России сдвигается в плоскость культурно-цивилизационной встречи. Если в случае с толстовцами внутренне принятый идеал выдерживает конфронтацию с реальностью и образу России, так сказать, «не вредит», легионеры переоценивают свои «панславистские» исходные взгляды и относятся к русской реальности критически.

Вдобавок, у всех названных авторов интересно проследить способы переплетения материальной, документальной линии с линией эстетической, где важное место занимает эмоциональное переживание событий, изображение психологических и экзистенциальных состояний и лирическое видение и ощущение мира. Отдельного внимания заслуживает языковая сторона текстов, использование русизмов, языковые кальки и язык как средство характеристики персонажей и среды.

Перевод со словацкого Н.В. Шведовой.

Криштоф-Яцек Козак

ОРИЕНТАЛИСТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА РОССИЮ В СЛОВЕНСКОЙ ПУТЕВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

I

К числу новых экономических явлений, которые возникли в результате индустриальной революции середины XIX столетия и развивались исключительно интенсивно, без сомнения, относится туризм. Развитие транспортных средств сделало возможным многочисленные путешествия, о которых прежде невозможно было даже мечтать. Королева Виктория была первой монархической особой, передвигавшейся с завидной для тех времен скоростью 35 миль/час¹, однако вслед за ней эту возможность познавать мир, увидеть его собственными глазами очень скоро получили и широкие слои населения. Разумеется, это не означает, что люди стали путешествовать лишь в то время. Военные завоевания и торговля всегда основывались именно на путешествиях, и как раз к последней относилось правило: чем дальше путешествие, тем экзотичнее товары. В новое время далеко за пределы уже знакомых земель отправлялись испанские и португальские, французские и английские колонизаторы. Только позднее, во времена романтизма, путешествие (например, в Италию) стало признаком хорошего вкуса и гарантией качественного образования². И хотя эти путешествия

¹ Carr H. *Modernism and travel (1880–1940)* // *The Cambridge Companion to Travel Writing*. Cambridge, 2002. P. 70.

² Именно XIX столетие стало и колониальным столетием, ведь европейские монархии подчинили себе большую часть мира. Э. Хобсбаум утверждает, что только в период между

имели своей целью более глубокое, зачастую научное ознакомление с зарубежными странами, размах этих путешествий ввел новую «инстантную» разновидность, так сказать, *va-et-vient* современной цивилизации¹. Почти мгновенно, подобно пандемии, распространилась новая, более «поверхностная» категория путешественников — туристы. Поскольку в данной статье мы будем рассматривать не последствия колониализма, а его охранителей, следует обратить внимание на тот факт, что в связи с упомянутым ускорением развития под давлением оказалась и эпистемологическая категория: само собой разумеющееся познание, в первую очередь толкование вновь открытых стран и понимание связанного с этим все более быстро меняющегося мира.

С тех пор как в 1978 г. Эдвард В. Саид, литературовед и компаративист, палестинец по происхождению и протестант по вероисповеданию, опубликовал свою главную книгу «*Ориентализм*», взгляды на описание и толкование мира подверглись весьма значительным и глубоким изменениям. Дело в том, что в этой книге Саид с помощью заимствованного у Фуко понятия дискурса подчеркнул важную (если не главенствующую) роль литературного компонента в формировании, сохранении и распространении колониалистического взгляда на мир. В своей сути ориентализм означает для Саида гегемонистический взгляд на мир, содержащий две (несмотря на существование различных вариаций) как правило непересекающиеся между собой группы: «нас», являющихся субъектом интеракции, и «их», у которых есть право только на то, чтобы играть роль объекта этой интеракции. Саид мотивировал это не только открыто властительным поведением колонизаторов, но и гораздо более тонким, латентно эпистемологическим поведением и в других сферах, например в литературе и науке. Европейцы не скрывали, что в контактах с другими народами и их культурой (культурами) они с самого начала стремились навязать свое цивилизационное превосходство другим частям света и населяющим их народам, чего им и удалось достичь с помощью их империалистической системы. Вслед за колонизаторами на этих вновь занятых

1876 и 1915 г. четверть континентальной части мира превратилась в новые колонии. См.: Carr H. Op. cit. P. 71.

¹ Жан-Марк Моура сообщает, что знаменитые путеводители Карла Бедекера — первые «инструкции по путешествиям» на немецком языке можно было купить уже в 1832 г. См.: Moura J.-M. *Mémoire culturelle et voyage touristique. Réflexions sur les figurations littéraires du voyageur et du touriste // Travel Writing and Cultural Memory*. Ured. Alzira Seixo Maria. Amsterdam, 2000. P. 267.

территориях вскоре появились путешественники, исследователи, поставившие перед собой цель как можно более тщательно и объективно описать неизвестные области, декларировавшие намерение познакомиться, изучить и представить чужие страны собственной (европейской) читательской публике. Значение книги Саида состоит в том, что она доказала: взгляд европейцев на колонии не был реальным и открытым, а, напротив, формировал и поддерживал мифы об экзотических странах — ведь колонизаторские стремления надо было как-то оправдать, создать для них видимость неизбежности, придать налет объективности¹. Тем самым Саид обратил внимание на вопросы интерпретации огромного количества текстов, целью которых было создать объективные путевые записки или даже поделиться результатами исследовательских, научных экспедиций в колонии — на самом деле они вызвали одно лишь усиление различий между этими мирами. Последствием открытия новых пространств и восхищения их необычностью, указывает Саид, является то, что мифы об экзотике, если прежде не существовало описаний мифических земель, распространяются и вводятся в литературу. Поскольку в своих доказательствах Саид опирается на мусульманский Восток, являющийся наиболее ярким и хорошо известным ему примером, который он может комментировать непосредственно, то наименование процесса возникновения такого рода мифов и дискурс их сохранения он заимствует у ориентализма. Таким образом, исходной точкой у Саида является убеждение, что Восток, который мы видим в путевых очерках, литературных произведениях и даже в научных исследованиях, на самом деле является не Востоком, а ориентализированным изобретением самой Европы². В реальности ориентализм является «системой европейских или западных знаний о Востоке» и неотделим от реальной силы колонизаторов, вследствие чего он становится «синонимом европейского господства на Востоке»³. Таким образом, ориентализм становится собирательным понятием для характеристики отношения Запада к Востоку. Кэмпбелл называет его «общей идеологической

¹ В подтверждение своей мысли Саид цитирует слова Барта из «Мифологий» о том, что «миф и его продолжения непрестанно создают самих себя». См.: *Said E.W. Orientalizem. Zahodnjaški pogledi na Orient*. Ljubljana: ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 1996. S. 379. (Рус. пер.: *Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока*. СПб., 2006. 637 с.)

² *Ibid.* S. 11.

³ *Ibid.* S. 248.

перспективой»¹, что само по себе является «соотношением сил, доминированием»² европейской гегемонии. Тем самым ориентализм раскрыл свою суть как существенного политического инструмента Запада, обратил внимание на «политическое видение действительности»³ вместе с литературой и научными исследованиями, являющимися его верными слугами. Европейская агрессивность, сопровождающая толкование новых миров, совпадает с еще одной дополнительной особенностью, повлиявшей на ориентализм, которая заключается в пассивности колонизированного Востока. Восток как более слабая сторона не сопротивлялся Западу и не указывал тому на повторение стереотипных суждений. Вследствие этого европейская идеология, политика и логика с позиции силы все больше укреплялись, поскольку становились все более само собой разумеющимися⁴.

В настоящем исследовании нас прежде всего интересуют путевые очерки и их различные разновидности. Мы не будем рассматривать литературные произведения, темой которых являются путешествия (например, «Одиссея», «Песнь о Роланде», «Отелло», «Дон Кихот», «Робинзон Крузо» или «Путешествие Чайльд-Гарольда» — мы привели лишь некоторые из наиболее выразительных примеров), ибо в них исходной точкой являются художественные (хотя иногда и не менее ориенталистические) принципы; рассматривать мы будем путевые «сообщения» и даже туристические заметки. Как указывают Петер Хульме и Тим Юнгз, эта разновидность литературы носит репортажный, эмпирический характер. Таким образом она описывает то, что корреспонденты заметили и испробовали, «посетили и видели собственными глазами». Речь идет об эмпирической сфере постижения, не допускающего в силу своей природы ни малейшего сомнения в собственных познавательных возможностях и оптимистически названного Ф. Бэконом «новым континентом истины»⁵, каковым он, как доказал Саид, все-таки не является. Проблем с путевыми очерками — с данного момента мы будем употреблять этот собирательный термин — имеется немало. Несмотря на то что их авторы стремятся

¹ *Baine Campbell M.* Travel writing and its theory // *The Cambridge companion to travel writing*. Cambridge, 2002. P. 262.

² *Said E.W.* Op. cit. S. 17.

³ *Ibid.* S. 62.

⁴ *Ibid.* S. 39ff.

⁵ *Hulme P., Youngs T.* Introduction // *The Cambridge Companion to Travel Writing*. Cambridge, 2002. P. 4.

к беспристрастному и объективному описанию увиденного, нужно сознавать, что каждое миметическое усилие, каждое описание по сути своей является фикцией. Не только потому, что, описывая пережитое, два человека не станут описывать одно и то же одинаково. Разница является не поверхностной, но структурной, глубинной, поскольку изображение, по существу, необходимо удалено от действительности. Поэтому вопросы, возникающие при изучении путевых очерков (путевых дневников), адресуются скорее к мета-сообщению, имманентным элементам силы, знания и идентичности, чем к самой сути описываемого¹. Таким образом, нужно прежде всего сознавать, что описания путешествий обязательно содержат обобщения; речь идет о синекдохическом описании по принципу репрезентативного образа, действующего в двух направлениях: в одном случае описание является партикулярным, т. е. потенциальной дедукцией, в другом — изображение оказывается обобщенным, предполагающим обратный преувеличенный процесс индукции. Место, где в указанных экзегетических процедурах теряется сама действительность, можно определить без труда. Далее, в путевых очерках нужно отметить еще одну особенность, впрочем характерную для всех видов литературы, но в данном случае она особо подчеркнута: это индивидуальность стиля и субъективность взгляда. Путевые очерки это свойство особенно выделяют, считая его собственной призмой наблюдателя, сквозь которую видна объективная реальность. В качестве иллюстрации П. Хулме приводит путевые очерки английских джентльменов, проживших всю свою жизнь среди «примитивных народов»², эти заметки часто бывают дополнены социополитическим анализом³, в рамках которого они часто описывают свои путевые впечатления с «духовной беззаботностью»⁴. Следует обратить внимание на то, что таким образом корреспонденты, вместо того чтобы привести фактографический материал, дают волю собственным (креативным) фантазиям, желаниям и проекциям и, таким образом (на это неоднократно обращает внимание Саид), гораздо больше говорят о себе и своем мире, чем о чем-либо другом⁵. В пристрастности таких описаний особенно сомневаться не приходится.

¹ *Baine Campbell M.* Op. cit. P. 263; *Said E. W.* Op. cit. S. 35.

² *Hulme P.* *Travelling to Write (1940–2000)* // *The Cambridge Companion to Travel Writing.* Cambridge, 2002. P. 88.

³ *Ibid.* P. 94.

⁴ *Ibid.* P. 87.

⁵ *Said E. W.* Op. cit. S. 19, 25.

В конце концов, эти операции дают ожидаемый результат: вместо того чтобы Запад действительно открылся навстречу Востоку и начал его познавать, он демонстрирует лишь свою (иную) идентичность, в результате чего оба, как говорит Кине в своем «Духе религий», только свидетельствуют о своей судьбе¹.

Приведенные соображения касаются как исследовательских работ, так и путевых очерков и художественной литературы и — в еще большей степени — позднейших туристических заметок. Для последних характерно то, что они написаны без особенно глубоких исследовательских амбиций, ведь в большинстве случаев они создаются на основе довольно поверхностных контактов, возникающих во время кратковременных путешествий. Естественно, возникает вопрос, что могут сказать нам о стране столь эклектически собранные впечатления? Какую познавательную ценность имеют эти беглые впечатления, если даже по отношению к гораздо более серьезным текстам (путешественников, ученых) можно доказать, что их авторы не смогли отказаться от субъективного, прежде всего европоцентристского видения? Нужно обратить внимание и на то, что, несмотря на различную степень достоверности текстов, всем запискам о других цивилизациях и культурах, даже если некоторые из них написаны на основе длительного пребывания в стране, присущ один (необходимо ограниченный) хронотоп. Око автора — как своеобразное «око» камеры — имеет свои ограничения: с точки зрения феноменологии оно может видеть и фиксировать лишь явления определенного момента или определенного времени. Разумеется, это ограничение не уменьшает значения путевых очерков, вспоминать об этом необходимо прежде всего тогда, когда на основе таких произведений формируются обобщающие аксиологические выводы. Возникает вопрос, какого рода мнение можно составить о стране на основе пребывания в ней в течение нескольких дней или даже нескольких месяцев?

II

Путевые очерки относятся к литературному жанру, популярному в крупных империалистических странах, к числу которых Словения не относится. Поэтому кому-то может показаться удивительным факт, что словенской культуре тоже не чужды описания путешествий.

¹ Ibid. S. 177.

Необходимо признать, что путевая литература возникла в рамках иной, более крупной политической формации, однако связана она со Словенией. Первым в истории примером такого рода считаются записки «*Rerum Moskoviticarum Commentarii*» (словенское название — «Московские записки»), описывающие два путешествия в Россию барона Сигизмунда Герберштейна (1549)¹. Впервые он посетил Россию в качестве посланца императора Священной Римской империи Максимилиана I в 1517 г. (пробыв там в течение девяти месяцев), второе путешествие совершил в 1526 г. и задержался в России на длительное время. Свои впечатления о пребывании в России в 30-е гг. XVI в. он изложил в своих знаменитых комментариях.

Путевая литература получила развитие в Словении главным образом во второй половине XIX столетия (Я. Кос упоминает литературные путевые очерки Ф. Эрьявца, Я. Менцингера, Ф. Левстика и др.²). Значительное внимание путешественников, как и прежде (хотя уже по иным причинам), привлекала Россия. Она была самой большой и действительно самой сильной славянской державой и поэтому являлась воплощением объединительных устремлений многих славян, мечтавших о политической независимости. В Словении также, как и в других странах, первоначальная идея славянской взаимности, согласно которой Россия может стать опорой всего славянства, была очень сильна. К числу «главных глашатаев русофильских устремлений в Словении» относятся Фран Целестин и Фран Подгорник³, кроме того, следует хотя бы упомянуть Матию Мурко и Даворина Хостника⁴. Однако мы

¹ *Herberstein Ž. Moskovski zapiski. Ljubljana, 1951.*

² *Kos J. Anton Aškerc kot potopisec // Aškerc A. Med Turki in Rusi. Celje, 2006. S. 9.*

³ *Boršnik M. Aškerčev odnos do Slovanov (ob stoletnici pesnikovega rojstva) // Slavia 25.04.1956. S. 594.*

⁴ Целестин отправился в Петербург и Москву в 1869 г., затем приблизительно между 1870 и 1872 гг. стал преподавателем гимназии во Владимире и Харькове. В 1872 г. в первом выпуске «Листков», которые редактировал Й. Юрчич, опубликовал «Письма из России» (стр. 79–107). В том же году он вернулся в Вену, а в 1875 г. в Любляне издал книгу «*Russland seit der Aufhebung der Leibeigenschaft*» («Россия после отмены крепостного права»).

Публицист Ф. Подгорник был сторонником перехода славян на единый язык. В 1879 г. в «Славянском альманахе» он опубликовал статью «О литературных языках вообще и общеславянском литературном языке особо», в которой утверждал, что «с точки зрения перехода к общеславянскому языку русский язык кажется наиболее пригодным» (см.: «*Slovenski biografski leksikon*»).

М. Мурко отправился в Россию в 1887 г. и провел там полтора года в качестве стипендиата Венского университета. В 1889 г. он опубликовал в семи номерах журнала «Люблянски звон» воспоминания и впечатления под названием «В российской провинции».

оставим в стороне эти записки о России и рассмотрим один из ключевых текстов, посвященных России, — путевые очерки словенского священника, поэта Антона Ашкерца, которые он под названием «Две поездки в Россию» опубликовал в 1903 г. в журнале «Люблянски звон», а затем они вышли отдельным изданием. Ашкерц много путешествовал, в частности в 1893 г. совершил путешествие в Константинополь¹. В России он побывал дважды: в 1901 г., когда посетил северные края — Петербург, Москву и Киев, и год спустя, когда странствовал по южным городам (Одесса, Севастополь, Ялта, Керчь, Батуми, Тбилиси (Тифлис), Владикавказ и т. д.). Принципы, на которых базируются путевые заметки Ашкерца, настолько нетипичны, что именно поэтому мы и приглядимся к ним внимательно в свете тех теоретических предпосылок, которые обычно применяются при рассмотрении путевой литературы.

Ашкерц отнюдь не был богат, но являлся представителем среднего класса, благодаря развитию транспортных средств получившим возможность путешествовать². В июне 1898 г. он занял должность архивариуса люблянского городского архива и, таким образом, стал государственным чиновником³. Уже в первом описании своих путешествий он сообщает, что уже в молодости мечтал увидеть Россию: «Только встрече с Константинополем и Римом я радовался так, как радовался встрече с Москвой, с Москвой — еще больше, ведь она наша, славянская!»⁴ И эта его мечта позже осуществилась. В свое время Ашкерц

Д. Хостник был автором первого «Карманного русско-словенского словаря с краткой грамматикой русского языка» (Горица, 1897). Его «Словенско-русский словарь» и «Грамматика словинского языка» вышли соответственно в 1901 и 1900 гг. В 1879 г. он переселился в Россию, где преподавал в гимназиях Борисоглебска и Рильска. Умер в России в 1929 г.

¹ Интересно, что первое опубликованное в 1880 г. стихотворение Ашкерца называлось «Три путешественника».

² Я. Кос говорит даже о «скромном существовании сельского капеллана и чиновничьей выучке городского архивариуса» (см.: *Kos J. Op. cit. S. 15*). О том, что поездка Ашкерца в любом случае была подвигом путешественника, можно заключить исходя из того факта, что туризм в Югославии не был массовым явлением даже в 20–30-е гг. XX в. (см.: *Sobe N. W. Slavic Emotion and Vernacular Cosmopolitanism // Turizm: The Russian and East European Tourist under Capitalism and Socialism. Ithaca-London, 2006. P. 93*).

³ Решение Ашкерца отправиться в путешествие можно было бы истолковать даже как протест против австро-венгерских властей. В своих путевых очерках он говорит о том, что «австрийские государственные чиновники славянского происхождения даже сейчас не решаются совершать путешествия в Россию» по той причине, что эти «*Moscaupilger*» (московские пилигримы, см.: *Aškerc A. Dva izleta na Rusko // Aškerc A. Med Turki in Rusi. S. 73–180*) могли бы иметь на службе серьезные неприятности из-за своего декларированного славянофильства (*Ibid. S. 176*). Эта открытая антипатия, как свидетельствует сам поэт, уже утихла ко времени его поездки в Россию.

⁴ *Aškerc A. Med Turki in Rusi. S. 94*. Все приводимые здесь цитаты взяты из публикации «Среди турок и русских».

считался самым горячим сторонником наиболее широко понимаемого «экуменического» панславизма и славянского братства, что в начале XX столетия, в эпоху модерна, с учетом угасания в Европе идеи всеславяинства, казалось почти анахронизмом. Вместе с тем, как утверждает Мария Боршник, Ашкерц был у других славянских народов наиболее известным, наиболее переводимым и выше всего оцененным словенским поэтом¹. Он был убежден, что «все славяне — один род, одна семья², и внес свой вклад в укрепление славянского единства. Редактируя в 1899 г. раздел художественной литературы журнала «Люблянски звон», а в 1900–1902 гг., будучи его главным редактором, Ашкерц прилагал очень большие усилия для того, чтобы «Люблянски звон» «широко распахнул двери в славянский мир»³ и достиг своей цели. Его исключительная симпатия к России проявилась также в том, что в 1901 г. вышла «Русская антология в словенских переводах», редактором которой он стал после смерти ее составителя Ивана Весела и для которой перевел более 120 стихотворений⁴.

Уже эти подробности позволяют предположить, что Ашкерц отправился в страну своей мечты как человек, обожающий ее без малейшей доли критицизма и — хотя бы теоретически — желающий панславянского единения с нею⁵. В соответствии с утверждениями Хульме, английские путешественники отправлялись на поиски «народного» и «примитивного»⁶; путешествие Ашкерца основывается на подобных аркадийских импульсах, и все-таки у него несколько другой характер, оно опирается на идеалистический поиск (почти кантовского) ощущения возвышенного и на экспрессивный, эмоциональный панславизм. Как бы то ни было, Ашкерц не исследователь, а скорее путешественник, может быть — турист⁷. Он заботился о согласованности цели и

¹ *Boršnik M.* Op. cit. S. 594.

² *Ibid.* S. 691.

³ *Ibid.* S. 599.

⁴ *Ibid.* S. 600.

⁵ Интересно, что именно этот факт подчеркнула М. Рыжова в своей статье по поводу столетия со дня рождения Ашкерца в московском журнале «Славяне» (1956, 1/50–51). Франце Добровольц цитирует ее слова о том, что Ашкерц «ездил по России не как обычный путешественник, жаждущий новых впечатлений от незнакомой ему страны, а как человек с горячим славянским чувством, который, тем не менее, путешествовал с открытыми глазами» (см.: *Dobrovoljc F. Odmevi stoletnice Aškerčevega rojstva pri Rusih in Bolgarih // Aškerčev zbornik: ob stoletnici pesnikovega rojstva. Celje, 1957. S. 183*). Можно легко понять, что для Советского Союза в 1956 г. это, разумеется, было ключевым моментом.

⁶ *Hulme P.* Op. cit. P. 88.

⁷ Такую точку зрения подтверждает и Я. Кос, который пишет об Ашкерце: «С этой

путевого очерка и тем самым — о достоверности, ведь он несколько раз пишет о том, что у него не было серьезных амбиций при описании своих путевых впечатлений. Так, он утверждает: «Как я уже говорил, <...> туда (в Россию. — К.Я.К.) я дважды всего-навсего съездил на экскурсию». Именно поэтому он собрал лишь «поверхностные описания <...> двух [своих] кратких путешествий, занявших приблизительно восемь недель», и рассказывал «только о том, что он сам видел, сам пережил»¹. Наряду с этим более чем справедливым вводным замечанием по поводу ограниченности своих очерков Ашкерц включает в свой текст еще один *caveat* — замечание о том, что «тот, кто хочет подробнее познакомиться с Россией, должен совершить путешествие туда сам»². Читатели, в том числе и критики, прочитавшие эти строки, воспринимали его очерки как объективные свидетельства. В своей краткой рецензии на книжную публикацию русских путевых дневников Ашкерца Фран Збашник писал в 1904 г. в журнале «Люблянски звон»: «Следует подчеркнуть, что эти заметки написаны с достойной восхищения объективностью и, несмотря на это, несут на себе печать авторской индивидуальности»³. Иными словами, Ашкерц гарантировал, а Збашник подтвердил, что эти гарантии реализованы и мы видим перед собой объективную действительность, нарисованную субъективными средствами.

Однако, несмотря на декларируемые Ашкерцем принципы, вопрос об объективности изображения пусть хоть и братской, но все-таки чужой цивилизации и культуры остается. Ашкерц ни в коей мере не пишет «путеводителей», в которых бы читатели получали дополнитель-

стороны, он кажется очень практичной, все планирующей и даже прозаической личностью, туристом, тщательно просчитывающим свои шаги и не поддающимся соблазнам увлечься случайными непредвиденными приключениями и беспредметными прогулками» (см.: Kos J. Op. cit. S. 15). Последнее тоже могло бы оказаться для путешественника значимым. Путевыми очерками Ашкерца занимался Боян Баскар, который оценил их как «привычные, туристические, однако не всегда такие» (*Baskar B. Načini potovanja in orientalistično potopisje v avstro-ogrski provinci. Primer Antona Aškercarja // Glasnik Slovenskega etnološkega društva* 48.3–4.2008. S. 27).

¹ Aškerc A. Op. cit. S. 78. Э. Карр считает, что субъективная форма относится скорее к воспоминаниям, чем к справочникам, по этой причине она отходит от реалистического и приближается к импрессионистическому стилю (см. Carr H. Op. cit. P. 74) и тем самым — к романтике.

² Ibid. Именно об этом «взгляде туриста» говорит также Ноэ В. Соуб, трактуя его как «дисциплинарное распределение предметов познания через призму видения и видимости» (*Sobe N. W. Op. cit. P. 84*).

³ Zbašnik F. A. Aškerc: Dva izleta na Rusko; Črtice popotnega dnevnika // Ljubljanski zvon. 1904. S. 53.

ную информацию, — субъективность подхода ничуть не уменьшает ценности его путевых описаний. Обнаруживается, что на уровне сообщения читателям, по сути, нет дела, является ли прочитанный ими текст результатом длительной работы или фиксацией мимолетного впечатления — они доверяют (или не доверяют) автору определить, имеет ли факт только когнитивную, а не онтологическую ценность, а также то, сколько в тексте (бес)пристрастного. Для этнологического исследования, например, особенно значимо то, что нужно посвятить себя другому до той степени, чтобы познать его, всесторонне описать во всех жизненных ситуациях¹. Различие между иностранным и отечественным можно описать только с помощью выявления не-идентичности первого с последним, иностранную культуру нужно описывать именно как иностранную. Не-идентичность же означает инакость, которая всегда несет в себе предзнаменование несходства и, следовательно, в процессе познания априори осуждена на аксиологически менее значимое положение. По правде говоря, Ашкерца на основании некоторых имеющихся в тексте высказываний можно было бы упрекнуть в гораздо более острой нетерпимости. В путевых очерках можно обнаружить очевидные проявления антисемитизма², а также расизма³, которые трудно было бы причислить даже к крайним формам ориентализма⁴, ибо они значительно превосходят их по силе содержащейся в них нетерпимости. Однако в данном случае нас интересуют гораздо менее острые, временами даже прикрытые конструкции, которые придают путевым очеркам Ашкерца о России ориенталистический характер. Одно из ключевых отличий в экзегезе мира является различие между чистым знанием и политическим⁵, в силу чего примечателен и вопрос о сознательной политизации, точнее, о политическом использовании знания, ибо на рецепцию путевых очерков Ашкерца ни в коей мере не влияет его совет о том, что в тексте надо прежде всего видеть литературу, поскольку «из произведения [“Война и мир”] узнаешь больше, чем из исторических книг, написанных учеными»⁶. «Подроб-

¹ *Krysinski W. Voyages modernes et postmodernes: mythe ou réalité des déplacements cognitifs // Travel Writing and Cultural Memory. P. 27.*

² См. утверждения на стр. 171, 173 и 177 (*Aškerc A. Op. cit.*).

³ *Ibid. S. 148.*

⁴ На то, что речь идет не о спорной и случайной связи двух концептов, в эпоху романтизма обращал внимание уже Ф. Шлегель, утверждавший, что в расизме язык и раса фундаментально переплетаются между собой. См.: *Said E. W. Op. cit. S. 129.*

⁵ *Ibid. S. 21.*

⁶ *Aškerc A. Op. cit. S. 102.*

ности повседневности» находятся слишком далеко от того «важнейшего основополагающего факта», что Европа и Восток являются противниками¹ и, как бы то ни было, изменить это положение невозможно. А это уже политический факт.

III

Ориентализм является выражением «культурного господства»², которое имплицитно влечет за собой и господство цивилизационное, точнее говоря, различия между Ориентом и Окцидентом здесь выявляются наиболее остро. Изображение Востока происходит на уровне представлений о тех его особенностях, которые в большой степени отличаются от характерных черт Запада. Разумеется, с теоретической точки зрения возможно — и это декларируемая цель описаний Востока, — чтобы познание его инакости усилило ощущение связи и близости Запада с Востоком, однако обычно результат является противоположным. «Каждый европеец [выступил] в своих высказываниях о Востоке расистом, империалистом и почти всегда стоял на позициях этноцентризма»³. Подобного рода дискурс отнюдь не усиливает понимания, а ведет к подчеркиванию различий, которые — по очередному наблюдению Саида⁴ — в реальных империалистических условиях служили оправданием колониальных властей. Дело в том, что сообщения о Востоке «замораживали» его хронотоп, останавливали его, всячески препятствовали его развитию, тем самым ликвидируя возможность сближения.

Куда же мы можем включить обожание, которое испытывал Ашкерц по отношению к России? С одной стороны, отношение автора к России определяет его высказывание: «Еще будучи студентом, я часто мечтал о Кавказе и Тифлисе — и теперь неужели я в самом деле здесь? Да. Почти все дома имеют западное лицо, но это все-таки не Запад, все говорит мне: “Ориент!” Лица, одежда, речь — восток!»⁵ Действительно, мы бы могли это, как и другие, высказывание понимать как апофеоз инакости или как одновременное возвеличивание Запада, что свидетельствует о проблеме валентности иного мира. У Ашкерца речь идет

¹ *Said E.W.* Op. cit. S. 24.

² *Ibid.* S. 39.

³ *Ibid.* S. 256.

⁴ *Ibid.* S. 64ff.

⁵ *Aškerc A.* Op. cit. S. 139.

не об экзотике, которая привлекает лишь своей нецивилизованной инакостью, а о восхищении, которое могла бы вызывать одна лишь мифическая Аркадия. Разумеется, не стоит отрицать присутствия и экзотики, однако Россия у Ашкерца имеет совершенно иной характер: она достаточно удалена, так что его не касаются ее проблемы, является в достаточной степени братской, чтобы производить впечатление родной, и достаточно инспиративна, чтобы казаться романтической и даже сказочной. Познание ее, хотя оно и не всегда приятно, заслуживает любых усилий¹.

Итак, если задать себе вопрос, каковы отправные точки отношения Ашкерца к России и — как следствие — к Востоку, следует отметить, что им противостоит не один лишь классический Запад. Основное ориенталистическое деление² — это различие между «нами» (европейцы, западники, представители «самой благородной человеческой расы»³ и «ними» (жителями Востока, представителями восточного мира, в той или иной мере неразвитыми и поэтому консервативными). Вместе с тем у Ашкерца это деление является трехчастным: с одной стороны, мы все еще «мы», однако это «мы» раздроблено и значительно уменьшено. По отношению к самому себе автор обнаруживает четко выраженную идентичность (словенец), однако из перспективы больших народов эта идентичность оказывается стертой и колеблется между словенцами, другими югославянами и, в-третьих, славянами Австрии. В зависимости от необходимости Ашкерц видит словенцев как во всеславянском, так и в австрийском (западном) сообществе, поэтому их — в соответствии со взглядами автора — сложно рассматривать как независимое неизвестное в национальном уравнении. «Они» в случае с Ашкерцем являются не Востоком, а Западом, которому, как козлу отпущения, автор приписывает большую часть плохих, в том числе и империалистических свойств (в эту группу он, например, включает австрийцев, немцев, англичан). Третьей составляющей таксономии Ашкерца является Россия, точнее — русский народ. Если бы это было возможно, русские бы стали «великим “мы”», однако проблема в том, как неоднократно

¹ Ашкерц в одном из отрывков пишет, что в Италию, Швейцарию он отправляется как обычный человек, а «в Россию, прежде всего, как словенец, как славянин» (Aškerc A. Op. cit. S. 77), а в другом — утверждает, что «швейцарские горы импозантны, но Кавказ их превосходит» (Ibid. S. 108). Поэтому он не намерен еще раз посетить первые, хотя «путешествие по России отнюдь не является таким приятным, как путешествие по Апеннинскому полуострову или Швейцарии» (Ibid. S. 77).

² Ср.: Said E. W. Op. cit. S. 75.

³ Ср.: Aškerc A. Op. cit. S. 148.

сожалеет Ашкерц, что с ними невозможно полностью идентифицироваться.

Речь идет даже не о том, что автор сам не может идентифицироваться с «великим братом», а о том, что сами русские не обращают внимания ни на самих словенцев, ни на остальных славян. Поскольку одна из сторон не стремится к сотрудничеству, проблема идентификации, по сути дела, является нерешаемой.

Следовательно, Ашкерц не придерживается обычного дихотомического деления в том числе и потому, что не может рассматривать ни одну из сторон с безусловных позиций. Триединство позволяет Ашкерцу выбрать у каждой из сторон то качество, которое ему в данный момент больше подходит, и отвергнуть то, что ему меньше нравится. Такое рассмотрение различий приводит к употреблению двойных стандартов. Услышав вопрос молодой русской девушки о том, почему он путешествует по России, автор пишет: «О, святая простота! — подумал я и ответил ей: — Для того, чтобы видеть ваши края и ваши народы, слышать ваш братский русский язык и учиться правильно произносить русские слова»¹. Но в принципе этот интерес не является таким уж невинным. Ашкерцу действительно импонирует русская культура, что вначале выглядит вполне корректным. Однако когда он путешествует по Грузии и кавказским землям, у него возникает следующая мысль: «Да, русские много сделали для общей европейской культуры на Кавказе, здесь, на границе так называемой Азии. Это признают даже немцы и англичане. Докуда простирается власть России, дотуда доходит и современная цивилизация. Под эгидой русского орла европеец чувствует себя в безопасности и в Центральной Азии»². Совершенно неожиданно идеалистически воспринимаемая русская культура продвинулась в империалистическом направлении и приобрела форму цивилизаторской гегемонии над Востоком. Край, который является диким и непредсказуемым и потому отталкивающим, теперь, под влиянием русских властей, становится знакомым и приемлемым для европейца³. Нет ни малейшего сомнения в том, что мы встречаемся здесь с характерным принципом ориентализма: по сути дела, завое-

¹ Ibid. S. 170.

² Ibid. S. 141–142.

³ Особенно значителен для описания таких чувств следующий отрывок из очерков Ашкерца: «Но если ты идешь по грузинскому кварталу Авлабар, особенно по той его части, где находятся базары и купальни, ты в Азии. Улицы узкие, не мощеные. Грязь и смрад, куда ни глянь» (Ibid. S. 144).

ванные, побежденные народы и их культуры должны быть благодарны «нам» за то, что «мы» хотим осветить их лучом нашей цивилизационной миссии, у которой только одна цель: изменить «их» в соответствии с «нашей» (культурной) моделью¹. Вероятно, подобное заключение может показаться слишком грубым, но в таком случае мы должны задать себе вопрос о подлинной цели путешествия Ашкерца. Состояла ли она в том, чтобы действительно и до мелочей познать сившиеся во сне экзотические края? Продолжение цитаты подкрепляет это сомнение: «Весь этот культурный прогресс совершается во всех, так мало знакомых нам, западникам, ориентальных землях под знаком славянского русского духа. Наш братский русский язык является той душевной связью, которая объединяет все эти, столь чуждые нам, народы в новую семью»². Эквилибристика, которую в данном случае позволяет себе Ашкерц, поистине удивительна. Он простодушно признается, что нам, западникам, ориентальные земли известны мало. И тут же указывает, что они заслуживают большего внимания только потому, что являются объектом приложения цивилизаторских усилий русской культуры, которая их (это значит «не нас», потому что мы представители западной культуры), чуждых нам ориентальцев, — превращает в нашу «новую семью».

Последствием этого урегулирования становится то, что «все эти разнообразные народы чем дальше, тем больше в политическом и культурном отношении приближаются к русским. Образованные люди всех этих восточных народов говорят и по-русски»³. В данном случае позиция Ашкерца является откровенно колонизаторской.

У него нет необходимости ссылаться на объективность своего подхода, который является глубоко ориенталистическим: он готов принять чужую страну, но она должна быть полностью перестроена в соответствии с западноевропейскими стандартами:

Какое оживление царит возле закавказской железной дороги! Сразу же чувствуешь, что ты на Востоке. Грузины, армяне, евреи, курды, татары, персы и представители бог знает еще каких национальностей толпятся рядом с поездом. Среди этих восточных людей уверенно идет наш брат русский и ведет вперед всю эту пеструю толпу энергично и тактично,

¹ Осознание того, что отношение к этим частям света не изменилось и в наши дни, вызывает тягостное чувство.

² *Aškerc A. Op. cit. S. 142.*

³ *Ibid.*

без лишнего шума. Русские, без сомнения, в значительной степени обладают английским организаторским талантом, если сказать точнее: с восточными людьми русские умеют обращаться лучше, чем британцы, поэтому добились таких успехов...¹

Коронный аргумент этих размышлений автор выражает в следующем утверждении: «Русские превратили Кавказ в культурную страну и навели порядок»², который, разумеется, является «нашим» порядком³. Только тот мир, который будет развиваться по правилам «нашего» порядка, «нашей» культуры, будет миром, соответствующим нашим требованиям. Семантический ключ для понимания этого отрывка нужно искать именно в том факте, что Ашкерц не осознавал глубинной пристрастности своих размышлений (однако следует признать и то, что тогда еще не наступило время, когда было возможно осознать эту пристрастность)⁴, но можно утверждать и прямо противоположное — сам по себе империализм его не интересовал, он казался ему правильным, поскольку являлся европейским, а особенно справедливым тогда, когда эту политику проводили славяне. Поэтому все увиденное и угаданное приносило Ашкерцу глубокое удовлетворение, ведь таким образом проявлялся тот духовный симбиоз, которому он был полностью предан: (европейский) дух славянства. Ранее указанные силлогизмы Ашкерца последовательно доходят до кульминации, выразившейся во фразе: «У сознательного славянина грудь наполняется чувством гордости, когда он видит, что во всем этом огромной государстве господствует славянский язык»⁵ (курсив наш. — К.Я.К.).

В рамках типично ориенталистического, хотя и весьма агрессивного дискурса размышления Ашкерца кажутся консистентными. Но если рассмотреть их поближе, выяснится, что его ориентализм обла-

¹ Ibid. S. 134

² Ibid. S. 140–141.

³ Доказательством того, что речь идет не об одиночном, изолированном случае, может служить высказывание Ашкерца из его очерка о путешествии в Константинополь в 1893 г. Этому городу он предрекает светлое будущее тогда, «когда на Золотом Роге будет командовать какой-нибудь культурный народ, например, братья русские» (*Aškerc A. Op. cit. S. 41*).

⁴ О том, что он действительно не осознает проблемы, свидетельствует его самонадеянное утверждение: «Если бы мои скромные путевые очерки рассеяли некоторые предрассудки моих соотечественников и помогли им познакомиться с сестрой Россией, их главная цель была бы достигнута. Ведь именно с этой задачей ныне пишутся все искренние путевые очерки» (*Aškerc A. Op. cit. S. 178*).

⁵ Ibid. S. 142.

дает характерной особенностью, которую невозможно игнорировать: это принципиальная амбивалентность, глубинный раскол. В противоположность ориенталистическим принципам империалистических народов (англичан, французов, испанцев, португальцев, если перечислять самых значительных из них), которые защищают свой колониализм, Ашкерц в своем восхищении русскими заходит так далеко, что защищает колонизаторские устремления и посягательства не собственной, но чужой нации, к которой он даже в плане цивилизации не хочет принадлежать, ведь он же является западником, а Россия — по его неоднократным заявлениям — славянско-ориентальной державой. На основе генетического славянского родства, т. е. этнической идентификации с Россией, Ашкерц проявляет свое культурное сочувствие, которое выглядит особенно привлекательно, если вспомнить о размерах русского государства. Проверка этого убеждения была целью двух путешествий в Россию. Уже во время первой поездки он полностью находился под впечатлением, произведенным на него размерами русской державы, его душу переполняли чувства славянского единения; при этом между строк можно угадать и другое, более реальное измерение: «Любого сознательного славянина должно интересовать, что из себя представляет это крупнейшее славянское государство, в котором славянин является — в подлинном смысле этого слова — *абсолютным хозяином самому себе* (здесь и далее курсив наш. — К.Я.К.)»¹. Как видим, словенскому патриоту стало больно при мысли о несвободе своего народа в рамках Австро-Венгрии; именно поэтому русская (славянская) самостоятельность произвела на него столь сильное впечатление: «Путешествуя по России, чувствуешь себя как дома. Уже одно только сознание, что в России *правит и отдает приказы* только славянин, наполняет душу скромного словенца гордостью. Будучи славянином, ты чувствуешь себя в России представителем единого рода»². Нет ни малейшего сомнения в том, что славянство Ашкерца в России тем более привлекательно, что оно свободно — как в смысле национальной, так и в отношении политической самостоятельности. Славянская независимость — это та хорошая новость, которую «братья русские» и «сестра Россия» сообщают Ашкерцу. Особенно очаровывает его такое специфическое качество русского народа, как «наш братский язык», который «царствует на все огромном пространстве

¹ Ibid. S. 77.

² Ibid.

от Вислы до Тихого океана, от Северного Ледовитого океана до Индии. *Сила и власть* этого братского языка, в волшебный круг которого ты попадаешь, едва перейдя русскую границу, это то, что в первую очередь должно привлекать каждого словенца»¹. Понятно, что словенец в Австрии, в окружающем его море немецкого языка чувствует себя этнически незащищенным и что его привлекает национальная независимость, удивительно другое: как можно столь не критически и до такой степени принимать и возвеличивать иную действительность, действительность — как это покажет будущее — тоже не лишенную своих недостатков.

Вместе с тем романтические панславянские чувства находятся в серьезной опасности, ведь Ашкерц понимает, что русские не испытывают к нему ответного чувства и что славяне, следовательно, не являются и не могут быть единым народом! Он с горечью пишет, что должен «в самом начале разрушить одну иллюзию. Словенец, который едет в Россию, не должен думать, что русские встретят его бог знает как любезно, потому что он словенец и славянин. Нет! Русские не осознают свое славянство в той мере, как, например, чехи»². Поэтому на основании разговора с уже упомянутой выше молодой русской девушкой он приходит к выводу, что «русские вообще очень плохо знают западных славян»³, и дает ей искренний совет: «Время от времени и вы, русские, приезжайте к нам в Европу. Вам бы не повредило, если бы вы постарались лучше узнать нас, своих братьев!»⁴ Недостаток интереса самой большой и самой успешной славянской державы к остальным славянским «братьям» оказался для Ашкерца болезненным открытием. Оно уязвило его до такой степени, что он не захотел возложить вину за это на самих русских, ведь тем самым он бы поставил под угрозу их идеализированный статус, поэтому он предусмотрительно ищет иного виновника ситуации. Дело в том, что русских, по его утверждению, кто-то намеренно держит в неведении об их славянских братьях и изолирует их от других славянских народов. Виновата в этом плохая информированность русских. Не будь этого, русские бы очень активно проявляли интерес к панславизму. Виновниками этой безучастности русских к славянству являются, по мнению Ашкерца, немцы, господствующие во многих областях, том числе и в русской системе образования: «Во

¹ Ibid. S. 78.

² Ibid. S. 77.

³ Ibid. S. 171.

⁴ Ibid. S. 170.

всем этом незнании виновато их образование, не допускающее распространения среди русских славянского сознания. В этом неславянском характере обучения виноваты немецкие бюрократы, которых (я уже ранее упоминал об этом) в России так много?»¹ Та самая Европа, которая является основой его цивилизации, с позиций которой он рассматривает и оценивает неевропейский мир и на опыт которой он часто ссылается, эта Европа в следующем отрывке представлена враждебной и вероломной: «В России много немцев в среде бюрократии, например, сейчас три русских министра являются немцами. Нам, нерусским славянам, кажется абсолютно ненужным, чтобы в славянской России немцы пользовались такой поддержкой, ведь русские должны были бы знать, что *немцы не желают добра русскому народу*»².

В глаза бросаются два факта: во-первых, увлеченность, с которой Ашкерц в роли брата великого народа ищет все возможные причины, которые объяснили бы самодостаточное поведение последнего; во-вторых, вопрос о двойственности отношения Ашкерца к колониализму. С учетом того, что он был представителем славянского народа, живущего в Австро-Венгрии, его, славянина по культуре, являющегося объектом австрийского гегемонизма, удивляет то, что тот самый империалистический подход к славянским подданным, в котором он упрекал австрийский двор, он, глазам не моргнув, одобряет у братского народа, сидящего на спинах кавказско-азиатских народов. С одной стороны, констатируются непреодолимые цивилизационные различия: «Прощай, Европа! Сейчас мы в России...»³ С другой, проявляется попытка представить все это как единое целое:

Если я пишу: «Европа и Азия», то всего-навсего употребляю конвенциональное выражения. Ведь то, что Европа и Азия являются не двумя частями света, а одним неразрывным географически целостным континентом, видит каждый <...>. А в наше время, когда мы с легкостью совершаем путешествие из Вены в Пекин в элегантном спальном железнодорожном вагоне, отделение «Европы» от «Азии» кажется попросту смешным⁴.

¹ Ibid. S. 171.

² Ibid. S. 149–150. Низкопоклонство русских по отношению к немцам, увиденное собственными глазами, Ашкерц воспринимал болезненно. В своем гимне европейскому Петербургу он искренне восклицает: «И еще одно желание испытываю я при мысли о двухсотлети Петербурга: пусть он избавится от своего немецкого имени!» (Ibid. S. 91).

³ Ibid. S. 82.

⁴ Ibid. S. 144 (примеч. 14).

По Ашкерцу, Запад смешивается с Востоком, европейское — с русским, политика — с культурой, экономика — с географией, эмоциональное — с реальным, он разгуливает между этими понятиями и прагматично употребляет те из них, которые в данный момент кажутся ему наиболее уместными. Скорее всего, нет особой необходимости подчеркивать, что такую беспринципность мы можем найти и в явлениях ориентализма. Подобная принципиальная амбивалентность характерна для Ашкерца и в дальнейшем, в том числе и при конкретном объяснении славянского братства, отношений между словенцами и русскими, однако чуть заметные в начале примечания и комментарии понемногу усиливаются, появляются аргументы, которых не стыдились бы даже империалистические великие державы. Саид в своем «Ориентализме» обращает внимание на значение общего знаменателя, который объединяет и — прежде всего — оправдывает действия колониалистов. В отношениях Запада и Востока, утверждает Саид, ключевым различием, к которому в конце концов присоединяются все другие различия, является трансцендентальность, точнее — вероисповедание. Христианскую Европу привлекает и одновременно отталкивает экзотический Восток с его необычными и, как свидетельствует история, зачастую враждебными европейцам практиками (здесь речь идет о восточных странах, граничащих с христианской Европой и традиционно исповедующих ислам). А поскольку это уже является делом прошлого, колонии уже созданы, современная Европа ставит перед собой цель познать и объяснить Восток, что и осуществляется, но, как говорит Саид, через призму европейской оптики и с латентно присутствующим осознанием фундаментальных метафизических различий. По отношению к России этот страх у Ашкерца отсутствует. В качестве исходного принципа у него фигурирует отнюдь не религиозное, а прямо ему противоположное понимание мира. В данном случае, несмотря на свое католическое вероисповедание и духовное звание, а может быть, именно благодаря этому, он является решительным противником смешения религиозных и политических моментов. С самого начала своей службы капелланом Ашкерц интересовался буддизмом, брахманизмом, дзэном, ему не была чужда либеральная политическая ориентация (должность городского архивариуса ему предоставил бургомистр Иван Хрибар), поэтому приводимое ниже высказывание Ашкерца не кажется нам удивительным: «В русских университетах нет богословских факультетов. В этом отношении русские более прогрессивны, чем западноевропей-

цы»¹. Категорией, которую можно было бы считать *credo* Ашкерца, является не что иное, как панславизм в его первоначальном, наиболее «экуменическом», а следовательно, наиболее широком облике, который Я. Кос именует «панславянским национализмом»². Вероятно, всеславянскую позицию Ашкерца можно понять как некую замену трансцендентальности, как туземный вариант метафизических верований³.

Ашкерц охвачен безграничной гордостью не только из-за размеров Российской империи, ее силы и того цивилизационного влияния, которое она оказывала на Восток, но и потому, что, будучи страстным панславистом, гордится и русским языком, хотя невозможно избежать ощущения, что русский язык кажется ему столь прекрасным потому, что за ним — кроме всего прочего — стоит реальная сила. В соответствии с вышесказанным можно прийти к выводу, что речь идет именно о последнем варианте, подкрепленном тем фактом, что это язык народа, который оказался более способным управлять Кавказом, чем англичане, и сумел навести там порядок. «Здесь повсюду звучит столь прекрасный для уха, мелодичный и могучий, столь родственный нашему наречию и похожий на него русский язык, на котором говорят более 85 миллионов наших братьев»⁴. Однако было бы ошибочно ожидать от Ашкерца полного приятия русского языка! Если в отношении языка действительно справедливо утверждение о его благозвучности, то в отношении алфавита дело обстоит иначе: «Само собой разумеется, что мертвая буква тут не является главным, ибо главным является живой дух, который передает кириллическая азбука, и этот дух является славянским»⁵. Ему мешает кириллица, поэтому он назвал ее мертвой буквой, являющейся носительницей диаметрально противоположного духа, который носит наш, славянский характер. Большой вопрос, почему такая постановка вопроса не кажется Ашкерцу противоречивой, ведь при этом невозможно утверждать, что русский дух и кириллическая азбука не связаны между собой! Насколько малопродуманной была его позиция по отношению к русской языковой культуре

¹ Ibid. S. 99.

² Kos J. Op. cit. S. 18.

³ Сравнение концепта «героя с Востока» времен позднего Средневековья с воином, прежде всего следующим своему долгу служить Богу, которое дает Изабель Вила Майор, отнюдь не случайно (см.: Isabel V. M. Etre héros en Orient // Travel Writing and Cultural Memory. P. 179).

⁴ Aškerc A. Op. cit. S. 77.

⁵ Ibid. S. 143.

в целом, свидетельствуют его эмоциональные метания из крайности в крайность, ведь в другом случае Ашкерц приходит к совершенно иному заключению:

Нет сомнения в том, что в ходе будущих столетий латиница западных народов вытеснит из обихода кириллицу. Русские, сербы и болгары в отдаленном будущем будут пользоваться для письма латинским алфавитом. Однако это вопрос будущего. Нам же приходится считаться с настоящим положением вещей. А сейчас кириллица — по крайней мере, в России — выполняет все стоящие перед ней задачи¹.

Идея о том, чтобы наиболее многочисленный славянский народ оказался готов отказаться от своей традиционной культуры, от существеннейшего выражения своей славянской самобытности (идиосинкратичности), прежде всего от ключевого отражения его связи с православным христианством, эта идея кажется, мягко говоря, странной. Откуда взялась у Ашкерца мысль о том, что необходимо (даже если бы это было возможно) отделить язык от его визуализации и «одеть» его в новое письмо? К тому же он не объясняет причин, вследствие которых латинский шрифт кажется ему более подходящим, чем кириллический. Единственный вывод, который в данном случае приходит в голову, заключается в том, что и сама Россия, как бы высоко ни ценил ее Ашкерц, по сути дела является секундарной по сравнению с западной европейской цивилизацией, одной из основных особенностей которой является именно латиница. Именно в этом утверждении все составляющие его аргументы демонстрируют перевес в пользу... Европы, Запада.

Словно осознав, что он сделал западной культуре слишком большую уступку, Ашкерц сразу же ретируется и продолжает совершенно изменившимся тоном: «Эта кириллица является такой сильной, что она еще в этом столетии вдребезги разобьет оковы, в которые закован русский народ, и завоюет для него благородные конституционные свободы»². Это утверждение, без сомнения, отмеченное даром предвидения, дает основание сделать вывод, что русской культуре тем не менее принадлежит будущее. Это подтверждает и еще одно дополнение: «Разве не интересно то, что те славянские народы, которые

¹ Ibid.

² Ibid.

пользуются кириллицей и наряду с тем исповедуют православную веру, являются политически самостоятельными, в то время как в алфавитном и религиозном плане все “латинские” славяне зависят от других народов»¹. Можно ли на этом основании сказать, что панславянские чувства все-таки победили временные подсознательные «западные» импульсы?

У Ашкерца была еще одна возможность познакомиться и с другой стороной русской культуры. По словам М. Боршник, Россия «могла его отрезвить, особенно тогда, когда он узнал, что русская цензура запретила его благожелательную книгу»². На этом основании он мог бы отказаться от своей слепой привязанности к России и увидеть в ней прежде всего средоточие весьма конкретных интересов. Но даже здесь Ашкерц не допустил, чтобы у него отняли веру в Россию, и во всем обвинил абсолютистский режим (хотя в своих путевых очерках безгранично восхищался Петром Великим): «Абсолютизм является тем страшным кошмаром, который угнетает свободную мысль в России. А мы хотим и желаем, чтобы славянство и свобода не были противоположными понятиями»³. Эту фразу — по крайней мере, с двух точек зрения — тоже можно считать почти провидческой. Что касается отношения Ашкерца к политике, можно сказать, что российский режим в двух отношениях противоречит его мировоззрению: прежде всего, он ограничивает и тормозит развитие славянского «сообщества», а кроме того, являясь консервативной политической силой, полностью противоречит его мировоззрению. Для реализации панславизма «прежде всего будет необходимо, чтобы среди самих русских глубже укоренилось и расширилось славянское сознание»⁴, и здесь абсолютизм является только тормозом.

IV

Каким образом на основании путевых очерков можно оценить мировоззрение Ашкерца? В ином свете, чем это сделали те, кто ранее оценивал эти очерки? По их мнению, эти очерки написаны «с достойной удивления объективностью»⁵, ведь Ашкерца «можно назвать наиболее

¹ Ibid. S. 144.

² *Boršnik M.* Op. cit. S. 602.

³ *Aškerc A.* Op. cit. S. 180.

⁴ Ibid. S. 179.

⁵ См. выше примеч. 35.

просвещенным и убежденным славянином среди словенских писателей»¹. И все-таки вопреки всем ожиданиям не так просто охватить все разнообразие этих путевых заметок, непрестанно колеблющихся между восторженностью, запредельным воодушевлением и остротой и естественностью высказанных критических замечаний. В очерках Ашкерца встречаются величины, одни из которых твердо стоят на реальных политических и экономических основах, другие относятся к воображаемому, идеалистическому миру ожиданий и желаний. Каков характер его путевых очерков с учетом того представления о России, которое мы составляем на их основе?

Ключом, открывающим вход в мир путевых заметок, прежде всего оказывается ориенталистическая оптика. Отправной точкой можно считать то, что Ашкерц был не только туристом². Он считался самым лучшим знатоком славянского мира, в свое время он был одним из наиболее часто переводимых словенских поэтов; свой широкий круг знакомств во многих славянских государствах он расширял и укреплял во время путешествий. Из этого следует заключить, что дискурс Ашкерца, несмотря на наличие в нем личной, исповедальной ноты, все-таки является авторитарным³. Хотя он и не занимался исследовательской деятельностью, в его суждениях о народах и государствах, которые он посетил, сомневаться не приходится. Именно это является первой предпосылкой ориентализма, означающего спуск вниз без возможности возвращения, дискурс, изреченный с места действия, не терпящий никаких возражений. Ведь за ним стоит автор со всей своей общественной (исследовательской, писательской) значимостью. Корреспондентам при всей их «объективности» дозволены авторские отступления, придающие повествованию большую привлекательность и вносящие в него личную ноту.

Покров объективности только прикрывает призму евроцентристского взгляда на другого, что является следующей особенностью ориентализма. У Ашкерца этот взгляд не стал последовательным и устойчивым, ведь он меняется в зависимости от конкретной проблемы.

¹ Boršnik M. Op. cit. S. 604.

² Вопреки этому он говорит о себе: «Я не историк, я только скромный путешественник...» (Aškerc A. Op. cit. S. 178).

³ Хотя его литературное творчество можно воспринимать с долей скептицизма и упрекать автора в тенденциозности или, по крайней мере, в неестественности. Так, Ашкерц разрабатывал в поэтическом сборнике «Акрополь и пирамиды» ближневосточные мотивы «скудно, назидательно, по-бедекерски, прозаично» (Kermauner T. Poezija slovenskega zahoda. Zv. 2. Maribor, 1991. S. 12).

С одной стороны, он испытывает эмоциональный подъем, говоря об идее всеславянства, которую он в своем воображении считает средством вернуть славянским народам ту цену, которую они, по его мнению, заслуживают; с другой — часто находит прибежище в надежной пристани цивилизации, которую он ценит превыше всего, цивилизации Запада, иначе говоря — Европы¹.

Таким образом, мы оказываемся еще перед одной, последней особенностью ориентализма, которая может быть скрытой, не лежащей на поверхности. Это желание доминировать в культурной, а на самом деле — в цивилизационной сфере. При поверхностном взгляде кажется, что два этих фундаментальных концепта — европейская культура и панславизм — абсолютно непримиримы. Каждый раз, когда эти две идеи сталкиваются, Ашкерц отказывается от одной и выбирает вторую, для того чтобы в следующий миг отрицать и ее. Однако всеславянство относится к миру мечты, в то время как в западной цивилизации он живет и в конечном итоге ее выбирает. Лучше всего этот вывод подтверждает следующая цитата: «По отношению к русским мы, словенцы, выглядим карликами, но наш народ в развитии культуры и цивилизации опережает русских, по крайней мере, на триста лет. С этим гордым сознанием словенец возвращается из России домой»². Разумеется, «мы, словенцы» — часть Европы, и этого Ашкерц никогда не забывает. Славянские братья смогут жить вместе, когда «они» изменятся, в большей степени цивилизуются. Это начнется с осознания, что «мы у них есть».

Исходной точкой отношения Ашкерца к России является эмоциональность, для правильной оценки его позиции не хватает рационализма. Россия была страной, которую Ашкерц в своем воображении идеализировал, но действительность до некоторой степени отрезвила его. Поэтому и его славянофильство отличается рядом противоречий. Россия представляет «того третьего», который превращается в его воображении в *locus felicitates*, фата-моргану, которая отдаляется по мере приближения к ней, поэтому она может принять на себя все желания, надежды и ожидания писателя. В силу своей непроблематизированной субъективности путевые очерки Ашкерца зачастую служат делу

¹ Анализируя югославский туризм после Второй мировой войны, Н. Соуб подчеркнул, что нормативный стиль чувственного познания был все еще значимым для югославского понимания славянства и конструкции панславянской идентичности (см.: *Sobe N.W.* Op. cit. P. 83).

² *Aškerc A.* Op. cit. S. 177.

углубления предрассудков и априорных представлений о других, а не их ликвидации. Именно в этом и заключается та опасность, о которой рассуждает Саид и которая — говоря словами Брехта — превращает книгу в оружие.

Перевод со словенского М.Л. Бершадской.

Л.К. Гаврюшина

РУССКИЙ СЛЕД В ЖИТИИ САВВЫ СЕРБСКОГО

В этой статье мы, вслед за известными знатоками истории сербско-русских культурных связей, обратимся к эпизоду из Жития св. Саввы Сербского, эпизоду, давно уже ставшему хрестоматийным и касающемуся участия в судьбе будущего святителя русских иноков. Скупые подробности этого житийного отрывка, однако, вряд ли могли бы стать основой представлений о том, каким виделся образ нашего предка средневековому сербскому книжнику. Дело не только в лаконичности изложения, но прежде всего в особенностях средневековой иерархии ценностей — разумеется, сохраняющей свое значение и в отношении литературы, — иерархии, в которой национальному началу и связанным с ним представлениям принадлежало одно из самых скромных мест. Подобное восприятие национальности человека, как известно, имеет свое обоснование в тексте апостольских посланий: «...не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании, по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3, 10).

Таким образом, все, что мы будем говорить о сообщениях сербских агиографов относительно России и русских в Житии святого Саввы, может претендовать лишь на роль сохранившихся в древнесербской литературе упоминаний о России и представителях русского народа. Сами же эти упоминания имеют своей основой длительную историю

сербско-русских взаимосвязей в различных областях общественной жизни.

Как мы знаем, святой Савва (ок. 1175 — 1235) родился в семье сербского жупана Стефана (в монашестве Симеона) Немани, сыгравшего ключевую роль в объединении сербских земель. Как благочестивый властитель, Стефан Неманя был внимателен к нуждам православного монашества; очевидно, не раз приходилось ему откликаться и на просьбы о помощи русских иноков. В принадлежащем перу Феодосия Хиландарца Житии св. Саввы, которое было создано, по всей вероятности, в конце XIII в.¹, мы встречаем упоминание о приеме им группы монахов, прибывших со Святой горы Афон. Среди них был и монах, русский по происхождению — «русин родом»². Вместе с тем в первом пространном Житии святителя, написанном в середине XIII столетия хиландарским иеромонахом Доментианом³, национальность инока, встреча с которым сыграла столь важную роль в судьбе Саввы, не указывается.

Значение отмеченного эпизода (который — в изложении Феодосия — будет приведен ниже) прежде всего в том, что он становится первой вехой на иноческом пути юного Растко⁴, знаменует его начало. Встретившись с русским иноком, который прибыл к его отцу, чтобы просить о пожертвовании на нужды афонского Русского монастыря, Растко совершает важнейший в своей жизни выбор. При этом он заявляет о себе как о личности незаурядной и духовно одаренной не только соотечественникам, но и всему православному миру. Недавно получивший от царствующего отца во владение Хумскую область, он покидает родительский дом и отправляется на Афон. Это произошло в 1191 или 1192 г., когда младшему, долгожданному сыну сербского властителя и его супруги Анны было примерно 16 лет. Поступок юного неманича был продиктован его искренним желанием утолить жажду «божественной любви» в служении Христу; он нередко сравнивается с поступком индийского царевича Иоасафа, которого, как было и тогда известно из популярной в Средние века повести,

¹ Изд.: Живот светога Саве, написао Доментијан (ошибочно вместо: Теодосије), на свијет издало Друштво србске словесности, трудом Ђ. Даничића, у Биограду, у Државној штампарији. 1860. Далее в сносках — ЖССФ.

² Там же. С. 6.

³ Изд.: Живот Светога Симеуна и Светога Саве, написао Доментијан, на свијет издао Ђ. Даничић, у Биограду, у Државној штампарији, 1865.

⁴ Растко — мирское имя св. Саввы.

обратил от языческого заблуждения к христианской истине отшельник Варлаам, пришедший на царский двор под видом купца¹.

Таким образом, Растко-Савва выбирает монашеский путь под влиянием встречи с русским иноком, которая, разумеется, не была случайной и свидетельствовала, как мы упоминали, о тесных связях между двумя православными странами, и прежде всего связях духовных, ибо помощь Немани русскому монашеству — это поддержка им единоверцев, милостыня, подаваемая Христа ради. Что же касается взаимоотношений Растко и русского монаха-«странника», их объединило стремление к осуществлению христианского идеала, иными словами — к спасению души. Беседа царского сына с безымянным иноком, подробно описанная в феодосиевском житии, ознаменовала для него вступление на иноческий путь, которое для Сербии, в свою очередь, стало первым шагом к ее становлению в качестве православной державы под покровительством первого архиепископа и «первоучителя» Саввы.

Речи русского «странника» нашли в душе юного Растко благодатную почву, поскольку уже задолго до встречи с ним он уже немало знал о Святой горе Афон и, несмотря на беспечную с первого взгляда жизнь любимого родителями царского сына, всей душой стремился избежать сетей «мирских» соблазнов и, возможно, достигнуть ее пределов. Вот как описывает иеромонах Феодосий духовное расположение Растко перед этой знаменательной встречей:

...благочестивый юноша, по молитве данный Богом, всегда стремился как-нибудь и помощью какого-либо ухищрения жизни мирской избежать и от всего к Богу удалиться. Ибо слышал он о Святой Афонской Горе и о постящихся на ней, и о других пустынных местах, потому что отовсюду приходили к отцу его люди, чтобы получить вспомошествование по бедности своей. Иногда же и сам он посылал в святые места для раздачи подаяния свято живущим, ибо был то человек добрый, милостивый и весьма щедрый. И Бог, готовый ответить на молитву и желания рабов своих, исполнил и его пожелание и побудил его прийти к родителям из вверенной ему области. И был он принят с великою любовью, и пришли вместе с ним вельможи его, и пир великий устроен был по случаю прибытия любимого сына к родителям. Много дней подряд веселье длилось, и вот, будто бы Богом понужденные, пришли

¹ Изд.: Повесть о Варлааме и Иоасафе: Памятник древнерусской переводной литературы XI–XII вв. / подг. текста, исслед. и комм. И.Н. Лебедева. Л., 1985.

некие иноки со Святой Горы Афон к отцу его, чтобы получить требуемую помощь в бедности их. Был один из них русский родом; его-то и расспросил наедине благочестивый юноша обо всем, что касалось Святой Горы, взяв перед тем с него обещание, что никому не откроет он тайны его¹.

Собственно, здесь — завязка сюжета жития, точнее, первой его части, в которой рассказывается о бегстве Растко под руководством русского инока на Афон и о неудачной попытке могущественного отца вернуть его домой. Феодосий не только проявляет в этом отрывке свое литературное мастерство как автор, способный живо заинтересовать читателя умело сплетенной «интригой», но прежде всего предстает перед нами как христианский писатель. Излагая беседу Растко со старцем-иноком, он говорит о нем как об искусном рассказчике и «богопосланном» проповеднике, который с готовностью отвечает на расспросы юноши, желающего узнать как можно больше об иноческой жизни на Афоне: «И тот поведал ему все об уставе пустынножительном, о том, как в монастырях сообща живут и как отдельно, по двое или по трое, в единомушнии житие препровождают, или отшельниками в уединении, посте и безмолвии пребывают. Обо всем как нельзя лучше рассказал он ему — не простой то был чернец, а искусный рассказчик, — я бы сказал, что Богом был он послан»². Более того, сцена наставления юного Растко старцем — это своего рода иллюстрация к евангельской притче о сеятеле и семени: «И снова юноша, услышав это, как земля плодородная — семя — принял в сердце свое слова старца, рыдание к рыданию прибавляя. Старец же подивился горячей любви его к Богу и огню Божественному, что так распалили душу его. Со вниманием слушал он и речи его, исполненные целомудрия и умиления, и сказал ему: “Вижу, о чадо, что в глубину любви Божией зашла душа твоя. Однако поспеши исполнить благое твое желание, чтобы сеятель зла плевелы не посеял в сердце твоём, и тогда, укоренившись, заглушат они пшеницу — доброе твое намерение...”»³ (Ср.: «...вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы

¹ ЖССФ. С. 7. Здесь и в дальнейшем текст феодосиевского Жития св. Саввы приводится в переводе автора настоящей статьи, однако номера страниц приведены по указанному выше изданию Джуры Даничича (церковнославянский текст).

² Там же.

³ Там же. С. 8.

небесные поклевали его; а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; а иное упало на землю и, взойдя, принесло плод сторичный». — Лк. 8, 5).

Встреча с русским монахом оказывается одним из звеньев в цепи событий, которые читатель выделяет для себя как вехи жизненного пути святителя Саввы, отмеченные особым Божиим присутствием. Это подчеркнуто в словах юноши, обращенных к наставнику: «...И как услышал он это от старца, так тотчас покорился воле его. “Благодарю Тебя, Господи, — сказал он, — что укрепил Ты сердце мое через странника этого”». И далее: «Вижу, отче, что всевидящий Бог, узревший мою боль сердечную, послал твою святость утешить меня грешного». Мудрому проповеднику и психологу, русскому «старцу» удастся с помощью нескольких фраз устранить главное препятствие в душе Растко на его пути к осуществлению давнего намерения — его боязнь огорчить родителей и оказаться в дальнейшем их «узником» в том случае, если он однажды совершит неудачную попытку бегства. Он напоминает юноше, что, вставая на путь служения Христу, следует пренебречь душевной привязанностью к семье: «Желанна любовь родительская, о достойнейший, и связь по плоти нерасторжима; прекрасно в единении с братьями пребывать и жить вместе. Но ведь Владыка и от всего этого, не колеблясь, отказаться повелевает, и крест возложить на плечи, и за Ним с готовностью последовать...»¹ Далее старец, «зачинщик» всех разворачивающихся в дальнейшем событий, предлагает благочестивому юноше безотлагательно решить назревший и больной для него вопрос с помощью совместного бегства: «...Я же в таком деле слугой тебе буду и Господа ради провожу тебя до Святой Горы, которой достичь ты желаешь, только бы был конь, который понесет меня, чтобы смогли мы убежать от отца твоего»². Мужественно согласившись на предложенную авантюру, царский сын вынужден самостоятельно искать способ бегства, который позволил бы ему усыпить бдительность отца и задержать погоню. С этого момента и вплоть до своего пострига Растко придется, с легкой руки русского инока, вести нелегкую психологическую игру со своими преследователями, ускользя от них в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Началом этой игры становится откровенный

¹ Там же.

² Там же. С. 9.

обман: юноша просит родителей отпустить его на охоту и под этим предлогом удаляется, вместе со слугами, в окрестные леса. Подобное «безнравственное» поведение станет основанием для горьких упреков в его адрес со стороны незадачливых преследователей — посланников Немани. С другой стороны, появляющийся здесь образ охоты на оленей, традиционный не только для средневековой литературы, но и для изобразительного искусства, поэтически запечатлевает духовную жажду юного подвижника, устремляющегося всем своим существом к Христу: «Отпустили они его с миром и велели скорее возвращаться, ведь не знали они, что не оленей хочет он поймать, а источник жизни — Христа уловить, чтобы напоить оленя — душу свою, распалившуюся огнем устремления и любви к Нему»¹.

Следующее упоминание о русском «знакомце» Растко мы встречаем в тексте уже при описании самого бегства и в сцене утреннего пробуждения вельмож, обнаруживших исчезновение своего господина: «И когда пришла ночь и вельможи, что были с ним, повеселившись, уснули, он и несколько приближенных, хранящих тайну его, Богом и иноком предводимые, убежали без оглядки. Когда же рассвело, вельможи те хватились господина своего и, не видя и не находя его нигде, говорили: “Может быть, насмехаясь над нами, к отцу возвратился он?” Стали искать монаха, что был с ним, и прочих слуг его и, не найдя их, восклицали: “Что за чудеса с нами творятся? Куда делся господин наш?”»². Затем о русском иноке как виновнике семейного несчастья вспоминают при дворе: «Родители же, услышав столь неожиданное и неприятное известие о сыне своем, остолбенели и едва не испустили дух. Когда же пришли в себя, поняли, что не кто иной, как тот русский монах отвел его на Святую Гору. Так говорили они, ибо знали о давнем его туда устремлении»³. Дальнейшее изложение Феодосия также свидетельствует, что русский «старец» становится чуть ли не врагом царского семейства вплоть до полного примирения Немани и его домочадцев со случившимся.

Придя в себя после потрясения, вызванного известием об исчезновении сына, самодержец снаряжает в дорогу целый отряд своих

¹ Образ, имеющий своим источником Псалтырь: душа, ищущая Бога, подобна оленю, стремящемуся к источникам вод. См., например, Пс. 41, 2. Об использовании этого образа в славянской агиографии см. также: *Гладкова О.В. О славяно-русской агиографии: Очерки.* М., 2008. С. 165.

² ЖССФ. С. 10.

³ Там же.

подданных, главную ответственность за результаты поисков и возвращение сына домой возложив на воеводу («стратилата»). После продолжительной и не увенчавшейся успехом погони его посланники прибывают в Русский Пантелеймонов монастырь, где и разворачиваются драматические события, которые можно было бы охарактеризовать как противостояние «воинствующего» лагеря подданных Немани и «обороняющегося» лагеря насельников обители. После неудачной попытки «договориться» с воеводой Растко приходится срочно изыскивать способ отделаться от преследователей, и он затевает новую «игру». Притворно согласившись на возвращение домой вместе с посланниками отца, он вместе с игуменом изобретает способ усыпить их бдительность: в монастыре устраивается обильное застолье, и верные слуги его отца, уставшие и разморенные, не выдерживают продолжительной ночной службы и крепко засыпают прямо в храме. Убедившись в своей безопасности, Растко удаляется в одну из монастырских башен, где принимает от руки одного из священноинок монашеский постриг с именем Савва. Между тем очнувшиеся преследователи в ужасе обнаруживают, что беглец снова исчез, и всю свою ярость обрушивают на насельников Русской обители. Начавшееся было избиение монахов на какое-то время останавливает воевода, который требует у насельников обители «выдачи» Растко. Воевода произносит при этом гневную обличительную речь в адрес последних, упрекая их в том, что они, зная о цели прибытия его отряда, проделавшего столь тяжкий путь в попытке догнать юношу, посмели его спрятать. Главное же обвинение он адресует уже известному нам «зачинщику» — русскому монаху, который получает упрек как в неблагодарности, так и ни много ни мало в похищении чада у родителей. Приводим здесь его речь полностью:

Воевода же, прекратив ропот, сказал игумену и инокам: «Что за несправедливость и бесчестие нам от вас, о отцы честные! Ведь мы, стеснясь сана, что носите вы, обиду вам простив, кротки и человеколюбивы с вами были. Не этот ли хитрец, смерти достойный, — сказал он, указывая на одного из них, — сначала пришел милостыни просить и, подавание не посчитав за важное, у отца сына похитив, убежал? Отца и мать на смертный плач, а нас на тяжкие труды обрекли вы. Теперь же, когда пришли мы к вам, вы опять скрыли от нас господина нашего. И все еще своевольничаете? Что же это вы вздумали, насмехаться над нами? Или

представлялось вам, что все трудились мы, воздух, а не господина нашего разыскивая? Сейчас головы ваши полетят. Говорите, куда девали господина нашего?»¹

Последняя угроза «предводителя» оказалась далеко не пустословием, и читатель жития, благодаря таланту Феодосия перенесенный на двор русской афонской обители, получил редкую возможность — наблюдать редкую и трудно представимую для нас сегодня сцену сербско-русского «побоища»: «И услышав это от воеводы, юноши, готовые свирепствовать, стали с еще большей злобой беспощадно избивать монахов»². Разумеется, происходящее ни в коей мере не свидетельствует о какой-либо национальной неприязни. Основа конфликта лежит в противостоянии «мирского» и «монашеского» взгляда на события. В свою очередь, образное истолкование этих двух принципов видения земной действительности служит для Феодосия отправной точкой для «художественной» проповеди.

Знаменующие начало духовного пути св. Саввы и связанные с важнейшим поворотом в судьбе будущего архипастыря образы русского инока и Русского монастыря, несомненно, во многом являются ключевыми в феодосиевском Житии. Совершенно очевидным является значение этих образов не только для истории сербской литературы, но и для истории сербского и русского самосознания. С течением времени, по мере распространения сначала в Сербии, а потом и в России (с 1517 г.)³ написанного Феодосием Жития святого Саввы «русская тема» сербского памятника начинает обращать на себя все большее внимание. В конце XVI — начале XVIII в. связанный с нею эпизод, т. е. изложение, касающееся рождения, воспитания, бегства Растко на Святую гору, преследования его посланниками Немани, вплоть до их «жалостного» прощания с молодым иноком Саввой, оставшимся на башне Старого Руссика, был осмыслен русскими книжниками как своего рода обособленная «повесть» в составе жития. При этом «русская тема» была обогащена новыми литературными мотивами — так, родители Растко, видевшие в сыне наследника престола и желавшие найти ему достойную невесту, предлагали

¹ Там же. С. 17.

² Там же.

³ См. об этом: *Гаврюшина Л.К.* Русская рукописная традиция Жития св. Саввы Сербского // Советское славяноведение. 1984. № 1. С. 68–82.

ему подумать о возможности стать женихом русской девицы царского рода¹. Таким образом, это во многом необычное в жанровом отношении житие, имеющее долгую историю бытования как в Сербии, так и в России, явилось одним из интереснейших литературных свидетельств процесса взаимного узнавания, осознания исторической близости и теснейшей «связанности» двух славянских народов.

¹ См.: *Гаврюшина Л.К.* Свети Сава-царски син код Доментијана, Теодосија и једног руског књижевника XVII–XVIII века. МСЦ. 29 научни састанак слависта у Вукове дане, 29/2. Београд, 2000. С. 5–12.

В.И. Косик

ВОСПОМИНАНИЯ СИМО МИЛУТИНОВИЧА
о путешествии в середине XIX века в Россию
и современная пьеса Углеши Шайтинаца
«Право на Руса»

Жизнь литератора и деятеля культуры, драматурга Симы Милутиновича-Сарайлии (1791–1848) была многоцветной уже по множеству занятий: от курьера до дипломата. Нигде он долго не задерживался по причине своего беспокойного характера. Когда в 1846 г. его, чиновника Министерства просвещения, назначили сопровождающим группы молодежи, выезжающей для продолжения учебы в Киевскую духовную академию, он самовольно продолжил свое путешествие, посетив Москву и Санкт-Петербург. Свои впечатления, облеченные в эпистолярную форму, он напечатал в 1847 г. в «Српских новинах»; переизданы в 2010 г. в Земуне (Сербия) в журнале «Руски алманах» (№ 15), публикатор М. Йованович.

В воспоминаниях большого любителя путешествий Симы Милутиновича-Сарайлии Россия времени царствования Николая I выступает как братская великая славянская и православная держава, развитию которой способствуют самодержавие, власти и торговля.

О этих воспоминаниях можно сказать: если человек хочет увидеть только хорошее, он так и сделает. В них нет критики, нет «проблематики», столь необходимой для «разборчивого» читателя и критика — радетеля «правды жизни». Здесь перед нами простое повествование серба-русофила о том, что увидел, что счел достойным представить своим соотечественникам, чтущим великую единоверную, единоплеменную и единоплеменную Россию.

Первое его впечатление — Одесса, в которой он побывал двадцать лет назад. Подчеркнуты успехи в домостроительстве, отмечена величественность новых зданий. И сказано: «Русские, наши братья, в благонаравии воспитываются», — чему радуется он как всякий славянин. На первый взгляд эта назидательность кажется чрезмерной. Однако если учесть, что эти строки писал чиновник Министерства просвещения, т. е. просвещения, воспринимаемого как сочетание умственного и нравственного начал, то его замечание представляется вполне органичным.

По сути, уже первое письмо может быть охарактеризовано как гимн огромной России с ее бесконечными полями. Автор, путешествуя на телеге из Одессы в Киев, не преминул заметить, что хотя все земли возделанной степи и «господские», помещичьи, там нет ни голода, ни крайней бедности, ни запущенных нив. Читатели могли узнать, что помещик всячески заботится о своих крестьянах в своих имениях, где «ленивых и непослушных» ждет наказание. В целом, вчитываясь в его строки, мы вспоминаем помещика Николая Ростова в «Войне и мире» и отзывы крестьян о его хозяйствовании.

Весьма интересны строки из письма о древнем Киеве, «всеславянской Лавре», вернее, о русском народе, его искренней вере и настоящем церковном почитании всего того благочестия, которого, по его мнению, нельзя нигде увидеть в мире. Автор письма подчеркивает, что в Киевскую лавру стекается верующий народ от Камчатки до Архангельска, от Кяхты до Тобольска, точнее — всей православной России. Для него, слушавшего рассказы родителей, что далеко на севере есть новый Иерусалим, званный Киевом, увиденное подтвердило родительское слово.

Живо обрисована сама Лавра, ее пещеры, в которых покоятся нетленные мощи «всеславянских богоугодников».

Теснота, нехватка воздуха, дым свечей не позволили автору, чуть было не потерявшему сознание, продолжить «путешествие» по пещерам, «низко поклониться и целовать первого славянского летописца Нестора». По его мнению, каждому славянину «назидательно-приятно» было бы посетить это место.

Знание русских истории и географии поражает и радует, подтверждая наше давнее наблюдение, что сербы гораздо лучше знают Россию, нежели сами ее жители.

Одно из писем посвящено первопрестольной столице России — Москве, на подходах к которой еще сохранялись следы укреплений,

воздвигнутых против армии Наполеона. Для автора писем русские солдаты — «бессмертные сыны», он возглашает «...благо царю, благо Российскому народу!»

Сама пестрая Москва с ее многочисленными церковными куполами и звонницами нарисована просто и в то же время живописно. Так, сообщая о своем впечатлении об Иване Великом, Симо Милутинович пишет, что тот, как исполин возвышаясь гордо блистанием золотой кровли и крестов, настолько заслепил ему глаза, что он не мог сразу начать различать окружающее.

Представлена автором и встреча с Осипом Максимовичем Бодянским, радушно встретившим сербского путешественника и переселившим его из трактира к себе домой, а позже познакомившим со своими друзьями и приятелями.

Подчеркнуто автором, что Москва — это «*наше общее древнее и новое могущество и великолепие*» (выделено мною здесь и далее. — В.К.). Поражает Симу Милутиновича и быстрота, с какой русские отстроили свою столицу, и то, что содержат ее в чистоте и красоте. Весьма спорное, замечим, мнение. Но если сербский путешественник не увидел ничего дурного, то и не стоит придирааться.

С восхищением обрисован сам Кремль и его дворцы, в том числе и зала Ивана Грозного и его келья, где он молился. Замечу, что Симо Милутинович увидел тогда больше, нежели сейчас могут увидеть сами москвичи и гости столицы.

Оглядывая Москву с высоты одной из кремлевских террас, он пишет, что не увидел ее конца, везде были только дома с железными крышами, выкрашенными в зеленый цвет, да золотые купола бесчисленных церквей. Риторически вопрошая на страницах своего письма о том, кто мог бы заново отстроить Москву после Бонапарта, сделать ее еще лучше и красивее за такой короткий срок, Симо Милутинович уверен, что это могли только неутомимые русские, непреодолимые в делах, служащих «пользе, славе и чести своего отечества», в чем им помогают небесные силы, дабы русским всегда и во всем сопутствовали неизменный успех и победа.

Продолжая рисовать свои впечатления от встреч с русскими учеными, Симо Милутинович весьма ярко воспроизводит свою встречу со Степаном Петровичем Шевыревым, который изумил автора, когда вынул из кармана его драму «Трагедию Обилича», сказав, что это творение знают и ценят. Для сербского путешественника самым дорогим и приятным было то, что русские по своему благородству души

и сердца таковы, что творения «каждого другого по крови брата» *оценивают и считают своими*, знакомят читающую публику с ними в оригинале или в переводе.

Автора восхищает все, все проникнуто любовью к России, русским, братьям по крови, вере и языку. Русский воинский строй с его разнообразием в единстве равно не мог не поразить автора. Глядя на подбор коней для каждой воинской единицы, Симо Милутинович восклицает: «...если конский род когда-либо имел своего Адама, то он в России мог и должен был появиться!»

Много строк отведено и Санкт-Петербургу. Русскостью проникнуто даже само его название: у автора город именуется «Свето-Петровград», где он целовал гробницу Суворова.

На страницах воспоминаний мелькают имена и других русских знаменитостей славянского мира: Попова, Языкова, Хомякова, Надеждина, Погодина, Срезневского. По сути, воспоминания Симо Милутиновича представляют собою гимн России, ее царю, властям, народу, ее науке. Повторяю, здесь нет проблематики, нет места сомнениям в том, что сербы и русские — братья, что Россия — великая славянская держава.

В пьесе «Право на Руса» известного сербского драматурга Углеши Шайтинаца (Зренянин, 1971; опубликована в сербском журнале «Сцена», январь / апрель 2000) нет размеренности повествования, риторики, пафоса — это энергетика слова, действия, истории. Это фантазмагория, где смешались время, сюжеты, русские, сербы. Это такая своеобразная куча-мала, из которой персонажи — Леха, Алексей, Митя, Мария, Смилья, Ленка, поп Джура, Радица, Станка и другие — высовывают свои головы и кричат друг другу «свое, близкое, родное», смешанное с «высокой политикой», низведенной на язык простонародья. Местами картины напоминают «Швейка» Гашека, но здесь все сложнее, вернее, цветистее. Пестрота обусловлена разнообразием персонажей, великолепным, изумительным языком героев.

Чего стоят такие выражения и фразы, как то: «Ричеш ко прасац», «Усрали сте се», «Жена има своје време докле може бити майка, мушкарац — док је жив!», «С кем татари? Са Мухаморима, а мухамори су против чукча, мада чукчи живе добро с калмицима, па онда сви заедно бију по якутима, кад се самоеди повуку» и т. д.

Русские исторические сюжеты тесно связаны с сербскими картинами прошлого и настоящего, с войной 1914 г. и приемом русских братьев. Представлена живая связь русского и сербского народов.

И в то же время пьеса выстроена четко и имеет свою весьма упорядоченную структуру. В центре две сюжетные линии: одна (русская) развертывается в обстановке германской и гражданской войн и представлена в разговорах русских солдат, вырванных из патриархальности деревенской жизни на войну; вторая — в разговорах обитателей сербского села в австро-венгерском Банате о мелочах той же самой крестьянской жизни. Скрещение действия происходит после решения властей принимать русских военнопленных для работы в сербских хозяйствах; в нашем случае — русского Алексея, принятого одной из семей, чей сын был призван на фронт сражаться с русскими.

Этот простенький сюжет расцвечен различными судьбами действующих лиц и, конечно, любовью. Именно она представляет собою движущую силу, мотор действия пьесы.

И невозможно не повторить снова: украшение пьесы — изумительный ее язык, не тот городской, обычный, обыденный и, честно говоря, скучный, а настоящий, пышущий самобытностью слова, сильный и яркий именно своей вневременной прочностью. Украшением пьесы служат и многочисленные сценки, высвечивающие психологию крестьянина, сельской жизни, наполненные грубоватым юмором и картинами глубокого горя.

И еще: снова о языке. Достаточно хорошо владея сербским языком, подчеркнем, что автору удалось блестяще представить русский язык простонародья. Колорит сцен, разговоров, монологов, начиная от личного отношения к войне, в стиле Гашека, до изъяснений любви, позволяет даже где-то приблизиться к пониманию тайны русской души.

Все это вместе создает удивительную пеструю картину нашего славянства, братства не декларативного, а наполненного правдой жизни, быта, истории.

М.Г. Смольянинова

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК И РОССИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ БОЛГАРСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Болгарский народ в своих сказках и других произведениях фольклора называл Россию «дедом Иваном». Это имя стало символом веры и надежды болгар на освобождение с русской помощью от турецкого ига. Происхождение этого собирательного образа восходит ко времени правления Ивана III и Ивана IV. В конце XIV в. Болгария исчезла с карты Европы, она была завоевана Османской империей. Взоры многих болгар устремились на север, к России, откуда они ждали избавления от османского нашествия. Образ деда Ивана ассоциировался с идеей освободительной миссии России. Укреплению веры болгар в возможность такой помощи способствовали политические успехи Москвы, ликвидация татарского владычества в России при Иване III и завоевание Казани и Астрахани Иваном IV. Именно в это время у болгарского народа и родилась легенда о могучем «дядо Иване», который поможет Болгарии обрести свободу. Эта вера никогда не покидала болгарский народ, придавала ему силы и мужество в борьбе с поработителями. Во время русско-турецких войн (1828–1829 и 1853–1856 гг.) имя деда Ивана звучит не только в фольклоре, но и в литературе, в документалистике. Болгарский писатель эпохи национального Возрождения Илия Блысков восторженно реагировал на появление в 1854 г. русских войск в родном городе Тутракане: «Какая радость для болгарского населения, которое ныне видит промеж себя русское воинство. То, что предсказывали наши отцы и деды по поводу Дядо Ивана, то, что мы считали сказкой,

сном, сегодня это произошло на наших глазах. О, радость, радость!» Порой в болгарских народных песнях образ России запечатлевался как образ матери-заступницы, могучей, непобедимой силы. Большой популярностью пользовались у болгар правители России: Петр I, Екатерина II («царица Катерина»), Николай I, Александр II. Их портреты тайно хранились в болгарских домах рядом с иконами в киотах (о чем свидетельствовали Дмитрий Миладинов, Любен Каравелов, Иван Вазов).

Писатели эпохи Возрождения почитали не только правителей России, но и ученых, способствовавших возрождению болгарской нации. Это относится прежде всего к Ю.И. Венелину, который своими работами, написанными образно, страстно, напомнил о славном прошлом болгар как россиянам, так и самим болгарам, дабы пробудить их национальное самосознание, любовь к Отечеству. Писатели болгарского Возрождения Любен Каравелов, Райко Жинзифов, Анастас Кипиловский, Васил Априлов, Неофит Рильски, Георгий Раковский, Васил Друмев, Добри Войников, Петко Рачев Славейков и другие прекрасно знали произведения Юрия Венелина и активно использовали его идеи в своем творчестве, просветительской деятельности, национально-освободительной борьбе. Для них сочинения Венелина, по существу, стали программой действий по возрождению болгарской нации и ее культуры. Образ Юрия Венелина, боготворимого болгарскими писателями, прочно вошел в поэзию эпохи Возрождения. Еще при жизни ученого Георгий Пешаков написал «Оду Юрию Ив. Венелину» (1837), которую послал и самому герою. Пешаков восхищается заслугами ученого:

Тебе, Юрий Венелине,
Всите чада болгарски
Благодарност ти приносят
Все сердечни, роднински.

Что любов ти си показал
Да пишеш нихен род,
Откаде си ясно теглят,

Чи славянски са народ.

Тебе, Юрий Венелин,
Все дети Болгарии
Приносят благодарность
Сердечную, родственную.

За то, что ты с любовью
Пишешь об их роде.
Твои сочинения ясно

показывают,

Что болгары — славянский
народ.

Името ти да остане
Безсмъртно, прославено
И от всички чади нейни
Век незабуравено

Имя твоё останется
Бессмертным, прославленным,
И все дети Болгарии
Никогда не забудут тебя.

В 1839 г. Пешаков посвятил Венелину второе стихотворение — «Плач на смерть Ю.И. Венелина», в котором выразил беспредельную боль, глубокое потрясение в связи с безвременной кончиной ученого:

Плачете, ридайте
Вси болгарски чада!
Изгубихме вечно
Юрия Венелина
Наш премудрий брат
Но на вечний спомен
В нашите сердцага
Неговото име
Ще би безсмъртно
Яко и умрял.

Плачьте, рыдайте,
Все болгарские дети!
Потеряли мы навсегда
Юрия Венелина,
Нашего премудрого брата,
Но в наших сердцах
Навсегда останется
Память о нем,
Его имя бессмертно,
Хотя он и умер.

Горе так велико, что поэт гневно обвиняет силы небесные, отнявшие едва взошедшую на мрачном болгарском небосклоне звезду — Юрия Венелина. Но поэт не только скорбит, он лелеет надежду, что его соотечественники последуют по пути, начертанному ученым — по пути Просвещения. Это стихотворение получило широкую известность среди болгарских читателей. Оно неоднократно публиковалось в различных журналах и книгах. Кроме того, читатели переписывали его, распространяли в рукописях. Сочинения Юрия Венелина способствовали пробуждению у болгарских писателей интереса к национальной истории. Отзвуки идей, суждений Венелина можно обнаружить не только в трудах болгарских историков XIX в. (С. Палаузова, М. Дринова), но и в произведениях драматургов, поэтов, прозаиков. Болгарский просветитель А. Кипиловский называл Венелина «бессмертным возобновителем болгарского существования».

Неофит Бозвели (1785–1848) — учитель, священник, организатор борьбы за самостоятельность болгарской церкви, стихотворец, автор учебников и диалогов призывал российского императора Николая I и русский народ помочь единой, несчастной сестре Болгарии освободиться от рабства:

О, русский цару, Николае честитий
И ти, русский народе, славний и знаменитий
Помогнете на ваша бедна сестра Болгария —
Тя не е чуждо племе или от Татария —

Но ваша е чиста сестра сродна и мила,
И сега е и от старо време така е била.

О, русский царь, Николай Достославный,
И ты, русский народ, славный и знаменитый,
Помогите вашей бедной сестре Болгарии —
Она ведь не чуждое племя, не Татарин —
Но ваша близкая сестра, родная и милая,
И сейчас, и в прежние времена так было.

В 40–70-е гг. XIX в. все больше болгар едет учиться в Россию (в этот период около семисот болгар закончили русские учебные заведения). Они учились в Одессе, Херсоне, Николаеве, Киеве, Москве и других городах. Болгарский поэт Добри Чинтулов (1822–1886) учился в Одессе (1840–1843), позднее закончил херсонскую духовную семинарию (1849). Поэт вспоминал, что под прямым воздействием стихотворения славянофила А.С. Хомякова «Орел» (1832), в котором звучал призыв к объединению славян, он написал песню «Восстань, восстань, юнак балканский» (1849), где выражена та же идея:

Поднявшись, сербы, черногорцы
Помогут нам сражаться тут,
И с севера на помощь скоро
Герои русские придут.

Бунтарские песни поэта («На Балканах», «Где ты, верная любовь народная?») отличает прямое, экспрессивное выражение освободительных идей. Песни Чинтулова стали гимнами освободительной борьбы и распевались по всей Болгарии.

Одним из основных культурно-просветительских центров болгарского Возрождения за пределами Османской империи была Москва. Болгары — воспитанники московских учебных заведений стали крупными писателями и критиками, учителями и учеными, общественными, культурными и политическими деятелями. Среди них Н. Бончев,

М. Дринов, Р. Жинзифов, Л. Каравелов, К. Миладинов, Н. Михайловский, В. Попович, Г. Бусилин, С. Филаретов и многие другие. В Московском университете учился Никола Катранов, ставший прототипом Инсарова в романе И.С.Тургенева «Накануне». В 40–70-е гг. XIX в. в Москве обучалось более ста болгар, которые, как правило, получали материальную поддержку со стороны государственных учреждений и общественных организаций. Москва в середине XIX в. была одним из центров болгарского книгопечатания. Здесь были опубликованы на родном языке книги Г. Бусилина, К. Миладинова, Р. Жинзифова и др. В Москве же увидел свет и ряд книг болгарских авторов на русском языке. Многие болгары были тесно связаны с представителями московской профессуры (М.П. Погодин, О.М. Бодянский, С.П. Шевырев и др.), славянофильства и других общественно-политических течений. Большую помощь болгарам, стремившимся получить образование, оказывали славянофилы, которые поддерживали студентов, оказывая им материальную помощь, помогая советами, изданием их трудов.

Славянофилы волновали судьбы поработанных славян. А.С. Хомяков сражался за освобождение болгарских земель во время русско-турецкой войны 1828–1829 гг., а И.С. Аксаков — в период русско-турецкой войны 1853–1856 гг. (он был добровольцем в составе Серпуховской дружины). Думается, это не случайно. Они рисковали своими жизнями ради освобождения православных славян от турецкого ига. В 1858–1859 гг. Аксаков был редактором журнала «Русская беседа». В этом журнале в 1859 г. он опубликовал произведение Василя Поповича «Отрывок из рассказов моей матери. Поездка в виноградник». В 1861–1865 гг. Аксаков редактировал газету «День», в 1867–1868 — газету «Москва». В этих изданиях сотрудничали болгары Р. Жинзифов, Т. Минков, К. Станишев, Т. Бурмов, Т. Запрянов, С. Палаузов.

В 1858–1878 гг. И.С. Аксаков пользовался большим влиянием как один из руководителей Московского славянского благотворительного комитета, куда входили и купцы-староверы, чьи православно-державные взгляды сблизились со славянофильскими в 50–70-е гг. XIX в. Они финансировали славянофильские газеты и журналы.

В славянофильских изданиях часто публиковались болгарские студенты, учившиеся в Москве. Болгарский поэт, публицист, общественный деятель Райко Жинзифов (1839–1877) учился в Московском университете (1860–1864 гг.), а позднее (с 1866 г.) стал гражданином

России; учебу поэта оплачивал Славянский благотворительный комитет, чьим стипендиатом он был. 28 октября 1861 г. в аксаковской газете «День» (№ 3) было напечатано «Письмо одного из учащихся в Москве болгар к редактору» (написанное по прочтении первого номера газеты «День») — первая газетная публикация Райко. В письме студент сокрушается, что русская общественность почти ничего не знает о болгарях, и выражает надежду на сближение славянских народов. Он подчеркивает, что «все славянские племена имеют хорошее понятие о русских, которых считали и еще считают за будущих освободителей своих от чужого ига». Жинзифов писал о болгарях и русских: «Слава Богу, думаешь сам собою: мы дети одной и той же матери, мы ветви одного и того же корня»¹. В университете научным руководителем Райко был известный славист, профессор Осип Максимович Бодянский, в архиве которого сохранились курсовые работы студента Жинзифова. Юноша был членом Московской болгарской дружины (объединение обучающихся в России болгар), которая ставила своей целью знакомить русских с жизнью соотечественников, содействовать развитию болгарской литературы, призывать болгарских юношей в Россию для усовершенствования в науке. В эту дружину входили также Л. Каравелов, К. Миладинов, Х. Даскалов, Н. Бончев, Г. Теохаров, В. Попович и др. На собраниях дружины обсуждались произведения ее членов, изучались филологические, социальные, политические вопросы. Дружина издавала журнал «Братский труд» — «Братски труд» (1860–1862), который выходил на болгарском языке. Райко опубликовал в этом журнале ряд патриотических стихотворений, рассказ «Прогулка», статью «Два слова к читателям». Он был не только автором, но и редактором журнала. Жинзифов сблизился в Москве со славянофилами (И.С. Аксаковым, Н. Поповым), которые оказывали ему и материальную, и моральную поддержку. Иван Аксаков высоко ценил талант Жинзифова и считал, что этим питомцем Московский славянский комитет может по праву гордиться.

Первую свою книгу «Новоболгарский сборник» («Новобългарска сбирка») Жинзифов опубликовал в Москве в 1863 г. на родном языке. Эта книга содержит как оригинальные стихотворения поэта, так и переводы в стихах отрывков из «Слова о полку Игореве», «Краледворской рукописи», произведений Тараса Шевченко. Стихи Райко Жинзифова и его поэма «Кровавая рубашка» («Кървава кошуля», 1870),

¹ Жинзифов Р. Публицистика. София, 1964. С. 34.

написанные в романтическом духе, отражали тяжелую судьбу болгарского народа под османским игом.

Р. Жинзифов принимал участие во многих культурных начинаниях болгарской и русской интеллигенции. В мае 1867 г. в Москве состоялся первый Славянский съезд, на котором поэт проявил себя как блестящий оратор, он произнес пламенную речь, нашедшую живой отклик у слушателей. «Братья русские, — обращался к присутствующим Жинзифов. — Неужели же вы, могущественные и крепкие духом и телом, позабудете этот многострадальный болгарский народ, находящийся с лишком пять столетий под ненавистным ярмом свирепых и кровожадных турок? («Нет, нет, не забудем!» — ответствовала публика). Неужели вы <...> не подадите руку помощи страждущему болгарскому народу? («Да, да, мы ему поможем!» — вновь бурно реагировали слушатели)¹.

Ф.И. Тютчев писал в стихотворении «Славянам», которое было обращено к участникам Славянского съезда:

Но все же братья мы родные...
Вот, вот что ненавидят в нас:
Вам — не прощается Россия,
России — не прощают вас!

Будучи глубоким знатоком славянского вопроса, его места в российской и европейской политике, Тютчев считал необходимым условием возрождения и освобождения славян их единение.

Любен Каравелов (1834–1879) приехал в 1857 г. в Москву, где прожил почти 10 лет (1857–1866), сыгравших важную роль в формировании его мировоззрения, в пробуждении интереса к литературе. Серьезное знакомство с русской художественной литературой и эстетической мыслью, несомненно, отразились на идейно-творческих позициях болгарского писателя. В 1858 г. Любен стал вольнослушателем историко-филологического факультета Московского университета. В течение пяти лет он получал стипендию члена Славянского благотворительного комитета В.А. Кокорева. В 1861 г. он выпустил в Москве сборник «Памятники народного быта болгар», в котором были представлены сказки, пословицы, поговорки, описаны народные обряды, поверья, обычаи. В работе над этой книгой ему помог русский этнограф, публицист, историк, участник революционного

¹ Там же. С. 172.

движения Иван Прыжов. В 1868 г. в Москве вышел сборник повестей и рассказов Л. Каравелова «Страницы из книги страданий болгарского племени». В посвящении к своей книге Л. Каравелов написал: «Эти слабые очерки быта несчастной моей родины писаны мною на Руси, и теперь я братски посвящаю их тем русским людям, сердцу которых близко великое дело славянской свободы». Проза Каравелова представляет собой художественную летопись эпохи национального возрождения. Из русских воспитанников выросли в высшей степени богатые в интеллектуальном отношении творцы, которые сыграли выдающуюся роль в формировании болгарской культуры как в эпоху Возрождения, так и в период после освобождения Болгарии. Их произведения вошли в золотой фонд болгарской классики.

Болгарский поэт и общественный деятель Петко Рачев Славейков (1827–1895) в своей поэзии выражал надежду болгар на помощь России в освобождении отчизны от османского гнета. В марте 1877 г. он написал стихотворение «Вярата и надеждата на българина към Русия» («Вера и надежда болгар на Россию»):

Руский цар е на земята
най — велик, над всички пръв;

русците са наши братя,
наша плът и наша кръв.

Кат Русия няма втора
тъй могуща на света;
тя е нашата подпора,
тя е нашта висота.

Руска сила, руска воля,
руска кръв и руский пот,
ще избавят от неволя
наший падналий народ.

Нам Русия е надежда;
Руский цар е нашый спас,
Никой друг не ни поглежда,
Не помисля зарад нас.

Руский царь на земле
Самый великий, над всеми
возвышается,

Русские — наши братья,
Наша плоть и наша кровь.

Нет второй такой на свете,
Как Россия;
Она наша опора,
Она наша вершина.

Русская сила, русская воля,
Русская кровь и русский пот
Избавят от неволи
Наш несчастный народ.

Россия для нас — надежда;
Русский царь — спаситель,
Никто другой и не взглянет на нас,
Не подумает о нас.

Род и вяра е идея
За Русия най — свята;
Нейний подвиг е за нея;
Благородна и целта¹.

Род и вера — вот идея,
Самая святая для России;
Благородна ее цель,
Подвиг она совершит ради этой идеи.

Этот поэтический гимн России, русскому народу завершается мольбой, обращенной к русскому царю: «О, будь нашим покровителем, и защитником и спасителем!» После победоносного завершения русско-турецкой освободительной войны Петко Славейков в одном из стихотворений 1882 г. подчеркивал: «Россия своею кровью завоевала для нас свободу».

Патриарх болгарской литературы Иван Вазов (1850–1921) наиболее яркие произведения, посвященные России и русскому народу, опубликовал в поэтической трилогии, изданной в 70-е гг. XIX в. Речь идет о первых трех поэтических сборниках поэта: «Знамя и гусли» (1876), «Печали Болгарии» (1877), «Избавление» (1878). Тема России в этой трилогии занимает особое место. В 1876 г. Вазов, являясь членом болгарского благотворительного комитета эмигрантов (в ту пору он жил в Румынии, в эмиграции, и все три сборника вышли в Бухаресте), подписал телеграмму на имя императора Александра II, в которой выражалась надежда на избавление Болгарии от иноземного рабства с помощью России. Эта же надежда выражена и в ряде стихотворений поэта. В поэтическом сборнике «Печали Болгарии» Вазов с болью и гневом осуждал зверства турок, разгромивших Апрельское восстание 1876 г., учинивших резню населения в Батаке, спаливших дотла многие села и города, убивших тысячи болгарских детей, женщин и стариков. «Муками ада», «Голгофой» называл Вазов османское иго. В описании им общенациональной трагедии ощутим эпический размах. В стихотворении «Жалобы матерей» он писал:

Видел ты, как душегубы
На глазах у матерей
Малых деток саблей рубят
И бесчестят дочерей?

(Пер. П. Железнова)

¹ Славейков П.Р. Събрани съчинения в 9 тома. Т. 1. София. С. 84.

Будучи свидетелем жесточайшего подавления Апрельского восстания 1876 г., Вазов призывал Россию помочь своим соотечественникам:

Как мы долго страждем,
Горем край объят.

Братья, ну когда же
Пушки загремят?¹

(Пер. В. Луговского)

В стихотворении «Россия», написанном в ноябре того же года, за пять месяцев до начала русско-турецкой освободительной войны, поэт вновь взывал о помощи:

По всей Болгарии сейчас
Одно лишь слово есть у нас,
И стон один, и клич: Россия!

И мы тебя зовем святой,
И как сыны тебя мы любим,
И ждем тебя мы, как Мессию
Ждем, потому что ты Россия!²

(Пер. Н. Тихонова)

И Россия откликнулась на стон и клич Болгарии. После апреля 1876 г., когда антитурецкое восстание болгар было потоплено в крови, все слои русского общества объединяло «прекрасное и великодушное чувство бескорыстной помощи своему брату, распятому на кресте», как говорил Достоевский. 12 апреля 1877 г. Россия объявила войну Османской империи. Русский народ был единым (от мужика до царя) в своем стремлении помочь угнетенным болгарам. Мой прапрадед — предприниматель и меценат Т.С. Морозов — входил в состав Московского славянского комитета, был членом Болгарской комиссии (вместе со славянофилом И.С. Аксаковым). Он пожертвовал крупную сумму

¹ Вазов И. Сочинения: В 6 т. Т. 1. М., 1956. С. 132.

² Там же. С. 120–122.

на обмундирование для 6 тысяч болгарских ополченцев, финансировал «Болгарскую дружину» воинов-старообрядцев, сражавшихся на Балканах¹.

В сборнике И. Вазова «Избавление» выражено ликование болгарского народа и его признательность русским, освободившим Болгарию. В сущности, эта книга является поэтической летописью русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В стихотворениях «Плевен пал», «Здравствуйте, братушки!», «Пушки загремели» и других воспета слава русскому оружию. Наблюдая за историческим продвижением русской Дунайской армии под управлением главнокомандующего великого князя Николая Николаевича (сначала по Румынии, а затем по Болгарии), Вазов воссоздает поэтическую хронику войны. Этот период поэт называет величайшей эпохой для болгар. По художественному осмыслению Вазова, литература — это и летопись национальной судьбы. Он подчеркивал, что, пока другие молчат, он должен писать, хотя для данной эпопеи нужны Гомер, Пушкин и Тассо.

Ряд стихотворений поэт посвящает членам императорской фамилии. В «Оде императору Александру II», написанной по случаю триумфального въезда царя в Бухарест в июне 1877 г., поэт в духе классицизма воспевает героя, идущего в бой не для порабощения Болгарии, а для ее освобождения. Он сравнивает русского императора с солнцем, излучающим надежду, испепеляющим рабские цепи. Александру II, который провел в Болгарии полгода во время войны, посвящены также стихотворения «Царь в Свиштове», «Царь в селе Бяла» (оба — Свиштов, 1877). Главнокомандующему Дунайской армии посвящено стихотворение «Николай Николаевич» (Бухарест, май 1877).

Если оды, посвященные членам императорской фамилии, величавы и торжественны, то стихи Вазова о погибших русских солдатах наполнены болью и состраданием. В стихотворении «Погребенные солдаты», опубликованном в сборнике «Избавление», поэт скорбит о гибели освободителей:

В один могильный дом
Троих их положили,
В сырой земле зарыли.
И здесь спокойным сном
Бойцы навек почили.

¹ ЦИАМ. Ф. 357. Оп. 1. Д. 18. Л. 11–14, 18.

Но спят холодным сном,
Безвестны и бездомны,
Они в могиле темной.
И некому о том
На всей земле напомнить¹.

(Пер. В. Журавлева)

Поэт ощущал боль оттого, что тысячи русских солдат и офицеров погибли и никогда не увидят своих детей, жен, матерей, никогда не вернуться в Россию. Особенно остро выражено это чувство в стихотворении «Прогулка в Банясы», написанном в начале русско-турецкой войны (июнь 1877). На фоне ослепительно красивой природы поэт видит русскую конницу:

Неслись они с песней веселой, лихой,
Как будто на свадебный пир, а не в бой.
И, глядя на грозные те эскадроны,
На бравых драгун и уланов колонны,
На лавы казаков, готовых на бой,
Свободных, как небо, как ветер степной,
Подумал, что все они с дерзким бесстрашьем
Идут умирать за Болгарию нашу,
Подумал и — глядя на них и вокруг —
Заплакал я вдруг!²

(Пер. П. Железнова)

Вазов — истинный поэт, утонченная натура, из очей его льются слезы в предчувствии гибели русских воинов, которые сложат свои головы на алтарь болгарской свободы. В произведениях его находят отражение универсальные идеи христианства (о добре и зле в этом мире, о христианской культуре, об отношениях Бога и человека). Иван Вазов верил, что освобождение Болгарии русскими — это Божий промысел. В стихотворении «Здравствуйте, братушки» (1878), напечатанном в сборнике «Избавление», мать говорит сыну о русских: «Это их послал сам Бог, чтобы нам помочь, сынок». Тот же мотив звучит

¹ Вазов И. Сочинения. Т. 1. С. 150.

² Там же. С. 137.

в стихотворении «Плевен пал» (29 ноября 1877 г.) и в «Оде императору Александру II» («Бог передал в твои руки нашу судьбу», — обращается поэт к герою оды).

Подобный мотив встречается и в поэзии П.Р. Славейкова, писавшего в стихотворении «Болгарин верит в Россию и надеется на нее» (1877) о том, что «Бог поддерживает спасительную руку России, вложив в нее меч отмщения».

Болгарский прозаик и драматург Васил Друмев (1841–1901), окончивший Одесскую семинарию (1858–1864), а затем Киевскую духовную Академию (1865–1869), во время освободительной русско-турецкой войны 1877–1878 гг. был епископом Русенской епархии и ее управляющим. Перед началом войны первый секретарь русского консульства Крылов, посетив Друмева, тайно сообщил ему, что Россия готовится объявить войну Турции, и предложил немедленно покинуть Болгарию, перебраться в Бухарест, в русский генеральный штаб. Это заманчивое предложение, сулившее безопасность, Друмевым принято не было: он считал, что покинуть родину в столь трудные для нее времена — бесчестно. Писатель и духовник был убежден, что и для русских, и для соотечественников он будет полезнее, находясь в осажденном городе. И он не ошибся. Болгары помогали русским, сообщая им сведения о состоянии русенской крепости, о силах турецкого гарнизона. В городе Русчук действовал Болгарский комитет, в котором участвовал и епископ Климент Браницкий. Он посылал русским сведения через болгар, переодетых женщинами. Писатель и общественный деятель Захарий Стоянов, осуждавший болгарское духовенство за пособничество туркам во время войны, подчеркивал, что исключение составлял епископ Климент (Васил Друмев), проявивший мужество и гражданственность, имеющий большие заслуги перед болгарским народом. Когда Русчук взяли русские войска, генерал Эдуард Тотлебен 24 февраля 1878 г. был торжественно встречен делегацией жителей города во главе с епископом Климентом. Затем командование русских войск было приглашено на благодарственный молебен в соборную церковь Св. Троицы. Там епископ Климент Браницкий произнес на русском языке речь:

Итак, наше горячее желание исполнилось. После долгих ожиданий и сомнений, после долгих страданий и страха, мы, наконец, видим Вас, храбрые и благородные Российские воины, посреди нас, и Вы приносите нам желанный мир. Слава и благодарение Всеблагому

Богу, который по великой своей милости, сподобил нас дожить до этой счастливейшей минуты. Правда, мы не знаем еще условий мира, который Вы нам приносите, но мы знаем, что Вы пришли к нам «во имя Господне», то есть во имя той евангельской любви, которая водворит у нас мир, спокойствие и счастье; мы знаем, что Император Всероссийский, Великий Царь-Освободитель благоволил посетить нашу несчастную Болгарию, разделил вместе со своими возлюбленными детьми и храбрым своим воинством все опасности войны для того, чтобы облегчить нашу злую участь, сделать нас свободными, счастливыми; мы знаем, наконец, что храброе Российское воинство перенесло много трудов и лишений, пролило много драгоценной крови для нашего освобождения. А зная все это, мы не можем не радоваться от глубины души, видя Вас между нами, не можем не благодарить Бога за это в самом деле великое счастье, не можем не благословлять Святую Русь и ее Великодушного Императора. Только простите нас, если мы не умеем встретить Вас, дорогие гости, так, как Вы заслуживаете и как бы нам хотелось. Нам хотелось бы обнимать Вас, как друзей, целовать Вас, как братьев, радоваться Вам, как нашим благотворителям, удивляться Вашей братской любви к нам. Но все это не выскажет той глубочайшей признательности, которою преисполнены сердца наши к Великому Царю-Освободителю, к Вам, храбрым российским воинам, и ко всему Русскому народу. Дело, совершенное Вами по мановению Великого Александра II, так велико, свято и благородно, а последствия этого великого дела, как мы предполагаем, будут так благотворны для нас и для будущих наших поколений, что мы теперь можем только благоговеть перед этим великим делом, благословлять Святую Русь, плакать и радоваться. Мы здесь, во святом Храме Божиим, встречаем Вас только скромным благословением церковным и молитвословием за Царя-Освободителя и за всю Россию. Не удивляйтесь, если Вас на улицах и в домах будут встречать только словами «добре дошли» («Добро пожаловать»). Это простые слова, но они произносятся из глубины души; не удивляйтесь, если заметите, что многие в молчании и со слезами на глазах будут смотреть на Вас, когда Вы будете проходить мимо них: это слезы радости и счастья; не удивляйтесь, если при встрече с Вами многие будут делать крестное знамение: это — призывание на Вас благословения Божия¹.

¹ *Климент Браницкий и Търновский (Васил Друмев)*. Документи и материали / Съставителство М. Смольянинова. София, 2005. С. 69–70.

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. была святой, альтруистической войной, одной из немногих справедливых войн в истории человечества. Русские воины, освободившие болгар от турецкого ига, были, по мнению Вазова, «рыцарями добра». Погибло 200 тысяч русских солдат, офицеров, врачей, сестер милосердия, но «дядо Иван» выполнил свою историческую миссию. После 500 лет небытия воскресла Болгария.

3.

**ПРОТИВОРЕЧИЯ XX ВЕКА
И ИХ ПРОЕКЦИИ В СОВРЕМЕННОСТЬ**

Л.Н. Будагова

РУСОФИЛЬСКИЕ И РУСОФОБСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЧЕШСКОМ ОБЩЕСТВЕ И КУЛЬТУРЕ. XIX–XXI вв.

Эту статью хотелось бы начать с высказывания моравского режиссера Владимира Суханека (р. 1949), выпускника московского ВГИКа, учившегося там в 1975–1980 гг.: «Россию можно любить или ненавидеть. Кто думает, что она ему безразлична, тот эмоциональный инвалид»¹. С категоричностью первой части этого суждения стоит поспорить, заменив союз «или» на «и». Россию могли (и могут) любить и ненавидеть одновременно как в масштабах воспринимающей стороны в целом, так и ее отдельными субъектами, проявляя противоречивые чувства к разным сторонам и событиям ее жизни. Только соотношения и мотивы любви и ненависти к ней меняются. В разные времена здесь происходит своя игра света и тени. Что касается общественных настроений и настроений деятелей культуры, то они тоже не были ровными и одноцветными на протяжении обозреваемых столетий.

Так, даже в годы расцвета русофильства, характерного для эпохи чешского национального возрождения, для рубежа XIX–XX вв. и первых десятилетий XX в., раздавались скептические голоса в адрес России, например, поэта Карела Гавличека-Боровского или позже Томаша Г. Масарика. Однако их нельзя аттестовать как проявление русофобии. В таком случае чешский сатирик не выступил бы одним из первых в мире, еще при жизни Гоголя, переводчиком его

¹ *Suchánek V. Počátek cyklonu // NaPrůPo ZOR NA RUS. Proměny českého pohledu na Rusko. Uspořádal Martin Gaži. Tanvald, 1996. S. 157.*

произведений на иностранные языки. Будущий президент Чехословакии Масарик не совершил бы паломничества в Ясную Поляну, ко Льву Толстому, а став первым лицом своего государства, не поддержал бы морально и материально русскую послереволюционную эмиграцию.

«Золотым веком» русско-чешских взаимосвязей, основанных на интересе двух народов к другу другу, а также к культурной жизни обоих, когда соотношение русофильских и русофобских тенденций складывалось в пользу первых, бесспорно можно считать XIX столетие. Общеизвестно, что славяне, находившиеся под властью Османов и Габсбургов, видели в России надежду на освобождение и свидетельство полноценности славянства, занимавшего — в лице Российской империи — сильные позиции в Европе. Пусть к тому времени из славян этого добился один лишь русский народ (некогда на тех же позициях до трех разделов Польши находился и народ польский), но принадлежность русских к славянскому этносу поднимала их авторитет.

Разумеется, и тогда (как, впрочем, и всегда) на солнце русофильства были пятна, но не отрицания, а скорее трезвого взгляда на великую страну. Оставив в стороне уже упомянутых К. Гавличека-Боровского и Т.Г. Масарика, так как о них в этом сборнике есть специальные статьи, приведем высказывания Франтишека Палацкого (1863) и Йозефа Вацлава Фрича (1868), отмечавших определенную отсталость современной им России, но предсказывавших ее грядущее развитие. «Русские — это могущество, которое базируется на природных основах, еще недостаточно развитых, но способных развиваться и достичь расцвета, налегая телом своим прямо на Европу, эту величину неизмеримую» (Ф. Палацкий)¹. «У России будет будущее, но только через два-три столетия» (Й.В. Фрич)². Со времени этих высказываний прошло меньше двух столетий, так что у России еще все впереди.

Надо отметить, что деятели чешской культуры XIX в., большинство которых разделяло идею славянской взаимности, с тревогой наблюдали за драматизмом русско-польских отношений. Многие сочувствовали полякам, их борьбе за свободу и воссоединение польских земель. Среди сочувствующих были и завзятый русофил Франтишек Ладислав Челакowski, и романтик Карел Гинек Маха, который в качестве эпитафий

¹ Цит. по: NaPrůPo ZOR NA RUS. Proměny českého pohledu na Rusko. S. 47.

² Ibid.

к своему роману «Цыгане» использовал фрагменты из произведений польских писателей, изучал польский язык, помогал вместе с друзьями польским беженцам — после разгрома в царской России польского восстания 1830–1831 гг. Однако самые горячие чешские поборники славянского единства отрицательно относились к русско-польской вражде, призывая соотечественников не поддерживать ни одну из сторон, поскольку «и те и другие скорее могильщики, чем защитники общеславянской идеи», а выступать в роли миротворцев. Так, Йозеф Первольф (1841–1891), чешский славист, доцент русистики в Варшавском университете, автор неоконченного четырехтомного труда «Славяне, их взаимные отношения и связи» (1886–1893), считал, что бесспорно есть основания для «защиты поляков от русского правительства» (именно правительства, а не народа) и русского народа от поляков. Он осуждал русификацию поляков (изгнание польского языка из школ и управ в Королевстве Польском, запрет на национальные костюмы, на публичное использование польского языка и другие меры, унижающие достоинства польского народа), однако признавал, что и последние угнетают украинцев и литвинов точно так же и что польская диаспора в Европе старается сделать все, чтобы оклеветать русский народ, представить его не славянами, а «монгольской мешаниной, не способной к просвещению, которая угрожает европейской образованности и поэтому должна быть вытеснена в Азию»¹. «Поляки, вступая в союз с немцами, мадьярами и турками, усиливают враждебные славянству начала, с которыми западные и южные славяне ведут из века в век борьбу. Поэтому и поляки ослабляют и разъединяют славян, и в этом отношении стоят в одном ряду с самыми ярыми нашими врагами. Мы отметили ошибки как русских, так и поляков. Имея основания критиковать и тех и других, нам, чехам, не подобает принимать одну сторону. Наша задача — мирить, действовать в пользу всего славянства, а значит, и в пользу своего народа, чтобы разрешить польско-русский конфликт, который является кровоточащей раной, обессиливающей правую руку Славянства»².

Большое значение для пробуждения (укрепления) тех или иных чувств к России имели поездки чехов в нашу страну. Более низкий уровень жизни русского народа тогда еще как-то не слишком бросается в глаза приезжающим в Россию чехам. Многие отмечают русское гостеприимство и хлебосольство, делая сравнения не в свою пользу. «Ешь

¹ *Perwolf J.* Hlas o jednotě slovanské // NaPrůPo ZOR NA RUS. Proměny českého pohledu na Rusko. S. 49.

² *Ibid.* S. 50.

и пей, не стесняясь!» — вот принцип того славянского гостеприимства, которое у нас уже вымерло»¹, — пишет своим родителям из Петрограда домой, в Чехию, 2/14 мая 1869 г. чешский русофил Эдуард Валечка (1841–1905), издатель Славянской библиотеки, автор книг «Картины русской истории» («Obrazy z dějin ruských», Прага, 1872; 1902), «Очерк истории и литургии православно-католической церкви в России» («Nástin dějin a liturgie pravoslavnokatolické cirkve v Rusku», Прага, 1872), «Чех в России. Чешско-русский разговорник и специальные словари» («Čech v Rusku. Praktické rozmluvy česko-ruské a slovníčky odborné», Прага, 1872). Он предпринял целое путешествие из Петрограда в Москву, а также на Кавказ, через Нижний Новгород, Казань, Ростов, Таганрог, — для агитации чешских переселенцев уезжать не в Америку, а в Россию.

Тот же Валечка отмечает и дружелюбную обстановку в православных церквях, где «швейцары» (т. е. слуги, отставные солдаты) гораздо более вежливы и не столь недобропорядочны на взимание денег, как наши церковные сторожа»².

Тем не менее приезжающие с Запада чехи прекрасно осознают свою принадлежность к более цивилизованному и образованному народу, чем многие другие, в том числе и россияне. В России «в народ еще не проникла искра желания посылать своих сыновей учиться. Познав мир, могу быть уверен, что мы, чехи, дальше и выше стоим, чем другие. И здесь, утверждаю, пользуемся кредитом доверия. Нас уважают, особенно тех, которые не просят средств к существованию, прежде чем не добьются их сами» (Э. Валечка)³. И еще одно высказывание от 1864 г. переселенца Антонина Власака: «Наша Чехия — просто золото по сравнению с Россией! Отродясь не видел столько беспорядка, как в Польше (имеются в виду земли, вошедшие в Россию. — Л.Б.), везде и всюду, такую грубость и суровость, такую грязь, которая не поддается описанию»⁴.

Многих путешественников XIX в. поражают размеры России, ее необъятные просторы, широкие реки, густые леса. Кстати, они не перестанут поражать чехов и в будущем. «Россия, какой она видится из самолета, пугает своим пространством и пустотой», — напишет Франтишек Галас в 1947 г. Еще раньше, в начале 1930-х гг., она поражала, но

¹ Dopis z Petrohradu // NaPrůPo ZOR NA RUS. Proměny českého pohledu na Rusko. S. 54. Информацию о Э. Валечке см.: Ibid. S. 59.

² Ibid. S. 55.

³ Ibid. S. 56.

⁴ Ibid. S. 59.

не пугала, а восхищала своими просторами Марию Пуйманову и других паломников в СССР. Но вернемся в век XIX-й. Руководствуясь именно ландшафтно-географическими принципами, Ф.Л. Челаковский, как известно, выводил эпичность русской и лиричность чешской поэзии из свойств русской и чешской природы.

С природой, с «обстановкой», а не с расовыми признаками связывает Йозеф Голечек особенности русского характера и загадочной русской души. Сравнивая «национальный характер серба и русского», он считает, что «дух сербский, формировавшийся по соседству со странами классическими, ясный и прямой как молния, прозрачный и простой, легкопроницаемый, что не означает, что ему несвойственны ошибки; русский же, наоборот, по-северному туманный, свившийся как клубок и очень сложный». И далее: «Дух сербский растет в вышину, как Балканские горы, русский — в ширину, в бесконечную ширь, как неоглядные степи двух миров. Мысль сербская — ясная, как южное небо, мысль русская редко и на короткое время достигает такой ясности, обычно она движется с трудом, как туман на синем море, и ждать надо долго, когда ясное солнце смилуется над ней, приблизив ее к себе и туман рассеяв. Мысль русская печальна, она все время тоскует о том, чего у ней нет, что для нее недостижимо и что она не в состоянии и выразить»¹. Делая этот вывод, Голечек замечает, что русские, как и все северные народы, обладают богатой фантазией и что этим к русским ближе всего стоят поляки.

Несмотря на все нюансы, в позапрошлом веке в чешском сознании утверждался вполне позитивный образ русского человека и русской земли. В какой-то мере романтическим проявлением и торжеством русофильских настроений в чешском обществе того времени можно считать брак Карела Крамаржа с Надеждой Абрикосовой, прежде супругой богатого русского фабриканта, матерью четверых детей. На их свадьбе в Крыму 17 сентября 1900 г. присутствовали поэт Йозеф Сватоплук Махар, свидетель со стороны жениха, и словенский ученый, известный славист и русист, в будущем первый директор Славянского института в Праге Матия Мурко, державший над головой невесты венец². Иными словами — 17 сентября 1900 г. состоялась настоящая демонстрация славянской взаимности, завершавшая «золотой век» чешского русофильства.

¹ Holecěk J. Povaha srbská a ruská // NaPrůPo ZOR NA RUS. Proměny českého pohledu na Rusko. S. 112–113.

² См. подр.: Серапионова Е.П. Карел Крамарж и Россия. М., 2006. С. 61.

В наступавшем веке XX-м, богатом крутыми катаклизмами, все было сложнее, перепады настроений — ощутимее.

Всплеск чешских симпатий к России вызвала Первая мировая война. С Россией и ее народом связывались надежды на разгром империи Габсбургов и обретение подневольными славянами своей государственности. «Там, напротив нас, был другой мир, — писал Рудольф Медек в 1921 г., выражая настроения чехов, призванных в австро-венгерскую армию, но не желавших воевать с Россией. — Кто из нас знаком с ним? Мы знаем только, что верим в него, верим в народ, пусть в массе своей отсталый, пусть имеющий деспотическую власть и кровавую, полную ужасов историю — но вместе с тем лелеющий святую мечту о духовном освобождении человека от лжи, насилия, ненависти, свою святую мечту о высшем человечестве, мечту Алеши Карамазова из Достоевского»¹. Именно эта вера заставляла чехов и словаков в массовом порядке сдаваться в русский плен и в рядах Чехословацких легионов сражаться вместе с русской армией против общего противника.

Необходимо отметить, что представления о русских и России складывались не только и не столько из личных впечатлений тех, кто побывал в этой стране, но во многом на основе русской классики, активно переводившейся на чешский язык и вполне доступной чешскому населению Австро-Венгрии, страны с высокой грамотностью. В процессе многолетних исследований литературных связей не удалось найти отрицательных высказываний иностранцев о русской литературе. Правда, сборник «Взгляд на Россию» («NaPrůPo ZOR NA RUS»), чьи материалы используются в этой статье, приводит выдержку из двухтомной «Исповеди литератора» (1900–1901) Й.Св. Махара, где тот пишет о настолько сильном и опасном впечатлении от «Преступления и наказания» Достоевского, что он, старшеклассник Пражской гимназии, сам решил убить старушку, похожую на ростовщицу из русского романа, и даже нашел подходящую жертву — лавочницу со Староместской площади². «Сколько же я натерпелся от этой страшной книги, — признавался писатель. — Достоевскому ставят в заслугу, что “Преступлением и наказанием” он предостерегает от убийств. Нет, господа, тысячу раз нет. Он не учитель средней школы. Я узнал его с другой стороны»³. Вместе с тем тот же Махар в «Исповеди...» писал о своей влюбленности в Лермонтова. Он настолько был увлечен его творчеством, что ему казалось, будто именно

¹ Цит. по: NaPrůPo ZOR NA RUS. Proměny českého pohledu na Rusko. S. 6.

² Ibid.. S. 106.

³ Machar J.S. Konfese literáta. Praha, 1984. S. 172, 173.

в него переселилась душа русского поэта, будто и он, Махар, когда-то давно жил в далекой России, был военным и погиб молодым¹.

В межвоенный период чешское русофильство подвергается испытаниям, так как не находит того отклика в Советской России, какой оно находило в России царской.

Принцип пролетарского интернационализма, провозглашенный большевиками, наносит сокрушительный удар по идее славянской взаимности. «Славянский вопрос решается просто, — рассуждает Маяковский. — Не тратьте слова на братство славян. Братство рабочих и никаких прочих». Это — со стороны СССР. В Чехословакии же в рецепцию новой России вмешивается поляризация общества на сторонников и противников революционной идеологии.

Русофильство ослабляется советофобией и подменяется советофильством. Русофобия же находит дополнительный мотив в неприязни к советскому строю. Россия как бы теряет статус великой славянской державы, обретая новый статус «государства рабочих и крестьян». С ним тоже связываются определенные надежды, но лишь у революционно настроенной части нации, и надежды не на национальное освобождение (тем более что его уже добились), а на освобождение от власти капитала. Обожествление Советской России ярко выразил Станислав Костка Нейман:

Matko naše,
Ruská socialistická federativní sovětská republiko,
Učitelká, zástito, naděje naše,
pilíř budoucnosti,
jediná hvězdo na stmělém nebi,
buď zdravá!
<...>
Sovětská Rusi,
buď zdravá!

(«*Pozdrav*»)

Не отличавшийся русофильством Нейман стал пожизненным сторонником новой страны, правда, ни разу не столкнувшись с советской действительностью, так как не выезжал за пределы Чехословакии.

Однако старая русофильская традиция находит и в межвоенной Чехословакии продолжение и закрепление благодаря «русской акции»

¹ Ibid. S. 221.

президента Масарика. Открыв границы для российских эмигрантов преимущественно из образованных кругов, он хотел поддержать их ради сохранения русской культуры для времен, когда кончится власть большевиков. «России уже больше нет, — горько замечал премьер-министр Чехословацкой республики Карел Крамарж, — и не остается ничего другого, как по отношению к этому печальному и горькому факту занять определенную позицию — сохранить Россию»¹. Сохранению «старой России» и стремилось способствовать своей эмигрантской политикой правительство межвоенной Чехословакии.

Позитивное же отношение к Советской России уже определяется не этническими, а идеологическими факторами, не славянофильскими, а революционными убеждениями представителей чешской культуры.

Многим из них удается уже в 1920–1930-х гг. побывать в СССР, увидеть тамошнюю жизнь своими глазами (среди них — И. Ольбрахт, М. Майерова, М. Пуйманова, Й. Гора, Я. Сейферт, Ю. Фучик, В. Незвал, И. Вейль и др.).

Восприятие Советской России, куда ездили ее сторонники, предопределялось именно их убеждениями. В данном случае не «бытие определяло сознание», а вопреки формуле диамата сознание определяло восприятие бытия. Оно вынуждало фиксировать внимание на позитивных, как казалось гостям, переменах и не замечать ни после-революционной разрухи начала 20-х гг., ни политических процессов 30-х, ни типичных для жизни советских людей всех времен бытовых трудностей. Именно этим позитивом отличались и очерки Ивана Ольбрахта «Картины современной России» (1920), и более поздние очерки о Москве и СССР М. Майеровой, М. Пуймановой, А. Гофмейстера, В. Незвала, Ю. Фучика. Диссонансом к ним в отражении советской реальности звучали стихи Я. Сейферта из сборника «Соловей поет плохо» (1926), в которых поэт, возможно помимо своей воли, показал не завоевания, а разрушения революции; его же стихи 1936–1937 гг., резко осудившие московские политические процессы; публицистика К. Тейге «Сюрреализм против течения» (1938); роман Иржи Вейля «Москва-граница» (1937). В этих случаях все же бытие определяло сознание, настраивая чешскую «левицу» (левое революционное крыло чешской культуры) не в пользу, а против советской Москвы².

¹ Цит. по: NaPrůřo ZOR NA RUS. Proměny českého pohledu na Rusko. S. 141.

² См. об этом подр.: Будагова Л.Н. Москва в чешской поэзии и публицистике 1920-х гг. // Россия в глазах славянского мира. М., 2007. С. 128–145.

Русофильские настроения и тенденции в чешском обществе вновь оживают в годы Второй мировой войны, проявляясь в антифашистской литературе этого периода («Репортаж с петлей на шее» Ю. Фучика, первая часть поэмы В. Незвала «Историческое полотно», поэма Ф. Грубина «Сталинград» и др.), в поэзии первых послевоенных лет, отразившей радость освобождения страны от немецко-фашистской оккупации и благодарность советскому солдату за его воинский подвиг (поэзия В. Голана, Ф. Грубина, В. Завады, Ф. Галаса и др.).

В Советском же Союзе уже накануне войны наконец-то вспоминают о «братстве славян», перечеркнутом было «братством рабочих», и пытаются возродить родственные чувства к славянским народам, в частности популяризируя антифашистские и патриотические произведения чешской литературы. Черные тарелки репродукторов доносят до советских радиослушателей переживания героини пьесы К. Чапека «Мать», благословляющей своего единственного оставшегося в живых сына на защиту отечества от агрессора. Журналы публикуют патриотическую поэзию далекого от революционного движения Виктора Дыка, антигерманские отрывки из знаменитой «Краледворской рукописи», долгое время считавшейся памятником древнечешской литературы, а на самом деле сочиненной в начале XIX в. Во время войны советский кинематограф выпускает серию «боевых киносборников», короткометражных фильмов о «бравом солдате Швейке», шагнувшем из Первой во Вторую мировую войну, чтобы дурачить гитлеровцев и выходить победителем из всех переделок.

Послевоенное возрождение идеи славянской взаимности в СССР (со всеми сопутствующими событиями¹) диктовалось, разумеется, не только стихийно проснувшимся у советских людей чувством кровного родства с народами, тяжело пострадавшими от фашистских агрессоров. Имели место и политические причины — задача интеграции славянских государств, входивших в сферу советского влияния, необходимость это влияние усилить, сделать как можно более действенным, возрождая и развивая давние традиции русско-славянских отношений.

Возросший интерес в СССР к истории и культуре одного из «малочисленных» славянских народов, деятельность научных и научно-педагогических центров по подготовке кадров богемистов, исследователей и переводчиков чешской литературы, ее изучение и популяризация,

¹ Создание Института славяноведения АН СССР (1946 г.), славянских кафедр в МГУ и других вузах, славянских редакций в издательствах и т. д.

«внедрение» в культуру русскую — все это не могло не импонировать чешскому обществу, не могло не стимулировать послевоенные русофильские тенденции. Однако их ослабляли и гасили политические события: явное вмешательство «руки Москвы» в послевоенную историю чешского народа, как следствие вассальной — оговоренной международными соглашениями — зависимости зарубежных славянских государств от советской державы.

Русофобские тенденции стали нарастать в Чехословакии после февраля 1948 г. Тогда из-за прихода к власти коммунистов во главе с К. Готвальдом была потеряна надежда на восстановление в стране довоенных порядков и был принят курс на строительство социализма и советизацию режима. В начале 1950-х гг. в Чехословакии по образцу московских политических процессов 1930-х гг. (правда, в меньших масштабах) разворачивается кампания по преследованию безвинных людей, чем-то не угодивших новым властям. Среди них не только инакомыслящие, вроде писателей-католиков (Ян Заградничек и др.) или руралистов (чешских почвенников — Ф. Кршелина и др.), которых подвергают аресту и сажают в тюрьму, но и люди, разделяющие социалистические взгляды, видные коммунисты. Не принимается во внимание и героизм, проявленный в годы немецкой оккупации. На плахе гибнут член послевоенного парламента, участница антифашистского Сопротивления Милада Горакова; известный политический деятель Рудольф Сланский, соратник К. Готвальда; философ-марксист Завиш Каландра. Не выдерживая атмосферы страха, ожидания ареста, кончает самоубийством поэт К. Библ. Умирает на улице возвращавшийся с допроса Карел Тейге, пропагандист революционной культуры, знаток советского искусства, чья «вина» состояла лишь в верности художественному авангарду.

Естественно, что все эти трагедии способствовали нарастанию русофобских настроений в Чехословакии. Однако, ослабевая после разоблачения культа личности Сталина, в годы «оттепели» в СССР, в «золотые шестидесятые» в ЧССР, они не вытеснили, не подавили казалось бы неистребимое чешское русофильство. Но, выдержав многое, оно не выдержало гусениц советских танков на площадях и улицах Праги 21 августа 1968 г. и установившегося в 1970–1980-е гг. режима «нормализации». То обстоятельство, что проходившие тогда в ЧССР партийные «чистки» и «проверки», наиболее сильно ударившие по интеллигенции, проводились не столько по советской, сколько по собственной инициативе, симпатий к нам не прибавляло.

Вполне естественная неприязнь к СССР, причины которой — не свойства чешского характера, а внутренняя и внешняя политика советского правительства, стала особенно очевидной после «бархатной революции». Теперь русофобия смогла проявляться открыто. Выявились и ее новое слагаемое, а именно — страх перед нашей страной. «Все русское имеет для нас, чехов, привкус порабощения, экспансии, надменности, насилия и крови. Я испытываю ужас перед Россией, перед Америкой, как перед всякой великой державой», — признался в 1996 г. деятель чешской культуры Томаш Ворел¹. Среди держав, внушающих страх, упомянута и всесильная Америка, и далеко не случайно. Ведь именно ей сейчас свойственны претензии на установление силовыми методами мирового порядка, ведь именно она нарушает закон мирного сосуществования, действуя не по принципу «лучше плохой мир, чем добрая ссора», а предпочитая «добрые ссоры» «плохому миру».

Но Соединенным Штатам как-то все сходит с рук. России же мало что прощают. Мне кажется, что причина — в непреодоленной цивилизационной отсталости нашей страны, которая проявляется в низком уровне жизни, гораздо менее комфортной, гораздо более бедной, чем в той же Америке или в большинстве стран Европы. Это было нам свойственно всегда и не могло не действовать как раздражающий фактор, особенно настраивая народы против нас в советский период, когда мы претендовали на «руководящую роль» в социалистическом содружестве, оказывая на него разного рода давление. Вероятно, легче выносить прессинг государств высокоразвитых, подтягивающих «подопечные» страны до своего уровня, чем терпеть зависимость от менее цивилизованного «патрона».

Однако приходится встречаться и с такими суждениями, в которых сквозит мысль, что привлекательной для европейца может быть и русская «дикость», по которой тоскуют утонченные европейские интеллектуалы:

Русофобия — естественная реакция европейца при взгляде на этот дикий Северо-Восток. Предельная чуждость и инакость этой беспризорной территории, которой овладевали скандинавы, татары, немецкие княжны, космополитический сброд, а теперь опять татары, сами по себе отпугивают, но благодаря странной извращенности нашей европейской тонкости, отчаянным поискам альтернативы нашей старой, ах, такой старой цивилизации, она опять может стать притягательной.

¹ Цит. по: NaPrůPo ZOR NA RUS. Proměny českého pohledu na Rusko. S. 83.

За вдохновением к Московии всегда обращались те, кто по разным причинам был недоволен нашим родным краем, Европой — кто хотел отречься от нее, ее уничтожить, устроить пожар. Выражение «Ex oriente lux» годится для Востока, но не для Северо-Востока. Свет пришел из Палестины, свет надо искать в развалинах греческих городов в Малой Азии и кападокских монастырей, в скальных пещерах Персии, откуда пришли Короли-мудрецы, и, если хотите, еще дальше на Востоке. Но никогда на Северо-Востоке.

(Мартин Ц. Путна «Леон Блуа, Старая Империя и Россия. Глава из истории чешской русофобии»¹)

Легализовавшаяся после «бархатной революции», чешская русофобия стала очевидной, но отнюдь не безнадежной. При наличии ее публичных словесных (и во многом чисто теоретических) проявлений, в Чехии в настоящее время, как мне представляется, доминирует более спокойное и более трезвое отношение к нашей стране. Есть стремление понять и принять ее деидеализированный, но всегда вызывающий интерес образ. Активно пробиваются к жизни новые ростки русофильства — может быть, ростки старые, но не вырванные с корнем, а затоптанные в грязь и теперь распрямляющиеся уже в новой, более благодатной для себя атмосфере. Их нельзя не заметить, к примеру, в притоке молодежи в вузы на русистику (правда, ее основную массу составляют дети русских переселенцев или бизнесменов, пустивших корни в Чехии, но есть русисты и среди детей моих чешских коллег). В 2004 г. во время фестиваля Шрамкова Сobotка ко мне подошла юная чешка (кажется, из Опавы), сказавшаяся большой поклонницей русской культуры. Она просила дать ей адрес какого-нибудь россиянина, чтобы, переписываясь с ним, совершенствовать свой русский язык. Могу назвать имена замечательных чешских ребят, школьников, которые берут частные уроки «ruštiny», занимаясь ею с большим интересом.

...Передо мной две книги, посвященные чешско-русским связям, между которыми более чем полувековая дистанция. Первая — «1000 лет. Хроника чехословацких связей в слове и образе» («1000 let. Kronika československo-ruských styků slovem a obrazem»). Изданная в Праге Министерством информации ЧСР в октябре 1947 г., она представляет собой подробную констатацию сплошных позитивов в развитии

¹ Putna Martin C. Leon Bloy, Stará Říše a Rusko. Kapitola z dějin české rusofobie // NaPrůPozor NA RUS. Proměny českého pohledu na Rusko. S. 116.

этих связей с X по XX столетие. Во второй, аналитической, изданной в 1996 г., бросается в глаза многозначность названия, созданная игрой не только слов, но и морфем: *NáPrůPo ZOR NA RUS*. Их комбинация позволяет прочесть название сборника и как «Взгляд на Россию» (*názor na Rus*), и как «Просвечивание России» (*průzor na Rus*), и как «Внимание к России» (*rozog na Rus*). Скажем сразу, несмотря на современную дезинтеграцию славянства и русофобские настроения в его среде, несмотря на подзаголовок сборника «Метаморфозы чешского взгляда на Россию», книга эта (послужившая настольной автору данной статьи), деидеализируя русско-чешские связи, показывая не только светлые, но и темные их стороны, вовсе не пригвозждает Россию к позорному столбу. Она констатирует «макрокосмическую сложность России, которую невозможно ни понять, ни тем более однозначно осудить», не изучив ее, не осознав «хотя бы отчасти ее многообразие, специфику ее национальных традиций и опыта, ее болезненный путь к модернизации народа, к которому совершенно неприменимы любые традиционные формы оценок», как отмечает рецензент сборника Ольдржих Рихтерек, призывая к «диалогу с Востоком, т. е. в первую очередь с Россией», без которого «наша (чешская. — Л.Б.) коммуникация с мировой культурой, к которой мы с гордостью себя относим, не может быть ни полноценной, ни объективной»¹.

Фраза, с которой началась статья, имеет свое продолжение. «Понять Россию можно, если часами бродить по ее березовым рощам, слышать рыдания ленинградского блокадника, если напиться до потери сознания с русским интеллектуалом, пережить “хандру”, надышаться воздухом “бабьего лета”, а в пятидесятиградусный мороз откалывать килограммовые куски льда с подоконника над батареями центрального отопления»². Хотелось бы добавить, что «понять» Россию, а понять — значит простить и полюбить, можно и не покидая пределы своей страны, а вживаясь в нее через русскую литературу и опыт собственной истории.

¹ Citace z lektorského posudku doc. PhDr. Oldřicha Richterka CSc., rektora Východočeské univerzity// *NáPrůPo ZOR NA RUS. Proměny českého pohledu na Rusko*. S. 162.

² *NáPrůPo ZOR NA RUS. Proměny českého pohledu na Rusko*. S. 158.

Е.П. Серапионова

ВОСПРИЯТИЕ РОССИИ И РУССКИХ ЧЕШСКИМИ И СЛОВАЦКИМИ ЛЕГИОНЕРАМИ

Тема отношения к России, русским, русской культуре весьма популярна у специалистов разных областей — историков, литературоведов, социологов, политологов и даже психологов¹. Причем этот интерес велик не только в нашей стране, что было бы естественно, но и в странах Центральной и Юго-Восточной Европы².

Для начала несколько общих замечаний и наблюдений.

1. Как ни странно, Россия, русские и (я бы продолжила этот ряд) русская культура для чехов и словаков зачастую понятия далеко не равнозначные.

¹ См., напр.: *Емельянова Т.П., Паттисон А.С.* Особенности социальных представлений о русских у жителей Чехии и США [Электронный ресурс] // Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2010. N 5(13). URL: <http://psystudy.ru> (дата обращения: 20.10.2011). 0421000116/0043.

² Например, в Венгрии в 2010 г. вышел сборник статей под названием «Образ России с центральноевропейским акцентом», основанный на материалах научного симпозиума, организованного центром русистики университета Эгоша Ландора в Будапеште в 2009 г. (См. рец. на эту книгу: *Klapcová V.* *Obraz Rossii s centralno-jevropijskim akcentom. Sborník statej i materialov Russica Pannonica 2010* // *Historický časopis*. 2011. Roč. 59. Č. 3. S. 573–574.) В Словакии коллектив авторов во главе с Т. Ивантышиновой подготовил и издал в переводе на русский язык в 2010 г. книгу «Мифы — стереотипы — образы. Восприятие России в Словакии». (См. рец. на нее: *Серапионова Е.П.* Мифы — стереотипы — образы. Восприятие России в Словакии / Татьяна Ивантышинова и коллектив авторов. SDK SVE Pro Historia в сотрудничестве с Институтом истории Словацкой академии наук. Братислава–Йошкар-Ола, 2010 // *Славяноведение*. 2012. № 3).

2. Воспринимая русскую культуру положительно или даже с восхищением, они могут отрицательно относиться к политике России и поведению русских. Так, скажем, первый президент Чехословакии Т.Г. Масарик, отказывая России в полной тождественности с Европой, считая русский народ отсталым, забитым и непросвещенным, высоко ценил русскую литературу. О большом влиянии русской классической литературы на чешское и словацкое общество, чешскую и словацкую литературу писал также Й. Ирасек¹. Чешский филолог О. Рихтерек выделил четыре основных этапа чешского восприятия русской литературы в XX в., при этом убедительно показал, что, несмотря на своеобразие каждого из них, интерес к русскому художественному слову у чехов никогда не иссякал².

3. Эта же триада (Россия, русские, русская культура) по-разному воспринималась в различные отрезки времени³. По большей мере это зависело от роли и значения России в мире в конкретный исторический момент и ее возможностей помочь в решении собственных национальных задач чехам и словакам. Отношение к русской культуре и литературе также нередко зависело и зависит от политического момента⁴.

Если попытаться нарисовать кривую господствовавших в чешском и словацком обществе настроений в отношении России и русских в XX в., то, возможно, получилось бы следующее: от некритически восторженного русофильства, по преимуществу господствовавшего до Первой мировой войны, через крайне противоречивое (от официально неприятельского до славянофильского) отношение в годы Первой мировой войны к настороженно отстраненному (и тоже до некоторой степени двоякому, если учитывать реакцию крайне левых) в межвоенный период — до постепенно возраставших просоветских настроений к концу Второй мировой войны, связанных с эйфорией освобождения от фашизма⁵. По словам чешского историка Я. Немечека,

¹ Jirásek J. Češi, Slováci a Rusko. Studie vzájemných československo-ruských vztahů od roku 1867 do počátku světové války. Praha: Vesmír, 1933.

² Рихтерек О. Чешское восприятие русской литературы в контексте XX в. // Русская литература. 2001. № 4. С. 83–89.

³ См.: Чехи и Россия, русские и Чехия. Обзор развития взаимоотношений. [Электронный ресурс] URL: <http://ruskerealie.zcu.cz/r2-12A.php> (дата обращения 20.10.2011).

⁴ См. подр.: Волкова Н. Заложница истории. Русская литература в Чехии // Знамя. 2009. № 12. Электронный вариант: [Электронный ресурс] URL: <http://rulit.org> (дата обращения 10.09.2011).

⁵ Об отношении чешского общества к СССР в годы Второй мировой войны см.:

«чехословацко-советские отношения (в 1945 г. — *Е.С.*), несмотря на все проблемы, вышли на высший уровень за всю историю их существования в XX в.»¹.

Далее после 1948 г. отношение раздваивается на официально дружественное (союзническое) и оппозиционное (критическое восприятие Союза ССР и привнесенных с его помощью в страну порядков). Последняя тенденция приобретает все большую значимость и массовость после событий 1968 г. Это период крайней враждебности к русским («советским»). Здесь можно говорить о гораздо более выраженном негативном отношении чехов, чем словаков, что объясняется пережитым опытом.

Относительное потепление в период горбачевской перестройки вновь сменилось резким отторжением после «бархатной» революции конца 80-х. Пришедшее в тот момент к власти политическое руководство в Чехословакии (а затем с 1993 г. в Чехии и Словакии), бывшие диссиденты, как правило, лично пострадавшие от прежнего режима, не видели в России принципиальных отличий от СССР, правопреемницей которой она себя заявила. С этим связано крайне критическое отношение к российской политике и российскому обществу, желание дистанцироваться от России, позиционирование себя как неотъемлемой части Европы и иной западной цивилизации. В 1990-е гг. сократились культурные и научные контакты между Чехией, Словакией, с одной стороны, и Россией — с другой, резко снизилось число изучающих русский язык в этих странах. Преподавателям русского языка пришлось получать другое образование, менять специализацию, так как изучение русского в средних школах, гимназиях и университетах практически было сведено на нет, выросло новое поколение, не понимающее русского языка и не знающее кириллицу. Хотя для чехов и словаков ввиду близости славянских языков овладение русским всегда проходило легче, чем западными языками.

Лишь сегодня, спустя 20 лет, интерес к изучению русского языка и России активно возрождается. В 2011 г. в университете им. Я.А. Коменского в Братиславе набрали более 60 студентов на отделение русского языка для историков.

В последние годы чешские и словацкие политики подчеркивают необходимость строить отношения с Россией на новых основах, не

Немечек Я. Чешское общество и Советский Союз. 1939–1945 // Славянский мир в эпоху войн и конфликтов XX в. СПб., 2011. С. 387–403.

¹ *Немечек Я.* Указ. соч. С. 402.

замыкаясь лишь на прошлых обидах. Бывший диссидент, пострадавший при социалистическом режиме, политик, занимавший высшие посты в Словакии, Я. Черногурский достаточно трезво и позитивно относится к развитию отношений с Россией, считая это необходимостью. Свидетельство тому его выступление на конференции, организованной российско-словацкой комиссией историков в Братиславе в 2010 г. Вице-премьер и министр иностранных дел Чешской республики К. Шварценберг 4 октября 2011 г. при открытии в Славянской библиотеке выставки, посвященной 90-летию «русской акции помощи» чехословацкого правительства, заявил, что российско-чешские отношения имеют давние традиции, а посол ЧР в Москве П. Коларж, также присутствовавший на мероприятии, заметил, что российско-чешские отношения не исчерпываются лишь 1968 годом.

4. Отношение к России и русским никогда не может быть единым и обусловлено политическими воззрениями, личным опытом (или его отсутствием) общения с русскими и пребывания в России, наличием русской диаспоры в стране и знакомством с русской культурой. Поэтому и в чешском, и в словацком обществе всегда присутствовали и присутствуют обе тенденции: и русофильская, и русофобская, меняется лишь равновесие между ними¹.

Безусловно, даже в периоды обострения официальных отношений личные контакты между людьми, специалистами, коллегами в науке и искусстве полностью не прерывались, наоборот, связи между ними (не благодаря, а вопреки) продолжали развиваться и расширяться. Объективно этому содействовали и продолжают содействовать современные процессы, проистекающие в мире: глобализация, компьютеризация и появление единого интернет-пространства, мобильной связи, развитие туризма и т. п.

5. Если сравнивать между собой чехов и словаков в их отношении к России и русским в один и тот же период, то можно заметить определенные различия, связанные с исторической традицией и историческим опытом двусторонних отношений.

На это уже указывалось, когда речь шла о событиях 1968 года. Но если говорить о сегодняшнем отношении к России и русским, то, пожалуй, из всех стран ЦЮВЕ наиболее позитивно оно в Словакии.

¹ О двояком образе России в чешском обществе XIX в. см.: *Доубек В.* Между Веной и Москвой. Славянская концепция и образ России в чешском обществе XIX века // *Родина*. 2001. № 1. С. 105–109.

Официальное отношение к России и русским (со стороны политического руководства) и это же отношение со стороны общества, общественных организаций и отдельных личностей может совпадать, а может быть прямо противоположным.

Это можно легко продемонстрировать на периоде так называемой нормализации, когда в Чехословакии официальным оставался лозунг «С Советским Союзом на вечные времена!», но в чешском и словацком обществе чувствовалось горькое разочарование в «союзнике», применившем военную силу для подавления демократического движения.

6. Общественное мнение, как правило, целенаправленно формируется (посредством СМИ и др. образом) и может достаточно быстро меняться, в зависимости от произошедших событий, смены политических режимов или с приходом к власти новой правящей группировки.

В 1990-е гг. в СМИ образ России в определенной мере демонизировался, особенно заметно это было в Чехии. Причем тактика менялась: от подачи по преимуществу негативного материала, связанного с Россией и русскими, до почти полного замалчивания информации о стране в целом. При официально заявленном отсутствии цензуры редакторы, определявшие политику отдельных печатных органов, просто не брали материалы о России, аргументируя это тем, что читателям они не интересны. Если информация о России и русских и попадала в СМИ, то в основном она носила сенсационный характер либо касалась частной жизни российских звезд, политического истеблишмента, спортивных событий. Кроме того, имидж России, русских порой зависит не только от них самих, но и опосредствовано от того, как их воспринимают в других странах, на которые в данный момент ориентируются Чехия и Словакия.

* * *

Принимая во внимание все вышесказанное, подчеркнем, что для историка восприятие России и русских всегда конкретно, привязано к определенному историческому моменту и субъекту. Художественная литература, основанная на личном, пережитом опыте, публицистика и мемуары составляют важную (хоть и очень субъективную) часть исторических источников.

Тема восприятия России чехословацкими legionерами¹, проведенными там нескольких лет в период Первой мировой войны, револю-

¹ Здесь необходимо отметить, что сами солдаты и офицеры чехословацких воинских частей в России себя legionерами не называли (это название возникло и утвердилось уже

ционных событий 1917 г. и участвовавшими, хоть и не по своей воле, в гражданской распре, уже рассматривалась в чешской и словацкой историографии¹.

Из числа легионеров впоследствии выросла целая плеяда известных писателей и поэтов. В сибирском анабазисе участвовали и уже печатавшиеся до войны чешские и словацкие литераторы. Художественная литература, вышедшая из-под пера бывших легионеров, также уже анализировалась². Но «легионерская литература» настолько велика, что остается простор для ее дальнейшего изучения и анализа.

Славянофильство и русофильство были достаточно распространены среди чехов и словаков до Первой мировой войны. Поэтому война на Русском и Сербском фронтах была среди них непопулярна. Это подтверждают многочисленные воспоминания участников и исследования современных историков³. Из-за во многом наивного русофильства чехи и словаки часто добровольно сдавались в плен. Россию идеализировали, но знали плохо. К русским относились как к славянским братьям. В книге бывшего легионера, словацкого писателя Йозефа Грегора-Тайовского⁴ «Рассказы из России» главный герой рассказа

позднее в Чехословацкой республике). Они называли себя «дружинниками» или «добровольцами» (см. об этом: *Najbrt V. Berezovka. Ze zajateckého tábora do řad legií. Praha, 1924. S. 14*). Об истории возникновения и формирования Чехословацкого корпуса в России см.: *Клеванский А.Х. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус. Чехословацкие политические организации и воинские формирования в России. 1914–1921 гг.; Pichlík K, Klípa B., Zabloudivová J. Českoslovenští legionáři 1914–1920. Praha, 1996; Fic V.M. Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914–1918. Díl. 1–3. Praha, 2006; Brno, 2007–2008; Československá legie v Rusku 1914–1920. Katalog k výstavě. Praha, 2008; Чехословацкий корпус в России. 1914–1920 гг. Каталог выставки. М., 2008; *Серапионова Е.П. К истории формирования чехословацких воинских частей на российской территории в годы Первой мировой войны // Славянский мир в эпоху войн и конфликтов XX в. СПб., 2011. С. 120–136.**

¹ См., напр.: *Vácha D. Těplušky a ešelony. Českoslovenští legionáři na cestě napříč Ruskem // Soudobé dějiny. XV/3–4. S. 607–638; Гарбулѣва Л. Образ России в трудах и воспоминаниях словацких легионеров // Мифы — стереотипы — образы. Восприятие России в Словакии / Т. Ивантышинова и коллектив авторов. Братислава–Йошкар-Ола, 2010. С. 37–51.*

² *Будагова Л.Н. Чешская литература // История литератур западных и южных славян. Т. III. М., 2001. С. 451–455.*

³ *Šedivý I. Češi, české země a velká válka 1914–1918. Praha, 2001. S. 146–150.*

⁴ 14 Йозеф Грегор-Тайовский (18.10.1874 — 20.05.1940) — словацкий прозаик, драматург, публицист, автор стихов. Родился в Тайове в семье ремесленника, получил образование, работал учителем, затем окончил Коммерческую академию в Праге. Перед началом войны был секретарем Словацкой национальной партии. Во время Первой мировой войны был призван в армию, перебежал на сторону русских, был в плену, затем стал офицером в чехословацком легионе, являлся редактором газеты «Československé hlasy» и шеф-редактором — «Slovenský hlas». В 1919 г. вернулся на родину. Начал публиковаться с конца XIX в. Событиям Первой мировой войны посвящены его сборники «На фронт и другие

«На войну» во время мобилизации в австро-венгерскую армию вспоминает слова председателя Словацкой национальной партии Матуша Дулы, который, расставаясь с ним, просил передать привет «батюшкам (русским)»¹. Героя другого рассказа, Янко Врабеля, очутившегося в венгерской казарме, не покидает мысль, что он «словак и славянин, а серб, русский — его братья, а первый враг ему — венгр»². Он говорит провожавшему его дяде: «Я не пойду, не могу против братьев сербов или русских». На что дядя говорит ему, что он должен идти, иначе ему грозит верная смерть, а на фронте он может попасть в плен. Молодой солдат твердит, что не будет стрелять, а дядя учит его стрелять куда угодно, вверх, в небо, но не «в братьев»³. Позднее, когда Янко уже роет окопы на фронте, а со стороны неприятеля летят снаряды, гранаты, гудит шрапнель, свистят пули, он мысленно обращается к русским: «Если бы вы знали, что здесь мы, словаки, вы бы не стреляли <...> А мы бы окопы не копали и ограждения не плели, если бы не стояли над нами венгры. Мы бы приветствовали вас: “Здравствуйте” и шли бы к вам, как домой»⁴. Ночью в карауле он рассматривает звездное небо, мечтая, чтобы звезды вывели его к русским. Вскоре ему действительно представился случай, и он сдался в плен, нарушив приказ отступить и побежав в другую сторону, спрыгнув в старый окоп. Когда русские подошли ближе, он приветствовал их, размахивая шапкой и крича: «Здравствуйте, братья! Я словак!» К нему подбежали трое русских солдат, помогли выбраться из окопа, и все вместе они вернулись на позиции. Сели, отдышались и закурили, но уже не сигареты, а папиросы, и это было первое русское слово, которому научился Янко⁵. В рассказе «Зачем?» Тайовский пишет, что, попав на фронт, словаки мечтали оказаться в плену, так как среди венгров их ничего не держит, кроме страха, что побег не удастся и тебя убьют, или русские не поймут и по ошибке тебя застрелят: «Вот муки для честного словака: молчать, притворяться другом венгров, когда душа ненавидит их, как грех; хочет

рассказы» (1920), «Рассказы из России» (другое название «Рассказы о чехословацких легионерах в России» (1920), драмы «Мечтатели» («Blúznivci», 1934) и «Герой» (1938). Подробнее о его жизни и творчестве см.: *Beran Z. Tajovský // Tajovský J.G. Rozprávky z Ruska. Bratislava, 2011. S. 254–256*, а также *Богданов Ю.В. Словацкая литература // История литератур западных и южных славян. Т. III. С. 153–155, 522*.

¹ *Tajovský J.G. Rozprávky z Ruska. Bratislava, 2011. S. 12.*

² *Ibid. S. 16.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid. S. 17.*

⁵ *Ibid. S. 20.*

освободиться и перенестись в Россию, где с легкостью плечом к плечу с русскими жертвовать жизнью, либо утратить ее среди венгров, пусть случайно»¹.

В записках 20-летнего чешского паренька Ченека Клоса из Шопца, что недалеко от Мельника, опубликованных после его смерти Э. Цулкой², читаем под датой 10 декабря 1914 г.: «Каждый день готовлюсь к отъезду на поле брани — против кровных братьев. Как горька ирония судьбы: воевать с теми, кто должен принести свободу всему славянству, страдающему под ярмом тиранов!» Ч. Клос был призван в армию в октябре 1914 г. На русском фронте провоевал недолго, в феврале 1915 г. сдался в плен, а в мае 1916 г. вступил в чехословацкие добровольческие части в Киеве. Из России был эвакуирован в январе 1919 г. тяжелобольным и скончался через год в Карлине. В его записках тоже есть описание сдачи в плен. Под покровом ночи пятеро добровольцев быстро, чтобы их не застиг офицерский патруль, перебежали к русским окопам, подлезли под ограждения и прыгнули в окопы: «Я первым прыгнул в окоп, у меня будто камень свалился с сердца. Ребята за мной. Подаем русским сигареты. Ребята вовсю шутят, что мы так благополучно попали в плен. Я сразу же срываю “Франтишека”³ с фуражки и бросаю на землю. Подаем русским руки. Они смотрят на нас с удивлением, а потом показывают, чтобы нас отвели в лагерь»⁴.

Во многом похожий рассказ о сдаче в плен находим и в автобиографической книге «Сибирские записки», вышедшей в 1936 г., словацкого legionера, впоследствии переводчика с русского языка, писателя М. Гацека⁵. Автор вспоминал о своих наивных мечтах о том, как он

¹ Ibid. S. 48.

² *Culka E. Woj s rakouskou hydrou (za svobodu vlasti) Zpracováno dle zápisků legionáře Čečka Klöse. Perokresby ze zápisníku. Praha, 1922. S. 11.*

³ Вероятно, значок с изображением императора Франца Иосифа.

⁴ *Culka E. Op. cit. S. 33–34.*

⁵ Микулаш Гацек (10.07.1895 — 22.01.1971) — словацкий писатель, переводчик, общественный деятель. Родился в Будапеште, в детстве несколько лет жил с родителями в США, затем вернулся на родину, учился в торговой школе в Долнем Кубине, работал в ружомберском банке. С началом Первой мировой войны был призван в армию, попал на карпатский фронт, в марте 1915 г. добровольно перешел на сторону русских. Работал как военнопленный в Ашхабаде, Воронежской губернии, Кургане. Летом 1917 г. вступил в чехословацкий стрелковый полк и прошел с ним всю легионерскую эпопею. После войны стал талантливым переводчиком русской художественной литературы на словацкий язык. Переводил классику и современную литературу, прозу и драматургию. За автобиографический роман «Сибирские записки» в 1937 г. получил литературную премию М.Р. Штефаника. Подробнее о его жизни и творчестве см.: *Serapionová J. Osud legionára: prípad Mikuláš Gacek // Východná dilemma strednej Európy. Bratislava, 2010. S. 181–189.*

впервые поприветствует Русь и русских, высокопарным книжным слогом обратится к ним и скажет: «Здравствуй, матушка Россия!» «Я закрывал глаза и представлял себе, как первому русскому, который возьмет меня в плен, я скажу: “Мы братья, славяне!”, “На многие и благие лета”»¹. Он заучил эти слова по дороге из Тренчина на фронт, но свои первые знания русского языка он не смог употребить: действительность была куда более прозаичной. Пышных тирад произнести не довелось. Его взяли в плен весной 1915 г. в Карпатах².

Чех Йозеф Ирасек попал в плен уже в середине сентября 1914 г. во время лечения в госпитале Лобачева, когда русские казаки захватили этот город. «Мы очень боялись плена, — писал он в своем дневнике, — так как ходили слухи, что пленных мучают»³. Но офицер-казак, видя их испуг, заверил, что обращаться с ними будут как с ранеными, хотя они уже считаются пленными. Несколько дней было голодно, потом подвезли провизию. Тех, кто мог самостоятельно передвигаться, отправили в Россию (в Томашев). По прибытии на место им дали чай и белый хлеб, на обед суп с мясом, черный хлеб и кашу из проса. После обеда был медицинский осмотр. «Мы были удивлены, с каким вниманием нас осматривали»⁴, — читаем в том же дневнике. Перевязывали их медсестры — жены и дочери русских офицеров. На полдник опять давали чай с белым хлебом, а на ужин — мясной суп с черным хлебом. Еда была отличная, по свидетельству Ирасека. Дальнейшая дорога на восток была тяжелой — непогода, грязь, усталость. В Барановичах к русским раненым приезжал верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, благодарил за мужество и усилия, поговорил и с ранеными-пленными, спросил, как себя чувствуют и где были ранены⁵.

Многие чехи и словаки, добровольно перешедшие к русским, сразу же почувствовали разочарование, так как в России почти ничего о чехах и словаках не слышали и считали их «австрияками и венгерцами». Тот же Ирасек записал в дневнике, что в Козельске, куда их в конце концов привезли, его называли «большой австриец»⁶. Вацлав Найбрт вспоминал о своем опыте:

¹ *Gacek M. Sibirské zápisky 1915–1920.* Bratislava: Matica slovenská, 1936. S. 7.

² Подробнее о нем см.: *Serapionová J. Osudy legionára: prípad Mikuláš Gacek // Východná dilema strednej Európy.* Bratislava, 2010. S. 181–189.

³ *Jirásek J. Můj zápisník od počátku světové války r. 1914 a doba mého zajetí v Rusku a v Sibíři.* K vydání připravila a poznámkami opatřila Věra Vlčková. Praha, 2009. S. 42.

⁴ *Ibid.* S. 44.

⁵ *Ibid.* S. 50.

⁶ *Ibid.* S. 68.

Мы представляли, что в России широкие народные массы были настроены прославянски, хоть в какой-то степени так, как у нас, и были страшно разочарованы. Меня и самого очень неприятно удивило, когда после того, как я доложил, что я чех, меня спросили: «Значит, вы православный, или поляк?» А потом стали задавать вопросы о религиозной принадлежности. Я понял, что мое сокольское удостоверение ничего для них не значит¹.

Жизнь военнопленных была далеко не сахар. До лагеря им приходилось идти большие расстояния пешком, полуголодными. В лагерях условия были разные². Герой уже упоминавшегося рассказа Й. Грегора-Тайовского Я. Врabelь попадает на лесоповал, работает вместе с другими словаками и чехами и чувствует себя как дома, только чай ему подает не мать, а солдат. «Хлеба достаточно, еды достаточно, леса с избытком, всем бы был доволен, но только вот русский табак как тмин, больше его рассыплешь, чем выкуришь»³, — говорит он. Франтишек Прудил вспоминал, что в лагере военнопленных в Дарнице недалеко от Киева больше всего пленных донимали вши⁴. Среди пленных свирепствовали заразные болезни. Везде приходилось тяжело работать и жить в неволе. «К принудительному труду и тюремной жизни привыкали очень тяжело», — записал в своем дневнике Иржи Ирашек⁵. Очень плохо приходилось им в суровые сибирские зимы. Многие военнопленные вступали в чехословацкие части, стремясь выбраться из плена. Это подтверждает и Вацлав Каплицкий⁶, бывший легионер, ставший впоследствии известным чешским писателем: «Мне кажется, что большинство моих товарищей добровольно вступили

¹ *Dr. Najbrt V. Berezovka. Ze zajateckého tábora do řad legií. Praha, 1924. S. 10.*

² Подр.: *Ibid. S. 10–11*; о жизни в лагерях см. также: *Vaněk O. Čechoslováci v Rusku. Stručně vypravuje O. Vaněk, vojak 4 českoslov. revolučního pl. «Prokopa Velikého». Praha: Nákl. O. Vaňka. S. 14–15.*

³ *Tajovský J.G. Op. cit. S. 20.*

⁴ *Jurman O., Brůna O. Deník Františka Prudila. Praha, 1990. S. 15.*

⁵ *Jirásek J. Můj zápasník od počátku světové války r. 1914 a doba mého zajetí v Rusku a v Sibiři / K vydání připravila a poznámkami opatřila Věra Vlčková. Praha, 2009. S. 137.*

⁶ Вацлав Каплицкий (28.08.1895 — 04.10.1982) — прозаик, сценарист, автор исторических романов, книг для детей, сатирических произведений. Родился в Сезимово-Усти в Австро-Венгрии (ныне Чешская республика). Участник Первой мировой войны, перешел на сторону русских, вступил в Чехословацкий корпус. В 1936 г. опубликовал во многом автобиографический роман «Горноста́й» о легионерской эпопее, второе издание романа увидело свет лишь в конце 1980-х гг. Исторический роман «Молот ведьм» вышел в переводе на русский язык в 2009 г. По этому роману в 1970 г. снят одноименный фильм.

в армию не для борьбы за свободу, а чтобы спастись из лагерей военнопленных»¹.

Естественно, условия пребывания очень влияли на восприятие страны. Как писал словацкий писатель и поэт Я. Есенский²: «Если бы я не был пленным и катился бы я в скором поезде с полным карманом денег, то Россия бы мне наверняка нравилась со своей кириллицей, русской речью, фуражками, длинными папиросами, махоркой, пирожками, белым хлебом, постоянным чаёвничанием»³.

Чешская дружина из так называемых «русских чехов» была создана уже в сентябре 1914 г. В нее записались более 700 добровольцев, по большей части искренних русофилов и русских подданных. В дальнейшем дружина пополнялась военнопленными-добровольцами (гражданами Австрии и Венгрии) и постепенно трансформировалась в Чехословацкий корпус⁴. Глава ЧСНС Т.Г. Масарик, который находился с мая 1917 по апрель 1918 г. в России и которого legionеры признавали своим главнокомандующим, оставил свои воспоминания о трудностях формирования чехословацких частей:

...В России работы было больше, чем в Англии, тут уже прекращалась переписка, больше переходили к действиям. Понятно, что и разговоров стало больше, без долгих разговоров в России никак не обойтись.

¹ *Kaplický V. Hrst vzpomínek z dospělosti. K vzdání připravil Martin Kučera. Praha, 2010. S. 8.*

² Янко Есенский (30.12.1874 — 27.12.1945) — словацкий прозаик, поэт, переводчик, литературный и политический деятель. Родился в Мартине, учился в Юридической академии в Прешове, в Клуже получил докторский диплом. Работал адвокатом в Бановце над Бебравой. После начала Первой мировой войны был арестован как словацкий националист и послан на русский фронт. Перешел на сторону русских, вступил в Чехословацкий корпус. Был редактором чехословацкой газеты «Slovenské hlasy» и вице-председателем отделения Чехословацкого национального совета для России. О его пребывании в России написана книга стихов «Из плена». В 1919 г. вернулся на родину, работал во вновь создаваемой администрации, являлся председателем Ассоциации словацких писателей с 1930 по 1939 г. Умер в Братиславе в 1945 г. В его творчестве сочетались черты реализма и символизма. Писал лирические стихи, короткие юмористические рассказы, автор двухтомного сатирического романа «Демократы», перевел А.С. Пушкина, А.А. Блока и С.А. Есенина. Подробнее о его жизни и творчестве см.: *Богданов Ю.В. Указ. соч. С. 155–160, 508–510.*

³ Цит. по: *Гарбулёва Л. Указ. соч. С. 38.*

⁴ В феврале 1916 г. Чешская дружина была преобразована в стрелковый полк, к лету 1917 г. возникла бригада в составе 4-х полков, а в сентябре 1917 г. был сформирован отдельный Чехословацкий армейский корпус в составе около 30 тыс. человек. См.: *Ненашева З.С., Серапионова Е.П. Чехословацкий корпус в России 1914–1920. Каталог выставки. М., 2008. С. 15–19; см. также: Серапионова Е.П. К истории формирования чехословацких воинских частей на российской территории в годы Первой мировой войны // Славянский мир в эпоху войн и конфликтов XX в. СПб.: Алетейя, 2011. С. 120–136.*

Эти российские совещания длятся с утра до ночи <...> Сложностей в России было множество; самые невероятные — с русскими властями, которые никак не могли взять в толк, чего мы добиваемся. Они принимали нас за австрияков и за предателей нашего императора, а раз предали императора — предадут и царя <...> Так что нам с Клецадой¹ и другими приходилось ездить в Ставку, по всевозможным министрам — горький это был хлеб <...> Я вел переговоры с генералами — с Брусиловым, Алексеевым и более всего — с Духониным, он был начальником русского Генштаба и славным солдатом, так что с ним, в конце концов, мы это делоладили².

До 1917 г., т. е. до начала русских революционных событий, легионеров не очень-то занимала внутренняя политика России. В. Каплицкий признавался, что у них была «своя политическая программа <...> — победить неприятеля»³. Однако уже в 1916 г. до них стали доходить слухи, что в Петрограде не все благополучно, что министр внутренних дел Протопопов заодно с немцами, что императрица Александра Федоровна пронемецки настроена, что самым влиятельным лицом при дворе являлся сибирский мужик Григорий Распутин. Узнавали легионеры, по словам Каплицкого, и о массовом дезертирстве русских солдат, об огромном воровстве в армии и других непорядках. Но в то время еще ничто не могло охладить желание легионеров воевать против неприятеля. Чехословацкие солдаты и офицеры стали свидетелями того, с какой радостью была встречена в Борисполе весть об убийстве Распутина. А затем пришли известия о революции в Петрограде, отречении императора Николая II, создании демократического правительства, министром иностранных дел в котором стал профессор П.Н. Милюков — приятель профессора Т.Г. Масарика. Эти перемены, по словам Каплицкого, были восприняты легионерами

¹ Иржи Клецада (05.04.1890 — 28.04.1918) — участник чешского национального движения, журналист. До войны работал в России, после начала войны стал организатором земляческого движения против Австро-Венгрии, с марта 1915 г. — секретарь Союза чехословацких обществ в России, с января 1916 г. — советник М.Р. Штефаника. В мае 1917 г. избран секретарем отделения ЧСНС на Руси, ближайший соратник Масарика, вместе с ним вел переговоры о создании Чехословацкого корпуса в России. Уполномоченный отделения ЧСНС при российском Главном штабе, в октябре 1917 г. добился автономии для чехословацких частей в составе Русской армии. Вел переговоры с советским правительством весной 1918 г. о переброске Чехословацкого корпуса с Украины во Францию и создании 2-го чехословацкого корпуса в Омске. Умер от тифа.

² Чанек К. Беседы с Т.Г. Масариком. М., 2000. С. 127–128.

³ Kaplický V. Op. cit. S. 11.

с большим воодушевлением, ибо они были уверены, что свободная, демократическая Россия гораздо быстрее одержит победу, чем «герма-нофильское, коррупционное и черносотенное самодержавие»¹. Революционная обстановка в России безусловно влияла на чехословацкие части. Каплицкий писал, что под красными знаменами их батальон прошествовал через весь Борисполь, распевая «Марсельезу» и другие революционные песни, а кроме того, они послали представительную делегацию на митинг в Киев, нарядив их во все лучшее². Как и в Русской армии, в чехословацких частях избирались комитеты. Обращение среди легионеров было весьма демократичное «Брат!», причем не только солдата к солдату, но и к офицерам, большинство которых были «русскими» чехами, жившими в России еще до войны и имевшими российское подданство. Правда, между «русскими чехами» и чехами и словаками из военнопленных сохранялась определенная дистанция.

Любопытную картину революционной обстановки в России между февралем и октябрём запечатлел словацкий еженедельник «Slovenské hlasy»: «Темный народ был взбаламучен лозунгами, которые не понял. Он представлял себе, что если свобода, то все жизненные гражданские правила излишни. Он не понимал, что гражданская свобода предполагает и многие обязанности, без которых государство не может существовать <...> Этим воспользовался подлый немец», так как немецким шпионам и агентам очень подходила программа большевиков³.

После захвата власти большевиками в октябре 1917 г. и подписания ими Брестского мира с Центральными державами Чехословацкий корпус был объявлен частью французских войск, и была начата его эвакуация на Западный фронт через Владивосток. О том, что Россию и русских чехи и словаки воспринимали прежде всего через призму решения своих национальных задач и что прежнее русофильство было почти целиком связано с надеждами на помощь России в освобождении чехов и словаков, свидетельствует следующий абзац из книги «Чехословаки в России» солдата 4-го чехословацкого революционного полка «Прокопа Великого» Отакара Ванека:

Октябрьский переворот, когда большевики пришли к власти, был последним ударом по Русской армии. И когда Совет народных комиссаров

¹ Ibid. S. 12.

² Ibid..

³ Slovenské hlasy. 16(29).09.1917.

заклучил с немцами мир, когда и Украинская центральная рада подписала этот мир и еще призвала на помощь немецко-австрийские войска, последние наши надежды, что в России решатся вопросы о нашей свободе, исчезли. Мы теперь ясно видели, что не этот наш дядюшка, наш великий славянский народ разорвет пути нашего рабства, а что нужно искать помощь на Западе¹.

Т.Г. Масарик обратился к войскам с призывом сохранять нейтралитет, и на первых порах чехословацкие части проявляли полную лояльность советской власти. Небольшая часть легионеров под влиянием большевистской пропаганды вступила в интернациональные отряды Красной гвардии, пожелав сражаться за революционные идеалы. Основная же масса решила окружным путем через Поволжье, Урал и Сибирь двигаться на Запад. Из-за невыполнения соглашений, задержек эшелонов с чехами и словаками в пути в мае 1918 г. вспыхнул конфликт легионеров с Советами, переросший в крупномасштабные боевые действия, длившиеся более двух лет. Усталость и нервозность от непрерывных боев и походной жизни на колесах не могли не сказаться на восприятии России и русских, отношения с которыми начинали обостряться. Газета «Československý denník» 2 февраля 1919 г. писала:

В последнее время между русским населением, в частности в Екатеринбурге, распространяются негативные рассказы о нашем войске <...> Распространяются слухи, что чехословаки ведут себя нахально и как могут оскорбляют русский народ. Так какая-то «барышня» якобы в театре спрашивала чехословака, что он думает о русском народе, на что он ответил, что для него существует два типа русских людей: хамы и рабы².

Далее автор статьи «Провокация» отмечал, что сложно узнать, кто распространяет слухи, целью которых является раскол между легионерами и русскими.

Настроения легионеров еще более резко поменялись после переворота Колчака. Й. Патејдл писал:

¹ Vaněk O. Op. cit. S. 32.

² Цит. по: Татаров Б. К истории чешско-словацких частей в 1918–1919 гг. // Белое дело. II съезд представителей печатных и электронных изданий. Материалы научной конференции «Белое дело в Гражданской войне в России 1917–1922 гг.». М., 2005. С. 56.

Наш доброволец любил Россию и хотел помогать ее демократическому возрождению. Но когда увидел, что своей кровью должен опять помогать установлению деспотической реакции, которая захватила власть безнравственным способом и запачкала руки кровью невиновных людей, это решительно отвратило его от России¹.

Как справедливо отмечала Л. Гарбулёва, legionерам не нравились беспорядок в России, переросший затем в анархию, дезертирство русских с фронта, революционная разруха. Их поражали страшные картины насилия с обеих сторон во время Гражданской войны.

Но, с другой стороны, надо отметить, что они восхищались огромными российскими просторами, красотой русской природы, богатствами Сибири, добротой простых русских людей, русскими женщинами. Каплицкий сообщал о том, что и legionеры завоевали симпатию большей части русской и украинской общественности, и это очень помогло им в начале выступления против большевиков. «И это не было исключительно буржуазное общество, с нами самоотверженно сотрудничали и рабочие, и железнодорожники, и крестьяне», — писал он². Чешский поэт и писатель Р. Медек³ подтверждал: «Там, в России, в наиболее трагический период ее истории мы научились любить Россию, славянство! Там в далекой стороне среди множества народов и племен всех цветов мы научились любить мир и человечество»⁴. Но далее он признавался: «Мы не отрицаем, что нас научили также ненависти ко всем, кто угрожает народу, славянству и человечеству, к тем, кто в мировую войну угрожал развитию и свободе!» Зверства Гражданской войны — этой «игры без правил» — не могли не отразиться

¹ Patejdl J. Sibiřská anabase. Praha, 1923. S. 44.

² Kaplický V. Op. cit. S. 13.

³ Рудольф Медек — чешский литератор, главный сотрудник литературно-художественного издания «Moderní Revue», сотрудник литературно-критического журнала «Lumír». Писал и в другие газеты и журналы, в начале своей литературной деятельности принадлежал к символистам. До войны издал книги стихов «Полночь богов» и «Кольцо» и сборники рассказов «Вино» и «Золотой век», за что получил награду из фонда Юлиуса Зейера при Чешской академии наук. Автор ряда критических статей о чешской и иностранной поэзии. Во время войны перебежал к русским в конце 1915 г. Будучи австрийским офицером, поступил рядовым добровольцем в Чешскую дружину, участвовал в боях в Галиции в 1916 и 1917 гг., где заслужил чин офицера и ряд русских боевых наград. С мая 1917 г. состоял членом отделения для России Чехословацкого национального совета, с 1919 г. в чине подполковника Чехословацкой армии назначен начальником Военно-административного управления Чехословацкого военного министерства отделения в России.

⁴ Medek R. Legionářství ve vlasti. Praha, 1924. S. 16.

и на поведении самих легионеров. Особенно жестко они поступали с пленными чехами и словаками-коммунистами — казнили без суда и следствия¹.

Отношение к России и русским не было неизменным. Интересно, как об этом вспоминал Каплицкий:

Мы жили среди русского, украинского и еврейского населения. Русский и украинский народ мы полюбили, и даже Гражданская война это отношение особо не изменила. Вначале, как только мы попали в плен, многое нам в России не нравилось, многое мы считали смешным или отсталым, поэтому мы вели себя высокомерно и любили поговаривать о русских и украинцах как о деревенщине, однако чем дольше мы между ними жили, тем больше с ними сближались. Наконец они полностью завоевали наши сердца, главным образом своей сердечностью, прямотой, доверчивостью и гостеприимством. Деревенские жители тоже нас полюбили².

Каплицкий описал чувства легионеров при расставании с Россией, ставшей для них близкой, понятной, «своей»:

В конце декабря 1919 г., когда мы наконец уезжали на родину и в последний раз смотрели во владивостокском порту на русскую землю, увенчанную сопками, нам стало грустно. Мы расставались не только с русской землей, но и с русскими и украинскими людьми. Каждый из нас оставил среди них кусочек своего сердца. «Мы уже никогда не найдем таких людей», — говорили мы. Нет, ничем мы не хотели их обидеть, но если все же мы их чем-то обидели, они нам простят.

А далее он продолжал:

Одно время мы думали, что, воюя с большевиками, мы сражаемся за русский народ, и многие русские нас в этом уверяли. Но когда мы поняли, что русский народ вообще не способен дать отпор силе Советов, мы перестали сражаться. В любом случае легионеры никогда не хотели воевать против русского или украинского народа³.

¹ *Kaplický V.* Op. cit. S. 16–17.

² *Ibid.* S. 17.

³ *Ibid.* S. 18.

В конце первой главы он заключал:

Все это уже давнее прошлое, воспоминания утратили свою остроту, образы поблекли, зло забыто, зато тем яснее стали воспоминания красивого и милого, Россия, Украина и Сибирь будут для нас, проживших там часть своей молодости, всегда землями, которые нельзя забыть. Многому мы там научились, многое узнали и многое полюбили¹.

Анализ различного рода источников: дневников, записанных устных воспоминаний, мемуаров, написанных по следам событий и через многие годы, художественных произведений, созданных на основе личного легионерского опыта, — свидетельствует об общих тенденциях. Как видим, отношение чехословацких легионеров к России и русским менялось даже на протяжении сравнительно непродолжительного отрезка времени трех-пяти лет. Парадоксально, но факт, что, пережив в России тяготы плена, ужасы мировой и Гражданской войн, многочисленные лишения и тяготы, непривычные, тяжелые погодные условия, легионеры на родине нередко мечтали снова вернуться в Россию.

¹ Ibid.

А.Ю. Пескова

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА И РОССИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ЯНКО ЕСЕНСКОГО

Личная судьба и творчество Янко Есенского (1874–1945), одного из крупнейших словацких поэтов и прозаиков первой половины XX столетия, неразрывно связаны с Россией и русской культурой.

С раннего детства Янко Есенский воспитывался в русофильской атмосфере, в окружении русских книг, привезенных некогда из России его отцом — известным адвокатом, участником Первого славянского съезда и этнографической выставки в Москве 1867 г. Яном Есенским-Гашпарэ. Этим вполне объясняется то, что влияние русской литературы и культуры становится заметно уже в дебютном поэтическом сборнике будущего классика словацкой литературы «Стихи» («Verše», 1905). Среди лирических опытов начинающего поэта особое место занимают стихотворения, созданные под впечатлением от прослушивания русских романсов и даже названные по-русски по первым строчкам этих романсов: «Его уж нет, а я страдаю...» («Jeho už net...»), «Скажите ей...» («Skažite jej...»). Среди любовной лирики этого сборника выделяется произведение, вдохновленное строчками из лицейского стихотворения А.С. Пушкина «Желание» и озаглавленное пушкинской строкой «Мне дорого любви моей мученье...» («Mne dorogo ľubvi mojej mučenie...»). Все эти стихи хотя и не выражают напрямую отношения автора к России, тем не менее свидетельствуют о том, насколько большое значение имела русская культура для молодого поэта и как трепетно он к ней относился.

Сам Есенский вспоминал о довоенном периоде своего творчества как о периоде подражания различным словацким и зарубежным поэтам, среди которых важнейшая роль принадлежала Пушкину и Лермонтову. Воздействие их творчества проявилось как в ритмике и образности отдельных произведений Есенского, так и в сюжетных параллелях. В частности, в его лиро-эпической поэме «Наш герой» («*Náš hrdina*», 1910–1913) иронически подаются и знакомый сюжет «Евгения Онегина», и образы персонажей, в которых без труда угадываются герои пушкинского романа в стихах.

Непосредственная встреча с Россией произошла в жизни Есенского в результате событий Первой мировой войны. В 1915 г. его отправляют на русский фронт, где он добровольно сдается в плен, не желая воевать за Австро-Венгрию против «*земли Пушкина и Лермонтова*». На этой земле он волею судеб задержится на долгие четыре года, в течение которых успеет побывать в самых разных уголках страны. Сначала вместе с эшелонами пленных Есенский преодолевает огромный путь от Харькова до Забайкалья. Благодаря знанию русского и немецкого языков ему удается стать переводчиком при русских офицерах, сопровождавших военнопленных, а впоследствии он был отпущен на свободное поселение в Воронеж. Оттуда Есенский переезжает в Киев, где начинает работать в редакции еженедельной газеты «Словенске гласы», издававшейся для пленных чехов и словаков. В силу сложной политической и социальной обстановки редакция была вынуждена постоянно переезжать. Так Есенский попадает в Петроград, потом в Москву, снова в Киев, Москву, Омск, Иркутск, Челябинск, Екатеринбург. И только в начале 1919 г. ему удается добраться до Владивостока, откуда на корабле ему предстоит долгий путь домой через Японию, Китай, Сингапур, остров Цейлон, Красное море, Суэцкий канал, Средиземное море, Италию.

За время своих скитаний по России Есенский создает большое количество стихов, из которых впоследствии была составлена книга «Из плена» («*Zo zajatia*», 1919). Кроме того, по возвращении на родину он приступает к художественной переработке своих дневниковых записей 1914–1918 гг., которые издает в 1936 г. под заглавием «Дорогой к свободе» («*Cestou k slobode*»). В этих дополняющих друг друга книгах, поэтической и документальной, тема России прозвучала особенно пронзительно. За несколько лет, проведенных в России, Есенскому было суждено столкнуться с жестокой действительностью военного и революционного времени, и увиденная изнаночная

сторона жизни обожаемой страны, до сих пор знакомой ему лишь по произведениям литературных классиков, порой вызывала в его душе самые противоречивые чувства.

Первые впечатления Есенского о России задокументированы в главе «Харьков — Тамбов» книги «Дорогой к свободе»:

Если бы я не был пленным, а ехал бы в скором поезде с полным кошельком денег, то мне бы понравилась Россия с ее кириллицей, русской речью, фуражками, длинными папиросами, махоркой, пирожками, белым хлебом, дешевизной, постоянным чаевничанием; но теперь, когда я ехал с последним рублем в кармане в вагоне для перевозки скота в обществе венгров, мое воодушевление не возрастало, а, напротив, от станции к станции падало¹.

Отныне каждый день ему предстояло делать для себя все новые и новые открытия, касающиеся различных явлений русской действительности: суровых морозов, весенней распутицы и непроходимых дорог, особых, крайне необходимых здесь предметов одежды и обуви (теплых шуб, меховых шапок-ушанок, валенок). Помимо этого, прислуживая в канцелярии штаба «господином переводчиком», он в полной мере узнает, что значит русская бюрократическая волокита. Все это способствует разрушению в его сознании идеального образа России, и в своем дневнике он ругает русский народ за лень («В Германии убирают снег, отвозят его за город, и тем самым помогают солнышку, чтобы скорее пришла весна и высохли тротуары. А вы что? — Зачем? Солнышко это сделает и без нас. Мы с Германией воюем. И так, как они, делать не будем», с. 44), нерасторопность («Восьмичасовое опоздание поезда — это в России “ничего”», с. 82) и манеру одеваться в огромные меховые шубы («Русские — самый зябкий народ. Здесь каждый должен быть похожим на медведя, чтобы ему было тепло. <...> Я посмотрел в окно на улицу. А там как будто из зверинца выпустили всех диких зверей. Тут лиса, там медведь, там горный баран, заяц, кошка — кто угодно. Папахи с полдома. Еще и сапоги у дам меховые», с. 72).

Неожиданно для самого Есенского в неприглядном виде предстает перед ним и Петроград, в который он попадает из Киева осенью

¹ *Jesenský J. Cestou k slobode. Zlatý fond denníka SME 2008.* [Электронный ресурс] URL: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/823/Jesensky_Cestou-k-slobode. S. 20. (Далее страницы к цитатам, приводимым по данной публикации, указаны в скобках в тексте.)

1917 г. Нева видится ему «грязной, серой рекой с прогнившими почерневшими лодками» (с. 82), в самом городе — «никакой зелени», и вокруг — «одна пустота». Невский проспект, который он сравнивает с «поношенными и потрепанными штанами старого кавалера», разочаровывает его:

Я ожидал чего-то большого, широкого, красивого, с аллеями деревьев и бог весть чем выложенными тротуарами, блеска, великолепия, роскоши и — ничего такого. Как сотня других улиц больших городов. Никакого впечатления. А ведь здесь ходил Пушкин. Об этом проспекте писал Гоголь. Здесь маршировал Лермонтов... Или это сердце мое уже настолько ожесточилось? (там же)

И даже девушки на петроградских улицах и парках не кажутся ему такими привлекательными, как киевлянки. Проходя по Летнему саду, он замечает:

Люди в пальто сидят на скамейках. Холодно и сыро. Справа и слева ряды статуй. Нагие богини, музы с отбитыми носами, замызганные боги без рук. Прогуливающих мало. Не видно разодетых, воздушных красавиц, как в Киеве. Люди не смеются. Даже нарядно одетые женщины лишены воздушности, они какие-то закутанные, тяжелые и бледные, словно бы приземленные. Нет в них ни красоты, ни очарования (с. 83).

Ощущение неприятия русской действительности со временем все более усиливается и достигает своей кульминации в дни свершения Октябрьской революции, свидетелем которой становится Есенский в Петрограде. Атмосфера предреволюционного города уже навевает ему довольно непоэтические ассоциации: «Когда кипит говяжий бульон, то “пена” из мяса выплывает на поверхность. У нас дома хозяйки собирают эту грязь. Здесь тоже все кипит, и грязь выходит на поверхность. Но кто соберет эту “пену”? Я чувствовал, что начал ненавидеть Петроград» (с. 84). Резко негативное отношение поэта к происходящим событиям нашло отражение и в его стихотворениях этого периода:

В карман упрятали
Былую славу обманутой страны,

чтоб каждый глупец стал господином —
Каторжники стали править.

(«Брест-Литовск», 1918)

Вспоминаю и проклиная палачей живых,
что в мертвый дом превращают Россию¹.

(«Мертвый дом», 1918)

В своем дневнике Есенский открыто называет причиной всего «безграничную человеческую глупость». В главе «В Петрограде» он пишет:

Досель невидимая холера объявилась в подобии ленинского монголоидного черепа. Не звезда, а череп мертвеца с серпом и молотом. За неделю то там, то тут вспыхивающей стрельбы рухнула самая могучая славянская держава. <...> Петроград стучал зубами от страха. От страха перед большевиками. От страха перед немцами. На Выборгской стороне, в рабочем районе Петрограда, по улицам бегали не люди, а голодные, кровожадные бестии. Шла охота на буржуев. Совершались вещи, на которые способно на этом свете только одно божье создание — человек (с. 88).

И с каждым днем в его дневниковых записях все сильнее начинает проявляться сострадание и любовь к России, «переломанной, полуослепшей, горячечной», тревога за нее, сочувствие невинным жертвам описываемых событий. «Моя душа давно плакала по России» (с. 89), — говорит он в конце главы, посвященной описанию революционного Петрограда. Глубокие потрясения, пережитые Есенским в страшные революционные месяцы, затмевают в его душе всякую былую критику, неприятие бытовых мелочей, и на смену им приходит сострадание к этой «измученной и гибнущей» стране и всему русскому народу.

Но не только впечатления от увиденных противоречий жизни становятся темой произведений Есенского этого периода. Особое место в его лирике и документальной прозе отведено образу русского

¹ Цит. по: Каськова С. Янко Есенский // Словацкая литература: XX век. М., 2003. С. 123.

человека и русской женщины. Так, его поэтическая книга «Стихи II» («Verše II», 1923), включившая в себя лирику 1906–1918 гг., оканчивается сонетом «Русской душе» («Ruskej duši»), написанным в ноябре 1918 г. в Екатеринбурге и посвященным хозяйке дома, где он снимал квартиру, Марии Сергеевне Н. С большой нежностью рисует поэт в антураже русской зимы ее образ, по всей видимости вобравший в себя впечатления обо всех русских женщинах:

Ты — гибкая лоза, закутанная в мех,
над чернотой волос папаха снежной тучей.
Твой жгучий темный взгляд, хмельной мороз трескучий,
на ледяном ветру беспечный, юный смех,
дыханья белый пар и — слаще всех утех —
чудесный голос твой, ласкающий, певучий¹.

(Пер. Н. Горской)

А в главе «Екатеринбург» книги «Дорогой к свободе» Есенский объясняет, что, на его взгляд, делает русских женщин такими привлекательными:

То, что в них нет манерности, поз, и они всегда сердечны и эмоциональны; я бы сказал, что их души как открытый сосуд с волшебным напитком, который сам по себе наклоняется и без опаски льет свой драгоценный нектар. Наши дамы тоже полны сладкого сока, но он находится в закрытой бутылке, которую нужно открывать штопором. И при этом нужно быть осторожным, чтобы они не разбились и не поранили тебя! (с. 117)

Тема тоски по России и образ русской души становятся лейтмотивами глав книги «Дорогой к свободе», написанных уже после отъезда из России. На протяжении долгого пути домой на корабле, идущем из Владивостока в Неаполь, Есенский не перестает мысленно возвращаться к годам пребывания на русской земле. Проходя вдоль берегов Китая, он записывает в своем дневнике: «Как прекрасно может быть сейчас в России. Мне опять вспомнилась сердечная, теплая русская душа. Даже в самую суровую сибирскую зиму

¹ Есенский Я. Стихи. М., 1981. С. 56.

она горит и согревает тебя. Я вспомнил ухаживания, увлечения, любовь...» (с. 133)

По возвращении на родину Есенский не забывает о России, теперь русская литература и культура становятся для него еще более близкими и родными. Он активно занимается переводами поэзии, причем исключительно русской: Пушкина, Тютчева, Фета, Блока, Есенина, Горького. Нередко эпитафией к его собственным стихам становятся строчки русских авторов. Тема России вновь появляется в его лирике во время Второй мировой войны, когда поэт тяжело переживает трагические события на советском фронте. Символично, что одним из последних произведений Есенского стало стихотворение «На братиславских кладбищах» («Na bratislavských cintorinoch», 1945) с посвящением павшим русским героям.

Смерть ради жизни, каждый павший — брат,
Который, смерть поправ, погиб за брата,
Сорвав замки с запечатленных врат,
поставленных и запертых когда-то.

<...>

Вы мать-отчизну возвратили нам,
И мы, склонившись у могилы братской,
«Покойтесь с миром», — произносим вам,
Вам, павшим, вам, живым в земле словацкой¹.

(Пер. Д. Самойлова)

Проследивая то, как изменялось отношение Есенского к России и русскому человеку, можно выделить некоторые этапы этой эволюции. Первая детская, романтическая влюбленность молодого поэта в русскую литературу, русские романсы и, в целом, в идеализируемый им образ родной славянской страны по прибытии в Россию трансформируется в совершенно противоположные чувства: неприятие, отторжение, ироническое и порой скептическое отношение к русским реалиям, наконец, разочарование. Все это было обусловлено тяжелым личным опытом, глубоким узнаванием местных особенностей быта и определенных, далеко не всегда положительных черт русского характера. Однако позже, когда Есенский попадает в самый эпицентр революции, переживает в Петрограде бок о бок с русскими людьми

¹ Есенский Я. Стихи. С. 202–203.

тяжелейшие события, становится свидетелем жестоких физических расправ, голода, разрухи, тогда его дневник фиксирует резкую смену настроений поэта: его душа наполняется сочувствием судьбе «измученной» страны, тревогой за ее будущее. Постепенно восторженная юношеская влюбленность в Россию уступает место любви глубокой и сильной, подпитываемой знанием и пониманием не только русской литературы, культуры, истории, но и самого русского человека, его характера, души. Именно это и позволило Есенскому создать выдающиеся переводы русской поэзии на словацкий язык, проникнутые знанием русских реалий и поразительным чувством тончайших нюансов и настроений русской души. До самых последних дней Есенский горел этой любовью, что, в частности, вылилось в создание им большой антологии русской поэзии, изданной, к сожалению, уже после смерти поэта.

Яна Кузмикова

РУССКИЙ ХАРАКТЕР В СЛОВАЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ О ВОЙНЕ

Русофильство и панславизм, или любовь к России и ее культуре и в то же время опора на крепость и силу этой самой большой славянской страны, защитницы славянской семьи языков, — позиции, глубоко укоренившиеся в прошлом словаков. Главным образом в XIX в., когда в едином русле с общеевропейскими революционными движениями формировалась самобытная словацкая нация и ее языковое самосознание, взгляд на Россию как на гегемона всего славянского мира, характерный для словацкой панславистской элиты, проник и в широкие народные массы. Доверчивое и восхищенное, т. е., по сути, непроблематичное отношение к России нашло свое выражение и в литературе того времени. Первым крупным словацким писателем, который внес идею славянской взаимности в словацкую поэзию и в прославляющих сонетах воспел русское величие и культуру, был Ян Коллар (1793–1852). Его поэма «Дочь Славы» (1824) призывает к сотрудничеству славянских народов под патронатом России. Автор сравнивает Россию с могучим дубом, который с незапамятных времен противится гибели и потому должен быть защитой небольших угнетенных славянских народов.

Усилия словацких национальных будителей в 1843 г. были увенчаны введением словацкого литературного языка. Этот язык узаконило поколение молодых интеллектуалов во главе с Людовитом Штуром (1815–1856). Штуровцы также приняли представление о России как о защитнице и опоре славянских народов. Людовит Штур искренне

посвятил себя политической миссии всего славянства и опубликовал много статей на эту тему, из-за чего стал официальным врагом Австрии и подвергся политическим преследованиям. Лишь после его смерти в 1867 г. был издан в Москве его трактат «Славянство и мир будущего», где автор призывал к политической и культурной ориентации несвободных славянских народов на сильную российскую державу.

Основной программой и целью панславизма было объединение всех славянских народов, благодаря чему они должны обрести защиту от германского и венгерского давления. В этой ситуации деятели словацкого национального движения не обращали внимания на недостатки российской монархии, их не занимали ее отсталость, бедность и крепостничество. Отношение малой славянской нации к мощной России с ее славным прошлым, богатым искусством и великой литературой подверглось сомнению лишь в период Первой мировой войны и Великой Октябрьской революции. Поскольку в войне на восточных фронтах участвовали и словацкие писатели (например, Я. Есенский, Й. Грегор-Тайовский, Я. Аугуста), они волей-неволей сравнивали традиционные представления словаков о России с грубой военной и революционной действительностью. Иллюзорные картины России обретали более реалистичные черты благодаря конкретным военным впечатлениям словацких деятелей искусства. Писатели вели дневники, делали заметки, зарисовки, появились даже целые циклы стихотворений и документальных рассказов (сборник Есенского «Из плена», его дневниковые записки «Дорогой к свободе»; «Рассказы из России», «Рассказы о чехословацких легионах в России» Тайовского).

Йозеф Грегор-Тайовский (1874–1940) в Австро-Венгрии относился к национально ориентированным деятелям культуры, которые близко к сердцу принимали судьбу словацкого языка и культуры и боролись против мадьяризации словацкого народа. Неудивительно, что Тайовский как политически неблагонадежный был после начала Первой мировой войны командирован на русский фронт. Он, однако, был полон решимости не воевать против русских — славянских братьев. Сразу по приезде на территорию фронта он несколько раз попытался перейти на противоположную сторону. 29 декабря 1915 г. под Доброполем ему это удалось, и Тайовский оказался в плену. Там он искал возможности участвовать в чехословацком освободительном движении и уже 1 мая 1916 г. в Киеве вступил в Чехословацкую

армию. Одновременно Тайовский начал редактировать печатные органы чехословацких легионов в России, а именно газеты «Ческословенске гласы» и «Словенске гласы». Вскоре к его редакторской, писательской и художественной деятельности в газетах Воронежа присоединился и Янко Есенский. Оба автора публиковали статьи, стихи и прозу, в которых поднимали дух пленных словаков, а также представляли читателю русскую жизнь и русских людей.

И. Грегор-Тайовский показал художественное преломление своих первых впечатлений от России и побег в русский плен в очерке «Янко Вратель». Восемнадцатилетний Янко не хочет воевать против «братьев сербских или русских». Он саботирует приказы австро-венгерских начальников. Поэтому его неоднократно наказывают, но он не испытывает боли, потому что «страдает за свои словацкие убеждения, за любовь к русским братьям, без которых бы нас венгры уже давно сожрали. Но медведя боятся и за оградой, вдруг он поднимет лапу и в защиту нашу...»¹ Здесь очевиден панславистский взгляд персонажа Янко на русских, причем его мнение совпадает с авторским. В рассказах после перехода к русским автор вспоминает дружеские настроения, к пленным словакам русские относились как к равным. В отличие от пленных немцев и венгров, словакам русские доверяли. Тайовский хвалит добрые русские сердца. Он с улыбкой говорит о русских мужиках-солдатах, которые привыкли навешивать на себя все то, что попало им по дороге, начиная с сала и меда и заканчивая солдатскими ботинками и одеждой, вплоть до настенных часов и печных горшков. Нагруженные всевозможным скарбом, мужики — «ярмарочные торговцы» — не поспевали за продвигающимися войсками и задерживали перемещение техники и обозов. Поэтому однажды кто-то заорал им, что идет немецкая кавалерия. Мужики тут же сбросили все свои трофеи и разбежались в разные стороны. Позже, когда волнение улеглось, они горевали по поводу утраченных вещей, которые могли бы скрасить их тяжелую военную жизнь. Тайовский признается:

Никто еще не был мне так близок, как этот отверженный мужичок, сияющий как ребенок, упрямый как ребенок, то добрый, то злобный как ребенок. Каким человеком станет этот ребенок, когда вырастет, сейчас

¹ Gregor Tajovský J. Dielo. Zv. 5. Bratislava, 1956. S. 24.

никто не угадает, но я думаю, что из России выйдет новый человек, человек-брат всем людям¹.

(«В поезде»)

В таком ключе Тайовский создал портрет обычного русского солдата.

Однако появлялись уже и первые неприятные впечатления и предостережения. Например, недостойное поведение русских вышестоящих по отношению к подчиненным. Капитан, командир трудовой роты, которая рыла окопы и сооружала заграждения, был одинаково груб и к пленным, и к русским. Униженные, неграмотные, непросвещенные и легковверные русские мужики из-за этого были податливы на различную агитацию. В очерке «Самострелы» Тайовский пишет о толпах дезертиров, которых после революции в 1917 г. уговорили бросить воевать на фронте и вернуться домой. По дороге домой они сами наносили себе раны, но зачастую было ясно, что эти раны получены не в бою, поэтому их арестовывали казаки или полиция. Поведение дезертиров сразу же после Октябрьской революции 1917 г. автор поначалу расценивал как предательство молодой российской свободы. Вскоре, однако, Тайовский изменил свое отношение к большевистской революции. Во время Гражданской войны в России (15–16 мая 1918 г.) на железнодорожной станции в Челябинске произошел инцидент, в результате которого чехословацкие легионы выступили против советской власти и начались продолжительные, длившиеся полтора года бои вокруг Транссибирской магистрали. Причиной вооруженного выступления было желание большевиков разоружить легионы. Тайовский в «Рассказах о чехословацких легионах в России» (1920) отмечает коварство нападений большевиков и расценивает их поведение как саботаж по отношению ко всей России:

Чем дальше на запад, тем больше свидетельств красноармейских приемов борьбы. Они уничтожают все, горы бы навалили на пути наших, лишь бы избежать боя. Вырванные рельсы, разваленные мостики, а на тех, что побольше, разбитые вагоны, сошедший с пути локомотив; на мосту высотой 20–30 метров два столкнувшихся поезда, локомотивы которых встретились как раз на мосту; одни вагоны сожжены, другие

¹ Ibid. S. 116.

разломаны и стоят на рельсах, а третьи, оторвавшиеся, валяются под высоким берегом. Я не видел таких картин, разве что в начале мировой войны. Ни одна политическая партия во время своего правления не может допускать таких разрушений. Это делают наемники и преступники, которые, будучи на службе у Ленина и Троцкого, опустошают всю Россию, чтобы она не смогла еще раз выступить против Германии, что означало бы конец германской гордыни¹.

Здесь уже Тайовский будто бы предсказал Пакт Молотова–Риббентропа, т. е. договор, подписанный 23 августа 1939 г. между гитлеровской Германией и сталинским Советским Союзом. Хотя согласно договору Германия и Россия разделили сферы влияния, пакт не уберет Россию от нападения нацистской Германии и начала Второй мировой войны.

Тайовский, тем не менее, всегда отделял большевиков от русского народа в целом. В своих очерках он не раз спрашивает: «О чем же может мужик думать <...> понимает ли он или только приглядывается, как ребенок, как приглядывается к нашей борьбе до сих пор почти весь русский народ?»² В отношении Тайовского к русским всегда брал верх симпатизирующий славянин, панславист. Например, в очерке «Навстречу» от 4 июля 1918 г. автор пишет: «Какое созвучие мягкого, легковерного характера русских и словаков!»³

С симпатией подано и описание русских женщин, добросердечных крестьянок. Тайовский особо выделил и одну мещанку, которую охарактеризовал как женщину спонтанную, заботливую, образованную и верную мужу на фронте.

Судьба, очень похожая на судьбу Тайовского, ожидала в России во время Первой мировой войны и Янко Есенского (1874–1945), поэта, прозаика и публициста, взгляды которого на Россию по возвращении на родину были схожи со взглядами Тайовского. Как и Тайовский, он после начала Первой мировой войны был призван в австро-венгерскую армию как «неблагонадежный панславист». В русский плен он перебежал 3 июля 1915 г. у деревни Туробин. В книге воспоминаний о 1914–1918 гг., названной «Дорогой к свободе» (1933), Есенский отмечает, что, зная немецкий, русский и английский, в плену он стал

¹ *Gregor Tajovský J. Rozprávky z Ruska // Gregor Tajovský J. Rozprávky o československých légiách. Bratislava, 1920. S. 222–223.*

² *Ibid. S. 202.*

³ *Ibid. S. 214.*

переводчиком, благодаря чему русские относились к нему хорошо. Как переводчик и зоркий наблюдатель он, однако, быстро оценил отношения в русской среде и в армии. Русский народ и низшие офицеры придерживались мнения, что их генералы — немецкие предатели. В газете «Русское слово» Есенский прочитал, что в России «всё в немецких руках: торговля, банки, промышленность, дипломатия, генералитет»¹. Это также вело к тому, что в армии царили недоверие и хаос. Рядовые русские солдаты, а не только иностранцы-военнопленные, жили в грязи и голодали. Никто не держал слова, не было дисциплины и контроля, воровали. Жизнь каждого человека, без учета национальности, зависела от симпатий и антипатий, возникавших между людьми. Взаимные симпатии и необходимость сотрудничества в жестоких условиях часто брали верх, не принимая в расчет национальные и языковые различия. Проявлялись главным образом характер и мораль человека — индивидуума. Есенский схватывал именно индивидуальный характер людей, с которыми встречался. В отличие от Тайовского он меньше обобщал, редко типизировал, а в воспоминаниях не опускал и негативных замечаний и случаев в связи с Россией.

Работая с представителями разных наций (русские, немцы, австрийцы, венгры, словаки, чехи и др.) и обсуждая с ними политику, писатель Есенский мог применить свой талант чуткого наблюдателя. Ничто человеческое не было ему чуждо, поэтому слабости и недостатки своего окружения он не слишком осуждал. Единственное, что ему категорически претило, — это отрицание свободы человека другим человеком, свободы народа — другим народом. Власть имущие были для Есенского помехой как среди русских, так и среди венгров, чехов или словаков.

Что касается общения с русскими в своем окружении, Есенского особенно занимала русская разговорчивость, вечное философствование, всеобщая склонность к религиозным церемониям, но при этом и отсутствие границ дозволенного, если появилась возможность улучшить свое положение за счет другого. Никто заранее не знал, получит ли он за свои деньги желаемую должность. С другой стороны, находились и такие люди, которые искренне помогали нуждающимся.

Есенский, подобно Тайовскому, при первой возможности присоединился в России к чехословацкому сопротивлению. Вскоре он

¹ *Jesenský J. Cestou k slobode. Martin, 1933. S. 55.*

оказался и среди его руководителей. Кроме этого, он редактировал газету и занимался литературной деятельностью. Благодаря этим обстоятельствам он много путешествовал по всей стране и менял места пребывания. Жилье он обычно снимал самостоятельно, а потому ближе узнавал манеры и поведение русских. Не раз случалось, что жилищные условия не соответствовали изначально заплаченной сумме. Вместе с тем, например, в Воронеже он оказался в семье, где о нем хорошо заботились. Он получил доступ к библиотеке и смог расширить свои познания о русской литературе. Через некоторое время, однако, ему пришлось из Воронежа переехать в Киев. В Киеве с ним приключилось следующее: после Нового года он сдал в починку свои единственные ботинки, и они пропали, так что ему не в чем было идти в гости к знакомым. Тогда он одолжил домашние туфли у прислуги. Но на этом его страдания не кончились, через некоторое время в гостинице «Прага» он лишился и своего жалкого пальто.

В Киеве Есенского застала Февральская революция 1917 г. В городе воцарилась анархия. «Ленин, как невидимая холерная бацилла, где бы ни появился, всюду оставался труп прежних порядков, разрушались элементарные понятия, мышление»¹. Солдаты и слуги начали играть в господ. Они стреляли в своих офицеров, покидали фронт и спешили домой делить господское имущество. «Вся Россия пылала. Куда ни глянь, сплошной пожар, грабеж, бунт, убийства, кровь. Революция переродилась. В красной краске хозяйства тонули, горели»².

Но через несколько месяцев случилось еще большее бедствие: Октябрьская большевистская революция. «Невидимая доселе холера появилась в форме ленинского монгольского черепа. Череп с молотом и серпом, а не звезда. За неделю беспрестанной стрельбы рухнула самая могущественная славянская страна»³.

В первые дни так называемой «Великой» Октябрьской социалистической революции Есенский находился в Петрограде, став непосредственным свидетелем революционных событий. Он ужаснулся, увидев жестокие зверства революционеров. Везде убивали и грабили, на улицах и в домах. Революционеры по своей воле судили и казнили. Однажды поймали какого-то капитана. Его маленький сын не хотел от него отрываться, тогда отцу отсекли саблей руку, так что мальчик, держа отрубленную руку, упал на спину. Жестокость революции

¹ Ibid. S. 149.

² Ibid. S. 151.

³ Ibid. S. 169.

Есенский отразил, например, в антибольшевистском стихотворении «Равенство, свобода, братство», включенном в сборник «Из плена» (1919). Стихотворение он написал 3 февраля 1918 г. в Киеве. Автор сравнил революцию с бешеным вихрем, где человек, брошенный в кровь и грязь, колотит, забивает палкой провозглашенные французами ценности свободы, равенства и братства¹. В других стихах Есенский пишет, что после революционного переворота господами стали рабы, которые плюют в лицо России («Брест-Литовск»)² и строят из нее мертвый дом без культуры и традиции («Мертвый дом» — стихотворение, посвященное Достоевскому, написано в Омске 2 мая 1918 г.)³.

После таких переживаний неудивительно, что Есенский отверг декрет Киевского совета о формировании чехословацкой Красной гвардии. Чехословацких большевиков Есенский, как и Тайовский, без исключения считал предателями миссии чехословацких легионов в России. Целью легионов должно было быть освобождение словаков и чехов из-под господства Австро-Венгрии, а не вмешательство в стихийные события в России.

В те времена многие задумывались о пацифизме, а потому обращались и к философии Толстого. В Омске Есенский после встречи с Душаном Маковицким-младшим, большим поклонником Толстого, прочитал сочинение Толстого «Одумайтесь», где писатель отрицает войну. Есенскому не понравилось, что Толстой «готов был продать всю великую славянскую империю за одно искреннее “Отче наш”. — Этот философ нам не годится, — говорю я Маковицкому. — Это хоть и красиво, но только на бумаге. На практике от сотворения мира — другое, и будет другое до его конца»⁴.

Взгляды Есенского подтвердились, когда Сталин издал постановление разоружить в Пензе чехословацкое соединение перед его отправкой во Владивосток и дальше на родину. После инцидентов в Челябинске это постановление еще раз утвердил и Троцкий. Началась открытая борьба чехословацких легионов против большевистской Советской власти.

Кроме большевистского, существовало еще сибирское правительство с центром в Омске, самарское правительство с центром в Самаре,

¹ *Jesenský J. Zo zajatia. Turčiansky Svätý. Martin, 1922. S. 89.*

² *Ibid. S. 90.*

³ *Ibid. S. 91.*

⁴ *Jesenský J. Cestou k slobode. S. 185.*

уральское правительство с центром в Екатеринбурге, под Читой — правительство казачьё, а во Владивостоке — владивостокское. Все эти правительства при создании единого российского правительства проводили совещания с русским представительством Чехословацкого национального совета. На заседаниях, бесконечных переговорах и при спорах присутствовал и Есенский как заместитель председателя Чехословацкого национального совета в России. Есенский полагал, что Россия должна освободиться от большевиков, «как покорных слуг немцев», и свободно и целостно соединиться с другими славянскими народами в одном союзе. Как и у Тайовского, у Есенского, вопреки всему опыту пребывания в России, постоянно преобладала идеализированная мечта о славянской взаимности, антигерманское и антивенгерское всеславянство. В то же время оба словацких писателя настаивали на равноправии и равноценности отдельных славянских народов.

Наряду с совещаниями функционеры Чехословацкого национального совета участвовали и в развлечениях. Здесь Есенский встречался и с русскими женщинами:

Что делает русских женщин такими привлекательными? — писал он. — То, что они лишены церемоний, поз, всегда сердечны и эмоциональны, я бы сказал, что их души — словно открытые сосуды со сказочным напитком, они сами по себе наклоняются и льют свой драгоценный нектар без опаски. Наши дамы тоже наполнены, в них сладкий сок, но в закрытой бутылке, пробку тебе приходится тянуть штопором. При этом будь начеку, чтобы они не разбились и ты не поранился!¹

По русской женщине Есенский еще долго скучал и во время многомесячного путешествия на корабле в Европу и на родину, куда он отправился в январе 1919 г. Пассажиры судна были в основном западноевропейцы. Он вспоминает:

Всем нам в душе было холодно среди этих культурных, западных, накрахмаленных людей, итальянцев, французов. Не хватало настоящих русских, а еще больше — «настоящей русской девушки»², веселой, непосредственной, скромной и красивой, какими были те, кого мы когда-то встречали в России. Она бы нас развеселила, и на корабле были

¹ Ibid. S. 222.

² Есенский написал эти слова по-русски. — *Прим. пер.*

бы и кусочек России, и кусочек славянства. <...> Ко мне опять пришла мысль о сердечной, теплой русской душе. И в суровейший сибирский мороз она горит и согревает тебя¹.

Позже Есенского уехал из России Й. Грегор-Тайовский. Ему это удалось уже в августе 1919 г. На родину он вернулся в ноябре 1919 г.

Чехословацкие легионы, находясь в России, боролись прежде всего за новый государственно-правовой порядок во всей Европе и за создание самостоятельной Чехословацкой республики. Эта цель была достигнута. В то время, когда Й. Грегор-Тайовский и Янко Есенский отправились в долгий путь из России на родину, уже существовала Чехословацкая республика, образованная благодаря послевоенным мирным договорам в октябре 1918 г. Образование Чехословацкой республики означало конец долгих многовековых стараний по ассимиляции словаков в венгерской среде. Закончились интенсивная мадьяризация и угнетение словацкого народа. Словацкое общество и культура могли развиваться в лучших условиях. На первый план выступало молодое поколение, не обремененное историческими обязательствами. Молодые деятели искусства отвергали старшее, консервативное крыло словацкой культуры (которое было носителем и русофильских ценностей) и программно черпали вдохновение главным образом из современной западной культуры, авангардных манифестов и новых, нетрадиционных произведений и экспериментов.

Но вскоре опять наступило оживление интереса к России и ее культуре, когда в конце 1930-х гг. вновь напомнила о себе немецкая военная угроза. Вслед за этим, в 1939 г., началась Вторая мировая война. Когда против германской опасности неустрашимо и победно выступил мощный русский освободитель, это не могло не отразиться в словацкой литературе в образе русского человека. В список литературных героев вернулся сильный и бескорыстный русский брат. Положительно, без противоречий и сомнений, схематично изображали русских (советских) людей в основном писатели-коммунисты. Однако авторы, принадлежавшие к другим политическим и идейным партиям и группам, искали в русском освободителе и человека как такового, человека с положительными и отрицательными свойствами, который реально общался с местным населением. Так возникали по-человечески интересные портреты русского человека,

¹ *Jesenský J. Cestou k slobode. S. 246, 255.*

действия и поведение которого были вписаны в контекст русской культуры в целом. Здесь необходимо вспомнить прежде всего творчество Франтишка Швантнера (1912–1950). Швантнер прошел путь от изображения русского солдата как двойника словацкого солдата в Первую мировую войну (повесть «Божья игра») до формирования специфического характера русского освободителя, который был обуслован развитием русской истории и культуры, но в то же время обусловлен и традиционным для словаков русофильским отношением к мощному славянскому брату.

Во время Второй мировой войны Франтишек Швантнер сначала обратился к проблематике Первой мировой войны. Он написал новеллу «Божья игра» (1943), в которой даже можно проследить влияние взглядов и опыта Й. Грегора-Тайовского и Я. Есенского.

Фабула ее такова: солдата австро-венгерской армии Матея Динтара и его друга голод вынудил перейти линию фронта, чтобы добыть пропитание в близлежащем замке, занятом русскими. По пути Динтар натолкнулся на купающегося русского и убил его. Он быстро сбросил свою окровавленную форму и переделся в русскую. Впоследствии он был ранен в бою. Когда в госпитале опознавали павших, от Матея Динтара, полного угрызений совести за убийство русского, отделилось его «нагое тело». Оно отправилось спасать солдат, которые остались лежать на поле боя.

Матей Динтар выздоровел и еще четыре года воевал на фронтах. В конце концов он благополучно вернулся домой к жене, завел трактир, у него родилась дочь. Однажды ночью трактир Динтара посетил его двойник, рожденный совестью военного убийцы, и потребовал имущество и семью Матея. Гость рассказал свою историю: как его ударил ножом заблудившийся русский, когда он с другом купался в канале, и как он вынужден был надеть русскую военную форму, потому что, очнувшись, не нашел своей. (Эта ситуация — зеркальная копия исходного события, когда Динтар убил русского.) Потом двойник Динтара оказался среди русских, которые его из-за русской формы сочли неким «Иваном Васильевичем». Он выучил русский язык, и через некоторое время его забрала из лазарета жена неведомого Ивана Васильевича. Двойник Динтара начал жить с ней, у них родился сын. Все это время он, однако, находился в шизофреническом состоянии: он существовал «без души» мертвого Ивана Васильевича. Пока не решил узнать, что произошло с его собственной женой в Словакии. Найдя около нее первоначального Динтара, он отправился

обратно в Россию к своей Марфе и Грише. Визит двойника из России прояснил и душу словацкого Динтара, так как он установил, что его покаянная совесть оживила жертву его насилия.

В двойном персонаже Динтара и в его борьбе за выживание Швантнер выделяет универсального человека, солдата неважно какой армии. Поэтому в повести он замечает, что военные формы одинаковы у всех мужчин мира. Эта метафора, однако, имеет неожиданно реальную основу, например, в воспоминании Й. Грегора-Тайовского. В его военном вещевом мешке была одна вещь «из Турца, другая из Братиславы, третья из Москвы, четвертая из Варшавы, пятая из Киева, шестая из Петрограда... и к тому же одна еще относится к австрийской военной форме, вторая — уже к русской. Вещей у меня, словно я обокрал и австрийского, и русского солдата, и штатского» («На передней площадке»)¹.

В повести Швантнера *alter ego* Матя Динтара стало Иваном Васильевичем, когда надело русскую военную форму. Перевоплотившийся и раненый Иван Васильевич провел оставшиеся годы войны в русских госпиталях и как раз лечился на Украине в Луганске, когда произошла большевистская революция. Во время русской революции 1917 г. самому Франтишку Швантнеру было всего пять лет, поэтому при описании революционных событий он использовал опыт и суждения чехословацких легионеров. Русский герой «Божьей игры» Иван Васильевич, двойник словака Динтара, переживает революцию как хаос, в русском лазарете он отмечает страх и недоверие людей друг к другу. При первой встрече с женой Ивана Васильевича двойник узнает о вандализме большевиков, которые хотели разрушить избу, но жена пригрозила, что муж им отплатит, и они разбежались. Несмотря на нападки большевиков, на Динтара — он же Иван Васильевич — русские произвели хорошее впечатление: у Марфы в лице много приветливого и доброго, у слуги Митрошки широченное лицо добряка, вообще ему в России живется хорошо. Таким образом, Швантнер в «Божьей игре», опубликованной во время войны, в 1943 г., еще шел в русле традиционной русофильской ориентации: хотя в Словакии были возражения против русской большевистской революции, в целом русский народ восхваляли.

Проблему русофильства автор в дальнейшем рассмотрел в новелле «Письмо» (1948). Действие происходит в конце Второй мировой

¹ Gregor Tajovský J. Dielo. Zv. 5. S. 85.

войны, когда русские войска освободили территорию Словакии. Героиня новеллы Юлия в прощальном письме своему супругу Ивану раскрывает перипетии нескольких лет их брака. Иван считал женитьбу на Юлии, которая до этого доверяла только разуму, лишь средством достижения совершенного гуманизма, поскольку мечтал о любви, которая бы объяла все человечество, весь мир и вселенную, в результате чего человек мог бы встретиться с Богом. К всеобъемлющей любви Иван вел и свою супругу Юлию. Идеалом их желаний стал русский солдат-освободитель, который, не раздумывая, готов был жертвовать собой во имя человечества. Но когда русские войска по дороге к победе над фашистской Германией добрались и до их города, мечтательный пыл оставил Ивана. В ту минуту, когда он понял, что его идеал спасителя — свободный человек со своими требованиями и недостатками, он потерял возвышенную уверенность. Он тут же хотел открыть глаза Юлии, поэтому привел домой пьяного и сурового русского капитана. Тот стал претендовать на женщину, а она, пытаясь защитить трусливого мужа, поддалась ему. Иван, его семья и знакомые Юлию бескомпромиссно осудили. Женщина с рабской покорностью несла свое незаслуженное наказание, пока не поняла, что стала матерью. Это напомнило ей о ее «грехе»: когда она в ту памятную ночь пришла в себя рядом с бесцеремонно грубым капитаном, она могла отомстить, могла убить его. В насильнике она вдруг, однако, увидела свой навеянный поэзией идеал скифа из стихотворения Блока «Скифы». В поэзии Блока скиф — символ России, носитель нового света с Востока для всей Европы. Блоковский скиф представляет собой азиатскую стихию жестокой любви, которая бескомпромиссно призывает к братству Россию и европейские народы. Юлия, буквально соблазненная стихотворением Блока, не смогла отомстить «ожившему» скифу, напротив, свое бесчестие она восприняла как дар, способствовавший выполнению его великой миссии.

Скиф Юлии, по сути, представлял собой Бога, был синонимом всеобъемлющей любви, проявления которой она видела в произведениях русских классиков: Горького, Маяковского, Блока, Пастернака. Русские писатели вдохновляли ее изображением человека в его полной наготе, которая одновременно вызывает жалость и ненависть. Такое эстетическое восприятие русского человека обрело в мировоззрении Юлии магическую силу и стало для нее единственным критерием оценки русских. Это, однако, уже является иррационально-мифологической формой отношения к объекту. Юлия открывает

неспособность мужа принять русский идеал в его профанированном виде, но сама, в свою очередь, перестает ощущать чисто литературно-эстетическое происхождение русского освободителя. Буквально мистическим было литературное влияние фигуры стихийного скифа на мышление когда-то рациональной Юлии.

Юлия нашла в литературном скифе представителя возможного гуманного мира, которого создала в мечтах. Противоречие, однако, в том, что в ее истории русский освободитель хоть и является стихийным носителем жизни, но можно сомневаться, что он также является носителем гуманизма. Он проявляет себя скорее как бесстрашный, импульсивный, властный завоеватель. Этим он напоминает большевика, каким его описал Есенский: Ленина с монгольским черепом.

В целом русские все же другие. Юлия наблюдала и за обычными русскими солдатами. Она обратила внимание, что приветливость творила с ними настоящие чудеса: из диких завоевателей они превращались в по-детски доверчивых и чувствительных людей, которые помогали ей в работе, были услужливы и вежливы. Они охотно откладывали оружие и предавались бурным проявлениям жизни, песням и пляскам.

Образ русского, оформившийся в новелле «Письмо», подкрепляют и послевоенные дневниковые записи Швантнера. Он отметил: «От русских мы ждем больше, чем они могут совершить. Мы создали о них легенду, мистифицировали их, мы уже не можем смотреть на них как на людей с недостатками»¹. В другом месте своего дневника писатель напоминает, что после Второй мировой войны люди в Словакии имеют немало возражений против коммунизма и Советского Союза, но прежде всего надо признать мужество русских людей, например, при обороне Сталинграда².

Мужество, сила, жертвенность русских солдат-партизан подчеркнуты и в репортажном романе «Хроника» (1947) Петера Илемницкого (1901–1949) из времен антинацистского Словацкого национального восстания 1944 г. Сразу же, во вступлении к роману, автор описывает первую встречу лесничего Гондаша с русскими парашютистами в 1943 г. Восторженность лесничего не слишком отличается от восторженности швантнеровской Юлии, причем свои душевные движения лесничий относит ко всему словацкому народу:

¹ Švantner F. Integrálny denník. Pezinok, 2001. S. 73.

² Ibid. S. 105.

Я встречаюсь с теми, о ком говорил весь мир, с теми, кто в наших представлениях вырастал до сверхъестественных размеров и кому любой из нас был склонен приписывать качества сказочных героев. Я обнимал их восторженным взглядом, и лишь моя неловкость, думаю, была виной того, что я низко не поклонился им¹.

Такая вера в русских освободителей побудила лесничего дать своей новорожденной дочери русское имя «Надежда». Маленькую Надежду русские умели забавлять лучше, чем собственный отец, их спонтанная способность к игре, танец, пение радовали ее и заставляли смеяться.

Согласно роману Илемницкого, в Словакии русские во время партизанской войны 1944–1945 гг. проявляли только положительные качества. Русские командиры были все как один исключительные. Они были храбры, дальновидны, требовательны, решительны, строги, но справедливы, заботливы и исполнены любви к людям. Благодаря этому подчиненные их уважали и любили. Под командованием русских партизаны не смели обворовывать гражданских или немцев. Но, с другой стороны, русские умели и необузданно радоваться, причем брали у местных жителей все что можно, еду и водку. В подпитии они воевали с немцами не только в праздник большевистской Октябрьской революции.

Илемницкий в «Хронике» не оставляет без внимания и таких русских, которые добровольно или по принуждению воевали вместе с немцами. Их называли власовцами по фамилии командующего Власова. Их соединение состояло из захваченных немецкой армией пленных, а также русских эмигрантов и противников коммунистического режима. Власовцев немцы использовали на партизанских территориях оккупированных государств. В «Хронике» Илемницкого власовцы обрисованы как бесчувственные охотники на людей, убийцы, которые казнили без церемоний и доказательств. И наоборот, русский партизанский командир никогда не применял насилия против безоружных и позволял казнить только сторонников Гитлера и нацизма.

Роман-хроника Илемницкого был написан сразу после войны, по свежим впечатлениям от невероятных страданий как словацкого, так и русского народа. В результате все персонажи вышли либо

¹ *Jilemnický P. Kronika. Bratislava, 1958. S. 14.*

однозначно хорошими (партизаны, русские), либо абсолютно плохими (немцы, власовцы). Эта черно-белая схема вынужденно соблюдалась и во всей официальной литературной продукции, которая выходила в Словакии с 1948 г. после насильственного установления коммунистического режима. Допустимым было лишь творчество, основанное на коммунистической идеологии и соответствующее правилам так называемого социалистического реализма. Сюда относятся книги выдающегося писателя-коммуниста Владимира Минача (1922–1996). Один из героев его романа «Живые и мертвые» (1959), русский партизан Леша, воюющий в словацких горах, тоже настроен односторонне, «он любит вещи ясные и простые, здесь я, а здесь враг, здесь моя родина и я воюю, чтобы жить, чтобы жила моя родина»¹. Поэтому Леша не воюет «в перчатках», он предпочитает действовать стихийно, не любит дисциплину. В целом вся русская большевистская армия не соблюдает «никаких известных и всеми вышестоящими признанных законов, закона усталости живой силы и техники, закона отстающих обозов, для них не работали никакие законы, они лишь шли, и шли, и приближались с грозным топотом миллионов ног»².

В 1959 г. вышел и роман Ладислава Мнячко (1919–1994) «Смерть зовется Энгельхен». В отличие от Илемницкого и Минача, персонажи Мнячко — не герои, а жертвы мировой войны. Один из основных персонажей романа — офицер Советской армии Николай, который после заброски десантом на словацко-моравскую территорию организывает партизанское движение. Одновременно он заботится и о коммунистической пропаганде, о том, что будет в Чехословакии после войны, какой государственный режим будет установлен и присоединится ли страна к строительству коммунизма и Советскому Союзу. Характер у Николая образцовый: он всегда знает, что делать, и всегда оказывается прав. Он требователен, рационален, всегда обосновывает решение, надо ли убить захваченного немца или нет. Но даже он был обманут немецкими шпионами и стал причиной истребления и сожжения партизанского поселка.

Подругой Николая стала Ольга, русская, которую немцы угнали на принудительные работы, но ей удалось сбежать из Германии, и по дороге домой она столкнулась с группой Николая. Красивая, рослая,

¹ *Mináč V. Živí a mrtví*. Bratislava, 1959. S. 318.

² *Ibid.* S. 321–322.

гибкая, как кошка, доверчивая, но и весьма образованная, героиня у Мнячко также соответствует идеалу русских женщин, который создали еще Есенский и Тайовский.

Застрелившегося после тяжелого ранения Николая сменяет другой русский, Гришка. Девизом Николая было: лучший немец — это мертвый немец. В отличие от него и в отличие от других образов-схем словацкой литературы, Гришка — необычный характер. Все над ним посмеивались, потому что он не выносил убийства, избегал стрельбы и не застрелил ни одного немца. Он выслушивал мнение подчиненных, не навязывал всем исключительно свою волю, в отличие от Николая. Преимуществом Гришки был прекрасный голос, чистое пение, которым он поднимал дух своей команды, преодолевал депрессивное состояние у солдат и ободрял отчаявшихся.

В романе Мнячко приход победителей-красноармейцев жители освобожденного приграничья отпраздновали с благодарностью до фанатизма. Они верили, что наконец станут хозяевами в своей отчизне. Они уже не боялись, что главное у них — их землю — отберут немцы. Насчет земли освобожденные словаки были уверены: «Русский оставит ее нам, мы знаем, это нам сказали Николай, и Дмитрий, и Гришка, которым мы верим»¹.

И все же эта послевоенная вера, основанная на многовековой общеславянской традиции, не получила подтверждения. Русский идеал не оправдал надежд. Наиболее ярко это проявилось в перенесении культа личности и политических процессов в вассальную Чехословакию, а затем в августе 1968 г., когда на Чехословацкую республику напали и оккупировали ее войска Варшавского договора, которыми дирижировало правительство Советского Союза. За одну августовскую ночь, в течение которой чехословацкую землю и людей захватили русские танки, у большинства словаков, как и у большинства чехов, рухнули все иллюзии о бескорыстном и жертвенном русском брате.

С тех пор прошло уже почти полстолетия, и за это время выросли новые поколения словаков, чехов и русских, которые смогли взвесить ошибки своей общей истории. В заключение мы можем подытожить, что в словацкой литературе сопротивления XIX и XX вв. портрет русского был в основном положительным, но и однобоким. Это определялось идеологией: вначале русофильской, сформировавшей идеал

¹ *Mňacko L. Smrť sa volá Engelchen. Bratislava, 1963. S. 162.*

великого русского защитника словацкой нации, а затем коммунистической, также поддерживавшей культ мощного русского брата как освободителя Чехословакии и как послевоенного строителя справедливого мира. И если в конце 40-х гг. XX в. Франтишек Швантнер пронизательно рассуждал о русских: «...мы создали о них легенду, мистифицировали их, мы уже не можем смотреть на них как на людей с недостатками», — то сегодня мы уже не занимаемся взаимными мистификациями. Поскольку лишь при реальном, равноценном подходе с обеих сторон можно построить искренние дружеские отношения.

А.В. Амелина

**УТОПИЧНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ СОВЕТСКОЙ РОССИИ
В ЧЕШСКОЙ СРЕДЕ 1920–1930-х гг.
(Я. Вайсс, М. Майерова, Ю. Фучик)***

Первая мировая война и революция в России стали потрясением для Европы и породили волну литературы (как художественной, так и публицистической), в связи с которой можно говорить об утопическом мышлении, намеренном или нет. А.М. Пиша назвал это явление «волной утопичности»¹, а в самой чешской литературе эта волна поднялась как нигде высоко.

Утопическое мышление всегда было свойственно человеку, тексты с признаками утопичности создаются со времен античности. Теоретическое исследование этого явления в последние годы значительно продвинулось. На основе многочисленных работ можно выделить две ипостаси утопии: первая — определенный тип сознания, вторая — непосредственное воплощение утопического сознания в форме: 1) корпуса текстов, составляющие определенный литературный жанр или жанр социальной мысли, 2) социального феномена, т. е. практической стороны утопии, связанной с ее реализацией (за основу, с небольшими изменениями, берется деление В.Д. Бакулова²).

* Эта статья написана при помощи стипендии для иностранных богемистов в Институте чешской литературы АН ЧР / Tato publikace vznikla s pomocí stipendia pro zahraniční bohemisty v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. (<http://www.ucl.cas.cz/en/international-collaboration/czech-studies-grant>).

¹ *Piša A.M. Vlna utopičnosti // Piša A.M. Směry a cíle: kritické listy z let 1924–1926. Praha, 1927. S. 142–153.*

² *Бакулов В.Д. Социокультурные метаморфозы утопизма: автореф. дис. ... докт. фило-соф. наук. Ростов-на-Дону, 2003. С. 6–7.*

Утопия как тип сознания рассматривается во взаимосвязи со следующими категориями¹. Во-первых, она неотделима от понятия «идеал». Утопист пытается создать идеальное общество, устроенное по воле человека и согласно его разуму. Утопия трансцендентна. Идеальное общество не является результатом естественного, спонтанного общественного развития. Это позволяет отделить утопию от науки, которая стремится не к идеалу, а к истине, и отнести ее к ценностному сознанию, в рамках которого она рассматривается как особое понимание идеала². Особенностью утопического идеала является его гипотетическая достижимость, поэтому этот идеал нередко служит планом или руководством к действию. В этом смысле утопист исходит из всемогущества человека, способного на создание идеального мира, а также из пластичности мира, который будет преобразован.

Далее, важнейшей чертой утопического сознания является его противопоставленность истории. Как уже было сказано, утопия не является следствием эволюции в историческом процессе. Утопист отказывается принимать мир каков он есть и создает мир альтернативный. Новое общество выступает как альтернатива настоящему, а не как результат эволюции последнего. Утопическое общество статично, остановлено в своем развитии, так как идеал достигнут и люди в идеальном обществе счастливы. Такой антиисторизм ставится в укор утопии ее критиками.

Несогласие утописта с настоящим является тотальным. Настоящее — абсолютное зло, а созданный мир — абсолютное благо. Важен в этой связи тот факт, что общества, в которых существующий порядок представлялся гармоничным, утопистов не порождали, это делали общества в период глубоких кризисов и разброда мнений³.

Разумно сконструированное общество утопист создает в мечтах об идеальном и счастье всех людей, поэтому проблема противоборства свободной воли с рациональным законом снимается⁴. Рациональность человека и научное знание становятся оплотом идеального общества и человеческого счастья, а по мере исторического развития наука занимает в утопии все более важное и определяющее место.

¹ См. статью теоретика феномена утопии: *Черткова Е.Л.* Утопия как тип сознания // Общественные науки и современность. 1993. № 3. С. 71–81.

² *Черткова Е.Л.* Указ. соч. С. 72.

³ *Шацкий Е.* Утопия и традиция. М.: Прогресс, 1990. С. 34.

⁴ *Черткова Е.Л.* Указ. соч. С. 75.

При построении идеального общества утопия опирается на настоящее, исходит из его критики. Поэтому историческая эпоха всегда оставляет свой отпечаток на утопии и определяет некоторые ее черты.

Утопия также является своего рода экспериментом, что сближает ее с наукой, и в связи с этим можно говорить о важнейшей функции утопии — познавательной. «Именно так, несомненно, поступает социолог, конструируя “идеальный тип” какого-либо явления и подчеркивая такие его черты, которые, как правило, не встречаются одновременно в столь четко выраженной форме, но которые особенно важны для его понимания»¹.

Еще одна важная особенность утопического сознания (как следствие абсолютности идеала), выделяемая Э.Я. Баталовым, состоит в его «факторности». В реальной действительности утопист видит только отрицательные ее стороны, а в идеальном обществе присутствуют только положительные, произвольно выбранные характеристики, которые «работают» на идеал автора утопии². Утопист разбирает мир на элементы, факторы, и снова его собирает по «логике произвола».

Утопичность, воплотившаяся в определенных текстах, сформировала в художественной литературе определенный жанровый канон, сначала для положительной утопии, и позже, в XX в. и для отрицательной утопии (антиутопии). Поскольку речь в нашей работе пойдет об утопичности со знаком «плюс», т. е. о жанре «классической» утопии, приведем основные ее жанровые константы (многочратно рассмотренные в различных литературоведческих и философских работах), опираясь на труд крупнейшего литературоведа испанского происхождения Ф. Аинсы³: географическая изолированность, вневременность (отсутствие исторического времени), автаркия (сведение к минимуму внешних связей), урбанизм (утопический проект именно как город), регламентация (проявляющаяся в коллективизме, единообразии жизни).

В чешской литературе межвоенного периода утопическая «волна» оставила огромное количество художественных и публицистических текстов. Если речь идет о художественной литературе, то это в первую очередь антиутопии, т. е. утопии со знаком «минус», к которым можно отнести произведения К. Чапека, Я. Вайсса, И. Гауссмана, Э. Вахека

¹ Шацкий Е. Указ. соч. С. 32–33.

² Баталов Э.Я. В мире утопии: (Пять диалогов об утопии, утопическом сознании и утопических экспериментах). М., 1989. С. 21–22.

³ Аинса Ф. Реконструкция утопии: Эссе. М., 1999. С. 23–27.

и др. (обзор утопических произведений можно найти в работе Я. Махека¹). Мир этих антиутопий — мир современной авторам цивилизации, трагическим апофеозом развития которой стала Первая мировая война. Утопичность со знаком «плюс» среди «признанных» авторов проявляется главным образом в документально-художественных жанрах (путевых очерках), отражающих мир Советской России.

Уникальность этого феномена в том, что, с одной стороны, авторы подобных текстов являлись сторонниками революции (принадлежали к левому политическому крылу) и были изначально настроены на сугубо положительное изображение страны Советов, а значит, выступали носителями утопического сознания и, намеренно или нет, несмотря на документальную природу очерка, пропускали в ткань текста жанровые маркеры утопии. С другой стороны, полное переустройство общества в связи с победой революции и в соответствии с социалистическими доктринами само по себе было в целом утопическим проектом, (претворившимся в жизнь), что также направляло восприятие в определенное русло. Таким образом, и субъект восприятия (чешские писатели), и объект восприятия (Советская Россия) еще до создания текстов предопределили их наполнение.

Подробный обзор чешских путевых очерков о России дан в работе Р.Л. Филипчиковой: общее количество авторов документальной и полудокументальной прозы о Советской России в межвоенный период, по ее данным, превышает 40², большинство пишет «с восторгом»³.

Первые чешские свидетельства о Советской России принесли с собой чешские легионеры. Их многотомные эпопеи «содействовали антисоветской пропаганде» (Р. Медек, отчасти Й. Копта), они считали, что «в социалистической доктрине» следует усматривать главную причину идейного и морального разложения чехословацких легионеров»⁴, позже такой подход «разоблачается» в творчестве Я. Крадохвила (книга-дневник «Путь революции», 1922). Авторы просоветских очерков вступали в «полемику с зарубежными авторами, рисовавшими картину советской действительности искаженно (Ж. Дюамель, А. Жид).

¹ *Maček J. Bájecné nové světy, súčasnosť a budúcnosť v meziválečnej českej utopickú beletrii // Vude, ako nebolo. Podoby utopického žánru. Bratislava, 2012. S. 64–89.*

² *Филипчикова Р.Л. Документально-художественный жанр в литературе социалистической Чехословакии. М., 1986. С. 33.*

³ Там же. С. 34. При этом автор исследования не упоминает, например, о произведении И. Вайля «Москва — граница» (1937, на рус. — 2002), где Советская Россия показана не с приятной стороны.

⁴ Там же. С. 30.

Потокам лживой пропаганды, нескончаемой веренице “фактов” о красном терроре противопоставлялись на страницах чехословацкой коммунистической прессы свидетельства правды, искренние и прочные чувства к советскому народу»¹, — пишет автор упомянутого труда. Впрочем, при этом она неоднократно акцентирует изначальную тенденциозность и открытую субъективность левых авторов, «социальную оптику» (Ю. Фучика). Это была не просто правда, но правда именно коммунистов: «социалистический очерк, репортаж помогал <...> марксистской критике в очистительной борьбе против левацкого упрощения “литературы факта” и, конечно же, против “буржуазного” романа»².

Для иллюстрации не просто тенденциозности, но и утопичности текстов левых писателей мы возьмем рассказы Яна Вайсса (1892–1972) «Барак смерти» («Barák smrti», 1927) и его романы «Дом в тысячу этажей» («Dům o tisíci patrech», 1929) и «Спящий в зодиаке» («Spáč ve zvěrokruhu», 1937), путевые очерки Марии Майеровой (1882–1967) «День после революции» («Den po revoluci», 1925) и очерки о Советском Союзе Ю. Фучика «В стране, где завтра уже значит вчера» («V zemi, kde zítra již znamená včera», 1932) и «В стране любимой» («V zemi milované», 1947). Авторы эти очень разные, и утопичность по-разному проявляется в их творчестве, тем интереснее их сравнивать. Отметим, что в 2010-е гг. происходит своеобразная реабилитация авторов-коммунистов, игнорируемых, а подчас и дискредитируемых у себя на родине после «бархатной революции». Их творчество уже начинают рассматривать без явных идеологических предубеждений, с позиций современных научных интересов. Это проявилось, в частности, в издании и содержании сборника статей о Фучике «Юлиус Фучик — вечно живой!» («Julek Fučík — věčně živý!», Брно, 2012) и в появлении новой монографии о Майеровой³.

Вайсс, если говорить о межвоенном периоде, был представителем в первую очередь той самой легионерской и в целом «контрреволюционной» (по старым меркам) литературы. В 1915 г. он попал в плен на русском фронте, переболел тифом и чудом выжил в лагере Тоцкой, потом был переведен в Сибирь (Березовка). В 1917 г. он вступил в чехословацкие легионы, прошел через всю Россию, но по инвалидности

¹ Там же. С. 31.

² Там же. С. 26.

³ Nývltová D. Femme fatale české avantgardy: Marie Majerová — česká komunistka ve víru feminizmu. Praha, 2011.

не воевал¹. В легионерских рассказах из вышеуказанного сборника (а это первые шаги Вайсса в литературном творчестве) в основном представлена царская Россия. Условия содержания пленных чудовищные, они умирают от голода и тифа, в то время как ответственный за них генерал, сифилитик с отваливающимся носом, предается чревоугодию и блуду. Героя мучают горячечные сны. Он пытается найти ответ на вопрос, есть ли хоть какой-то смысл во всем этом ужасе и кто в этом виноват. Вайсс показывает, что виновен во всем человек, не только генерал, а каждый человек, кто ворует, лжет, убивает, любой, кто грешит, и только очистившись от этой грязи человек может спастись (финалы рассказа «Барак смерти», романа «Дом в тысячу этажей») — выздороветь (и телесно, и духовно). В оценке революции Вайсс крайне осторожен. Впервые образ революционеров у него появляется в романе «Дом в тысячу этажей», мрачной фантастической антиутопии о доме в тысячу этажей, снящемся больному тифом пленному, где правит тиран Мюллер, которого пытаются свергнуть революционеры. Герою удается одолеть тирана, он просыпается и выздоравливает. Религиозная символика романа (с помощью системы символов автор представляет Мюллера олицетворением ветхозаветной доктрины, а героя — новозаветной) говорит о том, что революция мыслилась Вайссом в духовно-нравственном плане, как самоусовершенствование людей, а не как социально-политический переворот, согласно трактовке некоторых советских богемистов².

В следующем романе «Спящий в зодиаке» появляется уже образ Советской России. Основное действие романа разворачивается в Чехии на фоне экономического кризиса, когда выпускникам гимназий и университетов приходится голодать или, в лучшем случае, работать на фабриках. Главный герой — молодой интеллигент, устроившийся воспитателем сына хозяина фабрики, обладает чудесной особенностью: каждый год он психологически и отчасти физически проживает новую жизнь, весной он доверчивый подросток, летом мужчина, осенью он стареет, а зимой впадает в спячку, холод очищает его физически и нравственно. От жесткой социальной ситуации автор уходит в идиллию слияния с природой, сказочного детства. Все, кто окружает героя (семья владельца фабрики), испорчены, развращены, беспринципны, трусливы. Постепенно в сюжет вплетается тема СССР. Чешские газеты

¹ См. подр. в: *Ktuníček V. Hledání Jana Weisse. Liberec, 2012. S. 22–30.*

² *Бернштейн И.М. Предисловие // Вайсс Я. Дом в тысячу этажей. М., 1971. С. 5–13.*

«охлаждают пыл» вдохновленных советскими стройками чехов. Русский «рай» предстает в них как величайшее мошенничество¹. Отношение героя к России меняется в зависимости от времени года: «Он вспоминал о своих взглядах на Россию: как радовался и снова огорчался, а позже осенью и вовсе впадал в безверие <...> У него были тысячи чувств, но он не знал, у кого найти поддержку» (с. 57). Потом вводятся персонажи: Василь Коспирин — сын русского эмигранта, бывший студент-химик, и Рудольф Оджиян — сын помещика, убитого революционерами, советник и зять владельца фабрики. Оба — воплощение зла, жаждут крови, мечтают создать яд, который уничтожит большевиков (типичный мотив научно-фантастических антиутопических романов). «Они носили в себе святую Русь, которая уже не существовала. Она была забальзамирована в их мозгах в хрустальных гробах <...> Приходили к нему (владельцу фабрики. — А.А.) и сыновья эмигрантов, которые даже не знали русской земли, но уже в крови имели эту вьезшуюся ненависть» (с. 80). Любые мечты об улучшении жизни рабочих воспринимаются ими как «полный большевизм» (с. 120), что ставит их в оппозицию к главному герою, которая перерастает в полемику. В заводскую газету Вацлав (главный герой) пишет о славе советской науки, империи мира, приписывает ей высшее предназначение: «освободить человеческий род из рабства труда» (с. 138). Затем герой едет в СССР вместе с Оджияном (сам Вайсс в СССР до 1960-х гг. не был). Вацлаву все там видится в ярких красках: «Эту действительность тяжело сравнить с чем-то, что уже существовало на белом свете, кроме цветного фильма, — и вправду, этот город напоминает раскрашенный снимок в отличие от черно-белых полотен западных столиц» (с. 157), хотя Оджиян, наполненный злобой, пытается убедить его, что это все декорации. Но это был лучший момент того года жизни Вацлава Ребенды. «Не буду спать, не хочу! Я хотел спать только потому, что мучился от голода и гнева — сбегал от Европы в постель» (с. 163). Но путешествие заканчивается, Вацлав возвращается в привычную атмосферу и снова засыпает — с мыслью о том, что и советская империя, как и другие, падет, — снова наступает зима...

В этом произведении впервые у Вайсса на смену антиутопии («Дом в тысячу этажей») приходит утопия. Впервые возникает идиллический

¹ Weiss J. Spáč ve zvěrokruhu. Praha, 1958. S. 49–50. (Здесь и далее перевод чешских текстов выполнен автором настоящей статьи; далее страницы пражского издания указаны в скобках в самом тексте.)

образ Советской России как альтернативы Европе, вопреки не умолкающему «оджияну», постоянно напоминающему о преступлениях большевиков. Автор создает именно художественный образ России. Он не прибегает к полномасштабным описаниям, рациональному анализу, этот образ — скорее зыбкая надежда на достижение идеала, «рая». Утопичность авторского сознания здесь сказывается в противопоставлении двух полярных в соотнесении с идеалом миров и в абсолютизации их оценок, Оджиян здесь — это то, что, вероятно, независимо от воли автора, олицетворяет историзм, не дающий полностью отдалиться утопическим представлениям. Его образ — напоминание о *цене* прекрасной утопии, переходном этапе революции.

В 1952 г. Вайсс издает сборник «Земля внуков», малоинтересный с художественной точки зрения, но полный социалистических иллюзий, которые не являются предметом данного исследования. Этот сборник делает Вайсса официальным автором послевоенной ЧСР.

Мария Майерова, мэтр чешской социалистической литературы, впервые посетила Советский Союз в 1924 г., и в следующем году она издает книгу очерков «День после революции». В отличие от чисто художественного образа у Вайсса, у Майеровой, как и во многих подобных очерках, есть претензия на документальную «правду», коммунистическую правду. Уже на первой странице она выражает «мечту о положительном, позитивном, о том, что бы гарантировало настоящее изменение мира <...> лучшее будущее»¹, тем не менее оговариваясь, что «хочет только описывать, но не делать выводы <...> выводы должны напрашиваться сами» (с. 8). Майерова не обошлась без слова «сказка», для нее Москва — сказка детства (с. 32). Далее она признает, что она «знала заранее, что это будет что-то новое» (с. 58). А в конце книги говорит о Советской России как о форменном чуде (с. 223).

Майерова начинает свое путешествие в Европе, затем граница и — Советский Союз. В очерках сопоставляются два мира. Один со знаком минус (царская Россия, Европа в целом, подробно описанная Польша, через которую автор едет на поезде), другой — абсолютный идеал (страна Советов). В Польше Майерова видит угнетенный польский народ, чувствует запах плесени от польской дворянской культуры, она

¹ *Majerová M. Den po revoluci. Praha, 1925. S. 5.* (Далее страницы указаны в скобках в самом тексте.)

«не хочет осматривать архитектуру костелов», ей «противны дворцы», «офицеры, обвешанные серебром как новогодние елки» (с. 13). С другой стороны, в самом Советском Союзе старый мир представляют пережитки царской России. Это бывший генерал, чистящий в парадном мундире проходим ботинки, это до сих пор сохранившиеся частные магазины, торгующие товарами не по «божеским ценам», это разваливающиеся храмы. Все это явления исчезающие и себя изживающие. Самый выразительный образ уходящей царской России — Хитров рынок, социальное дно, где живут «неисправимые бродяги». Побирающихся детей Майерова называет «паразитами, которых несколько раз хватали, увозили в детские дома <...> но они всегда убегали» (с. 192), и считает, что они притворяются несчастными и больными, чтобы вызывать жалость. В свете сказанного Советская Россия — это идеал для всех людей, но с небольшим уточнением: она идеальна только для тех, кто в ней *хочет* жить. Остальные — вне этого мира и выживают из него любимыми способами.

Граница с СССР для Майеровой — «занавес, скрывающий захватывающее зрелище», а в предметном мире ее символизирует кладбище Первой мировой: «военное кладбище символически закрывает за нами капиталистическую Европу». Помимо того, что здесь реализуется принцип географической изолированности, этот интереснейший образ отсылает нас к жанру классической утопии, к обряду инициации, когда герою нужно преодолеть некое препятствие, рубеж, чтобы попасть в «другой» (загробный) мир, в случае утопии — в мир идеальный. Цель этого путешествия — обретение знания, дающего «рабочим всего остального мира опору и уверенность, что они борются не за фантом группы сектантов, но за <...> новые нравственные ценности, за новый мир» (с. 25). Граница у Майеровой заменяет собой революцию, то, что сделало из исторической России — Россию Советскую, Советский Союз. Однако автор не говорит о ней как об *историческом* событии с его причинно-следственными связями и последствиями (что характерно для утопических жанров), с его насилием и жертвами. «Ни нас, ни рабочих не интересует, что было до революции» (с. 248), — пишет Майерова, немного лукавя, так как при этом постоянно сопоставляет царскую и Советскую Россию. У Майеровой существуют только два статичных, противоположных друг другу мира, переход от одного к другому отсутствует. Подобно героям-путникам классических утопий, Майерова как бы путешествует по новой России, посещает множество учреждений, фабрик. Она аккуратно

описывает, например, устройство системы охраны матери и ребенка, от мебелировки детских учреждений, где все «блестит как новое», до статистических данных.

Весьма выразительно Майерова показывает внедрявшийся в советское общество принцип коллективизма, приоритет «мы» над «я», типичный для утопии. Девушки добровольно сдают свои драгоценности вплоть до обручальных колец на общее благо. Советские дети — это общие дети: лозунг над роддомом призывает советских женщин стать матерями всех детей (из-за большого количества сирот). Есть даже идея разрушения традиционной семьи (на которую опирается капиталистическое общество) (с. 98). А вот как описываются русские делегатки съезда Коминтерна: «у них одна общая черта <...> деловитость, строгая трансперсональность и удивительная прямота. Чистая идеология» (с. 52). А купание москвичей жарким летним днем нагишом потрясает всю европейскую делегацию (с. 167).

Советский мир представляется миром идеального порядка, чистоты, упорядоченности, строгой регламентации. «Чистота соблюдается строго, ведь за это большие штрафы!», «вокзалы везде чистые, обустроенные», «сегодня за разбрасывание шелухи строгие наказания», — констатирует Майерова (с. 28–30). Интересна уличная сцена задержания нарушителя: милиционер спокойно берет его за рукав, задает вопросы, кладет руку на плечо и уводит без бранного слова, без злобы (с. 61). Всюду соблюдаются очереди, все следят, чтобы никто не пролез вперед. Пассажиры входят в трамвай, не нарушая установленного порядка. «Ведь наказания за беспорядки такие строгие!» (с. 62) — в который раз отмечает автор.

Идилличность нового мира у Майеровой проявляется и в близости его к природе, земле, что вполне в духе классической утопии. «Они словно как репа, только выдернутая из земли, словно дикари, которые будто никогда не смотрелись в зеркало, они искренни и сердечны <...> не отравлены ядами цивилизации» (с. 40), — говорит автор о коммунистических вождях (в Троцком она не видит «вообще ничего еврейского», с. 50). Купание нагишом вызывает у автора идиллические ассоциации с античностью: «античная чистота и естественность», «буколики» (с. 167).

Отбор фактов для очерков обусловлен идеологическими мотивами. Лишь изредка сквозь розовые очки просвечивают некие темные пятна: «наказания», огромное количество сирот, с которым, впрочем, Советский Союз успешно справляется, воспитывая из них сознательных

граждан (их называют «материалом, полностью отрезанным от старого мира» (с. 103), и именно они становятся основой мира нового). Если и фиксируются какие-то негативные моменты, то сразу же приводятся данные о том, что в царской России было гораздо хуже.

Объединяющим духовным началом служит недавно умерший Ленин. В каждом учреждении, в каждом доме, в углах, где раньше висели иконы, теперь висят портреты Ленина. Посетив Мавзолей Ленина, Майерова так описывает свои впечатления: «Это янтарное лицо потрясает... наши взгляды притягивает удивительный череп, более выразительный, чем голова Сократа. Этот череп — совершенной кристалл психики <...> в котором гудит бесконечность» (с. 156). Коммунистическая идея превращается из философии в религию (см. главу «Коммунистические крестины», с. 276–279), переходит из рациональной сферы в аксиологическую.

Все эти черты ярко демонстрируют иллюзорность восприятия Майеровой Советской России, которая не просто является попыткой воплощения в жизнь утопической идеи, но и остается утопической уже в реальном своем проявлении, показанном в очерках чешской писательницы. Напомним, что ее книга очерков вышла в 1925 г., пять лет спустя после написания Е.И. Замятиным романа «Мы», где многие упомянутые Майеровой факты воспринимаются со знаком «минус».

Юлиус Фучик (1903–1943), автор, относительно хорошо изученный в советское время, привлекает внимание и современных чешских исследователей. В ряде статей указанного сборника «Юлиус Фучик — вечно живой!»¹ и рассматриваются очерки Фучика о Советском Союзе, и анализируются особенности его восприятия автором. Т. Гланц и Л. Боровичка при этом, используя методы, близкие психоанализу, оперируют такими категориями, как энтузиазм, экстаз, детство, что, безусловно, небезынтересно. О. Сладек подходит к очеркам Фучика как к произведениям со «знаками» утопического жанра («...общая композиция его повествования несет наряду со знаками, типичными для приключенческого романа, романа воспитания и т. д., и знаки, свойственные утопической литературе»²); опираясь на

¹ *Borovička L. Věčné dětství aneb Fučíkův sen o komunismu. S. 213–231; Glanc T. «Příliš rychle, příliš rychle, příliš silný je ten dojem» (Enthusiasmus a extáze Julia Fučíka v jeho textech o sovětském svazu). S. 187–197. Sládek O. Julius Fučík o Sovětském svazu aneb Cesty «tam» a «zpátky». S. 199–211.*

² *Sládek O. Op. cit. S. 209.*

работу К. Мангейма «Идеология и утопия» (1929), он исследует временную и пространственную организацию фучиковских текстов.

Подобно Майеровой, Фучик был убежденным коммунистом. Дважды — в 1931 и 1934 гг. — он побывал в Советском Союзе, после чего издал первую книгу очерков «В стране, где завтра уже значит вчера»; вторая, «В стране любимой», была опубликована уже посмертно. В отличие от книги Майеровой, где отдельные эпизоды складываются в более или менее единое целое (с точки зрения временной и пространственной последовательности), в сборниках Фучика очерки друг с другом не связаны, и по ним нельзя реконструировать маршрут автора ни во времени, ни в пространстве (и в этом смысле произведение Майеровой больше отвечает жанровому канону утопии). По содержанию очерки Фучика разноплановы, но в основном — это истории больших строек: Сталинградского тракторного завода, Московского метрополитена и т. д. Особый блок представляют очерки о Средней Азии.

Так же как и Майерова, Фучик рисует картину абсолютно идеального общества. Неоднократно автор употребляет по отношению к Советскому Союзу такие слова, как «рай», «сказка», «сказочная неведомая даль»¹ и «утопия», порой имея в виду ярлыки, навешанные на страну победившей революции западными странами (убежденными в иллюзорности проекта). Фучик опровергает эти эпитеты, противопоставляя им Правду (реалистичность и выполнимость идеи). Парадокс заключается в том, что даже если утопический проект частично претворяется в жизнь, он не перестает быть от этого утопическим, и Правда Фучика остается утопией. Эффект утопии усиливают и сказочные мотивы, в частности мотив чуда: гигантские цеха «словно чудом выросли из-под земли»², практически целиком строится на подобном мотиве «Рассказ полковника Бобунова о затмении луны» (как полковник обхитрил и испугал мулл, подгадав момент лунного затмения), здание Московского совета переносится целиком на другое место (подобное действительно происходило не раз), «как это в сказках тысячи и одной ночи делали добрые джинны»³.

Многие «чудеса» у Фучика тесно связаны с особой динамикой жизни Советского Союза — с понятием *роста*, постоянного движения, расширения. В первую очередь это выражается в увеличении темпов

¹ Фучик Ю. Избранные статьи и очерки. М., 1950. С. 31.

² Там же. С. 51.

³ Фучик Ю. Избранное: В 2 кн. М., 1983. Кн. 2. С. 193.

производства: «Пятьсот новых рабочих в ударных бригадах. Тысяча»¹; производственное задание заводу устанавливается на 1931 год в 25 000 тракторов и на 1932 — 50 000 тракторов²; «тысяча сезонников разбежались по домам. Две тысячи новых вступили в социалистическое соревнование»³ на одной только инициативе. «На десятки процентов, на миллионы, миллиарды рублей увеличиваются доходы колхозников»⁴. Этот рост, неоднократно утрированный, безусловно противопоставлен застою на производствах западных стран в период экономического кризиса начала 1930-х гг.

В сжатом виде присутствует у Фучика и мир антиидеальный, мир царской России, «жесткое иго царизма»⁵: царская Россия — это «была грязь, потому что это был мрак, потому что это была страшная неволя»⁶. Особенно отвратительным этот мир выглядит в очерке «Выходной день» (Екатерина II, именем французских энциклопедистов рубившая головы вольнодумцев, знать, проигрывавшая в карты крепостных, в то время как благородные дворянские тела кусали блохи, и т. п.). Два альтернативных мира существуют у Фучика параллельно, а революция как историческое событие, как переходный этап из прошлого в настоящее, отсутствует, как и в произведении Майеровой.

Что касается «факторности», характерной для утопии, то отрицательные явления воспринимаются автором исключительно как «проблемы роста»: «Нехватки в советской стране — это не лохмотья на тощем замерзшем теле бедняка. Это одежда ребенка, который вырос из нее»⁷, «я видел величественную стройку и мелкие недостатки. Я видел строительство для столетий и нехватки текущего дня. И над всем этим — радостная улыбка, энтузиазм, уверенность в себе и победная рабочая инициатива»⁸. Лишь вскользь Фучик касается карательной советской системы в очерке «Два часа на паровозе», где он спрашивает машиниста, действительно ли один начальник станции был приговорен к расстрелу из-за столкновения поездов. «Меньшого он не заслуживал, — ответил тот, ссылаясь попутно на недостаток квалифицированных кадров. — Мы сами хозяева своей судьбы. И если в таких

¹ Фучик Ю. Избранные статьи и очерки. С. 62.

² Там же. С. 63.

³ Там же. С. 64.

⁴ Фучик Ю. Избранное: В 2 кн. Кн. 2. С. 268.

⁵ Фучик Ю. Избранные статьи и очерки. С. 60.

⁶ Фучик Ю. Избранное. М., 1980. С. 129.

⁷ Фучик Ю. Избранные статьи и очерки. С. 38.

⁸ Там же. С. 41.

условиях происходит несчастье, виновников мы можем искать где-то поблизости. Где-то среди персонала. И наказать их мы должны как можно строже. Одобряю ли я это? Как же я могу это не одобрять?»¹ По иронии судьбы, в том же 1935 г. Фучик напишет в другом своем очерке: «Большевики ценят жизнь человека так, как никто другой»². Не обошел Фучик и тему начавшихся политических процессов (очерк «Шахтинский процесс»): «это не был процесс, это была школа»³ (так как это был первый крупный контрреволюционный процесс и в показаниях обвиняемых вскрывались слабые места нового строя). Так же как и у Майеровой, здесь проступает *историческая* реальность: геноцид целых социальных групп, обреченность тех, кто не вписывается в новый мир диктатуры пролетариата: «Они были осуждены на гибель, однако не только они, но и весь их класс»⁴. Описывает Фучик также свой визит в Лефортово (очерк «Убитое преступление»), вдохновенно рассказывая о тюремном клубе, о снижающейся преступности и о перевоспитании (вылечиванием работой) заключенных (убийц, воров): «Это не тюрьма, это школа <...> Это не тюрьма, это больница»⁵, — цитирует Фучик заключенных. О политических заключенных автор при этом не упоминает (которых, впрочем, ему очевидно и не показали).

Изображение Советского Союза у Фучика с точки зрения времени и пространства во многом отвечает жанровому канону утопии (см. статью О. Сладека). Он не только удален географически, но и хронологически (у Майеровой такого выраженного акцента не было). «И вот мы вернулись, — пишет Фучик о возвращении на «капиталистическую» родину. — Вернулись обратно не на несколько тысяч километров, а на несколько лет назад, тех лет, которые отделают вас от 1917 года»⁶. Характерной чертой утопии является антиисторизм, и как его следствие — статичность изображаемого мира в смысле исторического развития. Как ни парадоксально, но у Фучика, несмотря на то что все развивается ударными темпами и *рост* является перманентным свойством нового государства, история здесь все равно остановилась и Советский Союз находится как бы в состоянии вечного расцвета: «Это весна в стране вечной весны, в стране, где все постоянно

¹ Фучик Ю. Избранное: В 2 кн. Кн. 2. С. 220–221.

² Там же. С. 165.

³ Fučík J. V zemi, kde zítra již znamená včera. Praha, 1948. S. 288.

⁴ Ibid. S. 289.

⁵ Ibid. S. 357.

⁶ Фучик Ю. Избранные статьи и очерки. С. 28.

расцветает — и человек, и его дела», — пишет автор в очерке «Ленинградская весна»¹.

Так же как и у Майеровой, у Фучика присутствуют два противоположных мира, а пересечение границы связано с преодолением препятствия (очерк «Мы нарушаем границу и закон»). Этот обряд инициации сопряжен с обретением определенного *знания*, с открытием «единственно правильной истины»², заключенной в коммунистической идее, «единственно возможного ответа на вопрос», что может вывести пролетариат капиталистических стран из нищеты³. «Мы знаем, что каждый метр вглубь земли, к залежам нефти — это шаг вперед; на шаг мы ближе к социализму»⁴, «познавшие правду трудящиеся сами выдавали контрреволюционных вожakov»⁵, бывшие кулаки и воры, работавшие на стройке шоссе в Средней Азии, включившись в социалистическое соревнование, преобразились: сила пролетарской революции «оказалась настолько могущественной, что совершенно изменила их, сумела из них, бывших врагов, сделать активных участников строительства нового»⁶. Примечательна судьба Максима Горького, «воплощения кипучей инициативы»: «Как скиталец бродил он по широкой Руси и искал опору в своей борьбе. Он рано нашел ее. Он нашел Ленина, нашел большевиков, нашел революционный пролетариат и сразу связал свою борьбу с пролетарской революцией»⁷. Советский Союз формирует «нового человека», «исчезают все классы, угнетение человеком человека»⁸. Здесь, как и у Майеровой, идея приобретает черты религиозной веры.

Так же как и у Майеровой, в очерках Фучика присутствует идея коллективизма. Человек как индивидуальность растворяется в едином целом и становится частью общего дела, идеи, плана, а объекты стройки и даже сама пятилетка олицетворяются: «Владельцы завода — мы. Администрация завода — мы. Государственная власть — мы»⁹, «План — это также и мы сами, мы его часть», «мы уже не одни, у нас

¹ Там же. С. 84–85.

² Фучик Ю. Избранное. С. 96

³ Фучик Ю. Избранное: В 2 кн. Кн. 2. С. 17.

⁴ Фучик Ю. Избранные статьи и очерки. С. 49.

⁵ Фучик Ю. Избранное. С. 105.

⁶ Там же. С. 110.

⁷ Там же. С. 129.

⁸ Фучик Ю. Избранное: В 2 кн. Кн. 2. С. 154.

⁹ Фучик Ю. Избранные статьи и очерки. С. 51.

есть сосед. Новый совхоз»¹, «они сдались, отказавшись от самой чистой энергии на свете — нефти. Видите, а пятилетка ее нашла»², «с тех пор как все стало нашим, даже вещи нам кажутся живыми»³. Идея частного, личного (собственности, успеха, процветания), присущая буржуазному миру, трансформируется в идею лучшего будущего для всего человечества, *для всех людей вообще*⁴.

Как видно, несмотря на различия изобразительных средств, проявление утопичности у Фучика во многом сходно с ее проявлением у Майеровой, у обоих авторов развернуто демонстрируется один и тот же тип мышления.

В заключение отметим, что утопический тип сознания чрезвычайно часто работает в обоих направлениях, т. е., создавая «идеальный», автор параллельно создает и «антиидеальный» мир, и не обязательно в пределах одного произведения. От антиутопии западной цивилизации Вайсс плавно переходит к утопии советской. А Майерова, наоборот, от утопии советской переходит к антиутопии западного мира (роман «Плотина» / «Přehrada», 1935). У Фучика идеал Советской России противопоставлен антиидеалу в сборнике «Репортажи из буржуазной республики» («Reportáže z buržoasní republiky», 1953), где он показал «отвратительное лицо» чехословацкой демократии. Таким образом, идеальный мир Советской России у одних и тех же авторов так или иначе противопоставляется антиидеалу — капиталистической Европе.

¹ Там же. С. 45.

² Там же. С. 46.

³ Там же. С. 54.

⁴ Там же. С. 70–71.

Е.Ф. Фирсов

**ИСТОРИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВОСПРИЯТИЯ РУССКИХ И РОССИИ В ЧЕШСКОЙ
И ИНОСЛАВЯНСКОЙ СРЕДЕ
(конец XIX — первая треть XX в.)**

Устойчивый интерес к данной проблематике сохраняется и со стороны самих русских. При работе в Рукописном отделе РГБ в письме Й.С. Мельника к В.В. Розанову мной было обнаружено упоминание о сборнике «Русские о России». Он писал: «На днях выйдет сборник «Русские о России», в котором помещена ваша статья о церкви. Может быть, что русская цензура его не пропустит...»¹ К сожалению, пока так и не удалось найти в библиотеках этот сборник и использовать его в историографическом плане к нынешней научной конференции. Об отношении некоторых русских к самим себе можно судить по высказыванию филолога нелиберальной ориентации О. Панасюка из Ростова-на-Дону. Тот накануне февральской революции 1917 г. в России считал: «Чтобы мы (в России. — Е.Ф.) что-нибудь делали, нас надо бить и больно бить. Никто этого не делает. От Александра III с земским самоуправлением мы стали “не тронь меня”, неприкосновенная личность; а личность всегда в России, по утверждению Чехова, начнет как бог, а кончит как...»² Последовавшие революционные события в определенной мере высветили эти особенности российского менталитета.

¹ РО РГБ. Ф. 249-М3876-20. Письмо Мельник к В.В. Розанову из Шарлоттенбурга. 18.10.1905.

² См.: Фирсов Е.Ф. Из рукописного наследия слависта Н.Ф. Мельниковой-Кедровой // Вестник Московского университета. Серия «Филология». № 1. 1994. С. 90.

С каждым столетием привносятся новые штрихи в восприятие русских, России, в развитие взаимного диалога культур. Особенно плодотворным в этом отношении являлся, на мой взгляд, XIX век, внесший много позитивного со стороны славянских деятелей в оценку русских и России. В связи с юбилейными датами известного чешского будителя и поэта Вацлава Ганки (чему осенью 2011 г. была посвящена конференция в Праге) невольно всплывает его характеристика матушки-России как опоры всех славян и покровительницы, его безграничная преданность ей.

А сколько можно перечислить русофилов среди чешских (и словацких) историков и гуманистичеков, ученых и деятелей культуры! Не называя всех, вспомним хотя бы Добровского, Палацкого, Шафарика, Штура.

Приведем для начала емкую характеристику отношения к матушке-России единомышленника и коллеги Ганки — известного чешского лексикографа Йосифа Ранка, писавшего в Россию слависту О.М. Бодянскому в 1858 г. из Праги:

Теплый, сердечный поклон матушке Москве белокаменной от родной сестры ее Чешской Праги на Влтаве. Как отрадно для сердца славянского, когда оно во дни скорби может вспомнить, что у него есть братья и сестры, одинаково с ним чувствующие, одинаково с ним думающие! Сколько бодрости сообщает ему такая мысль, и как оно крепнет для новой работы! Да, нам Чехам нужно утешение, нужна сила, ибо много у нас работы, много, очень много врагов. О, как тяжело теперь душе Славянина в Праге <...> нам уже внушает силу и крепость мысль, что мы составляем один великий народ славянский, ибо у нас один язык, один дух.

...Я прибегаю за советом и помощью к братьям Славянам, в особенности же к братьям Русским, нашей единственной надежде, дабы они обратили внимание на нас изнемогающих Чехов на Влтаве и не допустили, чтобы мы пали под давлением чужеписьменным.

Мы продолжаем, правда, работать без устали, но вместе с тем мы все-таки не перестаем устремлять взоры наши на восток, к матушке Москве, в томительном ожидании, скоро ли взойдет для нас заря спасения¹.

¹ Письма Вячеслава Ганки к О.М. Бодянскому / публ. А.А. Титова. М., 1886. Письмо XXXV. 24 апреля 1858 г.

Под этим письмом Ранка Бодянскому подписался сам Ганка («Душевно вас целую — ваш Ганка»). Собственно, это также характеризует и его отношение к русским, русской культуре и России.

Подобное восприятие России и русских активно развивали известные чешские писатели и ученые.

Назовем имя Йозефа Голечека (1853–1929), писателя и переводчика, активного сторонника межславянского сближения. На праздновании гоголевского юбилея в 1909 г. среди чешской делегации он был бесспорно наиболее колоритной фигурой. Не одно десятилетие своей творческой жизни Голечек посвятил изучению русской и славянских культур, а также переводу на чешский язык карело-финского эпоса «Калевала». В 1880-е — 1918 гг. он сотрудничал в чешской газете «Народни листы» («*Národní listy*»), ведая славянской рубрикой, известен труд Голечека мемуарного характера «Поездка в Россию» («*Zájezd do Ruska*»).

Голечек не только восхищался талантом Н.В. Гоголя, но и безмерно любил Россию и с радостью сюда возвращался. И сразу отправлялся в знаменитые Сандуновские бани, которые для него были определенным символом России, в которой ему нравилось все, или почти все. Времена менялись, и менялось отношение к России, становившееся в Чешских землях все более критичным. В нынешние времена имя Голечека среди чешских писателей, внесших вклад в чешско-русские связи, к сожалению, полузабыто, а порой общий его подход к реалиям того времени искажается.

Однако его отношение к славянскому единству не было столь примитивным, как это изображается в современной чешской историографии. Самым активным образом Й. Голечек участвовал в славянском и особенно во всеславянском журналистском движении. На XI съезде славянских журналистов в 1912 г. в Праге он сформулировал идеи, которые имеют, на мой взгляд, непреходящее значение. Он подчеркивал, во-первых, что славяне должны забыть прошлые взаимные «обиды и кривды» и не допускать, чтобы возникали новые; во-вторых — все существующие споры (как старые, так и новые) славяне должны решать путем мирных переговоров и соглашений. Каждый народ должен получить то, что ему по праву принадлежит, а в случае нужды в арбитраже следует обращаться не к чужеземцам, а к своим же братьям — славянам. В-третьих — ни один из славянских народов не должен навязывать другим свой язык, религию и культуру. Голечек

выступил и по другим проблемам, в частности против религиозной пропаганды¹.

Он призвал славянские народы к сотрудничеству с Европой:

Настала пора, когда мы, славяне, перед миром перестали играть роль загадочных сфинксов, а дали возможность познать себя; настало время разрушить великую китайскую стену, которой мы по сей день отгораживались от всего остального мира, и войти в этот мир с сознанием, что мы тоже что-то значим. С этим шагом мы не должны медлить, ссылаясь на то, что славянство представляет собой особый мир, что свои особенности нужно защищать из-за опасения, что они сотрутся от контактов с инородцами. Золото не следует запирать в сундуке, а носить его на радость и удивление, чтобы и другие могли насладиться его блеском. Славяне не должны сторониться Европы, а должны позволить себя познать и оценить. Где Европа, там и славяне должны присутствовать повсюду, и уж особенно это относится к людям пера, ибо как раз они призваны задавать в своем народе здоровые тенденции в развитии связей с Европой. У славян много таких качеств, которые они хотели бы сохранить. В этом они поступают правильно. Но при оживленных контактах с Европой эти качества лишь как следует будут оттенены и обратят на себя внимание².

Эти культурологические и геополитические прогнозы Голечека в наше время, как видим, сбылись в полной мере³.

На знаменитых Гоголевских празднествах 1909 г., которые устраивало Общество любителей российской словесности при Московском императорском университете в честь столетия со дня рождения писателя, в списке учредителей и лиц, приглашенных Обществом для участия в торжествах, значился «доктор Масарик, профессор, член австрийского парламента»⁴. Это было признанием в России Т.Г. Масарика как ученого. Однако Масарик по какой-то причине не прибыл на торжества, которые *вылились в событие большой культурной значимости на европейском уровне*. Широко были представлены деятели культуры разных славянских народов. В Прагу было направлено

¹ Фирсов Е.Ф. Съезды славянских журналистов (1898–1912) // Славянское движение XIX–XX веков: съезды, конгрессы, совещания, манифесты, обращения. М., 1998. С. 167–168.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Гоголевские дни в Москве. 1809–1909. М.: Общество любителей российской словесности, [1910]. С. 18.

множество приглашений: в Академию наук, Чешской Матице, Ученому обществу наук, Музею Чешского королевства, Библиотеке Матицы, Русскому кружку Умелецкой беседы, Русскому кружку в районе Праги — Смихов, Русскому кружку района Краловске Винограды, Этнографическому музею, обществу чешских писателей «Май», издательству Яна Отто, редакции газеты «Народни листы», профессору Яромиру Челаковскому, поэту Ярославу Врхлицкому, доктору Ю.И. Поливке из Чешского университета, Национальному театру, Президиуму славянского комитета Национального чешского совета (председатель К. Крамарж), Кругу чешских писателей, Клубу чешских драматургов (А. Зазварка). Среди иностранных ученых, прибывших тогда официально на открытие памятника Гоголю, из чехов значились профессор Е.А. Козак и Юрий Иванович Поливка¹, который от имени Пражского университета произнес речь на чешском языке.

Поливка участвовал и в торжественном заседании Общества славянской культуры.

На торжествах были оглашены также многочисленные адреса и приветственные письма на чешском языке от чешских учреждений, в частности от ректора Карло-Фердинандова университета в Праге доктора Леопольда Гейровского. В заключении приветственного адреса ректора Гейровского содержался призыв: «пусть и в будущем еще более укрепляются и крепнут взаимные литературные и научные чешско-русские связи»².

В своем приветствии ректор Л. Гейровский подчеркнул:

Творения Гоголя оказали благотворное основополагающее влияние на чешскую изящную словесность, начиная с Гавличека и кончая Нерудой. Русский народный дух оказывает художниками русского слова, своими мыслителями и учеными мощное влияние на чешскую словесность и на чешскую науку. Пусть это будет и в будущем³.

Важно отметить, что многие материалы (адреса, приветственные речи и др.) в опубликованных материалах Гоголевских торжеств были приведены на языке оригинала, в данном случае на чешском.

¹ Поливка Юрий (Jiří) (1853–1933) — чешский славист, филолог, историк литературы, этнограф и фольклорист; с 1895 г. профессор Карлова университета, с 1901 г. член-корреспондент Академии наук.

² Гоголевские дни в Москве. С. 20.

³ Там же. С. 260–261.

Бесспорно, Гоголевские торжества 1909 г. (состоявшиеся не только в Москве, но и в других крупных российских культурных центрах), как и пребывание Т.Г. Масарика в России в следующем 1910 г.¹, стали важной и яркой вехой чешско-русских связей.

Считаю, что задачей нынешней историографии и славистического литературоведения является выявить и сделать достоянием обществу те яркие благожелательные характеристики России, ее культуры и русских людей. Ведь впоследствии исторические условия взаимного восприятия славянских народов менялись, и многие объективные оценки были, к сожалению, отброшены.

К проблемам русофильства и славянства Масарик вернулся в труде «Советская Россия и мы» в сентябре 1920 г., уже став президентом Чехословацкой республики. Эта работа являлась частью брошюры, в которой он выражал свое отношение к обстановке в современной ему Советской России. Работа учитывала опыт пребывания в России чешских и словацких легионеров и постижения ими русского менталитета.

Все мы выросли на русофильстве. Для нас понятия «славянство» и Россия как бы слились воедино, хотя мы также любили и югославы, и другие ветви и ответвления славянства. Однако наша любовь была своеобразной. Это стало ясно, когда наши солдаты попали в русский плен и жили в России. Мы любили то, чего не знали. В России мы узнали русских. В плену там наши парни питали злобу к русским офицерам, которые издевались над ними, и часто злились на русских солдат. Но несмотря на все эти неприятности, наконец они их полюбили. Этой любви мы остались верны до конца. Я думаю, что все наши ребята (чешские легионеры. — *Е.Ф.*) любят русских. Но эта любовь, приобретенная с опытом и знаниями о России и русских, отличается от первоначального русофильства. Она не абстрактная, не сентиментальная, хотя в ней присутствует большая доля сострадания и сочувствия тому убожеству, которое является результатом необразованности и примитивности русских мужиков и всей русской жизни. Я здесь не могу подробно описывать русскую действительность и русский характер.

¹ Подробнее об этом см.: *Фирсов Е.Ф.* Т.Г. Масарик и российская интеллектуальная среда. По архивам Чехии и России. Ч. 1. Томаш Масарик и Эрнест Радлов в научной и дружеской переписке. М., 2005; *он же.* Т. Г. Масарик в России и борьба за независимость чехов и словаков. М., 2012.

Ребята живо обсуждали это еще в лагерях и позднее, когда оказались в деревнях, городах и теплушках. Единственное, что могу сказать, что они о России и русских не знали ничего, совсем ничего, до того, как сюда попали¹.

Постепенно возобладало негативное восприятие русских через призму невзгод всей эпопеи чехо-словацкого войска (и других славянских легионеров) в России, завладевшего в свое время восточными просторами и покидавшего Россию через Владивосток.

За последнее время в центральноевропейской историографии можно подметить усиление негативного крена в рецепции русских и России в целом. В этой связи можно указать хотя бы на сборник научных докладов Пражской конференции 1997 г. «Т.Г. Масарик. Россия и Европа» на чешском языке (Прага, 2002), а также отчасти на словацкий сборник «Мифы — стереотипы — образы. Восприятие России в Словакии» (Братислава–Йошкар-Ола, 2010) и др. Перейдем к оценке этих изданий последнего времени, чтобы выявить как методологические упущения в историографии, так и фактические погрешности.

Касательно определенных методологических натяжек, в первом из указанных сборников (пражском) стоит отметить усиление перекосов в трактовке общей концепции Масарика в отношении России и русских. В исторической секции особенно предвзято чешские историки старшего поколения (в свое время не миновавшие в своем профессиональном развитии историко-материалистического схематизма и догматизма) проявили себя в отношении к проблеме славянского сближения и к вопросу о том, является ли вообще Россия Европой. За пятилетний период редактирования сборника (конференция состоялась в 1997-м, а сборник появился в 2002 г., и отдельные авторы не значились в программе конференции), когда в политике возобладала трансатлантическая внешнеполитическая ориентация, буквально в штыки стало восприниматься любое упоминание о славянской идее. Чешская общественная мысль начала отрицать славянские ориентиры Масарика. Видимо, истоки такого подхода связаны с выходом в свет (на основе первоначального самиздата) книги чешского философа Яна Паточки «Co jsou Češi?» (Прага, 1992). В этой работе, с параллельным немецким текстом, на с. 92 автор утверждает, что Масарик вовсе не был склонен к славянской взаимности в отношении русских.

¹ Масарик Т.Г. *Философия — социология — политика. Избранные тексты.* М., 2003. С. 487–488.

Однако свое положительное отношение к славянской взаимности перед отъездом из России Масарик выразил в листовке-обращении к чешским и словацким легионерам и военнопленным 7 марта 1918 г.¹, а также в своем послании русской колонии чехов и словаков, сделав упор на воплощении этой программы.

Кроме того, создается впечатление, что именно благодаря Масарику теряется всякая мера в критике православия. Авторами вовсе не учитывалось, что православие за долгий период своего развития претерпело позитивную трансформацию. Уже в наши дни чешский религиозный исследователь о. Томаш Шпидлик (Т. Špidlík) в труде «Русская идея: Иное видение человека» (СПб., 2006) проанализировал толкование взглядов русских православных мыслителей (творивших, как правило, после Октября за рубежом) в XX в. К ним следует отнести Н. Бердяева, Л. Шестова, Н. Лосского, Ф. Степуна, С. Франка, П. Флоренского, С. Гессена, В. Розанова и др. Некоторые из них пришли к философии христианского экзистенциализма. Масарик, став президентом ЧСР, уже не был в состоянии осмыслить этот пласт русской православной мысли.

В итоге в книге «Т.Г. Масарик. Россия и Европа» не оставалось и следа от прежних пусть и критических, но объективных взглядов того же Масарика на Россию.

Словацкий сборник (изданный в переводе на русский язык в России)² отличается более взвешенным и деликатным подходом. Затронем в основном те части, где в какой-то степени проявились методологические недочеты и некоторые фактические неточности. Это относится, в частности, к статьям, связанным с Первой мировой войной. Р. Голец в работе «Словацкие предприниматели в России накануне Первой мировой войны» вводит в обиход новый фактический материал. Тем не менее бросается в глаза, что исследование касается прежде всего военного периода. При этом в данной работе недостаточно акцентируется позитивная роль сделавших карьеру в России словацких предпринимателей в консолидации «русской» словацкой диаспоры и создании русско-словацкого Общества памяти Л. Штура. В то же время при оценке предпринимательских усилий отдельных словаков в России порой допускаются неуместные натяжки в отношении, например, планов И. Дакснера (с. 34 сб.). Р. Голец упускает из

¹ ОПИ ГИМ. Ф. 454. Ед. хр. 135.

² Отклик на него содержится также в статье Н.В. Шведовой «Русский человек в сознании словацкой интеллигенции последних десятилетий» настоящего сборника.

виду, что братья Дакснеры были переведены в Москву для поддержки деятельности Общества памяти Л. Штура, будучи военнопленными и оставаясь ими. Отметим, что роль инославянских предпринимателей в России до сих пор недостаточно учитывалась в исследовании данной проблематики, не только применительно к словацкой диаспоре.

В отдельных случаях имеются просчеты в переводах со словацкого на русский. Так, например, нельзя удовлетвориться переводом выражения «Габриарское предприятие» (с. 32) и типичного для словаков профессионального занятия в плане их предпринимательства в России — так называемые словацкие «дротари» (с. 30).

Вывод о связи раннего русского капитализма с «дротарским» ремеслом представляется существенной натяжкой.

Очевидно, что вовсе не учитываются российские работы, особенно по истории Общества памяти Л. Штура, которые базируются на неизвестных ранее архивных материалах. Применительно к современным словацким исследованиям стоит также сказать, что основная роль в активизации этого Общества принадлежит не личному врачу Л.Н. Толстого Душану Петровичу Маковицкому (как ошибочно встречается), а его племяннику Душану Владимировичу Маковицкому, сыну известного словацкого банкира.

В целом анализ словацкого предпринимательства в России накануне и в годы Первой мировой войны нуждается в более объективном и углубленном исследовании. Исходя из реального положения дел, подчеркнем, что появление словацкого Общества Л. Штура в России — во многом заслуга словацких предпринимателей и банковских деятелей (прежде всего словацких и варшавских).

Восприятию России в работах и воспоминаниях бывших словацких легионеров посвящена статья Л. Гарбулёвой. Если развивать тему методологических аспектов применительно к данной работе (да и к другим работам современной историографии о Первой мировой войне), то стоит обратить внимание на недостаточное использование огромного комплекса легионерской литературы, доступной чешским и словацким ученым. Легионерская тематика исследуется без использования таких фундаментальных многотомных исследований, как четырехтомник межвоенного периода «За свободу» («*Za svobodu*», 1922–1929) с подзаголовком «Хроника чехо-словацкого движения в России. 1914–1920», и других важнейших изданий. Представляется, что нужно отойти от такой практики, словно каждый раз все

начинается с чистого листа, заново. Вклад легионерской литературы в осмысление восприятия русских и России огромен и заслуживает не одной монографии на данном этапе развития историографии.

Л. Гарбулёва использовала интересные воспоминания бывших словацких легионеров об Октябрьской революции в России, опубликованные в 1967 г. Поскольку я располагаю этими материалами (имеется в виду их машинописный вариант) из архивного фонда Института истории компартии Словакии, то при сравнении с указанной выше статьей бросаются в глаза досадные фактические неточности и недостаточный анализ текста оригинальных источников. Чтобы не быть голословным, отсылаем читателя к мемуарам бывшего военнопленного в г. Муроме Матея Кршиака, которые цитируются автором. В той части архивного материала, который касается раздела поместья графини Уваровой (под Муромом), М. Кршиак сожалеет, что словацкие крестьяне не могут позволить себе в Словакии подвергнуть разделу помещичьи и церковные землевладения. Симпатии Кршиака в архивном оригинале на стороне русских крестьян и их умелом подходе при разделе земельного надела Уваровой в с. Карачарово, на родине Ильи Муромца. На с. 42 допущена обидная фактическая ошибка в начале сноски 23 — вместо М. Кршиак напечатано *Матей Кошик* (а это имя принадлежит совсем другому словацкому деятелю).

В целом создается впечатление, что из всего комплекса легионерских воспоминаний используется лишь их малая толика и упор делается порой на одни и те же мемуарные источники.

Словацкие легионеры, пожалуй, глубже всех словаков постигли русский менталитет, и тот же писатель Й. Грегор-Тайовский, бывший военнопленный, пришел к выводу, что «русский народ нельзя не любить» и в нем заложено много добра. Инославянские легионеры, однако, подметили и другие особенности русского характера, в качестве упрека зачастую вспоминая, например, русское «сейчас» (как синоним нерасторопности), бесконечные чаепития, а после революции и прочие «пития».

Среди множества произведений легионерской литературы межвоенного периода стоит выделить дневник Франтишека Вондрачека («Трагедия России»). Как и многие другие легионеры — бывшие военнопленные, автор вдоволь хлебнул дореволюционных прелестей в лагерях военнопленных, и, как он пишет, его знакомство с Россией началось с удара «царской нагайки», оставившего след на его лице на всю

жизнь¹. С развитием революционных событий в России и особенно с Октябрьской революции Россия называется даже «страной чудес». Общий вывод Ф. Вондрачека, довольно односторонний, состоит в том, что за трагическое положение России ответственность несет сам русский народ, он во всем виноват сам (имеется в виду прежде всего его роль в дезорганизации армии и дезертирство). Автор дневника рассуждает на тему хороших и плохих качеств русского народа, подчеркивая вслед за М. Горьким, что русские мужики почти полгода валяются на печи — «странный народ».

Если говорить далее об историографии, то стоит особо подчеркнуть, что нельзя ставить знак равенства между славянским движением и русским православием. Иначе не будет понятным, почему так активно выступали за славянское движение нашедшие прибежище в дореволюционной России представители инославянских народов католической ориентации — те же словаки, хорваты, словенцы. Многие представители этих народов, активно создававшие общества за славянское сближение (хорватское Общество имени Крижанича, словенское общество «Югославия» и др.), можно сказать, срослись с русской средой: они там женились, подобно хорвату К. Геруцу, словенцу Л.Ф. Туме, и воспринимали русский менталитет не только в словенском и хорватском, но и в семейном русском окружении. Вышеуказанные общества — также плод деятельности предпринимателей и состоятельных людей. Славянские общества стали проявлением творческой натуры представителей инославянских народов в России, а не царской выдумкой. Пора бы отказаться от характеристики славянских обществ и неославянского движения на рубеже XIX–XX вв. как какого-то недоразумения. Как ни странно, подобная оценка имела место даже в одном из сборников начала 1990-х гг., изданных в Институте славяноведения. Как видим, в оценках славянского движения срабатывают прежние негативные стереотипы. Все эти славянские общества стоит считать проявлением национальной идентичности инославянских диаспор в условиях России и творческой деятельностью народных масс. Организаторы славянских обществ, что называется, вкладывали последние гроши в дело национальной консолидации своих сограждан в России. В этой связи можно отметить хотя бы завидный энтузиазм словенца Л.Ф. Тумы, на чьи средства издавалась в России словенская газета «Югославия». Оригинал полного комплекта

¹ *Vondráček F. Tragedie Ruska. Praha, 1922. S. 5.*

этого редчайшего издания с дарственной надписью на словенском самого Тумы («подарил Ф.Л. Тума 5.8.19») был обнаружен мной в одном из архивов Любляны. К сожалению, судьбы деятелей славянского движения в России изучены до сих пор недостаточно. Даже в новейшей литературе не встречается элементарных данных о годах жизни этих людей, об их последующей судьбе в России. Л.Ф. Тума, являясь представителем знаменитой страховой фирмы «Саламандра» в Санкт-Петербурге, был состоятельным человеком и смог вовремя уехать со всей семьей за границу из России после Октября 1917 г. сначала в Словению, а затем в западные страны. Ему удалось спасти близких и продолжить профессиональную карьеру, занимать высокие банковские посты. Совсем другая судьба у К. Геруца, закончившего жизнь в Средней Азии: он был интернирован, образно говоря, в «тмутаракань» (Турт-Куль — до 1920 г. Петроалександровск). Ряд других деятелей славянских обществ был также репрессирован после Октября¹.

Конечно, ближе всего к русскому менталитету приблизились находившиеся в России сербы. Сербская молодежь буквально нашла спасение в России, могла завершить среднее образование, поступить в университеты, подобно Миодрагу Пешичу, учившемуся в Московском университете на историко-филологическом факультете на средства владимирского земства. Об этом есть в архиве выявленные мной редкие дневниковые записи². Пешич (друзья звали его Пеша) стал активным югославянским деятелем и организатором «Студенческого югославянского кола» в Московском университете. Сербы не только учились, но и работали в войну наравне с русскими на предприятиях, в частности на владимирском телеграфе, о чем говорит сербская переписка. Она продолжалась и когда сербская молодежь, сдружившаяся

¹ Статьи Е.Ф. Фирсова: Югославыне К. Геруц и Л. Тума — создатели и меценаты славянских культурных обществ в прежней России // Югославянская история в новое и новейшее время (К 80-летию профессора В.Г. Карасева). М., 2002. С. 177–185; Кавказские гуманитарные проекты хорватского деятеля в России К. Геруца (по чешским архивам) // Австро-Венгрия: Центральная Европа и Балканы (XI–XX вв.). Памяти В.И. Фрейдзона. СПб., 2011. С. 395–404; Словацко-русское общество памяти Людовита Штура в России и идея славянского единства // Россия XXI. № 1–2. 1997. С. 87–102; Lev Tuma in Krunislav Heruc: Ustanovitelja in meceni jugoslovanskih kulturnih društev v carski Rusiji // *Anthropos*. 2005. 1/4. S. 465–476.

² Фирсов Е.Ф. Россия, Московский университет и русская культура в жизни и творчестве сербского деятеля М. Пешича // Славянские языки и культуры в современном мире. Международный научный симпозиум 24–26 марта 2009 г., Москва. Труды и материалы. М.: МГУ, 2009. С. 43–44.

в России, разлетелась по всему миру. Примечательна характеристика русского менталитета и особенно православия в цитате из письма на хорошем русском языке от 08.01.1917 (26.12.1916) приятеля М. Пешича Благое Поповича, отправившегося на учебу в сербский православный колледж Св. Стефана в Оксфорде:

Предполагаю, что ты уже так полюбил русскую жизнь, что и не отрвешься от нее. Литературу не забудь, это мое дружеское замечание. Загляни в душу русского народа, погрузившись в мистическую глубину православия, одно это и нужно, только это и ценно. Ибо православие не для плоских натур; оно ищет мистическое слияние с Богом и миром, это не постичь умом, это постигается только безумной любовью. Православие — художественный синтез высшей и низшей жизни, в православии — красота, ключ к тайне недосказанной, к сокровищнице полевых лилий. Православие не понять умом человеческим, как остальные христианские вероучения западной Европы; православие живет, рыданием покушается, слезами оправдывает себя, воплощается в красоту. Поэтому у нас и нет теологии (и не надо); поэтому у нас религия входит в литературу, в художественные картины и образы; в красоту перевоплощается, красотой сообщается. Православие создало русскую литературу, а не литература православие. Православие создало Достоевского, а не Достоевский православие.

Верьте мне, что православию принадлежит будущее. Ибо православие означает постичь Бога сердцем. Путь к Богу не через книги, а через сердце. Самый короткий путь между Богом и человеком это путь сердечный. Потому все и помутилось в Европе, что там Христа ищут умом, философией, а не сердцем. От сердца исходит все¹.

В заключение следует вернуться к позитивным оценкам российских реалий в путевых заметках по России в 1910 г. известного чешского писателя и переводчика Ф. Таборского, выявленные, как отмечалось, в Праге.

Таборский, как и Масарик, внес большой вклад в дело налаживания чешско-русских культурных связей. Он встречался со многими деятелями русской культуры своего времени. В дневнике содержится, например, интересная запись Таборского о встрече с Баумгартеном, иллюстратором исторических повестей (в том числе о персонажах

¹ О личном архивном фонде М. Пешича см. там же.

чешской истории). В записи отмечено, что он доводился зятем известному русскому скульптору Микешину. Дневник Таборского содержит упоминания о всех важных событиях культурной жизни Санкт-Петербурга и России того времени, о художественных выставках русских художников, о книжных новинках (особенно по искусствоведению и библиографии).

В результате длительного пребывания и внимательных наблюдений Таборский сделал общий вывод, что, несмотря на все недостатки, в России — все кругом более широкое и глубокое, чем в Чехии; но поскольку чехи «меньше (drobnější), то они старательные как муравьи»¹, заключил он. «Насколько глубже их (русских. — Е.Ф.) поэзия привилась в народе! Как они знают ее наизусть, как здорово декламируют, и как художники и графики ее иллюстрируют. Сегодня я принес Билибина — это просто чудо!» — восклицал Ф. Таборский, по заслугам оценивая эту особенность русского менталитета.

¹ LA PNP. F.F. Taborský. Poznámky z cesty do Ruska. S. 28.

И.В. Копчёнова

**ОБРАЗ РУССКОГО В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ
ЧЕСЛАВА МИЛОША «РОДНАЯ ЕВРОПА»
(«Rodzinna Europa»)**

В 2011 г. отмечалось столетие со дня рождения Чеслава Милоша (30.06.1911 — 14.08.2011). В Польше, Литве, США, Франции, Китае, Индии, Израиле этот год был назван «Годом Чеслава Милоша»; он широко отмечался и в России. Одной из сквозных тем творчества Милоша — образ русского, русской культуры и словесности, что обрело отражение в его научно-преподавательской деятельности¹ и заняло особое место в сборнике эссе «Родная Европа»².

Эта книга была закончена в 1958 г. Она — плод размышлений недавнего эмигранта из Европы, родившегося в Литве польского поэта, пережившего падение нескольких государств, гражданином которых он был (Российской империи, Литвы и Польши)³. Это раздумья польского

¹ Милош в 1960 г. уехал из Европы в США, Калифорнию, в 1961–1998 гг. был профессором университета в Беркли, где преподавал славянские языки и литературу, в том числе читал курс лекций о Ф.М. Достоевском.

² «Родная Европа» была издана в 1959 г. в Париже на польском языке в издательстве «Instytut Literacki» Ежи Гедройцем, основателем влиятельного парижского польскоязычного журнала «Kultura».

³ На страницах «Родной Европы» можно проследить удивительную одиссею жизни автора. Вечный беженец, Ч. Милош родился в Ковенской губернии Российской империи, в 1918–1937 гг. жил, учился и работал в Вильно, относившемся сначала к новому литовскому государству, затем к временному государственному образованию Срединная Литва, включенному в 1922 г. в состав Польши. 1934–1935 — годы, проведенные в Париже; 1935–1937 — возвращение в Вильно; с 1937 по сентябрь 1939 — живет и работает в Варшаве. С началом Второй мировой войны Милош попадает в Бухарест, затем следует возвращение в тогда еще независимую Литву (Вильнюс) до прихода советских войск, затем полное

дипломата-невозвращенца времен насаждения тоталитаризма в послевоенной Польше, автора знаменитой книги «Порабощенный разум»; поэта, оказавшегося вне пространства родного языка; человека, прошедшего испытания марксизмом¹, ненавистника любых проявлений тоталитаризма в окружении «воинствующих антикоммунистов» и интеллектуалов левых взглядов Западной Европы. «Родная Европа» ориентирована прежде всего на европейского читателя, для которого Центрально-Восточная Европа была тождественна Атлантиде.

Любопытна трансформация названия произведения в разных переводах: «Родная Европа» в России², «Другая Европа»³ — во Франции, «Родная земля»⁴ — в англоязычном мире. Различия в переводах дают представление о разных пластах книги и в то же время открывает разницу мировосприятия предполагаемых читателей.

Пытаясь дать четкую дефиницию жанра «Родной Европы» (как, впрочем, и многих других прозаических произведений Чеслава Милоша), можно воспользоваться емким определением Шеймаса Хини, ирландского поэта и эссеиста, лауреата Нобелевской премии по литературе (1995): «Творчество Милоша — квинтэссенция жанра, синтезирующего автобиографию, политическую полемику, литературную критику, субъективное эссе, беллетристику, сентенции, дневники и еще множество стилей и интонаций — оригинальных, озорных, зловещих, более или менее поддающихся классификации»⁵.

опасностей путешествие через несколько границ в оккупированную немцами Варшаву (если Гитлер — это временно, то Сталин — навсегда, считает он), где он проживет до разгрома Варшавского восстания, затем Краков. После войны Милош — сотрудник польского МИДа — работает в Нью-Йорке, Вашингтоне и Париже, в 1951 г. становится в Париже эмигрантом. В 1960 г. он переезжает в США, в 1970 г. получает американское гражданство. С начала 1990-х гг. живет на две страны и два города: Беркли и Краков.

¹ *Милош Ч.* Родная Европа. М.; Wrocław: Летний сад, Коллегиум Восточной Европы им. Я. Новака-Езёранского, 2011. С. 109.

² Первые русские переводы избранных эссе «Родной Европы» в переводах В. Британишского, Б. Дубина, К. Старосельской публиковались в журналах: «Новый мир» (1992. № 9 — «Католическое воспитание»), «Дружба народов» (1993. № 6 — «Город юности», «Католическое воспитание», «Народонаселение»), «Путь» (1993. № 4 — «Марксизм»), «Родина» (1994. № 12 — «Россия»), «Иностранная литература» (1999. № 2 — «Война», «Десять дней, которые потрясли мир»), «Старое литературное обозрение» (2001. № 1 (277) — «Россия»); в сб.: *Милош Ч.* Личные обязательства. Избранные эссе о литературе, религии и морали. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. Полностью книга на русском языке увидела свет в 2011 г.: *Милош Ч.* Родная Европа. (Далее — РЕ.)

³ *Milosz Cz.* Une autre Europe. Paris, Gallimard, 1964.

⁴ *Milosz Cz.* Native realm: a search for self-definition. Garden City, N.Y., Doubleday, 1968.

⁵ *Хини Ш.* Смерть старого царя. — <http://www.milosz365.eu/ru,wspomnienia,4.php>

Чеслав Милош уходит от хронологического принципа описания событий собственной жизни, стремясь к выделению и осмыслению самых важных концептов жизни человека в его части мира: место рождения, город юности, предки, народы, населяющие его землю, война, католическое воспитание, марксизм и т. д. При этом сам автор выступает как объект исследования, все эти проблемы рассматриваются на примере его собственной жизни.

В самой последовательности глав книги мы видим, что образ русскости занимает в ее структуре важное место. Уже глава 3 книги, озаглавленная «Путешествие в Азию», посвящена образу Российской империи до 1917 г., который сложился у автора по детским воспоминаниям. Глава 5 («10 дней, которые потрясли мир») написана по следам событий эпохи русской революции 1917 г., которые Милош пережил в городе Ржеве. И наконец, глава 11 — «Россия»¹, часто перепечатающаяся как отдельное эссе, где раскрывается вся сложность и противоречивость отношений к восточному соседу польского интеллектуала литовского культурно-исторического пространства.

Многие затронутые в книге вопросы (отношение к Западной Европе, России, Польше) Милош рассматривает с перспективы Великого княжества Литовского эпохи его расцвета, идеального, с точки зрения поэта, проекта культурно-государственного устройства, в котором была религиозная толерантность, уважались права всех меньшинств и этнических групп, ценилась человеческая индивидуальность². Этот угол зрения позволяет Милошу сохранять дистанцию по отношению и к польским стереотипам о русских, и к польской национальной самооценке, и к претензиям русских к своему западному соседу. Но в то же время, обсуждая обиды и притязания сторон, он зачастую встает на сторону слабого, меньшего: в оппозиции русские–поляки таковыми были для Милоша, безусловно, поляки.

Особое место в книге Милоша занимают размышления о русской литературе. В этой связи стоит отметить, что «Родная Европа» перекликается с книгой «Былое и думы» Герцена, который Милошу близок

¹ Милош Ч. Россия (из книги «Родная Европа») // Родина. 1994. № 12. С. 10–15; Милош Ч. Личные обязательства. Избранные эссе о литературе, религии и морали.; Милош Ч. Россия // Старое литературное обозрение. 2001. № 1. — <http://noblit.ru/content/view/88/33/> (2006).

² Ср.: Милош Ч., Венцлова Т. Вильнюс как форма духовной жизни / Пер. с польск. А. Израилевич // Синтаксис. Париж, 1981. № 9. С. 57–100.; Литатов А.В. Великое княжество Литовское: исторический феномен симбиоза этнических культур // Вопросы философии. 2003. № 11.

своей независимостью от Запада и Востока¹. С Герценом Милоша связывает и особое положение эмигранта, и те чувства, которые испытывает человек, приехавший в сытую и благополучную страну из мира, пережившего «потрясение, развалины и апокалипсис»². И если Герцен был единственным в свое время представителем русского инакомыслия на Западе, то Милош ощущает себя на Западе представителем «другой Европы», которая кровно связана с западноевропейской культурой, но в то же время совершенно не известна среднестатистическому европейцу.

Милош с детства знал русский разговорный язык, охотно говорил на нем с русскими эмигрантами, он вставляет русские слова в свои эссе и стихи³. Русский язык, по мнению Милоша, выражая саму суть русского человека, притягивал поляков и высвобождал в них славянскую половину души⁴. Но в то же время русский язык таил в себе и угрозу для начинающего поэта своим особым сильным ритмическим рисунком.

Не следует забывать и еще одну грань отношения автора к русскому языку: он был языком имперского господства, русской бюрократии, насаждаемым в западных регионах Российской империи для повсеместного контроля и подавления национальных устремлений. Чиновники в родной для Милоша Литве «обращались к местным жителям исключительно на русском, полагая, будто язык бюрократии обязан понимать каждый»⁵. Выстроенная в западных землях Российской империи образовательная «пирамида российских школ и университетов» имела выраженный ассимиляторский характер. И если Милош учился уже в польской Литве⁶, то его отец еще получил образование на русском языке⁷.

Русская поэзия и литература для Милоша — это не только значимое мировое явление, повлиявшее как на его собственное творчество,

¹ Британишский В. О Милоше и об этой его книге // Милош Ч. Порабощенный разум. М., 2003. С. 30.

² См.: РЕ. С. 235.

³ См., напр.: РЕ. С. 43, 46, 48; стихотворение «Тревога-сон (1918)» // Звезда. СПб., 1992. № 5–6. С. 177.

⁴ РЕ. С. 128.

⁵ РЕ. С. 23.

⁶ Милош окончил гимназию имени Сигизмунда Августа в Вильне (1921–1929). Учился в Университете Стефана Батория (1929–1934).

⁷ Александр Милош закончил русскую гимназию в Вильно, «где не разрешалось говорить по-польски», и был выпускником Рижского политехнического института, где преподавание велось на русском с 1896 г.

так и на польскую культуру. Милош подчеркивает, что хотя «стихи как род литературы возникли здесь (в России. — И.К.) поздно, в XVII веке, придя из Польши, однако среди нынешних польских поэтов не один черпал свои находки теперь уж из поэтической техники россиян»¹. То же самое происходит и с романом: XIX век — царство великого русского романа. Милош открывает для себя русскую поэзию самостоятельно (в гимназии произошла естественная после обретения независимости переориентация школьной программы), он покорен лирикой Пушкина, революционным творчеством Маяковского. Но увлеченность постепенно проходит, Милош позднее признается, что самое большое влияние на него оказала французская и, в меньшей степени, английская поэзия. Современную русскую литературу и поэзию он читал значительно меньше: так, он довольно поздно узнал о творчестве О. Мандельштама. Из современных русских авторов он ценил прежде всего поэзию своего друга И. Бродского, воспоминания Н. Мандельштам².

Однако именно русская литература дает Милошу ключ к пониманию русской культуры и русского мироощущения в целом. Он не мог «пройти мимо русской поэзии, а уже в самом ее языке таилось что-то чужое, иное отношение к миру и людям, инородность особой, замкнутой в себе цивилизации»³. Мессианская идея, одержимость высшей справедливостью, попытки понять причины существования Зла в мире, сверхчеловеческие напряжение и страсти — вот основные мотивы произведений великих русских классиков. Простое желание «человеческого» счастья, стремление к «*Gemütlichkeit*»⁴ воспринимаются как слабость и измена, «русские могут больше, а меньше не могут».

Милош признается в главном для себя комплексе по отношению к русской литературе:

«Глубина» русской литературы всегда казалась мне подозрительной. Не слишком ли велика ее цена? Разве, выбирая из двух зол, мы не предпочли что-нибудь «поплоче», будь за этим как надо отстроенные дома, сытые и ухоженные люди? И что стоит мощь, если всегдашний ее источник — опять лишь столичная власть, а тем временем в забытом

¹ PE. С. 114–115.

² Интервью Виктору Соколову в журнале «Континент», 1980, № 26, с. 444.

³ PE. С. 114.

⁴ Уют (*нем.*).

Богом провинциальном городке снова и снова разыгрывается сюжет гоголевского «Ревизора»?»¹

В одном из своих интервью Милош развил эту мысль²:

Бердяев, анализируя образ Ивана Карамазова, сказал: «ложная чувствительность». Карамазов возвращает билет из-за единственной слезы ребенка, но позволяет себе лгать в других делах. Полагаю, что в этом большая опасность для России и русской литературы. Плачут над человеком, но готовы к жестоким действиям по отношению к другим народам, одновременно приукрашая это, представляя как благородное, доброе. В этой «глубине» таится опасность «ложной чувствительности».

Для Милоша русские — это не только герои произведений русских классиков, он знаком с ними без посредников. Знакомство с русскими позволяет четко разделять людей на тех, кто знает Россию, и тех, кто ее не знает: Милоша поражает, насколько различно их понимание одних и тех же событий русской истории, отношение к ним. Более того, Милош считает, что люди, не знающие Россию, неспособны понять многое в истории XX в.³

Он пишет: «Поразительно, до какой степени дух той или иной страны может проникнуть в ребенка»⁴. В книге есть яркие описания различных русских типажей: образ старовера Абрама, который впоследствии навсегда слился у Милоша с образом библейского Авраама. Русские староверы сыграли в семье Милоша особую роль — пошли на клятвопреступление и спасли от казни деда Милоша, состоявшего адъютантом у руководителя польского восстания 1863 г. в Литве Зыгмунта Сераковского⁵.

Еще один важный для понимания русских образ — советский дипломат на посольском приеме в Париже, каждое слово которого ловят левые французские интеллектуалы. С угрозой и торжеством в

¹ PE. С. 134.

² Интервью Сильвии Фролов // Новая Польша». 2003. № 3. — <http://www.novopol.ru/index.php?id=183>

³ Британишский В. Собеседник века. Заметки о Чеславе Милоше // Звезда. 1992. № 5–6. С. 179.

⁴ PE. С. 49.

⁵ Британишский В. Родимое и вселенское в творчестве Чеслава Милоша // Старое литературное обозрение. 2001. № 1 (277). С. 19.

голосе, присущими человеку, познавшему «глубины ада», он говорит Милошу: «Мы их научим работать»¹. Что лучше, — задает про себя вопрос Милош, — кропотливое создание пейзажа на протяжении веков, неторопливый ритм работы многоопытных и скептических людей, или внезапные порывы, напряжение воли, когда на болоте строится Санкт-Петербург, или с пустых степей запускаются ракеты в космос? Для Милоша этот вопрос явно риторический.

Вот образ русского солдата Сережи, вдоволь нахлебавшегося из единственного источника доступной ему свободы — пить водку в неограниченных количествах — и убившего в пьяной драке товарища. Родители Милоша спрятали на своем чердаке этого Сережу от самосуда сослуживцев, «и правильно сделали», замечает Милош².

Одному из своих воспоминаний Милош придает глубокий метафорический смысл, помогающий лучше понять русского. В январе 1945 г. на глазах Милоша в деревенском доме, где собралось около дюжины советских солдат, разыгралась драма: солдаты дают пленному немцу закурить, и даже пытаются словами успокоить его, после чего выводят из избы и расстреливают. По Милошу, «человека можно понять только под углом того, что выступает его продолжением, его постоянной маской, иными словами — в его исторической относительности»³. Он описывает эту сцену как столкновение двух цивилизаций: за плечами у немца его уютный мирок, аккуратные домики, поколениями возделывавшиеся виноградники, музыка Баха. У русских солдат нет никаких материальных благ, лишь нужда и невзгоды⁴, водка как лекарство и как единственный способ ощутить свободу. За их поступком не было ненависти (хотя она-то как раз могла бы быть понятна — как ответ на нацистские зверства и разрушения), более того, Милош видит жалость и сочувствие, скованные при этом апатичной безучастностью к человеческой жизни. Возможно даже, что забрать у немца (одетого в хороший кожух) одежду и выгнать его на мороз, с точки зрения солдат, было бы нехорошо, неправильно. В этой сцене поражает невероятное спокойствие, можно сказать, невинность палача, «зло творят без воодушевления, но никто и пальцем не пошевелит, чтобы его избежать».

Пытаясь понять эту сцену, а также многие известные сюжеты русской литературы, Милош ищет ответ в русской религиозности, на которую,

¹ PE. С. 151.

² PE. С. 49.

³ PE. С. 14.

⁴ PE. С. 130.

по его мнению, оказали существенное влияние восточно-христианские мистические секты (например, болгарские богомилы, или манихеи, которые считали мир, материю воплощением зла). Если материальный мир не может быть творением Божиим, а является делом рук Сатаны, справедливости на земле не достичь, потому и вины на каждом человеке за грехи нет, что освобождает от индивидуальной ответственности. Царствие же Божие (или коммунизм в современном понимании) — в неопределенном будущем. И хотя советские солдаты, возможно, уже не были христианами и даже коммунистами, но они являлись «правопреемниками» героев Достоевского и Толстого, в их культурном коде были заложены, по мнению Милоша, раздвоенность между мыслью и действием: в теории — «идеалы братства» и «новый человек», на практике же — допустимость совершения повседневного зла¹.

Милоша интересует русская религиозная мысль (он распознает у себя наличие «славянского типа мышления», склада ума Достоевского, Соловьева, Шестова и др.²), ищущая ответ на вопрос о причинах зла в мире. Писатель разделяет взгляды Льва Шестова, выступавшего против русской традиции социалистического оптимизма, толстовской веры в улучшение человека по мере продвижения прогресса. Но если Шестов, отрицая принятую на Западе трактовку, воспринимающую Бога как любовь и смиряющуюся с существованием зла (так устроен мир), говорит о полной свободе Бога (возможно, Бог вовсе не любовь, у него нет пределов), то Милошу больше близки идеи Симоны Вайль: Бог есть любовь, но он так далек от мира, Бог оставил мир князю этого мира и инертной материи. Острое ощущение присутствия зла в мире привело Милоша к изучению истории гностицизма, следы которого он видит в русском мистицизме.

Особенности русской религиозности стали, с точки зрения Милоша, началом пути к русской революции в том ее виде, который привел к созданию тоталитарного государства, к «сатанинскому узлу добра и зла»³, подробно проанализированному в «Порабощенном разуме».

Так что же, русские — это иная цивилизация, у которой нет никаких пересечений с польским соседом? Определяя для себя важные черты отличия русских от поляков (прежде всего связанные

¹ PE. С. 133.

² Милош Ч. Гигантское здание странной архитектуры // Литературное обозрение. М., 1996. № 3. С. 27.

³ PE. С. 192.

с противостоянием католицизма и православия, с различным отношением к власти и свободе), Милош, тем не менее, видит и точки соприкосновения двух народов. В западноевропейском сознании в образ Польши входят легкомыслие, пьянство, неспособность устроить жизнь «gemütlich¹», плохие дороги. Разве это не те же самые недостатки, которые характеризуют и самих русских? Русские оказываются для поляков тем же (нежеланными гостями), чем и поляки для западноевропейцев (Милош вспоминает о табличке, которая встретила четырех польских студентов у французской границы: «Вход для поляков, цыган, болгар и румын во Францию запрещен»)².

Милош постоянно возвращается к этой мысли.

Польша и Россия шли разными путями. Но все-таки есть и общее: и вы, и мы стоим перед Западной Европой, мы с вами близки, а Западная Европа — нечто иное. Это парадокс, конечно, потому что Польша, можно сказать, западная страна, если смотреть с вашей стороны, но, глядя с Запада, Польша вместе с Россией — это Восточная Европа. И этот парадокс многое объясняет³.

Поляки в то же время выполняют в России зачастую роль цивилизаторов. И поляки, и русские знают друг о друге много хорошего и плохого, но разве это не дополняет, не расширяет представление о себе самом? Русским стоит почувствовать себя на месте поверженных поляков, а полякам подумать о своих соседях (украинцах, белорусах, литовцах, русских, евреях), с которыми у них были непростые отношения.

В «Родной Европе» Милош очень осторожен в выводах, он не стремится поставить окончательный диагноз России и русско-польским отношениям.

Распространенная на Западе «кюстиновская»⁴ пространственно-временная характеристика России и русских (огромность, бесформенность, подчинение силе, деспотизм, жестокость, следы многовекового рабства, развращенные, ограниченные или сумасшедшие, как Павел I, самодержцы, традиция диких крестьянских восстаний) — для

¹ Уютно (нем.).

² PE. С. 146.

³ Интервью Виктору Соколову в журнале «Континент». С. 441–442.

⁴ См. первый полный перевод книги посетившего Россию маркиза А. де Кюстина «La Russie en 1839» на русский язык: Кюстин А. де. Россия в 1839 году: В 2 т. / Пер. с фр. под ред. В. Мильчиной; коммент. В. Мильчиной и А. Осповата. М., 1996.

Милоша слишком упрощенная (Кюстин побывал в России Бенкендорфа, но не увидел России Пушкина). Кроме того, подобные оценки русского народа и России, по мнению Милоша, используются в политических целях, служат лишь шовинизму, а не поиску правды.

Однако в судьбе самого Милоша и его родины Россия сыграла особую, трагическую роль. Одно из наиболее пронзительных стихотворений Милоша «Тревога-сон (1918)»¹ полно размышлений о тяжелой поступи Империи=Истории=России, топчущей человеческую судьбу (Милош описывает случай из детства, когда он потерялся на занятой большевиками станции и был в последнюю минуту перед отправлением поезда приведен каким-то комиссаром к родителям²):

Орша — плохая станция. Поезд может стоять и сутки.
Возможно, именно в Орше потерялся я, шестилетний,
И поезд репатриантов тронулся, оставляя меня
Навсегда. Как если бы я понял, что буду
Кем-то другим, поэтом другого языка, с другой судьбой,
Как если бы угадывал свой конец у берегов Колымы,
Там, где дно моря бело от людских черепов.
И тогда охватила меня большая тревога,
Ставшая матерью всех моих грядущих тревог.
Tępiet malogo picied bolszim. Перед Империей,
Которая идет и идет на запад, с луками, арканами, с ППШ,
Громящая повозкой, кучера колотя по спине,
Или на джипе в папахах, с картотекой захваченных стран.
А я только все убегаю, вот уже 100 лет, вот уже 300 лет,
По льду и вплавь, днем и ночью, лишь бы подальше,
Оставляя над родимой рекой ржавый панцирь и сундук
С королевскими жалованными грамотами,
За Днепр, потом за Неман, за Буг, за Вислу.
И вот попадаю в город высоких домов, длинных улиц,
И тревога пронзает меня: ну куда мне, деревенщине, с ними <...>
Беженец из воображаемых государств, кому я тут буду нужен.

Это стихотворение как нельзя лучше описывает чувства восточно-европейца, зажатого Историей между тоталитарным Востоком (Россией) и равнодушным Западом.

¹ «Тревога-сон (1918)» // Звезда. 1992. № 5–6. С. 177. Пер. В. Британишского.

² РЕ. С. 51.

В речи Милоша на вручении Нобелевской премии¹ снова возникает образ обитателей «другой Европы», чью историю беспощадно кроили в XX в. две тоталитарные империи при полном невмешательстве Западной Европы. Но возможно, размышляет Милош, смысл несчастий, постигших народы «другой Европы» состоит в том, что они сохранили память, тогда как Европа и Америка теряют ее, похоже, все больше с каждым поколением. Может быть, нет иной памяти, чем память ран, как это доказывает Библия, хроника тяжких испытаний Израиля².

Позиция Милоша более откровенно выражена в позднейших интервью, где он повторяет: парадокс в том, что я люблю русских, я люблю с ними общаться, я люблю с ними говорить. Я с ними чувствую себя очень хорошо. Но я не люблю Россию как цивилизационный проект имперский, тоталитарный³. Восприятие Милошем России свободно от националистического дискурса, это скорее взгляд демократа и гуманиста на страну, большую тоталитарным прошлым и авторитарным настоящим.

В то же время Милош не считает, что Россия навсегда обречена быть Империей зла, он разделяет мнение своего духовного наставника Адама Мицкевича, приводя знаменитые строки из поэмы «Дядя»:

И тело людей этих — грубый кокон,
Хранит несозревшую бабочку он,
Чьи крылья еще не покрылись узором,
Не могут взлететь над цветущим простором.
Когда же свободы заря заблестит, —
Дневная ли бабочка к солнцу взлетит,
В бескрайнюю даль свой полет устремляя,
Иль мрака создание — совка ночная?⁴

Милош видит в русских огромный потенциал, который должен взорваться, раньше или позже заявить о себе. К сожалению, постоянным для них тормозом остается их исключительная любовь ко всему

¹ Милош Ч. Речь в Шведской королевской академии. Стокгольм, декабрь 1980 г. // Иностранная литература. М., 1991. № 5. С. 204–211.

² Там же. С. 209.

³ См., например, интервью Виктору Соколову. С. 445; интервью Наталье Горбаневской в «Континенте». — <http://www.svobodanews.ru/content/transcript/24341453.html>

⁴ Мицкевич А. Дорога в Россию // Мицкевич А. Стихотворения и поэмы. М., 1979. С. 185. Пер. В. Левика; РЕ. С. 122.

русскому, выдвижение ее на первое место, выше истины. Эти две силы будут бороться друг с другом — глубина русской души и ее скованность самолюбованием¹. Немаловажную роль в негативном восприятии России играет русский мессианизм. (Милош очень критически настроен против любого мессианизма, в том числе — его польского эквивалента.)

Милош ищет новые пути пересечения русских и поляков, усиления взаимной тяги, которая, несмотря на сложные отношения, всегда между ними присутствовала: «Мне хотелось бы сделать все возможное, чтобы воздвигнуть мосты дружбы, взаимопонимания и доверия между нашими народами»².

«Родная Европа», написанная более полувека назад, удивительно современна. Милош работает внутри и для русской культуры, которая в наши дни как бы сызнова начинает осознавать необходимость включенности в Европу, частью которой она, безусловно, является. Поэтому те усилия, которые приложил Милош для открытия западноевропейцам Восточной Европы, еще предстоит осознать России на пути к своей «родной Европе».

¹ Фролов С. О России. Беседа с Чеславом Милошем, поэтом, лауреатом Нобелевской премии // Новая Польша. 2003. № 3; он же. Неокончателный диагноз: Чеслав Милош — польский писатель, лауреат Нобелевской премии // Московские новости. 2003. № 19.

² Интервью Виктору Соколову в журнале «Континент». С. 445.

С. Ф. Мусиенко

РОССИЯ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ЧЕСЛАВА МИЛОША

В истории польской литературы, наверное, не было такого писателя, как Милош, который бы столь точно и оригинально выразил свои противоречия, свою душевную раздвоенность в отношении к России. Эти сложные чувства он испытывал в течение всей сознательной жизни.

«Я люблю русских и люблю говорить по-русски, но не люблю самой России, России империалистической»¹, — сказал поэт в одном из последних в жизни интервью.

Тема России сопровождала Милоша всю жизнь и оставила неизгладимый след в творческом сознании и в сердце поэта. Сказанное выше позволяет выделить три ракурса видения Милошем России: непосредственное восприятие страны и «погружение» в ее языковую среду; изучение русской литературы и использование ее традиций; воплощение ее темы в собственном творчестве. Этот процесс сложен и многогранен.

Милоша подарила миру земля, которую он называл Литвой, а официально это была западная окраина Российской империи, имевшая административное название Северо-Западный край. Будущий поэт родился в 1911 г., в период важных социально-исторических катаклизмов — накануне Первой мировой войны и Октябрьской революции. Жизнь сложилась так, что Милошу пришлось почти навсегда уехать с родной земли и стать своеобразным «гражданином мира», но при

¹ *Miłosz Cz. Rosja*. Warszawa, 2010. S. 5.

этом сохранить себя в национальном проявлении и в жизни, и в деятельности, и в творчестве, а главное — в памяти и в сердце сохранить образ родины.

Для каждого человека понятие отечества, родины имеет двойное значение: широкое, или гражданско-политическое, административно-географическое, определяющее правовой статус человека. Для него это родина большая, страна, гражданином которой он является. Второе значение — узкое, биологически эмоциональное. Оно связано с местом рождения человека и определяет ту психологическую атмосферу, в которой он вырастает и воспитывается. Такую родину принято называть малой. Оригинальное определение малой родине дал Стефан Жеромский, назвав ее «землей сердца». В случае с такими деятелями культуры, как Чеслав Милош, выразительно прослеживается значение третье, назовем его ностальгическим. Это образ второй, малой родины, с которой поэт расстался почти навсегда, но эмоционально воспроизвел ее, а точнее, «сконструировал» в творческом сознании. Это обусловило три взгляда на проблему Родины и три различных способа ее воспроизведения в творчестве.

Понятие малой родины прежде всего связано с землей предков, с местом рождения, местом, где прошло детство человека. Тогда он ощущал физическую близость земли. Для Милоша — это были Шетейни, Красногруд, позднее Вильно.

Для творческой личности фактор малой родины особенно важен. Он заключается в воздействии на нее окружающей обстановки, помогающей вырабатывать эмоциональную память. Такая память формируется по мере взросления и становления личности и обостряется в случаях прощания с родиной, особенно не по своей вине.

Национальная неволя для Милоша длилась недолго, лишь первое десятилетие его жизни. Воспитывался поэт в условиях национального оптимизма, связанного с обретением Польшей независимости. Малая родина поэта Шетейни — это сердце Литвы, шляхетское имение, лесной и озерный край с неяркой, будто затуманенной красотой. На этих землях в мире и согласии веками жили народы различных национальностей, разных религий и обычаев. И все они, сохраняя национальные черты и культуру своего народа, духовно обогащались культурным наследием соседей. Итак, с первых дней жизни Милош оказался в мультикультурном окружении. Языком семьи и дома был польский, слуги и местные жители говорили по-литовски, языком официальным, деловым был русский. Отец поэта — шляхтич по

происхождению — окончил Рижский политехнический институт по специальности строительства мостов и дорог. Его работа требовала частых переездов по просторам России. Естественно, в этих служебных странствиях его сопровождала вся семья. Вспоминая прошлое, Чеслав Милош сказал, что его детство не было «sielskim i anielskim». «...Мое детство с тех пор, как я его помню, — отмечал Милош, — это вечная спешка: путешествия, бегство, выстрелы с фронта, каждые несколько дней — новые города и люди, 1917 год и т. д., добрые комиссары, дворец над Волгой, в центре резни, голод и ночные обыски»¹.

С детства Милош знал два языка — польский и русский. Последний он слышал и говорил на нем во время пребывания семьи в России. Литовский был языком слуг и жителей Шетейней. Позднее Милош сам объяснит свою «литовскость» и роль литовского фактора: он связывал его с фактом существования государства — Великого княжества Литовского, в состав которого входила и малая родина поэта. Об этом Милош расскажет в своих беседах с польским литературоведом Александром Фиутом, воспроизведенных в его книгах «Беседы с Милошем» и «Непокорный портрет Чеслава Милоша». Правда, кроме многоязычной среды, в детском сознании Милоша картины отчего дома сменялись картинками тех мест в России, в которых жила семья по роду службы отца. Из рассказов отца будущий поэт познал особенности жизни людей и нравственно-политических принципов России, отражавшихся во всех проявлениях бытия ее граждан «нерусских» национальностей.

«Я родился в Российской империи, — пишет Милош, — или там, где детям в школе запрещено говорить на другом, кроме русского, языке»². Естественно, эта трагедия не могла коснуться самого Милоша, экстраполировавшего на себя то, что происходило с его отцом, учившимся, естественно, в русской школе, затем в Рижском политехническом институте, где преподавание велось также на русском языке. Русский был языком делового и официального общения. От отца Милош узнал и о том, что администрация гимназии была либеральной в вопросах вероисповедания и просила учащихся-католиков выучить по-русски только какой-нибудь фрагмент «Катехизиса» «для инспекторов», которые порой производили проверку знаний гимназистов. «Тогда, — рассказывал сыну Александр Милош, — ученик, которого

¹ Zawada A. Miłosz. Wrocław, 1996. S. 7.

² Miłosz Cz. Rosja. S. 42.

вызывали, вставал и декламировал всегда одно и то же: “Абрахам сидел в своем шалаше...”»¹.

В истории с русским языком самое интересное то, что у Милошей он использовался в семейном кругу. «За столом, — пишет Милош, — в нашей убогой и отвратительной <...> квартире русский был языком юмора, потому что его сладко-грубые оттенки оставались непереводаемыми»².

Россия оказывала огромное влияние на Милоша с самого детства. Он старался избавиться от этого влияния, хотя и подчеркивал, что бороться с ним очень трудно.

В детстве русский язык проникал в меня путем осмоса во время поездок по России в Первую мировую войну, затем в Вильно, когда в нашей вагоне детей из дома на Подгурной 5, Яшка и Сонька говорили по-русски. Я думаю, что русификация в Вильно и предместьях, особенно после 1863 года, сделала значительные успехи.

Формально я никогда не учил этого языка, однако сидит он во мне довольно глубоко³.

Осмысление значимости русского языка пришло к Милошу непросто в зрелом творческом возрасте, в период принятия им важных жизненных решений, связанных с непринятием политического уклада Польши после Второй мировой войны. Это привело Милоша к следующему шагу: в 1951 г. он выехал в Париж и попросил политического убежища. Поэтому отношение к русскому языку в сознании Милоша ассоциировалось с политической ролью Советского Союза в отношении к Польше. Не случайно он считал, что русский язык привлекает поляков и учит их понимать Россию. И в то же время поэт предостерегает соотечественников:

...то, что их привлекает, то им в равной мере и угрожает, есть такое упражнение, которое я выполнял и которое скрывает в себе несколько значений. Достаточно лишь втянуть воздух и низким басом произнести: «*Вырыта заступом яма глубокая*», а затем быстро защелкать тенорком: «*Wykopana szpadlem jama głęboka*». Расположение ударений и гласных звуков в первом случае — это мрачность, темнота и сила, во

¹ Ibid.

² Ibid. S. 28.

³ Ibid. S. 42.

втором — легкость, ясность и слабость. И упражнение в самоиронии, и вместе с тем предостережение»¹.

В шутливом определении Милошем роли языка в политической и социальной обстановке страны спрятано отношение автора к России, которое можно назвать настороженным, недоверчивым, противоречивым. Это отметила исследовательница творчества Милоша и составительница его трудов о России Клер Каванаг. «Вот пример, — пишет она, — как филология отражает геополитику. Этим объясняется “сопротивление” Милоша использованию русской поэзии, хотя и признает <...> что как молодой поэт он находился под влиянием сборника стихотворений Пастернака “Повторное рождение”»².

Нет сомнений в том, что для Милоша отношение к русскому языку носило характер ассоциативно-политический, поскольку и свои воспоминания о малой родине, и произведения о России он создавал в период или зреющего решения эмигрировать, или в период эмиграции. Поэтому даже воспоминания о раннем детстве пропущены через сердце поэта, опаленное эмиграцией. Ностальгия у Милоша имеет и характер философский: он вспоминает о том, чего уже нет.

Koleją Transsyberyjską jechałem do Krasnojarska
Z nianią Litwinką, z mamusią, mały kosmopolita,
Uczestnik przyobiecanej europejskiej ery.
Tatuś polował na marale w Sajańskich górach³.

Короткое стихотворение автор сопровождает обширным прозаическим комментарием: «Да, это происходило в 1913 году. Тогда прошедшие сто лет представлялись как канун единственной по-настоящему правдивой европейской и даже космополитической эпохи»⁴.

Стихотворение написано в 1985 г. В 1992 г., после 52 лет эмиграции, Милош посетил свою малую родину Шетейни, Красногруд, Вильно. Свои впечатления он передал в стихотворении «Двор» (сборник «На берегу реки», 1995). Он увидел, что от прошлого почти ничего не осталось.

¹ Ibid. S. 28.

² Cavanaugh C. Miłosz i Rosja Dostojewskiego // *Miłosz Cz. Rosja*. S. 8.

³ По Транссибирской железной дороге я ехал в Красноярск
С няней-литовкой, мамой, маленький космополит,
Участник обещанной европейской эры.
Отец охотился на оленей в Саянских горах.

⁴ *Miłosz Cz. Poezje wybrane*. Kraków, 1995. S. 324.

Nie ma domu, jest park, choć stare drzewa wycięto...
Rozebrano świron biały zamszysty
Ze sklepami czyli piwnicami w których stały półki
na jabłka zimowe¹.

Вначале кажется, что автор просто перечисляет предметы исчезнувшего мира. Далее следует такой же перечень картин этого мира, которые изменились до неузнаваемости: из реки исчезли камыши и водяные лилии, липовая аллея и сад заросли крапивой и чертополохом. В стихотворении постоянно присутствуют два времени: прошлое, в котором была жизнь — струилась чистая вода в реке, росла лилия и камыши, цвели деревья в саду, благоухали липы в аллее. В настоящем — все исчезло.

Автор ни слова не говорит об участии в процессе уничтожения жизни и красоты социального фактора — социалистического мироустройства. Используя прием открытого сюжета, Милош дает возможность читателю сделать выводы самому. Автор же переводит размышления лирического героя в сферу философскую: «*Одновременно, год за годом мы утрачиваем листья, засыпают нас снега, мы уменьшаем*»². Да, это диалектика существования всего живого, направленная, к сожалению, от рождения к смерти. Но не ускорил ли этот путь несовершенный реальный мир, который, уничтожая красоту и жизнь, пришел к уничтожению и самого себя? Именно изображением его картины завершает стихотворение Милош.

Interesuje mnie dymek, z rury zamiast komina,
Nad baraczką, skleconym niezgrabnie z desek i cegły
W zieleni chwastów i krzaków — poznaję *sambucum nigra*
Chwała życiu, za to że trwa, ubogo, byle jak.
Jedli te swoje kluski i kartofle
I mieli przynajmniej czym palić w nasze długie zimy³.

¹ Ibid. S. 404:

Нет дома, есть парк, хотя старые деревья срублены...
Разрушен амбар белый, замшелый
Со складами, то есть погребам, в которых были полки
для зимних яблок.

² Ibid.

³ Ibid.:

Интересует меня дымок из трубы, вместо дымохода,
Над бараком, неуклюже слепленном из досок и кирпича,

Знаменательно, что Милош оригинально использует две категории времени: прошедшего и настоящего. Прошедшее употребляется в случаях, когда автор повествует о том, что исчезло: «разрушен амбар», «исчезла липовая аллея», «сады обветшали и заросли чертополохом и крапивой». Интересны также конструкции сочетания воспоминаний и произошедших изменений: «я помню, где свернуть, но не узнал реки». В случае воспроизведений настроения и душевного состояния лирического героя, вызванных увиденной им картиной реального мира, используется время настоящее: «меня интересует дымок из трубы, вместо дымохода», «я узнаю черную бузину», «да здравствует жизнь за то, что она продолжается».

Были ли в сознании Милоша невысказанные вопросы тогда, в начале 90-х гг. XX в., во время его поездки на малую родину: что произошло с миром его детства, и почему человек согласился с жизнью в бараке среди бурьяна и диких зарослей? Психологическая напряженность, которая создается в стихотворении намеренно, служит важному идейному назначению: сконцентрировать внимание читателя на тех изменениях, которые принесли трагедии XX в. — мировые войны, революции, политический диктат, репрессии. В этом случае Милош точно рассчитал силу воздействия произведения на читателя, являвшегося участником или свидетелем этих трагедий.

Видимо, в течение всей своей жизни поэт не избавился от противоречивого отношения к России и вел вечный спор сам с собой. Для него Россия — это просторы, красота природы и изумительная литература от Пушкина до Бродского — с одной стороны, и Россия — политический диктат и национальное угнетение — с другой. В художественных произведениях, эссе и публицистике, посвященных России, Милош проявлял глубоко личный подход. Сложное чувство смешения любви и ненависти к этой стране он мастерски воспроизвел в творчестве, сохранив в нем историческую и родословную правдивость в сочетании со свойственной равнодушному, творческому человеку психологической напряженностью. Он пишет:

Россия в поколении моих родителей ассоциировалась с простором, и не случайно первую должность инженера мой отец получил в Сибири.

В зеленых зарослях сорняков узнаю черную бузину.
Да здравствует жизнь за то, что продолжается, убого, кое-как.
Мы ели свои клецки и картошку
И было у нас чем топить в наши длинные зимы.

Необходимость возвращения из тех просторов после революции на Вислу ощущалась как тупик или конец. И были очень выразительные примеры трудного приспособления к ограничению, интригам, оговариванию, а также войны всех со всеми. Известный в Петербургском университете Леон Петражицкий, на лекции которого буквально лопались толпы, в Польше покончил жизнь самоубийством, то же самое случилось с Александром Ледницким.

К этому я хотел бы добавить, что из-за русского языка меня хотели расстрелять в 1945 году: «А ты откуда знаешь русский? Шпион!»¹

Следует отметить, что этот вопрос Милошу задал солдат Красной армии.

Несколько иначе душевное состояние Милоша в ту же самую эпоху передает исследователь его творчества А. Завада: «Шестилетний Чеслав с близкого расстояния на Волге, в Ржеве наблюдает отблески большевистской революции, позднее названной Октябрьской. Как сама революция, так и ее “отблески” были кровавыми, и, глядя на знакомого солдата, забрызганного кровью, маленький Милош решил, что “Серёжа (видимо, так звали солдата. — С.М.) зарезал петуха»².

Неосознанная Милошем трагедия революции и отношение его к России в детстве трансформируется в сложное и противоречивое чувство в душе взрослого человека, поэта, хорошо понимавшего и перипетии истории, и психологические надломы творческой интеллигенции обоих народов.

Не случайно так много внимания Милош уделяет проблемам русской литературы, которую хорошо знал, преподавал в ряде университетов мира, переводил на польский и английский языки произведения русских авторов, а главное, создал целый цикл литературоведческо-философских исследований о русских писателях, поэтах, философах: Ф. Достоевском, Л. Толстом, А. Пушкине, Н. Гоголе, Л. Шестове, М. Бахтине, Б. Пастернаке, И. Бродском и др. Суждения Милоша отличаются оригинальностью, неповторимостью и неожиданностью.

Творчество Пушкина Милош считает не открытым в Польше, поскольку «пропаганда поместила его в музей восковых фигур в отделе “польско-русской дружбы»³. Между тем польские литераторы и

¹ *Miłosz Cz. Rosja*. S. 43–44.

² *Zawada A. Miłosz*. S. 10.

³ *Miłosz Cz. Rosja*. S. 45.

исследователи хорошо знают Пушкина, как знают его творчество и советские последователи, но замалчивают трагедию поэта. Милош дал оригинальную трактовку поэмы Пушкина «Медный всадник», в которой показана сила тоталитарной власти и трагедия маленького человека. Милош экстраполирует концепцию, точнее трагедию, столкновения власти и личности на трагедию самого Пушкина. Как справедливо утверждает Милош, он (Пушкин) был заключен в «золотую клетку придворной власти» и разрешением конфликта между ним и царем Николаем I, влюбленным в жену поэта, могло быть только самоубийство. Дуэль была лишь его формой. Более того, Милош показывает неразрешенность конфликта между властью и личностью и придает ему характер «надвременной», по сути создавая модель насилия властью, являющуюся основой любой диктатуры. Эта власть насилия проявляется и в масштабах государственной политики, и во вмешательстве даже в такие сокровенные стороны жизни личности, как любовь и семейные взаимоотношения супругов. Не случайно Чеслав Милош рассматривает проблему диктатуры как трагедию не только исторического прошлого (Россия XIX в. и убийство Пушкина), но и современности (речь идет о 50-х гг. XX в. — советской агрессии и вооруженном конфликте в Венгрии).

В центре внимания Милоша было и творчество Достоевского, которого он считает не только писателем мировой значимости, но и пророком, не утратившим актуальности до сегодняшнего дня. Современная мировая литература, полагает Милош, развивается под влиянием Достоевского. Не случайно он называет Сартра героем Достоевского¹. Причину этого сходства Милош видит в том, что интеллектуальное мышление интеллигенции стран Западной Европы развивалось в своеобразном вакууме, без социального контроля, как у героев Достоевского. Раскольников и Иван Карамазов оставались наедине со своими мыслями. «С этими персонажами, — пишет Милош, — Жана Поля Сартра сближает “интенсивность” и “абстрактность его мышления”».

Достоевский по силе своего влияния занимает одно из главных мест и в творчестве самого Милоша. Кроме того, свою преподавательскую деятельность он начал в США с интерпретации творчества Достоевского. В этом плане интерес представляет комментарий автора:

¹ Ibid. S. 144.

Изучая Достоевского и преподавая его американским студентам, я не мог не заметить, что этот писатель изменяется в зависимости от того, кто о нем говорит <...> История рецепций Достоевского в течение ста лет после его смерти могла бы послужить примером последующих интеллектуальных увлечений и влияний различных философий на состояние умов исследователей¹.

Милош в системе своего преподавания использовал своеобразные методические приемы: наряду с трактовкой характеров персонажей Достоевского он обращался к философским сентенциям писателя и фактам его биографии. Видимо, в таких случаях американским студентам трудно было разгадать «загадку славянской души» и логику чувств автора «Братьев Карамазовых». Например, почему он даже по возвращении из сибирской ссылки «превратился из революционера в консерватора» или «почему любил самодержавную власть». Более того, находясь после отмены смертного приговора в ссылке, которую назвал «мертвым домом», Достоевский пишет три верно-подданнические оды. Такую метаморфозу трудно понять не только студенту, но и зрелому мыслителю. В советском литературоведении существовала упрощенно-ходульная оценка Достоевского: «Большая совесть наша», но не она определяла сложный и противоречивый мир творчества писателя, ставшего пророком не только в своем отечестве, но предвидевшим многие события в мире. В душе писателя, как и в его творчестве, сосуществовали (но не уживались) два начала: христианская мораль (мир не может быть совершенным, если в нем прольется хоть одна слеза ребенка) и легенда о Великом инквизиторе. Противоречие души человека Достоевский материализовал в «я» и «анти-я». Прием этот использовал еще Гете, представив двойственность в эпической паре Фауст — Мефистофель. Русский писатель сделал этот прием универсальным и придал ему надвременной характер.

Милош считает, что в показе двойственности души своих героев Достоевский выражает себя, и максимального самовыражения он достигает в изображении Ивана Карамазова. «Вхождение на дно греха и позора, — пишет Милош, — для него (Достоевского. — С.М.) является условием спасения, но он же создает и образы проклятых, как Свидригайлов и Ставрогин. Хотя он является всеми своими

¹ Ibid. S. 137.

персонажами, но только один наделен в наибольшей степени его собственной логикой мышления, им является Иван Карамазов»¹.

В связи с этим Милош выступает и против теории Бахтина, отметившего, что многоголосие является характерной чертой Достоевского. Исследователь пишет:

Бахтин своей книгой о поэтике Достоевского *навязал* (курсив наш. — С.М.) гипотезу полифонического романа как изобретение этого русского. Полифоничность лишь доказывает, что Достоевский был писателем очень современным: он слышит голоса, множество голосов, витающих в воздухе, пререкающихся, высказывающих спорные идеи <...> Его полифонизм имеет, однако, границу. За ней скрывается ревностный милинарис² и миссионер.

Более того, Милош считает Достоевского одновременно и пророком и «опасным наставником»³.

Следует особо подчеркнуть, что полифония в произведениях Достоевского принципиально изменяет и концепцию героя, ставя его в одном ряду не только с автором, но и с читателем. Бахтин утверждает:

Достоевский, подобно гетевскому Прометею, создает не безгласных рабов (как Зевс), а свободных людей, способных стать рядом со своим творцом, не соглашаться с ним и даже восставать против него.

Множественность самостоятельных неслиянных голосов и сознаний, подлинная полифония полноценных голосов действительно является основной особенностью романов Достоевского.

К особенностям полифонии Достоевского литературовед относит и значимость слова как в авторском повествовании, так и в характеристике героя. С помощью слова писатель показывает сознание героя как сознание «другое», «чужое», «оно не опредмечивается, не закрывается, не становится простым объектом авторского сознания»⁴.

Если сравнить суждения Чеслава Милоша о полифонии Достоевского и трактовки этого явления Бахтиным, то трудно согласиться

¹ Ibid. S. 102.

² Милинарис — человек, верующий во второе пришествие Христа на землю.

³ *Miłosz Cz. Rosja*. S. 101.

⁴ *Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского*. М., 1972. С. 7.

с некоторыми доводами Милоша. Он отрицает полифоничность Достоевского в романе «Братья Карамазовы», когда приводит в качестве примера «сатиры, не соответствующей значимости произведения», сцену с поляками, которую можно трактовать и как одно из мнений героя, и как отношение автора к поступку человека, который мог быть не только поляком, но и представителем любой другой национальности. Иное дело Иван Карамазов, трактовка которого, как считает Милош, является доказательством «гораздо большей эмоциональной напряженности, чем позволяет полифония»¹. Все это так, но в Иване Карамазове автор сосредоточил идею противоречивости человеческого существования, идею двух душ. Писатель не только «материализовал» это противоречие в реальных героях, *родственно* связанных с Иваном Карамазовым (Смердяков — Алеша), но и показал их в действии: Смердяков убил их отца, Алеша ушел со своими *двенадцатью* учениками. Это своеобразное перепутье, на котором еще с былинных времен оказались Россия и русский человек, не только увидел и показал Достоевский, но и предостерег человечество от возможных катаклизмов в будущем.

Чеслав Милош постиг не только глубинный смысл творчества Достоевского и доказал его актуальность в культуре и интеллектуальной жизни современности, но и показал *полифоничность* видения и трактовок творчества русского писателя литературоведами разных эпох и разных народов. Упреки Милоша в адрес Бахтина являются не столько спором двух исследователей, сколько доказательством общечеловеческой значимости Достоевского. Он пишет:

Было принято отделять Достоевского-идеолога от Достоевского-писателя, чтобы спасти его величие, деформированное досадными высказываниями, и гипотеза Бахтина служила в этом большой помощью. По существу, однако, можно сказать, что если бы не было российского миссионера и его всепоглощающей заботы о России, не было бы международного писателя. Не только забота о России придавала ему силы, но и страх за будущее России заставляли его писать, чтобы предостеречь².

Столь глубокое свое понимание души Достоевского Милош связывал с пониманием главной идеи национального существования

¹ *Miłosz Cz. Rosja*. S. 102.

² *Ibid.* S. 102.

россиян и поляков, считая, что «польская идея» превосходно сосуществует с «русской идеей» в том, что составляет ее точную противоположность». Однако исследовательница творчества Милоша Клер Каванаг находит между ними больше сходства, чем различия, заключающегося в том, что оба писателя, показывая несовершенную реальность, тосковали по идеалу, утраченной родине, гармонии мира. Милош, как пишет исследовательница, «возвращает русского писателя, вопреки его воле, идеализированной Литве, населенной поляками, евреями, литовцами, немцами, а также и русскими — и в этом заключается его ответ на настойчиво русскоцентричную вселенную Достоевского»¹.

Итак:

— Россию Чеслав Милош узнал с раннего детства, превосходно овладел русским языком и досконально изучил русскую литературу.

— В течение жизни отношение Милоша к России менялось, но интерес к ней не угасал никогда.

— Милош был свидетелем исторических событий мировой значимости, которые были связаны с Россией (мировые войны, революция, обретение независимости Польшей и т. д.) и которые вошли в его творчество.

— Милош активно использовал традиции русской литературы в своем творчестве и создал около 20 эссе и своеобразных очерков деятелей русской прозы, поэзии, философии.

— Одним из любимых русских писателей Милоша был Ф.М. Достоевский, которому он посвятил ряд своих работ и по-новому представил его творчество.

¹ Ibid. S. 16.

Л.А. Мальцев

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК В ТВОРЧЕСТВЕ Г. ХЕРЛИНГА-ГРУДЗИНЬСКОГО

Проблемы исторического бытия России, образы русских людей, комментарии к произведениям русской классической и постклассической литературы занимают особое место в творчестве Густава Херлинга-Грудзиньского (1919–2000), в чем проявляется своего рода преемственность по отношению к творчеству земляка, уроженца Келецкой (Свентокжизжской) земли Стефана Жеромского (1864–1925). Вероятно, не случайным совпадением является факт, что Збигнев Подгужец назвал Херлинга «наиболее “русским” польским писателем»¹, почти дословно повторяя высказывание Клода Баквиса о Жеромском («наиболее русский из всех больших польских писателей»²). Оба автора закончили в разные периоды одну и ту же Келецкую гимназию, дебютировали произведениями по сходной краеведческой тематике (Жеромский на заре литературной деятельности написал стихотворение «На руинах Свенты Кжижа», Херлинг-Грудзиньский опубликовал краеведческий очерк «Свентокжизжина»). Творчество Жеромского и Херлинга — выражение *genius loci* Келецкой (Свентокжизжской) земли, более явное в творческом наследии Жеромского и менее явное у Херлинга. Другой точкой пересечения писателей, столь, в общем-то, разных по стилю и тематике, является их «русскость», которую в обоих

¹ Podgórzec Z. O «rosyjskości» Herlinga-Grudzińskiego // Herling-Grudziński i krytycy. Lublin, 1997. S. 290.

² Backwis C. Myśli cudzoziemca o Żeromskim // Żeromski. Z dziejów recepcji twórczości. 1895–1964. Warszawa, 1975. S. 332.

случаях не следует понимать прямолинейно, как продукт воспитательно-образовательной «русификации»: речь идет, скорее всего, о понимании переплетения судеб Польши и России, в том числе культурных традиций двух стран, во многом взаимосвязанных, хоть и во многом противопоставленных.

Херлинг-Грудзиньский принадлежал поколению горячих почитателей Жеромского («жеромщачков»), что отразилось, например, в его дебютном очерке о родном крае «Свентокжиччина» («Если уж говорить о Светокжиччине, то говорить только о Нем — о Жеромском»¹), однако в зрелом послевоенном творчестве Херлинга-Грудзиньского литературное влияние Жеромского следует признать минимальным: Херлинг неоднократно писал о недостатках творческой манеры Жеромского — с одной стороны, лирической экзальтации, с другой стороны, манерности, характерных в целом для прозы «Молодой Польши», что, по мнению Херлинга, исключает вынесение из творческого опыта Жеромского «урока хорошей прозы», подобно тем «урокам», которыми были, например, для автора рассказа «Башня» Эдгар По, Гюстав Флобер или Джозеф Конрад.

«Дорога в Россию Херлинга-Грудзиньского» (меткое определение Яна Орловского²), по сути, ведет к преодолению «польского канона» видения России в XIX в., в том числе «канона» образа России в творчестве Жеромского, так как у Херлинга собственный опыт, обусловленный историческими событиями середины XX в. (сентябрьская катастрофа Польши 1939 г., депортации поляков в СССР — лагеря и ссылки, советско-польский союзнический договор 1941 г., формирование в СССР корпуса генерала Владислава Андерса), вне которых невозможно себе представить жизненный путь писателя. Русский опыт писателя — полугодовое (1940–1942) пребывание в «исправительно-трудовом» лагере Ерцево Архангельской области, в котором писатель непосредственно, в экстремальных условиях, «испытал» русскую действительность. Это является контрастом Жеромскому, который в юношеских «Дневниках» мечтал о Томском университете, в чем виделась начинающему польскому писателю романтическая альтернатива буднично-беспросветному существованию в «привислинском крае».

¹ *Herling G. Świętokrzyżczyzna // Kuźnia Młodych. 1935. Nr. 12. S. 6.*

² *Orłowski J. Droga do Rosji Herlinga-Grudzińskiego // Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim. Poznań: 5, 1991.*

Образ русского человека в творчестве Херлинга-Грудзиньского сформировался в документальном романе¹ «Иной мир» (1951), хронологически опередившем классические образцы русской лагерной прозы: «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и «Колымские рассказы» Шаламова. «Иной мир» Херлинга-Грудзиньского запоминается «интернациональным» составом персонажей: здесь много впечатляющих образов людей разных национальностей (поляки, евреи, немцы, финны, выходцы с Кавказа и из Средней Азии). Естественно, среди гулаговского «интернационала» выделяются русские люди: их своеобразие, даже уникальность, заключается в парадоксальности их лагерного бытия. При всем, подчас разительном, несходстве судеб и характеров русских людей, все они, с одной стороны, являются жертвами репрессивной системы (это объединяет их с «зэками» других народов СССР и «дальнего зарубежья»), но, с другой, воспринимаются как «коренные» жители — граждане страны, породившей «тюремную цивилизацию», создавшей «архипелаг ГУЛАГ». Именно русские заключенные, как никто другой, ближе к тому, чтобы признать лагерь своим «домом», как каторжане Достоевского признавали место своего заключения «мертвым домом», при этом осваивая, обживая лагерную действительность или даже предпринимая попытку «очеловечить» бесчеловечный порядок вещей. Специфика состояния русских людей в лагере, по сравнению, например, с состоянием поляков или тем более немцев, изначально ориентированных на то, чтобы отторгнуть существующий порядок, считать его враждебным, чужим², заключается и в том, что «одомашнивание» лагерной действительности русскими заключенными делает проблематичной перспективу освобождения, так как с психологической точки зрения это уход из собственного дома с неизбежной обреченностью на бездомность. Например, в отличие от поляков, получивших после русско-польского союзнического договора 1941 г. Сикорского–Майского реальную надежду на освобождение, русские заключенные лишены подобной надежды *a priori*, так как страна, создавшая ГУЛАГ, — это их страна, связь с которой является экзистенциальной, «смертной». Эта проблема неразрывной связи с родиной проявляется в контексте «Записок из Мертвого дома» Достоевского:

¹ Определение «Записок из Мертвого дома» Достоевского В.Б. Шкловского, на наш взгляд, вполне применимо к «Иному миру». См.: Шкловский В.Б. За и против. Заметки о Достоевском. М., 1957. С. 125.

² Исключением, косвенно подтверждающим правило, является рассказ поляка Б., заканчивающийся признанием: «...я возвращался в Ерцево, словно домой» (с. 217).

прочтение книги заключенными создает пессимистическую перспективу лагерного бытия, о чем свидетельствует вывод Натальи Львовны: «Мы веками живем в Мертвом доме»¹, — по сути, парафраз дантовского «Оставь надежду». Другой эстетической проекцией извечной тоски по воле, приобретающей иногда черты безнадежности и даже отчаяния, является исполнение русской народной песни «Раскинулось море широко...», которое сопровождается комментарием, существенным для понимания «русскости» автором «Иного мира»:

И, хотя эти взволнованно поющиеся слова приобретали в лагере призывок проклятия, брошенного прикованными к галерам рабами «русской земли», в них звучала и тоска по родине. Тоска по земле мучений, голода, смерти и унижений, по земле вечного страха, каменно-твердых сердец и выгоревших от плача глаз, по бесплодной пустынной земле, безжалостно опаляемой жгучим дыханием сатаны... И никогда позднее не довелось мне понять, хотя бы ненадолго, так отчетливо, как в эту минуту, что российские заключенные живут за пределами России и, ненавидя ее, одновременно тоскуют по ней всю силой своих задавленных чувств (с. 169).

В пестрой галерее заключенных «Иного мира» выделяется поп Димка — с первого и до последнего дня пребывания автора в Ерцево он является его «спутником», «проводником» (как Вергилий для Данте в Аду, как Аким Акимыч для Горянчикова в «Записках из Мертвого дома» Достоевского), опытным советчиком, знающим, что нужно делать в лагере для того, чтобы «сохранить жизнь». Если другие персонажи образуют «калейдоскоп» «Иного мира»: они появляются и исчезают, то дневальный Димка — единственный «постоянный» персонаж. На протяжении действия он совершает один и тот же ритуал: ходит с кипятком за хвоей, обладающей, по его мнению, целебными свойствами. Димка с «выцветшими глазами» (повторяющаяся в «Ином мире» портретная деталь) — «дух места» Ерцево, олицетворение лагерного домашнего начала, а для его товарищей по несчастью — пример привычки и терпения. Только ближе к концу действия автор узнает биографию Димки — попа-расстриги из Верхоянска, который в 30-е гг. «стер свое прошлое», пытаясь приспособиться к новым

¹ Цитируется здесь и далее по изданию: Герлинг-Грудзинский Г. Иной мир. Советские записки. М., 1991. С. 158. Далее страницы указываются в тексте.

обстоятельствам, но в 1936 г. все равно был арестован за принадлежность к духовенству.

Типологически поп Димка — это в традициях русской классики XIX в. «маленький» простой человек, незаметный герой истории без героико-романтического нимба, духовный последователь Платона Каратаева из «Войны и мира» Толстого. Как Платон для Пьера стал духовным отцом, учителем, философом-«крестьянином», исповедующим народную философию жизни, так и поп Димка для автора — все равно что «отец» для «сына», который в трудную минуту поддержит добрым словом, поможет избежать уныния, покажет на собственном примере, подобно Платону Каратаеву, что и в самых отчаянных условиях «живут люди». Другой (современной) литературной параллелью попа Димки можно назвать солженицынского Ивана Денисовича, олицетворения русской терпеливости, выраженной Солженицыным в народной поговорке: «Кряхти да гнишь, а упрешься — переломишься».

Оценка автором «Иного мира» русского характера и народной философии жизни, олицетворяемой Димкой, является в целом неоднозначной. В отличие от Платона Каратаева, характер Димки дисгармоничен: за внешними уравновешенностью и спокойствием скрывается жизненная драма человека, стершего свое прошлое, и, как следствие, эффект раздвоения, отдаляющего Димку от толстовских и сближающего его с бунтующими персонажами Достоевского:

В нем таинственным образом срослись два человека, и часто он сам не знал, который из двух настоящий. Со времен молодости у него осталось *сердечное, сочувственное и инстинктивно религиозное отношение к страданию*¹, но стоило ему это осознать, как он перепуганно принимался искать спасения в циничном издевательстве над любой верой <...> Но, как и большинство атеистов, он даже не подозревал, что его религиозный бунт по сути своей был более христианским, чем тысячи чудесных обращений в веру. Однажды вечером его спросили, когда он окончательно перестал верить в Бога, — он ответил, что в 1937 году, когда отрубил себе топором на лесоповале ногу, чтобы попасть в больницу и сохранить веру в свою собственную волю, в себя — человека»² (с. 210).

¹ Курсив автора настоящей статьи.

² Здесь прослеживается другая «русская» литературная реминисценция — рассказ Шаламова «Протез», часто цитируемый Херлингом-Грудзинским.

Трагически раздвоенный Димка, естественно, не является идеальным персонажем «Иного мира»: с этой точки зрения он контрастен Платону Каратаеву как олицетворению народного нравственного идеала Толстого. С позиций «ригористической» этики — этики абсолютных норм, к которой приблизился Херлинг после войны, поп Димка может считаться носителем этического релятивизма, конечно совершенно неприемлемого для духовного лица и потому заслуживающего осуждения как с точки зрения «духовной», так и «светской» этики.

Как ни парадоксально, это не мешает считать именно попа Димку человеком, оказавшим огромное духовное влияние на автора «Иного мира» и последующих произведений, в которых ведущим сакральным мотивом является Страдание. В противоречивой характеристике Димки заслуживает оправдательной акцентировки «сердечное, сочувственное и инстинктивно религиозное отношение к страданию», сказывающееся в его поведении, даже несмотря на атеистическое перевоспитание. Эта черта персонажа применима к самому автору, в сознание которого, начиная именно с «Иного мира», входит тесно связанная с духовным опытом русской классики (Достоевского и Толстого) проблема страдания. Не случайно название кульминационной главы «Иного мира» — «Мука за веру» — Грудзинский почерпнул из «Записок из Мертвого дома». В «инстинктивно религиозном отношении к страданию» Херлингом-Грудзинским осознается библейский первоисточник: в Книге Иова, настольной книге писателя, говорится, что «человек рождается на страдание, как искры, чтоб устремляться вверх» (Иов 5: 7). В одном из последних рассказов Херлинга-Грудзинского «Блаженная, святая» анонимный знакомый спрашивает автора-повествователя: «Ты случайно не влюблен в каждого страдающего человека?»¹ Корни этой «случайной» влюбленности, сакрализации страдания в позднем творчестве Херлинга, мы находим в «Ином мире», в образе попа Димки с его «сердечным, инстинктивно религиозным отношением к страданию».

В философско-исторических трудах Бердяева, которые во многом опираются на художественное мировоззрение Достоевского, конститутивным принципом «русской души» считается «антиномичность» — сосуществование, казалось бы, несовместимых психологических начал. Так, в случае попа Димки это проявляется в несоединимом

¹ *Herling-Grudziński G. Pisma zebrane. Dziennik pisany nocą 1993–1996. Warszawa, 2000. T. 10. S. 245.*

соединении латентного христианства как религии страдания, с одной стороны, и дерзкого богохульства, оборачивающегося актом членовредительства, с другой. Труды Бердяева Херлинг прочитал, вероятно, после лагеря, найдя теоретическое обоснование выводам, полученным в экстремальных жизненных обстоятельствах. Поэтому рефреном позднего творчества Херлинга-Грудзиньского становится цитата из статьи «Духи русской революции» Бердяева: «Русский же — апокалиптик и нигилист, апокалиптик на положительном полюсе и нигилист на отрицательном полюсе»¹.

Другим источником обоснования принципа русской «антиномичности» в позднем творчестве Херлинга-Грудзиньского являются труды видного французского русиста Пьера Паскаля, проведшего в России послереволюционные годы и пытавшегося найти общий знаменатель между большевизмом и католицизмом, что не нашло понимания в социалистической России. Продуктом долгого пребывания Паскаля в России стала книга «Аввакум и начало Раскола», на основании которой Херлинг-Грудзиньский делает вывод о сосуществовании «двух России»: России Никона и России Аввакума. Херлинг-Грудзиньский пишет о Пьере Паскале: «В “староверах” его привлекало отвращение к всевластию и вездесущности государства, императив “вечного *non possumus*” христианской души по отношению к божку-государству». Русский опыт потомка великого Паскаля сводится к выводу:

После Никона в России нет церкви. Здесь есть государственная религия. От него всего лишь шаг к религии Государства. Религия Государства была введена режимом, который после 1917 года принял в наследство империю. Кто знает, не следует ли точно так же в наших современниках, «диссидентах», инакомыслящих, видеть наследников «раскольников» XVII века. Читая «Житие протопопа Аввакума» и восхищаясь упорством, с которым он защищал Старую Веру вплоть до мученической смерти, мы видим лица, известные нам по сегодняшним хроникам сопротивления советской религии Государства»².

В творчестве Херлинга-Грудзиньского олицетворением «двух России» — государственной России Никона и духовной России Аввакума — являются соответственно персонажи «Иного мира» Горцев

¹ Бердяев Н.А. Духи русской революции // Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 260.

² Herling-Grudziński G. Pisma zebrane. Dziennik pisany nocą 1984–1988. Warszawa, 1996. Т. 6.

и Костылев. Будучи антиподами и во многом антагонистами, они характерологически соотносимы особой интенсивностью чувств, метафорически описываемых автором как проявление «религиозного фанатизма». Горцев, главный персонаж рассказа «Обрубок» («Осһар»), — это фанатик государства, «партии и правительства» (слова, выговариваемые им с «улыбкой унижения и лести»). Историю печально закончившегося пребывания Горцева в Ерцево автор сопровождает комментарием:

Для сотен тысяч Горцевых большевизм — единственная религия, единственное мировоззрение, какому их научили в детстве и молодости <...> Для людей из породы Горцевых падение веры в коммунизм, единственной веры, которой они до тех пор в жизни руководствовались, равнялось утрате пяти основных чувств, с помощью которых человек познает, определяет и оценивает окружающий мир. Поэтому посадка почти никогда не становилась для него стимулом к отказу от монашеского обета; они, скорее, относились к ней как к временной епитимье за нарушение орденской дисциплины и дожидались дня освобождения с еще большей готовностью повиноваться и душевной покорностью (с. 52).

Горцев — это «сознательная» жертва системы, его смысл существования — в беззаветном служении «партии и правительству»: в глазах Горцева оправданы любая подлость и жестокость, если они служат интересам государства, только проступок перед властями (действительный или мнимый) заслуживает наказания, которое нужно понести со всем смирением. Трагизм положения Горцева — в том, что, будучи преданным государству, он в конце концов выдается этим же государством на растерзание заключенным — таким образом власти, чтобы застраховаться от возможных бунтов, «выпускают пар» недовольства заключенных, сдавая «одного из своих».

Костылев, в противоположность Горцеву, — это фанатик сопротивления репрессивному государству, образ Костылева автор напрямую соотносит с раскольниками: «...Костылев был недалеко от какой-то особой формы религиозной мании, унаследованной от поколений русских мистиков...» (с. 74). Как и Горцев, Костылев — представитель молодого поколения, сформированного советской эпохой: по возрастным причинам оба молодых человека лишены возможности сравнивать ее с дореволюционными временами. Однако, как показывает автор,

сходные обстоятельства воспитания и образования привели к формированию диаметрально противоположных характеров: бюрократической ограниченности Горцева противопоставлено интеллигентское правдоискательство Костылева, подкрепленное врожденной критичностью мышления и любовью к книгам. Если Горцев в глазах автора — пример человека заурядного, склонного к словесным штампам и просто глупым поступкам, то Костылев выделяется неординарностью, о которой в полной мере свидетельствует портретное описание:

Только ниже в его лице таилось что-то, придававшее ему незабываемое впечатление ума, соединенного с каким-то безумным, остервенелым упрямством. В особенности губы, узкие, судорожно сжатые, сразу ассоциировались с портретами средневековых монахов. Помню, меня восхитило это редкостное соединение тонкой эмоциональности и неотесанной, почти грубой шершавости. Отраставшие надо лбом волосы еще сильнее подчеркивали каменную лепку его головы. Левой рукой он с инстинктивной набожностью переворачивал страницы, а правой, неподвижной, придерживал книгу, чтобы не упала. При чтении в уголках его губ блуждала чарующе наивная, почти детская улыбка (с. 83).

Как и Горцев, Костылев стал жертвой следственного «препарирования мозгов», но если в случае с Горцевым система насилия привела к нужному ей результату, то на Костылеве дала сбой. Под мощным физическим и психологическим прессом, после долгого мужественного сопротивления Костылев вынужден был признать «правоту» своих мучителей, но впоследствии, детально анализируя пройденное, пришел к выводу, что «его обманули». Тогда Костылев решает на «добровольное, почти искусственное мученичество» (ср. эпиграф «Записок из Мертвого дома» Достоевского к главе «Иного мира» о Костылеве — «Рука в огне»): он регулярно обжигал руку, чтобы добиться освобождения от работы, и в конце концов вылил на себя кипяток, покончив жизнь самоубийством. Конечно, для автора, с которым Костылев находился в дружеских отношениях, это бессмысленный бунт, «детская, слепая тоска по свободе» (с. 86), иссушившая слезы матери Костылева. Но, воспитанный в героико-романтическом духе послереволюционной эпохи, Костылев отказывается быть «марионеткой», «винтиком» лагерного механизма и всеми имеющимися в его распоряжении средствами отстаивает право быть человеком. С образом Костылева, сохраняющим, возможно, даже генетическую

преимущество по отношению к русским старообрядцам, связано представлением автора «Иного мира» о героическом в русском характере. С Костылевым связана также ломка укоренившегося в польской литературе XIX в. негативного стереотипа русского героизма как «героизма неволи» (Мицкевич, «Отрывок» третьей части «Дзядов»). Наоборот, для Херлинга-Грудзиньского Костылев является ярчайшим выражением героизма Свободы, контрастно выделяющимся на фоне сервилизма Горцевых.

Ключевым для понимания специфики образа русского человека в творчестве Херлинга-Грудзиньского является мотив Любви. Его источником также является «Иной мир» (рассказы о разбойнике Ковале и девушке Марусе — глава «Ночная охота», о враче Егорове и медсестре Евгении Федоровне — глава «Воскресение») — о любви в нечеловеческих условиях, любви обреченной, «растоптанной». Образы русских женщин в прозе Грудзиньского, хотя и нечастые, проникнуты исключительной теплотой, истоки которой мы находим в «Ином мире» — в образах спутниц автора, только что освободившегося из лагеря: «...они отнеслись ко мне по-человечески, не брезгуя моими завшивленными лохмотьями, и героически переносили вонь, которой несло от моего грязного, гниющего тела». Несмотря на известный скептицизм в оценке советского государственного патриотизма, автор единственный раз (при описании именно этой встречи) меняет «минус» на «плюс», давая оценку, удивительную для польского писателя:

Быть может, я подпал тогда под впечатление, всегда возникающее от неожиданно проявленной человеческой доброты, или пал жертвой ослабленного контроля над нервами... но мне кажется, что никогда больше — даже в польской армии в России — я не встретился с такими искренними и трогательными изъявлениями патриотизма (с. 224).

Вероятно, с отголоском именно этой давней теплоты следует связывать любовь-дружбу, любовь-симпатию автора к Анне Федотовой не переводимое на русский «*podkochiwanie się*» — чувство, возникшее в результате взаимной увлеченности общим делом — исследованием биографии «принца музыкантов» Карло Джесуальдо (см. рассказ «Траурный мадригал»).

Философия любви, выраженная в русском классическом искусстве, раскрыта в повести «Белая ночь любви» (1998–1999), относящейся уже к позднему творчеству писателя. Главный герой — режиссер Лукаш

Клебан — является человеком польско-русского происхождения, что имеет в повести огромное психологическое и духовное значение, не случайно предметом его новаторской театральной концепции является русская классика — Тургенев, Достоевский и, в особенности, Чехов. Повесть «Белая ночь любви», в особенности в ее первой части — «Брат и сестра», — это металитературный текст о русской классике. Повесть «Белые ночи» Достоевского — режиссерский дебют героя, повесть «Первая любовь» Тургенева — его так и не осуществленная профессиональная мечта, драматургия Чехова — пик творческой карьеры режиссера. В репертуаре Лукаша пьесы Чехова становятся профессиональной «библией», завещанной матерью Софьей Крипиной. Название «Брат и сестра» («*Rodzeństwo*») перифразирует «Три сестры» Чехова. Поездка в Венецию несколько раз сравнивается с романтическим порывом трех сестер в Москву.

Сторонник интерпретации произведений Чехова как экзистенциальных драм, режиссер устраняет эффект стреляющего ружья, помогая зрителю открыть перспективу повседневных отношений: «Чехов <...> не учел того, что традиционный “выстрел под занавес” ничего не решает. В жизни, безусловно, да, но театральная условность требует абсолютно иного решения»¹. «Ружейные» развязки, последовательно устранимые Лукашем-режиссером, позволяют вспомнить суждение Стендаля о политике как «пистолетном выстреле посреди бала». «Стендалевской» была опасная реплика в советской аудитории 1941 г.: «К выстрелам из пистолета мы теперь слишком привыкли — вот чего Чехов не мог предвидеть»². Херлинг избегает выстрелов — вторженный прямолинейного реализма в «тонкую материю» чеховских пьес. Избегает политики — слишком мрачной темы для «сентиментального» повествования. «Белая ночь любви» — аполитичная повесть о политическом XX веке. Страшные события века (гитлеровское вторжение в Польшу, сталинские репрессии, ГУЛАГ, Варшавское восстание 1944 г.) даны далеким, «малозаметным» фоном к продолжительной истории любви. Парадокс в том, что два главных героя повести, Лукаш и Уршуля, живут во времена глобальных исторических потрясений, но как бы отгородившись от них, в камерной атмосфере, напоминающей русский «серебряный век».

¹ Херлинг-Грудзиньский Г. Горячее дыхание пустыни. Белая ночь любви. М., 2000. С. 201.

² Там же. С. 201–202.

Известно недоверие Херлинга-Грудзиньского к всевозможным обобщениям — к схематическим взглядам на действительность, ставящим во главу угла общее, редуцирующим особенное и отсекающим единичное. Писателю, безусловно, близок девиз Чехова: «Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай»¹. Однако в «Белой ночи любви» автор формулирует обобщенную мысль — квинтэссенцию «русскости», русской национальной идеи в художественно-эстетической проекции. Идея русской литературы, экзистенциальная сердцевина национального характера, выражена в словах главного героя, исполняющего в данном случае, вероятно, роль *porte parole* автора: «Такой подсознательной веры в целительные свойства любви нет ни в какой другой литературе мира»².

¹ Чехов А.П. Собр. соч.: В 8 т. М., 1970. Т. 6. С. 283.

² Херлинг-Грудзиньский Г. Указ. изд. С. 212–213. (Курсив автора настоящей статьи.)

Деян Айдачич

РУССКИЕ В РОМАНЕ ЯЦЕКА ДУКАЯ «КСАВРАС ВЫЖРЫН И ДРУГИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФИКЦИИ»

Непростые отношения поляков и русских в польской литературе представлены в этнически центрированных литературных текстах на исторические и современные темы, в мемуарах польских эмигрантов, пребывавших в непосредственном контакте с русскими. Упоминания об этих произведениях находим на страницах работ польских литературоведов. Во второй половине XX в. этнические напряжения и конфликты были завуалированы и смягчены в литературной критике во избежание обвинений в нарушении «дружбы социалистических народов». Поэтому не вызывает особого удивления факт, что обобщающие книги об образе русских в польской литературе появляются лишь с начала 90-х гг. XX в.

Исследования польских литературоведов. Монография краковского русиста-литературоведа Анджея Кемпиньского «Лях и Москаль: из истории стереотипа» (1990)¹ опирается на теорию стереотипов Адама Шафа и Ежи Бартминьского. В работе исследуются этнические и конфессиональные черты русских на материале текстов, содержащих упоминания о них, начиная от устной традиции (паремии), через полемическую литературу, стихи барокко, тексты романтиков и реалистов и заканчивая произведениями современных писателей. Эльжбета Кисляк в книге «Царь-груп и Король-Дух» (1991)² представила

¹ *Kępiński A.* Lach i Moskal: z dziejów stereotypu. Warszawa–Kraków, 1990. 221 s.

² *Kisłak E.* Car-trup i Król-Duch. Rosja w twórczości Słowackiego. Warszawa, 1991. 381 s.

и истолковала исторические и литературные корни русских мотивов и образов в творчестве Юлиуша Словацкого. В научном круге политолога Анджея де Лазари (литературоведа по образованию) из Лодзи создано несколько сборников, в которых представлены, кроме других научных направлений, также литературоведческие статьи. Сам де Лазари в своих трудах неоднократно обращался к художественной литературе. Русист из Люблина Ева Погоновска в книге «Дикие бесы» (2002)¹ анализировала взгляды на Советскую Россию в антибольшевистской польской поэзии 1917–1932 гг.

Поиском взаимопонимания отличаются работы де Лазари, Т. Сухарского и М. Янион.

Тадеуш Сухарский в книге «Достоевский Херлинг-Грудзиньского» (2002)² анализирует присутствие идей русского классика в творчестве автора «Иного мира», предлагает обзор образов русских в польской литературе в сборнике «Каталог взаимных предрассудков поляков и русских»³, а в монографии «Польские поиски “другой” России» (2008)⁴ рассматривает представления о России в текстах авторов второй польской эмиграции. Лингвистка из Катовиц Александра Невяра в книге «Москвич-москаль-русский» (2006)⁵ сосредоточилась на образах, созданных в личных документах. В книге «Необычное славянство» (2007) Мария Янион в нескольких фрагментах обращает внимание на польские религиозные фантазмы в литературе, «ориентализацию» России⁶. Интересные положения опубликованы также в исследованиях Сибири в польской культуре, статьях об ориентализме в польской литературе.

Существенный вклад в изучение образов русских в польской культуре внесла статья люблинских этнолингвистов Ежи Бартминьского, Ирины Лаппо и Уршули Маер-Барановской «Стереотип русского и его профилирование в современном польском языке»⁷. Авторы выделяют

¹ Pogonowska E. *Dzikie biesy. Wizja Rosji w antybolszewickiej poezji polskiej lat 1917–1932*. Lublin, 2002. 270 s.

² Sucharski T. *Dostojewski Herlinga Grudzińskiego*. Lublin, 2002. 179 s.

³ Sucharski T. «Rosja wchodzi w polskie wiersze» — obraz Rosjanina w literaturze polskiej // *Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan*. Warszawa, 2006. S. 73–157.

⁴ Sucharski T. *Polskie poszukiwania «innej» Rosji: o nurcie rosyjskim w literaturze Drugiej Emigracji*. Gdańsk, 2008. 424 s.

⁵ Niewiara A. *Moskwicin-Moskal-Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret*. Łódź, 2006. 184 s.

⁶ Janion M. *Niesamowita Słowiańszczyzna: Fantazmaty literatury*. Kraków, 2007. S. 191–196, 223–256.

⁷ Bartmiński J., Lappo I., Majer-Baranowska U. *Stereotyp Rosjanina i jego profilowanie we współczesnej polszczyźnie // Etnolingwistyka*. T. 14. 2002. S. 105–151.

четыре профиля: брат–враг, русский–завоеватель, друг–Москаль, русский–Европеец¹. Этот текст не был опубликован в сборнике статей Ежи Бартминьского на русском языке². Надо вспомнить также статьи ряда авторов, которые в числе других занимались образами русских: Гжегож Пшебинда, Бронислав Бакула, Ришард Лужный, Мариуш Вильк, Эдвард Чапевский, Александр Фиут и др.³ Русские литературоведы (Виктор Хорев⁴ и др.) внесли свой вклад в изучение образов русских в польской литературе. Этот текст является продолжением исследования образов русских в польской литературе⁵. Мы возвращаемся к роману «Ксаврас Выжрын», который ранее рассматривался с точки зрения жанровых черт⁶.

Роман «Ксаврас Выжрын» (1996) — одно из первых произведений польского фантаста Яцека Дукая. В жанре боевика в рамках альтернативной истории писатель изменяет последовательность исторических событий и рисует фантастические картины уничтожения России. В формировании образа главного героя — польского террориста-партизана — переплетаются «нормативная (господствующая, гегемонная) маскулинность» приключенческого жанра⁷ и философия мести. Ксаврас назван в честь непобедимого героя комиксов и многим обязан поэтике комиксов и голливудских кинобоевиков. На обложке первого издания он сидит на камне, как роденовский «Мыслитель», в крови, в зеленоватом камуфляже, а около него разбросаны автомат, шлем и обоймы. Иллюстрация Томаша Багиньского на обложке позднее опубликованного издания отдалается от реального образа и представляет уничтожающую силу человекообразного чудовища, стоящего

¹ Ibid. S. 145–146.

² Бартминьский Е. Языковой образ мира: Очерки по этнолингвистике. М., 2005. 512 с.

³ Polacy w oczach Rosjan — Rosjanie w oczach Polaków: zbiór studiów = Poljaki glazami Russkich — Russkie glazami Poljakov. Warszawa, 2000. 430 s.

⁴ Поляки и русские в глазах друг друга / Ред. В.А. Хорев. М., 2000. 272 с.; Россия — Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре / Ред. В.А. Хорев. М., 2002. 344 с.

⁵ Айдачич Д. Російські царі у пеклі польських романтиків // Літературознавчі студії. Вип. 29. Київ, 2010. С. 8–13; или: Айдачич Д. Російські царі у пеклі польських романтиків // Демони і боги у слов'янських літературах. Літературознавчі огляди. Київ, 2011. С. 140–146; Айдачич Д. Полякине и залубьени руски офицери у два польска романа (Крашевски и Жеромски); Польски папучић и распусна Вјера (Томаш Јаструн) // Айдачич Д. Еротославија: преображења Ероса у словенским књижевностима. Београд, 2013. С. 180–187, 328–331.

⁶ Айдачич Д. Уплетена времена у алтернативној историј Јацека Дукаја // Аспекти времена у књижевности: Зборник радова. Београд, 2012. С. 417–426.

⁷ Филоненко С. Масова література в Україні: дискурс / гендер / жанр. Донецьк, 2011. С. 206.

на черепахе. «Ксаврас Выжрын» Яцека Дукая — катастрофический, полоноцентристский, русофобский роман, который описывает поход террористической группы от Буковины до Москвы и от Москвы до Кракова в сопровождении телекамеры. История начинается ранним утром 30 марта 1996 г. встречей американского телевизионного журналиста Яна Смита с бойцами Ксавраса Выжрына и заканчивается пророчеством последнего о том, что через 13 лет, в 2009 г., Польша получит независимость.

На момент написания романа о Ксаврасе Выжрыне Польша уже не состояла в Варшавском блоке, а пребывала на пути к Европейскому союзу. СССР больше не существовал, а описываемая в романе Россия как бы возникла неизвестно откуда, поскольку автор не пишет ни о распаде СССР, ни о «переименовании» его в Россию. Такое объяснение вымышленного, «возможного мира»¹ вытекает из необходимости переноса вины большевиков на русских, но автор забыл обеспечить правдоподобность. Дукай в своем альтернативном историческом прошлом продлил жизнь Иосифа Виссарионовича Сталина на тридцать лет, чем одновременно сохранил силу НКВД. Согласно роману в XX в. не было Второй мировой войны, не было никакого геноцида евреев, которые якобы жили в России (без упоминания о Советском Союзе) до 1955 г., когда они были депортированы в Сибирь и уничтожены. (В действительности же в 1953 г. в Советском Союзе по «Делу врачей» была арестована группа евреев, которые как будто готовили заговор, но дело было закрыто после смерти Сталина.) Литературным вымыслом, изменением истории была скрыта роль части поляков в уничтожении евреев во время Второй мировой войны, а Холокост фашистов передан Сталину, но как правителю не реального Советского Союза, а России. Так Россия является государством, которое уничтожает меньшинства, в том числе поляков и евреев. Действия русских провоцируют появление плана мести, который рождается в слиянии еврейского и польского гнева.

Рассказчика приводит в ярость «Берлинский трактат», который был опубликован в Лиге Наций (ООН не существует, так как она была создана после Второй мировой войны, которой якобы не было) как «межгосударственная лицензия на убийство», «отвратительный документ в человеческой истории»². Россия оккупировала Польшу. На

¹ Назаренко М. Альтернативная история как возможный мир // Слов'янська фантастика. Збірник наукових праць. Київ, 2012. С. 429–439.

² Dukaj J. Xavras Wyzryn i inne fikcje narodowe. Kraków, 2004. S. 13.

Варшаву, Киев и Ленинград сброшены атомные бомбы, но это не привело к поражению России, а вызвало ужасное излучение и, как следствие, генетические изменения и появление массы уродов. У русских нет ядерных бомб, и пока не ясно, на чем основана сила России. Кроме того, не слишком логично, почему разорительные атаки не продолжались до уничтожения других русских городов и капитуляции России.

В европейской зоне военных действий (ESW — Europejska Strefa Wojenna), в надвислянкой республике самым жестоким противником русских является в романе Дукая бывший капитан Красной армии Ксаврас Выжрын (по воле автора родившийся в 1944 г.), который организует партизанско-террористические атаки, изображенные как мифический подвиг всеобщего разрушения во время Армагеддона или Апокалипсиса¹. Ксаврас Выжрын предстает перед миром как новый демон, Ариман мести, Баал атомов, Аластор исторической справедливости². Идея мести за прошлые обиды и страдания рождается из ресентимента, превращая бессильную злобу в активную жажду крови. Такая мотивация в романе получает и метафизическую окраску через мифологическое введение героя в круг проклятых, которые готовы продать свои души ради великой цели. Дукай представляет Ксавраса непримиримым борцом не против Бога, смерти или дьявола, кем были Фауст или Пан Твардовский, а борца против вражеского народа. Ксаврас оправдывает активацию атомной бомбы в Москве, говоря: «Душа за свободу народа». Ксаврас Выжрын отличается кровавыми действиями при вторжении на территорию России. Писатель создает виденье уничтожения России как воплощение польского гения. Атомный взрыв в Москве для Ксавраса Выжрына выглядит как окончательное решение.

В романе после смерти Иосифа Виссарионовича власть над страной получает Сын Магомета. Поэтика личных имен высокопоставленных генералов и чиновников показывает отклонение от реального русского именованья. Выдуманные имена либо сдвинуты к насмешливо-унизительным значениям — Посмертцов, Бабожопцев, либо иронически изображают характер — Серьезный, Крепкин, Костуха, Гумов. Образы всемогущих созданы карикатурно. Кремль изображен как царство чиновников, до которых нельзя добраться. Журналисты в коридорах Кремля могут только собрать какие-то сплетни³.

¹ Idib. S. 24, 43, 53, 130.

² Ibid. S. 130; *Аждахий Д.* Уплетена времена ... С. 420–421.

³ *Dukaj J.* Op. cit. S. 95.

Ненависть поляков к русским, безграничное насилие оправдываются предыдущим насилием противников. Господствует логика террора как старозаветной мести кровь за кровь: «И Ксаврасу нужны такие картинки, нужна кровь невинных детей русского народа — для русских матерей, для матерей и отцов во всем мире»¹. Ксаврас лично садистски издевается над генералом Красной армии Александром Ивановичем Серьезным. Жертву писатель описывает так: «Серьезный был совершенным, потому что обычным и этим самым репрезентативным, представителем российских генералов: среднего роста или чуть ниже, толстяк, шестидесяти с лишком лет, с небольшими темными глазами и скулами лица, открывающими примесь крови жителей зауральских степей». В течение пятнадцати кровавых секунд перед камерой Ксаврас выдергивает ему уши, выкалывает глаза².

Тройной ключ. Ксаврас Выжрын в романе объясняет свои действия страданиями поляков: «...Польша, Польша и Польша, перечислял испытанные беды, представлял невыразимые страдания и потери, подчеркивал множество несправедливости...»³ Против насилия выступает американский журналист Ян Смит, а право на насилие отстаивает Ксаврас, не оставляя шансов бледным аргументам американца. Мировоззрение Ксавраса, по-видимому, опирается на два принципа: на право мести за исторические страдания и на общий принцип вседозволенности в борьбе за национальное правительство, включая преступления против невинных людей. Ксаврас имеет универсальное оправдание, основанное на убеждении, что ни одно государство не построено на принципах справедливости, как и Америка создана уничтожением краснокожих. Ксаврас защищает универсальный закон, дающий право на насилие, ссылаясь на историю о том, что такое право будет предоставлено в будущем: «...ни одно государство — государство, говорю я! — не было создано в соответствии с законом...»⁴ Неудивительно, что два партизана Ксавраса символически имеют имена, которые ясно указывают на индейцев: «Вышла Вторая Лошадь Цвета Огня» и «Море, которое выбрасывает Мертвых».

Яцек Дукай предлагает читателю романа «Ксаврас Выжрын» в финале приложение под названием «Евангелие от св. Еврея»⁵ как еще

¹ Ibid. S. 44.

² Ibid. S. 101–103.

³ Ibid. S. 130.

⁴ Ibid. S. 108.

⁵ Ibid. S. 170–171.

один ключ для переоценки рассказанного. Автор в этой главе сообщает, что стихи, которыми начинается роман, принадлежат Збигневу Херберту, но не приводит название известной песни «Przesłanie Pana Cogito», которым оспаривается право прощать согрешения во имя пострадавших¹. Автор также ссылается на слова американского дипломата Барнса, провозглашенные на пресс-конференции Госдепартамента 8 августа 1996 г., которыми тот побуждает читателя познакомиться с романом, заменив поляков чеченцами, а Польскую надвислянскую республику — Чечней. Маловероятно, что Дукай переделывал чеченские реалии в польские, потому что произведение проникнуто польскими реалиями и намеками на русско-польские конфликты. Неожиданные словосочетания, такие как «католический аятолла», «черный джихад», отчасти намекают в тексте на такие связи. Слова Барнса как ключ к пониманию романа представляют русскую политику как универсальное зло, которое касается не только поляков, но и других народов, таких как чеченцы. Заявление американского высокопоставленного дипломата могло на фоне текущих событий в Чечне дать стимул Дукаю в ходе создания произведения к развитию темы превосходства западных интересов над этикой. Этому находятся подтверждения в тексте романа там, где приводятся заявления Запада и Соединенных Штатов по поводу боевых действий в европейской части России, представляющие проблемы русских и поляков как русские проблемы.

Опасная игра обобщения польско-чеченского переосмысления мощного взрыва в Москве может быть воспринята и как вымышленная поддержка плана такого акта польским автором. Ненависть к русским в описании якобы ретроактивно понятой чечено-русской войны в контексте сегодняшнего провозглашения Бориса Ельцина дальновидным либеральным политиком представляется странной. Если вспомнить оппозицию ангелизации поляков и сатанизации русских², то в романе «Ксаврас Выжрын» можно говорить больше о сатанизации.

Ошибочно автором не берутся во внимание провалы идеологии и экономической системы, приведшие к упадку политической системы, а поражение России (не СССР) рассматривается как победа мести гения Польши, обретающей свободу. В ситуации, когда конфликт между Россией и Польшей переведен на менее напряженные экономические конфликты вокруг торговых квот, огненные и свирепые войны

¹ Ibid. S. 171.

² Janion M. Op. cit. S. 193.

на уничтожение в художественных произведениях середины 1990-х гг. кажутся чем-то определенно чрезмерным. Но послание романа остается: гуманизм — пустая болтовня, которая не изменит мир.

Слова Александра Эткинда о магическом реализме в современной русской литературе могут быть применены и к роману Дукая: «Как посттравматическое сознание, посткатастрофическая культура постоянно возвращается к болезненным событиям прошлого»¹.

Идеологические факторы в романе Дукая не важны. Изменение реальных исторических событий направлено на увеличение этнической составляющей. Идеологические прогнозы писателя только усиливают этноконфессиональные конфликты и чрезмерные страдания. Параллелизм между русскими и поляками, русскими и чеченцами, американцами и индейцами важен как вмешательство писателя в альтернативно-историческое создание иного мира, в котором тройной этнический ключ оправдывает роль насилия.

¹ Эткинд А. Магический историзм. От романов к non-fiction // Информационно-аналитический портал Polit.ua. 31.03.2011. URL: www.polit.ua/analitika/2011/03/31/etkind.html (дата обращения: 25.05.2014).

Михал Косак

ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ ТЕКСТОЛОГИИ НА ЧЕШСКУЮ ИЗДАТЕЛЬСКУЮ ПРАКТИКУ

Борис Эйхенбаум в одном из своих исследований, посвященных проблематике перевода, отметил, что «иностраный автор преобразовывается и дает [литературе, для которой делается перевод] не то, что у него вообще есть, а то, что от него требуют»¹. Таким образом был сформулирован один из способов контакта между культурами, имеющий место и в нашем случае: при восприятии русской текстологии текстологией новочешской. Можно добавить и следующее: помимо не очень частой скоординированной адаптации или акцептации происходят различно мотивированные синхронные процессы, а также намеренные смещения, например в полемике, и ненамеренные, вызванные незнанием первоначального контекста, поэтому чешские пересечения с русской текстологией иногда приводят к недоразумениям. Русская текстология является также фильтром, например, для некоторых английских тексто-критических сведений, а в последние годы — для французской генетической критики².

Влияние русской текстологии начинает у нас набирать силу после 1947 г., когда чешская текстуальная критика под влиянием русской принимает и название дисциплины Томашевского³ — текстология⁴. До

¹ Эйхенбаум Б.М. Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки. Л., 1924. С. 28.

² См., напр.: Проблемы текстологии и эдиционной практики: Опыт французских и российских исследователей. М., 2003; Французская генетическая критика: Антология. М., 1999.

³ Томашевский Б.В. Писатель и книга. Очерк текстологии. Л., 1928. 2-е изд. — М., 1959.

⁴ В словацком контексте термин текстология появляется уже несколько раньше,

этого времени она ссылалась прежде всего на немецкую текстуальную критику, главным образом на классические работы, например Георга Витковского¹ и Паула Мааса². Причем, естественно, интерпретации с самого начала разнятся. Анализируя текстологию Томашевского, некоторые чешские исследователи по названию делают вывод, что в случае текстологии речь идет наконец-то о самостоятельной научной дисциплине, другие доказывают, что Томашевский сам не считает текстологию наукой, что он понимает ее как вспомогательную или, скорее, как техническую дисциплину. Все это происходит, конечно, без учета исторического контекста работы Томашевского «Писатель и книга»: за бортом остаются труды Гофмана, Винокура, Бонди, Пиксанова³ и др.

Общественные перемены после 1948 г. приносят, в частности, централизацию издательской практики по русскому образцу. В этой связи цитируются труды того времени, например, Д.Д. Благого и Г.П. Макогоненко⁴, которые настаивали на жесткой организации и командном характере издательской работы, на так называемом объективном характере текстологии, в методике — на многоуровневой проверке текста и на статусе издательской работы как профессиональной деятельности. Некоторые из приведенных требований присутствовали и в истории чешской издательской практики, это касается прежде всего стремления минимизировать произвольное вмешательство в редактируемый текст, связанного с необходимостью представления широкой читательской общественности непосредственного и неосложненного набора ценностей. В соответствии с русской издательской практикой компетентным издателем является только специалист.

Полемика в «Литературной газете»⁵, которая велась около 1952 г., касалась типов изданий и оказала в Чехословакии сильное влияние, она принималась как своего рода инструкция по организации издательской деятельности и отвечала тенденциям, проявлявшимся у нас

в 1943 г. (ср.: *Bakoš M. Problémy sociologie literatúry // Schücking L.L. Sociologia literárneho vkusu. Trnava, 1943. S. 5–12*).

¹ *Witkowski G. Textkritik und Editionstechnik neuerer Schriftwerke. Leipzig, 1924.*

² *Maas P. Textkritik // Einleitung in die Altertumswissenschaft. Berlin, 1927.*

³ *Гофман М.Л. Пушкин. Первая глава науки о Пушкине. Пб., 1922; Бонди С.М. Черновики Пушкина. Статьи 1930–1970 гг. М., 1971; Винокур Г.О. Критика поэтического текста. М., 1927; Пиксанов Н.К. Новый путь литературной науки. Изучение творческой истории шедевра (принципы и методы) // Искусство. № 1. 1923. С. 94–113.*

⁴ См. на словац. яз.: *Slovenská literatúra. R. 1. № 3. 1954. S. 304–322.*

⁵ *Благой Д.Д., Макогоненко Г.П., Мейлах Б.С. За образцовое издание классиков // Литературная газета. 1952. № 85, 15 июля. С. 3.*

в профессиональных кругах уже в период протектората и еще сильнее — в послевоенный период. Одновременно эти споры определяли функции текстологии, а именно — обеспечить стабильное и качественное издание для широкой читательской общественности. «Вопрос о правильности текстов классиков не есть частное дело специалистов, — по словам уже упомянутого Д.Д. Благого, — это ответственнейшее дело государственной важности»¹.

Русский след мы можем особенно отчетливо проследить в издательской практике Национальной библиотеки Чехии. Так же как и в России, у нас популярное издание должно опираться на академическое. Основные характеристики чешской текстологической практики в 1950-е гг. восходят к часто цитируемому² в текстологических статьях пассажию из письма В.И. Ленина, в котором в 1898 г. он пишет домой: «Если только Тургенев будет издан сносно (т. е. без извращений, пропусков, грубых опечаток), тогда вполне стоит выписать»³. Таким образом, предлагается издание, очищенное от влияния цензуры прошлого, которое в других местах парадоксально затронуто цензурой современной.

С 1960-х гг. акценты смещаются, влияние на организацию издательской работы в чешской среде релятивизируется специфичностью малой литературы, а также сознанием несколько иначе структурированной читательской общественности. Однако с помощью русской текстологии чешская приходит к актуальным исследованиям методов установления авторства и знакомится с детальными исследованиями цензуры и автоцензуры. Особое внимание у нас уделяется термину «канонический текст», где чешские, главным образом пражские, исследователи воспринимают его не как релятивизирующее понятие Томашевского, а как средство нормирования данного участка издательской работы.

В то время из России приходят очень разноречивые с точки зрения региональной текстологии новости. Тенденция, представленная в учебном пособии «Основы текстологии» (М., 1962), редактором которого была В.С. Нечаева, ознаменована в чешской среде стремлением нормировать издательский подход, дать профессиональному сообществу практическое пособие. Вторая тенденция представлена в трудах того времени Д.С. Лихачева: «Текстология. На материале русской литературы

¹ Там же.

² *Vodička F. Naše zkušenost s vydáváním klasiků české literatury // Česká literatura. R. 4. Č. 1. 11.03.1956. S. 24.*

³ *Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 55. М., 1967. С. 80.*

X–XVII веков» (М., 1962) и «Текстология. Краткий очерк» (М.–Л., 1964), которые тогда, к сожалению, безуспешно пытались перевести на чешский язык. Работы Лихачева вновь вносят в чешскую среду некоторые акценты, которые в ней уже были раньше — например, упор на знание всей истории текста как основной методологический подход текстологии. Еще более важным, конечно, является то, что работы Лихачева у нас ставят под сомнение благотворность коллективного характера текстологической работы и подчеркивают по примеру тогдашних немецких исследователей то, что каждое издание несет печать индивидуального текстологического подхода и что эта работа издателя должна быть в издании ясно различима. Его труды помогают также дестабилизировать понятие так называемого канонического текста. Проявилось это на заседании издательско-текстологической комиссии в 1965 г.¹, когда именно в докладе Д.С. Лихачева² были высказаны основные замечания к так называемой канонизации текста и выбору исходного текста, при которых происходит манипуляция так называемой творческой волей автора. Таким образом, в отличие от прошлых лет был подчеркнут необъективный характер работы издателя. У нас он со значительным опозданием получил резонанс только в конце 1980-х, а потом еще сильнее — в 1990-х гг. Заседание издательско-текстологической комиссии в Праге, которое вел Конрад Гурский и активными участниками которого стали Феликс Водичка и Д.С. Лихачев, было пиком чешско-русского текстологического взаимовлияния, но, к сожалению, сразу после 1989 г. оно полностью свелось на нет.

В период с 1960 по 1967 г. чешская текстология формируется под влиянием конфликтов по поводу способа издания «Силезских песен» Петра Безруча, наглядно демонстрирующих адаптацию русских текстологических принципов для потребностей полемики. Олдржих Кралик³, полемизирующий с Феликсом Водичкой, Мирославом Червенкой и др., тогда, например, ссылается на работы русского текстолога Л.Д. Опульской⁴ и рассуждает о случаях, когда невозможно перепечатать

¹ См.: *Česká literatura*. R. 14. 1966. Č. 1. S. 1–64.

² *Lichačev D.S. Úloha estetického hodnocení při přípravě kanonického textu literárního díla. Česká literatura*. R. 14. 1966. Č. 1. S. 12–20; на рус. яз.: *Лихачев Д.С. Роль эстетической оценки при выработке канонического текста литературного произведения // Лихачев Д.С. Текстология. На материале русской литературы X–XVII веков*. СПб., 2001. С. 644–653.

³ *Králík O. O podobu Slezských písní (18.10.1960, фонд насл. О. Кралика в Литературном архиве Памятника национальной письменности)*.

⁴ *Опульская Л.Д. Эволюция мировоззрения автора и проблема выбора текста // Вопросы текстологии*. М., 1957. С. 89–134.

издание «последней руки» и когда необходимо отойти от данного принципа. По мнению О. Кралика, в тех ситуациях, когда Безруч менял свой текст, нужно, согласно принципу русской текстологии — как, например, в случае Гоголя (переработка «Ревизора» от 1846 г.), романа Куприна «Поединок» и некоторых работ Успенского, — выбирать более позднее издание. Впрочем, Опульская в своей работе допускает только эти три упомянутых примера. В остальных же она склоняется к изданию согласно критериям «последней руки». В данной полемике мы также встречаемся с тем, что Кралик, Водичка и Скршечек ссылаются на одни и те же русские текстологические работы, однако читают они их каждый со своей точки зрения и делают заключения исходя из своей практики, создавая образ русской текстологии общими фразами типа: «русские исследователи в таких случаях поступают крайне осторожно»¹.

Чешско-русские текстологические связи имеют, однако, еще один аспект, который возвращает нас к началу нашей статьи, к вопросу о том, что такое текстология, или какой она должна быть. Является ли она неделимой научной дисциплиной, несмотря на все отличия, оставаясь общей для древней литературы, литературы средневековья и новочешской литературы, может ли она быть общей для разных литератур, чешской и русской, или преобладает стремление ее разделить. Конечно же, при отсутствии общего текстологического пространства для дискуссии в настоящее время мы не можем это оценить однозначно.

Итак, речь пойдет о современной ситуации в чешской текстологии². Отход от плана издания книг подарил за последние два десятилетия не только целый ряд замечательных изданий (и изданий очень проблематичных), но и означал также частичный пересмотр ведущих издательских методов начиная с периода после Второй мировой войны. Это происходит благодаря введению нестандартных издательских правил и переосмыслению казалось бы раз и навсегда решенных проблем. В 1989 г. развалилась централизованная модель производства книг и настал принципиальный перелом в текстологии, которая ввиду своей функциональности является все-таки технологической дисциплиной, другими словами — предназначена для издательской практики.

¹ *Skřeček R.* Nechci opakovat... // Konference o textu Slezských písní v Opavě 10. a 11. září 1963. Opava, 1964. S. 114–116.

² См. также: *Špirit M.* Textologie dnes? // Česká literatura. R. 57. 2009. Č. 2, duben. S. 221–231.

Однако разница между современной ситуацией и состоянием текстологии до 1989 г., естественно, не означает перехода к полностью новой парадигме. И концепция послереволюционных издателей резонирует с некоторыми требованиями, которых придерживались их предшественники, например с требованием *критической* редакторской работы, начинающейся с исследования всей истории текста. В то же время, однако, их концепция обусловлена и сегодняшней свободой в издательской работе в отношении выбора исходного текста, языковой подготовки, фактически несуществующего разграничения идентичных по языку типов изданий (популярных и научных), изменений в понимании функции издателя и возможностей электронных изданий. Однако принципиальное влияние на это оказывает и то, как оценивается работа издателя в спектре научной деятельности. Современные издательские возможности, совокупно определяющие сегодняшнее понимание текстологии, с точки зрения финансирования и оценки результатов издательской работы для развития текстологии не слишком подходят. К сожалению, из поля зрения ушло то, что каждое профессионально подготовленное издание не только создает предпосылки для следующей научной работы, для частичного анализа отдельных литературных произведений, для монографической оценки личностей, которые лишь потом ведут к литературно-историческому синтезу, но и для издательской интерпретации произведения: благодаря оценке издателя такое издание создает свой образ автора, свой вариант его интерпретации.

Если стандартом официально публикуемых изданий было подогнать правописание под актуальную кодификацию, то самиздат, а с 1990-х гг. и абсолютно легальные критические по концепции издания сохраняют первоначальное правописание. (Орфографический уровень текста мог быть при этом сохранен со ссылкой на неоднозначные орфографические нормы, которые после серии дискуссий были установлены в 1993 г. в виде множества вариантов, позволяющих свободно выбирать написание согласно старым нормам.) Сторонники методов издательского «невмешательства» ссылаются, во-первых, на понятие аутентичной издательской практики неизменного текста. Его очевидную чужеродность не нужно, по их мнению, скрывать от читателя, наоборот, их цель — показать ее. В некоторых случаях также ссылаются на смысловой уровень, который может быть задан орфографической актуализацией.

Старшее поколение издателей, например Мирослав Червенка или Моймир Отруба, предлагает в такой ситуации хотя бы избавиться

издаваемый текст от разночтений и исправить его так, чтобы к отдельным явлениям был одинаковый подход. Некоторые же представители младшего поколения издателей, наоборот, ставят акцент на самих явлениях правописания, например не исправляют характерное для того времени написание иностранных слов (английское *spleen*), и ссылаются на то, что унифицированная языковая обработка делает текст безжизненным. Кроме того, более старые правила были рассчитаны прежде всего на классические литературные тексты, однако после 1989 г. в литературу входят жанры, до того времени издававшиеся крайне мало — например, дневники, корреспонденция или мемуары, и новые издатели не хотят стирать их аутентичность. Последняя понимается значительно шире и имеет не только нравственную, но и эстетическую коннотацию, и охватывает также такие явления, как опечатки или незнание норм правописания.

Издательский метод невмешательства не является, однако, полностью унифицированным направлением издательской практики. Помимо методов, оберегающих орфографический уровень текста и все же критично пересматривающих издаваемый текст, выкристаллизовывается также издательский подход, при котором издатель принципиально не вмешивается в текст даже в случае таких нарушений, как ошибки печати, не возвращает первоначальную редакцию, не затронутую цензурой и автоцензурой. Аргументируя такую детальность аутентичности, издатели ссылаются на первоначальные исторические ценности: при вмешательстве издателя, меняющем задуманную автором форму произведения, по их мнению, издаваемый текст потерял бы свою историческую идентичность. Далее, по мнению этих издателей, при устранении неинтенционального характера из текста исключается, естественно, и его «социальное» наполнение. Тексты, таким образом, уже не были бы итогом целого ряда редакционных и иных операций, которые естественным образом участвуют в его возникновении, а значит, и формируют его историческую идентичность. Некоторые аргументы, близкие к обоснованию «невмешательской» языковой подготовки, которые защищал в России, например, Максим Шاپир, а также подход, предусматривающий сохранение первоначальной орфографии, подняли у нас бурную полемику между старшим поколением редакторов и издателями, которые свои первые издания выпустили после 1989 г.¹

¹ Červenka M. Písmo Rudolfu Havlovi o jednom způsobu publikace variant // Červenka M. Textologické studie. Praha, 1981/2009. S. 193–198.

С другой стороны, появляется ряд изданий, в которых издатели повторно актуализируют концепцию издания как своего рода перевод. Их вмешательство в издаваемый текст является более радикальным, оно стремится вернуть прежде всего эстетическую ценность текста. Следующая группа — факсимильные издания, которые в послевоенный период сильно осуждались. Таким образом диверсифицируется спектр видов изданий и теряются ранее установленные связи. Новые критические издания не являются уже источником текста для редакторов популярных изданий. Нужно добавить, что у некоторых изданий, наоборот, с появлением такого ранжира возникает возможность создания, например, так называемого критического гибридного издания¹, концепция которого была разработана в Институте чешской литературы и включает в себя первое научное электронное издание на DVD, состоящее, помимо редактируемого и комментируемого текста, из самостоятельного факсимильного издания всех рукописей и второго книжного популярного издания без широкого обзора вариантов.

С появлением текстологической свободы критического издания современные издатели уходят от метода «последней руки». Уже с 1960-х гг. у чехов появляются издания, которые, ссылаясь на проблемы текстового развития, выбирают более старую форму текста. Некоторые издатели принципиально склоняются к первому изданию только в 1990-е гг. Помимо издания «Сочинений» Ярослава Сейферта (изд. «Akropolis», 2001–2015/?/), которое разнится в индивидуальных характеристиках издаваемых текстов от первых до более поздних, появляется электронное издание «Чешская электронная библиотека» (www.ceska-poezie.cz). В этой полной библиотеке поэзии XIX — начала XX в. издатели приняли принципиальное решение в пользу первого издания. Они посчитали, что для целей анализа мотивов и языка издание текстов должно быть именно по методу «первой руки», что позволяет минимизировать искажения результатов исследования. Впрочем, в стремлении соответствовать и остальным требованиям издательской практики они должны были компенсировать данную односторонность включением сильно переделанных более поздних публикаций или скорее критических по концепции изданий. Так, например, «Силезские песни» Петра Безруча, текст которых претерпел серьезные изменения, в электронном варианте доступны в форме первого

¹ См.: *Kritická hybridní edice. Edice díla Františka Gellnera a Karla Hlaváčka // Česká literatura. R. 57. 2009. Č. 2, duben. S. 266–275.*

издания журнального (1903) и книжного (1909), издания «последней руки» (1957), в рукописной форме и, наконец, согласно двум разным по концепции критическим изданиям (1967) — т. е. в шести различных формах.

Мирослав Червенка, известный стиховед и текстолог, во время полемики об орфографической подготовке текста советовал своим младшим коллегам соответствовать более высокому уровню текстологического исследования, например, в вопросах версий и вариантов¹. Они могли исходить из введенных и разработанных Червенкой синоптических подходов к вариантному материалу², которые в период своего возникновения отсылали к концепции Б.В. Томашевского в его труде «Писатель и книга» и к его интерпретационным результатам. Впрочем, и на этом поле происходит переоценка. Если для Червенки текстовые границы между отдельными версиями были ясно очерчены, то его концепция, наоборот, была сосредоточена прежде всего на главной линии текстового развития, часто обходя варианты, которые нельзя было интегрировать в линию развития. С 1980-х гг., таким образом, текстологический взгляд на варианты уходит чем дальше, тем больше от понимания текста как размытого множества или так называемого «текущего текста». В обоих случаях данные концепции учитывают по-разному организованные системы знаний, традиции французской генетической критики и концепции, связанной с именами американских текстовых критиков Джерома МакГанна, Петера Шиллинбурга и Джона Брианта. Подчеркиваются скорее связи, которые нельзя выстроить на одной линии и нельзя перевести в сложный текстово-критический аппарат. Идеалом становится самостоятельное интерпретационное исследование, которое стремится соединить знания, связанные с развитием текста, с выводами, полученными на основе анализа иных текстовых слоев и литературной истории. В итоге местные текстологи возвращаются к концепциям, пересматривающим структуральный подход, о чем говорится, например, в работах уже упомянутого О. Кралика.

Таким образом, в чешской издательской практике появилось несколько вновь принятых типов изданий, а также типов издателей согласно тому, с какой позиции они подходят к своей издательской задаче. Это обусловлено и вопросом, к какому читателю они обращаются.

¹ Červenka M. Dvě otázky a dvě teze k textologické diskusi // Česká literatura. R. 46. 1998. Č. 4. S. 439–443; также в: Červenka M. Textologické studie. Praha, 1998. S. 241–247.

² Červenka M. Dvě otázky a dvě teze k textologické diskusi.

Индивидуальные характеристики текста на этом поле могут проявиться лучше. Возникает намного более разнообразное издательское поле, где часто имеет место наложение, гармония или, наоборот, противоположность отдельных издательских действий и стратегий. Именно разграничение отдельных позиций позволяет обозначить способы их формирования, а также некоторые сегодняшние задачи практической текстологии.

Ондржей Сладек

ЯН МУКАРЖОВСКИЙ И РОМАН ЯКОБСОН*

Теснейшая дружба связывала Якобсона с Яном Мукаржовским; поэт Витезслав Незвал, характеризуя творческие отношения этих двух людей, лингвиста и эстетика, использовал броский бретоновский термин «сообщающиеся сосуды».

(Кветослав Хватик)¹

Оценивать научные труды Яна Мукаржовского (1891–1975) и Романа Осиповича Якобсона (1896–1982) независимо друг от друга, т. е. игнорируя контекст, в котором эти труды возникали, разумеется, возможно. Однако только с учетом контекста, его разнообразных форм и динамики можно осознать истинное значение (или смысл) и масштаб их наследия. В историю чешской литературы они вошли благодаря изысканиям, посвященным чешскому стихосложению. Все остальные работы возникали в логической связи с этими статьями и в рамках запланированных и совместно осуществленных исследований языка и литературы.

Точно определить, где и когда Ян Мукаржовский впервые встретился с Романом Якобсоном, мы, к сожалению, не сможем. Известно

* Очерк подготовлен в рамках гранта ГА ЧР «Ян Мукаржовский: жизнь, труды, отзывы»; № GA ČR P406/10/1911.

¹ Chvatík K. Jan Mukařovský, Roman Jakobson a Pražský lingvistický kroužek // Melancholie a vzdor. Eseje o moderní české literatuře. Praha, 1992. С. 75–96 [94].

лишь, что в сентябре 1920 г. произошло знакомство Р. Якобсона с Вилемом Матезиусом, ставшим позднее председателем Пражского лингвистического кружка. С марта 1925 г. Якобсон принимал участие в регулярных заседаниях пражских и зарубежных лингвистов, которые организовывал Матезиус, и которые позднее породили потребность основать научное объединение. Так и произошло: в октябре 1926 г. был основан Пражский лингвистический кружок. Имя Яна Мукаржовского впервые упоминается в протоколе третьего заседания кружка, которое произошло 2 декабря 1926 г. Из-за отсутствия других документов именно эту дату можно считать (письменно подтвержденным) днем первой встречи Яна Мукаржовского и Романа Якобсона.

Совершенно очевидно, что оба были хорошо знакомы с трудами друг друга, особенно с теми, которые касались стихосложения. Роман Якобсон в первой половине 1926 г. издал книгу «Основы чешского стиха»¹, где он делает ссылку на статью Яна Мукаржовского, связанную с этой проблематикой, а конкретно — его рецензию на книгу Йозефа Краля «О чешском стихосложении» («O prosodii české», 1923)². Мукаржовский в свою очередь в июне 1926 г. публикует в журнале «Наша речь» («Naše řeč») обширную рецензию на вышеупомянутую книгу Якобсона о чешском стихе³. Мукаржовский в своей рецензии сначала подробно изложил взгляды Якобсона на отношения между языком и системой стихосложения, а далее подверг их суровой критике. Позднее Мукаржовский смягчил свои критические суждения об этой книге Р. Якобсона⁴, стал довольно часто ее цитировать и на нее ссылаться.

Мукаржовский и Якобсон выступили с докладами в Пражском лингвистическом кружке уже в первой половине 1927 г.: 13 января состоялся доклад Якобсона «Понятие фонетического закона и телеологический принцип» («Pojem hláskoslovného zákona a princip teleologický»), в котором он полемизировал с некоторыми суждениями Ф. де Соссюра; Мукаржовский выступил с докладом «О моторическом действии в поэзии» («O motorickém dění v poezii») три месяца спустя, 7 апреля. С той поры Мукаржовский стал интенсивно интересоваться

¹ *Jakobson R. Základy českého verše. Praha, 1926. S. 4.*

² См.: *Mukařovský J. Poznámky ke Králově Prozodii české // Časopis pro moderní filologii. 1924. № 1. S. 7–13.*

³ *Mukařovský J. Základy českého verše // Naše řeč. 1926. № 6. S. 174–180.*

⁴ *Mukařovský J. Obecné zásady a vývoj novočeského verše // Československá vlastivěda. Díl III. Jazyk. Praha, 1934. S. 376–429.*

русским формализмом, сильно повлиявшем на его работу «“Май” Махи. Исследование эстетики» («Máchův Máj. Estetická studie», 1928), за которую ему присудили звание доцента.

Можно было бы подвести некоторые итоги как его анализа концепций русских формалистов, так и дружеских контактов с Якобсоном. В первую очередь следует упомянуть об их совместной работе в комиссии по подготовке известных «Тезисов Пражского лингвистического кружка», представленных на Первом съезде славистов в Праге в 1929 г. Кроме того, Мукаржовский и Якобсон прочли и опубликовали свои доклады, посвященные 80-летию со дня рождения Т.Г. Масарика¹. Оба занимались совместными исследованиями проблем пуризма в контексте чешской речевой культуры, участвовали в международной фонологической конференции, которая прошла в Амстердаме в 1932 г., и т. д.

Сходные темы исследований, страстное увлечение наукой, поиски новых подходов к языку, литературе и культуре в целом — все это связывало Я. Мукаржовского и Р. Якобсона, заложив основы их очень искренней и крепкой дружбы. В этот узкий круг ближайших друзей входил и лингвист Богуслав Гавранек (1893–1978). Именно Гавранеку принадлежала идея перебраться всем троим в Брно и преподавать там на философском факультете университета Масарика. Как известно, Якобсон и Гавранек действительно стали жить и работать в Брно: Якобсон в 1933–1939 гг., Гавранек в 1929–1945 гг. Однако Мукаржовскому это не удалось. В 1930–1937 гг. он читал лекции в Братиславе, в университете Коменского, а в Брно только останавливался по дороге туда и обратно.

Творческое сотрудничество Мукаржовского и Якобсона с определенной точки зрения завершилось в 1934 г., когда был издан третий том «Чехословацкого краеведения» («Československá vlastivěda»), посвященный языковым проблемам. Они опубликовали здесь две главы по истории чешского стиха, причем Мукаржовский сосредоточился на общих принципах и развитии стиха современного, а Якобсон — на стихе древнечешском². Хотя они работали над своими статьями самостоятельно, эти тексты дополняли друг друга, а авторов связывало нечто большее, чем единство взглядов. Особенность глав отметил еще один из первых рецензентов этой книги — Рене Велек, который увидел в них демонстрацию новых подходов к истории чешской литературы:

¹ Mukařovský J., Jakobson R. Masaryk a řeč. Praha, 1931.

² Mukařovský J. Obecné zásady a vývoj novočeského verše // Československá vlastivěda. Díl III. S. 376–429; Jakobson R. Verš staročeský // Československá vlastivěda. Díl III. S. 429–459.

Авторы впервые представили здесь не только историю чешского стиха, написанную с новых позиций, но и образчик новой литературной истории, показав, как бы могла выглядеть новая история чешской литературы. <...> Революционный поступок Мукаржовского и Якобсона можно по достоинству оценить лишь на фоне до сих пор создававшейся чешской литературной истории¹.

Хотя Велек не во всем соглашался с их взглядами, его положительная оценка подтверждает, что крепкая дружба между Мукаржовским и Якобсоном оказывала большое влияние на конкретные результаты их исследований.

Интересно отметить, как Мукаржовский и Якобсон оценивали друг друга. Оставим в стороне их относительно частые ссылки на работы и статьи друг друга, касавшиеся прежде всего стихосложения. Ян Мукаржовский, например, в интервью для журнала «Rozpravu Aventinum» (1932) говорит о Романа Якобсоне следующее: «В первую очередь я хотел бы подчеркнуть значение той помощи, которую оказал методологии чешского литературоведения Роман Якобсон, один из основателей ОПОЯЗа, русского объединения, заложившего коллективными усилиями основы новой науки о литературе...»² В сущности то же самое он повторил через три года в статье «Взаимоотношения советского и чехословацкого литературоведения»³.

Но и Якобсон не оказался по части комплиментов в долгу у Яна Мукаржовского. В брненской лекции 1935 г. «Формальная школа и современная русская наука» он сказал:

В чехословацком литературоведении мы наблюдаем множество явлений, связь которых с русской формальной школой бесспорна. Деятельность ПЛК (Пражского лингвистического кружка. — *О.С.*) на nive литературоведения (во всяком случае, первый ее этап) тесно связана с принципами этой школы, в особенности очевидна близость трудам русских формалистов значительных работ Мукаржовского о Махе, Главачеке, Тесере, хотя его научное творчество чем далее, тем более

¹ Wellek R. «Dějiny českého verše» a metody literární historie // Listy pro umění a kritiku. 1934. S. 437–445 [437].

² Mukařovský J., Novák B. Rozhovor s Janem Mukařovským // Rozpravy Aventina. 1932. № 28. S. 225–226 [226].

³ Mukařovský J. Vztah mezi sovětskou a československou literární vědou // Země sovětů. 1935. № 1. S. 10–15.

приобретает характерный, оригинальный оттенок и отчасти преодолевает, отчасти с большим успехом развивает теоретические постулаты русских образов, на которые он опирался¹.

Из этого примера видно, как высоко Якобсон оценивал Яна Мукаржовского и его научные труды.

Еще в середине 1930-х гг. казалось, что тройка друзей — Гавранек, Мукаржовский, Якобсон — неразлучна как в научной деятельности, так и в личных взаимоотношениях. Однако исторические и политические события 1938–1939 гг. изменили ситуацию. В апреле 1939 г. Роман Якобсон покидает Чехословакию и через Данию, Норвегию, Швецию эмигрирует вместе с женой в Соединенные Штаты Америки. Связь между исследователями была на несколько лет прервана. Первые приветственные телеграммы они отправили друг другу только в июне 1945 г. Однако обстоятельства жизни Якобсона в США, а Мукаржовского и Гавранека в Чехословакии существенно различались.

В то время как Якобсон с 1941 г. продолжал свою научную работу (прежде всего в области лингвистики) в свободной академической среде американских университетов Нью-Йорка (особенно *Faculté des Lettres, École Libre des Hautes Études; Institut de Philologie et d'Histoire Orientale et Slave*), Мукаржовский и Гавранек во время Второй мировой войны не имели возможности активно заниматься научной деятельностью. В письме Роману Якобсону от 4 августа 1945 г. Богуслав Гавранек пишет о своей сложной ситуации следующее:

Милый мой приятель и друг, очень трудно писать первое письмо после такого большого перерыва и коротко охарактеризовать прошлое и настоящее. Общее впечатление: можно только радоваться, что мы оба здесь, Здена и я, и — что почти невероятно — приступаем к работе <...> Во время войны все мы трудились, пока это удавалось, разумеется, чем дальше, тем меньше...²

Словосочетание «приступаем к работе» очень важное, потому что Гавранек имеет в виду работу прежде всего в вузах и университетах Брно и Праги. В письме Якобсону Гавранек упоминает, что они

¹ Якобсон Р. О. Формальная школа и современное русское литературоведение. М., 2011. С. 11.

² Quadriolog. Bohuslav Havránek. Zdeňka Havránková. Roman Jakobson. Svatava Pírková-Jakobsonová. Vzájemná korespondence 1930–1978 / M. Havránková, J. Toman. Praha, 2001. S. 20.

рассчитывают на его помощь, прямо спрашивает, вернется ли тот и когда. Вот что он пишет: «Ждем встречи с тобой, надеемся, что ты возвратишься в Чехословакию, как только сможешь и как только будут улажены все формальности. Хотелось бы услышать от тебя, что ты, как нам кажется, хочешь вернуться. Ты очень нам нужен»¹. Но Якобсон медлил как с ответом на этот вопрос, так и с возвращением в Чехословакию.

Что касается отношения Мукаржовского к Якобсону, то оно по сути дела не изменилось. Еще в июне 1945 г. Мукаржовский спрашивал в письме к Гавранеку, что с Якобсоном, и не знает ли он, когда тот вернется. В письме от 1 ноября 1945 г. Якобсон со своей стороны призвал Мукаржовского восстановить давнюю дружбу и сотрудничество. Вот его слова:

Дорогой Ян!

Когда до меня доходили скудные сведения о твоих новых публикациях, а особенно, когда летом Клементис передал от тебя привет, мы со Свастей были очень рады, что несмотря на все, что вы пережили, ты продолжаешь творить. Не могу даже сказать, как мы боялись за тебя, за твою семью, за вас всех; как тебя и всех вас мне не хватает, как часто я вспоминаю тебя и как вдалбливаю ученикам твое имя и твои идеи. Впрочем, среди здешних ученых есть твои преданные поклонники. Мечтаю восстановить наше сотрудничество. Напиши о себе, о семье, друзьях. Мы с успехом создали здесь Linguistic Circle of New York (Лингвистический кружок Нью-Йорка) и издаем журнал *Word*. С нетерпением ждем статей от тебя и наших друзей. Я был искренне рад прекрасной книге Бакоша, которую ты мне как-то послал...

Как мало осталось нас, тружеников на ниве чешской культуры и как необходимо держаться нам вместе! Помню, как однажды, 15 лет назад, во время прогулки по Смихову, ты задел меня за душу, сказав, сколько всего еще — ты, Божек и я — должны исследовать и написать.

Задача еще не выполнена.

Твой и ваш, Роман².

¹ Ibid.

² Архив Яна Мукаржовского. Национальный музей чешской письменности. Прага. Письмо Р. Якобсона — цит. по: *Chvatik K. Jan Mukařovský, Roman Jakobson ... S. 96.*

Из косвенных доказательств (прежде всего из писем Б. Гавранека и его жены Здены) известно, что Мукаржовский на это письмо Р. Якобсона отреагировал. Но, к сожалению, ответ не сохранился. Впрочем, с 1947 г. Мукаржовский все чаще и подолгу отмалчивался. З. Гавранкова в письме Якобсонам от 27 мая 1947 г. объясняла это его тяжелой и затяжной болезнью¹.

Определенный «разлад» между Якобсоном и Мукаржовским наступил в 1948 г., когда первый несколько раз просил Мукаржовского вернуть ему рукописи, доверенные тому перед отъездом Якобсона в эмиграцию. Но Мукаржовский не отвечал, не послал ему в ответ ни одного письма. Поскольку Якобсон не мог списаться с Мукаржовским, он попытался прибегнуть к помощи друзей, прежде всего Гавранека. В письме Гавранеку от 6 октября 1948 г. он сообщает:

А теперь о главном: для работы мне необходимы мои рукописи, которые я перед отъездом из Чехословакии в 1939-м доверил Мукаржовскому. Все мои письма с вопросами об их судьбе и с просьбой вернуть их остались без ответа. Окольными путями я узнал, что во время войны он из осторожности передал их Национальному музею <...> Поведение Мукаржовского меня поражает. Когда меня просили позаботиться о чьих-то рукописях, я делал все возможное и невозможное, чтобы их сохранить и вернуть, а он упорно молчит. Во имя нашей старой дружбы, Божек, помоги мне сделать все, чтобы получить свои рукописи².

Надо сказать, что Гавранеку удалось их найти и еще в том же году (т. е. в 1948-м) отослать Якобсону.

Пусть эта размолвка может показаться сейчас чем-то незначительным, в дальнейшем она сыграло решающую роль во взаимоотношениях между Романом Якобсоном и Яном Мукаржовским. Она стала последней каплей, переполнившей чашу терпения Якобсона. Мы можем только догадываться, почему Мукаржовский вдруг замолчал. Совершенно очевидно, что его отношение к Роману Якобсону после 1945 г. изменилось. Их все более редкая переписка в 1948 г. вообще прервалась. Якобсон конечно же замечал перемены в Мукаржовском и реагировал на них. Его расстраивало поведение Мукаржовского, дух сталинизма и антиструктуралистская направленность его научных

¹ См.: *Quadrilog ...*

² *Ibid.* S. 88.

трудов после 1948 г. Своими наблюдениями и впечатлениями Якобсон делился в письмах Гавранеку. Так, 6 декабря 1948 г. он написал: «Журнал “Слово и словесность” я люблю как свое детище, несмотря на все банальности и сенильности Мукаржовского, которые там появляются. Когда читаю все это, ужасаюсь, как быстро человек может деградировать. Ведь столько еще назревших научных проблем стояло и стоит перед нашим поколением. Хотелось бы надеяться, что ни ты, ни я не будем на него похожи»¹.

Однако Якобсон едва ли мог представить, насколько сильно изменилась в Чехословакии политическая и культурная ситуация, а также ситуация в области науки с наступлением коммунистов в 1948 г. Возможность встретиться и объяснить все недоразумения и коммуникационную «шумиху» появлялась у Якобсона и Мукаржовского в 1957, 1968 и 1969 гг., когда первый принимал участие в международных конференциях в Праге.

Как же дальше развивались их отношения? К сожалению, никакими документами на этот счет мы не располагаем. На основе косвенных доказательств — их взаимных цитирований и ссылок в литературе — можно предположить, что свою дружбу они сохранили, пусть и в минимальной степени, в духе коллегиальности и научного признания друг друга. До конца жизни они оставались друзьями, хотя понимали эти отношения, существенно отличавшиеся от их дружбы в 1930-х гг., по-разному.

Последний документ, подтверждающий сохранение дружбы между двумя исследователями, это поздравительная телеграмма, которую Якобсон отправил в ноябре 1971 г. Мукаржовскому в связи с его восьмидесятилетием. Вот ее содержание:

Přeji drahému příteli a světovému badateli všecko nejkrásnější. Roman.

Желаю дорогому другу и ученому мирового уровня всего самого хорошего. Роман².

¹ Ibid. S. 90.

² Архив Яна Мукаржовского. Национальный музей чешской письменности.

С.А. Шерлаимова

О РУССКОМ В РОМАНАХ ИРЖИ КРАТОХВИЛА

В послевоенной чешской литературе русская тема наиболее отчетливо заявила о себе в первые годы после освобождения Чехословакии, когда, особенно в поэзии (Витезслав Незвал, Франтишек Грубин, Владимир Голан, Йозеф Кайнар и многие другие) громко и радостно звучали слова искренней благодарности Советскому Союзу, Красной армии, советским солдатам за вновь обретенную свободу. И в прозе первых послевоенных лет (Ян Дрда, Мария Пуйманова, Иржи Марек, Вацлав Ржезач и другие) борьба с фашизмом, пражское восстание в мае 1945 г., приход советских войск, освоение западных пограничных областей, из которых по декрету президента Бенеша были выселены немцы, описывались в героическом победном духе, с четким разделением на «своих», готовых преодолеть и преодолевающим любые препятствия, и врагов, неизменно терпящих поражение. На дальнейшем развитии этой тематики в полной мере отразилась сложная драматическая история Чехии после Второй мировой войны с ее достижениями и провалами, размахом строительства и жестокими репрессиями, вольным духом «Пражской весны» и новым приходом 21 августа 1968 г. советских танков: уже не как освободителей, а как оккупантов братской славянской страны.

Чешская литература на всем протяжении второй половины XX в. только поверхностному взгляду могла казаться абсолютно единой. Даже в «шоковый период» после февраля 1948 г., когда коммунистическое руководство страны требовало полного подчинения писателей

догматам социалистического реализма, отдельными талантливыми авторами были созданы оригинальные произведения, подспудно продолжали существовать отличные от соцреалистического мейнстрима литературные течения. Выход в свет романа Йозефа Шкворецкого «Малодушные» (1958) стал своего рода рубежом в художественной трактовке освобождения Чехословакии. Тогдашняя критика жестоко раскритиковала роман за изображение майских дней 1945 г. без привычного для этой темы пафоса, за комический акцент в образе советских солдат и советского генерала, за языковые вольности, но, несмотря на строгую проработку автора и наказание издателей книги, после появления «Малодушных» писать о том времени стали гораздо свободнее, особенно по мере подъема демократического движения 60-х гг. Тем более это относится к эпохе «нормализации» после разгрома «Пражской весны», когда кроме официальной литературы, поддерживавшей гусаковский режим, сформировалась литература альтернативная, создававшаяся диссидентами и самой большой во всей истории Чехии литературной эмиграцией.

«Бархатная революция» ноября 1989 г. при всех ее национальных корнях и особенностях назревала под непосредственным воздействием перестройки в СССР, что отразилось на отчасти двойственном характере раскрытия в посленоябрьской художественной литературе русской темы. Если в литературе эмиграции выражался резкий протест против советского вмешательства во внутренние дела страны и установления в Чехословакии тоталитарного режима — достаточно вспомнить «Невыносимую легкость бытия» и «Книгу смеха и забвения» Милана Кундеры, — то после ноября подавляющее большинство писателей и критиков сошлись во мнении, что теперь литература освободилась не только от партийной диктатуры и ненавистных цензоров, но и вообще от необходимости заниматься вопросами политики и наконец-то может сосредоточиться на сугубо эстетической стороне творчества. Иржи Крадохвил, о котором пойдет речь в настоящей статье, в 1993 г. по этому поводу писал:

Завершилась длительная эпоха чешской литературы, на протяжении которой она шла рука об руку с политикой <...> Писатель сегодня — это уже не национальный и политический трибун, а маг, иницирующий священник, экзальтированный пророк и, может быть, даже нарциссический и эксгибиционистский бог. Я убежден, что эта провокационная смесь романтического маньеризма с мистифицирующей одержимостью,

хладнокровно скалькулированным постмодернизмом и патафизическим юмором непредставимо ближе к действительной литературе, чем вся коллективистская программа, втиснутая между понятиями «инженеры человеческих душ» и «совесть народа»¹.

Биография Иржи Крадохвила, родившегося в 1940 г. в Брно, с самого детства отмечена драматизмом. Его отец Йозеф Крадохвил, орнитолог и детский писатель, не принял послефевральского режима в Чехословакии и в 1952 г., оставив семью, эмигрировал в США, затем перебрался в ФРГ, где в университете Мюнхена преподавал психологию животных. На годы взросления будущего писателя, кроме трудных материальных условий, легло постоянно его преследовавшее клеймо «сына эмигранта». Тем не менее он успешно окончил гимназию и философский факультет Брненского университета по специальности «богемистика и русистика», в 1965 г. защитил дипломную работу «Теоретические и критические взгляды Витезслава Незвала». Для темы настоящей статьи важно специально подчеркнуть русистское образование Крадохвила: все его творчество свидетельствует о хорошем знании русского языка, русской литературы и истории, но в то же время и о влиянии на его эстетические взгляды экспериментальной авангардистской манеры Незвала, симпатию к которому он разделит с наиболее близким ему писателем и брненским земляком Миланом Кундерой.

После университета Крадохвил, работая в школе и на радио, начал пробовать свои силы в литературном творчестве, печатал в газетах и журналах рецензии, эссе, рассказы, но подготовленный им в 1970 г. сборник рассказов уже не мог быть издан. Наступили годы «нормализации», когда гуманитарий из семьи эмигранта вынужден был переквалифицироваться в крановщика, ночного сторожа, телефониста. Однако он продолжал писать, стремясь запечатлеть сумбурную действительность, соединяя дерзкую фантастику с реалиями конкретной жизни и философскими умозаключениями. Писатель-диссидент Людвик Вацулик посчитал его первую книгу «Медвежий роман» слишком сложной и запутанной даже для издаваемой им самиздатовской серии «Петлице», и первый роман Крадохвила — несколько переработанный и сокращенный по сравнению с рукописным вариантом — вышел в свет в 1990 г., уже после «Бархатной революции».

¹ *Kratochvil J. Význání příběhovosti. S. 217.*

Роман сразу же принес автору широкое признание, престижную премию и выдвинул его в первые ряды посленоябрьской литературы, в которой он выступил самым ревностным пропагандистом постмодернизма. По его убеждению:

После долгого перерыва чешская литература снова не только освободилась от всех общественных обязательств и национальных ожиданий, но уже располагает и своим «поколением», которое поворачивается спиной не только к литературе шестидесятых годов, но и к официальной и неофициальной литературе оккупационного двадцатилетия. Это литература, которая с удовольствием презирует все идеологии, миссии, служение нации или кому бы то ни было еще <...> Это литература хаоса, то есть начала. И это сегодня единственное действительно живое направление¹.

Кратохвил снова и снова повторяет, что литература теперь совершенно свободна от политики любого толка:

Нет ничего столь далеко друг от друга отстоящего, как политика и литература, и эти два пространства соприкасаются только для того, чтобы литература, может быть, могла бы оборонять индивидуальную свободу от любой политической манипуляции, может быть, могла бы защищать душу от любого инновационного коллективистского духа. Это и есть та единственная «политическая служба», которую общество, может быть, имеет право ожидать от литературы².

В эссе «Вероисповедание постмодерниста» он утверждает:

Я верю, что время постмодернизма во многих отношениях является самым счастливым периодом в истории романа. В этот период он вобрал в себя все, чего когда-либо достиг на своем пути, и, освободившись от всех идейных и идеологических обязательств, стал счастливейшей передышкой в романной истории³.

Таковы программные декларации, хотя и снабженные осторожными оговорками: «может быть». На самом же деле, написанные

¹ *Kratochvíl J. Příběhy příběhů. Brno, 1995. S. 83–84.*

² *Kratochvíl J. Význání příběhovosti. S. 217.*

³ *Ibid. S. 36.*

талантливым рассказчиком, исключительно изобретательные по структуре, неожиданным сюжетным поворотам, странным, раздваивающимся и вновь сливающимся героям, загадочным событиям, романы Кратохвила насквозь пронизаны философской, психологической и политической проблематикой. В центре его первого романа и подавляющего большинства последующих («Песнь среди ночи», 1992; «Авион», 1995; «Сиамская история», 1996; «Бессмертная история», 1997; «Ночное танго, или Роман одного лета в конце тысячелетия», 1999; в том же году вышла объемная первая версия «Медвежьего романа» под названием «Прамедведь» («Urmedvěd»); далее — «Печальный Бог», 2000; «Лежать, бестия!», 2002; «Леди Карнавал», 2003; «Famme fatale», 2010; «Доброй ночи, сладко спи», 2012) — фантазийно переосмысленная история XX века с упором на конец Второй мировой войны и катаклизмы послевоенного периода. Чаще всего действие происходит в родном городе писателя Брно, который предстает то в совершенно реалистическом, то в абсолютно преображенном виде; автор постоянно использует автобиографический материал, загадочный образ исчезнувшего и разыскиваемого отца, а то вдруг сюжеты из давней или вообще мифической истории, и, пожалуй, ни в одном посленоябрьском чешском романе так густо, как у Кратохвила, не представлены русские мотивы, хотя на первом плане у него своеобразный анализ и жесткая критика Чехословакии социалистического периода и лет «нормализации».

Главный объект критики — тоталитарный режим. В «Медвежьем романе», который состоит из трех частей и имеет трех рассказчиков, этот режим в первой части представлен в фантастическом варианте: как жизнь на изолированном от всего мира некоем Острове, достаточно ясно напоминающем Брно, но в то же время — это модель тоталитарного государства, в которой читатель без труда узнает и социалистическую Чехословакию, и СССР. Вторая часть романа наиболее «реалистическая»: молодой человек по имени Ондржей Беранек (можно перевести как «ягненок») рассказывает о своей трудной судьбе в узнаваемых условиях «нормализованной» страны, где он проходит службу в армии, потом становится сторожем на птицефабрике и пытается писать «Медвежий роман». Атмосфера «нормализации» передана здесь не только описанием душевной подавленности рассказчика и многих других персонажей, но и в таком, например, небольшом эпизоде: полицейский в трактире просит посетителей выкрикивать «Русаки, катитесь домой!» хотя бы потише. В гротесковом стиле Кратохвил описывает не только партийное руководство и органы

безопасности, но и беспринципных приспособленцев среди чешских обывателей. Таков младший брат Ондржея, который в годы «нормализации» легко поднимается по карьерной лестнице: съездил с «поездом дружбы» в «братские города» (понятно, что речь идет о поездке в СССР), развелся с прежней женой, женился на дочери высокого функционера и «уселся в реальный социализм, как в кадиллак».

В третьей части романа слово берет как бы сам автор, повествующий о древних корнях рода Беранеков и послевоенных напастях его представителей. Устами одного из своих персонажей — доцента Владимира Дропа — он ставит диагноз изображенной в романе действительности: «Шизофрения и тоталитаризм — мутации одной и той же болезни, шизофрения вид индивидуальный, тоталитаризм — коллективный». Это определение тоталитаризма, как и образ брата-приспособленца, будут еще не раз повторяться в романах Кратохвила. Будет повторяться и еще один русский мотив, свидетельствующий, как мне представляется, о стойком внимании и симпатии автора «Медвежьего романа» к русской литературе. В третьей части говорится об учителе из рода Беранеков, осваивавшем русский язык по «Братьям Карамазовым» и сравнивавшем чешский перевод с русским оригиналом — это был подарок, который «легионер Сезима принял из рук адмирала Колчака, считавшего “Братьев” библией русского джентльмена».

Если в «Медвежьем романе» основное место занимала чехословацкая тематика в разных ипостасях с небольшими вкраплениями русской, то в нескольких последующих писатель все чаще обращается к русским реалиям, к русской истории, стремится показать негативное воздействие на его страну пребывания в «зоне влияния СССР». Если в первые послевоенные десятилетия освобождение страны от фашистов изображалось чешскими писателями именно как освобождение, то после августа 1968 г. это событие в альтернативной литературе стало восприниматься как насилие. Так это предстает в уже упомянутых романах Кундеры «Книга смеха и забвения», «Невыносимая легкость бытия» и особенно в его вызвавшей международную дискуссию публицистической статье «Похищение Запада, или Трагедия Центральной Европы». В романах Кратохвила насилие над освобождаемой страной изображено в виде изнасилования местной женщины солдатами-освободителями. Стоит напомнить, что такой сюжет в какой-то момент превратился в почти что «бродячий» в литературах бывшего социалистического лагеря. Мы встречаем его в венгерской, словацкой, гэдээровской литературах.

Второй роман Кратохвила «Песнь среди ночи», главный герой (он же рассказчик) которого щедро наделен автобиографическими чертами, открывается главой «Зачатие», где описывается сцена изнасилования его будущей матери: «Я был зачат под небом, озаренным осветительными ракетами, под давящийся кашель катюш, а родился перед самым рождением того же последнего военного и одновременно первого мирного года». В отличие от большинства авторов, акцентировавших трагизм подобных сцен, Кратохвил и в этом случае придерживается стиля постмодернистской игры, описывая биологический процесс оплодотворения, уточняя подробности насилия:

25 апреля поздно вечером в дом на окраине Брна ворвалась толпа солдат, и наш сосед, который все это наблюдал, укрывшись за занавеской в уборной, посчитал, что парней было шестнадцать. Сначала они опустошали дом, потом нашли мамочку, которая заперлась в своей девичьей комнатке. Они вытащили ее за порог, один солдат с ружьем стоял на страже, а остальные соблюдали очередность. Ей было шестнадцать лет, так что на каждый год приходился один солдат.

Кто стал отцом рассказчика, какой он национальности, рассказчик не знает, но полагает однако, что им был тот хитрец, что проскочил предпоследним без очереди, и будет ждать от него известий. А пока:

Каждый год в конце апреля, к памяtnому дню моего зачатия, Брно украшается пурпурными полотнами знамен и на площади свободы и возле бывшего дворца Бати играют военные духовые оркестры. Я был зачат в конце войны, и мне каждый год торжественно об этом напоминают.

Далее герой-рассказчик, как обычно у Кратохвила, раздваивается, раздваивается и фигура его отца. Повествование то продолжается в постмодернистском духе, то переходит в реалистическо-автобиографическую плоскость: отец рассказчика, чех и орнитолог, пишет книгу о птицах, потом эмигрирует и не дает о себе знать, рассказчик претерпевает все трудности своего положения, болеет желтухой, лечится в детском санатории, взрослеет и т. д. Реалистическая деталь времени: в начале 70-х гг. старики на свадьбе «лирически и нежно» поют «Сулико» — «это была любимая песня Сталина, и все эти старики двадцать лет тому назад в свои свазацкие (от «Союз — по-чешски «сваз» — молодежи). — С.Ш.) годы ее пели». Кратохвил вставляет в текст русские

слова без перевода: «улыбающиеся помещики», «батюшка», «голубые печальные глаза», «гармошка», «исчезнуть в тумане моря голубом» и т. п. или со своим толкованием: «Кошмар — я употребляю русское слово татарского происхождения». Эта игра словами также воссоздает атмосферу начальной послевоенной эпохи. Но характер тех лет воспроизводится и посредством описания общественно-значимых переломных событий: «смерть Сталина застала меня в Шварцбильде (детском санатории. — С.Ш.) недалеко от деревушки с тем же названием». Сначала Петр (главный герой-рассказчик выступает под таким именем) не верит этому сообщению, потому что, по его детским представлениям, такое вообще не может случиться, и только когда радио передает эту новость каждые пять минут, она начинает доходить до его сознания, не вызывая, впрочем, никаких эмоций. Подробный рассказ о траурном убранстве санатория и соответствующих поминальных мероприятиях перемежается рассказом о детской влюбленности Петра в больную девочку Даниэлку и его переживаниях по этому поводу, затем в повествование вторгается фантастика в облике какого-то русского, который объявляет Петра своим наследником и обещает наделить его необыкновенными способностями, потом Петр из санатория убегает... За развитием сюжета (или сразу нескольких сюжетов) сложно уследить, тем более что действие романа доводится до конца «нормализации», текст зачастую идет без разбивки на отдельные предложения, без точек, в реалистические описания то и дело вторгается постмодернистская игра, но при всем том Кратохвил отображает знаменательные приметы «русского» (советского) вмешательства в чешские дела. Так, в романе появляется «советский советник, уполномоченный Брежнева по руководству процессом нормализации и консолидации в большом городе Брно», который сообщает Петру, что именно он его отец, ибо был первым среди насильовавших его мать. Благодаря своей находчивости Петр, который не верит этому «сексуальному идиоту», разоблачает его, и он оказывается женщиной — «самой красивой фавориткой Сталина, царевной-красавицей, о которой ходило множество легенд»; потом еще появляется некто с посланием Петру от отца-эмигранта, которому тоже невозможно верить... Все критики сходятся на том, что Кратохвил — превосходный рассказчик. В самом деле, его исключительно запутанные «клиповые» тексты читаются с интересом, хотя в них непомерно много различных выдумок и фантастических поворотов на каждой странице. Трудно разобраться в сюжетных ходах и в неожиданных превращениях героев и все же что-то важное и разоблачительное об

изображаемом времени и авторитарном присутствии в социалистической Чехословакии «русского» диктатора писатель передает, жёсток он и по отношению к своим соотечественникам-приспособленцам, но в его жестком тоне не чувствуется озлобления. В игровой постмодернистской манере Кратохвил пишет об очень серьезных вещах, но, как мне кажется, его смешанная с грустью усмешка оставляет некоторую, пусть и очень малую, надежду на лучшее.

Критический взгляд Кратохвил сохраняет и в отношении послевоенной Чехии. В романе «Авион», названном так по имени престижного брненского отеля, мы снова встречаемся с младшим братом рассказчика-писателя; здесь он фотограф, преуспевавший во времена «нормализации». Тогда он женился на «коммунистической прокурорше», был предан режиму, а после «бархатной революции» сумел быстрее всех изготовить плакат с изображением Вацлава Гавела и снова оказался наверху, жена же его быстренько «выбросила партийный билет и представляется теперь как супруга сына эмигранта». В романе есть очень точные и подчас лирические зарисовки брненских пейзажей, есть уже знакомый по другим романам автобиографический материал, есть некий рожденный на окраине «Питера» волшебник Маленький Мук, есть и то ли мафия, то ли клан: органы государственной безопасности, в которых с первых послевоенных лет господствуют советские приемы. Всесильная организация подобного рода под тем или иным видом будет присутствовать и в других романах автора.

Очень вольно и фантазийно перетолкованный материал русской истории XX в. лег в основу «Бессмертной истории». Почти все повествование ведется от лица Сони Троцкой — дочери Льва Троцкого, который здесь назван сыном православного русского священника и австрийской аристократки. Соня рождается вместе с XX веком, а через три дня в Дунае тонет предназначенный ей свыше двенадцатилетний сын придворного портного Бруно Млок («млок» по-чешски — «саламандра»), который потом будет к ней приходить в облике разных животных. Не будем пересказывать «перемудренный», как обычно у Кратохвила, сюжет романа, действие которого охватывает весь XX век, назовем лишь главные события и героев. В романе упоминается покушение в Сараево, Первая и Вторая мировые войны, все русские революции, образование независимой Чехословакии, фашистская оккупация, уничтожение Лидиц, строительство социализма, ввод в страну советских танков 21 августа 1968 г. и т. д. Мелькают имена Ленина, Троцкого-Бронштейна, Масарика, Черчилля, Фрейда, фашистских

главарей. А Соня живет, не старея; в прекрасном брненском парке она совокупляется с шимпанзе, оленем, саламандрой, с переделанными в волков русскими солдатами, которых англичане готовят для покушения на фашистских вождей, которых (волков-солдат) убивают советские разведчики. От волка, который ей особенно нравился, она перед окончанием войны рождает сына. (Мать Сони сожительствует с шестеркой львов, из которых любит шестого — «нулевого», похожего на ее мужа.) В тексте щедро рассыпаны конкретные русские детали, слова, выражения. Соня, которая выступает дрессировщицей и учительницей волков, высказывается о них почти нежно: «Ведь в каждой из этих косматых волчьих шкур прятался чувствительный, иногда мне даже казалось, что чересчур чувствительный, Иван (Алеша, Борис, Федор, Сергей), и в каждом из них было скрыто чувствительное, даже чересчур чувствительное, сердце, которое хотело своей пищи (чтобы не забыть: бессмертную русскую душу особенно трудно насытить)». В связи со своим отцом Львом Троцким Соня упоминает «русскую гордость, эту ужасную русскую гордость, о которой мамочка говорила, что она с корнями выворачивает вековые кедры и поворачивает реки против течения».

В конце романа Соня встречается с русским священником-миссионером Никоном, ведет с ним долгие беседы, выслушивает его, очевидно важное для автора романа, мнение о России, о прошлом и будущем всего мира:

— Написано, что два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать. — Нет, нет, милая Соня, это уже давно не так. Будет ровно столько Римов, сколько нам потребуется! И Москва еще долго будет оставаться очень плохим местом. Православная церковь там нашпигована папистами, кальвинистами, лютеранами, евреями, мусульманами и буддистами. Москва это уже давно не святой Рим! Нужно начинать каждый раз снова! Здесь, — отец Никон показал на огни города, светившиеся внизу под террасами, — скоро начнется новый Рим, на него будут указывать персты пророков и сюда будут направляться караваны путников.

Соня встречает своего сына Мартина — представителя нового поколения, а в последнем абзаце романа автор нам обещает («может быть») написать еще одну историю, где Бруно вернется к своему человеческому облику, в Вене состоится их свадьба с Соней, на которую соберутся все шумные звери...

Можно попытаться истолковать все происшествия и превращения героев, но можно и прислушаться к тому, что автор декларирует устами Сони: «Стремление всегда все понять — жалкое и заслуживает презрения». Но в соответствии с темой настоящей статьи надо особо подчеркнуть содержащиеся в романе явно сочувственные упоминания о русской литературе, которая дает автору повод порассуждать и о законах искусства вообще.

Начнем с того, что роману предпослан эпиграф из Достоевского: «То, что большинство называет фантастическим и исключительным, для меня есть сама основа действительности». Соня читает волкам-солдатам «Пролог» из «Руслана и Людмилы»: стихи написаны по-русски — латинским шрифтом. В другом месте она вспоминает о том, что ее отец читал труд Масарика «Мировая революция», где подробно описываются революционные события 1917 г., свидетелем которых был будущий чехословацкий президент. По ее словам, отец любил русские романы:

Однажды папаша сказал мне: «Представь себе, когда я читаю (в который уж раз) “Преступление и наказание” и блуждаю с Раскольниковым по петроградским улицам, мне кажется, что к нему вдруг приближается некто, в ком я с легкостью узнаю Масарика в его знаменитой легионерской фуражке; Раскольников испуганно оборачивается, его сбивает с толку эта военная униформа, но старый пан спокойно улыбается. “Побеседуем”, — спокойно говорит он и ведет Раскольникова к скамейке на набережной Невы. Я незаметно к ним подкрадываюсь и слушаю, как наш президент рассказывает ему о современном титанизме и стремлении к сверхчеловеку, которое перемальвает души в порошок; от всего подлинного, что есть в человеке, остается одно ничтожество, тогда как на самом-то деле мы значимы только своей способностью любить ближнего. “Иисус, а не Наполеон”, — говорит Масарик, и когда он после своей длинной речи поднимается, Раскольников сидит еще некоторое время, затем быстро идет домой. Его душа спасена! Но роман-то испорчен! Потому что, если он теперь не убьет старуху-процентщицу, что же останется от романа? Я быстро бегу за паном президентом, догоняю его, прежде чем он исчезнет в петроградских улицах, и говорю: “Ведь вы, по сути, истребитель романов! Если подобным образом вы будете вмешиваться во все великие произведения и убедительно разговаривать со всеми отрицательными персонажами, что останется от мировой литературы и что мы будем читать?” И мы вместе смеемся».

Так на примере русской литературы Кратохвил обосновывает тезис о необходимости для романа полноценного конфликта, как бы оправдывая этим многочисленность межчеловеческих столкновений и самых невероятных конфликтов в своих собственных сочинениях, но и подсказывая нам, что одним из образцов для его творчества служит великая русская литература, пусть он и переосмысливает ее опыт в духе постмодернизма.

Приметы «русского» мы обнаружим и в откровенно постмодернистском романе Кратохвила «Ночное танго, или Роман одного лета в конце тысячелетия», действие которого происходит в современном Брно, где вроде бы уже победила демократия. На городской площади митингуют сторонники лидера правой партии ОДС Вацлава Клауса (который будет вскоре избран чешским парламентом на пост президента), неподалеку собрались сторонники тогдашнего лидера социал-демократической партии Милоша Земана (его изберут президентом Чехии в 2013 г. на первых прямых всенародных выборах). Современные чешские реалии смешиваются с современными российскими: возле Брно снимается телевизионный сериал и снуют террористы «кавказской национальности». Ко всему этому примешивается чешский и русский материал фантастического и мифологического характера: где-то рядом с чешскими телевизионщиками и нашими ловкими кавказцами поднимаются воспрянувшие ото сна браницкие рыцари из древних чешских преданий, а над бескрайними просторами Сибири летит самолет с чудом спасшимися младшими детьми Николая II. Автор критически смотрит на сегодняшний результат произошедших в России и Чехии перемен, остроумно констатируя одновременность падения тоталитарных режимов и размаха сексуальной революции. Несколько снижается обличительный накал его речи, усиливается ее насмешливость: «Потому что наш реальный мир, если вы хотите знать, чем дальше, тем все больше превращается в бледную копию мира телевизионного, и сегодня все мы во всем мире — всего лишь телевизионные зрители, а вскорости настанет такое время, когда мы вообще превратимся в телевизионных персонажей. Экран телевизора, моя прекрасная дама, это общая постель, на которой все мы однажды встретимся, как об этом когда-то мечтала Бардотка (Брижит Бардо. — С.Ш.)».

Приход Кратохвила в литературу посленоябрьская критика в своем подавляющем большинстве встретила одобрительно. В связи с выходом «Медвежьего романа» даже авторитетный оппонент постмодернизма, критик старшего поколения Милан Юнгманн признавал: «Иржи

Кратохвил, по моему мнению, это самое значительное открытие самиздата в области прозы. Он обладает оригинальным взглядом на судьбу человека, отважно экспонируемыми повествовательными приемами, а также исполненными игры словесными приемами»¹. Однако со временем в критике стали раздаваться все более сдержанные отзывы, иронические замечания как по отношению к этому автору, так и к постмодернизму как методу, предоставляющему «безграничный простор болтовне». Но остается и часть критиков, преимущественно молодого поколения, которые продолжают настаивать на плодотворности постмодернизма, даже сетуют, что в литературе стало меньше экспериментаторства, смелых словесных изобретений. Сам Кратохвил, много сделавший для пропаганды этого направления и как прозаик и как блестящий эссеист, в своих последних книгах гораздо меньше увлекается постмодернистской игрой, четче выстраивает сюжеты, сохраняя, впрочем, и элементы постмодернистского подхода и убежденность, что для романа необходима «открытая система». Но характерной чертой этого писателя продолжает оставаться подспудная связь с русской культурой, сколь бы он ни экспериментировал с перефантазированием истории, с формой и языком.

¹ Jungmann M. V obklíčení příběhů. Brno, 1997. S. 124–125.

И.А. Герчикова

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ ГЛАЗАМИ ЧЕХОВ

Если говорить об отношении чехов к современной России, то с сожалением мы вынуждены констатировать, что оно в общем и целом негативное. О причинах можно рассуждать долго, вспоминая новейшую историю, комплекс противоречий, о которых писал еще Т.Г. Масарик в «России и Европе» (1913), 1948 год, 1968 год, да и наблюдая последние двадцать лет наплыв наших граждан, желающих поселиться в центре Европы, по количеству давно превзошедший все волны эмиграции XX в. Мы всегда должны будем разделять период до 1968 г. и после него. События Пражской весны и последовавшее затем вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию, пока об этом помнят чехи 1950 года рождения и старше, всегда будут разделять нас, и всегда в той или иной степени будет сохраняться антипатия по отношению к России, о чем бы ни заходила речь. Можно было бы говорить о некоем синдроме 1968 года. Прошло сорок с лишним лет. Давно уже нет ни ЧССР, ни Советского Союза. Но эта нелюбовь, страх, непрошедшая боль, укоренившиеся в сердцах чехов, прежде всего старшего поколения, продолжают иметь место. По данным Центра исследования общественного мнения в Праге (Centrum pro výzkum veřejného mínění) в марте 2005 г. чешские граждане относили русских к самым несимпатичным иностранцам наряду с жителями Украины, Вьетнама и Албании.

Характерно название статьи журналистки Й. Гроховой «Русские глазами чехов: август 1968 все еще болит»¹. Конечно, существуют отдельные чешские граждане, о которых пишет, в частности, Грохова, которые искренне любят и уважают нас (например, Катержина Котенова, вышедшая замуж за русского, проживающая в Москве и абсолютно довольная жизнью; или Ян Чеп, утверждающий, что очень любит русских, так как на собственном опыте удостоверился, что да, существует та самая русская душа, о которой столько твердят, и что русские действительно готовы отдать последнюю рубаху, способны к самопожертвованию и, когда хотят помочь, сделают для этого все возможное). Все наши богемисты конечно же захотят назвать своих друзей, которые прекрасно к ним относятся и никогда не выказывали признаков русофобии. Существует традиционный интерес к России, имевший место во все времена, серьезная русистика, одна из самых сильных в славянских странах школа переводчиков с русского языка. Да, издается много русских книг в переводе на чешский. Все это так. И все же приходится констатировать (а такого рода опросы и исследования, как упомянутое выше, а также художественная литература, документалистика неумолимы), как это ни прискорбно, что абсолютное большинство чехов никакой симпатии к нам не испытывают. Русские все еще являются символом оккупации 1968 года, тоталитаризма, вынужденного изучения русского языка, бесконечных лозунгов типа «С Советским Союзом на вечные времена и никак иначе». Ярослав Башта² говорит, например: «Русские любят чехов больше, чем мы их. Этот груз прошлого все еще давит, хотя, казалось бы, он мог бы уйти быстрее, чем, скажем, в Прибалтике или Польше, где русские были дольше и нанесли больше вреда и погубили больше жизней»³.

Справедливости ради надо упомянуть о такой недавней публикации, как «Вторжение 1968. Русский взгляд» («Invaze 1968. Ruský pohled», Торст–Прага, 2011), книге, где показывается, что и для русского общества 1968 год сыграл огромную роль, похоронив надежды советской интеллигенции. В частности, Петр Коларж, чешский посол в России с 2010 по 2012 г., провозгласил эту книгу на презентации водоразделом, дающим наконец слово не только чехам, но и русским, чьи души

¹ *Grohová J.* Rusové očima Čechů: srpen 1968 pořád bolí //MF dnes.19.08.2005. [Электронный ресурс.] URL: http://zpravy.idnes.cz/rusove-ocima-cechu-srpen-1968-porad-boli-dxz-/domaci.aspx?c=A050818_202005_domaci_miz (дата обращения: 15.08.2014).

² Посол ЧР в России (2000–2005), на Украине (2007–2009).

³ Ibid.

были травмированы не меньше чешских, и заметил, что всегда надо помнить о том, что есть интересы государства, а есть — народа¹.

Народ чешский нас не жалует. Есть крайние взгляды. Например, журналист Иржи Пеняс («Лидове новины») прославился своими репортажами и фотографиями о России, где главными темами неизменно проходит алкоголизм, грязь, бескультурие и т. п. Известен своей неприязнью к России также Мартин Путна². В 2009 г. во время опроса 89 известных чехов, назвавших десять основных ценностей, важных для будущего страны (так называемая «česká vize»), он выразился весьма недвусмысленно: «Пока чехи не осознают в полной мере, говоря словами профессора Вацлава Черного, “вехи развития и преступления панславизма”, пока не проклянут любые высказывания о “братстве славянских народов” как самую ядовитую идеологию — до той поры они будут внутренне безоружны перед русским империализмом, будут неспособны противостоять ползучей “третьей русской оккупации”, которая медленно и незаметно осуществляется на наших глазах. До тех пор чехи будут сдерживать русское распространение, служа клином, всаженым в единую Европу»³.

Не столь резкие, но весьма нелицеприятные оценки звучат в книге Давида Штяглавского (р. 1963) «Россия между строчками» (2000)⁴. Данный «специалист» по России знает ее не понаслышке. Проведя в качестве корреспондента чешского радио семь лет в Москве и Санкт-Петербурге, посетив Среднюю Азию и Кавказ, Штяглавский издал книгу (250 с.) со множеством фотографий, а также массой сведений о России, сосредоточив свое внимание на местах, где «остановилась история», — заброшенных деревнях, грязных улочках, местах скопления бомжей и т. п. Автор допускает множество фактографических ошибок, выказывает незнание истории, географии. Он как истинный «светоч», являющийся источником просвещения, свободы, европейской

¹ Beránek J. Ruský pohled na 21. srpen – Zmařené naděje a nejen české trauma jako dosud. 19.08.2011. [Электронный ресурс.] URL: <http://publica.cz/index.php/tubepublica/hotspot/602-21-srpen-rusky-pohled-zmarene-nadeje-a-nejen-ceske-trauma-jako-dosud.html> (дата обращения: 15.08.2014).

² Мартин Ц. Путна (р. 1968), чешский историк литературы, критик, переводчик, педагог факультета гуманитарных исследований Карлова, автор также книги: *Rusko mimo Rusko. Dějiny a kultura ruské emigrace 1917–1991*. Brno, 1993.

³ [Электронный ресурс.] URL: http://zpravy.idnes.cz/o-ceskych-traumatech-vztahu-k-rusku-a-k-vlastni-minulosti-pise-martin-c-putna-18a-/kavarna.aspx?c=A090906_194100_kavarna_bos (дата обращения: 15.08.2014).

⁴ Štáhlavský D. *Rusko mezi řádky*. Praha, 2000.

цивилизации, помогает несчастным русским справиться, например, с тараканами в баре, принеся им специальное средство для борьбы с насекомыми, за что бармены чуть ли не в ногах у него валяются, ведь в центре Москвы в XXI в. еще не знают, что такие средства существуют. Примеров предвзятого, неверного, просто некомпетентного суждения можно привести множество, и, возможно, подобная книга вообще бы не стоила упоминания. Но ведь она стала в Чехии бестселлером, была отмечена на книжной ярмарке «Мир книги» (17–25 мая 2001 г.) как одна из трех самых продаваемых в Чехии. Свою просветительскую деятельность Штяглавский успешно продолжает. Журнал «Страны и люди» («Lidé a Země»), например, опубликовал очередную работу Штяглавского «Московские парадоксы в бронзе и камне», где характеризует сердце матушки России как город ксенофобии, где преследуют несчастных грузин¹.

Возможно, не стоило бы говорить и о книге Яромира Штетины (р. 1943) «Бастарды» (2006)², представляющей Россию и русских в самом неприглядном виде. Но автор ее — депутат чешского парламента с 2004 г., личность известная, к тому же сам он себя считает русофилом, в России провел много времени в качестве корреспондента газеты «Лидове новины» и был отмечен самой престижной журналистской наградой Фердинанда Пероутки. Как политический деятель он прославился также тем, что, будучи в свое время членом КПЧ и согласившись на сотрудничество с органами Госбезопасности, после 1989 г. как-то резко поменял позицию на 180°, превратившись в ультраконсерватора и яркого антикоммуниста. Это многое говорит о личности данного «специалиста по России». Штетина называет свой опус «романом о терроризме и душе России». Его главный герой Илья Исакович Солтыкофф (он же граф Сен-Жермен), помимо того что владеет санскритом, китайским и арабским языками, обладает еще способностью жить в разных веках и свободно перемещаться во времени. Таким образом он общается с княжной Волконской и декабристами, по ходу дела обвиняя Пушкина в предательстве и написании порнографических стихов, с деятелями послевоенного периода, клеймя советских писателей Шолохова, Фадеева, Полевого в продажности коммунистическому режиму, а также с «борцами за свободу Кавказа», в частности с Шамилем Басаевым. На Кавказе он встречается чеченку Карин Ахмадову. Она

¹ Štěhlavský D. Moskevské paradoxy v bronzu a kameni // Lidé a Země. 2008. № 7.

² Štětina J. Bastardi. Praha, 2006.

беременна и готова произвести на свет бастарда, ему уготовано место не где-нибудь, а в мавзолее — вместо самого Ленина, которого она собирається, продолжив дело Фаины Каплан, из мавзолея убрать. Как ни странно, Карин, не доведя дело до конца, попадает в психиатрическую клинику в Казани. Зато Солтыкофф со своим телохранителем Кузьмой Кузьмичом находит ребенка и покидает вместе с ним Россию, обзаведясь свидетельством о рождении (которое, по сведениям Я. Штетины, можно легко купить у нас за сто долларов). Именно он сам, Солтыкофф, в свидетельстве прописан в качестве отца. Илья Исакович оказывается «настоящим мужиком», и уж его-то «сынок» в конце концов направит нашу страну по правильному пути. Кажется, мы получили рецепт, как нам спасти Россию. Все могло бы показаться дурной шуткой или провокацией, но автор данного бестселлера абсолютно серьезен. О романе, захлебываясь восторгами, чешская пресса писала, в частности:

...Именно эта книга чудодейственным образом выводит из депрессии, постигшей всех комментаторов, свидетелей, наблюдателей за современной Россией и Чечней <...> Все репортажи, документальные фильмы говорят о неотвратимости, фатальности <...> И вот Штетине в «Бастардах» удалось разукрасить эту «слепую карту» русской безысходности. Его книга <...> как солнцем озаренный луч в облаках <...> Может, есть в этой стране еще неиспользованный, незамечаемый потенциал, и надо преодолеть барьер страха и скептицизма и хотя бы попытаться не дать пересилить безнадежности¹.

А еще автор данной рецензии советует в самое кратчайшее время перевести эту книгу на русский и английский языки. Здесь уже какие-либо комментарии излишни...

Еще один неутомимый борец за свободу Чечни и крупный специалист по России — Петра Прохазкова (р. 1964). Не менее известная и уважаемая личность в Чехии, получившая всевозможные награды для журналистов (Фердинанда Пероутки, Гавличека-Боровского, международную за исследовательскую деятельность, а также за заслуги перед Чешской республикой в 2000 г. от президента В. Гавела). В 2001 г. она была выдворена из России за антирусские репортажи и поддержку

¹ *Hradilková J. Štetinovi Bastardi jako antidepresivum. 28.01.2007 [Электронный ресурс.] URL: <http://www.jaromirstetina.cz/aktuality/leden-2007/stetinovi-bastardi-jako-antidepresivum-1.html> (дата обращения: 15.08.2014).*

чеченских боевиков (Прохазкова встречалась с Д. Дудаевым, и даже была женой чеченского борца за независимость И. Зязикова. Правда, показательный брак продолжался недолго, якобы из-за того, что Зязиков был похищен российскими спецслужбами и его местопребывание неизвестно). Прохазкова выпустила книгу-репортаж «Алюминиевая королева» (2003)¹, где представлены беседы с чеченскими женщинами. Интересно, что издание книги, как сказано в предисловии, осуществилось благодаря финансовой помощи «филантропа» из США Джима Оттауэя. Все бы выглядело благородно, правдиво, смело, если бы в ненавязчивых комментариях Прохазковой не сквозили ненависть и презрение к России. Опрашиваемым чеченкам Прохазкова задает разные вопросы, но один присутствует обязательно: «Вы ненавидите русских?» Не стоит ждать разнообразия ответов, они очевидны. Открываются интересные подробности о том, как чеченцы всегда лучше жили в Грозном, чем русские, так как умеют хорошо работать, а в настоящее время мужчины не работают, потому что русских, оккупировавших их страну, они боятся, уходят в горы, чтоб не позориться, поскольку не могут содержать свою семью. Оставшиеся же женщины, как бы ни было им тяжело, не занимаются попрошайничеством, у них ведь гордость, не то что у русских. Чеченцы стали ценить свою культуру после того, как столько пострадали от оккупантов. А оккупанты (русские солдаты) только пьют, потребляют наркотики и шныряют по домам в поисках боевиков. Прохазкова сильно переживала, что ей больше в Россию нельзя, она регулярно публикует свои репортажи в Чехии, где по-прежнему достается всем, начиная от нашего премьер-министра и кончая простыми людьми. В декабре 2011 г. она все-таки прорвалась в Россию... Где же еще можно черпать материал, полный презрения и ненависти? Очередной отчет «В России десять лет спустя: Политковской уже не позвонить»² вновь представляет нашу страну темной, невежественной, опутанной спецслужбами, а руководит ею человек, пообещавший «замочить в сортире» чеченских террористов. Вроде и не видит Прохазкова другой России. В противном случае ее репортажи потеряют смысл, а пока газета «Лидове новины» представляет нашу страну ее глазами. Мода на презрение и ненависть к нам не прошла...

¹ Procházková P. Aluminiová královna. Rusko-čechenská válka očima žen. Praha, 2003.

² Procházková P. Po deseti letech opět v Rusku: Politkovské už nezavolám. Lidové noviny. 03.12.2011. [Электронный ресурс.] URL: http://www.lidovky.cz/po-deseti-letech-opet-v-rusku-politkovske-uz-nezavolam-pik-/ln_zahranici.asp?c=A111201_173305_ln_zahranici_mtr (дата обращения: 15.08.2014).

Новейшее откровение о России — недавно вышедший роман Вацлава Рамбоусека (р. 1954) «Антигосударственный роман» (2010)¹. Автор также достаточно хорошо знает Россию, проработав в Москве восемь лет. Его роман вроде бы о поисках любви главного героя Енды Славичека, который, подобно самому автору, поработал и в канцелярии Президента ЧР, и в чешском посольстве в Москве. О жизни героя в России мы узнаем весьма подробно. Он вроде бы знаком с русской классикой и цитирует Гоголя («Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа...»), правда частенько высказывания путает, а Достоевского называет ДостИевский. Он вроде бы пытается узнать загадочную русскую душу, ездит по стране, общается с людьми и наблюдает жизнь. Что же удалось ему постичь? Опять «старая песня»: наша страна это край снега, покрывающего просторы до самого Сочи, это деревни, где нет ни почты, ни школы, ни церкви, а только магазин с черным хлебом и сухарями... Главного героя повсюду преследует «запах самогонки, кошачьей мочи, валенок, дешевого бензина... Это запах страны, где все заброшено, где леса непроходимы и болотисты, где возделанные поля редкость, где нет птиц, кроме ворон, которые толсты, как курицы <...> Православные не улыбаются <...> Россию любить нельзя, и она сама себя не любит»². Енда удивляется, как вообще можно жить там, где все рушится, где везде грязь и только далеко от берега не будут встречаться пластиковые бутылки и пакеты. И почему бы им (русским людям. — *И.Г.*) не сесть в поезд и навсегда уехать и не возвращаться?³ Если у Штяглавского русских можно осчастливить средством от тараканов, то герой Рамбоусека отличается широтой души. Чего стоит такая сцена в ночном клубе, где группа чехов разговаривает с девушкой-стриптизершей:

— Зачем ты этим занимаешься? Не надо.

— Вася мой — хроменький.

— Не надо же это делать!

— Ребеночку надо новую шапочку. Сафьяновую.

— Ты такая красивая, такая умница девочка.

— Шапочка нужна. Вы что, не поняли?

Парни собрали денег, сумма оказалось больше, чем месячная пенсия в Москве⁴.

¹ *Rambousek V. Protistátní román. Praha, 2010.*

² *Ibid. S. 107.*

³ *Ibid. S. 124.*

⁴ *Ibid. S. 122.*

Есть, например, описание московской публички, которая ходит на мероприятия Чешского культурного центра. Это «пара десятков пенсионеров в вытянутых свитерах, с перхотными волосами, которые за бокал шампанского и пару бутербродов эти акции посещают. Только надо следить, чтобы бутерброды в самом начале они не затолкали себе в сумки»¹.

И, если кто-то сомневается, книга действительно написана недавно и вышла в 2010 г. В романе досталось и реальным лицам, например режиссеру театра Советской Армии, который просил, низко поклонившись, прощения за 1968 год не столь давно, а сам в 1970-е гг., когда делал театральную постановку в Брно и получил за нее две годовые зарплаты среднего чеха, безобразно вел себя, требуя в гостиничный номер цветной телевизор, чтоб смотреть передачи из Австрии. «Вот так они издевались над нами!» — восклицает герой Рамбоусека.

Можно приводить цитаты из данного романа еще и еще, но везде будут сквозить эти презрение, неприятие, правда пополам с ложью, комплексы представителя маленькой нации, которой досталось от сильного соседа, и чтобы хоть как-то отплатить ему и компенсировать все свои обиды, остается только высматривать в российской действительности все эти мелкие и крупные гадости и словно внушать чешскому читателю: вот видите, не зря мы страдали сорок лет, мы-то свободны, а у них ничего не изменилось в этих Советах, и живетса им совсем не сладко.

Тема России становится модной. В ряде книг Россия выступает как некая особая экзотическая среда, куда отправляются герои, чтобы скрасить свою будничную тоскливую жизнь, в которой ничего не происходит. Посреди же бескрайних просторов нашей родины, в Сибири, в тайге они могут особенно почувствовать себя героями, ощутить превосходство европейской цивилизации. А потом конечно же возвратиться в свою маленькую и удобную страну, где все приспособлено для человека, где нет пьяниц, ужасных нечеловеческих условий жизни. Таковы «Путешествия в Сибирь»² (600 с.) Мартина Рышавого (р. 1967) или книга «Станция Тайга» Петры Гуловой (р. 1979)³, изданные в 2008 г.

¹ Ibid. S. 132.

² Ryšavý M. Cesty na Sibiř. Praha, 2008.

³ Hůlová P. Stanice Tajga. Praha, 2008.

У Рышавого главный герой едет в Сибирь, чтобы окунуться в плетившийся мир шаманов, мистики, а находит лишь успешно продаваемые европейцам лубочные картинки, вместо культуры с богатыми традициями — общество, подорванное долгими годами коммунистического господства и алкоголем, вместо традиционных деревень — отвратительные панельные дома, высящиеся посреди тундры. Герой уже не может это выдержать, уезжает в Прагу, но и там в своей среде не находит покоя. Пытается устроить семейную жизнь, но и тут неудача. И вот он снова отправляется в Сибирь. Он понимает, что рая на земле нет, и в конце романа просто мечтает о том, чтобы оказаться где-то в любом месте — в Праге, Москве, Якутске или среди кочевников, где можно почувствовать себя среди своих.

Еще один роман Рышавого назван «Врач» (2010); в понимании автора это русское слово обозначает и человека лечащего, и не говорящего правду (от слова «врать»). Здесь герой уже не чех, ищущий себя, а русский Дмитрий Иванович Гусев, бывший театральный режиссер, ныне что-то вроде дворника, живущий в коммуналке то ли с киргизами, то ли таджиками, личность в общем парадоксальная. Собственно, мотто звучит так: «Россия это та страна, где из хороших вещей делают плохие. А из плохих хорошие». То есть страна парадоксов. Именно это и пытается показать автор. Помимо того что он делится своими знаниями о русской литературной классике (Гоголь, Чехов, Булгаков) — как же без этого, — в романе дается, например, целый литературный анализ «Дяди Вани». Есть герои настоящие (В. Высоцкий, например) и вымышленные. Действие разворачивается и в Москве, на Большой Никитской, и Геленджике. Вывод автора не нов: «Умом Россию не понять». Она находится в зачарованном кругу и при всех попытках приблизиться к Западу остается все равно другой. «Почему в России никого не удивлял и не шокировал театр абсурда? Потому что никто в нем не видел ничего абсурдного, такой была наша обычная повседневная жизнь», — восклицает главный герой.

Роман «Врач» говорит о разнице менталитетов и описывает разницу скрытую и кажущуюся. Есть то, что вроде похоже на наше, близко и знакомо, но когда откроются отличия, последствия ужасны... Это отличие, которое не хочет в этом признаться и требует у Европы принять его так, как есть. А если не получится по-хорошему, то стремится добиться

своего с помощью силы. Так как это делалось во второй половине XX века. Или с помощью денег. Так, как делается сейчас¹.

О парадоксальности России говорил еще Н. Бердяев. Эту парадоксальность пытаются понять чехи. Стараются ее объяснить, не хотят порой воспринимать и выказывают всячески свои неодобрение, неприязнь, обиды, боль. И все же, несмотря на общее неприятие и отрицание, голос разума призывает чехов «быть хитрыми», а в ситуации, когда их гораздо больше тянет к Западу, им не следует выпустить из вида «эту ужасную, великую, необозримую страну на Востоке, которая всегда будет влиять не только на экономику, но и на духовную жизнь. И для чехов эти парадоксы важно знать, ведь рядом с ними, в них они живут»² (Й. Бабор).

Нам суждено познавать друг друга, и всегда сквозь презрение и осуждение все равно будет существовать необъяснимая тяга к России, в которой есть то, чего чехам так не хватает у их западных соседей.

¹ *Ladislav N. Román Vrač Martina Ryšavého líčí život v Rusku jako absurdní divadlo // Ihned.cz.17.12.2010. [Электронный ресурс.] URL: <http://life.ihned.cz/c1-48709250-roman-vrac-martina-rysaveho-lici-zivot-v-rusku-jako-absurdni-divadlo> (дата обращения: 15.08.2014).*

² *Babor J. Tři knihy o Rusku // Vesmír 74. 103. 1995/2.*

Л.Ф. Широкова

ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ: РУССКИЕ ПЕРСОНАЖИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЛАДИСЛАВА ТЯЖКОГО

Место и идейно-художественная функция русского персонажа в словацкой литературе изменялись на протяжении послевоенных десятилетий. В конце 1940-х — начале 1950-х гг. наблюдается монументализация, порой схематизация фигур русских — советских партизан, солдат-освободителей. Романы конца 1940-х — 1950-х гг. дают примеры весьма условных типов русских партизан и солдат. Поскольку это, как правило, персонажи второго плана, они выписаны чаще всего скупно, пунктирно и изображаются хотя и с явной авторской симпатией, но обладают незначительным набором личностных черт. Способы авторской характеристики при этом определяются ролью персонажа, но прежде всего — творческой манерой писателя, свойственным ему художественным стилем¹.

Так, Йозеф Горак (1907–1975) тяготел к той лирической струе, которая была характерна для словацкой прозы 1930–1940-х гг. В своем романе «Горы молчат» (1947) он приближался к поэтике наиболее яркого течения тех лет — натурализма. Иные по идейному наполнению образы русских партизан находим в «Хронике» (1947) — последнем романе классика социалистического реализма Петера Илемницкого (1901–1949). Основная интонация при создании образов русских у Илемницкого — восхищение и братская

¹ Об этом, в частности, пишет словацкий исследователь И. Кусы; см.: *Kusy I. Premeny povstaleckej prózy. Bratislava, 1974.*

благодарность. Однозначные фигуры русских, несмотря на некоторые отличия, встречаются в целом ряде произведений 1950-х гг. Внутренний мир этих персонажей, чаще всего — партизан или красноармейцев, почти не раскрывается, поступки их «типичны» и лишены личной мотивации. Теми же условными чертами, что и Шукаев в «Хронике» Илемницкого, наделен и советский комиссар Игорь Жилко в романе Доминика Татарки (1913–1989) «Первый и второй удар» (1950). Схожие типы русских партизан встречаются в качестве эпизодических персонажей и у Владимира Минача (1922–1996) в романе «Смерть ходит по горам» (1947) и трилогии «Поколение» (1958–1961).

Во второй половине 1950-х гг. происходит постепенное ослабление жестких идеологических рамок, и словацкая литература ощущает необходимость преодоления сковывающих постулатов господствующего метода — социалистического реализма. Первичной ценностью вновь становится человеческая личность, на смену партийно-классовым критериям приходят нравственные. Меняется в этом направлении и военная проза, герои которой рассматриваются теперь изнутри, в более сложном спектре их переживаний и человеческих взаимоотношений. Более рельефно представлены теперь и русские персонажи; по-прежнему оставаясь фигурами чаще второго плана, они становятся намного более индивидуализированными.

Альфонс Беднар (1914–1989) в титульной новелле сборника «Часы и минуты» (1956) поднимает тему нравственных испытаний человека в условиях войны. Характерными чертами русских персонажей становятся здесь уже не героизм, отчаянная удаля или идейная стойкость, а человечность, душевность, понимание, более глубокой становится внутренняя психологическая мотивировка действий. Человеческие качества русских показывает и Ладислав Мнячко (1919–1994) в одном из самых известных своих произведений — романе «Смерть зовется Энгельхен» (1959).

В словацкой литературе второй половины XX в. наиболее богато и ярко — как по количеству, так и по разнообразию типов и характеров — русские персонажи представлены в творчестве Ладислава Тяжкого (1924–2011). Человек военного поколения, он сам пережил многое из того, что отразилось впоследствии в его книгах. Особенно трагическим был его опыт участия в войне против СССР в составе одной из двух действовавших там словацких дивизий. Тема участия

словаков в войне гитлеровской Германии против СССР («словаки на Восточном фронте») затрагивалась в литературе и прежде (в произведениях Д. Татарки, Р. Яшика, В. Минача), однако именно Тяжкому удалось наиболее ярко отразить антигуманную, жестокую сущность войны, которая ломала судьбы и калечила сознание людей — как словацких солдат, пришедших на советскую землю в рядах фашистских завоевателей, так и жителей оккупированных городов и деревень. В произведениях, созданных в 1960-е гг., — а это романы, повести и новеллы — писатель детально, порой натуралистично, показывает войну в ее почти бытовой, деморализующей повседневности и одновременно обобщенно-антигуманной сущности, когда врагами (убийцами, жертвами, героями) оказываются представители двух близких славянских народов.

Роман Л. Тяжкого «Аменмария. Только хорошие солдаты» (1964) — первая книга из цикла романов с главным героем (во многом автобиографическим) Матушем Зразом, именно здесь описаны события на Восточном фронте, свидетелем и участником которых он стал. Еще два романа, «Евангелие от ротного Матуша» (I, II), вышли в 1979 г.: в них продолжают военные злоключения героя уже в интернированной и разоруженной фашистами словацкой части в Румынии и Австрии.

Характерно, что Тяжкий не делает различия между понятиями «русский», «украинец», «советский». Так, Матуш Зраз увидев в одном из первых «русских» эпизодов романа местного железнодорожника, замечает: «Это был первый настоящий русский или украинец — все равно». Большинство «русских» персонажей — это жители юга СССР, в том числе и украинцы, которые воспринимаются словаками как русские; для героя-рассказчика русские — все люди, встреченные им на захваченной советской земле. Известный словацкий литературовед Ян Штевчек обозначил жанровую специфику этого произведения Л. Тяжкого, назвав его «роман-странствие». В своем исследовании «История словацкого романа» (1989) он подчеркивает: «Определение “только хорошие солдаты” звучит иронически, противореча действительности. Мотив несправедливостей по отношению к украинскому населению, насилия над ним постепенно приобретает балладный характер»¹. Этнические рамки

¹ Števíček J. Dejiny slovenského románu. Bratislava, 1989. S. 518.

не важны для молодого героя, воспитанного на коммунистических идеалах; главное для него — ощущение близкого родства с русскими и своей вины перед ними: «Я хочу им сказать, что меня сюда послали, но стрелять я не буду, что русские и словаки — братья»¹; рефреном звучат и его слова «Словаки — почти как русские».

Русские в романе — это многочисленные эпизодические фигуры и персонажи второго плана, встреченные Матушем на фронтовых дорогах, в оккупированных советских городах и селах; они чрезвычайно значимы для раскрытия эмоционального мира главного героя. Его возмущает потребительское отношение к русским его товарищей-военных, он переживает любовные драмы, в непрерывном внутреннем монологе-повествовании говорит о своих чувствах: жалости, сочувствии, разочаровании, стыде («Мне за все это стыдно, за то, что я здесь, за всех врагов стыдно...»). В ходе повествования русские персонажи включаются в сферу внимания и эмоций Зраза и — каждый по-своему — воздействуют на процесс становления его личности. Таким образом, во многом это роман воспитания, в котором присутствует и необходимый для этого жанра «наставник» — словацкий капитан по прозвищу «Аменмария», и «коллективный воспитатель», включающий в себя и встреченных Матушем русских.

Молодой коммунист и русофил, Матуш поначалу смотрит на русских восторженно, но постепенно понимает, что «русские — разные» (главка «Настоящие и ненастоящие русские» — «ненастоящие» тоже работают на немцев). Русские также по-разному относятся к словакам, многие воспринимают их как оккупантов, врагов. Так, одна из русских девушек, «магистр, интеллигент, комсомолка» Лена, на вопрос Матуша, что она думает о словаках и о нем, отвечает: он — «враг». Матуш, пораженный этим словом (по-словацки оно означает «убийца»), понимает, что часто «под улыбкой скрываются страх и злость». Другие же русские персонажи романа относятся к словакам почти по-родственному, как к братьям-славянам; в семьях, где квартирует Матуш, его зовут на русский манер — «Саша» и принимают в свой круг.

Особенно значимы в романе образы женщин с их нередко трагическими судьбами. Русские женщины представлены в романе «Аменмария» в разных планах. В массовых сценах они выступают как

¹ *Ľazký L.* Amenmária. Sami dobrí vojaci. Bratislava, 1964. S. 148.

коллективный персонаж. Согнанные на принудительные работы, они воспринимаются героем как безликая масса: «Девушки — грязные, потные, красные, в большинстве крепко сложенные <...> я смотрю на всех и не вижу ни одной» (с. 150). В главке под названием «Пришел поезд с рабынями, будет турецкий базар» пленные «девушки пищат, смеются и плачут», они также не индивидуализированы. Некоторые яркие фигуры второго плана проходят мимо Зраза, оставаясь безымянными и символическими жертвами войны («барышня», встреченная Матушем в поезде, «учительница», у которой он квартировал, и др.).

Трагические истории других показаны подробнее, и тогда автор дает им в романе имена и развернутые характеристики (Лида, Валя, Вера, Аглая). Их судьбы отражены в жестких, нередко натуралистичных сценах, когда описываются подробности гибели Вали, сумасшествие Веры, отчаянные поступки Аглаи. В рецензии, написанной вскоре после публикации романа, Ю. Ногге подчеркивал мотив чувственного, эротического аспекта в становлении характера Матуша: «Это книга о взрослении, о молодости и о любви. Об осмыслении любви, отношений мужчины и женщины, когда образы женщин порой лишь промелькнут, а порой оставляют в памяти глубокий след: “Вера вызывает во мне ужас, Аглая — стыд, Наташа — пренебрежение, Надя — отвращение. Мария — ничего. Елизавета? Жалость”»¹.

Русские персонажи выполняют важную функцию и в других произведениях Л. Тяжкого. В новелле «Грешница обвиняет тьму» (1965) центральная героиня — русская девушка Наталья, близкая по духу и судьбе к прежним трагическим женским образам писателя. Герой-рассказчик Йозеф Звара (своего рода «продолжение» Матуша Зраза) уже после войны воскрешает в своем воображении погибшую Наталью — «старшего сержанта Наталью Александровну», и та в длинном монологе рассказывает ему обо всем, что произошло с ней в конце войны. Угнанная на работы в Германию, она убегает из лагеря и находит пристанище в пограничном поселке, который лежит на противоположном от Братиславы берегу Дуная. Она оказывается в семье старого коммуниста Свитека, бывшего легионера, в понимании Натальи — «белочеха» («Отец — белогвардеец. И совсем

¹ Nogge J. Literatúra v pohybe. Bratislava, 1968. S 135.

этого не стыдится. У нас бы его...»¹). Свитек тяжело переживает удар, который нанес ему сын Янко, ставший ярым фашистом и эсэсовцем. Наталья чувствует себя у Свитеков в безопасности, но приехавший на побывку к родителям сын-эсэовец насилует ее. Группа красноармейцев, которая ищет пособников нацистов, преследует его, не церемонясь при этом ни с отцом (его арестовывают), ни с Натальей. От расправы ее спасает советский офицер, капитан военного судна; она становится санитаркой и вскоре погибает в бою. Прослеживаемая фабульная линия новеллы переплетена многочисленными отступлениями, лирическими и эмоциональными выражениями чувств героини, ее мысленными разговорами с уже далекими людьми, с Йозефом Зварой: «С той самой минуты, как меня увезли из Киева, я все время думала о любви и о смерти и боялась, что обе обернутся для меня насилием»; «На моем лице ты смело можешь написать черной краской: Проверено! Любви нет!»² Наталья — персонаж уже не вспомогательный, а вполне самостоятельный и цельный. Хотя она и «воссоздана» воображением героя-рассказчика, но сама становится, по сути, героем-рассказчиком. Определенная виктимность, роль жертвы войны, подспудный комплекс вины (который был характерен для персонажей первого романа) в начале повествования по мере развития ее характера нивелируются, все отчетливее проступают черты «героя» — смелость, самостоятельность, готовность дать отпор. Композиционное обрамление (экспозиция и финал) — говорит о ее героической гибели, окончательном освобождении от роли «грешницы» и переходе к функции «обвинителя».

В сложном по идее, композиции и стилю романе Л. Тяжкого «Погреб, полный волков» (1969) в системе русских персонажей (второго плана) происходит как бы наложение друг на друга двух стереотипов — отрицательного (русские — пьяницы, насильники, жестокие и легкие на расправу) и положительного (русские — красивые, сильные, справедливые, набожные). Эти стереотипы, воплощенные главным образом в коллективных персонажах, закрепились в сознании повествователя — словацкой сельской девочки Доминики Перуновой, через образное восприятие которой пропущены все события романа. Первый тип — впервые увиденные ею русские, обозленные

¹ *Ťažký L. Krdel' divých Adamov.* Bratislava, 1971. S. 225.

² *Ibid.* S. 273.

и опустившиеся партизаны, которые обосновались в деревне, — стал для нее олицетворением войны: «Сегодня война спустилась с гор в долину. Люди не закрывали глаза, не затыкали уши, они слушали, как она насвистывает “Катюшу”»; «Николай снова пришел к нам пьяный, а когда он пьяный, в нем живет война». Второй тип русских появляется позднее, когда Доминика с опаской ожидает прихода красноармейцев. Однако она видит, что те несут добро: они прогнали из деревни зловещих немцев, напоминавших ей смерть («Немецкая смерть засмеялась»; «Смерть вдруг повернулась ко мне»). Эти русские оказались совсем другими: они пришли накануне Пасхи, и их поступки были неожиданными и символическими. Сначала они искупались в холодной озерной воде («Русские смеялись и кричали, как дети в корыте»), а потом пошли в католический храм. Сельчане со страхом ожидали от них грабежей и святотатства, но тут снова случилось небывалое. Доминика с изумлением восклицает: «Русские молятся! В первый и в последний раз услышала я русскую молитву. Четырехголосное православное пение. Потом встали все двенадцать русских солдат, поклонились Господу Иисусу во гробе до самой земли. Тетка Беликова обернулась и украдкой перекрестила их. Как похожи русские на Иисуса. В тот миг мне показалось, что Христос встал из гроба и сказал что-то, по-русски...» И хотя потом Доминика видит, что и эти русские бывают разными: и обаятельными, и грубыми, главное — она чувствует возвращение жизни: «Убегай, смерть, русские пришли»¹. Русские персонажи в романе почти не индивидуализированы, это, скорее, коллективный герой в двух ипостасях. Лишь отдельные персонажи — такие, как молодой капитан Гриша, как подвыпивший солдат Матвей — раскрываются в большей мере, однако лишь в каком-то одном плане, несут на себе одну определенную смысловую нагрузку.

В заключение нужно отметить, что галерея русских персонажей прослеживается в словацкой литературе на протяжении всего периода ее послевоенного развития. Это и центральные герои, чьи характеры раскрываются в психологической глубине и художественной убедительности, и персонажи второго плана, выполняющие ту или иную конкретную функцию. В ряде произведений мы имеем дело со своего рода «коллективным героем», наделенным в большей степени

¹ *Ťažký L. Pivnica plná vlkov. Bratislava, 1969. S. 87, 188, 200.*

не личностными, а общими, типичными чертами (положительными или отрицательными). Индивидуализация, более детальная проработка образов встречается в тех случаях, когда автор отводит таким персонажам большую роль в сюжете, реализует в них значимую идейную нагрузку. В полной мере это демонстрируют произведения Л. Тяжкого.

Русские персонажи отражают в себе и традиционные, и вновь складывающиеся представления и стереотипы. Создаваемые писателями литературные образы и сами в свою очередь закрепляют в словацком культурном сознании близкие и понятные или, наоборот, отличные и неожиданные черты русского человека на новом, художественном уровне его восприятия.

Н.В. Шведова

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК В СОЗНАНИИ СЛОВАЦКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

У словацкого народа традиционно преобладали русофильские настроения. Как отмечала современный словацкий историк Б. Чернушакова, до 1968 г. словаки не имели причин недолюбливать Россию (Советский Союз): «Российская экспансия на Запад, от которой пострадала Польша в XVII веке, Чехию и Словакию не затронула, поэтому национальная идентичность чехов и словаков складывалась не в оппозиции к негативному образу русских как агрессоров»¹. После событий 1968 г., о чем еще пойдет речь, отношение словаков к Советскому Союзу (в меньшей степени — к русскому народу) стало в значительной мере более критичным и противоречивым. 1989-й — год «бархатной» революции — означал, по сути, крах не только социалистического лагеря, но и социалистической идеологии как его доктрины. Положение осложнялось и выяснением государственного статуса чехов и словаков, что привело в 1993 г. к образованию Словацкой Республики. Неприязнь к коммунистическому прошлому, ассоциировавшемуся с советским «прессингом», стремление к интеграции в Европу, экономические проблемы вызвали в 1990-е гг. ощутимое ослабление гуманитарных контактов между Россией и Словакией, в том числе — в области литературы². В XXI в., благодаря многим энтузиастам, культурное и научное сотrud-

¹ Чернушакова Б. Образ России в словацкой прессе после августа 1968 года // Мифы — стереотипы — образы. Восприятие России в Словакии. Братислава–Йошкар-Ола, 2010. С. 120.

² См. об этом: Машкова А.Г. Словацкая литература в России (вторая половина XX века) // Меценат и Мир. 2001. № 14–16. С. 315.

ничество России и Словакии успешно продолжается на новом уровне. Словаки заинтересованы, в частности, в публикациях своих художественных и научных сочинений на русском языке, что обеспечивает им широкую читательскую базу. Это относится, например, к антологии словацкой поэзии «Голоса столетий» (М., 2002) и к сборнику исторических работ «Мифы — стереотипы — образы. Восприятие России в Словакии» (Братислава–Йошкар-Ола, 2010).

Из навязчивых негативных стереотипов, бытующих среди словаков, можно назвать русского солдата, во время Второй мировой войны укравшего на территории Чехословакии часы. В духе черного юмора обыгрывает этот стереотип словацкая писательница, литературовед-русист, переводчик русской литературы Эва Малити-Франёва (р. 1953) в пьесе «Крхень Бессмертный» (в русском переводе Нины Шульгиной «Коршак Бессмертный»)¹. Малити-Франёва получила образование в Советском Союзе (исторический факультет МГУ), занимается русским символизмом. Пьеса, переделанная из ранее опубликованной повести (сборник «Гора-недомерок», 1994), стала драматургическим дебютом автора и получила первую премию на общесловацком конкурсе «Театральное троеборье — Драма 2001». Ее поставили в лучших словацких театрах: Братиславском национальном и Театре Словацкого национального восстания в Мартине (братиславская премьера — 2003 г.). В 2004 г. презентация пьесы состоялась в московском Театре имени Гоголя, отрывки из нее читал известный словакист Михаил Письменный.

Центральный персонаж, словак Крхень, — олицетворение зла: лгун, циник, приспособленец, развратник. Его якобы партизанское прошлое обрисовано с сарказмом. В ходе Словацкого национального восстания (осень 1944 г.) и после его подавления в партизанском движении участвовали бойцы Красной армии, заброшенные в Словакию десантом. Они традиционно изображались положительно («Хроника» П. Илемницкого, 1947, и др.). В пьесе Э. Малити-Франёвой, напоминающей театр абсурда, русский возникает лишь в воспоминаниях явившегося с того света партизана Дюро Марцина (который наблюдал эту сцену, уже будучи застреленным). В тексте прямо не сказано, что часы краденые, но другого происхождения у них в данном случае быть не может. Русский вроде бы тоже убит, он не простой солдат, на нем офицерская форма. Самое смешное — то, что украл он не наручные часы,

¹ Опубликовано в журнале «Современная драматургия». 2004. № 2 (апрель — май).

как это в действительности бывало, а громоздкие часы с боем, которые таскал с собой во время сражений. Русский вдруг оживает и обвиняет Крхеня в намерении украсть его часы, но Крхень убивает его вторично. На наш вопрос о «русском с часами» автор ответил, что воспринимает этот образ именно как анекдотический стереотип и обыгрывает его иронически.

В целом же словаки относятся к России и русским с симпатией, и ее не могут заслонить политические катаклизмы. Показателен пример знаменитой эстрадной певицы Марики Гомбитовой, которая значит для Словакии не меньше, чем для Франции — Эдит Пиаф. Материалы о ее жизни и творчестве опубликованы в книге чешских журналистов Мирослава Грацлика и Вацлава Неквапила «Марика Гомбитова. Неавторизованная жизненная история легенды чехословацкой поп-музыки» (Прага, 2008). Правда, на первых страницах книги, в рассказе о родной деревне певицы, приведены слова ее отца Михала Гомбиты, органиста местного костела, о том, что во время войны его орган «испортили русские». Это единственное негативное упоминание о русских, и надо думать, что орган испортили не нарочно, а во время боевых действий в Восточной Словакии.

Марика Гомбитова (р. 1956) стремительно ворвалась в чехословацкую песенную элиту во второй половине 1970-х гг., завоевала немало призов на конкурсах, в том числе Гран-при престижного для Восточной Европы фестиваля в польском Сопоте (1980). На взлете карьеры, в декабре 1980 г., двадцатичетырехлетняя Гомбитова получила тяжелейшие травмы в автокатастрофе (перелом позвоночника с повреждением спинного мозга, перелом грудины и ребер) и осталась парализованной. Ей пытались помочь советские врачи, сделав сложную операцию в 1982 г. (67-я московская больница). К сожалению, на ноги она так и не встала, но сама говорила, что все силы бросила не на физическое восстановление, а на возвращение на сцену (она пела и играла на клавишных инструментах, сидя в инвалидной коляске). Певица в интервью 1980-х гг. тепло и с благодарностью отзывалась о советской публике, перед которой выступала незадолго до аварии, о журналистах и музыкантах, помогавших ей во время лечения в СССР (Дмитрий Колесник, Павел Слободкин и группа «Веселые ребята»). Самые трогательные слова Марика говорила о русском нейрохирурге, заведующем кафедрой травматологии и ортопедии Первого медицинского института, профессоре Георгии Юмашеве, который ее оперировал. «Милый, золотой профессор Юмашев. Он позволил мне вернуться

к жизни, вернуться на эстраду. Не знаю, но чем-то он мне напоминает моего отца»¹. В годы войны Юмашев был в частях Красной армии, освобождавшей Чехословакию. В день пятидесятилетия Гомбитовой, 12 сентября 2006 г., работники посольства России в Словакии принесли ей большой букет цветов и подарки. К сожалению, певица с годами все больше отгораживалась от мира и не принимала поздравления лично, но можно испытывать радость и гордость за наших соотечественников, которые любят и помнят замечательную певицу. Ее очень любили и мы, студенты филфака МГУ. Примечательно, что в книге Градлика и Неквапила из зарубежных поздравляющих названы только представители России.

К московским врачам попала после теракта в «Домодедове» и словацкая актриса Зузана Фиалова, игравшая, кстати, в пьесе «Крхень Бессмертный» в Национальном театре Братиславы. «Она рассказывает о происшедшем эмоционально, — пишет корреспондент московской газеты. — “Физические травмы затянутся, — говорит Зузана. — Но душевные раны останутся навсегда”. Первым ее желанием было улететь на родину, но, увидев, какие условия в больнице, какой квалифицированный персонал и уровень хирургии, приняла решение долечиваться здесь (в 64-й больнице Москвы. — *Н.Ш.*)»².

Тяжелым ударом для русофильски ориентированных словаков стал ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 г. Непосредственную реакцию словацких писателей на эти события проанализировала Л.Ф. Широкова³. Боль оттого, что насилие принесли с собой русские братья, ярко выразил в стихах, например, видный поэт Ян Стахо (1936–1995). В газете «Культурная жизнь» («*Kultúrny život*») он опубликовал по горячим следам сонет «Нет (о ночи на 21 августа 1968 г.)». Нерв этого стихотворения — ощущение «предательства» со стороны русских, к которым словаки шли с открытым сердцем. Сбивчивая, задыхающаяся речь, контрастирующая со строгими рамками сонетной формы (исходно — жанра любовной поэзии), заканчивается строкой о солдате, укрытом броней танка в прямом и переносном смысле, направившем орудие против мирных

¹ *Graclík M., Nekvapil V. Marika Gombitová. Neautorizovaný životný príbeh legendy česko-slovenskej pop-music. Praha, 2008. S. 141. (Словацкая версия.)*

² *Мухеев Г. Душевные раны останутся... // За Калужской заставой. 2011. Февраль. № 3 (670). С. 2.*

³ *Широкова Л.Ф. 1968 год в зеркале словацкой литературы // 1968 год. «Пражская весна» (Историческая ретроспектива). М., 2010.*

жителей: «Этот — не брат! Он не славянин!». Слово «Нет» в заглавии («Nie») переключается с финальной строкой: «Nie je ten bratom! Nie je Slovanom!»¹

Б. Чернушакова в цитированной статье писала:

Политическая верхушка, культурная элита, население — каждый из них относился к СССР, к режиму, нации и населению страны, направившей к нам танки, по-разному. Общая картина получается немного шизофренической: советские люди остались нашими братьями, друзьями и союзниками, но братьями, которых мы презираем, друзьями, которым не верим, и союзниками, которых боимся².

Такая раздвоенность, конечно, могла появиться и у конкретных людей, но все-таки в этой емкой фразе чувствуется эффект наложения друг на друга разных фотографий. Собственно, об этом исследовательница и предупредила.

Ведь и в 1970-е гг., на фоне «нормализации», ряд писателей сохранил благожелательное отношение не только к русским, но и к Советскому Союзу. Достаточно вспомнить Мирослава Валека (1927–1991), крупнейшего поэта послевоенной Словакии (поэма «Слово», 1976). Могут заметить, что Валек (в те годы министр культуры Словакии), Владимир Райсел (главный редактор журнала «Словенске погляды») и другие деятели культуры писали благосклонно о Советском Союзе, боясь потерять свое привилегированное положение. Относительно Валека стоит сказать откровенно: пост министра не был благоприятен для его поэтического творчества, на которое почти не оставалось времени. В 1980-е гг. Валек новых стихотворных сборников не публиковал и говорил в интервью, что ему приходится писать официальные выступления и тому подобные тексты. Тем не менее он на страницах чешского еженедельника «Кмен» высказался с присущей ему определенностью: «Во мне нет раздора между творцом и политиком, поскольку в том, что я делаю в политике, я уверен»³. В его «Слове», поэме о судьбе творческой личности, звучат исповедальные строки о романтических блужданиях по Москве, одновременно незнакомой и родной, о красавицах москвичках — и о тех жертвах, которые понесла

¹ Stacho J. Nie // Trnavská skupina — konkretisti. Bratislava, 2006. S. 187.

² Чернушакова Б. Образ России в словацкой прессе после августа 1968 года. С. 133.

³ Stručně řečeno: být současný (na otázku Kmene odpovídá národní umělec Miroslav Válek) // Kmen. 1985. 20. listopadu. S. IV.

«русская земля» за свою нелегкую историю¹. Русофильство Валека взросло на почве словацкой традиции XIX в., усилилось за счет личных обстоятельств (женитьба на русской), обогатилось чтением и переводами русской поэзии XX в. Среди его переводов — А. Вознесенский, Г. Айги (книжные издания 1964 и 1967 гг.), а также А. Белый, В. Хлебников, М. Цветаева, М. Светлов, Л. Мартынов, Е. Евтушенко, В. Солоухин, М. Луконин и др. Не в последнюю очередь симпатии Валека к Советскому Союзу были обусловлены приверженностью коммунистическим идеям. Отказывать «Слову» в художественном мастерстве только по этой причине, что пытаются сделать словацкие литературоведы, — неоправданная расточительность.

Стихи поэтов старшего поколения, переживших войну в молодости и отдавших дань послевоенному ликование, и в 1970-е гг. исполнены любви к русским. Это сборник Владимира Райсела «Глаза и березы» и поэма Рудольфа Фабри «Приглашение небес» (оба произведения — 1972). Первый посвящен встречам в Советском Союзе, вторая — советским космонавтам, в частности памяти экипажа «Союза-11», погибшего при возвращении на землю (Г. Добровольский, В. Волков, В. Пацаев). Фабри (1915–1982) и Райсел (1919–2007) — ведущие поэты словацкого надреализма (сюрреализма) в 1930–1940-е гг., еще тогда ориентировавшиеся на «революцию поэзии и поэзию революции», по меткому выражению выдающегося поэта Лацо Новомеского. Русский человек для них в названных книгах — освободитель Европы, борец против фашистской агрессии. В Словакии, кстати, до сих пор чтят захоронения советских солдат. После войны этот человек занялся мирным трудом, восстанавливая разрушенное и создавая новое.

У Райсела практически в каждом сборнике 1950-х гг. («Мир без господ», 1951, «Дома», 1953, «Любимые любящие», 1954, «Море без отлива», 1960, и др.) присутствует мотив благодарности советским воинам-освободителям. Войну поэт переживал как трагедию, освобождение — как приход новых, безбрежно счастливых времен. Особенно это заметно в сборнике надреалистического периода «Зеркало и за зеркалом» (1945). «Глаза и березы» Райсела — портреты современников

¹ О поэме «Слово» см.: Богданова И.А. Валека М. Слово // Современная художественная литература за рубежом. 1977. № 3; Будагова Л.Н. Слово, за которым стоит жизнь // Современная литература Чехословакии в контексте литератур европейских социалистических стран. М., 1981; Шведова Н.В. Москва в поэме Мирослава Валека «Слово» // Россия в глазах славянского мира. М., 2007.

(цикл «Глаза») и персонификация российских просторов, те же портреты опосредованно (цикл «Березы»). Это образы, полные романтического воодушевления, проникнутые уверенностью в завтрашнем дне, которой так не хватало Райселу в конце 1930-х — начале 1940-х гг. Лирическая стихия окрашена неподдельной искренностью, порой с отзвуком давней эйфории, но Райсел, как и Фабри, остается прирожденным поэтом. У Райсела даже самая благостная картина в общем контексте пронизана трагическими воспоминаниями войны, создавая тревожную вибрацию. В автоэпиграфе к книге поэт говорит: «Я много видел, порой плохо, / вдыхал запах леса и комьев земли / <...> встречал я миллионы глаз / и шаг, что никогда уж не шагнет. / Живые и мертвые во мне живут / и расцветают в нас»¹.

Книга интересна и своим «минимализмом», лаконичностью и простотой построения. Почти все стихотворения называются одним словом. В первой части («Глаза») это обозначения людей (их профессий, возраста), во втором («Березы») — географические понятия (реки, моря, степи, пустыни) и то, что уже непосредственно связано с человеком (могилы, памятники, вишневые сады). Каждое стихотворение — лирическая миниатюра, названия — метафоры человеческой жизни. Такие, казалось бы, нейтральные названия, как «Историки» или «Шахматисты», раскрываются в символическом значении творцов истории и ее фигурантов.

Мнимо проигранное и за нас выигрывали
пешки непреклонные, твердые как скалы,
те, что в семнадцатом дали самый славный мат.

(«Шахматисты», с. 26)

Слово «пешка» («pešiak», также «пехотинец») может вызвать нежелательные ассоциации (человек, слепо исполняющий чью-то волю, «винтик»), но для Райсела здесь оно воспринимается как символ простого человека, способного в массе творить историю. Примечательно, что стихотворение о шахматных партиях построено как сонет. Аналогию между шахматами и человеческими судьбами проводил в своем раннем стихотворении «Шахматы» и Мирослав Валек (цикл «Спички»,

¹ *Reisel V. Oči a brezy. Bratislava, 1972. S. 7.* Далее цитаты по этому изданию, перевод подстрочный.

1950-е гг.), но это камерная, негражданская лирика, и фигуры обыгрываются иначе. Оба стихотворения, как и шахматная партия, заканчиваются словом «мат». У Валека:

Пусть партию выигрывают кони;
но лишь один король получит мат¹.

«Король» у младшего поэта — неординарная личность, которая даже в проигрыше своем возвышается над преуспевающими «конями». Психология «винтиков» над Валеком не тяготеет.

В стихотворении «Космонавты», по теме созвучном поэме Фабри, Райсел вспоминает и о прошлом, когда простой народ унижали «господа в соболях», и о нерасторжимой связи с родной землей человека, летящего к звездам, не забывает о «красной звезде на голубом комбинезоне» (в других его стихотворениях звезда на каске или шапке является знаком воина-освободителя). «Они одни, но чувствуют себя в толпе, / как будто ростки в озимых» (с. 27). Сопричастность какому-либо движению как противовес одиночеству выдвигал и Валек («человек среди людей» — поэма «Робинзон», дерзко соединившая полет выпавшего из окна самоубийцы с полетом человека в космос, 1961). Слово «dav» (толпа, масса) — название журнала интеллектуалов-коммунистов в межвоенной Словакии, символ массового движения. Мирное небо, окружение друзей — главные ценности Райсела и в разбираемой книге. Без «зорких орлов со звездой на шапке», т. е. солдат Красной армии, родная земля поэта с ее птицами и цветами была бы «лишь восковой свечой, исчезающей капля за каплей» («Орлы», с. 15). Пронзительное ощущение родины скрашивает патетический образ «орлов» — традиционный романтический символ словацкой литературы, делает стихотворение выстраданным. Стихотворение «Освободители» посвящено воспоминанию о «кудрявом инженерере из Одессы», с которым лирический герой встречался более чем четверть века назад (это проходит рефреном) и судьбы которого он не знает, может только гадать о ней: «Мечтает, живет / или лежит мертвый у нас где-то?» (с. 16) Частные судьбы, личные интонации согревают стихи, не дают им превратиться в дежурное проявление лояльности. Советские люди — это и молодежь, и дети, не знающие войны, живущие своими повседневными интересами. Рядом с ними поэт порой начинает

¹ Válek M. Básne. Bratislava, 1981. S. 26. Стихотворный перевод автора статьи.

ощущать свой возраст (стихотворение «Женщины», намекающее на важнейшую для Райсела тему любви). «Руки», «Глаза», «Друзья» — в немногословных строчках стихов сквозит ощущение искренней и верной дружбы, опоры, поддержки.

Во второй части книги — по сути, те же темы прошедшей войны с ее жертвами и заветами живым, скупые на краски картины мирного труда. Деревья, лес становятся символами неугасающей жизни, вечно обновляющейся: «Вы бессмертны, березы» («Березы», с. 44);

Один великан упадет где-то,
сразу же другой пробуждается к жизни,
таким ты был, русский лес,
давным-давно, вчера. Таков ты и сегодня.

(«Леса», с. 45)

Символически осмысляются и пустыни: «Нет пустынь в дружественной душе, нет их и в нас» (с. 50). Словацкий критик Павол Штевчек писал о творческой мастерской поэта:

Можно было бы даже сказать: это райселовский лирический принцип глаз и берез, т. е. контакта чувств с живой действительностью. <...> Идеиное завершение стихотворения здесь достойно величия простой лирической рефлексии, мысли. И так почти во всех стихах сборника Райсела, который вновь подтверждает, что идейность поэзии живет не в замещении словом и жестом, но в личностном лирическом претворении неповторимого впечатления¹.

Рудольф Фабри в «Приглашении небес», «поэме о космонавтах», строит произведение как лирический монолог одного из них, русского парня, у которого есть родина, семья, любимая женщина. Поэма также несет в себе романтический пафос, связанный с полетами в неизведанные дали Вселенной. По форме произведение Фабри резко контрастирует с миниатюрами Райсела: поэма обстоятельна, многословна, насыщена красочными образами. Она построена традиционно, с контурами сюжета, имеет открытый финал, в котором звучат тревожные

¹ Števec P. Literatúra v epoche socializmu: Vladimír Reisel // Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava, 1984. S. 647.

ноты предощущения смерти, уравновешенные философским пониманием бренности человека и бессмертием его мечты. На обложке книги автор, в частности, признается:

Я отважился написать поэму, форма которой, пожалуй, не созвучна суматохе и темпу нашего времени. Возможно, она покажется молодым недостаточно современной, недостаточно впечатляющей и «старомодной». Это связано с эпичностью данной литературной формы. <...> Но даже это обстоятельство ничего не меняет в искренности моего высказывания, которым я хочу поблагодарить вместе с миллиардами людей советских космонавтов, пусть и уже мертвых, но все-таки незабываемых, за то, что они пожертвовали своими жизнями, непобежденные и одерживающие верх над ловушками еще не совсем спокойной вселенной.

В «Прологе» Фабри выступает еще от имени лирического героя, поэта, чья фантазия разыгрывается при свете луны, взлетая до небес.

Каждый из поэтов, как звезда Сверхновая,
угаснув, пробуждается и вырастает снова,
оживая опять, как в хоре «аллилуйя»¹.

Отметим, как проскальзывает в атеистической поэме христианский образ. Фабри, как и впоследствии Валек, начинал свой путь в русле католической поэзии.

За «Прологом» следует «Интермеццо» — размышления советского космонавта Виталия Севастьянова о привязанности космонавтов к родной планете, ее природе, ее запахам, которая только усиливается в космическом пространстве. Сама поэма делится на части с простыми заглавиями: «Детство», «Прощание с Землей», «Прощание с Леной», «К дядям». Перед читателем неспешно проходит жизнеописание будущего космонавта, полное мелких деталей, «сочных» подробностей. При этом поэт не забывает о том, что речь идет о русском человеке, и окрашивает детали национальным колоритом, вплоть до русизмов: «cholm», «derevña», «skazky». Желание познать далекие миры вырастает из детских фантазий и приключенческих историй. Фабри отдает дань и

¹ *Fabry R. Pozvanie nebies. Bratislava, 1972. S. 9.* Далее цитаты по этому изданию, перевод подстрочный.

гипотезе, согласно которой жизнь на Земле появилась из космоса, первые люди были потерпевшими крушение астронавтами. Земля приютила их, стала им новым домом. Они стали здесь видеть сны, в которых происходят чудеса. Нельзя не увидеть в этом отзвук надреализма с его опорой на сны, грезы, видения. Эти сны в поэме оптимистичны:

...Ибо сны показывают возможность сегодняшнего
и завтрашнее воплотить стремятся,
отпугивают лягушек безнадежности,
что сели на источник открытий... (с. 26)

«Лягушек безнадежности» было предостаточно в надреалистическом творчестве Райсела, у Фабри их все-таки было меньше. Апокалиптические картины носили у него скорее характер предостережения. Впрочем, Павол Штевчек с полным правом констатирует, говоря о позднем творчестве Фабри, уже омраченном тяжелой болезнью, диабетом: «...в конце концов, мотив смерти является одним из его лейтмотивов»¹. Не обходится без него и «Приглашение небес».

Ведь хватит одного миллиметра,
лишь чуточки времени, мига ошибки,
чтобы их полет стал вечным странствием
и чтобы они сами себя осудили на гибель
<...>
чтобы обратно до Земли не долетел
и не вернулся ни один из них... (с. 54)

Однако поэма, посвященная погибшим космонавтам, заканчивается гимном человеческим дерзаниям, безграничной верой в возможности человека.

Кто с песней возносится ввысь, к звездам,
тот с ней назад наверняка вернется победителем! (с. 54)

Так и чудится здесь отзвук еще довоенных советских фильмов с их бравурными песнями: «И тот, кто с песней по жизни шагает, тот

¹ Števček P. Literatura v epoche socializmu: Rudolf Fabry // Dejiny slovenskej literatúry. S. 643.

никогда и нигде не пропадет...», «Нам нет преград ни в море, ни на суше...». При всей иллюзорности, это поддерживает веру в жизнь. Грех уныния осуждает и христианская религия.

Фабри добавляет как своеобразный эпилог официальное сообщение советского руководства о гибели экипажа «Союза-11» — Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева, — о посмертном присвоении им званий Героев Советского Союза и о значении их полета для дальнейшего освоения космоса. Автор «с благодарностью и восхищением» отдает дань памяти космонавтам своей поэмой. Искренность, лиризм, полеты фантазии скрашивают ее наивную веру в торжество справедливости.

И для Фабри, и для Райсела характерна верность идеям революции и коммунизма, с которыми они соприкоснулись еще в молодости. Здесь и священное для них имя Ленина, и Советский Союз как могучая мирная держава, устремленная в будущее. Русский человек, таким образом, — освободитель, созидатель, покоритель космоса. Это верный друг («Руки» Райсела и др.).

Две небольшие книжечки былых мэтров словацкого надреализма не стали шедеврами национальной поэзии, но и сбрасывать их со счетов не следует. Образ русского человека, наделенный чертами романтической идеализации, все же зиждется в них на реальной основе: победа над фашизмом, успехи в науке и технике.

Разумеется, события рубежа 1980–1990-х гг., изменившие облик Восточной Европы, разрушили идеализированный образ, поддерживавшийся государственной идеологией. К сожалению, молодое поколение словаков часто не знает русского языка и не интересуется жизнью славянского соседа. Однако вслед за неизбежным отторжением русского / советского жизнь возвращается в нормальное русло. О возрождении интереса к русскому языку и культуре, расширении их преподавания, культурных контактах Словакии и России рассказывает, например, в интервью газете «Литерарни двойтижденник» вице-президент Ассоциации русистов Словакии, профессор Эва Колларова (2009)¹. В своей образовательной программе «Европейские культурные исследования», подчеркивает Колларова, она делает «значительный акцент на интерпретацию синтетической русской культуры, на определенные межкультурные сравнения, которые и сегодня нельзя себе

¹ Интервью в переводе автора статьи перепечатано в российском культурологическом журнале «Меценат и Мир» (2010. № 45–48. С. 535–538).

представить без добросовестного, не поверхностного знания русской художественной культуры, то есть не только литературы, но и других родов искусства»¹.

Это происходит и в современной словацкой поэзии. Русский человек (не обязательно русский по национальности) осознается часто в связи с культурным наследием и воспринимается положительно. Таково, например, стихотворение Павла Яника (р. 1956) «Пушкин» — имя русского гения символизирует поэта вообще, с его взрывоопасной судьбой (сб. «Да будет запах твой», 2002). Оно откровенно переключается со стихотворением классика словацкой поэзии Янко Есенского (оставшегося русофилом, несмотря на отрицательное отношение к Октябрьской революции) «Смерть Пушкина» (1932). Решающие события в жизни поэта здесь, как и у Яника, соотносятся со строками его стихов. Яник дополнительно использует игру слов, что для него вообще характерно (и связывает его с Валеком), но препятствует адекватному переводу. Приведем фрагменты стихотворений в подстрочном переводе.

У Есенского:

Стих затрещал огненный,
рифма просвистела последняя,
свинцом ты написал последнюю свою строчку
<...>

Стих с точкой красной.
И за ним пауза².

У Яника:

Поэт с головой в стволе оружия (s hlavou v hlavni).
Каждый герой раз в жизни — главный (hlavný).
В конце всегда загремит и поразит тебя неотвратимая рифма³.

¹ Там же. С. 537.

² *Jesenský J. Spisy. Bratislava, 1960. Zv. 4. S. 211.* Стихотворный перевод Ю. Вронского слегка неточен (исчезло слово «рифма»).

³ *Яник П. Починка Титаника. Калуга, 2004. С. 134.* — На с. 135 приведен наш стихотворный перевод, учитывающий рифмы, которые у словацкого поэта появляются крайне редко и здесь, несомненно, обусловлены пушкинским творчеством. В статье использован подстрочник, поскольку мы, как и Ю. Вронский, ради формы немного отступили от оригинала (причем тоже со словом «рифма», которое у нас сместилось).

Для поэта, литературоведа и переводчика Яна Замбора (р. 1947) Россия — прежде всего русская литература. Он переводил (в основном в 1980-е гг.) В. Брюсова, М. Лермонтова, А. Ахматову, М. Цветаеву, в 1990-е — Б. Пастернака, Г. Айги. Последнего, кстати, словакам впервые представил своими переводами Мирослав Валек. Замбор также писал научные статьи о переводимых им русских поэтах. Возникают они и в его стихах: например, чувашский поэт Геннадий Айги видится как родственная душа, «брат» («Айги», сб. «Сопрано дождевых капель», 2000). С русской поэзией связано и импрессионистически окрашенное стихотворение «На могиле Бориса Пастернака» из сборника «Меланхолический жеребец» (2003). «На незапятнанный снег / <...> положить / веточку красной рябины / Ибо он тоже был / терниями коронован» — и далее развито сравнение с распятым Христом¹. А в стихотворении «Чем я к вам приближусь» отчужденные, занятые своими делами молодые москвичи — просто «наши дети», другое поколение, как и в Словакии. «С каким словом / к вам обратиться, / с чем?»²

Русский человек в восприятии словацкой интеллигенции последних сорока лет — как правило, представитель страны с богатой культурой и историей, страны-освободительницы во Второй мировой войне, добившейся успехов в освоении космоса, в медицине. Основой для таких впечатлений становятся личные дружеские контакты, а также чтение русской литературы.

¹ Zambor J. Melancholický žrebec. Bratislava 2003. S. 143, 144. Перевод автора статьи (в оригинале верлибр).

² Ibid. S. 145.

Дагмар Подмакова

**СЛОВАЦКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПЬЕС
А.П. ЧЕХОВА И ВЛИЯНИЕ ИХ ГЕРОЕВ
НА СОВРЕМЕННУЮ СЛОВАЦКУЮ ДРАМУ И ОБЩЕСТВО**

Сейчас мы живем уже во втором десятилетии XXI в. Мы реально и образно вырубам сады. Нас окружает огромное количество Лопухиных, которые не желают и не могут понять, что не все принимают правила игры «нового» общества, где все старое уходит и наступает новый — лучший (в самом деле — лучший?) мир.

Не имея в руках топора, мы отчетливо слышим его удары — по основам морали, по нравственным ценностям личности и всего общества. Растет пропасть между старым и новым восприятием мира. Уходящий в прошлое мир представляют старшее и среднее поколения, новый — молодежь. Проецируя эту упрощенную схему на театральное искусство, мы понимаем, что ушла в прошлое драма аристотелевского типа с ее формальной и содержательной целостностью (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка). Так называемая новая драма уже покидает литературу. Ей становится присуща фрагментарность, характеры ее героев не развиваются, это, как правило, неудачники, люди разочарованные, избавившиеся от всех иллюзий; их жизнь пуста. Обнажая тело и душу, новая драма тем самым пытается шокировать, лечить, искать идентичность. Однако притупленность чувств, игра любви и предательства, сексуальность, грубость — весь этот набор приемов, обращенный к обществу, уже так не шокирует нас, как прежде.

Вспомним драматичную попытку Треплева в чеховской «Чайке», когда сын с помощью театра хочет рассказать матери о себе. Спектакль

никому не нравится, кроме Дорна (предвестник нового мира), так как в нем отсутствует действие; он выражает лишь треплевские ощущения. Мать больше других критикует сына за декадентское произведение. Обратим внимание, как Чехов предсказал то, что принес с собой постмодернизм и что в полной мере проявилось в так называемой cool-драме или в in-yeer-face (face to face — лицом к лицу). Там персонажи уже открыто противостоят родителям, старому миру, в своих чувствах передают отношение к миру, хотя их никто и не понимает.

В традиционных интерпретациях чеховских «Трех сестер» режиссеры тонко играют с отношениями действующих лиц, подчеркивая тем самым, что все, собственно, остается по-старому. Остановимся на трех разных вариантах «Трех сестер», которые в соответствии с замыслом Антона Павловича открывают перед нами скрытые чувства и понятия.

В 1994 г. режиссер Соня Феранцова в Театре им. Яна Паларика (Divadlo Jána Palárika) в городе Трнава с помощью молодых исполнителей продемонстрировала новые времена на фоне образов старого мира. Она начала с условного взгляда на Москву с ее традиционными ценностями (Большой театр, Музей Ленина, Университет им. М.В. Ломоносова) как кинопроекции, для того чтобы потом предложить современный, ничего не скрывающий образ (например, Маша срывает юбку с целью показать синяки от страстных поцелуев Вершинина). Действующие лица открыто демонстрируют эгоизм, бесцеремонность, лень, фальшь, наглость и мещанство, которые стали распространяться в Словакии на пороге формирования нового общества после политических событий 1989 г. Актрисы не изображали грустных, измученных бедных женщин, закутанных в традиционные платья. Они играли без эмоции. Первые сцены спектакля напоминали фильмы Н. Михалкова, где действие будто останавливается, диалог идет вроде бы не о важном, чтобы возникла драматическая ситуация. Таковы были сцены с Вершининым, которого играл молодой актер, красавец, принесший на сцену личную харизму и драматизм. Его реплики о будущем, обещания о встрече в Москве вступали в противоречие с традиционной интерпретацией значения реплик Чехова, а также с репликами остальных действующих лиц.

Сцена (беседка с белой садовой мебелью) постепенно окутывалась плющом, который метафорически проникал и в их мысли. В постмодернистском конце инсценировки артистки, постепенно менявшие театральные костюмы на современную одежду (например, до мини-юбки),

без всякого воодушевления декламировали известные чеховские слова о необходимости работать и жить¹.

В начале нового тысячелетия (2003) в Театре им. А. Багара (Divadlo Andreja Bagara) другой режиссер — Светозар Спрушанский — метафорически и реально поместил дом Прозорова в краеведческий музей города Нитра. Историю трех сестер, скорее веселых, нежели разочарованных и грустных, он сопроводил фигурой, нередко самой важной в музее (и не только), — дежурной (метафора политической системы) по имени Наталия, которая и у Чехова терроризирует весь дом. Зритель является участником представления, напоминающего сканзен (музей народной культуры), — так выглядит семейный праздник, который проходит в разноцветных национальных костюмах, зрителям предлагают выпить и закусить. Поют русские романсы, играют на рояле и скрипке. Действие пронизывают спонтанность, дружеские отношения, надежда на любовь, на лучшую жизнь. Наталия энергично заканчивает веселье. Сестер от скучной и безутешной жизни не избавляет и говорящий на чешском языке Вершинин (метафора разделенного общества — 1 января 1993 г. Чехословакия распалась на два самостоятельных государства — Чешскую и Словацкую республики; следует напомнить, что в Чехии всегда говорили на чешском, а в Словакии — на словацком языке).

Костюмы сменились, как и настроение действующих лиц, которые, с одной стороны, виделись как «грустные серые тени, с другой — как эфирные существа, нередкие экспонаты в музее»². Вторая часть спектакля переходила от веселья словно к ощущению одиночества, брэнности, ухода, физической и психической смерти персонажей пьесы. Из-за дверей слышались какие-то голоса, звуки звякающих ключей и тишина. Все ушли — из дома Прозоровых, из музея, старая жизнь окончилась, вне ее, за стеной — новая жизнь. Может быть и другая интерпретация — время работы «актеров» музея, играющих для зрителей драму А.П. Чехова в сайт специфик музея, закончилось. Все это метафора нашей жизни, которая не отличается от жизни действующих лиц пьесы.

В братиславской постановке «Трех сестер» (2008) известного режиссера Романа Полака с драматической труппой Словацкого нацио-

¹ См: Podmaková D. Divadlo v Trnave Ako sa hľadalo 1974–2006. Братислава–Трнава, 2006. С. 140.

² См: Uličianska Z. Tým, ktorí odchádzajú // Sme. 17.3.2003. [Электронный ресурс] URL: <http://divadlo.sme.sk/c/843068/tym-ktori-odchadzaju.html#ixzz1mjPoRwKC> (дата обращения 02.02.2014).

нального театра (Činohra Slovenského národného divadla) Наташа уже не хозяйничает в доме Прозорова, который перенесен в Чечню периода войны. Это эlegantная дама, идущая к своей цели (например, выражение явного превосходства в начальной сцене, представляющей физическую близость Наташи и Андрея, когда она садится на него верхом). Маша на сцене почти насилует Вершинина, для нее не представляет проблемы попытаться задушить спящего мужа подушкой. Только по-детски наивная Ирина своей активностью и искренностью вносит в жизнь радость. Вся постановка пронизана сексуальностью, взаимопониманием и страстным желанием жить, чему не соответствует единение трех сестер перед внешним миром, когда они бесстрашно смотрят зрителю прямо в глаза¹. Как пишет другой критик, «три белые стены дают возможность легко менять место действия, они словно экран, показывающий картины — паноптикум испорченных жизней»².

Словацкий театр понимает Чехова. В стратегии театров (работа завлита, концепция репертуара) пьесы Чехова являются надежной опорой. Нет такой словацкой пьесы, которая бы сочетала в себе все человеческие порывы с возможностью столь широкой интерпретации, которую более ста лет назад предложил нам Антон Павлович Чехов. Европа стала «открывать» Чехова в период горбачевской перестройки. Это было время, когда словацкий театр с помощью словацкой и русской драмы XIX — начала XX в. сумел высказаться по поводу маратического состояния общества и человека, состояния, до которого их довела общественно-политическая система, существовавшая после 1968 г. Это были праздники театра: пребывать на тонком льду возможностей интерпретировать пьесы этого гениального знатока человеческих душ, беспокойные героини которого сами по себе постоянно куда-то уходят, с тем чтобы вернуться снова.

В «Вишневом саде» они уходят в последний раз. В 1995 г. на сцене Словацкого национального театра в Братиславе царил атмосфера разложения, неуверенности, страха перед будущим, и единственным символом стабильности тогда была Раневская. Помещица, живущая в своем «великосветском» мире, которая словно бы не замечает, что во втором действии ее мир будет разрушен, когда режиссер заберет «игрушку» — рояль, единственную ее связь с домом, — на нем она

¹ См: Podmaková D. Správa o troch sestrách // Slovo. 2008. N. 15. S. 13.

² См: Štefko V. Barón, OMON a 3 sestry v Čečensku // Kód. 2008. N. 5. [Электронный ресурс] URL: <http://www.theatre.sk/isrecenzie/234/97/BARoN-OMON-A-3-SESTRY-V-cEcEN-SKU/?cntnt01origid=97/> (дата обращения 02.02.2014).

вначале взяла несколько аккордов. С этого момента большой рояль словно зависает над ними¹, как бы говоря, что наш мир утрачивает опору.

Режиссер Мартин Губа (Martin Huba)² подготовил «Вишневый сад» в Театре имени Йокая (Jókaiho divadlo) в Комарно³ в 2011 г. Постановка осуществлена на венгерском языке и была несколько иной. Языка, который не имеет ничего общего со славянскими языками, мы не понимаем, поэтому мы смотрим и считываем соотношения между репликами, мизансценой и мимикой, жестами актера. В переносном значении мы чувствуем себя чужими среди «своих». Чужие — язык без перевода, свои — театральные средства выразительности, с помощью которых мы в этой постановке понимаем все. В 2011 г. действующие лица уже не говорят так много о деньгах, их отсутствие воспринимается как реальность. Основная проблема — это смирение с меняющимися ценностями. Раневские не могут принять протянутую руку Лопухина, который им ее прямо-таки навязывает.

Для усиления впечатления и символики режиссер использовал окна в классицистическом стиле из виллы своих родителей. Новые собственники дома выбросили на свалку более чем столетние окна и французские балконные двери. Режиссер их использовал в сценическом оформлении. Часть их осталась висеть над сценой как ненужные вещи; сквозь другие Раневская с Гаевым уходят обратно в «свой мир». Они оставляют себе роскошь, как и симпатичный Лопухин. Он, в сравнении с интерпретацией Лопухина в Театре им. А. Багара в Нитре (2009, режиссер С. Спрушанский, который ставит Чехова и в других театрах Словакии), совсем другой. В Комарно Лопухин — скромный человек, который искренне хочет спасти дом Раневских. Лопухина в Нитре играл актер из русинского театра г. Прешов, режиссер ситуацию «новой жизни» сильно актуализировал, внося украинский акцент и легкую грубость.

Современная словацкая драма отображает внешний, но никак не внутренний мир героев. Ближе всего к Чехову был Освальд Заградник⁴, который уже не работает для театра. Кроме постановок классической

¹ Декорации к спектаклю подготовил художник Алеш Вотава.

² Замечательный актер и режиссер, сын видного актера, представитель «второго поколения» основателей Словацкого национального театра, часто ставит пьесы и в Праге.

³ Город лежит непосредственно на границе с Венгрией.

⁴ О. Заградник (р. 1932), автор незабываемого «Соло для часов с боем» (1973), пишет пьесы уже только для радио.

драмы (Чехов, Шекспир и др.), современной драмы западных стран, особенно ирландской, английской, театры ставят инсценировки эпических произведений и так называемую «новую драму». Интересным сейчас является политический театр (тексты и спектакли об известных литературных и политических деятелях XIX в., в которых звучат мысли о славянстве, либо рассказывающие о недавней истории президентов: Йозефе Тисо, Густаве Гусаке — первого в 1947 г. казнили, второго посадили вскоре после ноября 1989 г.). Молодых авторов и режиссеров также занимает документальный театр¹.

Творчество современных драматургов отличается намеренная деформация сюжета, композиции, героев (антигерои), которая является зеркальным отражением образа жизни. В нем нет дядей Ваней, мы скорее являемся свидетелями появления новоиспеченных Ивановых. Люди, которые испытывают депрессию, не могут отыскать смысл жизни: одно только неопределенное ощущение вины. Наиболее характерной чеховской фигурой современности является Иванов. На сценах словацких театров он страдает от сжигания синдрома. У нас в драматургии нет таких героев, которые бы напоминали нам чеховского Иванова во всех отношениях так, как это удалось сделать в двух последних словацких постановках. На сцене театра в г. Мартине (2006) присутствует состояние ивановского отчаяния, граничащего с психозом, образно и реально в сочетании с ритуалами японского театра, деформированных кукол без лиц. На первой словацкой сцене (Братислава, 2010) мы стали свидетелями внутренней борьбы Иванова с самим собой, и в итоге он эту борьбу проигрывает. Подобная интерпретация является отражением современной действительности, метафорическим образом символизирующим нарушение коммуникации. Мы компенсируем эту коммуникацию всевозможными эсэмэсками и мэйлами, которые, несмотря на их содержание, являются обезличенными: мы не чувствуем в них душу человека, не видим его лицо. Чеховское многообразие, которым писатель нередко заканчивает реплики персонажей, еще долгое время будет вдохновлять театралов.

¹ Параллель с наиболее известным русским театром Teatr.doc.

Ю.А. Созина

ОБРАЗЫ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ В СЛОВЕНСКОЙ ПРОЗЕ

Революция 1917 г. и гражданская война вызвали волну эмиграции из России. Некоторые из тех, кто покинули отчизну, прибыли и в Словению. Они, хотя были не согласны с новой реальностью, несли тем не менее информацию о великих преобразованиях, оставались частью большой, во многом словенцам непонятной, но притягивающей к себе взгляды культуры, помогали разобраться в вопросах, требующих более широкого подхода и видения по сравнению с тем, что позволяли узконациональные рамки. Постепенно «чужие» становились частью повседневной жизни словенцев и притягивали к себе внимательные взгляды писателей, а их образы оказались запечатлены в художественной литературе.

Одним из первых словенских литераторов, чье внимание привлекли русские эмигранты, был писатель, драматург, публицист Владимир Бартол (1903–1967), будущий автор знаменитого романа «Аламут», переведенного на многие европейские языки, а тогда еще студент, отправившийся на 1926/27 учебный год в Париж, в Сорбонну, и именно там решивший связать свою жизнь с литературой. Далекий от основных литературных течений своего отечества, где во весь голос заявляли о себе авангардисты, где набирал силы социально ответственный реализм, юноша интересовался сильными личностями, авантюристами всех национальностей. Он пытался постичь суть индивидуализма, цинизма, свойственного охотникам за лучшей жизнью, которыми, как правило, полны города (тем более такие мегаполисы, как Париж). Так начали

появляться рассказы (новеллы), главными героями которых оказались эмигранты — русские, поляки, даже словенцы, приехавшие в центральную часть Словении из приморских областей, отошедших Италии. Следует сказать, что и семья самого писателя переселилась в Люблянну из Триеста в результате известных исторических событий. Позже, в 1935 году, писатель объединил эти и другие свои произведения в сборник, имя которому дала центральная новелла — «Аль Араф», что значит 'стена, разделяющая небеса и ад'. Позднее сам Бартол напишет: «В новеллах из “Аль Арафа” я показал ужасающее действие лжи и обмана»¹.

Рассказы об эмигрантах составили два первых цикла сборника «Человек против судьбы» и «Демон и Эрос» (в издании 1974 г. объединенные под заголовком «Демон и Эрос»²). В шести из них главными героями стали именно русские эмигранты. Все эти произведения уже прежде публиковались. Ранее других увидело свет «Рождение джентльмена» — 7 января 1928 г. в столичной газете «Ютро»³. Остальные с ноября 1929 г. по апрель 1933 г. напечатал журнал «Модра птица», который как раз начал издаваться в 1929 г. и одним из самых активных авторов которого стал Бартол. Этот журнал отличался плюрализмом мнений, политической независимостью и космополитичностью — писателя привлекала именно его «космополитическая раскрепощенность и независимость» в отличие от «ужасающей серьезности» многих других словенских периодических изданий того времени⁴.

Все «русские» рассказы написаны от 1-го лица, т. е. от лица самого автора, который со своим другом Вальтером встречается с кем-то из эмигрантов, излагающих свою историю. Таким образом, главные герои раскрываются в диалогах, переходящих в непосредственный рассказ о себе, зачастую граничащий с «исповедью». (На сегодняшний день три рассказа — «Рождение джентльмена», «Странность сатирика Хмельякова» и «Неудачник» — опубликованы на русском языке в переводе Ж.В. Перковской⁵.)

«Рождение джентльмена» и следующие за ним «Любовь Сергея Михайловича» и «Вершина духовных радостей» (с подзаголовком

¹ Запись от 8 марта 1956 г. — Цит. по: *Bartol V. Zbrano delo / Ur. in opombe napisal T. Virk. Knj. 1: Al Araf: zbirka literarnih sestavkov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012. S. 431.*

² *Bartol V. Demon in Eros: Al Araf. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974. 448 s.*

³ *V. B. Gentlemenovo rojstvo // Jutro: dnevnik za gospodarstvo, prosveto in politiko. L. IX, št. 6. Ljubljana, sobota, 7. januarja 1928. S. 6–7.*

⁴ *Bartol V. Zbrano delo. Knj. I. S. 414.*

⁵ Против часовой стрелки: Словенская новелла. Избранное. М.: ООО «Центр книги Рудомино», 2011. С. 235–251.

«История для моралистов и дам») объединены общим главным героем — Сергеем Михайловичем. Прототипом ему послужил реальный человек — русский эмигрант, с которым писатель познакомился в Париже, — Сергей Михайлович Мельников, магистр права, воевавший в армии А.В. Колчака. В этом человеке автора (рассказчика) удивляет способность изобразить из себя настоящего аристократа, в начале знакомства он даже замечает: «...ну быть того не может, чтоб такой охламон имел успех у прекрасного пола»¹. Однако когда на его глазах свершается преобразование, он уже называет этого «сатира» почти уважительно «светловолосым дьяволом»².

В двух рассказах — «Неудачник» (досл. перевод названия — «Несчастный любовник») и «Соната на пепельную среду» — представлена «интереснейшая личность» Ивана Федоровича Калинина, статного молодого человека примерно лет тридцати, с очень бледным, почти восковым лицом. Под маской «неудачника в любви» кроется циничное чудовище. Сам о себе он говорит: «Я следую дорогой, прорытой его (дьявола. — Ю.С.) адской рукой»³, — и на публике размышляет о том, не пустить ли себе пулю в лоб. В дневниках писатель позже напишет, что по сути своей Калинин — двойник Сергея Михайловича. Однако многие его черты списаны с другого реального человека, с которым автор познакомился не во Франции (хотя действие обоих рассказов происходит также в Париже), а в Словении, где они пересекались в Люблянском университете, — это русский эмигрант, бывший революционер-социалист Анатолий Спаховский. В «Сонате на пепельную среду» появляются образы и других русских эмигрантов, обосновавшихся в Праге, о которых вспоминает главный герой, — его возлюбленная виолончелистка-виртуоз Ольга Дмитриевна и ее ближайшее окружение.

В шестом рассказе (открывающем в сборнике «Аль Араф» второй цикл «Демон и Эрос») представлен еще один русский эмигрант — Хмеляков, чья странность, как подытоживает Вальтер в конце истории, заключалась лишь в следующем: «Он говорит вслух о том, что известно многим, но что в приличном обществе обсуждать не принято»⁴.

Во всех шести рассказах встречи автора с русскими эмигрантами происходят в Париже, и везде возникает так называемая «женская»

¹ Там же. С. 236.

² Там же. С. 240.

³ Там же. С. 250.

⁴ Там же. С. 244.

тема — тема взаимоотношений двух полов как вечный спор победителей и побежденных. Рассказы полны иронии по отношению к главным героям, что передается и посредством языка, которым те говорят. Вместе с тем в их образах проскальзывает и нечто сатанинское, возможно из-за того, что рассказчик никак не может увязать их со своим мировосприятием. Во всех трех образах русских эмигрантов можно разглядеть и общие черты: склонность к авантюризму и к философствованию, пренебрежение обстоятельствами и мнением окружающих, стремление к легким победам и страсть к противоположному полу, но главное — это несоответствие общепринятым нормам поведения, что и вызывает повышенный интерес к их персонам рассказчика и скрывающегося за ним автора.

Примечательны рассуждения самого Бартола в связи с героями-авантюристами из цикла «Человек против судьбы», записанные им 6 января 1960 г.:

Почему я *инстинктивно* (и неосознанно) выбирал в качестве своих героев, например, русских (или других, например, польских) эмигрантов? Потому, что инстинктивно чувствовал, что эти люди абсолютно свободны от каких бы то ни было связей: не женаты, безработные, ни от кого не зависимые, никому не обязанные. И наконец: без родины, оторванные от корней и брошенные в пестрый мир (Парижа, например), где должны перебиваться, как знают и умеют. <...>

Они интересовали меня, я заметил и почувствовал, что они свободны от всех обычных человеческих связей и что в таких объектах чистейшим образом отражаются человеческие страсти, наблюдения и открытия. Каждый такой человек выстраивал для себя *свою собственную философию, свое оригинальное официальное мировоззрение*, он являлся самостоятельной ячейкой внутри сложного человеческого общества, в котором она своевольно вращалась и вырабатывала для себя собственную технику и методы в борьбе за свое существование и желание выделиться¹.

На протяжении почти всей жизни Бартол чувствовал необходимость в своих заметках и дневниковых записях разъяснить неблагосклонным критикам, что в его ранних рассказах они не увидели сути, а именно: рассказы эти — серьезное исследование человеческих

¹ Bartol V. Zbrano delo. Knj. I. S. 585–586.

страстей, а не желание поиграть на нервах публики. Писатель, по его собственному утверждению, не выдумывал привлекающие внимание «карикатуры», но писал исключительно с «живых образов своих современников»¹, сосредотачивая внимание на какой-либо характерной их черте и, естественно, используя свой собственный жизненный опыт.

Удивительно не то, что Бартола особенно привлек образ авантюриста, циника, каким был повстречавшийся ему в Париже русский эмигрант Сергей Мельников, наложивший отпечаток и на образы других эмигрантов из сборника «Аль Араф». Примечательно то, что восприятие этого образа, авторское отношение к нему в общем не противоречит образу русского эмигранта, который сложился впоследствии в словенской литературе XX в.: непредсказуемость, даже некая истеричность приписывается многим русским героям. К тому же, согласно изысканиям словенского историка Радована Пулко, автора книги «Русские эмигранты в Словении: 1921–1941»², многие из русских эмигрантов, переехавших в Словению, жаловались на предвзятое к ним отношение, связанное именно с общим восприятием их как нарушителей спокойствия, склонных к скандалам и злоупотребляющих спиртным, что исследователь особо отметил, рассказывая о русской профессуре Люблянского университета на встрече «Русские в Словении» в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве 16 декабря 2013 г.

Следует в свою очередь подчеркнуть, что «русским» рассказам Владимира Бартола свойственны автобиографические моменты из жизни автора, как и роману другого словенского писателя, по времени создания относящемуся к тому же периоду и в одном из эпизодов содержащему образ русского эмигранта (вернее — эмигрантки). Этот образ в свой единственный роман «Человек среди черепов»³ ввел писатель, драматург и литературовед Братко Крефт (1905–1996).

О жизни этого примечательного человека и русофила в российском литературоведении существует несколько специальных работ⁴;

¹ Ibid. S. 427.

² Pulko R. Ruski emigranti na Slovenskem: 1921–1941. Logatec: Vojni muzej, 2004. 144 s.

³ Kreft B. Človek mrtvaških lobanj. Kronika raztrganih duš. Ljubljana: Proletarska knjižnica, 1929. 378 s.; 2-е изд.: Любляна, 1959; 3-е изд.: Марибор, 1971. Дословно название романа звучит как «Человек мертвецких черепов. Хроника разорванных душ». Российская исследовательница М.Л. Бершадская в ряде своих работ переводит его как «Непохороненные мертвецы».

⁴ Последняя из них: Бершадская М.Л. Братко Крефт и русская культура // Slovenica I: история и перспективы российско-словенских отношений. СПб.: Алетей, 2011. С. 155–164.

нами достаточно подробно анализировался его роман¹. Однако, как представляется, стоит еще раз выделить некоторые ключевые моменты, важные для понимания образа русской эмигрантки, появляющейся в этом произведении.

По замыслу автора роман являл собой исповедь молодого поколения, которое ищет — после распада Австро-Венгерской монархии, в условиях тогдашних национальных и все более усугубляющихся социальных противоречий в Королевстве СХС — путь в социализм. Главный герой романа Лео Вук, в частности, стремится понять и осознать итоги революции в России. Он ведет хронику своего гимназического литературного кружка, в которой отразились творческие амбиции молодых людей, литературные пристрастия, политические «ловушки», конечно же первые сексуальные опыты, жизнь и — смерть. Обстоятельства пожирают молодых идеалистов одного за другим.

Россия в романе — это неизвестная страна, чей великий дух побеждает враждебность, воспитываемую в молодом поколении системой. Толстым и Достоевским зачитываются, их обсуждают не только основные герои романа, литераторы, но и простые обыватели. Потихоньку в жизнь словенцев проникают и идеи русской революции. Наряду с Толстым и Достоевским в романе упоминаются М.А. Бакунин, М. Горький и др.

Передав герою часть собственной биографии, писатель и того делает истинным русофилом, облачив даже в свою излюбленную косоворотку, которую сам носил еще старшекласником.

Почти сразу по выходе в Мариборе в январе 1930 г. (в издании указан 1929 г.) тираж был арестован по обвинению в коммунистической пропаганде, аморальности и т. д., а несколько позже сожжен. Однако самому автору удалось избежать серьезного наказания благодаря своему несовершеннолетию — задержись суд на пару недель, и это было бы в соответствии с новым законом невозможно.

Эпизодическая встреча с русской эмигранткой, приехавшей, кстати, также из Парижа, и спор с ней — одно из значимых событий на пути главного героя².

Как-то, будучи в гостях по настоянию отца, он оказался вместе со «знатной русской аристократкой, которая бог весть где оставила или

¹ Созина Ю.А. Словенский писатель и ученый Братко Крефт и его Россия // Россия в глазах славянского мира. М.: ИСЛ РАН, 2007. (Серия «Slavica et rossica»). С. 252–263.

² Описание встречи в романе см.: *Kreft B. Človek mrtvaških lobanj*. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1959. S. 314–316.

потеряла своего мужа». Поскольку сцена встречи небольшая, приведем ее целиком:

Поначалу он был особенно рад встрече с этой русской, так как надеялся поговорить с ней на ее родном языке и проверить свои знания. Уже в ноябре он организовал среди учеников русский кружок, в котором профессор Янко¹ преподавал русский язык. Соня тоже туда ходила.

Дама в первую очередь спросила про его черную косоворотку.

— Вы нигилист? У нас в России черные косоворотки носили только рабочие и заблудшие интеллигенты, призывавшие свергнуть царя... — Лео будто обожгло. Еще прежде, чем она заговорила, он понял, что имеет дело с человеком из наиболее реакционного, аристократического круга. Его немногочисленные и резкие ответы сразу же вызвали в ней подозрения, и она почувствовала святую обязанность изрыгнуть свою эмигрантскую истерию на этого молодого человека, который тайно любил новую Россию.

Она рассказывала, как теперь там заправляют одни бандиты, не достойные ничего, кроме веревки. Жиды сосут кровь из страдающего народа. Царя убили, усадьбы пожгли и вообще творят такие ужасные вещи, что господи помилуй. А Европа холодна как лед. Весь Запад должен был броситься на них и уничтожить. Совершенно правильно им не дадут кредитов для голодающих. Ведь голод-то из-за большевиков с Лениным во главе. Ленин — это антихрист. Раньше никогда в России не было голода, раньше мы все жили прекрасно, в довольстве и радости. «Людам не надо было страдать, как теперь. Такое благополучие было, что мы ели только заячьи спинки, а все остальное отдавали прислуге на кухню...» — Дама говорила энергично и одновременно ужасалась какой-то своей молодой родственнице, которая недавно написала ей, что в восторге от нового государства, что больше не верит в бога и т. д. «Всю молодежь нам испортят, и я хочу предостеречь вас, молодой человек, никогда не поддавайтесь на красивые слова агитаторов». — Она говорила, будто перед ней большевик, приехавший напрямик из Москвы, на самом же деле рядом с ней сидел в лучшем случае увлеченный толстолиц, молившийся Богу и самоотверженно готовившийся к духовной революции, отмечающий всякое насилие. Она провоцировала его. И потому он решительно ответил, что при царе не было благополучия, что творилась великая несправедливость; много об этом писали

¹ В Словении существует традиция именовать преподавателей по имени, а не по фамилии.

Достоевский и Толстой, особенно последний. А когда «дама из высшего общества» заявила, что Толстой был сумасшедший, дряхлый старик, в Лео все вскипело. С еще большей страстью он старался переубедить ее, напомнив ей о голоде и эпидемии, косившей людей в России в 1893 году. Тогда царская власть вообще не думала о страждущих и терпящих бедствие. Астраханский губернатор задержал в узком заливе более ста кораблей из-за подозрения, что на них находятся бактерии холеры, и ни один не смел выйти в море. Еды он им не отправил, так что люди сходили с ума от страха смерти. Они звали на помощь, и однажды в залив прибыл большой корабль. Все обрадовались, что прибыл хлеб и лекарства. Как велико было их удивление, когда с корабля стали выгружать гробы... Вот так позаботилась царская власть об их жизнях. (Лишь о Ленине он не рискнул произнести ни слова. Он еще слишком мало знал о нем, хотя Петек ему и рассказывал то одно, то другое. Для Лео Ленин был большой загадкой, к которой он не смел приближаться, хотя иногда его тянуло.)

— Это рассказы, выдумка... — Обидевшись, дама ушла, и седой господин профессор осудил, не скупясь на критику и нелестные сравнения, поведение Лео, отметив, что разговорчивость его неуместна, особенно если учесть, что госпожа многое пережила сама.

«И сейчас у нее все ужасно плохо. Весьма упитанна. Не голодна. В Париже живет у господина посла, спит до одиннадцати и получает по-прежнему только лучший кусочек от зайца...» — думал Лео, прощаясь. Он ничуть не сожалел, что через три дня отец возмутился его неподобающим поведением и болтовней. С того дня в отцовском обществе ему было запрещено появляться в черной косоворотке.

В приведенном отрывке из романа «Человек среди черепов» появляется все тот же образ неуравновешенного (с точки зрения словенского юноши) человека, склонного к преувеличениям, нагнетанию атмосферы, даже несколько агрессивного. «Предостережения» дамы конечно же вызвали обратную реакцию и заострили внимание юноши, старающегося сохранять объективность, на проблемах, которые прежде не казались ему столь актуальными. Характерно, что любовь к России и ее культуре еще сильнее возросла в нем.

Если в 1920-е гг. отношение словенцев к русским эмигрантам как к «дикивинке» усугублялось актуальностью момента и непривычностью самого материала, то с течением времени оно становилось более спокойным. Вместе с тем образы русских эмигрантов первой волны (а также их наследников), иногда появляющиеся в автобиографических

произведениях о послевоенной реальности, отличаются несколько иные качества, нежели прежде. Примером может служить заключительная часть автобиографической трилогии «Пришлые»¹ Лойзе Ковачича (1928–2004), одного из крупнейших словенских прозаиков второй половины XX в. Книга рассказывает о том, как главный герой, молодой человек, чьи ближайшие родственники высланы из страны, пытается закрепиться в новом послевоенном обществе — с его идеологическим пафосом и борьбой (с «чужими»; за подъем экономики и т. д.).

Именно в это время в Любляне одним из друзей героя становится сын русского эмигранта Леснов — литератор, публицист, достаточно открытый человек и примечательная личность. Впервые мы встречаемся с ним на заседании редколлегии молодежной газеты «Младина». Вот как описывает его автор: «...приземистый, полный юноша с толстыми губами... поэт и переводчик... Леснов, сын моего профессора химии»². Позже, во время очередного заседания, главный герой (он же повествователь) вновь останавливается на персоне молодого Леснова, оказавшегося среди «функционеров от юношества». Тот сидел в партизанской куртке и пилотке во главе стола, отчего у главного героя сразу же возник вопрос: действительно ли тот во время войны сотрудничал с партизанами, если его отец в 1917 г. бежал от большевиков?.. В другом месте Леснов появляется в бархатном пиджаке «как с картинки»³.

Главный герой уже бывал у приятеля дома:

...У него была своя круглая рабочая комната, заставленная бесчисленными драгоценностями — одетыми в кожу и золото книгами, по большей части из России и несколько эмигрантских из Парижа... На полках были целиком Толстой, Достоевский, Чехов, Тургенев, Писарев, даже автографы некоторых... Бабель, Бунин, Шестов, Бердяев, Ремизов... <...> Вся старая, бескрайняя Россия царских времен, среди этих имен как в натюрморте можно было ощутить безумие и кровопролитие... <...> Леснов стоял посреди всех этих стихов, рукописей, автографов <...> и говорил — веско, важно, при этом заткнув большие пальцы обеих рук за пояс... Его младший брат, серьезный, тихий, сдержанный, у другого окна погружившийся в свои технические

¹ Kovačič L. Prišleki: pripoved. [Del 3]. Ljubljana: Slovenska matica, 1985. 398 s. Первые две части трилогии вышли годом раньше одним томом: *Idem*. Prišleki: pripoved. Ljubljana: Slovenska matica, 1984. 477 s.

² Kovačič L. Prišleki: pripoved. [Del 3]. S. 60–61.

³ *Ibid.* S. 214.

дисциплины, мне был гораздо симпатичнее, однако во время этих посещений я больше всего боялся, что в комнату вдруг войдет их отец, старый химик, на котором я как на преподавателе уже давно поставил крест... Мебель в комнате была старой, запыленной, собранной со всех концов, постель, полотенца, одеяла, одежда лежали по стульям, будто вот-вот соберут их и съедут... ох, мне было знакомо это проявление неуверенности, ощущение, что все временно!.. его мама, сухенькая, маленькая, нервная женщина с редкими волосами, настоящая эмигрантка, как она была похожа на мою маму... <...> И все-таки меня одолевали сомнения: как это возможно, что они, бежавшие от революции, теперь трудятся рука об руку с красными?..¹

Однако прямого ответа на поставленный вопрос в романе нет. Возможно, причины этому подобны тем, что заставили самого героя остаться в послевоенной революционной Словении, в то время как его мать, немка из Швейцарии, и другие домочадцы были изгнаны из страны. Клеймо фашистского прихвостня и даже «гестаповца», связанное с его полунемецким происхождением, преследовало главного героя, но Леснова это не интересовало (впрочем, может, он об этом и не догадывался). Наоборот, он ценил в главном герое личные качества; как редактор «Младинске ревије» «он уговаривал меня оставить наконец-то описание самого себя, писать о современности... о железной дороге, о бригаде, рабочих акциях... прекратить описывать свою автобиографию... Философствовать о себе пристало Гамлету... Да, этот мелкий приверженец диалектики и сомнений со своим черепом и придворным ОЗНА² мог говорить о себе... ни у одного из нас нет этого права... <...> “Ты ведь пролетарий, у тебя здоровые амбиции...” Он вообще знал меня, знал, кто я?»³

Такие творческие натуры, как младший Леснов, были интересны главному герою, о них он скажет: «...они были существами, будто из другого мира оказавшимися в нашей реальности, более чувствительные и более широкие в своих взглядах... с ними действительно можно было стать почти идеальными друзьями...»⁴ Да и Леснов-старший вызывает у героя заинтересованность, поскольку был исключением

¹ Ibid. S. 190–191.

² OZNA — Oddelek za zaščito naroda — Отдел по защите нации, просуществовал с 1944 по 1946 г.

³ Kovačič L. Prišleki: pripoved. [Del 3]. S. 204.

⁴ Ibid. S. 190.

среди преподавателей: «...меня касался теплый взгляд, проникавший сквозь стекла его очков в тонкой металлической оправе»¹; впрочем, повествователь тут же добавляет, что, наверно, это связано с дружбой с его сыном, «которым он гордился... в учительской, в классе... Стихи сына ежедневно передавались по радио и как лозунги были написаны на тротуарах... Сын обеспечивал ему защиту и привил такую уверенность в себе, что он стал самым высокомерным преподавателем в Первом реальном училище. И придавал ему столько молодой энергии, что он отправился на Брчко–Бановичи, железнодорожную стройку, где преподавал русский язык и ему присвоили звание ударника... Красного значка он не снимал с лацкана... иногда приходил в училище даже в бригадирской рубашке...»²

Читатель не узнает, что стало с семьей Лесновых после 1948 г., когда произошел разрыв титовской Югославии с Советским Союзом, впрочем, как известно из истории, сценарий мог быть трагичным — многие, в том числе и писатели, были отправлены на Голый остров (о чем также упоминается в романе).

Лесновых из жизненного повествования Ковачича отличают такие черты, как широта восприятия, увлеченность, иногда чрезмерная, порывистость, отголоски все той же нервозности, что была свойственна и другим вышеописанным эмигрантским образам.

Еще в одном, основанном на автобиографическом материале (правда, взятом из детства) романе, написанном уже в современной Словении, мы встречаем русского эмигранта, обосновавшегося в Любляне. Этот персонаж появляется у славного поэта и прозаика Йоже Сноя (р. 1934) на страницах «Господина Пепи, или Раннего поиска имени» всего лишь один раз. Воспоминания о Монголе относятся к одиннадцатилетнему возрасту, написаны же они, когда автору было уже за шестьдесят. Слишком большая временная дистанция не могла не отразиться на исторической достоверности фактов, оставивших неизгладимый след в памяти писателя. Вместе с тем он весьма согласуется с уже сложившимся среди словенцев стереотипом:

...Власовцы, которые из Средней технической школы ходили выпить к Монголу на Вегово, 4 <...>

Монголом мы окрестили старого русского эмигранта, у которого не было ни волоска на светлом, отшлифованном грушевидном черепе, да

¹ Ibid. S. 202.

² Ibid.

к тому же у него и правда были косые глаза. В проходе между домами он разводил кур и кроликов, носил в мешочках помой от «Мрака» и со всей этой пищащей мелочью за молчащей и худящей спиной лошади прямо днем устраивал пиршество. А ночи последних военных месяцев он явно проводил вновь со своими, царскими, и из охрипших глоток неслись дикие козацкие или казацкие песни далеко — до Средней технической вдоль по ночной оцепеневшей Римской улице¹.

Вслед за образами русских эмигрантов, списанными из реальной жизни, в словенской литературе появляются и, так сказать, «придуманные» персонажи — созданные на основе сложившихся стереотипов, традиции и, конечно, личного жизненного опыта художника. Самые яркие и полноценные в художественном отношении русские эмигрантские образы принадлежат Драго Янчару (р. 1948) и Андрею Хингу (1925–2000).

Янчар обратил внимание на русскую эмиграцию приблизительно в то же время, когда Ковачич писал своих «Пришлых». В опубликованном в 1984 г. романе «Северное сияние» на улицах предвоенного Марибора появляется юродивый, пророчествующий (в 1938 г.) о грядущей катастрофе, — это русский эмигрант Федятин². А уже в 1985 г. выходит сборник новелл «Смерть у Марии Снежной», имя которому дало первое из входящих в него произведений³. Главный герой новеллы — Владимир Семёнов, русский эмигрант, бывший офицер, врач, появившийся в селении около реки Мура в 1931 г., оставшийся там и открывший свою практику, сумевший помочь многим из местных жителей, но в 1944 г. покончивший с собой из-за приближающегося наступления советских войск. Автор не скрывает связи своего героя с Алексеем Турбиным из ставшего классическим романа М.А. Булгакова «Белая гвардия», именно с истории Турбина начинается повествование.

¹ *Snoj J. Gospod Pepi ali Zgodnje iskanje imena. Maribor: Obzorja, 2000. S. 436.*

² В своих работах мы не раз обращались к этому образу. В свое время нами был зачитан специальный доклад, где выявлялись истоки появления в словенской литературе мотива юродства, свойственного русской культуре, тезисы были опубликованы: *Созина Ю.А. К вопросу о рецепции русской литературы в современной словенской литературе // IV Славистические чтения памяти профессора П.А. Дмитриева и профессора Г.И. Сафронова. Материалы Международной научной конференции 12–14 сентября 2002 г. СПб., 2003. С. 162–164.*

³ *Jančar D. Smrt pri Mariji Snežni: novele. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985. S. 5–17. Переиздания 2004, 2006 и 2009 гг. Интересующая нас новелла вошла также в сборник «Ultima creatura» (1995).*

Русский эмигрант становится одним из основных действующих лиц и в романе Андрея Хинга «Чудо Феликс»¹ (1993), получившем национальную литературную премию «Кресник» 1994 года, и выполняет гораздо более сложные и насыщенные функции, чем это бывало прежде, в том числе играет роль оппонента в разговорах с главным героем, Феликсом.

Леонид Юрьевич Скобенский — друг опекунши главного героя, живущий с ними, в прошлом то ли белый офицер, то ли актер, личность примечательная. Именно для его характеристики писатель использует определения, которые традиционно относят и к русскому национальному характеру в целом: то он безудержно скупает ювелирные украшения, как пишет Хинг: «сломя голову — по-русски — истерично»², то рассуждает о том, что в жизни самое главное — святость и терпение. Он засиживается по кабакам с другими русскими эмигрантами, даже участвует в пьяных драках. Кто он? Пройдоха, как у Бартола, искатель приключений или вновь непредсказуемый в своем поведении русский? Скобенский в разговоре со своей избранницей рассуждает и о самом себе:

Он был легкомыслен, но вдруг стал строгим:

— Можешь себе представить с каким тяжелым сердцем я остался здесь? <...> Я был паразитом, клоуном! Ел с чужого стола и срамил хозяина! Почему я остался? Долг, подруга моя! Чтобы помочь найти путь для тебя, детей и, конечно, для себя.

<...> Он был похож на старого ангела³.

Или:

— Я — русский, дорогая моя! Мне необходимо исповедаться! Мое сердце никогда не заперто до конца!⁴

Когда болезнь постепенно превращает Скобенского в безумца, ему опять же достается роль русского юродивого, а следовательно, и мистический дар предвидения и проникновения в самую суть происхо-

¹ *Hieng A. Čudežni Feliks. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993. 448 s.* Другой вариант перевода названия — «Вундеркинд».

² *Ibid.* S. 90.

³ *Ibid.* S. 30.

⁴ *Ibid.* S. 150.

дящего. Из его уст звучат речи, подобные пророчествам: как и герой Д. Янчара, он предрекает войну и смерть. И вновь его не будут слушать, его речи и поведение будут вызывать неприятие:

— Никуда мы не побежим из-за приторных пророчеств безработного русского эмигранта! Свой русский салат жрите сами, да и Достоевского в придачу! Нет, нет, уважаемый Леонард Иванович, или как вас там <...> я прочел вас как книгу с первой до последней страницы — весь засаленный московский роман целиком! <...> Марш в Москву! Марш на Волгу! К большевикам! <...> Или к Гитлеру! Nach Berlin!¹

Именно так будет кричать на него, нарочно коверкая имя, один из родственников хозяйки (Эгон), раздосадованный тем, что Скобенский распродает имущество семьи и скупает драгоценности. (Кому, если не потерявшим все свои усадьбы и предприятия русским дворянам, знать о том, как легко потерять дом...)

Однако найдется человек, который оценит его по достоинству, — лицо духовное:

— Господин Скобенский — глубокий человек, как бы он ни крестился! Вам странно, что я, священник, говорю что-то подобное? Пусть он и не католик, зато христианин наверняка! Он знает, что такое грех! А кто знает о грехе, знает об искуплении. Терпит и за малые, и за большие грехи. И не позорьте его, будто он нервный или сумасшедший! <...> То, что исцеляется, печет и чешется. <...> Господин Леонид носит имя спартанского царя, и я вижу его в духе, как он пробивается к правде и христианскому героизму! Верьте! Путь и восхождение! <...> Я молюсь за него. Он придет к нищим духом, которые почти без греха, если не считать первородного. <...> Куда спускается Святой Дух, там поднимается ветер!²

Как видно, герой Хинга гораздо больше соотносится со стереотипным восприятием русских эмигрантов. И у Хинга, и у Янчара явно влияние литературной классики. В обоих произведениях представлены полноценные образы героев, в отличие от книг с автобиографическим началом, о которых мы говорили ранее — там русские эмигранты

¹ Ibid. S. 107.

² Ibid. S. 252–253.

играют лишь эпизодические роли. И вместе с тем если в автобиографических произведениях акцент ставится на необычности русских персонажей в сравнении с другими действующими лицами, то для писателей, создающих собственных литературных героев, на первый план выходят более общие философские вопросы — истории, человеческого существования, рока и страха перед ним.

Если говорить в целом о том, что объединяет образы русских эмигрантов в словенской прозе, то следует отметить, что подавляющее большинство из них овеяно ореолом таинственности. Присущий им аристократизм (наследственный или изображаемый) воспринимается скорее отрицательно. Особое внимание вызывают душевная открытость и широта взглядов, а зачастую и непредсказуемость поступков. В глазах словенских писателей характерными оказываются такие качества, распространяющиеся и на восприятие русского национального характера в целом, как истеричность и способность к предвидению. Большинство русских эмигрантов в словенской литературе — это персонажи эпизодические, вместе с тем есть и полноценные образы. Можно говорить о том, что на их создание не в последнюю очередь повлияли стереотипы, в том числе и литературные. Вместе с тем они прекрасно вписываются в словенскую культурную среду и в основном воспринимаются как иные, но не чужие.

Манца Эрзетич

ВОСПРИЯТИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
В РАБОТАХ СЛОВЕНСКИХ ТЕОРЕТИКОВ —
ПРЕЖДЕ И НЫНЕ
(на примере «Братьев Карамазовых»)

Федор Михайлович Достоевский для Словении стал писателем, к которому питают уважение до определенной степени смешанное со страхом (по крайней мере так кажется), тем не менее к его творчеству обращаются вновь и вновь в попытке объективно интерпретировать его произведения и выразить свои субъективные взгляды на литературу¹. Для подкрепления сказанного можно привести мнение признанного теоретика литературы, современного словенского критика Томо Вирка, который в своей рецензии к новому переводу «Братьев Карамазовых»² говорит о том, что ...мы все еще <...> ждем

¹ Для обзора нами были выбраны издания сочинений Достоевского, содержащие сопроводительные статьи различных авторов, критиков и литературоведов, однако в большинстве случаев перевод самих произведений не обновлялся: *Dostojevski F.M. Bratje Karamazovi*. Ljubljana, 1976; *Idem. Srečeslovec*. Ljubljana, 1991; *Idem. Stepančikovo in njegovi prebivalci. Srečkar. Večni mož*. Ljubljana, 1963; *Idem. Zločin in kazen*. Ljubljana, 1997; *Idem. Bratje Karamazovi*. Ljubljana, 2010; *Idem. Ponižani in razžaljeni*. Ljubljana, 1958; *Idem. Nova beseda: zapisi in razmišljanja o (literarni) umetnosti in umetniškem ustvarjanju*. Ljubljana, 1989; *Idem. Besi*. Ljubljana, 1979; *Idem. Idiot*. Ljubljana, 1954.

² В 2010 г. в издательстве «Цанкарьева заложба» в Любляне вышел новый перевод романа «Братья Карамазовы» благодаря Боруту Крашевецу. Впервые же роман был переложен на словенский язык в 1929 г. (перевод Владимира Левстика). Более восьмидесяти лет никто не обращался к самому переводу, хотя роман переиздавался девять раз. «Новый» перевод обладает ключевой «характерной особенностью», которую нечасто встречаешь в других переводах Достоевского, — роман опубликован без сопроводительной статьи, или субъективно поданной интерпретации. Художественная оценка, сделанная со всем критическим и литературным вниманием, была обнародована лишь несколько месяцев спустя в журнале «Погледи» (рецензия Томо Вирка).

цельного, всестороннего, углубленного и авторитетного освещения <...>, которое настоящий роман, а также и другие великие произведения этого «психологического реалиста», приблизит к читателю, в том числе и с точки зрения русской культурной и духовной традиции <...>. Может быть, именно осовремененный перевод «Братьев Карамазовых» словенскому *достоевсковедению* придаст новый импульс. А может, и нет. В любом случае мы получим ответ на вопрос, является ли слово Достоевского еще живым для современного (словенского) читателя¹.

Философская, религиозная и литературная комплексность, встающая перед читателем романа, его опосредованно парализует на тех же уровнях, ведь в противном случае читатель должен был бы «дерзнуть» (пере)спросить обо всем, что было уже написано так называемыми «старыми» *достоевскооведами*. Таким образом, «новые» *достоевсковеды* (неосознанно) приходят к (философским) размышлениям Душана Пирьевица, записанных им в сопроводительной работе к роману². Изучение восприятия Достоевского в Словении не исключает исследований остальных «старых» *достоевсковедов*³, которые так или иначе анализировали этот либо другие его романы или писали отдельные труды о них, однако настоящая работа, из-за рационального прагматизма, ограничивается лишь двумя оппонентами, демонстрирующими «прорыв» в тематическом плане, интересны также и их духовно-исторические базы. Выбор не случаен, ведь Пирьевиц заканчивает свой труд именно на жизненной кульминации (он умер

¹ Virk T. Življenje samo, ne prispodoba // Pogledi. 2011. L. 2. Št. 4. S. 10–11.

² Душан Пирьевиц напишет длинное, на 175 страниц, философское исследование под названием «Братья Карамазовы и вопрос о Боге» (см. издание романа 1976 г.; с. 5–180).

³ Большинство произведений Достоевского на словенский язык перевел Владимир Левстик («Преступление и наказание», «Бесы», «Идиот», «Записки из Мертвого дома», «Село Степанчиково и его обитатели», «Игрок» и «Вечный муж»). Его также переводили и Владо Боршник («Белые ночи», «Маленький герой»), Цирил Цей («Чужая жена и муж под кроватью»), Аленка Глазер («Бедные люди»), Северин Шали («Униженные и оскорбленные»), Янко Модер («Подросток»), Иван Приятель (обратившись к анализу русского общества и культуры, создал эссе о Достоевском и Толстом), Йосип Видмар («Кроткая»). В 60-е гг. XX в. Янко Модер «заново» перевел «Идиота», «Бесов», «Подростка», «Село Степанчиково и его обитателей», к которым сопроводительные статьи написали Братко Крефт, Антон Оцвирк и Янко Кос. Позднее появились и новые переводы, осуществленные Гитицей Якопин («Двойник»), Северином Шали («Нечочка Незванова»), Александром Сказой («Маленький герой»), Верой Брнчич («Дядюшкин сон» и другие повести), Драго Байтом («Игрок»), Винко Цудерманом («Преступление и наказание»), Марьяном Польянецом («Преступление и наказание»), Уршей Забуковец («Дневник писателя», «Скверный анекдот»). Но никто — до Крашевица — не переводил «заново» «Братьев Карамазовых».

в 1977 г., через год после выхода своей самой известной среди словенцев работы о Достоевском). Именно этот период связан с первыми в Словении заигрываниями с постмодернизмом, ведь словенские писатели и литературоведы обращаются именно к этому литературному течению, или направлению. Путь к анализу сочинений Достоевского оказывается подобным сети («ризома»), наброшенной на тематологию и философию в отдельном романе, но одновременно и коллективной надстройке — таким образом вырисовывается и взгляд на русского человека и литературу. Эта сеть и концепт «двойной кодировки», которую можно проследить у Достоевского, является не чем иным, как способом установления истин, объясненных в рамках постмодернизма или же после него. Смысловые конструкторы Пирьевица апеллируют к проблемам профанного и просвещенного мира, задаются вопросом о Боге, о «ничто», о жизни, смерти и бытии, а вместе с тем о так называемом метафизическом «отчаянии» Бога в мире, где все более реализуется *ницшеанское* сознание, но при этом ясные ответы на поставленные вопросы не появляются. Хотя сегодня, более чем три десятилетия спустя, мы не знаем ясных ответов — ведь эти ответы всегда являются или будут являться собственно результатом субъективной интерпретации или же (не)способности к пониманию индивидуума, — однако Вирк в своей сопроводительной статье выставляет по крайней мере ясный тезис: «Преступление — это наказание»¹. Хотя данная синтагма взята из сопроводительной статьи к другому роману Достоевского, исходную точку этой онтологической дефиниции при анализе мы обнаруживаем именно в романе «Братья Карамазовы», что можно увидеть как с экзистенциалистско-философской идеологической позиции Пирьевица, так и с постмодернистской позиции Вирка. Вирк «старых» утверждений не отрицает, однако ставит под вопрос так называемую философско-литературную структуру, а также в свете современных воззрений показывает, что исследование о «Братьях Карамазовых» «для нынешнего читателя, пожалуй, одно из самых уязвимых у Пирьевица, ведь тот своими дерзкими вмешательствами отбирает у живого и непосредственного слова Достоевского его жизненность и запирает его в рамки мертвой формулы, не имеющей в романе действительной опоры»². Если, конечно, позволить себе утверждать, что Пирьевиц своим исследованием

¹ *Dostojevski F.M. Zločin in kazni*. Ljubljana, 1997. S. 555.

² *Virk T. Življenje samo, ne prispodoba*. S. 11.

(к тому же еще и неудачно расположенным прямо перед самим «живым и непосредственным словом Достоевского», а это может подвигнуть светского читателя — невольно — к прочтению в первую очередь вводного философского трактата), по сути дела, лишает словенского читателя первого интимного соприкосновения со словом в романе и, как следствие, истинной субъективной рефлексии. Однако для выдвижения данного тезиса необходимо краткое объяснение исторической обусловленности позиций обоих теоретиков, которое пролило бы свет на то, почему первый задался вопросами философии, религии, существования вместо литературных вопросов и почему второй видит для читателя опасность «лишения» акта прочтения.

Душан Пирьевец (1921–1977) во время Второй мировой войны (начиная с 1942 г. и далее) осуществлял важные военные, политические и идеолого-пропагандистские функции — непосредственно во время Второй мировой и в первые послевоенные годы как активный участник Народно-освободительной борьбы, под партизанским именем Ахац; позднее он изучал сравнительное литературоведение и работал на кафедре сравнительного литературоведения и теории литературы философского факультета в Любляне. В литературно-философском плане он опирался прежде всего на Гегеля, Лукача, Бахтина, Сартра, Ингардена и Хайдеггера. Томо Вирк (р. 1960) изучал ту же самую специальность и по настоящее время работает на той же кафедре. Пирьевец рассуждал о Советском Союзе (России) сквозь призму сталинизма (а после 1948 г. — «десталинизации»), ленинизма и социализма, обращал внимание на политическое насилие, репрессии и диктатуру (коммунистического) тоталитарного режима. Казалось бы, исторический скачок к реакционным идейным установкам, с одной стороны, в то время как, с другой стороны, поставленный вопрос о русской истории, человеческих характерах, не в последнюю очередь о литературном произведении, неуместен, однако современница Пирьевца, социолог и активный политик Споменка Хрибар подчеркивает, что «тогда, в 1975 г., <...> твердая рука держала все сферы жизни. Поэтому Пирьевец замкнут ни на чём ином, как “социализме с человеческим лицом”, ведь социализм “является историческим тоталитаризмом”. В противоположность обычным утверждениям, что коммунизм пришел к нам из России, Пирьевец осознает, что коммунизм — это “реализация Европы”»¹. По мнению

¹ Hribar S. Pirjevčevu tematiziranje politike // Dušan Pirjavec, slovenska kultura in literarna veda: Zbornik prispevkov s simpozija ob 90. obletnici rojstva Dušana Pirjevca. Ljubljana, 2011. S. 281–300.

влиятельного словенского философа Иво Урбанчича, на Пирьевица можно смотреть с двух позиций, особенно в его исследовании «Братья Карамазовы и вопрос о Боге», ведь так вырисовывается образ (полного иллюзий) «молодого Пирьевица», революционера, партизана Ахаца, и (без иллюзий) «Пирьевица после войны», разочаровавшегося в идее Народно-освободительной борьбы, для которой в результате разрушения иллюзий о коммунистической идее всеобщего благоденствия, а также из-за наблюдений как за «жестким» (русским) коммунизмом, так и за «мягким» (югославским) коммунистическим режимом, вырисовывается единственный возможный путь к осознанию человеческого бытия и человечества — поиск метафизической истины в бесчеловечное послевоенное время. Через хайдеггеровское переосознание *бытия* в ницшеанской картине мира, оставленного богом, через падение гегельянского идеализма, переосознание сартровского экзистенциализма, распространяющегося также на политические сферы и склонного к сближению с марксизмом и социализмом, через заигрывания с ингарденовским феноменологическим эстетизмом и под влиянием «бахтинской школы» (по крайней мере в том, что касается понимания Достоевского) Пирьевиц, очевидно, оказался на духовном (личностном) распутье. Это распутье осознает и его современник Урбанчич и в исследовании «Допущение сущего, разговор с Душаном Пирьевицем» описывает последнего с двух точек зрения.

Партизанский комиссар и вопрошающий о Боге — краткие обозначения, указывающие на два явно исключающих друг друга комплекса многих взаимозависимых вещей, так сказать два — как кажется — абсолютно различных и между собой антагонистичных мира. В них я увидел два полюса личности Душана Пирьевица¹.

В целом в работе, предваряющей «Братьев Карамазовых», исследователь сталкивается с неким синдромом переосмысления уже существующих жизненных догм. Догм, к которым нет ответов, но остаются вопросы, как, например, вопрос о Боге², бессмертии, вере,

¹ *Urbančič I. Dopusčanje biti. Pogovor z Dušanom Pirjevčcem // Pirjevčev zbornik. Maribor, 1982. S. 96–146.*

² Из письма Достоевского Майкову от 25 марта (6 апреля) 1870 г.; цит.: «Поэтому существует довольно причин для того, чтобы привести отрывок из письма, которое было написано Достоевским Майкову 25 марта (6 апреля) 1870 г. и в котором ясно определен центральный мотив грандиозной эпопеи о великом грешнике: “Главный вопрос, который

охватывающий всех действующих лиц из упомянутого романа, включая читателя, которому бы предоставлялась возможность заглянуть «за черту» (т. е. за черту наказания или вины, за черту убийства в безбожном мире, за черту преступления как последствия неконтролируемых страстей, алчности, частных интересов, с одной стороны, а с другой — как последствия затяжного, несносного, удушающего состояния в божьем мире, когда ситуацию таких отношений мы не (с) можем разрешить). Пирьевца преимущественно интересует распутье понимания; имеет ли слово *сущее* в романе двойное значение — этот вопрос остается открытым. Рецепция в Словении, таким образом, распространяется на область материализма и идеализма, от мистицизма до спиритуализма. Она уходит в область метафизики и любви, а также вопроса: достаточно ли *сущее* само по себе? И так действительно кажется, что исследование «уводит в сторону и лишает» читателя первичного соприкосновения, а также оставляет без внимания «двойную кодировку», если приступить к чтению романа «по-светски»¹. Композиция романа, по мнению Пирьевца, обнаруживает нить, которая ведет к тезису, что убийство как отрицание Бога является богохульством, но одновременно становится единственным логическим следствием. Следовательно, кульминация, согласно Пирьевцу, там, где вопрос об «отказе от богохульства, атеизма и всего, что в современном мире науки, техники и социальной революции угрожает вере, Богу и человеку, заостряется». То есть на распутье. Благодаря вышеизложенным свидетельствам о распутье самого Пирьевца, стало быть, можно понять, что речь идет не о переосознании Бога, а наоборот — о некоей попытке собственного катарсиса. Пережитая послевоенная изоляция, «отчужденность» от партии, разочарование в революционной *идее*, которой он, будучи 22-летним партизаном, участвующим в Народно-освободительной борьбе (далее — НОБ), загорелся и которую позже пригвоздил к «позорному столбу», оставили в нем

проведется во всех частях, — тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существование Божие». Главный, следовательно, вопрос о Боге...» (*Pirjevec D. Bratje Karamazovi in vprašanje o Bogu // Dostojevski F.M. Bratje Karamazovi. Ljubljana, 1976. S. 9*). — Это тоже ответ, разрешающий дилемму об уместности названия исследования Пирьевца.

¹ В результате анкетирования нами было установлено: 39 из 53 опрошенных словенских читателей, которые указанный роман прочли в серии «Сто романов», начали «светское» чтение именно со вступительной статьи к самому роману, то есть фактически 73 % читателей оказались как раз «под (исходным) влиянием» философских воззрений автора введения.

неизгладимый след. Однако вопросы, через более чем три десятилетия, так существенно и не проявились, и новое тысячелетие в Словении все еще не ознаменовалось литературным анализом «Карамазовых», да и некоторые вопросы все еще остаются неисследованными, по крайней мере в контексте, который бы касался знания русской ситуации и жизни писателя, на что обращает внимание Вирк. Однако таким образом открывается новый взгляд, который в Словении еще не был литературно проработан (например, факт смерти сына Достоевского за год до выхода «Братьев Карамазовых», дающий иное понимание образов в романе).

...Ни Крефт, ни Пирьевец, например, ни одним словом не упоминают о том, что в 1878 г., то есть за год до начала публикации «Братьев Карамазовых», умер любимый трехлетний сын писателя Алеша. Это событие совершенно подкосило Достоевского. Утешения, кроме всего прочего, он искал в монастыре Оптиной Пустынь. Все это нашло свое отражение в романе в ряде обстоятельств. Главный герой, Алеша Карамазов, «божий человек», носит имя умершего мальчика; как мы узнаем из повествования, больше всего он любит детей в возрасте около трех лет; старец Зосима сопровождает женщину, пришедшую в монастырь за утешением после смерти трехлетнего сыночка Алеши; по свидетельству жены Достоевского, утешительные слова, которые Зосима говорит той женщине, являются теми же, что получил от старца Амвросия в Оптиной Пустыни сам Достоевский. В смерти сына, умершего из-за эпилепсии, Достоевский винил себя — эти переживания он изобразил в судьбе Илюши и его отца. И самое главное: сама идейная сердцевина этого романа-теодицеи вращается именно вокруг страданий невинных детей¹.

Незаконченность литературных интерпретаций — один из показателей, что «старшие» *достоевсковеды* (А. Сказа, Б. Крефт, Д. Пирьевец) занимались философскими вопросами, а не литературным анализом. Одной причиной больше в пользу утверждения, что у Пирьевца речь идет, вероятно, скорее о тенденции к катарсису, возникшей во время написания работы, что его и увело в сторону от конкретных слов писателя. Это также подтверждает и его взгляд на так называемый человеческий долг. Он признается себе в том, что необходимо «теперь <...>

¹ Virk T. Op. cit. S. 11.

в конце концов лишь — к тому же и довольно остро и довольно четко поставить и развить вопрос о собственной вине»¹. То есть речь идет о «тихой» проекции частного ощущения вины, в *зосимовском* смысле поражения перед непонимаемыми, что Пирьевица подтолкнуло в сторону философских переосмыслений, а также из-за поражения иллюзий о НОБ, вместо объективного литературного анализа. Вместе с тем не в последнюю очередь мы оказываемся сопричастными постановке и национального вопроса славян, конкретно — словенцев, а также вопроса национального языка².

Например: «тогда мне было двадцать лет, я был сталинистом, да, но действовал я только по указанию партии» <...>. Конечно, это правда, но для размышлений о судьбоносности недавних событий этого мало. Если бы он остановился лишь на самооправдании, это бы означало, что он чувствует себя жертвой (партии), чего Пирьевиц отчетливо не признает, ведь свидетельствует о своей причастности к ответственности «абсолютно за все»!³

Мнение Урбанчича: в исследовании «Карамазовых» «живет» сам Пирьевиц.

В нем [исследовании] я вижу, так сказать, синтез Вашего предшествующего хода мыслей, где Вы объединяете все свои предшествующие взгляды на существо нигилизма и самым определенным образом развиваете мысль о допущении сущего как деятельной любви. <...> До сих пор Вы все еще думаете над указанными темами, исходя при этом из опыта словенской истории, из опыта народно-освободительной войны и революции и из опыта послевоенного времени. Если прислушаться к Вашим исследованиям, невозможно не услышать в них этого голоса. Вопрос судьбы словенцев в эпоху нигилизма как истории, в которой присутствует сущее «ничто», пожалуй, — подлинный мотив Ваших интерпретаций, в том числе и на тему «Братьев Карамазовых»⁴.

¹ *Hribar S.* Op. cit. S. 293.

² В одной из своих прежних работ мы говорим о так называемом «синдроме прешерновской структуры». Тематика о взгляде на национальную литературу разрабатывается Пирьевицем в его работе «Вопрос о поэзии, вопрос нации»: *Pirjevec D.* Vprašanje o poeziji, vprašanje naroda. Ljubljana, 1978.

³ *Hribar S.* Op. cit. S. 293.

⁴ *Urbančič I.* Op. cit. S. 111.

Вирк, в отличие от Пирьевца, «свободен» от этого ощущения, ведь в своих исследованиях он выражает широкий литературный взгляд, что является логическим следствием его принадлежности к более молодому поколению. Речь идет о двухполюсном взгляде на «Карамазовых». В его исследовательских тылах можно установить такие факты: постмодернизм оказывается бунтом против традиционных систем авторитетов, открываются потеря стабильности ценностей, познавательное и онтологическое сомнение. Позитивным наверняка является то, что он приходит к освобождению традиционных ценностей и отказу от элитарности, а также к объединению высокого и низкого, «двойная кодировка» (например, «Преступление и наказание» простому читателю предлагает драматическую историю — светский взгляд: преступление, наказание — и одновременно вскрывает философские вопросы о самой причине: справедливость–несправедливость, преступление–не-преступление–наказание). Следовательно, причинно-следственная система. Постмодернистское ощущение мира — это ощущение цельности или, как его описывает Сьюзен Зонтаг в работе «Против интерпретации»¹, единства в мире. При этом постмодернизм приходит к деиерархизации и плюрализму истин и, как следствие, к познавательному и онтологическому сомнению. Если не существует ни единой истины, ни единой невидимой движущей силы, точки опоры, тогда любая истина одинаково действительна, а потому и ни одна истина недействительна (т. е. крайняя онтологическая и познавательная ценность), таким образом, из-за распыленности человеческое «я» теряет идентичность. Поэтому постмодернизм приходит и к новому концепту идентичности «я»: идентичность «я» известна лишь в отношении, в интеракции, на перекрестке с другими характерными «я». Это один из путей, ведущих к интертекстуальности. Последнюю Вирк показывает при помощи сравнения Достоевского и Акунина в работе «Достоевский и Акунин. Русская классика в тисках постмодернизма»². Вирк говорит о том, что свобода внутри этих рамок начинает раздражать — из-за ослабления авторитетов и статуса истины, действительности и трансцендентности. Сущность субъекта, таким образом, недоступна, ведь она скрывается в подсознательном, а картину мира творит человек. Известно, что Умберто Эко изображает три картины мира, но для постмодернистского

¹ Sontag S. Proti interpretaciji // Misel o moderni umetnosti. Ljubljana, 1981. S. 166–177.

² Virk T. Izleti čez mejo: razprave o evropski in latinoameriški prozi. Ljubljana, 2008. S. 190–211.

видения имеет значение исключительно последняя — то есть постмодернистский лабиринт как сеть, в которой нет центра, нет края, нет периферии, все перекрестки продолжают в бесконечности, мы не приходим к цели, однако создается образ, который Делёз и Гваттари называют «ризомой».

При этом, правда, мы абстрагируемся от всей остальной рецепции (например, Янко Лаврина, Янко Коса и Антона Оцвирка), однако именно благодаря им мы узнаем, каким было восприятие Достоевского — из других сопроводительных статей к его романам. Лаврин видит в Достоевском «великого писателя», поскольку тот показал, что одна из существенных задач искусства заключается в том, «чтобы расширять и углублять наше восприятие действительности, человека и жизни»¹, к тому же он не видит другого писателя, который бы настолько желал раскрыть тайны человеческой души. Именно благодаря этому психологический реализм, ставящий во главу угла анализ внутренней жизни человека, достиг своего апогея именно в Достоевском. В своих романах он показывает не типичные примеры человеческой души из русского общества, а, наоборот, по мнению Коса, «ее исключительные виды, полные противоречий, зачастую деформированные и даже патологические»². Наряду с анализом души своих героев Достоевский обращается к исследованию религиозных, нравственных и мировоззренческих вопросов. Из-за созданных писателем необычных, болезненных судеб героев современные ему русские реалисты не причисляли его к своему кругу. По мнению Оцвирка, созданные Достоевским образы не были для них «типичными представителями — ни общества, ни человечества, ни своего времени, ни окружающего пространства»³. Достоевского, очевидно, интересовало точнейшее описание или фотоснимок внешних проявлений и событий, однако иначе, чем его современников. Это предположение подтверждается и высказыванием Оцвирка о том, что «реальность» казалась Достоевскому «гораздо более сложной и масштабной, ведь ее невозможно ограничить лишь тем, о чем нам сообщают наши чувства и нервы, наоборот — она простирается также и прежде всего в «скрытые пределы нашей духовности»⁴. Достоевский указывает, что язык этой области можно подойти лишь с особыми рецепторами,

¹ Lavrin J. Dostojevski: življenje in delo. Maribor, 1968. S. 5.

² Kos J. Pregled svetovne književnosti. Ljubljana, 1994. S. 213.

³ Ocvirk A. Evropski roman. Ljubljana, 1977. S. 213.

⁴ Ibid. S. 210.

которые дают нам возможность ощутить реальность. Среди словенцев он стал известен как писатель униженных, несчастных, неизвестных, выбитых из колеи героев, а прославился как литературных психолог и анатом многосложных человеческих душ. Вирк исходит из другой точки зрения в своей работе, ведь он говорит о том, что «именно жизненность — по “содержанию и форме” — представляется, следовательно, наиболее соответствующим приблизительным определением наследия Достоевского. В этом причина его как позитивной, так и негативной известности, а также противоречий, особенно присущих его исследователям»¹. Вместе с тем ключевым моментом является то, что Вирк правомерно обращает внимание на «недостатки» «Большого исследования» и отсутствие литературного анализа «Карамазовых». Еще раз приведем, впрочем значительно расширив, высказывание Вирка об этом исследовании:

Искренне, со всем личным участием и заинтересованностью, то есть так, как этот роман заслуживает, с «Братьями Карамазовыми» до сих пор схватился лишь Душан Пирьевец в своем последнем, для понимания его идей и личности, вероятно, ключевом исследовании, написанном в качестве сопроводительной статьи для серии «Сто романов», возымевшем исключительное значение для культурных, идейных, духовных горизонтов Словении того времени и, с этой точки зрения, заслуженно названном переломным. Однако именно это исследование для нынешнего читателя, хорошо знающего Достоевского, его горизонты мыслей и идей, в которые он романом вдохнул жизнь, пожалуй, одно из самых уязвимых у Пирьевица, ведь тот своими дерзкими вмешательствами отбирает у живого и непосредственного слова Достоевского его жизненность и запирает его в рамки мертвой формулы, не имеющей в романе действительной опоры².

Тезис дважды подтвержден: во-первых, тем, что позиция Пирьевица не во всем объективна, ведь тот ее воспринимает как «катартическую» полемику, ограниченную событиями собственной жизни; а во-вторых, тем, как критик-постмодернист Сюзан Зонтаг в работе «Против интерпретации» обращает внимание на «слабость» интерпретации некоего текста, что в связи с конкретным примером

¹ Virk T. Življenje samo, ne prispodoba. S. 10.

² Ibid. S. 10.

оказывается правомочным тезисом. Вирк в этом смысле дистанцируется, поэтому видит, что «словенская рецепция “Братьев Карамазовых”» была

...разноликой, но, что касается основательного и обоснованного приступа к ним, относительно скупой. Частным взглядам на роман посвящено несколько небольших работ, наиболее эмоциональным из них в некоторых своих эссе предался Марьян Рожанц. Внутри более масштабных обзоров к роману с некоторым раздражением обратился Йосип Видмар, а с позиции человека мира — Янко Лаврин. Братко Крефт сделал важное дело, когда в сопроводительной статье к послевоенному изданию «Братьев Карамазовых» при помощи фактографии отверг в то время превалирующую идеологическую критику и обратил внимание прежде всего на художественное значение романа, однако более глубокого анализа не дал¹.

Пирьевец и Вирк в Словении открывают двойственность понимания «Карамазовых», при этом последний все-таки обращает внимание на то, что писатель пытался найти ответы на вопросы (например, о существовании бога, нигилизме, страдании, зле, вине, любви, единстве и всеединстве), которые ищет во всех предшествующих романах. По мнению Вирка, существуют причины из опыта писателя, прежде всего в его сочувствии к страдающим, оскорбленным и униженным людям, обуславливающие вопрос: «как Бог может допустить, что добрые люди терпят, а злые спокойно наслаждаются, если Бог *добро вознаграждает и зло наказывает?*»².

Перед читателем ставится вопрос о значении страдания и смысле «веры в Бога», если тот позволяет страдание и зло, тем самым мы соприкасаемся с областью онтологии и ингарденовских феноменологических взглядов, к которым апеллирует как Пирьевец в своем исследовании, так и Урбанчич в разговоре о *допущении сущего*. Вопрос в том, почему эта точка между литературной интерпретацией и философской мыслью в соответствующей части русского перевода столь проблематична или даже неуловима. То есть вопрос, который приравнивается к синтагме: «люблю, значит существую», или «терплю, значит существую».

¹ Ibid.

² Virk T. Izleti čez mejo ... S. 169.

Отпущение-допущение сущего и в сущем Вы показали как деятельную любовь. И то и другое в Вашей интерпретации идентично и показано как *отношение*, как Вы специально говорите и в работе о «Карамазовых», ко всему и каждому, то есть к существующему в сущем <...> В связи с этим Вы предлагаете в работе о «Карамазовых» даже формулу: люблю, значит существую; вариант этой формулы: терплю, значит существую. Оригинальное звучание и вес эта мысль приобретает в Вашей интерпретации слов Грушеньки: «люби беззаветно»¹. Этим любящим, и терпящим, и, следовательно, допускающим, или, короче, в этом отношении находящимся, или это отношение допущения несущим очевидно является человек. Человек здесь — тот, кто выражает эту любовь, это страдание, это допущение, он есть, он существует в этом отношении².

Хрибар выставляет тезис: ответа на вопрос «что с сущим и с Богом? С отношением...»³ мы не можем обрести, если не зададимся промежуточным вопросом «почему необходима деятельная любовь?»⁴. К Богу, следовательно, ведет опосредованный путь: «деятельная любовь к человеку»⁵; одновременно она считает, что «каким-то образом этот круг должен сомкнуться. Где-то должна быть точка смыкания. Нет деятельной любви, нет божественного откровения и сущего без муки и без ужаса, <...> мука и ужас — два способа откровения исключительного ничто»⁶. У круга есть свое замыкание на муке и ужасе. О понимании, сочувствии и допущении страдания высказался и Вирк, который, в отличие от Пирьевица и Урбанчича, показывает, как боль может быть преодолением конкретного — фактографически, на материале самого текста, а не только идеи, через двух писателей: Флобера

¹ «...Любить беззаветно: позволять сущему просто быть, не обращая внимания ни на что больше — конечно, если эти слова Грушеньки мы интерпретируем без оглядки на людей, а наоборот — относительного всех других существ, вещей. Вспомним также Маркела и Зосиму. Тогда “люби беззаветно” означает: любовь без каких-либо счетов, которые — если смотреть с точки зрения современной эпохи — реализуются в современных науках, технике, индустрии или работе, потребностях и т. д. и лишь в соответствующих межчеловеческих или общественных отношениях. Эта рациональность является выражением того рации, что даже по происхождению самого слова означает как разум, так и счет и выгоду» (*Urbančič I.* Op. cit. S. 137–138).

² Ibid.

³ Hribar S. Dušan Pirjevec in vprašanje o bogu // Pirjevčev zbornik. S. 155–161.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

и Достоевского. У последнего он описывает полное понимание страдания, которое проявляется в наблюдателе (т. е. жене Достоевского) во время приступа, переживаемого наблюдаемым (т. е. Достоевским). «Романы — особенно Достоевского — полны страдания, в связи с которым подразумевается то *познавательное*, а одновременно и *ценностное измерение*»¹. Это видно по двум аналогичным сценам, повторяющимся в произведениях русского писателя. Первая — из романа «Преступление и наказание». «Немотивированный убийца» Раскольников становится на колени перед проституткой Соней и таким образом ей выражает ей наивысшее почтение (какое иначе мы выражаем Богу) именно перед лицом ее страданий. Вторую сцену мы находим в «Братьях Карамазовых»: почтенный старец Зосима в пол кланяется Дмитрию — и это доказательство глубокого почтения относится к страданиям, ожидающим Дмитрия.

В настоящей работе мы попытались передать восприятие словенскими литературоведами русских романов, а именно романа Достоевского «Братья Карамазовы», где изображена жизнь, люди и культура России. Взгляды как Пирьевица, так и Вирка обращены, собственно, к вопросу о *позволении просто существовать*, что возможно перенести и в жизненный контекст как человека предшествующих эпох, так и нашего современника. Мотив страдания присутствует и там и там, лишь по-иному им оправдан, или принят, допустим. В первом случае это принимается (т. е. допускается для сущего), во втором — попытка подавления (т. е. страдание как боль). Вирк обращается к восприятию современного человека с позиций, обусловленных постмодернистскими воззрениями. «Онтологическая неуверенность современного человека, а вместе с тем и его боль, в этом свете происходят из факта, что человек является одновременно и субъектом и (иллюзорным) объектом. Таким образом расколотым он стал тогда, когда потерял свою мифологическую “невинность”, “аутентичность”, или “связь с миром”»². В своем восприятии Вирк демонстрирует и постановку промежуточного *теодицеинного вопроса* в последующей работе «Достоевский и Акунин. Классика в тисках постмодернизма»; в то время как Пирьевиц проводит примечательную параллель между любым человеком и Алешей, поскольку считает, что обретя путь так, как Алеша, тот «восстает очищенным», на «всю жизнь закаленным борцом». Речь

¹ Virk T. Ujetniki bolečine. Ljubljana, 1995. S. 88.

² Ibid. S. 85.

идет об утверждении, что только он сам, как и любой из нас, несмотря на культурные, общественные, политические различия и расстояния, способен выдержать любое испытание, уготованное ему жизнью. Единственная проблема — это сомнение (в самом себе). Дело не в доказательствах, но в понимании и допущении. Дело не в вопросе «да или нет», поскольку вопрос несуществен, наоборот — дело в вопросе «откуда и зачем вопрос», если он есть или если его нет. В подобной, но абсолютно идентичной картине можно найти такие мысли (через ницшеанскую синтагму) и у Пирьевица: «Бог мертв»¹. Однако несомненно важнейшим утверждением, которое высказывает Пирьевец, является: «...А мы, читающие роман, вообще готовы к тому, чтобы действительно опробовать значение слова *Бог?*»². Тем самым он удаляется от художественного произведения и приближается к теолого-философской проблематике.

Таким образом, два крупнейших словенских литературных критика обратили внимание на то, что существенно для понимания русской литературы в Словении. По крайней мере в том, что касается предупреждений Вирка читателю. Пирьевец же — через *позволение существа* и научно-философское исследование *вопроса о Боге* — преобразует слово Достоевского в метафору и ненамеренно «лишает» читателя того, что у Достоевского

...на первый взгляд чрезмерно, [но в реальности] крайне дословно; сама жизнь, а не «обозначение обозначающего». Гарантом этого является, естественно, сама жизненная, «полифоничная» форма: автор не говорит за других, его слово не передает мысли других, иначе мыслящих, не является «индикатором» речи другого, но наоборот — лишь его «выражением». Выражение «Все мы виноваты за всех людей, и больше всех я сам» не скрывает в себе никакого аллегорического или лишь при помощи философских размышлений доступного смысла, но наоборот — лишь то, что произнесено³.

Современный словенский читатель, обратившийся к русскому писателю, таким образом, ознакомлен с тем, что «романы Достоевского <...> идеи, которые появились, — не метафора, а сама жизнь»⁴.

¹ Pirjevec D. Bratje Karamazovi in vprašanje o Bogu. S. 14.

² Ibid. S. 16.

³ Virk T. Življenje samo, ne prispodoba. S. 11.

⁴ Ibid.

В результате настоящего исследования противопоставлены, с одной стороны, философский подход Душана Пирьевица, изготовителя «ключа» к «двойной кодировке» «Братьев Карамазовых», выкованного в 70-е гг. XX в. и предложенного читателю нового тысячелетия, и с другой — предложенная Вирком краткая литературная основа и искусные сравнительно-теоретические тезисы к размышлению о самом подходе словенцев к произведениям Достоевского, о так называемом «новом» взгляде и необходимости переспросить, подходит ли (еще) «ключ» к «замку»? И не в последнюю очередь — эта дверь, к которой мы обращаемся, вообще «закрыта» ли (и была ли когда-нибудь «закрыта»)?

П.В. Королькова

**«РУССКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» И ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ
РОМАНА НЕДЕЛЬКО ФАБРИО
«СМЕРТЬ ВРОНСКОГО»**

Даже у тех, кто не читал знаменитый роман Л.Н. Толстого, при упоминании «Анны Карениной» возникнут в голове фразы «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», «Все смешалось в доме Облонских» или по крайней мере воспоминание сродни следующему: «это та, которая бросилась под поезд». Для не слишком отягощенного знаниями по русской литературе иностранца (конечно, мы не имеем в виду университетских профессоров, русистов и отдельных поклонников творчества Толстого) вторая ассоциация скорее всего окажется единственной. Иначе говоря, «Анна Каренина» — текст, безусловно, прецедентный для европейского культурного пространства¹, но, как в случае с любым прецедентным литературным текстом, нюансы сюжета, тонкости обрисовки характеров и психологические детали

¹ Аллюзии на «Анну Каренину» можно встретить во многих литературных произведениях. Вспомним хотя бы, что в романе Милана Кундеры «Невыносимая легкость бытия» Тереза приходит к Томашу именно с «Анной Карениной» под мышкой, «словно это был входной билет в мир Томаша» (*Кундера М. Невыносимая легкость бытия*. СПб., 2009. С. 47); имя персонажа романа Толстого сопровождает героев Кундеры повсюду — Карениным они называют свою собаку («Томаш хотел, чтобы уже по одному имени было ясно, что собака принадлежит Терезе, и вспомнил о книге, которую она сжимала под мышкой, когда незванно приехала в Прагу...») (Там же. С. 25). Адекватность восприятия аллюзии на любой текст зависит от «объема общей памяти» автора и читателя, поэтому немаловажным является тот факт, что во многих европейских странах, в том числе Сербии и Хорватии, в школьную программу входит именно «Анна Каренина», а не «Война и мир».

сводятся к устойчивому представлению-клише (Раскольников убил старушку, Гамлет сомневался «быть или не быть», Отелло задушил Дездемону и т. д.).

Впрочем, в сознании представителей разных народов подобные стереотипы могут быть далеко не одинаковы, акценты порой смещаются самым кардинальным образом. Наверное, немногие русские читатели вспомнят, что в конце романа Алексей Кириллович Вронский отправляется в числе других добровольцев на сербо-турецкую войну¹. В то же время вовсе не удивительно, что в сознании балканских народов в качестве прецедентного актуализируется именно данный эпизод, связанный с отъездом героя. Для многих сербов и хорватов «Анна Каренина» — это не «там, где героиня бросилась под поезд», а «там, где Вронский уехал добровольцем на сербо-турецкую войну». Недаром, по убеждению югославского историка М. Юговича, «реальный участник событий и литературный персонаж, полковник Раевский и граф Вронский, сплелись в сознании сербов в единый образ. И любой образованный человек не только расскажет, куда Толстой отправил своего героя умирать, но и воспроизведет, пересыпая легендами, его службу в Сербии и героическую смерть, словно дописывая за автора эпилог романа»².

Именно этот штрих в судьбе персонажа, связанный со значимым для истории Балкан эпизодом, лег в основу романа хорватского писателя Неделько Фабрио (р. 1937) «Смерть Вронского: девятая часть романа Льва Николаевича Толстого “Анна Каренина”» («Smrt Vronskog: deveti dio “Ane Karenjine” Lava Nikolajeviča Tolstoja», 1994)³. По замыслу Фабрио, Вронский, отправившийся в Белград после смерти

¹ Эта война, предшествовавшая русско-турецкой войне, началась в июне 1876 г. и продолжалась четыре месяца. Сербия рассчитывала на поддержку и вмешательство России; в сентябре 1876 г. около трех тысяч (по другим данным, пять) русских добровольцев прибыли в Белград, чтобы участвовать в войне, однако силы были неравны. Впоследствии Сербия выступила на стороне России уже в ходе русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Скорее всего, прототипом графа Вронского у Толстого стал Николай Николаевич Раевский, погибший в августе 1876 г. на высоте Голо Брдо у селения Горни Адровац в Поморавье. Подробнее об этом см.: *Шемякин А.Л.* Смерть «графа Вронского». СПб., 2007.

² *Шемякин А.Л., Югович М.* Смерть «графа Вронского» // Родина. № 1. 2001. Цит. по: [Электронный ресурс]. URL: http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=183&n=11 (дата обращения: 10.09.2012).

³ Возможно, не последнюю роль сыграла популярность в Югославии экранизации романа Толстого с Татьяной Самойловой в главной роли (1967, реж. А. Зархи).

Анны¹, прибывает туда уже в сентябре 1991 г. и становится участником и свидетелем трагических событий в городе Вуковаре².

В 1990-е гг. произведение было новаторской для хорватской³ литературы попыткой в духе эстетики постмодернизма представить будущее «чужого» (прецедентного, узнаваемого) героя в современной автору действительности (роман создавался в 1993 — начале 1994 г. в разгар гражданской войны в Югославии). Вот как сам автор описывает замысел «Смерти Вронского»:

В романе (Толстого. — *П.К.*) мы встречаемся с ним (Вронским. — *П.К.*) в последний раз на вокзале в Курске, когда мать провожает его на фронт, и дальше не знаем о нем ничего — чем обернулась для него сербско-турецкая война, остался ли он жив, какова была его дальнейшая судьба. Вот так и получилось, что Лев Николаевич Толстой словно передал мне своего героя на курском вокзале, и я спустя 113 (в действительности 115. — *П.К.*) лет привез его на том же поезде в Белград. Как сказали бы критики, я воспользовался постмодернистским приемом, а кроме того, ввел в драматургию придуманной мною истории элементы славянской мифологии, на мой взгляд в данном случае совершенно необходимой; а когда случилось так, что Соня впервые после гибели Анны пробудила во Вронском любовь, я смиренно, но прямо обратился к великому писателю»⁴.

¹ Данный эпизод романа Толстого следует отнести к началу сентября 1876 г., поскольку герои говорят «о провозглашении королем Милана и об огромных последствиях, которые это может иметь» (*Толстой Л.Н. Анна Каренина // Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 8. М., 1984. С. 385*). Имеется в виду предложение генерала Михаила Григорьевича Черняева, принявшего сербское гражданство и ставшего во время войны главнокомандующим сербской армии, провозгласить Милана Обреновича, четвертого Князя Сербии, королем с целью поднятия престижа власти. В тот момент ни одна держава не признала провозглашения, и официально Милан Обренович станет королем при поддержке Австро-Венгрии лишь в 1882 г.

² Вуковар — город на северо-востоке современной Хорватии (область Славония, граница с Сербией), практически полностью уничтоженный частями Югославской народной армии и сербского ополчения; после трехмесячной осады и взятия Вуковара состоялась массовая (около 200 человек) казнь хорватских военнопленных и гражданских лиц.

³ Но не для европейской — подробнее см., напр.: *Lauer R. «Ana Karenjina» i Vukovar u romanu Nedjeljka Fabrija // Književna kritika o Nedjeljku Fabrijku. Zagreb, 2007. S. 248–250.*

⁴ *Фабрио Н. Смерть Вронского. СПб., 2004. С. 12.* Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, цит. по: [Электронный ресурс]. URL: http://bookz.ru/authors/nedelko-fabrio/smert_-v_953/1-smert_-v_953.html (дата обращения: 10.09.2012). (Страницы указаны в скобках.)

В соответствии с классификацией, предложенной Н.А. Фатеевой, перед нами яркий пример «дописывания “чужого” текста» (конструкции «текст в тексте о тексте») как одно из проявлений открытой метатекстуальности — «перенесение героев, композиционной схемы и манеры изложения известного произведения в контекст нового времени»¹. Текст можно было бы назвать вольным продолжением знаменитого романа Толстого, однако недаром сам автор отрицал подобную трактовку и дал своему произведению подзаголовок «Небольшой роман в русском стиле» («*Romanzetto alla russa*»). Ведь хорватского писателя интересует не будущее персонажа «Анны Карениной», его переживания и возможные обстоятельства гибели, а прежде всего осмысление военных событий, происходящих на родине автора в начале 1990-х гг., крушение иллюзий героя, считавшего войну «делом честным и чистым»². Книга «Смерть Вронского» Фабрио — одно из первых литературных произведений, темой которого стала война в Хорватии.

Последняя сцена, в которой мы встречаемся с Алексеем Кирилловичем у Толстого — эпизод прощания Вронского на вокзале с Сергеем Ивановичем Кознышевым, — становится своеобразной точкой отсчета новой судьбы известного нам героя. Однако настолько ли уж знаком нам этот персонаж? Кажется, Фабрио делает все, чтобы представить своего героя именно как «того самого» Вронского — этому в рамках интертекстуальности способствует целая система цитат и аллюзий на текст русского классика: отдельные художественные детали³, высказывания самого автора⁴, постоянные воспоминания

¹ Фатеева Н.А. Интертекст в мире текстов: Контрапункт интертекстуальности. М., 2012. С. 145–146. Что касается манеры изложения, то знаменитый хорватский русист, компаративист и теоретик литературы Александр Флакер сближает публицистичность текста Фабрио и «кинематографичность» «Анны Карениной», печатавшейся в 1875–1877 гг. в журнале «Русский вестник» как роман с продолжением, затрагивающий самые острые и актуальные вопросы эпохи. См.: *Flaker A. O legitimosti Fabrijeva postupka // Književna kritika ...* S. 259–260.

² Фабрио Н. Смерть Вронского. С. 6.

³ На протяжении всего романа Вронский остается в форме офицера царской России: писатель называет его графом и отмечает, что на нем «офицерская фуражка с двуглавым орлом» (с. 1), на мундире «царские эполеты, украшенные золотой и алой бахромой» (с. 2); в другом эпизоде ребенок с изумлением рассматривает форму героя, «сверкавшую в лучах молодого солнца двумя рядами пуговиц, золотыми эполетами, витыми аксельбантами и плетеным золотым поясом» (с. 9) и др.

⁴ Ср. напр.: «Стоит граф Алексей Кириллович Вронский перед Вуковаром, стою я над Вронским. Он — дитя войны, я — его второй отец...» (с. 5); «С какой же легкостью, с какой безумной дерзостью, Николаевич ты мой Лев, входят они (божества из славянской

героя об Анне и о том, что с ней связано¹, внутренний диалог, который он ведет с умершей возлюбленной², воспроизведение некоторых фрагментов из «Анны Карениной» — сцены знакомства с Анной и гибели сторожа на вокзале, эпизода скачек, спора о необходимости открытия женских гимназий, смерти главной героини и др. В то же время отметим, что в ряде случаев сцены из романа Толстого в целом приведены с высокой степенью точности — например, при описании красносельских скачек, вместе с тем в других ситуациях при обращении к эпизодам из «Анны Карениной» текст Фабрио откровенно противоречит тексту русского классика, как это происходит в сцене первой встречи героев на вокзале (к характеру и специфике данного феномена мы обратимся позднее).

Создается устойчивое впечатление, что появление на страницах романа Фабрио Вронского обусловлено исключительно стремлением писателя создать образ «стороннего наблюдателя» (русского — «другого», не-серба и не-хорвата). Особенно острым, как нам кажется, это ощущение будет у русскоязычного читателя. Вместе с тем представляется неслучайным тот факт, что в качестве наблюдателя и носителя объективного взгляда на события автор выбирает именно русского — героя, изначально находящегося на стороне сербов³, но выступающего против методов насилия и шантажа, используемых в сербской армии по отношению к хорватским пленным⁴.

Писатель постепенно «переманивает» Вронского на сторону хорватов. Авторская позиция в тексте выражена однозначно и достаточно жестко, и это неудивительно, при том что роман написан в 1993–1994 гг. в разгар военных событий, когда предсказать, чем закончится война, было просто невозможно⁵. Используя принципы

мифологии. — П.К.) в *наш* (курсив наш. — П.К.) рассказ, эти древние властители и нашей смерти, и нашей жизни, куда менее ценной, чем смерть» (с. 2) и др.

¹ Например, воспоминания о бальном платье Анны, отдельные фразы героини («Неужели все мы брошены в этот мир только для того, чтобы ненавидеть и оттого мучить друг друга?»; «Если бы ты любил меня так, как я тебя... если бы ты страдал, как я») и т. д.

² «Вот, Анна, видишь, я страдаю» (с. 2); «совершенно помимо моей воли, Анна» (с. 10) и др.

³ Актуализируется стереотип о традиционной «братской любви» русских и сербов, подкрепленной историческим опытом народов и общей религией.

⁴ Об этом см. также: *Mandić I. Prvorazredna domislica // Književna kritika ... S. 252.*

⁵ По убеждению самого Фабрио, в то время в Хорватии «не нашлось бы такого писателя, который принципиально иначе осветил бы отношения двух воюющих сторон — одной, совершившей нападение, и другой, уже вышедшей на основе волеизъявления ее граждан из бывшего государственного сообщества и теперь вынужденной защищаться» (с. 12).

литературной игры и интертекстуальности, оказавшиеся столь востребованными в литературе постмодернизма, Фабрио помещает хорватов и Вронского в общее литературное пространство — его можно было бы назвать пространством узнавания и взаимного понимания. Так, хорват, которого сербы ведут на расстрел, узнает Вронского исключительно по роману Толстого («Не стыдитесь, не надо... Я читал Толстого и знаю все о вас и об Анне»), а при прощании «...протянув графу бумагу, крепко обнял его, словно были знакомы они не по школьному курсу литературы, а дружили всю жизнь» (с. 8). Это общее для хорватов и Вронского литературное пространство, из которого происходит второй и которое хорошо знакомо первым, противопоставлено в романе «сербскому измерению», в котором Вронского не только не узнают как героя знаменитого романа, но в ряде случаев (важная деталь!) даже не могут вспомнить его имени (он оказывается *чужим*).

Таким образом, переживания Вронского сводятся у Фабрио исключительно к воспоминаниям о прошлом или же рефлексии относительно несправедливости и жестокости войны. В последнем случае Вронский выступает в качестве выразителя идей и анти-сербских настроений самого автора, что препятствует его восприятию в не-хорватской читательской среде как носителя объективной позиции.

Именно поэтому воспоминания Вронского (персонажа романа Фабрио), претендующие на то, чтобы занять важное место в произведении, не становятся ключом к интерпретации поведения героя и присутствуют в тексте лишь в качестве обособленных фрагментов, слабо связанных с сюжетной канвой. Зачастую эти эпизоды, заново написанные хорватским автором в совершенно иной, чем у Толстого, тональности, кажутся инородными элементами. Так, например, сцена гибели сторожа, данная у русского классика в основном в виде реплик персонажей¹ и полная внутреннего напряжения и предчувствия

¹ Ср. (Толстой Л.Н. Анна Каренина // Собр. соч. Т. 7. М., 1984. С. 73–75):

– Что?.. Что?.. Где?.. Бросился!.. задавило!.. – слышалось между проходившими.

Степан Аркадьич с сестрой под руку, тоже с испуганными лицами, вернулись и остановились, избегая народ, у входа в вагон.

Дамы вошли в вагон, а Вронский со Степаном Аркадьичем пошли за народом узнавать подробности несчастья.

Сторож, был ли он пьян или слишком закутан от сильного мороза, не слышал отодвигаемого задом поезда, и его раздавили.

<...>

трагедии, не просто визуализируется Фабрио, но доводится до крайней степени экспрессивности:

Первая картина, окутанная клубами густого дыма, изрыгаемого свистящим паровозом и прибываемого ветром к заледеневшей платформе, представляла собой вид вокзала и *рокового* (здесь и далее курсив наш. — П.К.) вагона, под которым на грязной, засыпанной углем земле лежало еще теплое тело сторожа, раздавленное колесами на уровне живота и частично заслоненное фигурами пассажиров, зевак, кондуктора, каких-то иностранцев, станционных служащих. Они стояли, *онемев от ужаса*, а клубы дыма упрямо и назойливо обволакивали их, будто стараясь замаскировать человеческое горе. Анна, он помнит, что она была в черной шляпке («*Quel styl! Charmant!*»), *требовала* пропустить жену покойного, которая, среди этой *кровавой сцены*, словно большой *черный ворон несласть* откуда-то с неба, широко раскрыв крылья и *испуская крики*, чтобы пасть на тело мужа¹... Он отстранил Анну — они стояли совсем рядом с местом *трагедии*, — чтобы пропустить *ринувшуюся* вниз вдову, и тогда (а они только что познакомились!) прозвучали те самые слова Анны, которые постоянно раздаются сейчас в его бочке, то есть в голове, и которые едва слышно звучат из ограниченного острыми углами воротника пространства возле его лица: «Какое страшное предзнаменование, дурное предзнаменование»² (с. 1).

Облонский и Вронский оба видели обезображенный труп. Облонский, видимо, страдал. Он морщился и, казалось, готов был плакать.

<...>

– Ах, если бы вы видели, графиня, – говорил Степан Аркадьич. – И жена его тут... Ужасно видеть ее... Она бросилась на тело. Говорят, он один кормил огромное семейство. Вот ужас!

– Нельзя ли что-нибудь сделать для нее? – взволнованным шепотом сказала Каренина.

<...>

– Вот смерть-то ужасная! – сказал какой-то господин, проходя мимо. – Говорят, на два куска.

– Я думаю, напротив, самая легкая, мгновенная, – заметил другой.

<...>

Каренина села в карету, и Степан Аркадьич с удивлением увидал, что губы ее дрожат и она с трудом удерживает слезы.

– Что с тобой, Анна? – спросил он, когда они отъехали несколько сот сажен.

– Дурное предзнаменование, – сказала она.

¹ Ср. у Толстого: «И жена его тут... Ужасно видеть ее... Она бросилась на тело. Говорят, он один кормил огромное семейство» (Там же. С. 74).

² Ср. слова Анны в хорватском оригинале Фабрио: «*Loše znamenje, loše znamenje*» (*Fabrio N. Smrt Vronskog*. Zagreb, 2005. S. 9. — «Плохое предзнаменование, плохое

В данном эпизоде (в соответствии с классификацией Н.А. Фатеевой его можно рассматривать как аллюзию с атрибуцией¹) в погоне за внешней эффектностью (обращает на себя внимание обилие тривиальных эпитетов) Фабрио не просто пренебрегает точностью воспроизведения толстовских деталей (Анна не была свидетельницей происшествия — у Толстого она узнает обо всем из уст Облонского и Вронского), но рисует сцену, противоречащую логике поведения персонажей и чуждую характеру этого эпизода. Ведь в нем героиня впервые сталкивается с «чем-то огромным, неумолимым», ощущает свое бессилие перед судьбой («дурное предзнаменование»), но ни в коем случае не является активным участником событий: глагол «требовать» стилистически никак не отвечает данной сцене, противореча самой ее сути. И если большинство зарубежных читателей просто не заметит подобного противоречия, то русскому читателю оно не может не броситься в глаза, особенно принимая во внимание ключевую роль данного эпизода.

То же несоответствие между внутренней логикой развития характера Вронского из «Анны Карениной» и действиями, чувствами и мыслями, приписываемыми ему хорватским писателем, мы встречаем при воссоздании одной из самых ярких сцен романа Толстого — сцены скачек. Вот как «вспоминает» об этом моменте герой Фабрио:

Будь Анна жива, то сейчас всем своим влюбленным существом она наслаждалась бы и его видом, и его значением. Так же, как это было утром того дня, когда он участвовал в красносельских скачках, где с ним

предзнаменование» или: «Дурное предзнаменование, дурное предзнаменование»). Фабрио, таким образом, дословно цитирует один из переводов романа Толстого — перевод К. Пранича, вышедший в Загребе в 1984 г., которым, судя по всему, он пользовался во время создания романа. В русском же варианте «Смерти Вронского» переводчица Лариса Савельева не обратилась непосредственно к «Анне Карениной», а сделала обратный дословный (и неточный) перевод с хорватского языка на русский. В результате этого в русском переводе «Смерти Вронского» Фабрио дословная цитата превратилась в неточную, приобретая отсутствующие как в хорватском тексте, так и в «Анне Карениной» Толстого смыслы.

¹ «Аллюзия — заимствование определенных элементов претекста, по которым происходит их узнавание в тексте-реципиенте, где и осуществляется их предикация <...>. От цитаты аллюзию отличает то, что заимствование элементов происходит выборочно, а целое высказывание или строка текста-донора, соотносимые с новым текстом, присутствуют в последнем как бы “за текстом” — только имплицитно» (Фатеева Н.А. Интертекст в мире текстов. С. 128–129). Точная атрибуция аллюзии предлагается в самом названии романа Фабрио и затем многократно подтверждается в тексте.

впервые в жизни произошло настоящее несчастье, «непоправимое несчастье», как он сам назвал его в мыслях, и виной которому был он сам: кобыла под ним сломала хребет, а он свалился в грязь, на неподвижную землю, под прицелом бинокля, направленного на него дрожащей рукой Анны, стоявшей в содрогнувшейся от ужаса толпе на трибуне. Он был тогда, так же как и нынешним утром, в белом офицерском мундире, с золотыми нашивками на рукавах, с золотыми эполетами и аксельбантами, похожий на молодого бога, закованного в доспехи, излучавший энергию и силу... В тот день, уезжая со скачек, смертельно испуганная Анна, как она позже призналась ему, терзала себя вопросом: сможет ли она, замужняя женщина, вообще в тот день увидеть его, и как, и где, а в это время Вронский, все еще сидя в грязи, закрывал ладонями уши, чтобы не слышать выстрела в голову своей любимой и всегда такой послушной под седлом кобылы. Он вспоминал нынешним утром, как Анна рассказывала ему о том, что говорила мужу, сидя с ним в карете, дрожа от собственной смелости и от страха после всего, что произошло, как она, бледнея и закрывая лицо веером, говорила Алексею Каренину о своем отчаянии: «И я не могу не быть в отчаянии... я слушаю вас, а думаю о нем. Потому что я его люблю, я его любовница, я не переношу вас, я боюсь вас, я ненавижу вас... Делайте со мной все, что вам угодно...»¹ *Вронский же, встав наконец из грязи, первым делом, это он ясно помнит и сейчас, привел себя в порядок, пригладил волосы, счистил с мундира грязь и траву, искоса поглядывая на главную трибуну, где находился император*² (с. 2).

¹ В данном случае реплики героини приведены Фабрио дословно. Ср. у Толстого: «Нет, вы не ошиблись... Я была и не могу не быть в отчаянии. Я слушаю вас и думаю о нем. Я люблю его, я его любовница, я не могу переносить, я боюсь, я ненавижу вас... Делайте со мной что хотите» (*Толстой Л.Н. Анна Каренина // Собр. соч. Т. 7. С. 273*).

² Ср. у Толстого (*Толстой Л.Н. Анна Каренина // Собр. соч. Т. 7. С. 222–223*):

...Вронский, к ужасу своему, почувствовал, что, не поспев за движением лошади, он, сам не понимая как, сделал скверное, непростительное движение <...> Он, шатаясь, стоял один на грязной неподвижной земле, а перед ним, тяжело дыша, лежала Фру-Фру и, перегнув к нему голову, смотрела на него своим прелестным глазом. Все еще не понимая того, что случилось, Вронский тянул лошадь за повод... С изуродованным страстью лицом, бледный и с трясущеюся нижнею челюстью, Вронский ударил ее каблучком в живот и опять стал тянуть за поводья. Но она не двигалась, а, уткнув хrap в землю, только смотрела на хозяина своим говорящим взглядом.

– Ааа! – промывчал Вронский, схватившись за голову. – Ааа! что я сделал! – прокричал он. – И проигранная скачка! И своя вина, постыдная, непростительная! И эта несчастная, милая, погубленная лошадь. Ааа! что я сделал!

<...> К своему несчастью, он чувствовал, что был цел и невредим. Лошадь сломала себе спину, и решено было ее пристрелить. *Вронский не мог отвечать на вопрос, не мог говорить ни с кем. Он повернулся и, не подняв соскочившей с головы фуражки, по-*

Отметим, что в данном эпизоде, как и в предыдущем, точное воспроизведение слов Анны из диалога с мужем соседствует с фрагментом, в корне противоречащим тексту Толстого и характеру его персонажа — очевидно, что собственный внешний вид и реакция императора волнуют героя «Анны Карениной» в последнюю очередь. Поэтому, как и воспоминания Вронского о сцене на вокзале, данный фрагмент можно считать аллюзией с точной атрибуцией, но нетождественным воспроизведением образца, при этом в обоих случаях мы встречаемся с фактом очевидного искажения «текста-донора».

Конечно, можно было бы предположить, что хорватский писатель сознательно стремится продемонстрировать, насколько память изменяет Вронскому (ведь в романе Фабрио последовательно проводится противопоставление Вронского прежнего, любившего Анну, и настоящего, не любящего ее, но находящегося после самоубийства героини в своего рода болезненной зависимости от нее: «Анна жива, она по-прежнему руководит моими мыслями и моими решениями», с. 9). Однако, принимая во внимание стремление Фабрио на разных уровнях произведения доказать, что его персонаж не просто однофамилец или человек сходной судьбы, но непосредственно герой Толстого, становится ясно, что данное предположение, скорее всего, безосновательно. Русскоязычному читателю (да и любому внимательному читателю, знакомому с романом Толстого не по комиксам и пересказам) слишком многое мешает воспринимать персонажа «Смерти Вронского» как «того самого» героя. Возможно, именно время и обстоятельства, при которых создавалось произведение, предопределили наличие подобных несоответствий: текст и герой Толстого заслоняются самодостаточными описаниями военных действий, а цитата, «активно нацеленная на “выпуклую радость узнавания”»¹, практически перестает выполнять свою функцию порождения и приращения смыслов. В данном случае интертекстуальность как «установка на более углубленное понимание текста»² выстреливает

шел прочь от гипподрома, сам не зная куда. Он чувствовал себя несчастным. В первый раз в жизни он испытал самое тяжелое несчастье, несчастье неисправимое и такое, в котором виною сам).

<...> воспоминание об этой скачке надолго осталось в его душе самым тяжелым и мучительным воспоминанием в его жизни.

¹ Фатеева Н.А. Интертекст в мире текстов. С. 122.

² Там же. С. 16.

вхолостую. До конца остается непонятым (если не принимать во внимание внешнюю эффектность сюжетного хода), почему «третьей стороной» (русским) должен был оказаться именно Вронский.

Нельзя, впрочем, отрицать, что в отдельных эпизодах романа присутствуют более тонкие и обоснованные с точки зрения развития характера главного персонажа аллюзии на «Анну Каренину». Так, например, у Фабрио гибель (по сути, самоубийство) Вронского, бросившегося бежать по минному полю, не просто вызывает в памяти сцену смерти Анны (образ солнца может быть соотнесен с образом свечи, мотив света доминирует в обоих эпизодах вплоть до использования Фабрио тавтологии и др.) — создается впечатление, что на ритмическом уровне воспроизводится текст Толстого:

Bivalo je sve *svijetlije*, počelo je uočavati raslinje... jer je prolazio kroz sve *svjetliju svjetlost*, sve laganiji i zračniji, mahao je rukama i podizao se, tako krilat, u sve *zlatniji* zrak, sve dalje od zemlje, od smrti, od mržnje... a onda se lice Anino, kojega je bilo puno cijelo nebo, čarolijom pretopi u krajnje *blještavilo*, i on ugleda gdje se u svojoj svojoj veličanstvenosti rađa ljekovito novo mlado *sunce*, otkupiteljsko i pravično, kome uzgor zajedno s njim sve stremi...¹

Становилось все *светлее*, он начал замечать растения... его окружал все более *яркий свет*, все более легкий и прозрачный воздух, он взмахивал руками и взлетал, словно у него были крылья, взлетал к все более *золотым* высям, все дальше от земли, от смерти, от ненависти... но тут лицо Анны, которое, казалось, парило перед ним высоко в небе, волшебным образом превратилось в *сияние*, заполнившее собой все небо, и он увидел величественное рождение нового, молодого, всеисцеляющего *солнца, солнца* искупления и справедливости, к которому вместе с ним устремилось все сущее...² (с. 12)

¹ *Fabrio N. Smrt Vronskog*. S. 9. А. Флакер в статье «О легитимности поступка Фабрио», посвященной «Смерти Вронского», отмечает в данном случае факт использования русизма (*Flaker A. O legitimosti ... S. 260*).

² Ср. у Толстого (*Толстой Л.Н. Анна Каренина // Собр. соч. Т. 8. С. 371*):

Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд девичьих и детских воспоминаний, и вдруг мрак, покрывавший для нее все, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми ее светлыми прошедшими радостями. Но она не спускала глаз с колес проходящего второго вагона <...> И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла.

Смерть главного персонажа является эпизодом-перевертышем по отношению к сцене гибели Анны: если Каренина бросается *вниз*, под колеса¹ (ключевые слова эпизода: «огромное», «неумолимое»; доминантным ощущением является ощущение тяжести), то Вронский *возносится вверх* (ключевые слова: «легкость», «прозрачность», «воздух»); если героиня мстит и свеча жизни для нее гаснет, то герой обретает искупление и вечный свет².

Этот мотив подкрепляется и присутствием скрытой (неатрибутированной) аллюзии на сцену ранения Андрей Болконского на Аустерлицком поле (наличие данной аллюзии отметил в статье, посвященной роману Фабрио, А. Флакер³). Герои искупают ошибки сходным образом, и мотив «высокого неба» и прозрения становится знаковым в обоих эпизодах. Впрочем, невозможно сказать, сознательно или случайно возникает в тексте хорватского автора данная аллюзия, так же как невозможно, на наш взгляд, с уверенностью утверждать, что Соня из романа Фабрио имеет какое-либо отношение к Соне Мармеладовой Достоевского (на чем настаивают критики Р. Лауэр и А. Штамач⁴).

Таким образом, текст Фабрио лишь с формальной точки зрения построен как центонный текст (ведь такой текст не просто представляет собой комплекс аллюзий и цитат, а подразумевает создание «некоего сложного языка иносказания, внутри которого семантические связи определяются литературными ассоциациями»⁵). В рамках собственного произведения Фабрио заново воссоздает роман Толстого в виде узнаваемых сцен, однако «русская линия», связанная с воспоминаниями Вронского об Анне, и «военная линия», которые должны были бы породить «скрещение и взаимную трансформацию

Конструирование нового смысла происходит здесь благодаря «цитированию стиля» и ритмико-синтаксической памяти кульминационного эпизода романа Толстого.

¹ Ср. у Толстого: «...спустившись по ступенькам, которые шли от водокачки к рельсам»; «Она смотрела на низ вагонов»; «И ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустила на колена» (Толстой Л.Н. Анна Каренина // Собр. соч. Т. 8. С. 370–371).

² А. Флакер отмечает, что последний эпизод романа Фабрио строится по контрасту с первым, где доминирует мотив лунного света. См.: Flaker A. O legitimosti ... S. 256.

³ Ibid. S. 260.

⁴ См.: Lauer R. «Ana Karenjina» ... S. 249; Štamač A. Svijet bez regulativna temelja // Književna kritika ... S. 262.

⁵ Фатеева Н.А. Интертекст в мире текстов. С. 137.

смыслов обоих текстов»¹, существуют в отрыве друг от друга и не «высвечивают» друг в друге новых смыслов.

Хорватский писатель, скорее всего, ощущает подобное несоответствие, и единственным скрепляющим звеном двух линий для него становится обращение к игре — стихии постмодернизма. Подобно тому, как Вронский на протяжении всего произведения ведет диалог с Анной, героиней романа Толстого, Фабрио ведет диалог с автором самого романа и полушутя-полусерьезно просит у него прощения за вольное обращение с созданным им образом: «Не ужасайся, граф Лев Николаевич, перед этой возможной любовной сценой между твоим героем и моей бедной Соней. Ничто более не унижит ни величия твоего пера, ни целостности созданного тобой образа»² (с. 11). Как нам кажется, подобного рода обращения могут вызвать очень разную реакцию у разных читателей — от улыбки над остроумием автора вплоть до полного неприятия текста.

В то же время игры «в узнавание», «открытия нового в старом» в «Смерти Вронского» практически нет. Читатель не прикладывает никаких усилий для разгадывания текста; атрибуция, как уже говорилось, установлена у Фабрио уже в названии, а при введении аллюзий и цитат писатель заранее «предупреждает», что перед нами воспоминания героя. В тексте не предлагается разгадывать концептуальную установку автора, поскольку замысел Фабрио очевиден и самодостаточен и по сути не нуждается ни в разгадывании, ни в аллюзиях на «Анну Каренину».

Однако, как нам представляется, в большей степени восприятию «Смерти Вронского» мешает кое-что другое: в результате того, что «русское измерение» романа возникает не вследствие заинтересованности хорватского писателя психологией, внутренним миром и дальнейшей судьбой персонажа «Анны Карениной» и не вследствие стремления к созданию новых смыслов в исходном тексте и собственном произведении, а носит исключительно функциональный характер (привлечь внимание читателя), образ Вронского — в высшей степени сложный и неоднозначный у Толстого — чрезвычайно упрощается. В переживаниях героя отсутствует внутренняя динамика, его воспоминания статичны и не приводят по сравнению с окончанием

¹ Там же. С. 23.

² В целом «снижение» классических литературных образов и особенно их переосмысление в области физиологии становится частым приемом в творчестве писателей-постмодернистов. Подробнее об этом см.: *Фатеева Н.А.* Интертекст в мире текстов. С. 32–34.

романа Толстого ни к новой жизненной философии («Я, как человек, — сказал Вронский, — тем хорош, что жизнь для меня ничего не стоит»¹) — и предсказание Кознышева («Вы возродитесь, предсказываю вам»²) остается несбывшимся, — ни к искуплению вины и духовному возрождению. На протяжении книги Фабрио лишь несколько раз перефразирует эпитафию из «Анны Карениной» («Мне отмщение, и Аз воздам»): «Анна страшной своей смертью хотела наказать его, хотела возродить в нем любовь к ней, любовь, которую он так спокойно и так безжалостно задушил, и теперь, после того как ее наказание уже совершилось, и ему самому следовало наказать себя» (с. 1); «Мне осталось только страдать из-за Анны. Искупать грех» (с. 2); «Моя чаша на весах правосудия постепенно опускается, еще немного, и она окажется уравновешена Анниной. Это и будет концом» (с. 12).

Роман «Смерть Вронского» написан главным образом с использованием так называемой «черно-белой» техники, хотя в послесловии к «Смерти Вронского» автор категорически отрицает подобный подход: «...опыт социалистического реализма, который с 1945-го и до начала пятидесятых годов был прописан коммунистической партией нашей культуре, недвусмысленно свидетельствовал о том, что черно-белая техника не имеет права на существование в литературе, особенно в романе, посвященном войне»³ (с. 12). Карикатурно и вместе с тем страшно выглядят белградские профессор, академик и поэт, с которыми встречается Вронский на приеме в Палате

¹ Толстой Л.Н. Анна Каренина // Собр. соч.. Т. 8. С. 384.

² Там же.

³ О подобном отношении косвенно свидетельствует и вывод, к которому приходит герой «Смерти Вронского»:

Теперь же ему было совершенно ясно, что войне в полной мере может соответствовать только совершенно новое искусство, искусство механической картинки, то есть картины объективной, холодной, неподкупной, сделанной из стекла и металла, из тех же материалов, с помощью которых ее производят.. И что же в таком случае остается на долю живописи или литературы? Особенно во время войны? Особенно этой войны?.. Что делать искусству? Исчезнуть? Признать свою неспособность соответствовать новым творческим задачам? Признать, таким образом, что они, связанные с душой и мировоззрением художника, зависят и от повседневного и даже сиюминутного состояния его внутреннего мира? Ответ положительный — искусство должно исчезнуть, раствориться. Но раствориться в самом себе! Оно не должно описывать ужасы войны, потому что даже самая примитивная в техническом отношении камера гораздо лучше справляется с этим, оно должно из собственных недр, с помощью грамматики собственной жизни рассказывать о войне и военных преступлениях (с. 8).

Федерации, — выступающие за победоносную войну националисты¹, расхваливающие друг друга, а также сербские военные, обсуждающие план взятия Вуковара; резкое неприятие у читателя должны вызвать уверенность в особой миссии Сербии на Балканах и националистические высказывания писателей на вечере сербской литературы в Москве, их открытая неприязнь к хорватам и необоснованные претензии на хорватскую землю. В то же время многие страницы книги посвящены описанию страданий мирного хорватского населения в осажденном городе, циничного и жестокого отношения к хорватским пленным, пыток, применяемых «сербскими четниками».

С симпатией изображается Фабрио лишь один сербский капитан, не принимающий методов, господствующих в сербской армии², но и данный персонаж воспринимается скорее как ходульный образ «совести нации», присутствие которого создает лишь внешнее впечатление объективности повествования. Этому призваны способствовать и введенные в текст романа документальные свидетельства эпохи — материалы «Резолюции Чрезвычайной скупщины Объединения писателей Сербии», состоявшейся в Белграде 4 марта 1989 г., радиообращение одного из жителей Вуковара и др.

Вместе с тем, несмотря на весьма необъективную позицию автора в оценке военных событий и четкое деление героев на

¹ Ср. высказывания сербов — участников дискуссии: «Именно этим объясняется наша историческая память и тревога за свою судьбу в будущем. И пока на северо-западе Югославии задаются вопросом, что же такое сербы — цыгане или фашисты, судетские немцы или сталинисты, тем, кто никак не может с этим разобратся, следует помнить — всякий, кто посягал на Сербию, кончал позором! И не важно, кто это сказал, я или мой коллега, поэт, потому что так и только так думает весь сербский народ. И даже если потребуется ввергнуть в третью мировую войну весь мир, мы к этому готовы!»; «войну нужно воспринимать как хирургическую операцию, болезненную, но совершенно неизбежную для спасения жизни больного»; «...сербы — это Божий народ, древнейший на свете! — Поэт угрожающе поднял решительно стиснутый кулак. — Между Альпами, Дунаем и Эгейским морем живет один народ, потому что земля сербская повсюду, где есть могилы сербов»; «За мучеников наших, тогдашних и нынешних... таких, как господин академик», — смиренно проговорил университетский профессор и чокнулся с академиком» (с. 3) и др.

² Ср.: «Знаете, я никогда бы не поверил, что мне придется обращаться в бегство мой собственный народ, да еще пользуясь теми методами, которые мы изучали на занятиях по психологической войне! А ведь именно так получается, друг мой, когда у людей перепутаны причины и следствия» (с. 4); «Это ложь, товарищ полковник! Мы вовсе не жертва, мы агрессоры! Это мы напали на подразделения территориальной обороны Словении, это мы сейчас воюем против отрядов народного ополчения и частей МВД Хорватии, это мы завтра двинемся на Боснию и Герцеговину...» — говорил капитан первого класса с такой убежденностью, что можно было не сомневаться — у него найдутся сторонники» (там же).

«положительных» и «отрицательных», ряд мотивов и говорящих деталей, формирующих «русское измерение» романа, делают замысел писателя неординарным, привлекают к тексту Фабрио как хорватского, так и иностранного читателя. Дополнительные ассоциации и аллюзии на «Анну Каренину» создают оппозиции «свет — тьма», «живое — мертвое» (мотив смерти живого существа под колесами, образ загнанной лошади), мотив холода, связанный с образом России и всего русского, и др.

Наличие «русской линии» характеризует и хронотоп произведения Фабрио. При этом в рамках «Смерти Вронского» происходит любопытное совмещение пространственно-временных структур — наложение хронотопа романа Толстого на пространственно-временное оформление фабулы в книге Фабрио, создается новый единый хронотоп «Анны Карениной» и «Смерти Вронского».

Так, московские события, предшествующие отправке Вронского на фронт и имеющие отношение уже исключительно к роману Фабрио, принадлежат временному пласту «Смерти Вронского», поэтому 1876 год характеризуется приметам времени начала 1990-х:

Совершенно случайно, буквально день спустя после вечера сербских писателей, Вронский узнал, что главным инспектором направлявшихся в Сербию русских добровольцев назначен его товарищ по Пажескому корпусу генерал Черняев. Хотя власти понимали, что интересам общей политики новой России, которая пока еще только пытается найти и свое место в мире, и столь необходимые ей западные кредиты, не отвечает разглашение подобных известий, сам Черняев поспешил, причем не без известного самодовольства, сообщить Вронскому по телефону о своем новом назначении в преддверии предстоящей войны в бывшей Югославии. Он позвонил выразить соболезнования по поводу кончины Анны, Вронский же поздравил Черняева и, воспользовавшись случаем, предложил ему свои профессиональные услуги (с. 2).

В Москве происходит и встреча с сербскими писателями и обсуждение ситуации накануне войны, т. е. сюда явно вклинивается «белградское» время. Уловить тот момент, когда временные пласты сменяют друг друга (в Москве? в поезде, идущем из Москвы в Белград? уже в Белграде?), оказывается невозможным именно в силу того, что они не просто накладываются друг на друга, но по замыслу автора

представляют собой единое целое. В каждом (вполне замкнутом) пространстве с определенной временной доминантой непременно присутствуют приметы «другого» времени.

В то же время на протяжении романа постоянно подчеркивается, что Вронский до конца не принадлежит ни «толстовскому», ни «современному» хронотопу — уже отмечалось, что герой носит форму офицеров царской России, а остальные персонажи постоянно используют по отношению к нему обращение «граф» и «ваша светлость». Данный очевидный анахронизм становится для писателя одним из приемов, с помощью которых достигается необходимый эффект: на уровне хронотопа мы ощущаем, что Вронский «переселился» в роман Фабрио из другого литературного произведения, поэтому еще острее ощущаем его «чужеродность», принадлежность к иному («русскому», «толстовскому») пространству и времени.

Таким образом, несмотря на использование различных интертекстуальных элементов, развитие толстовского сюжета в романе Фабрио, на наш взгляд, не состоялось. Атрибуция, установленная уже в названии и постоянно подчеркиваемая автором, оказывается своего рода «обманкой»; «чужой герой» и «чужой текст» привлекаются Фабрио как средство поднятия ранга собственного текста и не становятся в нем смыслообразующим элементом. Название романа содержит не просто прецедентное имя героя, актуализирующее поэтическую память, связанную с конкретным текстом Толстого, а имя — культурный концепт, за которым стоит целый пласт культурной памяти (Россия, русское дворянство, война, добровольческое движение и многое другое). Однако все то, что стоит за этим именем как за культурным концептом, в тексте Фабрио актуализируется лишь на внешнем уровне.

Поэтому, несмотря на замысел, который мог бы вызвать особый интерес в отечественной аудитории, публикация книги на русском языке, осуществленная в 2004 г., практически не вызвала отклика у читателей, а если и вызвала, то в большинстве случаев негативный. В то же время в Хорватии, где Фабрио является одним из самых популярных современных национальных писателей¹, награжденных многими литературными премиями (премия им. Владимира Назора, премия фонда Мирослава Крлежи, международная премия им. Гердера,

¹ См.: *Ильина Г.Я.* «Адриатическая трилогия» Неделько Фабрио // *Славянский вестник*. Вып. 2. М., 2004; *Leksikon hrvatske književnosti / Vlaho Bogšić i dr.* Zagreb, 1998.

кандидат Нобелевской премии по литературе и др.), наблюдается полностью противоположная картина¹.

Диалог с произведением Толстого, заявленный в названии романа, вряд ли можно признать состоявшимся не только в сфере использования интертекстуальных элементов, но и в области разработки характера главного персонажа. В этом смысле «русское измерение» романа не добавило ему глубины и объективности. Вместе с тем отдельные приемы, которыми на разных уровнях поэтики (хронотоп, система говорящих деталей и мотивов, отчасти система персонажей) пользуется Фабрио для создания этого измерения, как и сам замысел книги, нельзя не признать интересной и совершенно новой для хорватской литературы находкой писателя.

¹ См.: Književna kritika ...

Науме Радически

**РУССКИЕ ТЕМЫ И ИДЕИ
В РОМАНАХ МИЛОША ЦРНЯНСКОГО
«Переселения», «Переселения 2»
и «Роман о Лондоне»**

1

Милош Црнянский (1893–1977), одна из значительнейших, наиболее выдающихся личностей сербской литературы XX в., как автор отдельных произведений занимает также яркое самобытное место в имагологических связях русской литературы, с одной стороны, и южно-славянских литератур — с другой. Постоянно, иногда активно, а иногда лишь подспудно, одержимый идеей России и русского человека, во всем многообразии большинства своих произведений автор затрагивает или в свойственной ему манере перерабатывает узнаваемые темы с русской окраской. Это в полной мере воплощено в его романах «Переселения» (1929), «Переселения 2»¹ (1962) и «Роман о Лондоне» (1971). В этих произведениях Црнянский показывает себя одним из наиболее ярких писателей, затрагивающих русскую тему в сербской литературе. Русские темы в его романах отчетливо и ярко выражаются в навязчивых мыслях его протагонистов о России, точнее, в идее переселения в великую и священную братскую славянскую и православную страну (в «Переселениях» и в первом томе «Переселения 2»), а затем в описании жизненного опыта серба XVIII в.

¹ Название «Переселения 2», под которым впервые роман был издан в 1962 г., используется как наиболее соответствующее, по нашему мнению, особенно принимая во внимание тот факт, что «Переселения» и «Переселения 2» по сути представляют единый асимметричный роман-диптих.

в России (во втором томе «Переселения 2»), как и в освещении экзистенциальных проблем русских эмигрантов в Англии в XX в. (в «Романе о Лондоне»).

2

Ранние навязчивые идеи переселения, а особенно упоминание России как благоприятного места переселения в поэтической комедии «Маска»¹ (1918), а также архаическая таинственность и рациональная недостижимость в стихотворении «Суматра» (1920), мечты о «спокойных, снежных вершинах Урала»², представляют собой только предполагаемую, но, может быть, недостаточно всеобъемлющую увертюру к многогранным последующим идеям М. Црњанского, связанным с Россией. В этом контексте из главного предмета нашего исследования мы бы исключили его многочисленные упоминания о русских людях, как и его образ Лермонтова в «Дневнике о Чарноевичу»³, а обратились бы к более характерным для него идеям и темам, связанным с великой славянской страной, которые углубляются и развиваются в мыслях и стремлениях главного персонажа «Переселений» Вука Исаковича. Его не полностью реализованные мечты о переселении в эту страну в значительной мере воплощаются. Уже в «Дневник о Чарноевичу» (1921) очевидна зрелость и талант романиста Црњанского, но с большей отчетливостью это подтверждается в «Переселениях», первом романе, явившемся результатом его многолетних размышлений о массовом переселении сербов в XVIII в. Все это Црњанский описывает не только на основании своих предположений и опыта. Не до конца известным остается факт, что кроме консультаций со знатоками истории и поискам в архивах, писатель в значительной мере основывается на мемуарах генерала Симеона Пишчевича, одного из известнейших сербских эмигрантов в Россию в XVIII в. Выходец из рядов защитников австрийской границы, Пишчевич участвовал и в походах на Рейн в полку Вука Исаковича, его образ также возникает во второстепенных, маргинальных сценах в обоих романах о переселениях.

Роман «Переселения» создан как творческий срез жизни сербского населения, проживающего в южно-венгерской части австрийской

¹ Црњански М. Дrame // Сабрана дела Милоша Црњанског. Т. 9. Београд, Нови Сад, Загреб, Сарајево, Београд, 1966. С. 33, 42, 46.

² Црњански М. Поезија // Сабрана дела Милоша Црњанског. Т. 4. С. 71.

³ Црњански М. Проза // Сабрана дела Милоша Црњанског. Т. 5. С. 70–72 и др.

военной границы в конце первой половины XVIII в. Внимание автора, с одной стороны, сфокусировано на военной среде, состоящей из рекрутов — жителей этого района — Славонско-придунайском полке, а с другой стороны, на жизни и событиях в сербских пограничных населенных пунктах, особенно в семье Исаковича. На этом фоне канва романа пронизана навязчивой идеей о России главного персонажа Вука Исаковича, коменданта этой военной части. Он одержим идеей переселения в Россию, но не в одиночку, а со всеми окружающими его людьми, со своей семьей и всеми Исаковичами, прислугой и солдатами. Если столь велика страсть к России, как и к звезде Деннице, то это не «просто символ идеалов Исаковича», как думает Н. Милошевич¹.

Симпатии военного к России раскрываются уже во второй главе романа («Ушли, и не осталось после них ничего, ничего»). Недовольный отношением австрийского командования к себе, Вук Исакович в самом начале похода его полка на Рейн впервые выражает в монологе желание переселиться в Россию, единственно верный и конкретный конечный пункт. Уже исходно это фантастическая, поэтизированная навязчивая мечта Исаковича, которая ему чуть ли не снится: «Россия представлялась ему огромной, бескрайней зеленой поляной, по которой он будет скакать на коне»². И это желание, и эта постоянная, реально зримая картина не только часто повторяются, но становятся всеобъемлющими. В «Переселениях» они возникают как вспышки, особенно в конце, в моменты, когда Вуку в состоянии неудовлетворенности и бессилия нужны поддержка и помощь. «Поэтому нужно переселиться, уехать куда-нибудь, найти покой где-то, на чем-то чистом, прозрачном, гладком как поверхность глубоких горных озер»³. Россия в мечтах Вука Исаковича, которая для Н. Милошевича здесь «является только символом идеалов Исаковича»⁴, т. е. «эта бескрайняя, занесенная снегом Россия, куда он мечтал уехать, чтобы наконец-то легче дышалось и чтобы наконец отдохнуть и успокоиться»⁵, все равно — единственный конечный пункт его (Вука) будущего. Мысли о России служат ему значительной поддержкой, особенно в те

¹ Милошевич Н. Роман Милоша Црњанског. Проблем универзалног исказа. Београд, 1988. С. 126.

² Црњански М. Сеобе I // Сабрана дела Милоша Црњанског. Т. 1. С. 142.

³ Там же. С. 274.

⁴ Милошевич Н. Указ. соч. С. 126.

⁵ Црњански М. Сеобе I. С. 272.

моменты, когда речь идет о православии, точнее, когда от него требуют принятия католицизма. «Да пребудет православие мое благое многие лета у матери моей, и да пребудет во веки веков во всех моих потомках. Благость есть и наша Россия. Бога Создателя молю указать мне пути мои и в Россию перебраться. <...> туда я переселюсь»¹, — ответит он католическому епископу в Печуе.

Россия, однако, для Вука осталась, к сожалению, лишь фантастической мечтой на фоне безграничной безнадежности. Это открывается ему во сне, когда является видение, с помощью посланий его покровителя, святого Стефана Штиляновича. В конце концов со своей идеей Вук остается в одиночестве в камерных «Переселениях». Одержимость Россией и идеей о переселении особенно чужда его брату Аранжелу, полной его противоположности².

3

Идеи суматраизма и одержимость Россией Вука Исаковича из «Переселений», однако, есть нечто большее, нежели вводно-информативная и вдохновляющая увертюра к переселению, которое осуществит его пасынок, капитан Павле Исакович, главный герой двухтомника «Переселения 2», меланхолик и этерист³, напоминающий Бранко из «Маски» и Петра Раича из «Дневника о Чарноевиче». Более того, для него характерны не только идея переселения в Россию (которую Црњанский теперь довольно часто называет по-русски Россией, используя архаизмы для достижения большей исторической достоверности, словно с налетом старины, и упоминая о ней почти на каждой странице двух томов второго романа диптиха), но и присущие Вуку мечты о далеких краях. Как и ранее Вук, так и он «желал просто подольше остаться в ночи, полной звезд, ехать по пустым полям, лесам и болотам, с бескрайним небом на горизонте»⁴. Именно поэтому мы можем рассматривать Россию, предмет поэтических мечтаний и грез в «Переселениях», как художественно туманную, вымечтанную предварительную ступень на пути в Россию из «Переселений 2». Хотя и Павле время от времени является звезда Денница⁵, которая

¹ Там же. С. 156–157.

² Там же. С. 200, 215, 304–305.

³ Этерист — «член гетерии, тайного греческого повстанческого союза против турок» (А.С. Пушкин, «Выстрел»). Вероятно, через фр. *hetairiste* — то же от *hetairie* из греч. «товарищество». — *Примеч. ред.*

⁴ Црњански М. Сеобе II // Сабрана дела Милоша Црњанског. Т. 2. С. 354.

⁵ Там же. С. 123, 193, 216.

в «Переселениях 2» все меньше играет роль «волшебной защитницы главного героя, неусыпно охраняющей его по пути в Россию»¹. Во второй, более объемной части романа-диптиха, лирические и метафизические плоскости из предыдущего романа очень часто сдвинуты и заменены масштабными, определенно реалистичными динамичными действиями, что, вероятно, является основным показателем существенных различий между двумя романами, написанными в разные периоды. Это предоставляет большие возможности на широком, эпически развернутом реалистичном полотне развить тему осуществления столь желанного и долгожданного переселения в Россию.

Переселение — это то, что после долгих ожиданий, сюжетных перипетий и преодоления настоящих преград, которым посвящен первый том «Переселений 2», в конце концов удалось осуществить Павле и другим младшим представителям рода Исаковичей. В самом начале второй половины XVIII в., в конце 1752 г., Павле, Петар, Джурдже и Трифун — сыновья двоюродных братьев уже постаревшего Вука, под его руководством, преодолевая невероятно драматические преграды, получают визы в российском посольстве в Вене. После многочисленных препон и преград, стоящих на пути к реализации цели, каждый из них с большим или меньшим числом солдат из их частей, уже не из окрестностей Варадина, а с северо-востока далекого Темишвара, отправляется в долгий путь, который драматически откладывался. Из Воеводины, которая тогда входила в состав Венгрии, точнее, Австрийской империи, их ожидал долгий путь до западных границ огромного российского государства. После долгих странствий они попадают в западные районы Российской империи, в Киев, а через некоторое время получают земли и места постоянного проживания вдоль реки Донец, в окрестности Бахмута и Миргорода. Но давно было отмечено, что «Россия в мечтах Павла — далеко не то же самое, что Россия Павла в действительности»², как заметил и Н. Милошевич.

Прием и первоначально полученные в России привилегии Исаковичей, конечно, были далеко не те, которые они ожидали и на которые надеялись. Црнянский (который условно, слишком долго на продолжении всего первого тома «Переселений» занят преимущественно

¹ Милошевич Н. Указ. соч. С. 203.

² Там же. С. 228.

проблемами Павла до отправления в Россию), кроме самого путешествия в Киев, в третьей и последней книге «Переселений» искусно улаживает почти все без исключения отношения Исаковичей с официальными военно-государственными структурами. Бросая широкий взгляд на происходящее, он не упускает ни одного значительного события из жизни России, а особенно — русского человека, прежде всего в его душевной сфере¹. У Црњанского не заметно почти никаких следов житейских неурядиц в Бахмуте и Миргороде, конечном пункте назначения, которых можно было ожидать от коренного населения и запорожских казаков, не осознающих межславянской общности². Это вряд ли могло стать продолжением его переселенческого цикла в романе. В такой огромной стране, среди ее населения не остается места старым мечтам и фантазиям Павле Исаковича, который, несмотря на свои возможности, не смог приспособиться и, предаваясь своим меланхоличным настроениям, продолжает жить в прошлом и находится на самом плохом счету среди всех Исаковичей. В плане быстрого продвижения по карьерной лестнице немного большего достигают Трифун и Гюрге, который не особо обременен прошлым и на редкость лабилен.

Однако в самом начале, подлинно почувствовав силу русского (т. е. украинского) народа и земли на примере девушки, «дыхание которой было как порывы сильного ветра с ливнем»³, Павел впадает в глубокое самоотречение, одержимый не столько сегодняшними, сколько более ранними сербско-русскими взаимными связями (с. 323). Так, не проявляя особо свои недюжинные военные способности и не имея желаний включиться в реальные события, потому что он «совсем по-иному представлял, как с ним будет говорить, как его примет Россия» (с. 304), особенно осознав, что с мест их поселений были выселены другие люди (с. 397), он понимает, что люди могут переселяться, а Родина — нет. Это станет причиной нового, совершенно иного отношения к переселению в Россию, которое в результате разочарования из-за морального облика главы русской миссии в Токае, Вишневского, возникает в период длительного пребывания

¹ Црњански М. Сеобе III // Сабрана дела Милоша Црњанског. Т. 3. С. 218.

² Пашиченко Ј. Сеоба Срба у Украјину средином 18 века. Прилог проучавању проблема међуетничких веза // Сеобе и изгнанства као тема у југословенским књижевностима. Научни састанак слависта у Вукове дане 20/1. Међународни славистички центар, Филолошки факултет. Београд, 1991. С. 268.

³ Црњански М. Сеобе III. С. 216. Далее страницы указаны в тексте в скобках.

в приграничном городке, где он ждал своих «братенци» (с. 83), чтобы продолжить путь. Он не считает более Россию конечной целью переселения своих земляков; она становится лишь этапом на пути их возвращения в Сербию, но уже вместе с русскими войсками для ее освобождения от многовекового турецкого ига. Это была идея, которая со всей определенностью, ввиду политической расстановки сил в тот период, оказывалась неприемлемой и неосуществимой.

Непонятый и непринятый не только представителями официальных русских административных и военных кругов, но и своими земляками, вместо того чтобы адаптироваться и раскрыть свой военный потенциал, Павле настойчиво пытается доказать русским свою искреннюю привязанность, добиваясь [«приема»] и у царицы Елизаветы. Одержимый такими идеями и иллюзиями, он попадает в донкихотские и трагикомичные ситуации, а точнее, переживает еще более сильные, постоянные и глубокие разочарования. Это состояние, когда безвозвратно уходят его поэтические стремления к высокодуховному и начинается возвращение на землю, падение, которое намечается уже в конце диптиха «Переселения» и окончательно и бесповоротно происходит в «Романе о Лондоне». «Переселения 2», однако, увлекают не столько поэтически насыщенным, сколько эпически широким, панорамным описанием исторических и географических картин Придунайских земель и западных частей Российской империи в середине XVIII в. Их финальное звено, однако, точнее, итоговая и на первый взгляд стилизованная в духе историографической публицистики последняя глава, где документируется исчезновение следов сербских переселений в Украине, намного шире и во всех ракурсах соответствует освещению темы переселений, но не всегда — русской темы.

4

Финальный творческий аккорд русские идеи Црнянского обретают в его гениальном «Романе о Лондоне», последнем крупном произведении писателя и его лебединой песне как прозаика. «Роман о Лондоне» в нескольких вариантах создавался в период четвертьвековой эмиграции Црнянского в Англии и был окончен после его возвращения в Югославию. Перед нами вновь роман о переселении, но сейчас речь идет о трудностях не при желанных, а, наоборот, при вынужденных переселениях и особенно об итогах этих переселений, когда люди идут, точнее, опускаются на самое дно полной бессмысленности.

На смену Исаковичам из «Переселений», стремящимся переселиться в Россию и, возможно, имеющим реальные исторические прототипы, в «Романе о Лондоне» появляется скорее вымышленный, нежели реальный биографический двойник Црњанского, отставший от каравана истории¹ князь и эмигрант — бывший белогвардеец и русский аристократ Николай Родионович Репнин. Он и его супруга Надя, вынужденные покинуть родину в лихое время революции, двадцать лет скитаются по Европе, а в начале Второй мировой войны оказываются в Лондоне. Автор делает их героями романа в период первых послевоенных лет (конец 1946 и 1947 гг.), когда они сталкиваются с абсурдностью, суровой безысходностью существования. Сам Црњанский, который заявлял, что «этот роман ни в коем случае нельзя считать автобиографическим» и что «это книга о русском человеке, который не был ни князем, ни Репниным»², решил написать о русской, а не сербской, точнее, югославской эмиграции в Лондоне, так как «меньшая эмиграция — это и меньшая беда»³, именно поэтому более развитая русская эмиграция намного сильнее интересует его как писателя.

Николай и Надя в «Романе о Лондоне» — чрезвычайно яркие образы в примечательной и популярной в XX в. литературе о политическом изгнании, оторванности от корней. Особенно интересны их сколь необычные, столь и неожиданные жизненные позиции. Особенно Репнина. Абсолютно одинокий в окружении, где и язык чужд ему⁴, он являет собой пример героя-витязя, презирующего жизнь без настоящих ценностей. Позиция Репнина и его жены, полная достоинства, подтверждается и выражается более всего в их стремлении сохранить как личное, человеческое, так и национальное достоинство. Поражает то, что несмотря на свое аристократическое русское происхождение, Репнин сознательно сохраняет положительные неразрывные связи с родиной, даже с послереволюционной Россией, что часто подтверждают и своими высказываниями⁵. Повторяются если не одни и те же, то сходные мысли Репнина, часто возникающие

¹ *Кољевић С.* Руски Лондон Милоша Црњанског // *Кољевић С.* Путеви речи. Сарајево, 1978. С. 270.

² См.: *Поповић Р.* Бескрајни плави круг. Београд, 2009. С. 348.

³ *Црњански М.* Реч аутора // *Црњански М.* Роман о Лондону. Т. 2. Београд, 2008. С. 394–395.

⁴ *Кољевић С.* Указ. соч. С. 270.

⁵ *Црњански М.* Роман о Лондону. Т. 1. С. 127, 131–132, 288, 319; Т. 2. С. 62, 75, 77–79, 81, 90–91, 158–159, 161, 206–207, 209, 289–297, 337–344.

у него: «...чтобы шаг армии, советской армии остался прежним. Русским»¹. Особенно в этом плане интересна его реакция при просмотре фильма «Парад на Красной площади в Москве»:

И когда командующий армией верхом на коне отрапортовал командующему парадом, Репнин почувствовал, как у него поползли мурашки. Все было как в старой русской армии. Во всяком случае, так ему казалось.

Ему было абсолютно безразлично, как звали командующих. Что его поразило, так это конфигурация парадного строя и те двое верхом. Она была точно такой, как прежняя, старая, в старой армии. Сабля сверкнула точно так же, как во времена, когда он верхом сопровождал Брусилова в пятом или шестом ряду, но он участник, улыбающийся и веселый².

Несмотря ни на что, для супругов Репниных Россия является Россией их молодости, безвозвратно ушедших лет, их прошлого. Но прошлого, которое постоянно продолжается или возобновляется в их воспоминаниях и возвращениях к нему. Иногда простые вещи пробуждали воспоминания, например альбом о Санкт-Петербурге, подарок Репнину от графа Покровского³, дальнего родственника Нади. Что касается стремления к заоблачным высотам и к суматраическим землям, присутствующего в предыдущих романах, в «счастливые дали»⁴, сейчас мы наблюдаем быстрое, стремительное движение вниз и падение. На фоне прошлых переселений, бегства и изгнания человека, исходя из собственного жизненного опыта, заменяя или отождествляя свое авторское «я» с личностью русского эмигранта Репнина, который становится реальной «совершенно автономной сущностью»⁵, Црњански смог создать не просто один из уникальных романов о большом городе, но и завершить чрезвычайно амбициозный художественный проект, затрагивающий экзистенциальные проблемы и дилеммы русской политической эмиграции после Октябрьской революции, шире — в XX в.

¹ Црњански М. Роман о Лондону. Т. 2. С. 62.

² Там же. С. 206.

³ Там же. С. 257–260, 289–297.

⁴ См.: Цаџић П. Простори среће у делу Милоша Црњанског. Београд, 1976.

⁵ Banković J.S. Metamorfoze pada u delu Miloša Crnjanskog. Београд, 1996. С. 144.

Находясь в более широком аналитическом контексте, русские люди М. Црнянского из «Романа о Лондоне», прежде всего Надя и Николай Репнины, не могут не заинтересовать еще и на уровне индивидуальности. Им присуща широкая гамма состояний и эмоциональных всплесков. Как ранее Вук или Павле Исакович, так и Репнин часто проявляет себя как последовательный, несуетливый, большей частью сознательно неуступчивый, как бескомпромиссный представитель своего народа. Но в отличие от тех он однозначно остается без родины, у него нет мечтаний ни Вука, ни даже Павле Исаковича до его отправления в Россию. Уже потерянная родина, на страницах «Романа о Лондоне» Россия действительно упоминается реже, но подспудно ничуть не меньше присутствует как Россия — место переселения — из романа-диптиха «Переселения». Это соответствует мнению, что чувства Репнина к родине выражаются и проявляются в языке, в лингвистическом богатстве и возможностях. С. Колевич в этом плане также придерживается мнения, что аутентичный русский аристократизм Репнина может быть выражен только по-русски¹.

Как и для Вука Исаковича в «Переселениях», для Репнина из-за его чрезмерной занятости повседневными проблемами выживания в чужом мире, в «Романе о Лондоне» Россия больше раскрывается в отдельных воспоминаниях и мечтах, нежели как непосредственно главная тема. У Вука мечта сочеталась с надеждой на осуществление, а Репнин, осознавая, что эмигрант неизбежно ее теряет, еще больше подталкивает себя к пропасти небытия и безвременья. Если для Вука Исаковича Россия до конца была желанной страной его мечты, для Репнина, несмотря на принятие отдельных моментов ее нынешней действительности, — это покинутая и фактически навсегда потерянная для него родина. Осознавая свою деградацию и падение, Репнин остается эмигрантом и совершенно определенно апатридом, у которого можно все отнять, кроме его особого чувства и отношения к потерянной для него, но все еще существующей родине (России), независимо от произошедших в ней перемен. И как следствие этого недоразумения — неустроенность не только в английских, но и в русских эмигрантских кругах Лондона, в которых, как и среди сербских переселенцев в Россию в XVIII в., не всегда и во всем царит единство.

¹ Колевич С. Указ. соч. С. 270.

Попробуем подвести черту под столь сложно соединяемые понятия неоднозначного романа М. Црњанского, что никак нельзя сделать без дальнейшего дополнительного рассмотрения одержимости его главных героев Россией. Вместо идеальной России, о которой мечтали в «Переселениях», после переселения сербов в Россию неисправимый мечтатель в «Переселениях 2» вводит и делает реальным, конкретным, и даже варьирует, описывая двоякое восприятие своими героями страны, предмет их мечтаний. На условно изначальных и реалистических уровнях, путем творческого подхода к первой теме он реализует видение русской земли, точнее, опыт сербов-переселенцев XVIII в. в царской России. Независимо от самого факта переселения, для Павле, совершенно по-иному, нежели для Вука, «все происходит по-другому, чем задумано» или «все иное, чем он ожидал здесь, в России»¹, и Россия становится противоположностью мечтам и небесной синеве. Новая жизнь и опыт Исаковичей, особенно не умеющего приспособливаться Павле, который винит себя в том, что его земляки не получили ничего лучшего, чем то, что их ожидало и в Австрийской империи, делают его родственной душой не столько Вуку, сколько Репнину.

Переводя художественную оптику с прошлого на настоящее, в «Романе о Лондоне» М. Црњанский обращается к теме приобретенного жизненного опыта, душевного преобразования и окончательного падения потерявших корни современников. Вуком представляемая, а точнее, представляемая и реальная Россия Павле Исаковича в «Романе о Лондоне» вольтется в некогда бескрайние пространства метафизического и сверхъестественного, которые преобразуются в пространства безнадежности и безысходности. И Вук, и Павле Исакович возвращаются из своих тщетно желаемых и не до конца представляемых русских просторов к небу и синеве, возвращаются реинкарнированными в князе Репнине, монументальном образе-двойнике автора, но не возвращаются ни в их исходную поцерскую Црну Бару, ни в синеву неба, а опускаются в безнадежную серость и на дно современного лондонского города-монстра. Хотя, исходя прежде всего из собственного опыта, образ Репнина создан и поднят (или опущен) до «аутентичного литературного

¹ Црњански М. Сеобе III. С. 365.

двойника»¹ сквозь призму лондонского существования отверженных русских эмигрантов, особенно князя Репнина, Црнянский смог представить, а может, даже и типизировать коллективный опыт, характерный для значительной части русских послереволюционных эмигрантов. Благодаря тому, что в Репнине воплотились черты и опыт автора как политического эмигранта и отверженного, мы сейчас не первыми и не последними должны ощутить, что имеем дело, точнее, приобщаемся к закодированно-специфическому и далеко не простому индивидуальному творческому подходу.

Три ментально-тематических уровня, преобладающие в упомянутых романах М. Црнянского, по сути являются материализацией трех представлений, трех картин России: Вука и раннего Павле Исаковича, т. е. Павле до момента вступления на русскую землю, затем картина, сформировавшаяся у Павле по приезду в Россию, и, конечно, не столько картина, сколько отношение к России эмигранта Репнина. Но и это, вероятно, не все. Речь идет о целом спектре элементов, составляющих эти картины, точнее, маленьких фрагментарных паззлов, формирующих три мозаичные мечты-идеи и реальные события. Поэтому интересны не столько совпадения, сколько отличия художественного подхода Црнянского к ряду дополнительных маркантных русских представлений и тем. Как схожесть, так и отличия возникают по причине того факта, что Россия в романе-диптихе «Переселения» («Переселения» и «Переселения 2») связывается если не с одной исторической темой в настоящем понимании этого слова, то с одним из представлений далекого прошлого. И конечно, речь идет о коллективной, если не сказать национальной картине, характерной не только для нации, к которой принадлежит и автор, но в большей или меньшей степени присущей всем южнославянским народам. В «Романе о Лондоне», в свою очередь, затронута важная в период написания произведения, но, наверное, современная и сейчас, более широкая актуальная тема *в*, а еще более для современного мира — тема потери, оторванности от корней.

В поисках какого-то нереально возможного ответа на сформулированный по-иному, но неизбежный вопрос относительно столь характерной для Црнянского притягательности русской земли хотим лишь напомнить о его более масштабном интересе к переселениям, как и вибрирующие суматраические и, более того, метафизические

¹ Banković J.S. Op. cit. S. 144

движения в его длительно неизменной психограмме с постоянной лирической доминантой. Независимо от того, идет ли речь об определенных поисках в его поэзии или только в его романах, путевых записках или эссеической прозе, независимо от того, вступает ли он в подсознательный, интуитивный диалог с собственными эмоциями либо индивидуализированными эмоциями своих главных героев, или настойчиво переосмысливает коллективный, национальный опыт прошлого как в первых, так и во вторых «Переселениях», а особенно в «Романе о Лондоне», он удивительно творчески связывает различные временные и пространственные плоскости и воссоздает действительность как выдающийся художник и мечтатель, обладающий огромным творческим потенциалом.

Горана Раичевич

МИЛОШ ЦРНЯНСКИЙ О РУССКИХ И О РОССИИ

Хотя Милош Црнянский (1893–1977) в отличие от своего друга и ровесника Иво Андрича (1892–1975) не получил Нобелевскую премию по литературе, многие историки и критики видят в нем лучшего сербского писателя XX в. Если Андрич постоянно продвигался вверх по карьерной лестнице как писатель и дипломат, Црнянский — этот синоним непродуманной речи¹ — всегда был «паршивой овцой» среди писателей как в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, будущем Королевстве Югославии, так и в послевоенной социалистической стране, в которую вернулся лишь после 25-летней ссылки.

Родившийся и выросший на границе с Сербией, на территории тогдашней Австро-Венгерской монархии, в Первую мировую войну принудительно мобилизованный, чуть ли не вынужденный бороться против своего народа, Црнянский как поэт заявил о себе в 1919 г. своей бунтарской «Лирикой Итаки». В сборнике, встреченном критикой в освобожденном Белграде в штыки, поэт, возвеличивая жертву Гаврила Принципа (убийство эрцгерцога Фердинанда — событие, послужившее толчком к началу Первой мировой войны), сводит счеты с опустошенным, риторическим патриотизмом сербских модернистов (Й. Дучич, М. Ракич) и их стихотворениями, прославляющими державу средневековых властителей из династии Неманичей. Поэзия с яркими

¹ Выражение принадлежит Петару Джаджичу, автору книги «Простори среће у делу Милоша Црњанског» (1976).

социальными нотами показала «левую» ориентацию молодого писателя — это факт, который позднее, в 30-е гг. XX столетия, его противники используют, чтобы доказать якобы произошедшее с ним превращение в консерватора, «правого» и даже фашиста. Существование журнала «Идеи», который выходил в течение двух лет и редактором которого был Црнянский (1934–1946), и после Второй мировой войны считалось главной причиной того, что писателю было запрещено возвращаться на родину. Если бы Милош Црнянский после победы коммунистического антифашистского движения под руководством Иосипа Броз Тито в 1945 г. вернулся в Белград, он, скорее всего, оказался бы в тюрьме, потеряв свои гражданские права, — как это случилось с целым рядом сербских интеллектуалов, которых обвинили в предательстве и сотрудничестве с оккупантами, а многих расстреляли без суда и следствия.

Стал ли «правым» и фашистом Милош Црнянский, поэт, который в «Солдатском стихотворении» писал:

А что мне до вельмож в шелках
С соколами в руках?
Отец мой — плебей, что горюет на колодце,
оставившись в одну точку, стонет,
А дочь мою голодают волки... —

вопрос, на который в последние годы я пытаюсь ответить в своих исследованиях, посвященных детальному и обстоятельному изучению его жизни и творчества¹. Результаты этих исследований свидетельствуют, что Милош Црнянский не менялся, что картина мира, которую он построил в молодости — во втором и начале третьего десятилетия XX в., когда он явился новым именем в сербской литературе, — оставалась в его произведениях до конца. С одной стороны, в этой картине преобладает сплав идейности и чувствительности, который мы называем «суматраизмом» (по стихотворению, напечатанному в 1920 г.) и который, говоря кратко, есть представление о невидимых связях, сетью покрывающих мир, связях идейных, духовных, но не материальных, связях, держащих мир в состоянии целостности и дающих ему смысл. С другой стороны, Милош Црнянский, как и многие художники-авангардисты, чувствовал солидарность со своим народом — не

¹ Результаты исследования опубликованы в книгах «Ессе Милоша Црнянского» (2005) и «Укротители судьбы» — эссе о Црнянском и Андриче» (2010), а также в периодических изданиях.

только с сербами, но и с южными славянами, а позднее и со славянством вообще. Однако, очевидно разочарованный кровавой Гражданской войной в России после 1917 г., он перестал верить в прогресс человечества, который совершается путем насильственных перемен, т. е. социальных революций.

Вместо этого он, будучи настоящим авангардистом, начал верить в то, что мы называем духовной революцией, «революцией душ», как сам он любил говорить. А понятие души, которое, наряду с экстазом, стало ключевым в его послевоенном поэтическом бунте¹, разумеется, происходит из его любимой литературы и культуры — русской.

Хотя Црнянский был сербом, родившимся на просторах Южной Венгрии, сербом, учившимся в католической гимназии братьев-пиаристов в Темишваре (город в совр. Румынии), где ему дали отличное знание классических языков и литературы, а вместе с тем и обращенность к западноевропейской культурной традиции, о тесных связях писателя с Россией и русской литературой свидетельствуют его ранние воспоминания о детстве и юности. Рано ушедший отец Милоша, по словам писателя, «долбил» его историей сербов Воеводины. Это было проявление острого национального чувства, проистекавшего из осознания глубокого и всеохватывающего процесса вымирания сербского народа, теряющего свое лицо. Как можно заметить, среди австро-венгерских сербов ренегатами всегда считались люди, принадлежащие к высшим слоям общества, которые ради материальных благ были готовы отказаться и от своей национальности («*Ubi bene — ibi patria*», — говорит Црнянский в своих воспоминаниях). Поэтому в сочинениях писателей, которые приезжали из областей, ныне входящих в Воеводину, — а к их числу принадлежал и Црнянский, — можно заметить уважение к низшим социальным слоям. Подобно модернисту Велько Петровичу, сочинявшему хвалебные оды в честь крестьянина и пахаря, и Милош Црнянский в крестьянском, а также и в рабочем сословии видел ту животворную силу, которая обеспечит возрождение сербского народа за пределами его отечества. Когда после Первой мировой войны было создано государство южных славян, он, как и многие другие писатели его поколения, переживает это событие как

¹ В послевоенных программных текстах понятия «душа» и «экстаз» употреблены для обозначения поэзии, непохожей на стихи предвоенных модернистов, бравших за образец французских поэтов, которые «обезьянничали, глядя на Париж», как любил говорить Црнянский. Новая поэзия представлялась ему оригинальной, личной, написанной в моменты вдохновения, а не копией некоего европейского образца.

свой сбывшийся давний сон. Хотя переживание славянской общности — панславизм — молодой писатель унаследовал от поколения своего отца, вполне очевидно, что идея России как прибежища сербского народа в монархии Габсбургов, которую Црнянский изложил в своих романах «Переселения» (1929) и «Переселения 2» (1962) — после двухвекового присутствия в сознании народа стала неким архетипическим представлением среди сербов Воеводины. Свою первую встречу с русскими и их литературой Црнянский описал в своих «Комментариях», которые появились в послевоенном издании «Лирики Итаки» («Итака» и комментарии, 1954): «Когда я заболел scarlatiной, отец принес мне сербский перевод “Войны и мира” (или венгерский перевод), этот роман я прочитал за сутки, хотя мать утверждала, что так можно и ослепнуть».

В упомянутых «Комментариях» Црнянский описал и время, когда появилось большинство стихотворений сборника, — военные годы, которые он провел в качестве австрийского солдата и позднее офицера. В комментарии к стихотворению «Ода виселице» он говорит, что тогда ему в Галиции, на русском фронте, в момент прыжка в русскую траншею кто-то прикладом разбил нос, так что грудь его разбухла от крови. «В кармане рубахи у меня было немецкое издание Достоевского о Сибири. Universal», — говорит писатель в заключение.

О молодости Црнянского читатель узнает и из его романа «Дневник о Черноевиче» (1920). Описывая судьбу Петра Раича, Црнянский по сути дела создавал некое подобие автобиографии — или «автофикции», как сейчас частенько называют этот литературный жанр. Дебаты, которые и поныне ведутся по поводу фамилии главного героя (Раич-Черноевич), совершенно иррелевантны, поскольку фамилия в названии берется в качестве символического обозначения солдата, который в силу обстоятельств воюет за чужие интересы, что лежит в основе мотива «черноевичства»¹, который будет развит позднее в «Переселениях» и «Переселениях 2». Нас в данном случае интересуют части романа, где дана характеристика русских — тех, что находятся по другую сторону галицийского фронта, — но, может быть, еще более те пассажи, которые описывают предвоенные венские студенческие годы главного героя:

¹ Во главе Великого переселения сербов из Турции в монархию Габсбургов в 1689 г. стоял сербский патриарх Арсений III Черноевич. Фамилия «Црнянский» своей корневой основой весьма близка к фамилии «Черноевич».

Проходили дни. Я учился. Чаще всего я сидел там, где говорилось о движениях целых слоев бедноты и энтузиастов. Это я любил. Эту алую кровь, пролитую на улицах. Мы сидели — я и несколько поляков и евреев — и слушали историю «русской души»; она двигалась, как проклятый туман, с Востока. И я знал, что может прийти некая проклятая гроза, которая разметает эту увядшую жизнь без стержня и без боли. Книги, целые горы книг были разбросаны и там и сям по комнате; на улице была зловещая весна, — никто еще не слышал, что она принесет. А мы все носили шелковые чулки и дни напролет проводили на улице и в кафе. Мы хотели спасти мир — мы, славянские студенты. Кто знает? Может быть, однажды все прекратится в искусстве, которое не скажет ни чего хочет, ни что значит то, о чем оно говорит. Может быть, исчезнет речь, письмо и определения: это — смерть, а это — любовь, это — весна, а это — музыка.

Славянские студенты в столице ненавидимой страны хотят изменить мир и прислушиваются к «проклятому туману или грозе» с Востока, из России. Здесь подразумевается авангардистская идея о том, что в искусстве все однажды исчезнет — в искусстве, где перестанут существовать понятия и отдельные явления — как в расплывчатых фантазмагориях русского авангардиста Василия Кандинского, который предвосхищал концепцию «беспредметности» Казимира Малевича. Но все же любимый художник главного героя «Дневника Черноевича» не принадлежит к числу авангардистов; он — Илья Репин, передвижник, народный художник, художник «русской души».

Перед рассветом мы вышли на улицу. Оборванцы, поднимая пыль, мели мостовую и поливали ее. Невыспавшиеся и голодные, мы останавливались и долго говорили о мире, о сельскохозяйственных общинах и о славянстве. Я говорил только о Репине. И эти бесконечные разговоры, которые в трактире, в толпе длинноволосых студентов, приводили к разнузданным дракам, здесь, на улицах, шли спокойно и растекались по мокрым деревьям и красным крышам.

Однако тот славянский студент, который хотел изменить мир, на войне посмотрелся бед и страданий людских. И здесь, на этой Великой войне, он понял, что вновь маленьким человеком является тот, кто больше всего страдает — из-за царя ли или за идею справедливости.

Безмерно чувство солидарности, симпатии, которую Петр Раич, а по сути Црнянский, ощущает по отношению к людям, которые гибнут на европейских полях сражений. Он в Галиции смотрит на русских иначе, один из них напоминает ему Лермонтова, и эти русские для него настоящие герои, а не полководцы и государственные деятели. Именно они останутся в истории.

Один — в желтой серой шинели идет он со своей собакой точно в это время, каждый день, вниз к Висле. Он всегда нахмурен и всегда один, с собакой. Я жду — каждый день, что он скажет мне, что прыгну в воду. Он всегда один. Рано садится солнце. Сейчас сильный и до боли яркий блеск. Стараясь не смущаться, я подходил к нему и спрашивал: «Лермонтов, как ты сюда попал?» Но он всегда нахмурен. На дворе русские толкают какие-то бочки и хлопают брезентом. Поют святым литургии, а днем тайком мчатся на помойки, вытаскивают огрызки и глодают их, голодные. Вечером они греют чай и смеются, такие потные, грязные, вся кожа у них блестит. Но мне скорее жаль русских, чем тех, которые будут праздновать «славу» по букварям за третий класс. А наши сердца давно покрылись корой. Никто не умеет, как они, лечить скот, никто не умеет, как они, находить общий язык с женщинами. Даже когда их заставляют таскать уголь, они поют. Но русские лежат в грязи, грязные и растрепанные. Земля въелась им в кожу; из помойной ямы только высунется осторожно какая-то вихрастая голова и грызет, грызет что-то. Я даю им хлеба и спрашиваю, знают ли они господина Репина, но они его не знают. Они печально качают головой. Раздается звон издали, а девять теней быстро крестятся и кланяются по помойкам.

Может быть то, что Црнянский видел на войне, и оттолкнуло его от марксистской доктрины об установлении справедливого общественного порядка путем социальной революции, путем насилия. Когда эта «алая кровь на улицах» стала явью, когда и Россию, и Европу стали наводнять трупы — чаще всего невинных людей, — в Црнянском что-то переломилось. Отнюдь не солидарность, которую он чувствовал по отношению к маленькому человеку в истории, рабочему и крестьянину, который умирал за властелинов и царей, а отношение к идее о способе, которым следует изменить мир. После войны Црнянский опубликует стихотворение «Кута»¹, посвященное его другу Нике

¹ В журнале «Дан», Београд — Нови-Сад (1919–1920).

Бартуловичу, создателю драмы под названием «Кута большевизма». В этом стихотворении, которое не вошло в «Лирику Итаки», Црнянский встанет на сторону вечных жертв истории — павших во имя тех, кого прославляла эта история.

Что, жаль тебе нашего поколения?
Разве это не веселый маскарад —
Сегодня в моде царь, а завтра баррикады,
Христос, Нерон или Ленин.

Последняя строка этого катрена, в которой поставлены рядом христианский мессия, римский император и большевистский вождь, да и все стихотворение (которое из-за недостатка места я не привожу целиком) говорят нам о том, что история повторяется, что всегда будут те, кто станет гибнуть за идеи — очевидно, совершенно недостойные таких жертв. На симпатии к жертвам войны и русской революции, однако, лежит тень открыто отрицательного отношения к тем, в чьих руках эта революция, и поэтому критики в основном использовали это стихотворение в качестве свидетельства того, что Црнянский и в молодые годы не был «левым».

Трагическую судьбу славян — как самых великих страдальцев — Црнянский вполне осознает, лишь когда в конце 1920 — начале 1921 г. окажется в Париже, где поймет, что веселый город забыл о войне и страданиях. Только славяне слышали голос итальянских футуристов с их авангардистским принципом разрушения всех достижений цивилизации. Западники же, напротив, мудро и спокойно, даже весело, смотрят на то, что совершается на Востоке.

...Беспокойство за Европу смешно. Только славяне рвут и выдирают, по своему обыкновению, волосы перед музеями и хотят их поджечь, и только за пределами Лондона и Парижа есть беспокойство о классике. Запад сегодня, по французским, испанским и итальянским представлениям, играючи ждет весну. Великая мудрость и древность Парижа с воодушевлением курит и вдыхает, как из черного кальяна, из океанических скульптур, ароматы земли¹.

¹ Отрывок из критического отзыва Црнянского на книгу «Откровения» Растко Петровича, опубликованную в 1922 г. (Српски књижевни гласник, нова серија, 1.3. 1923).

Во время путешествия по Италии, стране Ренессанса, Милош Црнянский, со своей будущей супругой Видосавой, начиная с весны 1921 года вел путевой дневник, который получил название «Любовь в Тоскане»¹ и который содержит лучшие образцы этого жанра в сербской литературе. С самого начала автор ставит себя на передовые позиции как миссионер, который прибыл в Италию, чтобы научиться любви и радости. Эту любовь и радость, являющуюся продолжением вековых традиций культуры, он попытается передать своему маленькому несчастному народу на Балканах. Но вместе с тем — и своим славянским братьям, чьи страдания еще больше и страшнее.

Я приехал, так как в один прекрасный день ясно ощутил свою роль в судьбе славянства, неизмеримое будущее, которое посылало меня в Тоскану во имя русских и поляков, болгар и словаков. Еще горьким был хлеб, который ели на наших равнинах, и умирали среди коров, крестьясь высушенной рукой. Тогда ко мне пришло, как во время обморока, некое знание о том, что время потечет туда, где мои мысли должны явиться яснее и спокойнее, без тех занесенных снегом плоскогорий галицийских, с раскатами пушек, которые я все еще вижу ночью во сне. После страшной чувствительности и пугливой настороженности, с погасшим взглядом, в Париже, с высоты окон мансарды, я вдруг запел и вновь опустил руки на дорожную Русь и Новгород, на кучи русских газет и выпуклые горы Балкан, на гоголевских бедняг.

Надо поехать, надо поехать, — я скакал по вестибюлям станций. Познать, изучить любовь и благодать...

Только славяне, только угрюмое славянство не прошло через ренессанс, который учит любви и весне. Это ощущение гипертрофированной мощи субъекта действительно есть следствие авангардистского убеждения, на волнах которого творили и русские художники того времени — что искусство имеет силу изменять мир. Разочарование и меланхолия, заменяющие этот восторг веры в духовные силы, которые преобразят не только внутреннее существо человека, но и общее устройство мира, присутствуют у Црнянского в конце путевого дневника. Межвоенный период станет для писателя временем отрезвления:

¹ Путевой дневник был опубликован еще в 1930 г., после небольшой «войны», которую Црнянский вел с Марком Царом, критиком и автором отрицательной рецензии на эту книгу. Дневник посвящен супруге писателя Видосаве Црнянской и получил название «Любовь в Тоскане».

в поэме, появившейся на Корфу в 1925 году, когда поэт увидел сербские военные кладбища, заросшие сорняками и колючками. Црнянский скажет любимой и желанной стране: «...я умру за Сербию, а мы даже не увиделись...» Та страстно влекущая к себе родина приняла его не так, как он ожидал: хотя его хвалили как писателя, он должен был заниматься и многими другими делами, чтобы своей супруге и себе обеспечить достойное существование — работать учителем в средней школе, журналистом, дипломатом. Находясь (дважды) в Берлине и Риме, Црнянский, в отличие от других крупных сербских писателей, был не послом своей страны, а лишь обычным чиновником: атташе по печати, по культуре. В то же время он постоянно вел полемику и испытывал на себе нападки левацки ориентированной югославской интеллигенции: его обвиняют в том, что он придворный льстец, что он предал свои юношеские идеалы, а в 30-е гг. он был объявлен реакционером-националистом и даже фашистом.

И второй его роман, «Переселения» (1929), возникший на основе исторических свидетельств — Мемуаров Симеона Пишчевича¹, австрийского серба, офицера, который в середине XVIII в. переехал в Россию, — отмечен меланхолическим ощущением жизни, в котором критики обнаружили элементы нигилизма. Црнянский на этот раз обращается к исторической тематике — к своим черноевичским сербам, которые, спасаясь от нападений турок, воспользовались австрийским гостеприимством и которые, однако, как хорошие солдаты, заплатили за это своей кровью, причем не только в войнах с Портой. Милош Црнянский не любил говорить об этом романе как об историческом — в нем он видит любовный треугольник двух братьев и одной женщины. Главный герой романа — Вук Исакович, который со своим славонско-дунайским полком весной 1744 г. прибывает на Райну биться с французами в войне за австрийское наследие. Год, который он проведет с этим храбрым воинством, этими бедными людьми, которые оставляют дома-землянки или маленькие «куперки» из грязи, — это год преображения Вука.

Убеждаясь в бессмысленности битвы за чужака, который сербов не только не наградит, но который хочет превратить их в крепостных

¹ Црнянский писал о «Мемуарах» Пишчевича в «Политике» еще в 1924 г. Он читал их в оригинале, на русском языке, в издании Нила Попова. На сербский язык книга была переведена лишь в 1961 г. и впервые появилась в периодике, в Сборнике Матицы Сербской по литературе и языку (Зборник Матице Српске за књижевност и език). В наши дни изучается как одно из ключевых произведений сербской литературы XVIII в.

в усадьбах венгерских феодалов, а кроме того, и окрестить их, Вук Исакович мечтает только об одном — отвести этот народ в Россию. Россия казалась ему некой огромной, необозримой зеленой поляной, по которой он будет скакать на коне.

Россия казалась ему неземным царством. Он слышал, что некоторые, приехав туда с белого света, стали богатыми и могущественными. Что сразу получили повышение по службе. Что там живут и воюют по-господски. Что церкви там чудные и дивное православие. Здесь его ждали только нищета и вечное горе, которое делало его безумным, отчаянным, странным. Здесь его ждали только безысходная никчемность и пустота, которые он увидит потом рядом, перед собой — и перед своей старостью.

Известна сцена из этого романа, в которой Вука Исаковича печуйский епископ уговаривает принять католичество или по крайней мере унию. Епископу, который сладкогласно хвалит властительницу Марию Терезию, так что каждую часть ее имени принимает в качестве некоего возвышенного понятия, сербский офицер, намеренно напившись, отвечает по той же схеме.

Думал, что если и окрестят его насильно, пусть по крайней мере не получат его трезвым. И поэтому начал страшно пить, в ответ на что епископ замолчал, удивленный. Исакович, у которого затылок все больше синел, тогда открыл рот, используя остатки сознания, и показал, что помощь святого Мрата ему надолго не потребуется, поскольку начал говорить так:

— Пожил я, мое православие сладкое, многая лета в материнском лоне, и вовеки будут жить потомки мои. Сладость наша и Россия. Богу-Творцу молюсь я, чтобы увидели они путь свой и в Россию пошли. Имя России! Р — ибо Рождество. У — ибо Воскресение (серб. Ускрсение, Ускрс. — *Примеч. пер.*) С — ибо Славянская. И — ибо Иисусова. Ј — ибо Единосущная (серб. Јединосущна. — *Примеч. пер.*), А — ибо...

Потрясенный, глядя на небо, звезды, леса и холмы, спрашивая себя, возможно ли, чтобы человеческая жизнь на земле была бессмысленной, заглядывая епископу в лицо, Вук скажет: «Туда аз пойду...» и заплачет.

«Переселения» 1929 г. на самом деле — сербский лирический вариант русского романа «Война и мир». Критики, которые писали об этом романе, единодушны в том, что Россия здесь — топос, совпадающий с суматраистической идеей о земном рае, который является прибежищем для всех страждущих и бездомных. Идея о русском человеке как человеке-брате, человеке широкой души, который не печется о материальных богатствах этого мира, будет жить в Црнянском до конца жизни, а еще намного большую силу и размах она получит, когда он, с начала Второй мировой войны, будет жить с супругой в Лондоне, имея мало надежд когда-нибудь вернуться домой. В этот период появятся три его больших сочинения: мемуарный путевой дневник «У Гипербореев» (изданный впервые в Собрании сочинений в 1966 г.), «Переселения 2» (которая в 1962 г. появится вместе с «Переселениями») и «Роман о Лондоне» (1971). Во всех этих книгах — и это было, конечно, последствием личной драмы, обусловленной тоской по родным краям, желанием вернуться в страну, с идеологией которой он был не согласен, — Црнянский говорит об одной России, которая есть негосударственное понятие, как об особом типе духовной отчизны, связь с которой никогда не прерывается.

Миленко Попович, имевший возможность наблюдать за великим писателем в Риме перед Второй мировой войной, написал в своей книге «Црнянский между двумя мирами» (1984), что лишь один раз видел, как тот смеется. (Это был момент, когда Королевская Югославия окончательно установила дипломатические отношения с Советским Союзом.) Человека «печального вида», который никогда не смеется, Попович увидел на приеме в советском посольстве впервые «растроганным». «В этой растроганности», свидетельствует бывший помощник атташе по печати югославского посольства в Риме, «было много славянского»: «Атмосфера была весьма сердечной, домашней, будто бы встречаются две семьи из одного села, только с разных холмов. Были дипломатические приемы и обеды и в других посольствах, но не такие по настроению».

В книге с необычным названием «У Гипербореев», где Црнянский описывает жизнь, которую он вел в качестве чиновника посольства в предвоенном Риме, названием, которое скрывает в себе желание удалиться из Европы, находящейся на пороге великой катастрофы, в пределы вечного снега и льда — в некую страну утопии, в которую верили древние греки, Црнянский так описывает упомянутый прием в советском посольстве:

Шведка спрашивает, какие приборы в этом посольстве, серебряные или золотые? Будут ли танцы после ужина? Танцуют ли щекой к щеке? И прежде всего, ведется ли пропаганда?

Пользовались ли мы успехом?

Более всего успеха имел в тот вечер наш генерал. Он чуть ли не обнимался с их генералом.

Молодой швед сердится и на это. «Это я выдумал, — говорит он, — это невозможно, Что, наш генерал — коммунист?»

Я говорю: далеко от этого. Русский язык и наш язык — родственники, и именно поэтому мы не всегда понимаем друг друга и понимаем не все. Наш генерал, однако, учился в школе в России, в прошлом, когда у нас с русскими было много связей, так что говорит по-русски, как русская болтунья. Он закончил их знаменитую кавалерийскую академию и поэтому чувствовал себя как дома, только переступив порог.

Уже при первом тосте он воскликнул: «Спаси Бог!»

— Что воскликнул?

— Спаси Бог.

Молодой швед сердится и говорит, что я все это выдумал. Он слышал, что я выдумываю фантастические истории о заполярных краях. Не может быть, чтобы в советском посольстве кто-нибудь смел упомянуть имя Божие. Известно, что СССР — атеистическое государство.

— Что сказал на это советский генерал?

— И он, — говорил я, — наклонил бокал, выпил водку до последней капли и выкрикнул: «Спасибо».

Россия и русские присутствуют и в двух последних романах Милоша Црнянского — «Переселения 2» и «Роман о Лондоне». Хотя тематически они представляют собой продолжение «Переселений» 1929 г., «Переселения 2» являются известной параллелью к книге, действие которой перенесено в послевоенный Лондон и которая читателю говорит о многом из того, что касается жизни самого Црнянского в этом городе как эмигранта в течение 25 лет. Россия занимает и мысли главного героя «Переселений 2» — Павле Исаковича, приемного сына Вука, и он станет лишь одним из многих сербов, которые осуществляют свою мечту о переселении в Россию. Путь в эту «землю обетованную», в которую он, подобно библейскому пророку, выведет свой народ, есть одновременно и путь по духовной вертикали. Не случайно одна глава называется «Путь в Россию вел ввысь». Павле, как и двумя веками позднее герой «Романа о Лондоне» Николай Репнин, и по профессии, и по своему миропониманию — воин. Этот военный дух — основа

коллективистского сознания, в котором высшей ценностью считается принцип жертвенности, жертвы не за абстрактную идею, а за собрата и земляка, за возрождение и сохранение общины. И Павле Исакович, который, для того чтобы получить разрешение переселиться в Россию, едет по Европе, где царствует культ наслаждения и телесных удовольствий, — это фигура из прошлого, некто переместившийся из эпохи рыцарских ценностей и героизма в чуждое столетие так называемого просветительства. И Николай Репнин, русский офицер, который после Октябрьской революции покинул свою родину и влечет свои печальные дни на грани выживания в Лондоне, в мегаполисе Западной Европы, живет там как чужак вдвойне. Война, которую он ведет с этим «огромным городом», — это война человека, который не может преобразиться, «пройти инициацию», чтобы стать современным гражданином без идентичности. Репнин не может из русского превратиться в англичанина, но не может и нарушить свой высший кодекс чести. Оказавшись в той эпохе и том мире, где материальное (богатство, физическая любовь) стоят на самом вершине иерархии ценностей, Николай Репнин остается тем, кто он есть, и заканчивает жизнь как русский и как офицер — самоубийством. Жертвуя жизнью, он своей молодой супруге и еще не рожденному ребенку дает возможность продолжать поиски смысла, продолжать борьбу, из которой он вышел.

Некоторые критики толковали этот роман как нигилистическую историю усталого писателя, а в завершении «Переселений 2» («Есть Переселение. Смерти нет») видели нагромождение оптимизма, которое никоим образом не является следствием общего разочарования Павле Исаковича, — оно постигает его уже после переселения в Россию. Внимательному читателю, однако, становится ясно, что Исакович на своем пути встречает две России — одну, которая отправилась вслед за Европой в гонку за материальными ценностями и, оставив свою соборность, преклонила колена перед крайним эгоизмом и индивидуализмом, — и другую, Россию крестьянина и простого человека, который принимает своих братьев-сербов с некой простодушной добротой и радостью. Принцип, с помощью которого Црнянский описывал этот мир в «Переселениях 2», вполне очевидно соответствует одному размышлению, с которым состарившийся писатель перед самой смертью обратился к Владете Еротичу¹, отказавшись при этом в какой-то момент от

¹ Владета Еротич — известный сербский психолог, психиатр, академик Сербской академии наук и искусств (р. 1924). — *Прим. пер.*

своей сербской идентичности: «Ну какой я серб, я — смесь, противны мне в равной степени сербы, англичане и немцы. Бессмысленно определять чье-либо происхождение, во всех нас сильная смесь. Нет сербов, но есть православные, католики и т. д. Вера важнее национальности». На вопрос, существует ли нация, которая не вызывает у него отвращения, он ответил не раздумывая: «Русские». И пояснил: «Потому что умеют, как животные, есть, по-настоящему радоваться, быть прямыми и простыми».

Если мы перечитаем поздние романы Црнянского, мы поймем, что великий сербский писатель был очень недоволен и разочарован «прогрессом» человечества — прогрессом, который принес только материальное улучшение в мир крайнего и полного индивидуализма с императивом физического удовлетворения как счастья и отсутствия сопереживания с окружающими. Жертва как основной принцип эпох коллективизма уступила место гегемонии индивидуалистического эроса.

Вспоминая в интервью, данном Милу Глигориевичу незадолго до смерти, о днях своей молодости, проведенных на галицийском фронте, на вопрос об отношении к своему военному противнику Црнянский ответил: «Я любил, обожал русского человека. И сейчас я не изменился. Я хорошо думаю об этой массе народа».

Всегда стоя на защите тех ценностей, за которые он боролся на протяжении всей жизни, ценностей, которые делают человека человеком, Милош Црнянский сохранил любовь к России и русскому народу. Может быть, веря, что только этот последний знает некий личный путь к человечности. Если это не способно влиять на тот порядок, согласно которому устанавливаются политические связи между двумя народами, то тогда, естественно, следует говорить о некой невидимой нити в необозримом полотне, объединяющем нас. И здесь мы снова возвращаемся к суматраизму Црнянского — к его идее о связях, которые придают смысл миру и нам.

Перевод с сербского Л. Гаврюшиной.

Е.В. Шатъко

РУССКИЕ МОТИВЫ В ПРОЗЕ МИЛОРАДА ПАВИЧА

Милорад Павич, сербский писатель постмодернист, был хорошо знаком с русской культурой, прекрасно владел русским языком, переводил Пушкина. Он родился в 1929 г. в Белграде, учился на философском факультете Белградского университета, а в Загребском университете защитил диссертацию по истории литературы. Его научная деятельность была посвящена в первую очередь сербским барокко, классицизму и предромантизму. Автор труда «История сербской литературы» и ряда других работ, Милорад Павич преподавал в Сорбонне, Вене, Фрайбурге, Регенсбурге и Белграде, в 1991 г. стал членом Сербской академии наук и искусств. Наряду с русским он владел немецким, французским, несколькими древними языками, из английской поэзии переводил Байрона. Как литератор Павич заявил о себе в 1967 г., опубликовав сборник стихов «Палимпсесты», известность же ему принес роман «Хазарский словарь» (1984).

Не секрет, что Милорад Павич — самый читаемый в России сербский писатель. Вопрос заключается в том, действительно ли в его творчестве есть что-то русское, а может, своей популярностью в России он обязан исключительно своей неповторимой манере письма?

Павич пишет не только о некоем герое, но и о народе, частью которого является персонаж. Герой, каким бы особенным он ни был, какими бы талантами ни обладал, всегда является частью народа, его истории, культуры, веры, он действует, ориентируясь как на свои личные интересы, так и на интересы общности, частью которой он является.

Народ же, будь то хазары или сербы, зачастую также изображается не сам по себе, а находится между двумя или тремя «более развитыми» (с точки зрения европейской исторической науки) государствами и, следовательно, культурами. В романе «Хазарский словарь» хазары вынуждены принять одну из трех мировых религий (христианство, иудаизм или ислам), чтобы выжить, сохранить себя как народ ценой отказа от собственных убеждений, верований и традиций. Сербы же в романе «Внутренняя сторона ветра» отступают под натиском турецких войск и во время отступления стоят новые храмы, несмотря на то что знают — те будут разрушены. Русский народ на протяжении своей истории также часто стоял перед выбором: стать частью византийской культуры, затем европейской цивилизации или пойти по собственному пути, пытаясь сохранить равновесие между Западом и Востоком. Вероятно, и поэтому мировоззренческие поиски героев Павича по сути своей переключаются с духовными поисками героев русской литературы.

Будучи хорошо знакомым с мировой художественной литературой, Павич часто обращается к античной литературе (герои его романов изучают древнегреческий и латынь, учат речи Демосфена и Цицерона); к сербской литературе — главным героем романа «Другое тело» является писатель, творивший в Сербии в XVIII в., Захарие Орфелин; к русской литературе — современные автору герои читают Гоголя, Достоевского, Пушкина. Герои, которым автор симпатизирует, часто помимо французского языка владеют русским. Английский язык крайне редко встречается на страницах произведений Павича и, скорее, маркирует время, описываемое в тексте. Знание русского или французского языка свидетельствует о том, что действие развивается в XVII, XVIII или XIX вв., появление же в произведении реплик на английском указывает на современность. Современные исследователи хазарского вопроса переписываются на английском языке даже в «Хазарском словаре».

В новелле «Грязи» главная героиня Амалия Ризнич, соблюдая традиции своей семьи, говорит осенью по-немецки, зимой по-польски или по-русски, весной по-гречески, а летом по-сербски. Она ездит по миру в поисках новых вкусовых впечатлений и голод делит на «русский, греческий, немецкий и, конечно, сербский!» Немецкий и сербский языки были выбраны в связи с местом жительства, а польский и русский — с историей семьи, ведь род произошел из Польши, а в XIX в. семья жила в Одессе и снабжала зерном российскую армию. Именно тогда

Амалия Ризнич, реальное историческое лицо, полная тезка героини новеллы и ее бабушка, стала музой для Пушкина.

Предметы, наделенные магическими свойствами, что довольно часто происходит у Павича, могут быть так или иначе связаны с Россией. Перстень, дарующий мудрость, принадлежал не одному русскому (роман «Другое тело»). Три магических камня из рассказа «Русская борзая», также некоторое время были собственностью русских дворян. Русская борзая, которая для героя является скорее предметом роскоши, поводом для гордости, нежели любимцем, была привезена из России («Русская борзая»). Если собрать все «русские» предметы, описанные Павичем, вместе, то складывается впечатление, что русские — это народ, который действительно ценит магические вещи, умеет их распознавать, правильно использовать и беречь. Более того, сами предметы, которыми ранее владели русские, приобретают особую ценность.

Русскими у Павича могут быть как предметы, так и персонажи. Все «русское» показано автором скорее в виде эскиза, зарисовки. Русские персонажи у Павича, как правило, не являются центральными или ключевыми для целого произведения, но внутри отдельного эпизода могут сыграть важную роль.

Павич очень любил русскую литературу. Так, в рассказе «Зеркало с дыркой» он обращается к пушкинской «Метели». Герой, с которым говорит автор, читает пушкинскую повесть. В свое время тот не дочитал «Метель», теперь же повесть захватывает его целиком, он превращается в героя повести Пушкина, а текст Павича переходит в пушкинский: «Ты бросил книгу, открыл дверь и вышел под снег на улицу перед своим домом. Ты наконец был свободен. Что случилось потом? Что ты сделал? Ты сделал то, что было нужно. Ты добровольно вернулся назад и без труда вошел в спальню. Там сидела Мария с книгой в руках и в белом платье, настоящей героинею романа... — Я вас люблю, — сказал ты, — я вас люблю страстно. (Мария покраснела и наклонила голову еще ниже.)»¹ Само прилагательное «русский» у Павича может быть использовано как законченная метафора; и читатель сам достраивает эту метафору, исходя из своего видения русского народа. В том же рассказе девушка Мария, которая продает зеркало, носит «русские» волосы. На протяжении всего рассказа автор называет героиню

¹ [Электронный ресурс] URL: <http://www.rulit.net/books/zerkalo-s-dyrkoj-read-192535-3.html> (дата обращения: 15.03.2014).

«девушкой с русскими волосами», ей снятся сны на «плохом русском языке», так читатель начинает считать ее по меньшей мере девушкой из смешанной русско-сербской семьи, однако в финале Мария оказывается сербской преступницей, героиней другого рассказа Павича, «Чай для двоих». В этом рассказе героиня не имеет ни имени, ни «русских волос», но описание ее тупель полностью совпадает в обоих рассказах: «у белой — черный каблук, а у черной — белый»¹.

В основе большинства «русских» образов, созданных писателем, лежит некая стереотипическая данность. В рассказе «Русская борзая» русский помещик изображен как праздный жизнелюбивый богач, фанатично соблюдающий дворянские традиции. Так, например, он держит ровно 64 борзые, а когда появляются щенки, тут же раздает их своим друзьям, ведь по старой дворянской традиции борзых нельзя ни продавать, ни покупать. Перед глазами любого читателя сразу же возникает яркий и даже карикатурный образ помещика, сложившийся, вероятно, под влиянием творчества Гоголя, которое Павич хорошо знал.

В романе «Внутренняя сторона ветра» представлен иной, но не менее узнаваемый образ русского человека — образ эмигранта-интеллекта. Это учитель, который преподает в сербской гимназии древнегреческий и латинский языки. Интересно то, что действие романа происходит на рубеже XVII и XVIII вв., а первая волна русской эмиграции в Сербию имела место после революции 1917 г., в первой половине XX в. русские офицеры часто работали в гимназиях и школах. Это редкий случай, когда Павич предпочитает исторической достоверности яркость образа. Русский учитель изображен замкнутым, бледным и одиноким человеком. К ученикам относится поверхностно, не утруждая себя запоминанием их имен, полностью отдается именно преподаванию. Учитель предлагает свой способ заучивания латинских речей: нужно представить здание, которое чем-то запомнилось ученику, и говорить по одной фразе в каждом дверном проеме или окне при воображаемом обходе здания. Этот способ оказывается действенным. Герой романа Леандр, ученик русского, впоследствии использует этот метод, но уже не как способ для запоминания, а при строительстве церкви: читает молитву, проходя через дверные проходы строящегося храма. Русский остается в памяти ученика именно как учитель, Леандр

¹ Там же, а также: [Электронный ресурс] URL: <http://www.rulit.net/books/chaj-dlya-dvoih-read-192534-3.html> (дата обращения: 15.03.2014).

не вспоминает о нем как о человеке, но всю жизнь пользуется его архитектурно-словесным приемом. Интересно, что подобным приемом пользуется и сам автор при построении рассказа «Белая тунисская клетка в форме пагоды» — лирический герой делает ремонт в квартире, предназначенной для его возлюбленной, он меняет тему своего повествования, ориентируясь по назначению комнат во время обхода дома. Он рассказывает об их жизни, вспоминает разные помещения, которые «шли» ей, и мысленно перестраивает дом в соответствии со своими воспоминаниями; часть окон герой заменяет витражами, запечатлевшими эпизоды из снов любимой.

Изображая русских, Павич дает лишь набросок, достаточно яркий, достаточно прозрачный, чтобы не ограничивать читателя, пусть он сам нарисует в своем воображении и бледное худое лицо русского учителя, и полного, довольного жизнью помещика с холеными усами такими, какими он их себе представляет.

Если сложить все эти образы воедино, можно создать собирательный портрет русского для Павича. По мнению писателя, русские всегда образованны, склонны к философствованию, но при этом несколько далеки от жизни. Например, жена русского офицера в романе «Пейзаж, нарисованный чаем» тонко подмечает, что сербские молодые люди учат русский и французский языки, чтобы лучше понимать мир вокруг, и при этом она совершенно не желает признавать тот факт, что сама уже много лет живет в Сербии и не знает ни слова по-сербски. Русские эмигранты не интегрируются или не хотят интегрироваться в то общество, в котором уже живут, однако с огромным удовольствием делятся своим языком, литературой и культурой. Потеряв родину, они цепляются за все, что есть в них русского. Несколько в стороне стоит образ русского помещика, ведь он не блещет умом, а единственное его занятие — это тратить свое состояние в путешествиях, на охоте, угождая своим «барским» прихотям.

В своем творчестве Павич часто обращается к мифам, легендам и песням, в которых можно отыскать целые мировоззренческие и даже философские системы того или иного народа. Он пересматривает античные мифы, переносит их в настоящее время или сталкивает своих героев с героями сказок. Из русского народного творчества Павич позаимствовал образ русской матрешки, которая в его творчестве становится символом устройства жизни. В рассказе «Охота» девятилетний мальчик так воспринимает ход своей жизни: рука, которой он ел, сжимала всего лишь девять таких же точно, но только меньших

рук, они лежали одна в другой, как русские матрешки. Каждый год, прожитый человеком, нарастает на предыдущем, как годовые кольца у дерева, т. е. становится новой внешней матрешкой. В новелле «Волшебный источник» образ матрешки используется дважды: для обозначения возраста и как символ мироустройства. На шахматной доске вместо обычных фигурок стоят своеобразные матрешки в виде шахматных фигур: «Когда ты играешь, ты делаешь ходы. Но ты можешь воспринимать это и как игру в шахматы, и как собственную жизнь, ты можешь представить себе кого-то, кто делает ходы, переставляя тебя с одного поля на другое. И того, кто может тебя съесть. Но и тот, кто тебя передвигает и кто тебя может съесть, сам тоже будет съеден. Его съест кто-то, кто придумывает его ходы... И так до бесконечности. Это и есть реинкарнация... А теперь отломи голову у той фигуры, которую ты покрасил первой и которая уже высохла, и ты найдешь внутри нее другую, меньшего размера. И ее нужно покрасить. Они словно русские матрешки или словно твои предыдущие жизни — более старые заключают в себя тех, что моложе, и так до бесконечности»¹.

Павич использует принцип матрешки не только как метафору, но и как композиционный прием. Так построен роман «Звездная мантия», состоящий из шести новелл. Героиня находится на дне своих снов, которые, как русские матрешки, помещены один в другой, а она потихоньку старается выбраться на поверхность, из меньших снов в более крупные. Здесь матрешка — это и способ объединить фрагменты романа, и символ многоликого однообразия жизни. Некоторые события в судьбе героини предопределены свыше, она должна пережить определенные ситуации, найти ответы на конкретные вопросы, и декорации, в которых она будет существовать, ничего не изменят. Так или иначе человек следует своей судьбе, а ее конкретное воплощение, по большому счету, вопрос удачи и дело вкуса (как автора, так и самого героя).

Таким образом, Милорад Павич обращается к русским образам на нескольких смысловых уровнях и на уровне формальной организации произведений. Предмет, созданный в России, может стать магическим артефактом, который будут искать герои, чтобы обрести знание или поймать удачу. Герой Павича, столкнувшийся с русским человеком, обязательно обогатится неким (метафизическим) знанием или получит ценный подарок. Особое же место занимает образ матрешки,

¹ [Электронный ресурс] URL: <http://www.rulit.net/books/volshebnyj-istochnik-read-192539-2.html> (дата обращения: 15.03.2014).

в котором Павич увидел сразу несколько метафор от модели восприятия времени до упрощенной модели устройства мира.

Милорада Павича всегда считали непревзойденным мастером игры с формой произведений. Его романы строятся по модели словаря, кроссворда, колоды карт и т. д. Русская фольклорная традиция подарила писателю еще одну идею для организации романа — матрешку. Принцип организации текста как архитектурного сооружения ему «подсказал» русский эмигрант из его же романа, и автор воспользуется «русской» подсказкой в новеллах «Белая тунисская клетка в форме пагоды» и «Два студента из Ирака».

Зденка Матыушова

**ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В БЕЛЛЕТРИСТИКЕ
ВИКТОРА АСТАФЬЕВА**

Человек как величайшая тайна для науки, человек и его творческая саморефлексия, человек как предмет искусства бесспорно станет в XXI в. объектом и центром координированных комплексных исследований. Это необходимо для того, чтобы получить ответы на вечные вопросы бытия: откуда происходит человек, куда и к чему он стремится. В настоящее время мы являемся очевидцами и активными участниками взаимопроникновения духовных культур разных народов и цивилизаций. Понять и принять их означает обогатиться ими, развить свою идентичность, быть самим собой. Если же духовные культуры не обновляются и не развиваются, то в дальнейшем они увядают и гибнут. Только живая, не слабеющая культура позволяет и помогает человеку найти смысл своего существования и собственного исторического предназначения.

Человек издавна интересуют вопросы: что такое «я» и кто я такой?

А искусство и культура стараются понять: кто мы такие? и зачем мы вообще существуем?

Имагология как современная дисциплина компаративистики исследует через чужой и собственный образ — имидж, гетероимидж и автоимидж — топос «иногое» в литературных текстах¹. «Свое» и «чужое» взаимно объясняют друг друга, связь их является диалектической. Эти

¹ *Dyserinck H.* Zum Problem der «images» und «mirages» und ihrer Untersuchung im Rahmen der Vergleichenden Literaturwissenschaft // *Arcadia*. 1996. Č. 1. S. 113–115.

образы потом нередко приобретают характер и значение стереотипов, клише, мифов и предрассудков, но термин «имидж» следует выделить как специфический инструмент имагологии. Само понятие «сравнительная имагология» впервые употребил один из основателей этого метода Хуго Дисеринк в 1966 г., затем его применили Э. Менэрт, А. Вирлахер, М. Фишер и другие. К имагологии обращается и П. Бурдые, когда пишет о «соотношениях контактных и генетических связей национальных литератур в историко-культурном контексте»¹.

Все творчество русского писателя Виктора Астафьева является доказательством неустанного поиска ответов на вышеприведенные и другие вопросы. Оно несет в себе духовно-эстетическую энергию, способную вдохновить всех и каждого, кто чувствует присутствие истории не только в сегодняшнем дне, но и в днях последующих. Ведь уважение к прошлому означает надежду на будущее.

Виктор Астафьев (1924–2001) вошел в литературу как яркий представитель так называемой деревенской прозы, т. е. прозы с тематикой, посвященной деревне. Но по нашему мнению, один из виднейших мастеров современной литературы не уместится в рамки ни деревенской, ни военной, ни любой другой прозы. Виктор Астафьев принадлежал к тем русским писателям, кто, как пишут Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовецкий, «на рубеже 1960–1970-х годов остро почувствовал надвинувшуюся беду — дефицит духовности, кто оценил ее как главную тенденцию времени»². Астафьев ставит в центр творчества простого человека, который черпает силы для духовной жизни в контактах с природой и космосом. Писатель является филигранным мастером малых эпических форм (рассказ, новелла), которые в дальнейшем разрастаются до романа, включают в себя новые сюжетные линии. Одно из доказательств этого — повесть «Последний поклон» (1957–1977), композиционное и эстетическое совершенство которой основаны на двух началах — на удивительно чистом характере бабушки и на безграничном обаянии самого рассказчика, участника всех событий.

Виктор Астафьев размышляет в своей прозе о характере русского человека — о том, какими качествами он должен обладать, чтобы преодолеть все испытания, посланные жизнью и судьбой. Испокон веков наилучшими чертами русского характера считались патриотизм, мужество, стойкость, трудолюбие, честность, великодушие, умение любить

¹ Бурдые П. Поле литературы // Новое литературное обозрение. М., 2000. № 45. С. 28.

² Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Русская литература XX века (1950–1990-е годы). М.: Академия, 2008. С. 80.

и верность любимым. А именно такими чертами обладает не только герой новеллы «Пастух и пастушка. Современная пастораль» Борис Костяев, но бабушка Катерина Петровна и ее внук Витька Потылицын из «Последнего поклона». Кстати, Витя — автобиографический образ, он носит фамилию бабушки и матери Виктора Астафьева.

Этим произведением прозаик начинает своеобразную романную мозаику спиралевидно развивающихся историй. По сути дела речь идет о возвращении к основополагающим темам (детство, отчий дом, природа). Отдельные рассказы обладают выразительной лирической композицией, их характер позволяет писателю выразить субъективное отношение к разрабатываемому сюжету. При более пристальном наблюдении в «Последнем поклоне» можно обнаружить цельность авторского взгляда, подчинение отдельных деталей структуре целого и другие моменты, которые еще точнее и выразительнее проявились в более поздних произведениях (лапидарность слога, глубина мысли, максимальная информативность при экономии слов и т. п.). Характер Витьки формируется в мире природы и крестьянского быта, а «нравственные уроки» бабушки помогают ему сохранить детскую душу и пережить жизненные трудности. Его исповедь — это исповедь целого поколения. Образы обоих героев как бы логически связаны и взаимно обусловлены. Эпический образ Катерины Петровны в конце повествования перерастает в образ-символ русского человека, русского народа и России вообще.

В конечном итоге и сам Виктор Астафьев — пусть это может показаться преувеличением — воплощает в себе лучшие черты русского человека, поскольку он народен по своей сути. Он просто любил свой народ, а народ искренне любил своего писателя.

Важно еще одно: человек в любой момент своей духовной жизни связан с прошлым, настоящим и будущим. Этот принцип сопряженности времен реализуется в художественной системе Виктора Астафьева с помощью символического образа памяти.

Память моя, память, что ты делаешь со мной?! <...> Память моя, сотвори еще раз чудо, сними с души тревогу, тупой гнет усталости... И воскреси, — слышишь? — воскреси во мне мальчика, дай успокоиться и очиститься возле него... а вспомнив, оживил мальчика — и пустота снова наполнилась звуками, красками, запахами¹.

¹ Астафьев В. Ода русскому огороду // Астафьев В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1980. Т. 3. С. 441–442.

Память как неизглядимые воспоминания и привязанность к дому, детству, семье, земле, природе, родине является типичной и неповторимой доминантой творческой манеры Виктора Астафьева.

Имагология, или компаративистическая имагология, постепенно получает широкое распространение. Она обнаруживает в литературе образ «инонациональной» культуры, так называемый образ «другой страны», и исследует те факторы, которые в процессе литературного восприятия вызывают модификацию сложившихся образов. В нашем случае мы имеем в виду не широкое понятие «образ», которое сегодня используется для общей характеристики объекта имагологии (образ России, образ русского человека и т. п.), но образ в конкретном поэтологическом значении, т. е. тот образ, который создается литературой и искусством вообще.

Виктор Астафьев своим лиризмом, эпическим образотворчеством и будоражащей душу фантазией уловил типичные человеческие черты, тайну бытия, богатство внутреннего мира человека, скрытое в трепете души, чувствах и мечтах. «Последний поклон» бесспорно самое проработанное произведение, в котором наиболее выразительно проявили себя кругозор писателя, его темпераментная и лирическая натура, а силу для становления последней давали импульсы, идущие из глубин сознания художника. Это произведение написано в обусловленной личностью автора манере, анализу которой можно было бы посвятить отдельное исследование. При том что Виктор Астафьев по своему складу лирик со склонностью к идилличности и тихой меланхолии, ему близка и драматическая по содержанию эпика. Лирический образ действительности он способен превратить в размышление о былом и настоящем.

Мастерски выстраивая произведение, Астафьев способен всего на нескольких страницах текста разместить обширный материал, проникнуть через характеры персонажей в суть явлений, воссоздать настроения и атмосферу военных лет. Принципом так называемого философского жанра является взаимосвязь между прошлым и настоящим. У Виктора Астафьева для этого есть и субъективная мотивировка, направленная на литературное воплощение познанной действительности. Именно этому отвечает композиция произведения «Пастух и пастушка. Современная пастораль» (1957–1974), в котором прошлое и настоящее составляют единое целое.

Эта композиция поражает новаторством и совершенством, пропорциональностью своих составляющих, музыкальностью основы¹. В произведении доминирует тенденция к композиционной завершенности и сбалансированности, к целостности и звучности текста, к слиянию отдельных частей в неповторимое «музифицированное» единство.

Прозаик наблюдает (настоящее) и вспоминает (прошлое), воспринимает мир зрением и слухом, точнее, с помощью визуальной и акустической фантазии. На этой базе он и строит произведение, отчего его проза становится как бы двухслойной — слой зрительных представлений (визуальный слой) переплетается со слоем внутренних чувств (своеобразной музыкой души) с акцентом на выразительную сторону, но не подавляющей сторону *изобразительную*.

Пастораль всегда посвящена любви и верности. Виктор Астафьев, таким образом, с самого начала определил жанр своего произведения. Как и свойственно пасторали, эта история заканчивается с определенным налетом сентиментальности: «...Я пойду. Но я вернусь к тебе. Скоро. Совсем скоро мы будем вместе... Там уж никто не в силах разлучить нас»².

Одновременно с этим уже в прологе мы находим слова, которые эту сентиментальность нарушают: «Рядом с ее лицом качалась... немощная травинка. Все бури мира, все буйство земли вобрала она в себя, утишила их собою, боязно храня в бледной луковке корешка, стиснутого землю, надежды на пробуждение свое и наше»³.

Новелла «Пастух и пастушка» была одним из первых примеров аналитической прозы такого рода. А пастораль в условиях боевых действий — новаторским открытием Астафьева! Он говорит о войне буднично и просто, как до этого рассказывал о своем детстве. Писатель не дает характер в готовом виде, а ищет его корни, старается определить его сущность. Он всегда задает себе вопрос: почему человек стал именно таким? Поэтому его Борис Костяев вспоминает о прежней жизни, о моментах, сохранившихся в памяти, вдруг оживающих в наиболее для него болезненной ситуации выбора. Само название новеллы уже красноречиво и симптоматично.

¹ См. подр. в кн.: *Matyušová Z. Cestou k člověku (Viktor Astafjev a jeho doba)*. Nitra, 2003. S. 112–113.

² *Астафьев В. Пастух и пастушка // Собр. соч. Т. 1. С. 439.*

³ Там же. С. 302.

Мне иногда пишут и говорят, что война, изображаемая мною, — «неправильная», не похожая на войну тех, кто сражался на ней в ста километрах от передовой. А она очень разнообразна, между прочим, не только за сто, она уже и в километре иная <...> чем на передовой. Там люди убивали людей — это страшно, это античеловечно. Это противу разума и рассудка — кровь, озверение, тупая работа, полужизнь, полусуществование в земной, часто сырой траншее¹.

Война и человек на войне изображены в повести не только как русская боль, но и как общечеловеческая беда, как несчастье простых людей с обеих противоборствующих сторон, не по своей воле брошенных в кровавые битвы, в которых гибнет все живое. А именно это Виктор Астафьев показал не только в образе интеллигентного, но не для таких сражений созданного человека, а также в образе двух старичков — пастуха и пастушки. Их образ-символ сопровождает Бориса Костяева в течение всего повествования и одновременно помогает автору открыть его внутренний мир, переживания, чувствительность, боль сердца и ранимость.

И здесь снова проявляется новаторство изумительного прозаика — образ трагичности человеческого бытия, которая сопутствует лирическому субъекту и мучает его. Проза Виктора Астафьева становится своего рода зеркалом внутренней тоски и меланхолии, одиночества и горя от превращающихся в осколки образов старого мира, который когда-то обозначал гармонию и безопасность. Это было обусловлено прежде всего тем, что тогда этот мир еще означал конкретную реальность, пока его не захлестнула и не «поглотила» волна современной имагологии — представлений, плодящих представления новые. Это своего рода вечный двигатель, который парит над действительностью, не касаясь ее.

С этим связана и нравственная миссия произведения, которое благодаря как позиции автора, испытывающего потребность выступить против насилия, защищать человека, так и позиции общества перерастает в апофеоз антивоенного протеста. И на каждом эпизоде этого повествования лежит печать времени.

Всемирно известный роман Астафьева «Царь-рыба» (1972–1975) — произведение особой жанровой формы и представляет собой повествование в рассказах. Оно делится на две части, содержит двенадцать

¹ Астафьев В. Военные страницы. М., 1986. С. 4.

прозаических текстов разных жанров (как и в книге «Последний поклон»). Писатель их искусно переплетает, связывая одну историю с другой, при этом отдельные эпизоды объединяет лирический субъект. Под ним скрывается сам автор, который обостренно воспринимает происходящее, все комментирует и оценивает.

Астафьев и здесь исходит из своего жизненного опыта (часто использует повествование от первого лица, обращается к воспоминаниям, создает реалистичные портреты жителей енисейских деревень нашего, а частично и послевоенного времени), но постепенно он самоустраняется, приходит к философским обобщениям. Отдельные части книги связаны двумя основными началами: а) мудрым авторским взглядом на мир и б) местом действия, т. е. родным краем Астафьева (детский дом в Игарке, река Енисей, сибирская тайга, селение Чушь).

Главные герои произведения — природа, человек и — в настоящее время невероятно актуальная и наболевшая проблема — их сосуществование. Люди у Виктора Астафьева не делятся на деревенских и городских, он их различает по отношению к природе. С философской глубиной, психологической тонкостью и лиризмом он раскрывает духовный мир человека. Его образ соответствует современным представлениям о человеке как органическом порождении и частице космоса. Природа предстает как «макромир», а земля и человек — как связанный с ним «микромир». Человек выходит в космос, чтобы познать законы Вселенной, чтобы разумнее жить на Земле. В своей прозе Астафьев таким образом утверждает единение человека с природой, обществом и всей системой мироздания. Суть астафьевской концепции жизни и творчества — в нерасторжимом единстве и гармонии «триады» — природы, человека, космоса.

Прозаик связывает творения природы с плодами рук человеческих и чутко реагирует на людское равнодушие к окружающей жизни. Он ищет ответ на вопрос, как во все более совершенном цивилизованном мире не нарушить, а сохранить общечеловеческие нравственные ценности.

Переменилась моя родная Сибирь. Все течет, все изменяется — свидетельствует седая мудрость. Так было. Так есть. Так будет.

Всему свой час.

Время родиться и время умирать.

Время плакать и время смеяться.

Время искать и время терять.
Время молчать и время говорить.
Время дюбить и время ненавидеть.
Время войне и время миру.
Так что же я ищущу? Отчего мучаюсь? Почему? Зачем? Нет мне ответа¹.

Виктор Астафьев стремится познать и раскрыть мир своих героев не только в их связях с окружающей реальностью, в динамике земных сложностей и противоречий, но и в их отношении к глобальным проблемам бытия. Поэтому и специфика «скрытого», внутреннего монолога идет не только от характера мыслей и чувств лирического героя, но и от его стремления понять себя и других, свои и чужие поступки, которые он оценивает с определенных нравственных позиций.

Социально-экологические проблемы тесно связаны с внутренним миром человека. Поэтому Н.Л. Лейдерман говорит о так называемой «экологии души»². Автор обеспокоен судьбами природы и людей, поскольку в первой он ищет источники духовной жизни вторых. Несомненно, что Виктор Астафьев стремится к гармоническому синтезу всей жизни. Сосредоточиваясь на жизни человеческого индивидуума, он проявляет чуткость к многозначности объективной действительности, в которой находится человек. Однако сам автор на страницах «Литературной газеты» заявил: «“Царь-рыба” это книга об одиночестве человека»³.

Творчество Астафьева антропоцентрично — именно человек является единицей измерения всех вещей и явлений, взаимодействует с окружающим миром, землей, природой, космосом. Действия одного человека затрагивают других, на них влияют, помогают их понять. Судя по откликам на книгу «Царь-рыба», можно сказать, что Астафьев был не только голосом своего времени и своего поколения, но и культурной фигурой русской литературы.

Очевидно, что Виктор Астафьев, обращаясь к действительности, прибегая к метафорическим обобщениям, типизации человеческих судеб определенного периода, действовал трезво, тонко, без вычурности, но высказывая оригинальные идеи и проявляя глубокий

¹ Астафьев В. Царь-рыба // Собр. соч. Т. 4. С. 390.

² Лейдерман Н.Л. Крик сердца: творческий облик Виктора Астафьева. Екатеринбург, 2001. С. 13.

³ Астафьев В. Человек к концу века стал еще более одиноким // Литературная газета. 1997. 2 июля. С. 7.

внутренний гуманизм. Творчество Виктора Астафьева было и остается ярким явлением литературного процесса 60–90-х гг. XX в. Оно не только скрыто участвует в дальнейшем развитии русской литературы, но всегда играло и играет до сих пор активную роль в гармоничном становлении общества.

Бранислава Вичар

«ЖУРНАЛИСТЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫ ПИСАТЬ»
(структурно-стилистический анализ словенских публикаций
об убийстве Анны Политковской)

Введение

Фразу в сослагательном наклонении со значением необходимости — «Журналисты должны были бы писать» — Политковская сформулировала, отвечая на вопрос проекта «Территория гласности», предназначенного журналистам, редакторам и колумнистам «Новой газеты»: *Что могут и что должны были бы сделать люди (общество), политики, чиновники (государство) и журналисты, чтобы улучшить качество жизни в России?*¹ Для Политковской «возможность» оказывать влияние на общественно-политические перемены означает «необходимость», как это явствует из ответа, в котором, при указании на возможность в первой части вопроса она выделяет лишь вторую его часть, касающуюся необходимости: *«Журналисты должны были бы писать; политики должны были бы проявлять внимание, а не купаться в роскоши; чиновники не должны были бы воровать у бедных»*². Тем не менее для Политковской возможность писать не означала только лишь возможность объективной констатации; основным долгом любого журналиста она считала общественно-политическую ответственность, т. е. подталкивание к политическим переменам. Политковская сознательно вывела себя за рамки военной журналистики,

¹ *Politkovska A. Samo resnica: izbrani članki. Tržič, 2010. S. 20.* — Здесь и далее обратный перевод со словенского.

² *Ibid.*

не примеряя на себя форму военного корреспондента, поскольку таковыми считала тех людей, которые ездят по миру в горячие точки за сюжетами и опытом, а не тех, кто стремится своими журналистскими репортажами изменить существующую расстановку сил во власти. Жанр, в котором она писала, т. е. вид политической журналистики, она называла «журналистикой действия»¹. С учетом «диалогичности голоса» Политковской, который был присущ ей в наблюдениях за сферой общественной жизни², ее заявление «Журналисты должны были бы писать» следует читать как: *Журналисты должны стремиться к политическим переменам.*

Тема исследования и материал для анализа

В основе настоящего исследования две проблемы:

1. Как представлена Анна Политковская и ее стиль журналистики в словенских средствах массовой информации?

2. Сопоставимы ли стиль словенской журналистики и стиль Политковской?

В процессе изучения материала возникли еще два вопроса, а именно:

3. Правда ли, что словенская журналистика во взгляде на Политковскую и ее деятельность, связанную с критикой российской глобальной политики, т. е. глобальной политики неолиберализма, высказывается в пользу экспансивной модели неолиберального капитализма, каковой сложился в России при Путине?

4. Соотносят ли словенские журналисты убийство Политковской со своей позицией в связи с геноцидом в Чечне, а именно безразличие к этому европейцев?

Анализ включал словенские печатные издания, в особенности публикации в центральной словенской газете «Дело» (из словенских печатных изданий опубликоввшей больше всего материалов о Политковской, т. е. чаще других упоминавшей ее имя в своих публикациях) — словенский журналист Борис Чибей сравнивает ее с точки зрения журналистской подачи материала с «Российской газетой»³, — и в журнале «Младина», по утверждению Чибей, в критике властей вполне сопоставимом

¹ Gould R. The Engaged Outsider: Politkovskaya and the Politics of Representing War // Spaces of Identity 7. 2007. No. 2. URL: <https://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/soi/article/view/7969/7099>.

² Ibid.

³ Čibej B. Umor prinašalcev novic // Delo. 14. 10. 2006.

с «Новой газетой»¹, для которой писала Анна Политковская. Среди газетных изданий заметны определенные статистические расхождения, интересно было бы также сравнение с таблоидными изданиями, однако таковые (во всяком случае, известные нам) о смерти Политковской не сообщали².

Исследование представления Анны Политковской и явлений, о которых она писала в журналистских репортажах, основывается на анализе лингвистических конструкций с особым вниманием на структуру лексики, поскольку, по мнению лингвиста Роджер Фоулер³, структурализация по лексическому принципу является неотъемлемой частью воспроизведения идеологии в печатных изданиях, а также основой дискриминационной практики, связанной с так называемыми «группами людей», или «клановостью», против чего Политковская резко выступала.

Представление Анны Политковской: экзотизация и деполитизация

Анна Политковская стала известна в словенском медийном пространстве в начале второй чеченской войны, однако сперва — лишь узкому кругу политических интеллектуалов, широкая общественность до ее убийства о ней не знала. До 2006 г. имя Политковской лишь время от времени появлялось в печати, в октябре же 2006 г. сообщение о ее убийстве заняло центральное место, тогда ее имя было известно практически всем в Словении. В «Деле» только за месяц после убийства Политковской было опубликовано в три раза больше материалов о ней, чем за три года до этого, и с тех пор ее присутствие в медийном пространстве Словении стало постоянным. Повышенное внимание СМИ в связи с убийством вполне прогнозируемо по факторам выборки событий, как это указывают Галтунг и Руге⁴, что подтверждает также обширный

¹ Ibid.

² Примечательным представляется также то, что печатные издания в Словении пользуются гораздо большим влиянием, чем в России, а их тираж существенно выше; как пишет Чибей, «тираж серьезных газет в России лишь незначительно превышает тираж газетных изданий в Словении, население которой сопоставимо с населением одного округа Москвы» (Ibid.).

³ Fowler R. *Language in the News: Discourse and the Ideology in the Press*. London, 1991. P. 84.

⁴ Galtung J., Ruge M. *Structuring and selecting news // The Manufacture of News: Social Problems, Deviance and the Mass Media*. London, 1973. P. 62–73.

анализ прессы: в ряду критериев негативные события занимают самые высокие позиции.

Фоулер подчеркивает противоестественность фактора негативности; с его точки зрения, нет оснований для большей значимости сообщений о катастрофах, нежели о достижениях, — это говорит в пользу того, что такой фактор в качестве самого важного беспорен с точки зрения привнесенности культуры¹. Сразу за этим фактором негативности следует персонализация, т. е. отнесенность к конкретной личности, что объясняет непрерывное продолжение публикаций в разделах новостей материалов о Политковской о все еще не оконченном расследовании ее убийства (с момента убийства в 2006 г. и до 2011 г., т. е. за пять лет в газете «Дело» было опубликовано 36 материалов на эту тему). Относительно часто Политковская упоминается в сообщениях на иные темы, например в статьях об убийствах российских журналистов, адвокатов и активистов борьбы за права человека и совершенного в отношении них насилия, о деятельности российских журналисток, расследующих в своих статьях примеры нарушений в области прав человека, особенно свободы слова, российской внешней политики и т. д. После убийства усилился интерес к Политковской со стороны широких кругов общественности, деятелей культуры. Уже через год после убийства (2007) на словенском языке вышла книга Политковской «Путинская Россия»², два года спустя (2009) дневниковые записи 2003–2005 гг., которые были озаглавлены в словенском переводе «Последние записи: Дневник убитой российской журналистки»³, а в 2010 г. — «Только правда»⁴, избранные статьи и репортажи, которые она написала для «Новой газеты» в период с 1999 по 2006 г.⁵

В «Деле» (далее — Д) и «Младине» (далее — М) встречаются следующие слова или словосочетания, подразумевающие Политковскую (выстроены по принципу частотности):

(1) российская журналистка (Д), известная журналистка (Д), известная российская журналистка (Д), наиболее известная российская журналистка (Д), одна из авторитетнейших российских журналисток (Д),

¹ Fowler R. Language in the News ... P. 16.

² Politkovska A. Putinova Rusija. Tržič, 2007.

³ Politkovska A. Zadni zapisi: Dnevnik umorjene ruske novinarke. Ljubljana, 2009.

⁴ Politkovska A. Samo resnica. Tržič, 2010.

⁵ На XI фестивале документального кино, который прошел в Любляне с 23 по 30 марта 2009 г., был показан фильм «Письмо Анны Политковской», в связи с этим словенское отделение «Amnesty International» организовало круглый стол на тему «Правозащитники и свобода слова», в котором принимала участие журналистка «Новой газеты» Елена Милашина.

исследующая / расследующая журналистка (Д), самая известная в мире российская журналистка (Д), российский публицист (М), лауреат многочисленных международных премий журналистики и наград гуманитарных организаций (Д), обладатель авторитетных международных наград (Д), неоднократно награжденный борец за права человека (М), неустрашимая журналистка (Д), критичная журналистка (Д), одна из немногих критичных журналистов в России (Д), ярая оппозиционная журналистка (Д), известный критик Кремля (Д), критичная к Кремлю журналистка (Д), критичная по отношению к кремлевским властям оппозиционерка (Д), крупный критик кремлевской политики на Кавказе (Д), легендарная российская журналистка (М), большое имя (М), активистка (Д), бескомпромиссный борец за правду (Д), радикальная российская журналистка и борец за права человека (Д, Приложение), одинокий борец за свободу слова (М), одинокий критичный голос в России (Д), запрещенная журналистка (Д, Приложение).

На хронологическом срезе видно: в публикациях 2006 г., т. е. в сообщениях об убийстве, преобладают более общие определения, это указывает на то, что в тот период Политковская еще нуждалась в представлении словенской общественности:

(2) российская журналистка (Д), известная журналистка (Д), известная российская журналистка (Д), самая известная российская журналистка (Д), одна из авторитетнейших российских журналисток (Д).

Позднее, в сообщениях после 2006 г., определения становятся более специфическими, уже точнее определяя жанр ее журналистских репортажей и содержание ее деятельности:

(3) ведущая исследование / расследование журналистка (Д), известный критик Кремля (Д), критичная к Кремлю журналистка (Д), критичный к кремлевским властям борец (Д). И хотя «крупным критиком кремлевской политики на Кавказе» она была названа уже в одном из сообщений о ее убийстве в 2006 г., словосочетания, в которых присутствует слово «критичность», становятся заметными лишь в последующие годы.

В анализируемых текстах Политковская представлена в трех различных лексических регистрах: судебном, связанном с сообщениями об уголовном расследовании ее убийства; бульварном, содержащем элементы стиля, присущего желтой прессе; политическом, относящемся к политическому значению ее журналистских расследований.

Судебный лексический регистр характерен для обоих рассматриваемых изданий, однако в «Деле» он встречается в связи с более частым

появлением статей о расследовании убийства Политковской. Приведем пример лексического ряда из статьи в газете «Дело» под названием «Смерть охотницы за новостями» (целиком дается первая фраза, в которой подчеркнута соответствующая лексическая единица, затем слова и словосочетания, которые образуют лексический ряд):

(4) Заказное убийство известной российской журналистки Анны Политковской, собственно говоря, не является чем-то новым в обращении с самыми смелыми представителями четвертой власти во всей истории постсоветской России ... последнее громкое убийство ... выстрелы профессионального убийцы ... окончательно стихло ... холодное оружие ... патроны ... при поиске и осуждении исполнителей ... заказчиков убийств ... расследование убийства ... заказал убийство ... искать виновного ... подстроить убийство ... угрожают.

(«Дело», 10.10.2006)

Бульварный регистр в сообщениях о Политковской характерен для стиля газеты «Дело». Лексический ряд бульварного регистра, включающий в себя такую лексику, как «прославиться», «стать известным», «звезда СМИ», «книжный бестселлер» и т. д., характеризуют Политковскую как «звезду», тем самым совершенно переосмысляя и отводя некое иное место ее действительной роли критика системы и борца за справедливость.

(5) Политковская не стала известной ни во времена перестройки, ни в хаосе свободы прессы после распада Советского Союза. Ее медийная звезда по-настоящему зажглась в начале второй чеченской войны, когда она перешла из когда-то хорошей «Общей газеты» в «Новую газету»...

(«Дело», 14.10.2006)

(6) Политковская, являющаяся также автором многочисленных книжных бестселлеров, стала символом удушения свободы прессы во всем мире.

(«Дело», 25.08.2011)

В политическом лексическом регистре объединены слова и словосочетания, в первую очередь указывающие на критическую направленность и борьбу Анны Политковской. Синтаксически именные словосочетания, характеризующие журналистку с политической точки зрения, чаще всего структурируются по следующим двум моделям:

(7) (a) (определение слева +) борец / критик / поборник (+ определение справа)

(b) критичная / оппозиционная + определяемое словосочетание (+ определение справа)

Полностью употребление словосочетаний синтаксических структур выглядит следующим образом:

(8) Определение слева	Определяемое слово	Определение справа
неоднократно награжденный	Борец	за права человека
	Борец	за права человека
одинокий	Борец	за свободу слова
непредсказуемый	Борец	за справедливость
известный	Критик	Кремля
крупный	Критик	кремлевской политики на Кавказе
критичный по отношению к кремлевским властям	Оппозиционер	

(9) Определение слева	Определяемое слово	Определение справа
критичная	Журналистка	
критичная к Кремлю	Журналистка	
одна из немногих	Журналисток	в России
резко оппозиционная	Журналистка	

Как видно из приведенной выше таблицы синтаксических структур, определяемое слово «борец», которое подразумевает участие Анны Политковской в борьбе, чаще всего употребляется с дополнением «за права человека», что говорит о том, что в словенских средствах массовой информации в качестве основной оппозиционной деятельности Анны Политковской понимается риторика прав человека. Такое понимание редуцирует общественно-политический смысл деятельности, снижает значение открытых политических репортажей Политковской и сужает контекст ее общественно-политической деятельности, поскольку ставит во главу угла ее журналистской работы цели, которые Политковская никогда не ставила выше усилий, направленных на демонтаж существующей общественно-политической системы и построение новых структур общественного устройства (именно беглый взгляд на общественный миропорядок укрепляет

мощь правящего класса¹), что было главной целью ангажированной борьбы журналистки.

Лексика, характеризующая борьбу Политковской, само прямое отглагольное образование «*бунтовщица*» в качестве определяемого слова в именном словосочетании, упрощает представление о ней, поскольку работает на снижение характера ее политической деятельности сознательного аналитика, революционерки, которая вызывает к справедливости.

В одном из случаев для определения Политковской появляется слово «активистка», однако используется оно в таком контексте, который заставляет воспринимать ее как активистку, которая пишет лишь о страдании людей, что совершенно разбавляет критическую струю журналистики и деполитизирует революционный запал ее активной деятельности:

(10) Для корреспондентов нового времени она была журналисткой, предлагающей вниманию общественности истории о жизни маленьких людей, униженных и оскорбленных, а также активисткой. Скорее всего, это так и есть.

(«Дело», 10.10.2006)

Активистскую деятельность Анны Политковской — как раз напротив — характеризует системный анализ и критика структурных причин гуманитарного и общественного кризиса.

Примечательную особенность политического регистра являет собой лексика со значением риска и опасности, за которой стоит смелость Анны, например словосочетание «рисковать жизнью», которое появляется в обоих анализируемых печатных изданиях:

(11) Наряду с Политковской, которая занималась расследованием военных преступлений в Чечне и рисковала своей жизнью <...> над проблемами журналистской сервильности задумались бы по крайней мере восемьдесят российских журналистов.

(«Дело», 29.08.2007)

Обращает на себя внимание использование глагола «*дерзать*», который в качестве семантического выбора на грамматическом уровне может употребляться как составная часть глагольной (12) или именной конструкции (13):

¹ Chandler D. From Kosovo to Kabul: Human Rights and International Intervention. London, 2002. S. 235.

(12) Резкий критик кремлевской политики на Кавказе, она была среди редких журналистов, которые дерзали писать из Чечни.

(«Дело», 09.10.2006)

Название статьи в журнале «Младина», в которой сравнивается российская, словенская и американская журналистика (к Политковской относится первое из определений «дерзость»):

(13) Дерзость, предел и молчание журналистики

(«Младина», 22.01.2009)

Семантика глагола «дерзать» (в значении «отваживаться», «осмеливаться») включает в себя и запретное, а вследствие этого привлекательное действие, способствует созданию образа Анны Политковской как необычной, не укладывающейся в привычные рамки журналистики, особую ценность ее работе придает протест, а не указания на системные нарушения. Необычность представления Политковской подкрепляется употреблением словосочетаний с указывающими на их меру определениями, которые выражают наивысшую степень ее смелости: смелá на грани возможного (Д), исключительная вовлеченность легендарной Политковской (М), — тем самым образ Анны Политковской рисуется как мессианский. Такое конструирование имеет деполитизирующее и нейтрализующее последствия, поскольку освобождает общественность от ответственности за такие же политические взгляды.

Имя Анны Политковской в словенском медийном пространстве появляется также как антономазия: например, в заголовке «Где новые Анны Политковские?» («Дело», 30.03.2009) оно означает «бесстрашные, смелые, критичные, настойчивые и боевые журналисты», но сокращается основополагающая составляющая ее журналистики, т. е. вовлеченность в политику. Как доказывает Ребекка Гоулд¹, критический тон особо не превышает наивысшей цели; последняя у Политковской перевешивает за счет усиления раздвоенности «внешний — внутренний» (в описании военных событий она не отделяет себя от гражданского населения) и двойственности соотношения, которое она создает своим текстом и выбранными темами.

Словенские журналисты, выставляющие Политковскую как образец критической журналистики, не видят разницы между пропагандистским и политическим текстом, т. е. текстом, который опирается на

¹ Gould R. The Engaged Outsider ...

миф об объективности, и текстом политически ангажированным, формируемым темами, с которыми политический обозреватель находится в отношениях диалога¹. Статьи Политковской, таким образом, поданы как противопоставление журналистскому популизму и проправительственным статьям, но не статьям тех оппозиционных журналистов, которые, вопреки критиканской позе, принятой в журналистской традиции внешней объективности, являются выразителями преобладающей официальной линии. Объективность, по утверждению Гоулд², снижает скорость восприятия. Объективные журналисты теряют способность отстраняться от рычагов классовой силы, которым надлежало бы быть предметом их критики.

Представление репортажей Политковской о войне в Чечне: третья дистанция

Словенские журналисты критически относятся к расширению путинского неоконсервативного авторитаризма, который являлся предметом острейшей системной критики Политковской, однако корни режима, установившегося в результате неолиберального переворота, когда в 1990-е гг. путем «шоковой терапии» была проведена приватизация³, со всеобщим разделением государственной собственности⁴, они видят в коммунистической общественной формации. Так, например, переводчик «Последних записей», журналист и бывший собкор в Москве Миха Лампрехт в одном из интервью по случаю выхода в свет книги сказал, что Политковскую отличали «разум, а также временами полное отвращение к российскому государству, которое каждый раз сызнова показывало себя наследником советской системы»⁵. Коррупция, криминал и общественный коллапс, которые были неизбежными следствиями стремительного переходного периода из бывшей коммунистической страны в страну капиталистическую⁶, изображаются словенскими журналистами как продолжение коммунизма, при этом защищаются неолиберальные институты ЕС в качестве демократической либеральной

¹ Ibid.

² Ibid.

³ Harvey D. *Kratka zgodovina neoliberalizma*. Ljubljana, 2012. S. 96.

⁴ Holmstrom N, Smith R. The Necessity of Gangster Capitalism: Primitive Accumulation in Russia and China // *Monthly Review* 51. No. 9 (2000). URL: <http://monthlyreview.org/2000/02/01/the-necessity-of-gangster-capitalism>.

⁵ URL: http://www.sanje.si/knjigarna/ruski_Dnevnik.html.

⁶ Holmstrom N, Smith R. The Necessity of Gangster Capitalism ...

организации: «Словения. Журналисты здесь не падают от выстрелов. Критика премьера Пахора и еще больше — его предшественника Янеза Янши широко распространена <...> В конце концов судебная практика конца девяностых ввела в Словении стандарты ЕС, где Конвенция о правах человека диктует, что в качестве предпосылки для создания демократической атмосферы необходима и острейшая критика, которая может казаться даже шокирующей и оскорбительной»¹. Сообщения о Политковской часто используются как ревизионистский контрапункт коммунизму, в «Младине» — внутри консервативного течения, скрывающегося под личиной либерального издания. Прямые приемы неолиберализма, например капиталистические средства для умиротворения несогласных, таким образом приписываются коммунизму и прилепляются как ярлык на народ. «Из-за этой критичности человек в России рискует жизнью», — пишет журналист Бернад Нежмах в «Младине»² и тем самым авторитарные стратегии, которым следуют экономические элиты, чтобы сохранить власть класса, установленную в результате неолиберального переворота³, относит к предполагаемым различиям между народами.

Вместе с тем осуждение империалистической войны более очевидно в «Младине», нежели в «Деле». Далее, в приводимых отрывках содержится наглядная критика терроризма и оправдание насилия во имя антитеррора:

(15) И кто такой вообще Буданов? Это боевой командир, изнасиловавший в 2000 г. во время войны в Чечне и зверски убивший 18-летнюю Эльзу Кунгаеву. Тем не менее его считали в обществе и в армии героем, российским патриотом, который рисковал жизнью, борясь с чеченскими террористами.

(«Младина», 22.01.2009)

Представление репортажей Политковской о войне в Чечне в газете «Дело» часто подается покровительски, этноцентрично и в рамках действующих стереотипов. В следующем примере чеченское население сведено до схемы с двумя слоями населения — маленькие люди и большие бандиты:

(16) В ее историях <...> рассказывалось о судьбах маленьких людей, которые даже были рады, если для наведения порядка в хаотичную шариатскую республику, где свирепствовали разные бандиты, придут

¹ *Nežmah B. Drznosti, meje in molk novinarstva // Mladina. 22.01.2009.*

² *Ibid.*

³ *Harvey D. Kratka zgodovina neoliberalizma ... S. 264.*

федеральные войска, но бесцеремонность последних убедили их в том, что в общем российском государстве их жизнь ничего не стоит.

(Субботнее приложение газеты «Дело», 14.10.2006)

Существительное «истории» в качестве названия репортажей Политковской о войне в Чечне, которое мы находим в очередном примере, явно прослеживается в статьях газеты «Дело». Семантическое содержание существительного «истории», создавая частичное впечатление фиктивности, воссоздает состояние общественной и политической безликости, бессовестности и тем самым «третью дистанцию».

Характерной чертой стиля «Дела» в рассказе о репортажах Политковской о Чечне являются также эвфемизмы, которые выполняют нейтрализующую функцию. В следующем примере выступает словосочетание «*российское вмешательство в Чечне*» в качестве эвфемизма российской оккупации и капиталистической экспансии:

(17) Она написала также критическую книгу о российском вмешательстве в Чечне, в которой описывались нарушения прав человека в отношении местного гражданского населения.

(«Дело», 11.10.2006)

Аналитическое восприятие обостряется также благодаря нанизыванию понятий, которые подразумевают скандальность, это также характерно для стиля репортажей «Младины», например:

(18) опасные территории ... ошеломляющие истории ... страдание простых людей

(«Дело», 09.10.2006)

(19) концентрация страдания: экологическая катастрофа, бедность социально незащищенных, нерасследованные убийства чеченских детей.

(«Младина», 23.08.2007)

Эмоционально окрашенная лексика, из которой совсем выпущены такие понятия, как геноцид, экстерминизм, политика истребляющего типа, контроль собственника над ресурсами или неокOLONиализм, узаконивает статус Чечни как колонии, поскольку подразумевает только страдание, вследствие чего возникает эффект жалости к людям в силу положения, в котором они оказались, но не она обнажает структурные причины насилия, т. е. экспансионистскую модель неолиберального капитализма.

Перевод со словенского Т. Жаровой.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В.И. Косик

**ЛЯМУР, ТУЖУР, ОРЕВУАР —
историко-личные заметки на полях истории**

Любовь и ненависть

Если верить тому, что правда никогда не бывает сладкой, то не исключено, что славянство сгнило, не дождавшись зрелости. Славянский мир, о котором столь вдохновенно писали его мечтатели, не стал реальностью. К этому было множество известных и набивших всем оскомину причин.

Если говорить о главной из них, то стоит вспомнить старый аргумент атеистов в их борьбе с православием: «Если Господь всемогущ, то сможет ли он создать такой камень, который Сам не сможет поднять?» Ответ на эту хитроумную уловку может быть таков — этим «камнем» является человек, в нашем случае славянство, чьи дороги, используя фразу Николая Васильевича Гоголя, расплзались как раки.

Всеславянская империя в форме конфедерации под скипетром самодержавной России с ее византизмом не устраивала славянскую интеллигенцию, вскормленную на идеях свободы, равенства, братства. Лозунги Великой французской революции, окрашенные в национальные цвета, были гораздо привлекательней, нежели «заедающие» ее (славянской интеллигенции) жизнь призрачные идеи всеславянства, грозящие в случае их воплощения отрывом от Европы, к которой она так стремились.

Безусловно, что те же балканские народы, только что пробуждавшиеся к самостоятельной жизни, должны были искать себе опекуна,

защитника, покровителя, стража их интересов. Но, по справедливости, не они выбрали, а их делили и разделяли.

Конечно, и в России желали укрепления своего геополитического влияния на Балканах. Но история ей отвела роль только освободительницы, с опекуном у нее получалось плохо.

И если говорить о болгарских националистах, то их неприязнь к России, неверие в нее, сомнение в ее политике могли бы быть сконцентрированы в следующих словах-объяснениях.

1. Я люблю Россию, но ненавижу русскую политику.
2. Я люблю Россию, но только когда она не решает свои дела за меня.
3. Я люблю Россию, но ненавижу самодержавие.
4. Я ненавижу Россию, потому что она лишила Болгарию Македонии.
5. Я ненавижу Россию, потому что я всегда «меньший брат» для нее.

Время подмен и превращений и упрощений

И здесь представляется уместным поставить вопрос о «великой всеславянской империи». Да, конечно, по результатам войны 1877–1878 гг. свою программу-минимум по «восточному вопросу» Россия выполнила. В туманном будущем рисовалась заманчивая картина формирования восточноправославной политической, религиозной, культурной — но не административной — конфедерации славянских стран.

Именно эта конфедерация под гегемонией самой неславянской и в то же время самой славянской России должна была обеспечить *«новое разнообразие в единстве, все славянское цветение»*.

Время не оправдало надежд. Потуги славянского мира к гармонизации отношений были безнадежно испорчены самими славянами. Можно даже сказать в запальчивости, что славяне «сожрали» императорскую Россию, чтобы потом, заплатив долг соцлагерем, уйти на Запад.

В сущности, наше время может быть охарактеризовано как век подмен прежде всего в сфере самосознания, растворения национального в общечеловеческом, в решении проблем с использованием военной машины как «единственного» средства для эффективного урегулирования горячей ситуации и последующей политики «миротворчества», нередко в военном мундире.

И само становление, а для некоторых государств — выживание, зависит прежде всего от нахождения верной пропорции национального и европейского. Этот труднейший вопрос каждое государство

решает на свой манер, исходя из своей истории, забывая о тупиках. Здесь следует вспомнить, что «закат» страны, империи может отсрочить только культура в своем единстве оригинальных начал. Но для нашего времени характерна резкая поляризация культуры элиты и культуры масс, что не внушает особого оптимизма при взгляде на будущее. Далее. Процесс деления и разделения институтов власти продолжается донныне и будет длиться до тех пор, пока «славянин» не превратится в «европейца». Конечно, это потребует больших инвестиций самого различного характера. Здесь и обычное вливание денежной евромассы, «раздача» денег остальным балканским славянским странам, отношения между которыми далеко не безоблачны. Здесь и напряженная и трудоемкая работа по «промывке мозгов» с обязательным стиранием в памяти всего отрицательного, что должно быть уничтожено. На выходе должен получиться средний европеец. Будет ли он хорошим, судить трудно. Плохо одно — он средний. Иными словами, он будет опять-таки той самой массой, почвой, на которой или не вырастет ничего, или история пойдет по своему кругу.

Более того, в построениях и лозунгах о равенстве в обществе, государстве лиц, сословий, наций, экономическом и умственном равенстве полов можно, вслед за многими философами, увидеть все тот же грозный процесс уравнивания, упрощения и, соответственно, разрушения культурного мира с его своеобразием. Наш русский мыслитель К.Н. Леонтьев шел дальше и, как мне представляется, говорил и предупреждал об упрощении Бога, о приспособлении идеи Бога к человеческим нуждам и интересам. Эта угроза воплотилась в массовой культуре, в том числе и политической, государственной. Собственно говоря, эта философская сентенция может быть с одинаковым правом отнесена к нашей эпохе и соотносима с практикой общегосударственной жизни в мире, где «свобода есть осознанная необходимость», а иное «рабство» обосновано наукой и «ходом исторического развития». Казалось бы, зависимость очевидна и идея всеобщего блага может быть реализована. Но сам ход человеческой истории указывает на идеальность, вернее, на иллюзорность такой идеи. Практически же она осуществляется лишь в Боге.

В свое время «певец британского колониализма» Редьярд Киплинг написал знаменитые строчки:

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень суд,

Но нет Востока и Запада нет, что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?

Время и сейчас все больше подтверждает эти мысли, и «солнце» для многих всходит на Западе.

Но такая «аномалия» может ассоциироваться с всемирным «потопом» или, если угодно, «очищением», вследствие чего человек обретет свободу и одновременно, можно допустить, станет и ее рабом.

Бег в «свободу» от «свободы»

Сейчас наступило время, когда исчезают национальные интересы, уступая место европейским, а те — общечеловеческим. В целом этот процесс можно расценить как положительный, если забыть про опасность того, что «общечеловечность» потребует самых кровавых войн и жертв для установления «общемировой гармонии».

Разумеется, сам феномен в абсолюте должен представлять собой своеобразные «соединенные штаты человечества», объединенные одной системой бытия. На современном этапе он наиболее ярко представлен в виде идеи глобализации мира через перемешивание наций и народов и создание новой человеческой общности.

Но что делать с культурой? Речь идет «о выпадении в осадок» в учебниках — истории культур и самого политического бытия народов, переживших свой расцвет. При этом сей непростой процесс может длиться веками, прерываясь отчаянными и кровавыми попытками возрождения. И здесь, возможно, самым эффективным средством сохранения своей «национальной» идентичности может оказаться литература, уводящая людей в область «бессознательно-магического прошлого», позволяющего завязать нить времен на личностно-подсознательном уровне.

Надо признать, что имя России — царской или советской — в сущности, не вызывало у зарубежных славян особых положительных эмоций, разве только в некоторые кризисные моменты их существования. Конечно, была историческая память обо всем том положительном, связывающем славянство, но она была и остается лишь одним из многих факторов, определяющих тактику дня и стратегию времени. Все они, так или иначе, связаны с европейскими интеграционными процессами, с глобализацией мира. И здесь возникает старый вопрос, связанный с феноменом «отмирания государства» в процессе строительства

«Всемирной выставки человечества» в его начальной форме Европейского союза.

Конечно, не стоит забывать и параллельный процесс активного строительства национальных государств на Балканах, на территории бывшего СССР. Но здесь надо подчеркнуть, что обретение ими самостоятельности следует трактовать прежде всего как естественное следствие развала СССР, а не как результат их собственных усилий. И в своем беге от России эти страны ищут спасения своей национальной идентичности, своего возрождения в западном мире, забывая о феномене глобализации, падении в пропасть европейского рая. Да и наше будущее также трудно предугадать, тем более что Европа, куда и мы, кажется, стремимся, или играем в такое стремление, перестанет существовать, если она будет включена в Евразию.

P. S. Приспособление истории к потребностям современности, вернее, власти, получило название исторической политики. Иными словами, речь идет о «правильной» истории, в которой нет места «неприятному». Применительно к Балканам, стремящимся в Европу, историческая политика в европейской оболочке может означать только одно — конец национальной истории со всеми ее «нехорошими» сторонами, что делает ее живой. И от балканских войн останутся только памятники, да и то ненадолго. Все же это не пирамиды.

Хотя остается иррациональность бытия, способная увести те же Балканы с прямой европейской дороги на кривые тропинки национальных историй, в которых еще «остался порох в пороховницах» — пока.

Именной указатель

А

Абрикосова Надежда Николаевна	253
Аввакум протопоп	366
Август Сигизмунд	338
Айги Геннадий Николаевич	434, 442
Айдачич Деян	374
Аинса Фердинандо	307
Аксаков Иван Сергеевич	120, 236, 237, 241
Аксаков Константин Сергеевич	135
Аксаков Сергей Тимофеевич	156, 181
Аксенов Василий Павлович	75
Акунин Борис (Чхартишвили Григорий Шалвович)	472, 477
Александр I	62, 119, 173, 175–177
Александр II	17, 23, 233, 240, 242, 244, 245
Александр III	17, 321
Александра Федоровна	273
Алексеев Михаил Васильевич	273
Алекси Янко	161
Андерс Владислав	361
Андерсон Бенедикт	100
Андреев Леонид Николаевич	77, 169
Андрич Иво	511, 512
Андроникова Гана	39
Андронов Фёдор Иванович	91
Анна, святая	119
Априлов Васил	233

Апухтин Александр Львович	70
Арбес Якуб	182
Арсений III Черноевич	514
Арсений Елассонский, архиепископ	93
Астафьев Виктор Петрович (см. также Astafjev Viktor)	532–540
Аттила	73
Аугуста Ярослав (см. также Augusta Jaroslav)	161–163, 288
Афанасьев Александр Николаевич	122
Афанасьев Юрий Николаевич	17
Ахиезер Александр Самойлович	17, 22
Ахматова Анна Андреевна	22, 80, 81, 442
Ашкерц Антон (см. также Aškerc Anton)	199–216
Б	
Бабель Исаак Эммануилович	22, 457
Бабор Йозеф (см. также Babor Josef)	420
Багар Андрей (см. также Bagar Andrej)	445, 447
Багинский Томаш	374
Багно Всеволод Евгеньевич	12
Байрон Джордж Гордон	525
Байт Драго	465
Баквис Клод (см. также Backwis Claude)	360
Бакош Микулаш (см. также Vakoš Mikuláš)	395
Бакула Бронислав	374
Бакулов Виктор Дмитриевич	305
Бакунин Михаил Александрович	454
Балугьянский Михаил Андреевич	120
Бараньский Збигнев	74
Бардо Бриджит	409
Барклай-де-Толли Михаил Богданович	100
Барнс Ричард	378
Барсуков Николай Платонович	132, 140
Барт Ролан	194
Бартминьский Ежи (см. также Bartmiński Jerzy)	372–374
Бартол Владимир (см. также Bartol Vladimir) ...	449, 450, 452, 453, 461
Бартулович Нико	517
Барфут Седрик Чарльз (см. также Barfoot Cedric Charles)	41
Басаев Шамиль Салманович	414
Баскар Боян (см. также Baskar Bojan)	201

Баталов Эдуард Яковлевич	307
Батюшков Константин Николаевич	139
Батя Томаш	404
Баумгартен Евгений Евгеньевич фон	333
Бах Иоганн Себастьян	341
Бахтин Михаил Михайлович	31, 354, 357–358, 467
Бачко Бронислав (см. также Baczko Bronisław)	111
Башта Ярослав	412
Бедекер Карл	193, 215
Беднар Альфонс	422
Безруч Петр	383
Белинский Виссарион Григорьевич	131
Беллавин Федор Васильевич	183
Белова Ольга Васильевна	12
Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич)	434
Бельмонт Лео	77
Беляев Иван Дмитриевич	122
Бендл Вацлав Ченек	119, 123
Бенеш Эдвард	36, 398
Бенкендорф Александр Христофорович	109, 344
Бенцур Мартин	182
Беранек Индржих (см. также Beránek Jindřich)	402, 403
Берг Николай Васильевич	122, 123
Бердяев Николай Александрович	328, 340, 365, 366, 420, 457
Берия Лаврентий Павлович	21
Бернштейн Инна Максимовна	310
Бершадская Марианна Леонидовна	217, 453
Бжозовский Станислав	74
Библ Константин	258
Биелек Антон	184
Билибин Иван Яковлевич	334
Благо Павол	180
Благовещенский Алексей Андреевич	121
Благой Дмитрий Дмитриевич	381, 382
Блок Александр Александрович	272, 285, 299
Блуа Леон (см. также Bloy Leon)	260
Бльсков Илия	232
Богданов Юрий Васильевич	268, 272

Богданова Ирина Александровна	434
Бодянский Осип Максимович	122, 130, 132, 133, 178, 229, 236, 237, 322, 323
Бозвели Неофит	234
Болеслав I Храбрый, король польский	54, 55
Болеслав II Смелый, король польский	54–56
Болеслав Кривоустый, король польский	54
Болеслав Кудрявый, король польский	54
Бонди Сергей Михайлович	381
Бончев Нешо	235, 237
Боровичка Лукаш (см. также Borovička Lukáš)	315
Боршник Владо	465
Боршник Мария (см. также Boršnik Marja)	200, 214
Брандт Роман Федорович	147
Брандыс Казимеж (см. также Brandys Kazimierz)	79
Брежнев Леонид	405
Брехт Бертольд	217
Бриант Джон	388
Британишский Владимир Львович	336, 338, 340, 344
Брнчич Вера	465
Бродский Иосиф Александрович	69, 80, 81, 339, 353, 354
Броз Тито Йосип	512
Брусилев Алексей Алексеевич	273, 506
Брюкнер Александр (см. также Brückner Anton)	74, 77, 81
Брюсов Валерий Яковлевич	442
Бугай Николай Федорович	20, 21
Будагова Людмила Норайровна	7, 37, 49, 152, 256, 267, 434
Буданов Юрий Дмитриевич	551
Будзило Юзеф (см. также Budzilo Jozef)	85
Будилович Антон Семенович	158
Булгаков Михаил Афанасьевич	22, 75, 419, 460
Булгарин Фаддей Венедиктович	97–109
Бунин Иван Алексеевич	81, 457
Бурдые Пьер	533
Бурмов Тодор Стоянов	236
Бусилин Георгий	236
Буслаев Федор Иванович	122
Быков Василь Владимирович	75

Бэйн Кэмпбелл Мэри (см. также Baine Campbell Mary)	194
Бэкон Фрэнсис	195
Бялокозович Базыли (см. также Białokozowicz Bazyli)	74

В

Вазов Иван	233, 240–243, 246
Вайль (Вайль) Симона	342
Вайль (Вейль) Иржи	308
Вайсс (Вейс) Ян (см. также Weiss Jan)	305, 307, 309–312, 320
Валек Мирослав (см. также Válek Miroslav)	433–436, 438, 441, 442
Валечка Эдуард	252
Валицкий Анджей	74, 111
Валуев Григорий Леонтьевич	87
Валуев Петр Александрович	129
Вамош Гейза	169
Вандыс Петр Стефан (см. также Wandycz Piotr Stefan)	33
Ванек Отакар (см. также Vaněk Otakar)	274
Варлаам пустынник	220
Василий Шуйский, русский царь	85, 89, 91–93
Ват Александр (см. также Wat Aleksander)	82
Вахек Эмил	307
Вацулик Людвик	400
Вачков Юзеф	80
Вейль Иржи — см. Вайль Иржи	
Вейль Симона — см. Вайль Симона	
Вейс Ян — см. Вайсс Ян	
Велек Рене (см. также Wellek René)	392, 393
Веллек Рене	28
Вельтман Александр Фомич	122
Венелин Юрий Иванович	233, 234
Венцлова Томас	337
Вергилий Марон Публий	363
Вертинского Александр Николаевич	83
Весел Ян	200
Веселовский Александр Николаевич	143, 147
Вечоркевич Павел (см. также Wiczorkiewicz Paweł)	73
Вивег Михал (см. также Viewegh Michal)	44, 45, 47
Видмар Йосип	465, 475
Виктория, королева Великобритании	192

Вильк Мариуш	374
Виноградов Виктор Владимирович	7
Винокур Григорий Осипович	381
Вирк Томо (см. также Virk Tomo)	464, 466, 467, 470, 472, 474–479
Вирлахер Алоис	533
Витковский Георг (см. также Witkowski Georg)	381
Виттекер Цинтия Х.	104, 105, 107
Вишневецкий Адам	94
Владимир I Святославич, святой	119
Владимов Георгий Николаевич	75
Владислав IV, польский королевич (см. также Władysław IV Waza)	86, 87, 89, 91, 92
Власак Антонин	252
Влчек Ярослав	158, 181
Водичка Феликс (см. также Vodička Felix)	383, 384
Водовозов Николай Васильевич	176
Вознесенский Андрей Андреевич	434
Войников Добри	233
Войнович Владимир Николаевич	81
Волков Владислав Николаевич	434, 440
Волков Олег Васильевич	71
Волкова Наталья Сергеевна	263
Володзько Алиция	74
Вольман Славомир	7
Вольман Франк	7
Вондрачек Франтишек (см. также Vondráček František)	330, 331
Ворел Томаш	259
Ворошильский Виктор	80
Востоков Александр Христофорович	120, 122
Вотава Алеш	447
Врабель Янко	268, 271, 289
Вронский Юрий Иванович	441
Врхлицкий Ярослав	182
Высоцкий Владимир Семенович	22, 65, 419
Вяземский Петр Андреевич	98, 99
Г	
Габлер Вилем	127
Габсбурги	35, 146, 150, 155, 250, 254, 514

Гавел Вацлав	30, 406, 415
Гавелка Милош	35
Гавличек-Боровский Карел (см. также Havlíček Borovský Karel)	48, 125–141, 249, 250, 325, 415
Гавранек Богуслав (см. также Havránek Bohuslav)	392, 394–397
Гавранкова Зденька (см. также Havránková Zdeňka)	396
Гаврюшина Лидия Константиновна	225, 226
Гайдар Егор Тимурович	22
Галас Франтишек	252, 257
Галецки Оскар (см. также Halecki Oskar)	33
Ганка Вацлав (Вячеслав Вячеславович)	118–124, 130, 140, 322, 323
Гарбулёва Любица (Людмила)	166, 168, 267, 272, 276, 329, 330
Гаркова Прасковья	177
Гауссман Иржи	307
Гацек Микулаш (см. также Gacek Mikuláš)	161, 162, 269
Гашек Ярослав	230, 231
Гашпар Тидо Й.	169
Гбур Ян (см. также Gbúr Ján)	188
Гваттари Феликс	473
Гегель Георг Вильгельм Фридрих	467
Гедройц Ежи (см. также Giedroyc Jerzy)	65, 82, 335
Гейровский Леопольд	325
Герберштейн Сигизмунд (см. также Herberstein Žiga)	198
Гердер Иоганн Готфрид	32, 496
Гертруда, королева польская	54
Геруц Крунислав (см. также Heruc Krunislav)	331, 332
Герцен Александр Иванович	75, 114, 130, 131, 337, 338
Гессен Сергей Иосифович	328
Гёте Иоганн Вольфганг фон	356
Гиллен Клаудио (см. также Guillén Claudio)	27
Гильфердинг Александр Федорович	120
Гиргл Франтишек	127
Гитлер Адольф	73, 301, 336, 462
Главачек Карел (см. также Hlaváček Karel)	393
Гладков Федор Васильевич	77
Гладкова Олеся Владимировна	223
Глазер Аленка	465

Гланц Томаш (см. также Glanc Tomáš)	315
Глигориевич Миле	524
Глушковский Петр	98
Гоголь Николай Васильевич	7, 19, 79, 123, 127–129, 131–133, 151, 156, 157, 159, 160, 181–183, 249, 282, 323, 325, 354, 384, 417, 419, 526, 528, 555
Годжа Милан	35, 36
Годра Михал (см. также Godra Michal)	171
Голан Владимир	257, 398
Голец Роман	328
Голечек Йозеф (см. также Holeček Josef)	253, 323, 324
Голицын Василий Васильевич	86
Голицыны	131, 132
Голл Ярослав	35
Головина Татьяна Николаевна	98
Гомбита Михал	431
Гомбитова Марика (Мария) (см. также Gombitová Marika)	431, 432
Гомбрович Витольд (см. также Gombrowicz Witold)	66, 78
Гомер	242
Гончаров Николай Александрович	124, 182
Гора Йозеф	256
Горак Йозеф	421
Горакова Милада	258
Горбаневская Наталья	345
Горват Иван	169
Горизонтов Леонид Ефремович	22
Горская Натэлла Всеволодовна	284
Горький Алексей Максимович	
Горький Максим (Пешков Алексей Максимович)	79, 151, 169, 285, 299, 319, 331, 454
Готвальд Климент	258
Гоулд Ребекка (см. также Gould Rebecca)	549, 550
Гофман Модест Людвигович	381
Гофмейстер Адольф	256
Грбал Богумил	39
Грамотин Иван Тарасьевич	91
Грановский Тимофей Николаевич	130

Грацлик Мирослав (см. также Graclík Miroslav)	431, 432
Грегор-Тайовский Йозеф (см. также Gregor Tajovský Jozef) . . .	161–166, 169, 185, 188, 190, 267, 271, 288, 289, 296–298, 330
Греч Николай Иванович	101
Грибоедов Александр Сергеевич	131, 156, 159
Григорович Дмитрий Васильевич	124, 157
Грот Константин Яковлевич	158
Грохова Йоханна	412
Грубин Франтишек	257, 398
Грушовский Ян (см. также Hrušovský Ján)	164–166
Губа Мартин (см. также Huba Martin)	447
Губайдулина Софья Асгатовна	22
Гулова Петра (см. также Hůlová Petra)	39, 44, 47, 418
Гурбан Йозеф Милослав (см. также Hurban Jozef Miloslav)	171
Гурбан-Ваянский Светозар (см. также Hurban-Vajanský Svetozár)	156–161, 180, 184
Гурко Иосиф Владимирович	70
Гурский Конрад	383
Гурьянов Александр Эдмундович	21
Гусак Густав	448
Д	
Давыдов Юрий Владимирович	75
Дакснер Владимир	161
Дакснер Иван	328, 329
Дакснер Штефан	182, 329
Данилевский Николай Яковлевич	181, 182
Данилов Иван	172, 173
Даничич Джуро (см. также Даничић Ђуро)	221
Данте Алигьери	363
Даскалов Христо Кънчев	237
Делёз Жиль	473
Дельвиг Антон Антонович	121
Демидов Павел Николаевич	178
Демосфен	526
Денисов Эдисон Васильевич	22
Державин Гавриил Романович	61, 173
Деррида Жак	30
Джаджич Петар (см. также Џацић Петар)	511

Джесуальдо да Веноза Карло	369
Дзярский Станислав	81
Димитрий II, самозванный русский царь см. Лжедимитрий II	
Дисеринк Хуго (см. также Dyserinck Hugo)	28, 533
Длугош Ян	55, 56
Дмитриев Петр Андреевич	460
Добровольский Георгий Тимофеевич	434, 440
Добровольц Франце (см. также Dobrovóljс France)	200
Добровский Йозеф	118, 120, 322
Доланский Юлиус (см. также Dolanský Julius)	128, 129
Долбилов Михаил Дмитриевич	23
Доментиан	219, 226
Досталь Марина Юрьевна	101, 102
Достоевский Федор Михайлович (см. также Dostojevski Mihajlovič Fjodor)	74, 75, 78, 79, 82, 83, 131, 151, 156–158, 167, 169, 182, 189, 241, 254, 294, 333, 335, 342, 354, 357–359, 362–365, 368, 370, 373, 408, 417, 454, 456, 457, 462, 464–468, 470, 472–474, 477–479, 491, 514, 526
Доубек Вратислав (см. также Doubek Vratislav)	265
Доускова Ирена	43, 44
Дравич Анджей (см. также Drawicz Andrzej)	75, 83
Дрда Ян	398
Дринов Марин	234, 236
Друмев Васил (Климент Браницкий и Тырновский)	233, 244, 245
Дубин Борис Владимирович	336
Дудаев Джохар Мусаевич	416
Дукай Яцек (см. также Дукај Јацек)	372, 374–379
Дула Матуш	268
Духонин Николай Николаевич	273
Дучич Йован	511
Дык Виктор	257
Дюамель Жорж	308
Дюришин Диониз	28
Е	
Евтушенко Евгений Александрович	434
Екатерина II (Великая)	32, 70, 153, 233, 317
Ельцин Борис	378
Емельянова Татьяна Петровна	262

Еротич Владета	523
Ерофеева Венедикт Васильевич	75, 81
Есенин Сергей Александрович	79, 272, 285
Есенский Янко (см. также Jesenský Janko)	161–167, 169, 185, 188, 189, 191, 272, 279–286, 288, 289, 291–297, 300, 303, 441
Есенский-Гашпарэ Ян	279

Ж

Железнов Павел Ильич	240, 243
Жеромский Стефан (см. также Źeromski Stefan)	64, 78, 348, 360, 361, 374
Жид Андре	308
Жинзифов Райко	236–238
Жолкевский Станислав — см. Жулкевский Станислав	
Жуковский Василий Андреевич	61, 123, 131, 139
Жулкевский (Жолкевский) Станислав (см. также Źółkiewski Stanisław)	85, 86–92, 94, 95
Жулкевский Стефан (см. также Źółkiewski Stefan)	78
Журавлев Владимир Константинович	243

З

Забуковец Урша	465
Завада Анджей (см. также Zawada Andrzej)	354
Завада Вилем	257
Загаевский Адам (см. также Zagajewski Adam)	69, 81
Загоскин Маркел Николаевич	121, 123
Заградник Освальд	447
Заградничек Ян	258
Зазварка А.	325
Замбор Ян (см. также Zambor Ján)	442
Замойский Ян	57
Замятин Евгений Иванович	81, 315
Зап Карел Владислав	129–131, 133, 139
Запрянов Тодор	236
Збашник Фран (см. также Zbašnik Fran)	201
Збышевский Вацлав	71
Здзеховский Мариан (см. также Zdziechowski Marian)	74, 82
Зебжидовский Миколай	94
Зейер Юлиус	276
Зеленка Петр	39, 43

Земан Милош	409
Зонтаг Сьюзен (см. также Sontag Susan)	472, 474
Зорин Александр Васильевич	22
Зорин Андрей Леонидович	105
Зоценко Михаил Михайлович	75
Зязиков Ибрагим Багаудинович	416

И

Иван III	232
Иван IV (Грозный)	229
Ивантышинова Татьяна	262, 267
Изабель Вила Майор	212
Израилевич А.	337
Изяслав, князь киевский	54, 55
Илемницкий Петер (см. также Jilemnický Peter)	170, 300–302, 421, 422, 430
Илья Муромец	330
Ингарден Роман	467, 468, 475
Иоанн Павел II, папа римский (Кароль Юзеф Войтыла)	53
Иоасаф (индийский царевич)	219, 220
Ирасек Алоис	182
Ирасек Йозеф (см. также Jirásek Josef)	263, 270, 271 263, 270, 271

Й

Йованович Мирослав	227
Йокаи Мор (см. также Jókai Mór)	447

К

Каванаг Клер (см. также Cavanagh Clare)	351, 359
Кавелин Константин Дмитриевич	122
Казимир I, король польский	54, 56
Кайнар Йозеф	398
Каландра Завиш	258
Каменьский Генрик (см. также Kamieński Henryk)	110–117
Кандинский Василий Васильевич	515
Канкрин Егор Францевич	101
Каплан Фанни Ефимовна	415
Каплицкий Вацлав (см. также Kaplický Václav)	271, 273, 274, 276, 277
Каппелер Андреас	22
Каравелов Любен	233, 236–239

Караджич Вук Стефанович	122
Карамзин Николай Михайлович	61, 132, 156, 159, 175
Карасев Виктор Георгиевич	332
Карл IX, шведский король	86
Карпиньский Войцех	111
Карр Элен (см. также Carr Helen)	201
Каспе Святослав Игоревич	22
Каськова Светлана Владимировна	283
Катаев Валентин Петрович	44
Катков Михаил Никифорович	70
Катранов Никола	236
Кемпиньский Анджей (см. также Kępiński Antoni)	59
Кеневич Стефан	111
Кёппен Петр Иванович	120, 178
Кине Эдгар	197
Кипиловский Анастас	233, 234
Киплинг Редьярд	557
Киреевский Иван Васильевич	129
Кисляк Эльжбета	372
Клаус Вацлав	409
Клеванский Александр Харитонович	267
Клементис Владимир	170, 395
Клецанда Иржи	273
Клос Ченек (см. также Klos Ćećek)	269
Клямкин Игорь Моисеевич	17, 22
Кобежицкий Станислав (см. также Kobierzycki Stanisław)	87
Ковачич Лойзе (см. также Kovačić Lojze)	457, 459, 460
Кодайова Даниэла	156, 158, 159, 161
Козак Е.А.	325
Кокорев Василий Александрович	238
Коларж Петр	265, 412
Колевич Светозар (см. также Кољевић Светозар)	507
Колесник Дмитрий	431
Коллар Франтишек Адам	153
Коллар Ян (см. также Kollár Jan)	121, 126, 139, 150, 153, 154, 156, 171–179, 287
Колларова Эва	440
Коломинов Вячеслав Васильевич	119

Колчак Александр Васильевич	275, 403, 451
Коменский Ян Амос	264, 392
Конвицкий Тадеуш (см. также Konwicki Tadeusz)	74
Конквист Роберт	22
Конрад Джозеф	361
Конрад Дьёрдь (см. также Konrád György)	30
Константин Николаевич, великий князь	70
Копелев Лев Зиновьевич	12
Копта Йозеф	308
Корнис-Попе Марсель (см. также Cornis-Pope Marcel)	30, 31
Короленко Владимир Галактионович	157
Корсаков Дмитрий Александрович	129
Корф Модест Андреевич	124
Кос Янко (см. также Kos Janko)	198, 199, 212, 473
Костомаров Николай Иванович	122
Костюшко Тадеуш	61, 98
Котенова Катержина	412
Кохановский Ян Карол (см. также Kochanowski Jan Karol)	81
Кошик Матей	330
Крал Йозеф	391
Кралик Олдржих (см. также Králík Oldřich)	383, 384, 388
Краль Франьо	170
Крамарж Карел	146, 253, 256, 325
Кратохвил Йозеф	400
Кратохвил Иржи (см. также Kratochvil Jíří)	398–406, 409, 410
Кратохвил Ярослав	308
Крашевец Борут (см. также Kraševac Borut)	464, 465
Крашевски Юзеф Игнацы	374
Крейчи Карел (см. также Krejčí Karel)	31, 32
Крефт Братко (см. также Křeft Bratko)	453–455, 470, 475
Крижанич Юрий	331
Крчмеры Штефан (см. также Krčméry Štefan)	157
Кршелина Франтишек	258
Кршиак Матей	330
Крылов Иван Андреевич	131, 156
Куденхове-Калерги Рихард	25
Кузмани Карол	179
Кукучин Мартин (Бенцур Матей)	182

Кулаковский Платон Андреевич	158
Кульчицкий Людвик	74
Куля Витольд (см. также Kula Witold)	111
Кунгаева Эльза	551
Кундера Милан (см. также Kundera Milan)	30, 399, 400, 403, 480
Куприн Александр Иванович	77, 384
Куртене Бодуэн де	76
Курчаб-Редлич Крыстына (см. также Kurczab-Redlich Krystyna)	72
Куса Мария	169
Кусы Иван (см. также Kusy Ivan)	421
Кутшеба Станислав (см. также Kutrzeba Stanisław)	81
Кухажевский Ян (см. также Kucharzewski Jan)	70
Кюстин Астольф Луи Леонор, де	343, 344

Л

Лаврин Янко (см. также Lavrin Janko)	473, 475
Лавровский Петр Алексеевич	120
Лаговский Бронислав	73
Лажечников Иван Иванович	121
Лазари Анджей де	15, 74, 373
Лампрехт Миха	550
Ландор Эгош	262
Лаппо Ирина (см. также Lappo Irina)	373
Лаптева Людмила Павловна	159
Лебедева Ирина Николаевна	220
Левстик Владимир	198, 464, 465
Ледницкий Александр Робертович	354
Лейдерман Наум Лазаревич	533, 539
Лем Станислав	78
Лендвай Пал (см. также Lendvai Paul)	34
Ленин Владимир Ильич	16, 170, 291, 293, 300, 315, 319, 382, 406, 415, 440, 444, 455, 456, 517
Леонтьев Константин Николаевич	557
Лермонтов Михаил Юрьевич	131, 138, 156, 166, 189, 254, 280, 282, 380, 442, 499, 516
Лескинен Мария Войттовна	71
Лесков Николай Семенович	157
Лешек Белый, король польский	55
Лешек Чёрный, король польский	55

Лжедимитрий II	85, 88–90, 94, 95, 106
Либерман Александр Абрамович	94
Ливен Доминик	22
Линда Йозеф	130
Липатов Александр Владимирович (см. также Lipatow Aleksander Władimirowicz)	12, 19, 21, 22, 55, 57, 60, 61, 64, 337
Липовецкий Марк Наумович	533
Лихачев Дмитрий Сергеевич (см. также Lichačev Dmitrij Sergeevič)	7, 382, 383
Ломоносов Михаил Васильевич	173, 444
Лор Эрик	23
Лосский Николай Онуфриевич	328
Лотман Юрий Михайлович	7, 28, 75
Луговской Владимир Александрович	241
Лужный Ришард	74, 374
Лукач Дьёрдь	467
Лукач Эмил Болеслав	169
Лукашенко Александр Григорьевич	73
Луконин Михаил Кузьмич	434
Ляпунов Прокопий Петрович	93
М	
Маас Паул (см. также Maas Paul)	381
Маер-Барановска Уршула (см. также Majer-Baranowska Urszula)	373
Мазовецкий Конрад	55
Майерова Мария (см. также Majerová Marie)	256, 305, 309, 312–320
Майков Аполлон Николаевич	159, 468
Майский Иван Михайлович	362
МакГанн Джером	388
Маковицкий Душан (младший)	294
Маковицкий Душан Владимирович	329
Маковицкий Душан Петрович	169, 181–185, 191, 329
Макогоненко Георгий Пантелеймонович	381
Малевич Казимир Северинович	515
Малити-Франёва Эва	430
Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович	157
Мангейм Карел	316
Мандельштам Надежда Яковлевна	339

Мандельштам Осип Эмильевич	22, 80, 81, 339
Марек Иржи	398
Мария Павловна великая княжна	173, 174
Мария Терезия	153, 520
Маркс Карл	16
Марлинский Александр Александрович	121
Мартынов Леонид Николаевич	434
Мархоцкий Миколай Сцибор (см. также Marchocki Mikołaj)	85, 89, 90
Масальский Василий Михайлович	87, 91
Масарик Томаш Гарриг (см. также Masaryk Tomáš Garrigue)	35, 143, 151, 156, 158, 161, 162, 170, 180, 181, 249, 250, 256, 263, 272, 273, 275, 324, 326–328, 333, 392, 406, 408, 411
Маскевич Богуслав Казимеж (см. также Maskiewicz Bogusław Kazimierz)	88
Маскевич Самуэль (см. также Maskiewicz Samuel)	88
Масса Исаак	94
Матезиус Вилем	391
Матушка Александр (см. также Matuška Alexander)	157
Маха Карел Гинек	250
Махар Йозеф Сватоплук (см. также Machar Josef Svatopluk)	253–255
Махек Якуб (см. также Machek Jakub)	308
Мацкевич Станислав (см. также Mackiewicz Stanisław)	64
Машкова Алла Германовна	429
Маяковский Владимир Владимирович	255, 299, 339
Медек Рудольф (см. также Medek Rudolf)	254, 276, 308
Мейлах Борис Соломонович	381
Мельник Й.С.	321
Мельников Сергей Михайлович	451, 453
Менцингер Янез	198
Менэрт Элке	533
Мешко Старый, король польский	55
Мещерский Федор	87, 91
Микешин Михаил Осипович	334
Миклошич Фран	143
Микулова Марцела (см. также Mikulová Marcela)	190
Миладинов Дмитрий	233

Миладинов Константин	236, 237
Милашина Елена Валерьевна	544
Миллер Алексей Ильич	23
Миллер Орест Федорович	147
Милош Чеслав (см. также Miłosz Czesław)	30, 66, 79, 335–359
Милошевич Никола (см. также Милошевић Никола)	500, 502
Милутинович-Сарайлия Симо	227, 229, 230
Мильчина Вера Аркадьевна	343
Милюков Павел Николаевич	273
Минач Владимир (см. также Mináč Vladimír)	302, 422, 423
Минков Тодор	236
Михаил Романов, русский царь	87
Михайловский Никола	236
Михалков Никита	444
Михеев Геннадий Александрович	432
Михник Адам	73
Мицкевич Адам (см. также Mickiewicz Adam)	62, 66, 76, 82, 98, 100, 104, 174, 345, 369
Мнишек Марина	85
Мнячко Ладислав (см. также Mňačko Ladislav)	302, 303, 422
Модер Янко	465
Молотов Вячеслав Михайлович	291
Морозов Тимофей Саввич	241
Моура Жан-Марк (см. также Moura Jean-Marc)	193
Мочалова Виктория Валентиновна	84, 94
Мраз Андрей (см. также Mráz Andrej)	179
Мрожек Славомир (см. также Mrožek Sławomir)	78
Мстиславский Федор Иванович	86, 91, 93
Мукаржовский Ян (см. также Mukařovský Jan)	390–397
Муравьев-Виленский Михаил Николаевич	70, 71
Мурко Матия (см. также Murko Matija)	142–152, 198, 253

Н

Нагой Михаил Александрович	91
Надаши (Еге) Ладислав	182
Надеждин Николай Иванович	230
Назаренко Михаил Иосифович	375
Найрбрт Вацлав (см. также Najbrt Vaclav)	270
Наполеон I Бонапарт	97, 106, 154, 172, 173, 176, 229, 408

Науманн Фридрих (см. также Naumann Friedrich)	31, 33, 35
Наумов Владимир Павлович	21
Невяра Александра (см. также Niewiara Aleksandra)	59, 60, 373
Нежмах Бернард (см. также Nežmah Bernard)	551
Незвал Витезслав	256, 257, 390, 398, 400
Нейман Станислав Костка	43, 151, 255
Неквапил Вацлав (см. также Nekvapil Václav)	431, 432
Некрасов Виктор Платонович	75
Некрасов Николай Алексеевич	124, 159, 181
Неманичи, сербская династия	511
Неманя Стефан (в монашестве Симеон)	219, 220, 223–225
Немечек Ян	263, 264
Немоевский Станислав	86
Ненашева Зоя Сергеевна	272
Нерон	139, 517
Неруда Ян	325
Нестор	228
Нечаева Вера Степановна	382
Николай I	70, 105, 109, 227, 233–235, 355
Николай II	273, 409
Николай Николаевич (младший) великий князь	242, 270
Никон, патриарх	366, 407
Новак Анджей (см. также Nowak Andrzej)	111
Новак-Езёранский Ян	336
Новиков Николай Иванович	153
Новомеский Лацо (Ладислав)	170, 434
Новосильцев Николай Николаевич	70
Ноге Юлиус (см. также Noge Július)	425
Нойбауер Джон	30
О	
Обилич Милош	229
Огарев Николай Платонович	75, 114
Ожешко Элиза	78
Окали Даниэл	170
Оксман Юлиан Григорьевич	75
Окуджава Булат Шалвович	22, 65
Ольбрахт Иван	256
Опацкий Збигнев (см. также Opacki Zbigniew)	111

Опульская Лидия Дмитриевна	383, 384
Орловский Ян (см. также Orłowski Jan)	74, 361
Орсаг-Гвездослав Павол	158, 168
Орфелин Захарие	526
Осповат Александр Львович	343
Островский Александр Николаевич	123, 131, 137, 159
Отруба Моймир	385
Отгауэй Джим	416
Отто Ян	325
Оцвирк Антон (см. также Ocvirk Anton)	465

П

Павел I	343
Павич Милорад	525–531
Павлов Алексей Андреевич	129
Павлова Мария Юрьевна	76
Павлу Богдан (см. также Pavlů Bohdan)	181, 185–187, 191
Павский Герасим Петрович	122
Пажо Даниэль Анри (см. также Pageaux Daniel Henri)	28
Пазньевский Влодзимеж (см. также Paźniewski Włodzimierz)	73
Пайпс Ричард	22
Паларик Ян (см. также Palárik Ján)	444
Палаузов Спиридон	234, 236
Палацкий Франтишек (см. также Palacký František)	174, 250, 322
Панасюк О.	321
Пановова Эма (см. также Panovová Ema)	158
Паскаль Пьер	366
Пастернак Борис Леонидович	22, 80, 299, 351, 354, 442
Пастрнек Франтишек	147
Патейдл Йозеф (см. также Patejdl Josef)	275
Паточка Ян	327
Паттисон Анастасия Сергеевна	262
Пахор Борут	551
Пацаев Виктор Иванович	434, 440
Пеняс Иржи	413
Первольф Йозеф (см. также Perwolf Josef)	251
Перковская Жанна Вадимировна	450
Пероутка Фердинанд	414, 415
Пётр I	32, 36, 60, 62, 101, 116, 145, 214, 233

Петражицкий Леон Иосифович	354
Петрович Велько	513
Петрович Растко	517
Пешаков Георгий	233, 234
Пешич Миодраг	332, 333
Пиаф Эдит	431
Пивоваров Юрий Сергеевич	16, 19, 22
Пиксанов Николай Кирьякович	381
Пильняк Борис Андреевич	81
Пирьевец Душан (см. также Pirjevec Dušan)	465–471, 474–479
Писарев Дмитрий Иванович	457
Письменный Михаил Андреевич	430
Пицек Вацлав Яромир	123
Пиша Антонин Матей (см. также Píša Antonín Matěj)	305
Пишчевич Симеон	499, 519
Платонов Андрей Платонович	22, 75
Плещеев Лев Афанасьевич	91
Плотников Николай Сергеевич	21
По Эдгар Алан	361
Погодин Михаил Петрович	122, 123, 127, 129, 130, 132, 139, 178, 230, 236
Погоновска Ева (Эва) (см. также Pogonowska Ewa)	71, 373
Подгорник Фран	198
Подгужец Збигнев (см. также Podgórzec Zbigniew)	360
Полак Роман	445
Полевой Борис Николаевич	414
Поливка Иржи (Юрий Иванович) (см. также Polívka Jiří)	7, 142–146, 148–152, 325
Политковская Анна Степановна (см. также Politkovska Anna)	416, 514, 541–552
Полляк Северин	80
Польянец Марьян	465
Полякова Ольга (см. также Poljakowa Olga)	112
Полян Павел Маркович	21
Помяновский Ежи	65, 81
Поничан Ян	170
Попов Нил Александрович	185, 230, 237, 519
Попович Благое	333
Попович Васил	236, 237

Попович Миленко	521
Поспишил Иво (см. также Pospíšil Ivo)	118, 151
Принцип Гаврило	511
Приятель Иван	465
Протопопов Александр Дмитриевич	273
Прохазкова Петра (см. также Procházková Petra)	415, 416
Прудил Франтишек (см. также Prudil František)	271
Прус Болеслав	63, 78, 79
Пруст Марсель	80
Прыжов Иван	239
Пуйманова Мария	253, 256, 398
Пулко Радован (см. также Pulko Radovan)	453
Пуркине Ян Эвангелиста	122
Путин Владимир Владимирович	542
Путна Мартин Ц. (см. также Putna Martin C.)	260, 413
Пушкин Александр Сергеевич	7, 43, 66, 98, 104, 119, 121, 131, 139, 151, 156, 159, 166, 181, 189, 241, 242, 272, 279, 280, 282, 285, 339, 344, 353–355, 381, 414, 441, 501, 525–527
Пшебинда Гжегож	69, 374
Пшибыльский Рышард	74, 80
Пыпин Александр Николаевич	120, 124, 143
Р	
Радлов Эрнест	326
Разус Мартин	169
Райсел Владимир (см. также Reisel Vladimír)	433–437, 439, 440
Ракич Милан	511
Раковский Георгий	233
Рамбоусек Вацлав (см. также Rambousek Václav)	417, 418
Ранк Йосиф	322, 323
Распутин Григорий Ефграфович	273
Рейнгардт Фриц	187
Рейтблат Абрам Ильич	98
Ремизов Алексей Михайлович	457
Репин Илья Ефимович	515, 516
Репина Лорина Петровна	12
Ржезач Вацлав	398
Риббентроп Иоахим фон	291
Ризнич Амалия	526, 527

Рильский Неофит	233
Рихтерек Олдржих (см. также Richterek Oldřich)	261, 263
Робинсон Андрей Николаевич	7
Рожанц Марьян	475
Розанов Василий Васильевич	321, 328
Русо Жан-Жак	9
Рыжова Мая Ильинична	200
Рыхлик Ян (см. также Rychlík Jan)	144
Рышавы Мартин (см. также Ryšavý Martin)	38, 39, 43, 74, 80, 418, 419
Рязановский Николай Валентинович (см. также Riasanovsky Nicholas)	101
С	
Савва, святитель, архиепископ сербский	218–222, 224, 225
Саид Эдвард Вади (см. также Said Edward Wadie)	193–196, 203, 211, 217
Салтыков Иван Михайлович	86, 91
Салтыков-Морозов Михаил Глебович	86, 91
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович	19, 77, 124, 157, 159
Самойлов Давид (Кауфман Давид Самуилович)	69, 70, 285
Самойлова Татьяна Евгеньевна	481
Сапега Ян Пётр (см. также Sapię Jan Piotr)	85, 89, 92, 95
Сапронов Пётр Александрович	57
Сартр Жан-Поль	467
Сафронов Герман Иванович	460
Светлов Михаил Аркадьевич	434
Святополк, великий князь киевский	54, 55
Севастьянов Виталий Иванович	438
Сейферт Ярослав	256, 387
Селищев Афанасий Матвеевич	128, 134, 136
Семчук Антони	74
Семчук Малгожата (см. также Semczuk Małgorzata)	79
Сенкевич Генрик	63
Сенковский Осип Иванович	102
Сераковский Зыгмунт (Сераковский Сигизмунд Игнатъевич) ...	340
Серапионова Елена Павловна (см. также Serapionová Jelena)	253, 262, 267, 272
Сигизмунд III, польский король (см. также Zygmunt III)	89, 94

Сикорский Владислав	362
Сирацкий Андрей	170
Сказа Александр	465, 470
Скопин-Шуйский Михаил Васильевич	86
Скорвид Сергей Сергеевич	167
Скршечек Рудольф (см. также Skřeček Rudolf)	384
Славейков Петко Рачев	233, 239, 240, 244
Сладек Ондřej (см. также Sládek Ondřej)	315, 318
Сланский Рудольф	258
Сливовская Виктория	74
Сливовский Рене (см. также Śliwowski René)	74, 75
Слободкин Павел Яковлевич	431
Слободник Влодзимеж	80
Словацкий Юлиуш	76, 373
Сметанай Ян	182
Смолянинова Марина Геннадьевна	245
Снегирев Иван Михайлович	122
Снегирев Михаил Матвеевич	129
Сной Йоже (см. также Snoj Jože)	459
Собеский Якуб (см. также Sobieski Jakub)	87, 90
Созина Юлия Анатольевна	454, 460
Сокол Кирилл Гелиевич	63
Соколов Виктор Владимирович	339, 343, 345, 346
Сократ	153, 315
Солженицын Александр Исаевич	79, 81, 362, 364, 453
Соловьев Владимир Сергеевич	342
Соловьев Сергей Михайлович	54
Солоухин Владимир Алексеевич	434
Соссюр Фердинанд де	391
Соуб Ноэ В. (см. также Sobe Noah W.)	201, 216
Спаховский Анатолий	451
Спевак Ян	80
Сперанский Михаил Несторович	120, 142
Спрушанский Светозар	445, 447
Срезневский Измаил Иванович	118–122, 133, 173, 178, 230
Сршен Янко	164
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) ...	20, 21, 258, 294, 336, 375, 404, 405

Станек Иван Богдан	121
Станишев Константин Наков	236
Старинкевич Сократ	63
Старосельская Ксения Яковлевна	336
Стахо Ян (см. также Stacho Ján)	432
Сташиц Станислав	61, 63
Стендаль (Бейль Мари-Анри)	370
Степун Федор Августович	328
Стефан Баторий, польский король	57, 338
Стоянов Захарий	244
Суворов Александр Васильевич	70, 230
Суханек Влидимир (см. также Suchánek Vladimír)	249
Суханек Люциан	74
Сухарский Тадеуш (см. также Sucharski Tadeusz)	373

Т

Таборский Франтишек Ф. (см. также Taborský František F.) ...	333, 334
Тазбир Януш	78
Танты Мечислав (см. также Tanty Mieczysław)	111
Таппе Август Вильгельмович	175
Тассо Торквато	242
Татарка Доминик	422, 423
Татаров Борис	275
Теер Отакар	393
Тейге Карел	256, 258
Теохаров Георги	237
Термен Лев Сергеевич	39
Тисо Йозеф	448
Титов Андрей Александрович	322
Тихонов Николай Семенович	241
Тихонравов Николай Саввич	143
Товянский Анджей	104
Толстой Лев Николаевич (см. также Tołstoj Lew)	74, 75, 79, 80, 82, 124, 156, 157, 159, 160, 180–185, 191, 250, 294, 329, 342, 354, 364, 365, 454, 456, 457, 465, 480–497
Толстой Никита Ильич	7
Томашевский Борис Викторович	380, 381
Томашек Йозеф	174
Топол Яхим	43, 44

Топоров Владимир Николаевич	12
Тотлебен Эдуард	244
Тренин Дмитрий Витальевич	22
Троцкий (Бронштейн) Лев	291, 294, 314, 406, 407
Трубецкая Екатерина Ивановна	176, 177
Трубецкой Юрий Никитич	91
Тума Лев Фердинанд (см. также Tuma Lev Ferdinand)	331
Тургенев Иван Сергеевич	74, 124, 131, 156, 157, 159, 160, 182, 183, 236, 370, 382, 457
Тютчев Федор Иванович	121, 181, 238, 285
Тяжкий Ладислав (см. также Ťažký Ladislav)	422, 423, 425, 426, 428
У	
Уваров Сергей Семенович	104, 105, 119, 120
Уварова Прасковья Сергеевна	147, 330
Удалов Сергей Вальеревич	104
Уейский Корнель	76
Урбан Мило	169
Урбанчич Иво (см. также Urbančič Ivo)	468, 471, 475, 476
Успенский Глеб Иванович	156
Успенский Пётр Демьянович	384
Устрялов Николай Герасимович	88
Ф	
Фабри Рудольф (см. также Fabry Rudolf)	434–440
Фабрио Неделько	481–497
Фадеев Александр Александрович	414
Файнштейн Михаил Шмилевич	119
Фатеева Наталья Александровна	483, 487, 489, 491, 492
Фатер Иоганн Северин	173
Феодосий Хиландарец	219–221, 223, 225
Феранцова Соня	444
Фет Афанасий Афанасьевич	285
Фиалова Зузана	432
Филаретов Савва	236
Филипчикова Раиса Лаврентьевна	308
Филоненко София Олеговна	374
Фирсов Евгений Федорович	321, 324, 326, 332
Фиут Александр	349, 374
Фишер Манфред	533

Флобер Густав	361, 476
Флоренский Павел Александрович	328
Флоринский Тимофей Дмитриевич	586
Фок фон Максим Яковлевич	109
Фоменкова Валентина Михайловна	112
Фоулер Роджер (см. также Fowler Roger)	543, 544
Франк Семен Людвигович	328
Франц Фердинанд	325
Францев Владимир Андреевич	127–129, 131, 133, 139
Франц-Иосиф, император	269
Фрейд Зигмунд	406
Фрейдзон Владимир Израилевич	332
Фрич Йозеф Вацлав	250
Фролов Сильвия	340, 346
Фроянов Игорь Яковлевич	54
Фуко Мишель	31, 193,
Фурсов Андрей Ильич	16, 19, 22
Фучик Юлиус (см. также Fučík Julius)	256, 257, 305, 309, 315–320

Х

Хайдеггер Мартин	467
Хаустов Владимир Николаевич	21
Хватик Кветослав (см. также Chvatík Květoslav)	390
Хворостинин Иван Андреевич	91
Хворостинин Юрий Дмитриевич	91
Херберт Збигнев	378
Херлинг-Грудзиньский Густав (см. также Herling-Grudziński Gustaw)	360–362, 364–366, 369–371
Хинг Андрей	460–462
Хини Шеймас Джастин	336
Хлебников Велемир (Виктор Владимирович)	80, 434
Хобсбаум Эрик	192
Хомяков Алексей Степанович	129, 132, 156, 230, 235, 236,
Хорват Михал (см. также Chorváth Michal)	165
Хорев Виктор Александрович	55, 72, 374
Хоскинг Джеффри	22
Хостник Даворин	198, 199
Хрибар Иван	211
Хрибар Споменка	467, 476

Хульме Петер (см. также Hulme Peter) 195, 196, 200
Хэн Юзеф 79

Ц

Цар Марко 518
Цветаева Марина Ивановна 22, 80, 434, 442
Цей Цирил 465
Целестин Фран 198
Цешковский Аугуст 100
Цицерон Марк Туллий 526
Црнянская Видосава (Ружич) 518
Црнянский Милош (см. также Црњански Милош) 498, 499,
501–509, 511–514, 516–519, 521–524
Цудерман Винко 465
Цулка Эдвард 269
Цыбенко Елена Захаровна 12, 66

Ч

Чапевский Эдвард 374
Чапек Карел 257, 273, 307
Чапский Юзеф (см. также Czapski Józef) 75, 76
Чарторыский Адам Ежи 61
Челаковский Франтишек Ладислав 119, 120, 121, 123, 250, 253
Челаковский Яромир 325
Чеп Ян 412
Чепан Оскар (см. также Čepan Oskár) 189
Червенка Мирослав (см. также Červenka Miroslav) 383, 385, 388
Черникова Нагида 176, 177
Черногурский Ян 265
Чернушакова Барбора 429, 433
Черны Вацлав 413
Чертков Владимир Григорьевич 184
Черткова Елена Леонидовна 306
Черчилль Уинстон 406
Чех Сватошук 182
Чехов Антон Павлович 74, 75, 80, 156, 157, 321, 370,
371, 419, 444–448, 457
Чибей Борис 542, 543
Чингисхан 73
Чинтулов Добри 235

Ш

- Шайтинац Углеша 227, 230
Шаламов Варлам Тихонович 81, 362, 364
Шали Северин 465
Шапир Максим Ильич 386
Шауер Хьюберт Гордон 35
Шаф Адам 372
Шафарик Павел Йозеф 19, 120, 122, 127, 130, 139, 140, 322
Шахматов Алексей Александрович 147
Шацкий Ежи 306, 307
Швантнер Франтишек (см. также Švantner František) 297, 298,
300, 304
Шварц Евгений Львович 75
Шварценберг Карел 265
Шведова Наталия Васильевна 169, 328, 434
Шевцова Лилия Фёдоровна 17
Шевченко Тарас 237
Шевырев Степан Петрович 127, 129–132, 134, 139, 140, 229, 236
Шеин Михаил Борисович 86, 89, 90
Шекспир Уильям 448
Шереметьев Петр Никитич 93
Шестов Лев Исаакович 328, 342, 354, 457
Шиллинбург Петер 388
Широкова Людмила Федоровна 432
Шишко Тадеуш 74
Шишков Александр Семенович 118–120
Шкворецкий Йозеф 399
Шкловский Виктор Борисович 362
Шкультеты Йозеф (см. также Škultéty Jozef) 157, 169, 179
Шлегель Фридрих 202
Шнитке Альфред 22
Шолохов Михаил Александрович 414
Шолтесова Елена 164
Шостакович Дмитрий Дмитриевич 22
Шпидлик Томаш о. (см. также Špidlík Tomáš) 328
Шробар Вавро (см. также Šrobár Vavro) 161, 180, 181–184, 190
Штевчек Павол (см. также Števček Pavol) 437, 439
Штевчек Ян (см. также Števček Ján) 423

Штетина Яромир (см. также Štětina Jaromír)	414, 415
Штефаник Милан Растислав	269, 273
Штилянович Стефан	501
Штур Людовит	33, 122, 154, 155, 287, 322, 328, 329, 332
Штяглавски Давид (см. также Šťáhlavský David)	413, 414, 417
Шульгина Нина Михайловна	430
Э	
Эйдельман Натан Яковлевич	75
Эйхенбаум Борис Михайлович	380
Эко Умберто	472
Эренбург Илья Григорьевич	77, 80
Эренталь Алоиз фон	149
Эрьявец Фран	198
Эткинд Александр	379
Ю	
Юмашев Георгий Степанович	431, 432
Юнгз Тим	195
Юнгман Йозеф	120–122
Юнгманн Милан (см. также Jungmann Milan)	409
Юрчич Йосип	198
Я	
Ягич Ватрослав (Игнатий Викентьевич) (см. также Jagić Vatroslav)	143, 144, 147, 150
Языков Дмитрий Иванович	178
Языков Николай Михайлович	230
Якобсон Роман Осипович (см. также Jakobson Roman Osipovič)	7, 390–397
Яковенко Игорь Григорьевич	17, 22
Якопин Гитица	465
Якубец Мариан	74
Ян из Киян	59
Яник Павол	441
Янион Мария (см. также Janion Maria)	70
Янов Александр Львович	17, 104
Янов Василий Осипович	91
Янчар Драго (см. также Jančar Drago)	460, 462
Янша Янез	551

Ярослав Мудрый 54, 56
Яшик Рудольф 423

Д

Даничић Ђуро (см. также Даничич Джуро) 219
Доментијан (см. также Доментиан) 219, 226
Дукај Јацек (см. также Дукай Яцек) 374

Ј

Јаструн Томаш

К

Кољевић Светозар (см. также Колевич Светозар) 505, 507

М

Милошевић Никола (см. также Милошевич Никола) 500, 502

П

Пашченко Јевгениј 503
Поповић Радован 505

Ц

Црњански Милош (см. также Црнянский Милош) 499–501,
503, 505, 506, 508

Џ

Џаџић Петар (см. также Дžadжич Петар) 506

А

Aškerc Anton (см. также Ашкерц Антон) 199–204, 206, 207,
212, 214–216
Astafjev Viktor (см. также Астафьев Виктор Петрович) 536
Augusta Jaroslav (см. также Аугуста Ярослав) 163

В

Babor Josef (см. также Бабор Йозеф) 420
Bachórz Józef 76
Baczkwi Claude (см. также Баквис Клод) 360
Baczko Bronisław (см. также Бачко Бронислав) 110
Baġar Andrej (см. также Багар Андрей) 445
Vaine Campbell Mary (см. также Бэйн Кэмпбелл Мэри) 195, 196
Bakoš Mikuláš (см. также Бакош Микулаш) 381
Balabánová Christina 30

Banković Jelena S.	506, 509
Barfoot Cedric Charles (см. также Барфут Седрик Чарльз)	41
Bartmiński Jerzy (см. также Бартминьский Ежи)	373
Bartol Vladimir (см. также Бартол Владимир)	450, 452
Baskar Bojan (см. также Баскар Боян)	201
Batowski Henryk	104
Bazyłow Ludwik	99
Bečka Jiří	143
Beran Zdeněk	268
Beránek Jindřich (см. также Беранек Индржих)	413
Bereś Stanisław	78, 79
Berting Jan	41
Bhabha Homi K.	31
Białokozowicz Bazyli (см. также Бялокозович Базыли)	82
Błoński Jan	79
Bloy Leon (см. также Блуа Леон)	260
Bohun Tomasz	89, 90
Bojalski Józef	111
Bonazza Sergio	144, 147
Borovička Lukáš (см. также Боровичка Лукаш)	315
Boršnik Marja (см. также Боршник Мария)	198, 200, 214, 215
Brandys Kazimierz (см. также Брандыс Казимеж)	79
Brtáň Rudo	172
Brückner Anton (см. также Брюкнер Александр)	77, 81
Brůna Otakar	271
Budzilo Jozef (см. также Будзило Юзеф)	84

С

Carr Helen (см. также Карр Элен)	192, 193, 201
Cawanagh Clare (см. также Каванаг Клер)	351
Chandler David	548
Chorváth Michal (см. также Хорват Михал)	165
Chrzaszczewski Antoni	88
Chvatík Květoslav (см. также Хватик Кветослав)	390, 395
Cornis-Pope Marcel (см. также Корнис-Попе Марсель)	31
Culka Edvard	269
Czapski Józef (см. также Чапский Юзеф)	71, 76
Czubek Jan	94

Č

Čepan Oskár (см. также Чепан Оскар) 189

Červenka Miroslav (см. также Червенка Мирослав) 386, 388

D

Dobrovoljc France (см. также Добровольц Франце) 200

Dolanský Julius (см. также Доланский Юлиус) 128, 129

Dostojevski Mihajlovič Fjodor (см. также Достоевский Федор Михайлович) 464, 466, 469, 473

Doubek Vratislav (см. также Доубек Вратислав) 37

Drawicz Andrzej (см. также Дравич Анджей) 75, 83

Dyserinck Hugo (см. также Дисеринк Хуго) 28, 532

F

Fabry Rudolf (см. также Фабри Рудольф) 438, 439

Fejtő François 34

Fic Vaclav Miroslav 267

Florya Boris 94

Fowler Roger (см. также Фуллер Роджер) 543, 544

Fučík Julius (см. также Фучик Юлиус) 309, 315, 318

G

Gacek Mikuláš (см. также Гацек Микулаш) 162, 269, 270

Gadulski Szymon 111

Galtung Johan 543

Gaži Martin 249

Gbúr Ján (см. также Гбур Ян) 181, 188

Gellner František 387

Giedroyc Jerzy (см. также Гедройц Ежи) 83

Glanc Tomáš (см. также Гланц Томаш) 315

Gnisci Armando 31

Godra Michal (см. также Годра Михал) 171

Gombitová Marika (см. также Гомбитова Марика (Мария)) 432

Gombrowicz Witold (см. также Гомбрович Витольд) 78

Gould Rebecca (см. также Гоулд Ребекка) 542, 549

Graclík Miroslav (см. также Грацлик Мирослав) 432

Gregor Tajovský Jozef (см. также Грегор-Тайовский Йозеф) 289,
291, 298

Gruszecki Stefan 94

Guillén Claudio (см. также Гиллен Клаудио) 27

Н

- Halecki Oskar (см. также Галецки Оскар) 33
- Harvey David 550, 551
- Havlíček Borovský Karel (см. также Гавличек-Боровский Карел) 49, 128, 129, 139
- Havránek Bohuslav (см. также Гавранек Богуслав) 394
- Havránková Marie 394
- Havránková Zdeňka (см. также Гавранкова Зденька) 394
- Hen Józef 80
- Herberstein Žiga (см. также Герберштейн Сигизмунд) 198
- Herling-Grudziński Gustaw (см. также Херлинг-Грудзиньский Густав) 360, 365, 366
- Heruc Krunislav (см. также Геруц Крунислав) 332
- Hirschberg Aleksander 84, 91
- Hlaváček Karel (см. также Главачек Карел) 387
- Holeček Josef (см. также Голечек Йозеф) 253
- Holmstrom Nancy 550
- Hradilková Jana 415
- Hribar Spomenka 467, 471, 476
- Hrušovský Ján (см. также Грушовский Ян) 164–166
- Huba Martin (см. также Губа Мартин) 447
- Hulme Peter (см. также Хульме Петер) 195, 196, 200
- Hůlová Petra (см. также Гулова Петра) 47, 418
- Hurban Jozef Miloslav (см. также Гурбан Йозеф Милослав) ... 171, 172
- Hurban-Vajanský Svetozár (см. также Гурбан-Ваянский Светозар) 159, 160

Ј

- Jagić Vatroslav (см. также Ягич Ватрослав) 143
- Jakobson Roman Osipovič (см. также Якобсон Роман Осипович) 390–392, 394, 395
- Jančar Drago (см. также Янчар Драго) 460
- Janion Maria (см. также Янион Мария) 70, 72, 104, 373, 378
- Jensterle-Doležalová Alenka 149
- Jesenský Janko (см. также Есенский Янко) 163, 165, 166, 190, 281, 292, 294, 296, 441
- Jilemnický Peter (см. также Илемницкий Петер) 301
- Jirásek Josef (см. также Ирасек Йозеф) 263, 270, 271
- Jókai Mór (см. также Йокаи Мор) 447

Jungmann Milan (см. также Юнгманн Милан)	410
Jurman Oldřich	271

К

Kamieński Henryk (см. также Каменьский Генрик)	110–115
Kaplický Václav (см. также Каплицкий Вацлав)	272, 273, 276, 277
Kazanecki Tadeusz	111
Keřiński Andrzej (см. также Кемпиньский Анджей)	56, 59, 379
Kermauner Taras	215
Kišlak Elżbieta	372
Kiss Szemán Robert	175
Klapcová Veronika	262
Klarner Zofia	103
Klípa Bohumil	267
Klos Čeněk (см. также Клос Ченек)	269
Kmuníček Vilém	310
Kobierzycki Stanisław (см. также Кобежицкий Станислав)	87
Kochanowski Jan Karol (см. также Кохановский Ян Карол)	82
Kollár Jan (см. также Коллар Ян)	172–175, 179
Konrád György (см. также Конрад Дьёрдь)	30
Konwicky Tadeusz (см. также Конвицкий Тадеуш)	74
Kos Janko (см. также Кос Янко)	198, 199, 201, 212, 473
Kovačič Lojze (см. также Ковачич Лойзе)	457, 458
Králík Oldřich (см. также Кралик Олдржих)	383
Kratochvíl Jíří (см. также Кратохвил Иржи)	400, 401
Kraus Cyril	175
Krčméry Štefan (см. также Крчмеры Штефан)	157
Kreft Bratko (см. также Крефт Братко)	453, 454
Krejčí Karel (см. также Крейчи Карел)	31, 145
Křen Jan	35
Krysinski Wladimir	202
Kubala Marek	84
Kučera Martin	272
Kučera Petr	145
Kucharzewski Jan (см. также Кухажевский Ян)	70
Kudělka Milan	143
Kuk Leszek	103
Kula Witold (см. также Куля Витольд)	111
Kundera Milan (см. также Кундера Милан)	30

Kurczab-Redlich Krystyna (см. также Курчаб-Редлих Крыстына)	73
Kurczak Justyna	104
Kurz Jaroslav	143
Kuś Barbara	76, 77
Kusý Ivan (см. также Кусы Иван)	421
Kutrzeba Stanisław (см. также Кутшеба Станислав)	81

L

Lappo Irina (см. также Лаппо Ирина)	373
Lavrin Janko (см. также Лаврин Янко)	473
Legátová Květa	46
Lendvai Paul (см. также Лендвай Пал)	34
Lešnerová Šárka	48
Lichačev Dmitrij Sergeevič (см. также Лихачев Дмитрий Сергеевич)	383
Lipatow Aleksander Władimirowicz (см. также Липатов Александр Владимирович)	52, 65

M

Maas Paul (см. также Маас Паул)	381
Machar Josef Svatopluk (см. также Махар Йозеф Сватоплук)	254
Machek Jakub (см. также Махек Якуб)	308
Maciszewski Jarema	94, 95
Mackiewicz Stanisław (см. также Мацкевич Станислав)	64
Macura Vladimír	175
Majer-Baranowska Urszula (см. также Маер-Барановска Уршула)	373
Majerová Marie (см. также Майерова Мария)	309, 312
Malinowski Mikołaj	99
Marchocki Mikołaj (см. также Мархоцкий Миколай Сцибор) ...	84, 89
Masaryk Tomáš Garrigue (см. также Масарик Томаш Гарриг)	392
Maskiewicz Bogusław Kazimierz (см. также Маскевич Богуслав Казимеж)	88
Maskiewicz Samuel (см. также Маскевич Самуэль)	88, 95
Matuška Alexander (см. также Матушка Александр)	157
Matyušová Zdeňka	536
Medek Rudolf (см. также Медек Рудольф)	276
Mickiewicz Adam (см. также Мицкевич Адам)	104
Mikulová Marcela (см. также Микулова Марцела)	190

Miłosz Czesław (см. также Милош Чеслав)	30, 347, 349, 351, 354, 357, 358
Mináč Vladimír (см. также Минач Владимир)	302
Miner Early	27
Mňačko Ladislav (см. также Мнячко Ладислав)	303
Moura Jean-Marc (см. также Моура Жан-Марк)	193
Mráz Andrej (см. также Мраз Андрей)	179
Mrožek Sławomir (см. также Мрожек Славомир)	79
Mukařovský Jan (см. также Мукарьковский Ян)	390–393, 395
Murko Matija (Mathias, Matyáš) (см. также Мурко Матия)	142–149, 151

N

Najbrt Vaclav (см. также Найрбрт Вацлав)	267, 271
Naumann Friedrich (см. также Науманн Фридрих)	33
Nekvapil Václav (см. также Неквапил Вацлав)	432
Nežmah Bernard (см. также Нежмах Бернард)	551
Niemayer Christian	177
Niewiara Aleksandra (см. также Невяра Александра)	59, 60, 373
Noge Július (см. также Ноге Юлиус)	425
Novák Bohumil	393
Nowak Andrzej (см. также Новак Анджей)	111, 113, 114
Nývltová Dana	309

O

Ocvirk Anton (см. также Оцвирк Антон)	473
Oracki Zbigniew (см. также Опацкий Збигнев)	111, 112
Orłowski Jan (см. также Орловский Ян)	361

P

Pageaux Daniel Henri (см. также Пажо Даниэль Анри)	28
Palacký František (см. также Палацкий Франтишек)	174, 175
Palárik Ján (см. также Паларик Ян)	444
Panovová Ema (см. также Пановова Эма)	158
Patejdl Josef (см. также Патейдл Йозеф)	276
Pavlásková Eva	142
Pavlu Bohdan (см. также Павлу Богдан)	186
Raźniewski Włodzimierz (см. также Пазьневский Влодзимеж)	73
Perwolf Josef (см. также Первольф Йозеф)	251
Petrycy Sebastian z Pilzna	84

Piasecki Paweł	88
Pichlík Karel	267
Pihan-Kijasowa Alicja	84
Pirjevec Dušan (см. также Пирьевец Душан)	467, 469, 471, 476, 478
Pírková-Jakobsonová Svatava	394
Píša Antonín Matěj (см. также Пиша Антонин Матей)	305
Podgórzec Zbigniew (см. также Подгужец Збигнев)	360
Podmaková Dagmar	445, 446
Pogonowska Ewa (см. также Погоновска Ева (Эва))	71, 373
Politkovska Anna (см. также Политковская Анна Степановна)	541, 542, 544
Polívka Jiří (см. также Поливка Иржи)	142–144, 151
Poljakowa Olga (см. также Полякова Ольга)	112
Pospíšil Ivo (см. также Поспишил Иво)	118, 151
Procházková Petra (см. также Прохазкова Петра)	416
Prudil František (см. также Прудил Франтишек)	271
Przebinda Grzegorz	69
Pulko Radovan (см. также Пулко Радован)	453
Putna Martin C. (см. также Путна Мартин Ц.)	260
R	
Rambousek Václav (см. также Рамбоусек Вацлав)	417
Reisel Vladimír (см. также Райсел Владимир)	435, 437
Reiss Piotr	84
Riasanovsky Nicholas (см. также Рязановский Николай Валентинович)	101
Richterek Oldřich (см. также Рихтерек Олдржих)	261
Ruge Mari	543
Rychlík Jan (см. также Рыхлик Ян)	144
Ryšavý Martin (см. также Рышавы Мартин)	418
Rytter Grażyna	84
S	
Said Edward Wadie (см. также Саид Эдвард Вади)	194–196, 202–204
Sajkowski Alojzy	88
Saktorová Helena	171
Sapihę Jan Piotr (см. также Сапега Ян Пётр)	84
Schücking Levin Ludwig	381
Selicki Franciszek (см. также Селицкий Франтишек)	56
Semczuk Małgorzata (см. также Семчук Малгожата)	79

Serapionová Jelena (см. также Серапионова Елена Павловна)	269, 270
Sinopoli Franca	29
Skřeček Rudolf (см. также Скршечек Рудольф)	384
Sládek Ondřej (см. также Сладек Ондржей)	315
Smith Richard	550
Snoj Jože (см. также Сной Йоже)	460
Sobe Noah W. (см. также Соуб Ноэ В.)	199, 201, 216
Sobieski Jakub (см. также Собеский Якуб)	86, 87, 91, 94, 95
Sobieski Waclaw	86, 87, 91, 94, 95
Sontag Susan (см. также Зонтаг Сьюзен)	472
Stacho Ján (см. также Стахо Ян)	433
Staněk Ivan Bohdan (Jan Baptista)	121
Suchánek Vladimír (см. также Суханек Влидимир)	249
Sucharski Tadeusz (см. также Сухарский Тадеуш)	373
Szenicensis Paulus	176
Š	
Šedivý Ivan	267
Šembera Alois Vojtěch	174
Škarvan Albert	183, 184
Škultéty Jozef (см. также Шкультеты Йожеф)	157
Šmatlák Stanislav	184, 184
Špidlík Tomáš (см. также Шпидлик Томаш о.)	328
Šrobár Vavro (см. также Шробар Вавро)	181, 182, 190
Štáhlavský David (см. также Штяглавски Давид)	413, 414
Štefko Vladimír	446
Štětina Jaromír (см. также Штетина Яромир)	414, 415
Števček Ján (см. также Штевчек Ян)	423
Števček Pavol (см. также Штевчек Павол)	437, 439
Švantner František (см. также Швантнер Франтишек)	300
Ś	
Ścieżor Tomasz	84
Śliwowski René (см. также Сливовский Рене)	75
T	
Taborský František F. (см. также Таборский Франтишек Ф.)	334
Tajovský Jozef Gregor — см. Gregor Tajovský Jozef	
Tanty Mieczysław (см. также Танты Мечислав)	111

Ťažký Ladislav (см. также Тяжкий Ладислав)	424, 426, 427
Tołstoj Lew (см. также Толстой Лев Николаевич)	82
Toman Jindřich	394
Tuma Lev Ferdinand (см. также Тума Лев Фердинанд)	332
Tyszkowski Kazimierz	94

U

Uličianska Zuzana	445
Urbančič Ivo (см. также Урбанчич Иво)	468, 471, 476

V

Vácha Dalibor	267
Válek Miroslav (см. также Валек Мирослав)	433, 436
Vaněk Otakar (см. также Ванек Отакар)	271, 275
Viewegh Michal (см. также Вивег Михал)	45
Villain-Gandossi Christiane	41
Virk Tomo (см. также Вирк Томо)	450, 465, 466, 470, 472, 474, 475, 477, 478
Vlčková Věra	270, 271
Vodička Felix (см. также Водичка Феликс)	382
Vondráček František (см. также Вондрачек Франтишек)	331

W

Wagner Jan	142
Walicki Andrzej	108
Wandycz Piotr Stefan (см. также Вандыс Петр Стефан)	33
Wasilewski Witold	82
Wat Aleksander (см. также Ват Александр)	82
Weiss Jan (см. также Вайсс (Вейс) Ян)	310, 311
Wellek René (см. также Велек Рене)	393
Wieczorkiewicz Paweł (см. также Вечоркевич Павел)	73
Winkler Tomáš	184
Witkowski Georg (см. также Витковский Георг)	381
Wollman Slavomír	142
Wołoszyński Ryszard	99

Z

Zabloudilová Jitka	267
Zagajewski Adam (см. также Загаевский Адам)	69, 81
Zakrzewski Bogdan	111
Zambor Ján (см. также Замбор Ян)	442

Zawada Andrzej (см. также Завада Анджей)	349, 354
Zbašnik Fran (см. также Збашник Фран)	201
Zdziarski Stanisław	81
Zdziechowski Marian (см. также Здзеховский Мариан)	82
Zelenka Miloš	27, 30, 143
Zelenková Anna	28, 33, 143, 144, 149
Zygmunt III (см. также Сигизмунд III)	84
Ž	
Żeromski Stefan (см. также Жеромский Стефан)	360
Żółkiewski Stanisław (см. также Жулкевский (Жолкевский) Станислав)	84, 86, 95
Żółkiewski Stefan (см. также Жулкевский Стефан)	78

Сведения об авторах

Айдачич Деян (Киев, Белград), д-р., лектор-доц. Института филологии Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Амелина Анна Вячеславовна (Москва), м.н.с. Института славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН).

Бртанёва Эрика (Братислава), д-р, проф., зам. директора Института словацкой литературы Академии наук Словацкой Республики.

Будагова Людмила Норайровна (Москва), д.ф.н., зав. Отделом истории славянских литератур ИСл РАН.

Вичар Бранислава (Марибор), д-р, доц., философский факультет Мариборский университет.

Гаврюшина Лидия Константиновна (Москва), к.ф.н., н.с. ИСл РАН.

Герчикова Ирина Александровна (Москва), к.ф.н., н.с. ИСл РАН.

Глушковски Петр (Торунь, Варшава), д-р, н.с. Постоянного представительства Польской академии наук при РАН, Варшавский университет.

Гучкова Дана (Братислава), магистр, директор Института словацкой литературы АН СР.

Жакова Наталия Кирилловна (Санкт-Петербург), к.ф.н., доц. Санкт-Петербургского государственного университета.

Зеленка Милош (Прага, Ческе-Будеёвице), д-р, проф., Южночешский университет.

Зеленкова Анна (Прага, Брно), д-р, доц., Институт славистики Академии наук Чешской Республики.

Козак Криштоф-Яцек (Любляна, Копер), д-р, Приморский университет (Копер).

Копчёнова Ирина Владимировна (Москва), м.н.с. ИСл РАН.

Королькова Полина Владимировна (Москва), к.ф.н., н.с. ИСл РАН,
Российский государственный гуманитарный университет.

Косак Михал (Прага), д-р, Институт чешской литературы АН ЧР.

Косик Виктор Иванович (Москва), д.и.н., вед.н.с. ИСл РАН.

Кузмикова Яна (Братислава), д-р, Институт словацкой литературы
АН СР.

Лаптева Людмила Павловна (Москва), д.и.н., проф. Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Липатов Александр Владимирович (Москва), д.ф.н., вед.н.с. ИСл РАН.

Мальцев Леонид Алексеевич (Калининград), д.ф.н., проф. Балтий-
ского федерального университета им. И. Канта.

Матышова Зденка (Ческе-Будеёвице), д-р, доц., Южночешский уни-
верситет.

Машкова Алла Германовна (Москва), д.ф.н., проф. МГУ им. М.В. Ло-
моносова.

Мочалова Виктория Валентиновна (Москва), к.ф.н., зав. Центра сла-
вяно-иудаики ИСл РАН.

Мусяенко Светлана Филипповна (Гродно), д.ф.н., проф. Гроднен-
ского государственного университета им. Я. Купалы.

Опацки Збигнев (Польша), д-р, проф., декан исторического факуль-
тета Гданьского университета.

Пескова Анна Юрьевна (Москва), к.ф.н., н.с. ИСл РАН.

Подмакова Дагмар (Братислава), д-р, зам. директора АН СР.

Радически Науме (Скопье), д-р., проф. Университета св. Кирилла и
Мефодия в Скопье.

Раичевич Горана (Нови-Сад), д-р., проф. Нови-Садского универ-
ситета.

Серапионова Елена Павловна (Москва), д.и.н., с.н.с. ИСл РАН.

Сладек Ондřej (Прага, Брно), д-р, Институт чешской литературы
АН ЧР, Масариков университет.

Смольянинова Марина Геннадьевна (Москва), к.ф.н., с.н.с. ИСл РАН.

Созина Юлия Анатольевна (Москва), к.ф.н., н.с. ИСл РАН.

Фирсов Евгений Федорович (Москва), к.и.н., доцент МГУ им. М.В. Ломоносова.

Хорев Виктор Александрович (Москва), д.ф.н., проф., ИСл РАН.

Шатько Евгения Викторовна (Москва), аспирантка ИСл РАН.

Шведова Наталья Васильевна (Москва), к.ф.н., с.н.с. ИСл РАН.

Шерлаимова Светлана Александровна (Москва), д.ф.н., г.н.с. ИСл РАН.

Широкова Людмила Федоровна (Москва), к.ф.н., с.н.с. ИСл РАН.

Эрзетич Манца (Любляна), маг., философский факультет Люблянского университета.

Яначек Павел (Прага), д-р, директор Института чешской литературы АН ЧР.

СОДЕРЖАНИЕ

От редколлегии 5

А.В. Липатов. Увидеть себя, познав других (Размышления
о национальных предубеждениях и стереотипах) 9

1. Новые подходы к давней проблематике

М. Зеленка (Чехия). Россия и Центральная Европа в символической
и литературной географии (имагологическое исследование).
Пер. З. Матыушовой 27

П. Яначек (Чехия). «Русак», животное, добрая душа и художник.
Национальные стереотипы русских и России в чешской
литературе начала XXI века.
Пер. О. Павловой, Л.Н. Будаговой 38

А.В. Липатов. Историко-цивилизационный фактор
инонационального восприятия (на примере польского
отношения к русскости) 50

2. Погружаясь в прошлое

В.А. Хорев. Россия и русская литература в польском
сознании 69

В.В. Мочалова. Русские глазами поляков в Смутное время
(на материале дневников польских участников военных
событий) 84

П. Глушковский (Польша). Россия в творчестве
Ф.В. Булгарина 97

З. Опацки (Польша). Генрик Каменьский о России и русских ...	110
Н.К. Жакова. Роль В. Ганки в создании образа России у чехов ..	118
Л.П. Лаптева. Чешский поэт и публицист	
Карел Гавличек-Боровский и его отзывы о России	125
А. Зеленкова (Чехия). К проблемам славянской имагологии (рецепция русской среды и культуры в воспоминаниях и переписке М. Мурко и И. Поливки на рубеже XIX–XX вв.).	
Пер. З. Мат्यूшовой	142
А.Г. Машкова. Эволюция образа России в словацкой литературе XIX — начала XX в.	153
Э. Бртанёва (Словакия). Образ России в литературном творчестве Яна Коллара. Пер. А.Ю. Песковой	171
Д. Гучкова (Словакия). Образ России во взглядах и литературном творчестве поколения гласистов. Пер. Н.В. Шведовой	180
К.-Я. Козак (Словения). Ориенталистический взгляд на Россию в словенской путевой литературе. Пер. М.Л. Бершадской	192
Л.К. Гаврюшина. Русский след в Житии Саввы Сербского	218
В.И. Косик. Воспоминания Симо Милутиновича о путешествии в середине XIX века в Россию и современная пьеса Углеши Шайтинаца «Право на Руса»	227
М.Г. Смольянинова. Русский человек и Россия в литературе болгарского Возрождения	232

3. Противоречия XX века и их проекции в современность

Л.Н. Будагова. Русофильские и русофобские тенденции в чешском обществе и культуре. XIX–XXI вв.	249
Е.П. Серапионова. Восприятие России и русских чешскими и словацкими legionерами	262
А.Ю. Пескова. Эволюция образа русского человека и России в творчестве Янко Есенского	279
Я. Кузмикова (Словакия). Русский характер в словацкой литературе о войне. Пер. Н.В. Шведовой	287
А.В. Амелина. Утопичность в восприятии Советской России в чешской среде в 1920–1930-е гг. (Я. Вайсс, М. Майерова, Ю. Фучик)	305
Е.Ф. Фирсов. Исторические и методологические аспекты восприя- тия русских и России в чешской и инославянской среде (конец XIX — первая треть XX в.)	321

И.В. Кончёнова. Образ русского в автобиографической прозе Чеслава Милоша «Родная Европа» («Rodzina Europa»)	335
С.Ф. Мусиенко (Беларусь). Россия в жизни и творчестве Чеслава Милоша	347
Л.А. Мальцев. Русский человек в творчестве Г. Херлинга-Грудзиньского	360
Д. Айдачич (Сербия). Русские в романе Яцека Дукая «Ксаврас Выжрын и другие национальные фикции»	372
М. Косак (Чехия). Влияние русской текстологии на чешскую издательскую практику	380
О. Сладек (Чехия). Ян Мукаржовский и Роман Якобсон	390
С.А. Шерлаимова. О русском в романах Иржи Кратохвила	398
И.А. Герчикова. Современная Россия глазами чехов	411
Л.Ф. Широкова. Герои и жертвы: русские персонажи в произведениях Ладислава Тяжкого	421
Н.В. Шведова. Русский человек в сознании словацкой интеллигенции последних десятилетий	429
Д. Подмакова (Словакия). Словацкая интерпретация пьес А.П. Чехова и влияние их героев на современную словацкую драму и общество. Пер. А.Г. Машковой	443
Ю.А. Созина. Образы русских эмигрантов в словенской прозе	449
М. Эрзетич (Словения). Восприятие произведений Ф.М. Достоевского в работах словенских теоретиков — прежде и ныне (на примере «Братьев Карамазовых»). Пер. Ю.А. Созиной	464
П.В. Королькова. «Русское измерение» и интертекстуальность романа Неделько Фабрио «Смерть Вронского»	480
Н. Радически (Македония). Русские темы и идеи в романах Милоша Црнянского «Переселения», «Переселения 2» и «Роман о Лондоне»	498
Г. Раичевич (Сербия). Милош Црнянский о русских и о России. Пер. Л.К. Гаврюшиной	511
Е.В. Шатько. Русские мотивы в прозе Милорада Павича	525
З. Матушова (Чехия). Образ человека в беллетристике Виктора Астафьева	532
Б. Вичар (Словения). «Журналисты должны были бы писать» (структурно-стилистический анализ словенских публикаций об убийстве Анны Политковской). Пер. Т.Н. Жаровой	541

Вместо заключения

В.И. Косик. Лямур, тужур, оревуар — историко-личные заметки на полях истории	555
Именной указатель (<i>составитель А.В. Амелина</i>)	560
Сведения об авторах	601

Научное издание

**Россия и русский человек
в восприятии славянских народов**

Ответственные редакторы
А.В. Липатов, Ю.А. Созина

Корректор
Т.Г. Шаманова

Компьютерная верстка
Е.А. Мокеева

ООО «Центр книги Рудомино»
109189, Москва, ул. Николоямская, д. 1
Отдел реализации издательства: (495) 915-31-00
e-mail: synkova@libfl.ru, amin@libfl.ru
<http://www.facebook.com/CentreBook>

Подписано в печать 20.11.2014
Формат 70x100/16
Тираж 500 экз.